



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

6 / 2013

Журнал
«Семь искусств»

Июнь 2013

Главный редактор
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:

Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,
Борис Кушнер, Александр Ласкин,
Борис Тененбаум, Артур Штильман

Ответственный секретарь Изабелла Победина

ISBN 978-1-291-49249-1

«Семь искусств»
Ганновер 2013

Журнал

«Семь искусств»

Июнь 2013

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

«Семь искусств»
Ганновер 2013

Содержание

Мир науки

Евгений Беркович	
Одиссея Петера Прингсхайма.....	5
Геннадий Горелик	
О пользе пред-рассудка и о загадке рождения современной физики.....	28
Сергей Ландо	
Владимир Игоревич Арнольд.....	47

Культура

Генрих (Хаим) Соколик	
Огненный лед.....	59
Игорь Ефимов	
Опять о страсти нежной.....	105
Эстер Пастернак	
"Опоздавшие гении".....	118

История и современность

Евгений Брейдо	
Город.....	128
Борис Тененбаум	
Корень всякого зла.Главы из новой книги "Гитлер".....	138

Педагогика

Анатолий Мудрик	
Лики отечественной педагогики советского периода.....	144

Философия

Эдуард Бормашенко	
Ошибка вышла, вот о чем молчит наука.....	166

Социология

Андрей Алексеев	
Корни и ветви.....	170

Мемуары

Нора Райхштейн	
Царица ночи, или ненужное письмо дочери.....	235
Ася Лapidус	
...И легкокрылый Серафим... ..	242
Михаил Цаленко	
Взгляд назад невидящих глаз.....	246

Владимир Янкелевич	
Осколки.....	297

Музыка

Артур Штильман	
Мет Опера – дворец музыкальных чудес	321
Борис Рублов	
Великий бас двадцатого столетия Марк Рейзен	342
Эрнст Зальцберг	
Канадская ученица Леопольда Ауэра	356
Владимир Фрумкин	
«Но чудится музыка светлая, и строго ложатся слова...» ..	363

Люди

Григорий Никифорович	
«Открытие Горенштейна» Главы из книги.....	379
Дмитрий Трубецков	
Юлий Александрович Данилов	407

Поэзия

Борис Юдин	
Паноптикум	414
Лорина Дымова	
«Поговорим о странностях любви...».....	418
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом»	423

Проза

Яков Шехтер	
Шинель Наполеона	460
Моисей Борода	
Ночной гость	464

Читальный зал

Михаил Юдсон	
Страна Губермания.....	471
Юрий Моор-Мурадов	
Хайям с мобилой и Интернетом.....	484
Об авторах	489

Евгений Беркович

Одиссея Петера Прингсхайма

(продолжение. Начало в №5/2013)

Школа танцев



автобиографии, названной в русском переводе «*Очерком моей жизни*», Томас Манн в первой же фразе подчеркивает: «*Я – второй сын купца и сенатора вольного города Любека – Иоганна-Генриха Манна и его жены Юлии да Сильва-Брунс*»¹.

Петер Прингсхайм – тоже второй сын мюнхенского математика Альфреда Прингсхайма и его жены Хедвиг Прингсхайм-Дом. В обеих семьях было по пятеро детей.

Петеру довелось родиться в удивительной семье, оставившей след в культурной жизни Германии конца девятнадцатого, первой трети двадцатого веков². Дворец Прингсхаймов на улице Арси, 12 почти полвека знала вся образованная баварская столица. По словам Бруно Вальтера, часто там бывавшего, «*в гостеприимном доме на улице Арси в большие вечера можно было встретить 'весь Мюнхен'*»³.

Сестра Петера Катя, верная жена и незаменимая помощница Томаса Манна, вспоминала в конце своей долгой жизни о доме их с братом детства:

¹ *Mann Thomas. Lebensabriss.* В книге: *Mann Thomas. Essays. Band 3.* Hrsg. *Kurzke Hermann, Stachorski Stephan.* S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2003, S. 187. Русский перевод: *Манн Томас. Очерк моей жизни.* Перевод А. Кулишер. В книге: *Манн Томас. Собрание сочинений в 10-ти томах.* Том 9. Государственное издательство художественной литературы, Москва 1960, стр. 104. Отметим, что в переводе А.Кулишер вместо правильного «*второй сын*» стоит «*младший сын*», что неверно, ибо младшим сыном в семье Манн был Виктор, родившийся через 15 лет после Томаса. Эта ошибка перевода сохраняется во всех российских переизданиях очерка.

² Подробнее об этой семье см. мою статью «*Сага о Прингсхаймах*», альманах «*Еврейская Старина*», №2 2008 г.

³ *Walter Bruno.* Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1960, S. 273.

«У моих родителей <...> был весьма уважаемый и посещаемый дом, где устраивались большие званые вечера. Благодаря профессии моего отца и его личным симпатиям это был научный дом с музыкальными интересами. К литературе отец был скорее равнодушным, в противоположность моей матери. В дом на улице Арси приходили разные люди, среди них и литераторы, но особенно много музыкантов и художников. К нам приходили Рихард Штраус и Шиллингс, Фриц Август Каульбах, Ленбах, Штук и многие другие из модных художественных кругов Мюнхена»⁴.



Альфред и Хедвиг Прингсхайм

Все пятеро детей Альфреда и Хедвиг Прингсхайм родились в течение четырех лет – с 1879 по 1883 годы – сначала сыновья Эрик, Петер, Хайнц, а потом – в июле 1883 года – близнецы Клаус и Катя.

Дети профессора Мюнхенского университета и одного из богатейших людей Баварии, знатока музыки и выдающегося коллекционера произведений искусств, получили, разумеется, блестящее и разностороннее образование. Мальчики вплоть до поступления в гимназию занимались с домашними учителями по различным предметам. У Кати домашнее обучение продлилось вплоть до поступления в университет. Дело в том, что без окончания гимназии в университет не принимают, а гимназий для девушек тогда не существовало. Поэтому Катю дома готовили к сдаче выпускных экзаменов по гимназическим курсам лучшие университетские преподаватели, и ее оценки в итоговом аттестате были выше, чем у братьев.

О том, как было поставлено обучение детей в доме на улице Арси, 12, мы знаем из недавно полностью опубликованных воспоминаний

⁴ *Mann Katia*. Meine ungeschriebenen Memoiren (см. прим. 26), S. 14.

школьного товарища Петера и Хайнца Прингсхаймов Германа Эберса⁵. Герман был их ровесником: на полгода младше Петера и на полгода старше Хайнца. Во взрослой жизни Эберс стал художником, и именно его литографии на библейские темы побудили Томаса Манна зимой 1923 года обратиться к сюжету об Иосифе. Вначале планировалось написать небольшую новеллу, но как это часто бывало с Томасом, в результате получился огромный – в четыре тома – роман *«Иосиф и его братья»*. О нем у нас еще будет повод поговорить в этих заметках.



Дворец Прингсхайма на улице Арси, 12 в Мюнхене

Герман Эберс так описывает детскую часть виллы Прингсхаймов:

«Кроме просторной спальни для четырех мальчиков и отдельной спальни для Кати и ее бонны, была огромная гостиная со шкапами и стеллажами, полными великолепных игрушек, а дальше, как раз напротив сада, располагалась комната для занятий с книжными полками, партами для каждого ребенка и небольшим роялем для упражнений двух младших братьев, унаследовавших музыкальный талант отца... В этом светлом и уютном помещении, равно как и в гостиной, и в комнате для игр я провел всю мою гимназическую жизнь. Эти часы относятся к самым увлекательным, самым веселым и плодотворным моментам моей юности»⁶.

Дети Прингсхаймов изучали не только школьные предметы. Родители заботились об их всестороннем образовании, в том числе, музыкальном. Нашлось место даже школе танцев, которую Хедвиг организовала у себя дома. На роль учителя пригласили придворного балетмейстера и профессора музыкальной академии. Герман Эберс вспоминал:

⁵ Герман Эберс (Hermann Ebers, 1881-1955) – немецкий художник и книжный иллюстратор.

⁶ Krause Alexander (Hg.). «Musische Verschmelzungen» Thomas Mann und Hermann Ebers. peniopo, München 2006, S. 12.

«Госпожа Прингсхайм договорилась для своих детей об уроках танцев, к которым пригласили и меня. Занятия проходили в просторной бильярдной, расположенной в цокольном этаже здания, куда можно было попасть по узкой лестнице, ведущей из столовой. Уроки танцев давал балетмейстер придворного театра Фенцель⁷...».



Фридрих Август фон Каульбах. «Детский карнавал»
(изображены дети Альфреда и Хедвиг Прингсхайм)

Неудивительно, что выросшие в таком доме двое из детей Прингсхаймов связали свою взрослую жизнь с музыкой. Хайнц, хоть и получил образование археолога, стал, в конце концов, музыкальным критиком, сочинял музыку для балета, работал в музыкальной редакции баварского радио. Его младший брат Клауз, близнец Кати, сразу пошел по пути профессионального музыканта, композитора и дирижера. В 1931 году он уехал в Японию, где преподавал в токийской Музыкальной академии Уено.



Старшие братья: Эрик, Петер и Хайнц

⁷ Франц Фенцель (Franz Fenzl, у Эберса написано Fenzel) – балетмейстер и режиссер Королевской балетной труппы, преподаватель Академии музыки в Мюнхене с 1875 до 1894 года по классам танцев, фехтования, гимнастики, мимики и хороших манер.

Трудно сказать, насколько занятия музыкой и танцамигодились Петеру, выбравшему себе профессию ученого, но в то время многие физики неплохо владели и музыкальными инструментами. Достаточно вспомнить игру Альберта Эйнштейна на скрипке или Вернера Гейзенберга⁸ на фортепьяно.

Годы чудес

Экзамены на аттестат зрелости Петер успешно сдал весной 1899 года и первого октября того же года был призван, как положено, на годовую военную службу в составе Девятого королевского баварского артиллерийского полка. Служба закончилась 30 сентября 1900 года, и Петер успел в том же году стать студентом философского факультета Мюнхенского университета по отделению физики⁹. Напомним, на всякий случай, что в то время почти во всех европейских университетах кафедры математики и физики входили в состав именно философских факультетов.



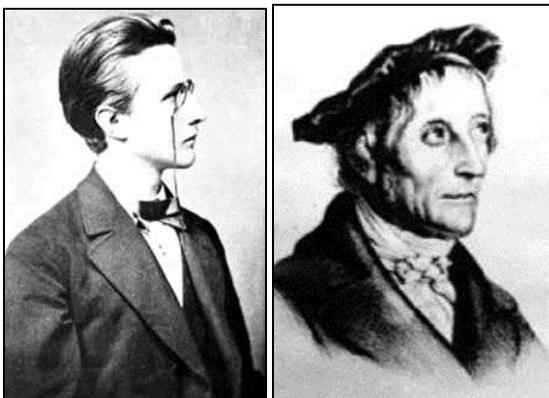
Петер Прингсхайм

Обратим внимание на дату – 1900 год, конец девятнадцатого века – переломный момент в истории науки и в истории европейской цивилизации. В этом году на Всемирной выставке в Париже Германия продемонстрировала новые технологии в химии, электротехнике и

⁸ Вернер Карл Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg; 1901-1976) — выдающийся немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике за 1932 год.

⁹ Биографические данные о жизни Петера Прингсхайма приводятся здесь и далее по книге *Wehefritz Valentin. Gefangener zweier Welten. Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. h.c. Peter Pringsheim (1881-1963). Universitätsbibliothek Dortmund 1999.*

машиностроении, которые вскоре в корне изменят жизнь человечества. В том же году профессор из Гёттингена Давид Гильберт¹⁰ на Математическом конгрессе там же, в Париже, сформулировал свои знаменитые «проблемы», определившие лицо математики двадцатого века. Начиналась революция и в физике, но понимали это тогда немногие. Трудно придумать более удачный момент для начала карьеры ученого, хотя большинство современников придерживалось как раз противоположного мнения.



Макс Планк и Филипп фон Жолли

Рассказывают, что осенью 1874 года начинающий студент Макс Планк¹¹ пришёл к профессору Филиппу фон Жолли¹², руководившему отделением физики Мюнхенского университета, и сказал ему, что решил записаться на его кафедру, чтобы заняться теоретической физикой. Маститый ученый попытался отговорить юношу: *«Молодой человек! Зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь теоретическая физика в основном закончена. Осталось прояснить несколько несущественных неясных мест. Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?!»*¹³. К счастью для физики, студент оказался настойчивым и находчивым: он ответил, что и не собирается открывать ничего нового, а хочет только изучить то, что уже известно.

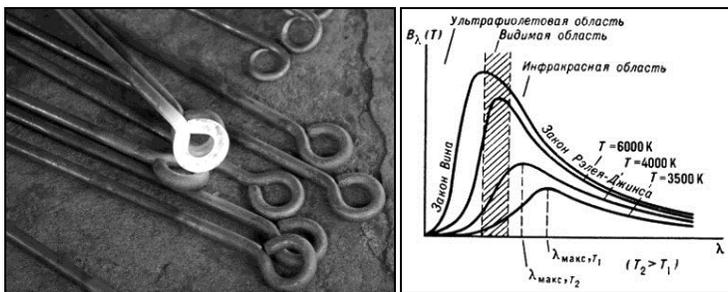
¹⁰ Давид Гильберт (David Hilbert; 1862-1943) — великий немецкий математик, внёс значительный вклад в развитие многих областей математики, профессор Гёттингенского университета.

¹¹ Макс Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck; 1858-1947) — выдающийся немецкий физик, основоположник квантовой физики.

¹² Филипп Жолли (Philipp Johann Gustav von Jolly, 1809-1884) — немецкий физик и математик, профессор Мюнхенского университета.

¹³ См., например, *Rechenberg Helmut*. Werner Heisenberg – die Sprache der Atome. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010, S. 1.

Об этих же «несущественных неясных местах» современной физики говорил и всемирно почитаемый патриарх английской науки Уильям Томсон¹⁴, получивший в 1892 году титул лорда Кельвина. В своей знаменитой лекции, прочитанной в Королевском обществе 27 апреля 1900 года, он заявил, что физика практически решила все стоящие перед ней задачи и построила красивую и ясную теорию, согласно которой теплота и свет являются формами движения. И только два облачка омрачают ясный научный небосклон. Первое облачко – это вопрос, как может Земля двигаться через упругую среду, какой является по существу светонесущий эфир? А второе облачко – это непреодолимые противоречия теории и опыта в вопросе об излучении «абсолютно черного тела».



Проблема классической физики: невозможность описать одной формулой излучение абсолютно черного тела

Анализ почтенного ученого оказался поистине пророческим. Именно из этих двух «болевых точек» и выросла вся современная физика. Буквально через несколько месяцев после выступления лорда Кельвина повзрослевший и ставший уже профессором Берлинского университета Макс Планк решил проблему абсолютно черного тела, введя знаменитое понятие «квант» энергии. А через пять лет, в 1905 году, никому не известный тогда двадцатипятилетний эксперт третьего класса в Федеральном патентном бюро швейцарского Берна Альберт Эйнштейн предложил свою теорию относительности, в которой не было места светонесущему эфиру.

Революция в физике началась. Стали закладываться новые подходы к изучению загадочного микромира и бесконечной Вселенной. В число исследователей, чьими усилиями строилась новая физика, вступил в это время и Петер Прингсхайм, завершивший университетское образование защитой докторской диссертации. Защита состоялась 26 июля 1906 года, научным руководителем выступал профессор Вильгельм

¹⁴ Уильям Томсон, лорд Кельвин (William Thomson, 1st Baron Kelvin; 1824-1907) — британский физик, профессор университета в Глазго, среди прочих достижений – установление абсолютной шкалы температур (шкала Кельвина).

Рёнтген¹⁵. Тема работы лежала в русле новой физики – молодой ученый исследовал газовые разряды в специальных трубках в зависимости от приложенного напряжения.

Работа отвечала требованиям к докторским диссертациям, содержала новые и интересные результаты, но одно действительно важное открытие Петер Прингсхайм тогда упустил. В процессе своих экспериментов он наблюдал иногда неконтролируемый газовый разряд, но не смог дать этому разумного объяснения. Только через двадцать лет это явление легло в основу знаменитого счетчика Гейгера. Его создатель Ганс Гейгер¹⁶ был всего на год младше Петера и защитил диссертацию на близкую тему – тоже о газовом разряде - в том же 1906 году, но в Эрлангенском университете. Через два года Гейгер описал принципы работы своего будущего счетчика радиоактивных частиц. Один семестр 1904 года Гейгер провел в Мюнхенском университете, где наверняка познакомился со своим будущим коллегой Петером Прингсхаймом. Увы, многие ученые проходят мимо открытий, которые буквально просятся к ним в руки.



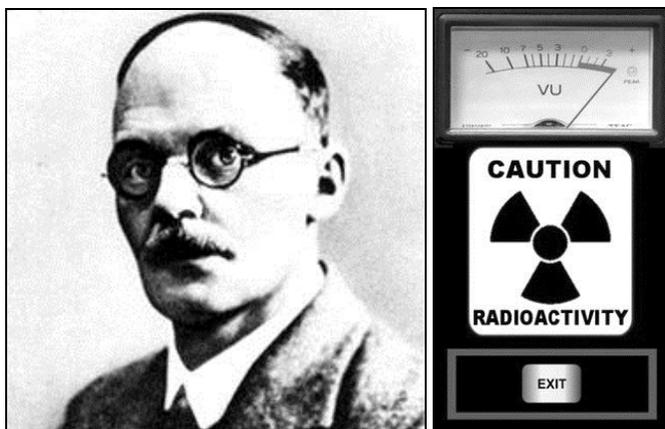
Макс Планк (1900) и Альберт Эйнштейн (1905)
– творцы новой физики

В те времена было нормой, чтобы молодой ученый после окончания университета и защиты первой докторской диссертации мог поработать какое-то время в том или ином исследовательском центре, который открывал для этого временные (обычно на полгода или год) вакансии. Сейчас таких специалистов называют «постдоками».

¹⁵ Вильгельм Конрад Рёнтген (Wilhelm Conrad Röntgen; 1845-1923) — немецкий физик, открывший рентгеновские лучи.

¹⁶ Ганс Гейгер (Hans Geiger, 1882-1945) — немецкий физик, первым создавший детектор альфа-частиц и других ионизирующих излучений (1928).

Петеру Прингсхайму удалось найти научные центры, где велись работы точно по его профилю – газовому разряду. Два семестра в 1906/1907 учебном году он проработал в Физическом институте Гёттингенского университета у профессора Эдуарда Рике¹⁷, доказавшего электронную природу тока в металлах. А следующий учебный 1907/1908 год Петер провел в знаменитой Кавендишской лаборатории в Кембридже под руководством профессора Дж.Дж. Томсона, всего год назад получившего Нобелевскую премию за открытие электрона. Именно Томсон побудил Петера заняться светозлектрическими явлениями, которым Прингсхайм посвятит всю свою научную жизнь.



Ганс Гейгер и его счетчик

Петер Прингсхайм уезжал из Кембриджа очарованный британской культурой, обычаями, людьми... Это англоманство еще сыграет в его жизни роковую роль.

В 1908 году Прингсхайм поступил в Физический институт Берлинского университета на должность ассистента. Первые три года он работал бесплатно, и только с 1911 года его зачислили в штат института, и молодой ассистент начал получать зарплату. Впрочем, и без зарплаты Петер не бедствовал, ведь его отец в те годы все еще оставался одним из богатейших людей Германии¹⁸.

Закрепиться в Берлинском университете для молодого ученого было несомненной удачей, ибо Берлин того времени представлял собой признанный центр физической науки не только Германии, но и всего мира. Кафедру теоретической физики там возглавлял сам Макс Планк.

¹⁷ Эдуард Рике (в некоторых публикациях пишется Рикке, Eduard Riecke, 1845-1915) – немецкий физик-экспериментатор, профессор Гёттингенского университета, директор Физического института.

¹⁸ *Беркович Евгений. Сага о Прингсхаймах. Альманах «Еврейская Старина», №2 2008.*

В то время, когда Петер начинал работу в Физическом институте Берлинского университета, его непосредственными начальниками были три профессора, занятых, в основном, экспериментальной физикой: Эмиль Варбург¹⁹, Генрих Рубенс²⁰ и Артур Венельт²¹.

Варбург и Рубенс принадлежали к немногочисленной группе физиков-евреев, которым удалось стать ординарными профессорами немецких университетов. Разумеется, оба были крещены. В одиннадцати немецких университетах, включая Берлинский, в то время не было ни одного не крестившегося профессора-еврея²².



Эдуард Рике и Дж.Дж. Томсон –
руководители Петера Прингсхайма после защиты диссертации

Эта должность была заветной мечтой любого ученого, и добиться почетного звания было нелегко и коренному немцу. Что уж говорить о евреях, которым ставил дополнительный барьер традиционный

¹⁹ Эмиль Варбург (Emil Warburg, 1846-1931) – немецкий физик-экспериментатор, профессор Берлинского университета, известен работами во многих областях физики, в том числе, созданием фотохимии.

²⁰ Генрих Рубенс (Heinrich Rubens, 1865-1922) — немецкий физик-экспериментатор, профессор Берлинского университета, директор Физического института, автор основополагающих работ по инфракрасному излучению, а также по излучению абсолютно черного тела.

²¹ Артур Венельт (Arthur Wehnelt, 1871-1944) — немецкий физик-экспериментатор, профессор Берлинского университета, известен работами, приведшими к созданию электронно-лучевой трубки.

²² *Hamburger Ernest. Juden im öffentlichen Leben Deutschlands.* J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1968, S. 55.

академический антисемитизм²³. Не случайно и великому Эйнштейну не нашлось места профессора в Берлинском университете, хорошо еще, что Макс Планк в 1913 году добился назначения автора теории относительности на должность профессора Прусской академии наук. В этой должности создатель теории относительности пребывал вплоть до своего добровольного выхода из состава академии в 1933 году²⁴. Оставаться членом Академии в стране, находившейся под властью нацистов, было для Эйнштейна непереносимо.



Физический институт Берлинского университета

Герой наших заметок Петер Прингсхайм тоже происходил из еврейской семьи, хотя и далеко отошедшей от иудаизма. Недаром после первого посещения дома Прингсхаймов в феврале 1904 года Томас Манн с облегчением описал старшему брату свое первое впечатление: *«В отношении этих людей и мысли не возникает о еврействе; не ощущаешь ничего, кроме культуры»*²⁵.

Петер, как и многие крестившиеся его коллеги, искренно считал себя немцем и христианином. И никто не предполагал, что вскоре, когда к власти в стране придут нацисты, различие между крещеными и некрещеными евреями исчезнет, им всем будет уготована одна страшная судьба: изоляция, бесправие, уничтожение...

Примерно такая же картина была и среди физиков, в число которых с 1906 года вступил и Петер Прингсхайм. Еврейское происхождение ему поначалу не мешало делать успешную научную карьеру, так как он с детства был крещен. Его отец сам от перехода в христианство категорически отказывался, но против крещения своих детей не возражал. Жена Альфреда – Хедвиг Прингсхайм, урожденная

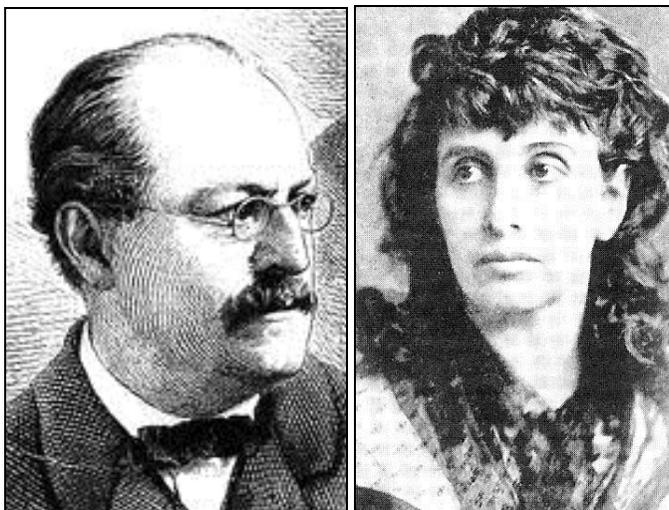
²³ См., например, *Беркович Евгений*. Наука в тени свастики. «Нева», 2008 №5, стр. 175-189.

²⁴ *Беркович Евгений*. Прецедент. Альберт Эйнштейн и Томас Манн в начале диктатуры. «Нева», №5 2009, стр. 146-159.

²⁵ Письмо брату Генриху от 27 февраля 1904 года. *Mann Thomas*. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 21. Briefe I. 1889-1913. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2002, S. 271.

Дом, - происходила из известной берлинской семьи евреев, давным-давно ставших протестантами.

О своем еврейском происхождении Петер вспомнит только после прихода нацистов к власти. Но и до этой трагической поры в жизни молодого физика произойдут другие драматические события. Но прежде чем мы продолжим рассказ о них, сделаем еще одно отступление. Альфред и Петер Прингсхаймы оказались не единственными представителями этой фамилии в немецкой науке. Вхождение Прингсхаймов в элиту немецкого общества весьма показательно для всего процесса еврейской эмансипации.



Родители Хедвиг Прингсхайм – Эрнст и Хедвиг Дом

Из гетто в профессоры

Начиная с девятнадцатого века, фамилия Прингсхайм становится известной в разных частях Германии. Ее носили крупные промышленники, предприниматели, ученые, преподаватели, банкиры...

Видимо, не догадываясь о еврейском происхождении фамилии, молодой Томас Манн в своем первом романе дал ее любекскому протестантскому пастору, который назвал семью Будденброков "загнивающей". Будущий нобелевский лауреат по литературе тогда и не подозревал, что через пять лет сам породнится с Прингсхаймами, женившись на Кате – единственной дочери мюнхенского профессора Альфреда Прингсхайма.

Сейчас представителей этой фамилии можно найти не только в Германии, но и в Аргентине, Бразилии, Японии... Предки всех Прингсхаймов были выходцами из Силезии – отдаленного региона Восточной Пруссии, сейчас большей своей частью отошедшего к Польше.

Первое упоминание о предках современных Прингсхаймов относится к 1753 году, когда Менахем бен Хаим Прингсхайм, известный также как Мендель Йохем (1730-1794), поселился в городе Бернштадт (ныне польский город Берутов – Bierutów – в Нижнесилезском воеводстве)²⁶. Его старший брат Майер Йохем (1725-1801) жил неподалеку, в расположенном на расстоянии четырнадцати километров городе Эльс (Oels), ныне Олесница.

Обратим внимание на время появления Прингсхаймов в Силезии – 1753 год. До формальной эмансипации евреев Германии должно пройти еще сто двадцать лет. О равенстве всех граждан перед законом тогда еще и не заговаривали. Впервые этот вопрос на политическом уровне будет поставлен только через тридцать шесть лет во Франции, где Национальное собрание приняло 26 августа 1789 года знаменитую «Декларацию прав человека и гражданина». Декларация объявляла в первой же статье: «*Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах*». Статья шестая уточняла понятие равенства: «*Все граждане равны перед законом и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями*»²⁷. Другими словами, все люди обладают равными правами, независимо от национальности, пола или религиозных взглядов. Стало быть, и евреи ничем не хуже французов или немцев и должны иметь те же права. Кстати, Национальное собрание Франции распространило положение Декларации на евреев лишь спустя два года – 27 сентября 1791 года.

На деле реализовать этот принцип повсеместно оказалось куда как непросто. Многим странам потребовалось более века, чтобы привести свое законодательство в соответствие с основными принципами французской Декларации.

А в середине восемнадцатого века все 175 тысяч немецких евреев жили фактически вне германского общества, их жизнь была скована тысячами ограничений и предписаний. Как сформулировал это знаменитый юрист восемнадцатого века Йохан Ульрих фон Крамер (Johann Ulrich von Cramer, 1706-1772), профессор права Магдебургского университета, евреи «*остаются in civitate, но не de civitate*», другими словами, они находятся среди гражданского общества, но не принадлежат к нему²⁸.

²⁶ Данные о генеалогии семьи Прингсхайм взяты из работы *Engel Michael. Die Pringsheims. Zur Geschichte einer schlesischen Familie (18.–20. Jahrhundert)*. In: *Kant Horst, Vogt Annette* (Hrsg.): *Aus Wissenschaftsgeschichte und -theorie. Hubert Laitko zum 70. Geburtstag*. Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte, Berlin 2005, S. 189-219.

²⁷ Декларация прав человека и гражданина. Документы истории Великой французской революции. М., 1990. Т. 1.

²⁸ Цитируется по книге *Katz Jacob. Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770-1870*. Jüdischer Verlag bei Athenäum, Frankfurt am Main 1986, S. 27.

Описать несколькими словами условия жизни немецких евреев во второй половине восемнадцатого века весьма затруднительно, ибо условия эти сильно отличались друг от друга в зависимости от места расположения общины. Германия представляла собой тогда мозаику из нескольких сотен самостоятельных княжеств и королевств. В разных городах и княжествах устанавливался свой, часто отличающийся от соседского, свод законов и правил, определяющий рамки еврейской жизни.



Йохан фон Крамер: евреи остаются *in civitate*, но не *de civitate*

По сравнению со своими христианскими соседями, евреи должны были платить массу дополнительных налогов и податей, начиная с «шутцгельдер» (*Schutzgelder*), «деньгами за защиту», и кончая унижительной личной пошлиной «лейбцоль» (*Leibzoll*), взимаемой при пересечении таможенной границы любого города с каждого еврея, словно это скот или неодушевленный товар. Еврей должен был платить за все: за право заниматься определенной профессией, за разрешение вступить в брак, за позволение остановиться в данном месте даже на краткий срок...

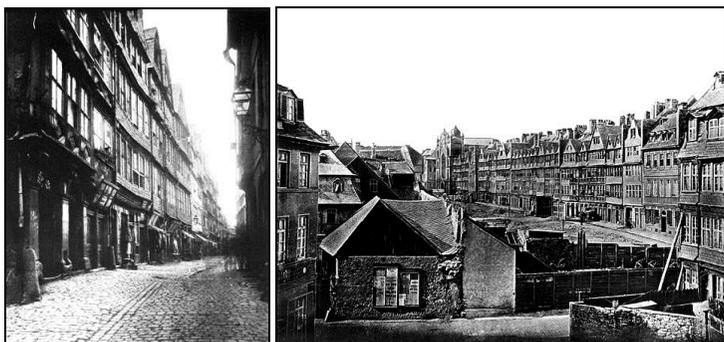
В Пруссии большинство евреев проживало в городах, причем правила менялись от города к городу. В Хальберштадте (*Halberstadt*), например, евреи имели право проживания и даже основали там общину, а в Магдебурге, который тоже относился к прусской короне, евреи должны были каждый раз получать специальное разрешение на короткий срок пребывания. Некоторые евреи имели привилегию постоянно жить в городе, в то время как власти других городов могли в любой момент выгнать иноверцев вон.

В противоположность Пруссии в Баварии евреям, как правило, было запрещено жить в городах, поэтому большинство общин там размещались в сельской местности.

Логику в отказе или, наоборот, разрешении на проживание евреев в том или ином месте обнаружить трудно. В некоторых городах общины существовали с незапамятных времен, например, в Фюрте (*Fürth*),

где евреи пользовались относительной свободой и правами городских жителей. В то же время в соседнем Нюрнберге евреи жить не могли, они были изгнаны из города еще в 1499 году, и только купцам с конца семнадцатого века разрешалось заезжать в город за товаром обязательно в сопровождении местного жителя, но ни в коем случае не разрешалось оставаться там на ночь²⁹.

Лейпциг издавна славился своими ярмарками. На время их проведения евреям разрешалось жить в городе, устраивать временные синагоги и обеспечивать себя кошерной едой. Однако первая еврейская семья, постоянно поселившаяся в городе, появилась только в 1713 году. Через сорок лет к ней добавилась еще одна. Лишь с 1837 года евреям разрешили основать в Лейпциге общину и построить постоянную синагогу.



Гетто во Франкфурте на Майне.

Слева – до 1796 г., справа – во время расчистки в 1868 г.

В Бадене, Гессене, Вестфалии и других землях евреи жили только вне городов, однако владеть землей и ее обрабатывать им запрещалось. Приходилось заниматься торговлей и финансами, такими необходимыми для всех и одновременно нелюбимыми в народе профессиями.

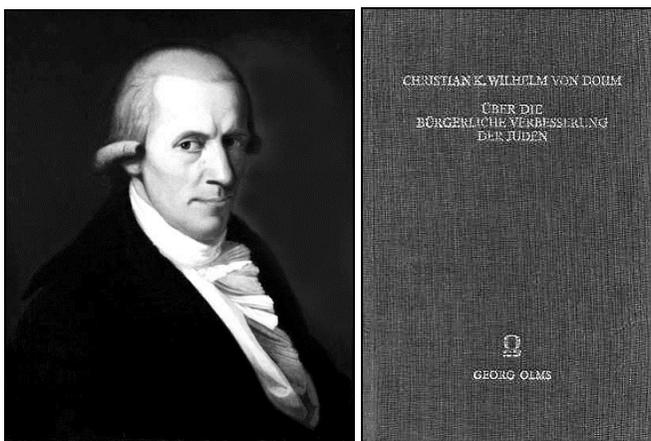
Евреи часто брали в аренду различные шинки, кабачки и прочие питейные заведения. Именно этим делом и занялись братья Мендель и Майер Йохем Прингсхаймы, когда оказались в Силезии.

Судя по всему, Мендель Йохем, несмотря на молодость, был состоятельным человеком, если он получил разрешение поселиться в Бернштадте. Кроме Менделя, в городе проживали еще три еврейские семьи, недавно там поселившиеся. Еще одним доказательством того, что он был небедным человеком, служит тот факт, что ему удалось взять в аренду кабачок в центре города, у замка. Через несколько лет Мендель построил вместе с братом свой маленький трактир. Скоро Мендель Йохем стал председателем небольшой еврейской общины своего города.

²⁹ *Barbeck Hugo*. Geschichte der Juden in Nürnberg und Fürth. Nürnberg 1878.

В конце восемнадцатого века слово «гетто» имело, скорее, символический смысл. Настоящее гетто, т.е. замкнутая часть города, отведенная для жизни евреев, встречалось редко. Последнее в Германии гетто во Франкфурте на Майне было разрушено при осаде города французскими войсками в 1798 году.

Тем не менее, и без гетто евреи в Германии жили замкнуто, почти не пересекаясь со своими христианскими соседями. Обычно они занимали дома и целые кварталы вокруг синагоги или других общинных сооружений. Во многих немецких городах сохранились улицы с названием «Jüdische Gasse» («Еврейский переулок»). От соседей-христиан евреи отличались и внешне: говорили на своем языке, хотя и близком немецкому, носили свою одежду, особые головные уборы...

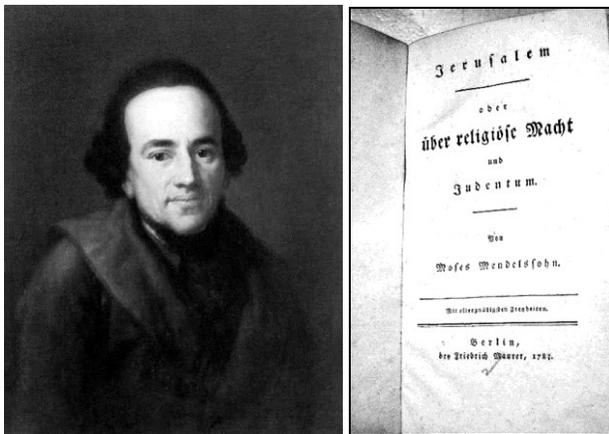


Кристиан Дом. «Об улучшении гражданского положения евреев». 1781

И все же идеи равноправия зрели в обществе, и в восьмидесятих годах восемнадцатого века были озвучены и вынесены на всеобщее обсуждение. Кстати, тогда сам термин «эмансипация» еще не использовали, в ходу было выражение «гражданское улучшение (исправление)» (die bürgerliche Verbesserung). Этот оборот стал особенно популярным в Европе после выхода в свет в 1781 году знаменитой книги прусского дипломата, историка и писателя Христиана Дома (Christian Konrad Wilhelm Dohm, 1751-1820). В энциклопедиях он фигурирует как «Христиан фон Дом», однако дворянскую прибавку к имени «фон» Дом получил только в 1786 году. Его книга называлась: «Об улучшении гражданского положения евреев» (дословно «О гражданском улучшении (исправлении) евреев») ³⁰.

³⁰ Dohm Christian. Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Berlin/Stettin 1781.

Под впечатлением этой книги австрийский император Иосиф Второй (Joseph II, 1741–1790) в 1782 году, спустя лишь несколько месяцев после ее выхода в свет, выпустил свой знаменитый «Указ о терпимости» (так называемый «Толеранцпатент» – «Toleranzpatent»), отменявший многие ограничения прав евреев в Вене, Богемии, Моравии, Венгрии. Через семь лет этот указ распространили на многочисленных евреев Галиции, присоединенной к Австрии после первого раздела Польши в 1772 году.



Моисей Мендельсон. «Иерусалим, или о религиозной власти и еврействе», 1783

Книга Христиана Дома вышла под непосредственным влиянием Моисея Мендельсона (Moses Mendelssohn, 1729-1786), которого многие не без оснований называют предтечей еврейской эмансипации. Мендельсон был одним из «привилегированных евреев», кому разрешалось жить в Берлине. Своим талантом и трудолюбием он смог занять заметное место в кругах интеллектуальной элиты Европы: философ, лауреат премии Прусской академии наук, литературовед и литературный критик, признанный знаток Торы и Талмуда, переводчик Пятикнижия на немецкий язык... Современники уважительно называли его «еврейским Сократом», встречи с ним искали представители королевских дворов Европы, его научными работами восхищались такие философы, как Кант.

Многие соплеменники ожидали, что Мендельсон сам напишет о несправедливо бесправном положении евреев, но Моисей считал, что такую книгу должен написать христианин. Друг и ученик Мендельсона Христиан Дом прекрасно справился с этой задачей.

Через два года после книги Дома, в 1783 году Мендельсон выпустил собственный труд «Иерусалим, или о религиозной власти и

*еврействе*³¹, в котором обосновал необходимость равных прав евреев и христиан. При этом евреи вовсе не должны были отказываться от своей веры, ибо принципы иудаизма – религии разума – не противоречат задачам государства. Равенство прав должно быть обеспечено независимо от вероисповедания.

Книги Христиана Дома и Моисея Мендельсона вызвали оживленные дискуссии, бесправное и унижительное положение евреев стало предметом всеобщего внимания, мысль о необходимости перемен постепенно проникала в разные слои общества.

Величайшая заслуга Моисея Мендельсона состояла в том, что своими литературными и научными трудами, да и всей своей яркой общественной жизнью он показал, что угнетенный народ заслуживает не ненависти или жалости, но уважения.

Этого же добились своим трудом и образом жизни представители фамилии Прингсхайм. По мере ослабления ограничений на профессии, доступные для евреев, расширялась и сфера деятельности Прингсхаймов.

Брак Майера Йохема с Ребеккой Лёбель (Rebecca Löbel) оказался бездетным, зато у его брата Менделя было девять детей. Те из них, кто дожил до взрослого возраста, пошли по стопам отца и дяди – либо держали шинки и пивоварни, либо занимались мелкой торговлей. Наиболее удачливые становились богатыми и открывали свои предприятия, а их внуки и правнуки поднимались в верхние слои немецкого общества.

Типичный пример – внук Менделя Йохима Эмануэль Прингсхайм (Emanuel, 1796-1866). Он жил в эпоху, когда эмансипация евреев только набирала ход. Эмануэль стал крупным предпринимателем, владельцем поместья, меценатом... Про его сыновей Зигмунда (1820-1895) и Натаниэля (Nathanael, 1823-1894), доживших до объединения Германии, можно с полным правом сказать, что они принадлежали высшему свету. Банкир Зигмунд получил звание коммерции советник и дворянский титул как владелец поместья недалеко от города Лейтена (Leuthen), известного по знаменитому сражению 1757 года между Пруссией и Австрией во время Семилетней войны.

Но еще больше прославился брат Зигмунда – Натаниэль (или Натан) Прингсхайм. Он с детства увлекался ботаникой и в возрасте двадцати восьми лет стал приват-доцентом Берлинского университета. В 1864 году, когда Натану было уже за сорок, он получил заветное для каждого ученого профессорское звание в Йене, где основал институт физиологии растений. Через четыре года он вернулся профессором ботаники в Берлинский университет. Натан Прингсхайм заслужил всеобщее признание как выдающийся ученый. В 1856 году тридцатитрехлетний Натан стал членом Прусской академии наук. Он был первым академиком и профессором среди Прингсхаймов и стал для многих его родственников образцом для подражания.

³¹ См., например, современное издание: Mendelssohn Moses. Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Felix Meiner Verlag, Hamburg 2005.

Братья Зигмунд и Натан Прингсхаймы были женаты на сестрах Анне (Anna, 1831-1901) и Генриетте Гурадзе (Henriette Guradze, 1830–93). Многие дети от обоих этих браков занимались наукой.

Натан Прингсхайм принадлежал к четвертому поколению потомков Менделя Йохема Прингсхайма – был его правнуком. Другие правнуки Менделя Прингсхайма входили в немецкое общество через ворота индустриализации. Так Хайман (Хаим) Прингсхайм (1810-1875), внук старшего сына Менделя Йохема, помимо пивоварни, первым в родном городе Оппельн (Oppeln, ныне столица польского воеводства - Ополе) организовал цементное производство, на чем основательно разбогател. Не удивительно, что его дети и внуки получили первоклассное образование и смогли посвятить себя науке. Три внука Хаймана Прингсхайма получили профессорские кафедры в университетах. Ганс (1876-1940) стал химиком и преподавал в Берлинском университете, пока не был вынужден эмигрировать в Швейцарию из-за нацистского преследования. Эрнст Георг Прингсхайм (1881-1970) пошел по стопам Натана и занялся ботаникой. Он читал лекции в Немецком университете в Праге. Наконец, третий брат Фриц Прингсхайм (1882-1967) стал крупным специалистом по античному праву. Он вел занятия во Фрайбурге и Геттингене. В 1939 году Фриц эмигрировал в Англию и работал в Оксфорде. После войны снова вернулся во Фрайбург, где преподавал до конца жизни.

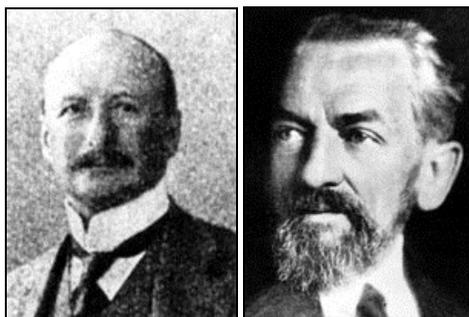
Родственниками этой ветви Прингсхаймов были известные ученые: патологоанатом Карл Вайгерт (Carl Weigert, 1845-1894) и уже упомянутый нами иммунолог Пауль Эрлих, оба тоже родом из Силезии.

Из приведенных примеров отчетливо видна такая тенденция: некоторые правнуки Менделя Йохема Прингсхайма, современника Моисея Мендельсона, добивались богатства и занимали достойные места в немецком обществе, а уже их дети и внуки шли в науку, получали профессорские кафедры и становились частью немецкой академической элиты.

Можно привести множество подобных примеров, но одно яркое подтверждение этого правила невозможно не упомянуть, так как в нем идет речь о коллеге Петера Прингсхайма – его дальнем родственнике Эрнсте Прингсхайме (1859-1917), вошедшем в историю физики опытом Луммера-Прингсхайма (или, как иногда по-русски пишут его фамилию, опытом Луммера-Прингсгейма). Опыт, поставленный в 1899 году, связан все с той же проблемой излучения абсолютно черного тела, которую мы уже не раз упоминали. Это был один из тех экспериментов, которые подтолкнули Макса Планка к открытию через год квантов света. Физик Эрнст Прингсхайм, профессор сначала Берлинского университета, а потом университета в его родном городе Бреслау, был сыном уже упомянутого банкира и коммерции советника Зигмунда Прингсхайма и его жены Анны, урожденной Гурадзе. Одновременно Эрнст приходился племянником профессору ботаники Натану Прингсхайму. И Эрнст, и его

друг-коллега Отто Луммер³² еще встретится нам на страницах этих заметок.

Эрнст Прингсхайм принадлежал к пятому поколению потомков Менделя Йохема, и его отделяет от его прапрадеда примерно сто-сто двадцать лет. Это как раз тот «век эмансипации», который прошли евреи Западной Европы от полного бесправия и изоляции от соседей до обретения формально равных со всеми прав и занятия самых высоких общественных позиций. Сто лет и четыре поколения, на первый взгляд, кажутся поразительно длинным сроком. Но если взглянуть на изменения в общественном положении евреев, когда потомки мелких торговцев и бесправных держателей шинков становятся университетскими профессорами, банкирами и коммерции советниками, то скорость эмансипации представляется совсем не маленькой.



Эрнст Прингсхайм и Отто Луммер

Фундаментальные науки не сулят такого финансового успеха, как торговля или банковское дело. И, тем не менее, многие выходцы из богатых еврейских семей предпочитали занятия физикой или математикой традиционным видам бизнеса, сделавших их родителей состоятельными людьми. Этот выбор оказалось довольно распространенным явлением в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков. Причину этого следует искать в незавершенной эмансипации немецких евреев. Несмотря на все прогрессивные законы и политические декларации, фактическое равенство так и не наступило. И даже богатство не компенсировало чувство неполноценности. Успех в науке сулил для молодого честолюбивого человека возможность преодолеть несправедливость, добиться признания своего равенства со всеми людьми, подняться над расовыми или религиозными барьерами. Статистические исследования социального состава родителей немецких ученых, евреев и неевреев, убедительно это подтверждает. Например, более половины всех университетских преподавателей-евреев (приват-доцентов и профессоров) в Германии начала двадцатого века происходили из семей банкиров,

³² Отто Луммер (Otto Lummer, 1860-1925) – немецкий физик, с 1904 года профессор университета в Бреслау.

фабрикантов, крупных торговцев, в то время как в среднем по стране из таких семей вышло только двадцать процентов преподавателей³³.

История семьи нашего героя Петера Прингсхайма тоже прекрасно иллюстрирует отмеченную закономерность. Отец Петера – профессор математики Альфред Прингсхайм – принадлежит к тому же пятому поколению потомков Менделя Йохема, что и профессор физики Эрнст Прингсхайм. Только Альфред – правнук второго сына Менделя – Моисея, а Эрнст – правнук старшего сына Менделя – Хайма (или Хаймана) Прингсхайма.



Альфред Прингсхайм

Отец Альфреда – Рудольф Прингсхайм (1821-1906) – оказался, пожалуй, самым удачливым промышленником среди своих тоже преуспевающих родственников. Он родился в том же городке Эльс, в котором поселился старший брат его прадеда Майер Йохем Прингсхайм, но затем семья Рудольфа переселилась в городок Олау (Ohlau, ныне польский город Олава в Нижнесилезском воеводстве), где торговля, чем занимался отец семейства, должна была идти успешнее. Свой трудовой путь будущий миллионер начал с должности экспедитора, сопровождавшего телеги с железной рудой или каменным углем от шахт и рудников до ближайшей железнодорожной станции. Сеть узкоколеек тогда была еще недостаточно развита, поэтому приходилось пользоваться гужевым транспортом. Да и на имевшихся узкоколейках грузы везли не только локомотивы, но и лошади, которые шли между рельсами, таща за собой наполненные углем или рудой вагонетки.

В середине пятидесятих годов девятнадцатого века железнодорожная компания, осуществлявшая все перевозки грузов в Верхней Силезии, решила сконцентрироваться только на локомотивных перевозках и передала весь гужевой транспорт в аренду Рудольфу

³³ *Volkov Shulamit*. Antisemitismus als kultureller Code (см. прим. 94), стр. 153.

Прингсхайму. Через несколько лет стало ясно, что это решение для компании было серьезной стратегической ошибкой. В то время как дела Прингсхайма шли в гору, паровозное предприятие Верхнесилезского общества узкоколейных дорог подошло к черте банкротства. Оно срочно нуждалось в помощи, и первого октября 1861 года сорокалетний Рудольф Прингсхайм взял убыточное предприятие под свое управление.

Первым делом новый хозяин продал имевшиеся локомотивы и вернулся к гужевым перевозкам, которые многие считали несовременными и устаревшими. Только через десять лет, когда была построена достаточно густая сеть узкоколейных дорог, использование паровозной тяги стало, наконец, рентабельным, и Рудольф Прингсхайм заменил своих лошадок локомотивами.



Рудольф и Паула Прингсхайм

Вне всякого сомнения, Рудольф Прингсхайм был человеком не только осмотрительным и осторожным, но и весьма дальновидным. Свои деньги он вкладывал сначала в построение сети рельсовых дорог в Верхней Силезии и только потом в модернизацию транспортных средств. «Сначала рельсы, потом паровозы», – так можно было бы сформулировать его основное правило. Деятельность Рудольфа Прингсхайма в организации грузовых и пассажирских перевозок в Верхней Силезии до сих пор не потеряла своего значения. В современной Польше и сейчас бегут поезда по рельсам, проложенным предпринимателем из Олау.

Когда Пруссия в 1884 году национализировала верхнесилезскую сеть узкоколейных дорог, на процветающем предприятии Рудольфа было в наличии 67 паровозов и трудилось 775 рабочих и служащих. Бывший хозяин получил солидную денежную компенсацию. Часть денег он вложил в основанное им акционерное общество «Феррум», дававшее большую прибыль. Кроме того, с Прингсхаймом был заключен договор на

двадцать лет, по которому он мог оставаться управляющим предприятия вплоть до 1904 года. Женитьба на Пауле Дойчман (1827-1909) только увеличила богатство семьи: супруга Рудольфа была дочерью устроителя прусских королевских лотерей.

До окончания срока договора Рудольф Прингсхайм не дожил, он умер в 1901 году, успев многократно приумножить свое богатство и приобрести несколько поместий в разных частях Силезии. Кроме того, еще до национализации его предприятия он приобрел земельный участок в одном из самых престижных районов Берлина по адресу Вильгемштрассе, 67, где построил дворец, ставший достопримечательностью столицы³⁴.

Богатство Рудольфа перешло по наследству его сыну, благодаря чему Альфред Прингсхайм смог создать в своем дворце в Мюнхене настоящий культурный центр баварской столицы, собрать выдающиеся коллекции произведений средневекового искусства и обеспечить блестящее образование своих детей, об одном из которых мы и ведем этот рассказ.

(продолжение следует)



³⁴ См., например, монографию Berlin und seine Bauten. Herausgegeben vom Architekten-Verein zu Berlin. Schriftleitung: K. K. Weber, Peter Güttler und Ditta Ahmadi. Berlin, Ernst und Sohn, 1979. См., также, книгу *Demps Laurenz*. Berlin-Wilhelmstraße. Eine Topographie preußisch-deutscher Macht. Ch. Links Verlag, Berlin 1996, S. 112-113.

Геннадий Горелик

О пользе пред-рассудка и о загадке рождения современной физики¹

Вопрос Нидэма и ответ Эйнштейна



ряд ли есть более подходящее место, чем журнал “Семь Искусств”, чтобы обсудить рождение восьмого – искусства *современной науки*. Произошло это в начале Нового времени, в начале перестройки высшей четверки семи свободных искусств – после тысячелетнего застоя.

Наука в самом общем смысле, как получение знаний о природе, не имеет даты и места рождения. Тысячи лет она жила в соединении с техникой и другими формами народной мудрости разных культур. Однако, если говорить о физике, то в 17-м веке произошло то, что можно назвать рождением новой - *современной* - науки. Физиком, конечно, был еще Архимед, которого Галилей называл “*божественнейшим*” (и день рождения которого не зря отмечали на физфаке МГУ, когда физики были в почете). Для Галилея очень важен был и Коперник, своей астрономией поставивший острую физическую проблему, почему движение Земли не ощущается ее обитателями. Но “*отцом современной физики*” Эйнштейн назвал именно Галилея.

Поворотный момент в истории физики отмечен тем, что в 17-м веке темп ее развития вырос в сотню раз. Главные научные “собеседники” Галилея – Аристотель и Архимед – жили двадцатью веками ранее, а исследования Галилея были подхвачены уже его современниками и выросли в современную физику.

Что же такое Галилей открыл, чтобы так сильно изменить ход истории? Это не его конкретные физические открытия сами по себе. Закон инерции, к примеру, исламский ученый Ибн аль-Хайсам увидел за шесть веков до Галилея, а китайский философ Мо-цзы – даже за двадцать (!) веков, однако лишь историки обнаружили эти прозрения в старых манускриптах. А книги Галилея начали новую эру в науке.

¹ На основе главы из книги «Драма идей и драмы людей: от маятника Галилея до квантовой гравитации» (готовится к изданию)

Вопрос о причинах этого взлета науки особенно остро задал Джозеф Нидэм, британский биохимик, ставший историком китайской цивилизации. Столь необычное превращение началось с того, что в его биохимической лаборатории появились сотрудники китайского происхождения. С их помощью знакомясь с историей Китая, он и спросил:

“Почему современная наука, с ее математизацией гипотез о природе и с ее ролью в создании передовой техники, возникла лишь на Западе во времена Галилея? Почему она не развилась в Китайской цивилизации (или Индийской), а только в Европе?” Ведь *“до 15-го века китайская цивилизация была намного эффективнее западной в применении знаний о природе к практическим нуждам человека”*².

Отвечая на сходный вопрос, Эйнштейн еще более обострил его:

“Развитие Западной науки основано на двух великих достижениях – на греческом изобретении формально-логической системы (в евклидовой геометрии) и на открытой в эпоху Ренессанса возможности находить причинные связи посредством систематических опытов. Меня не удивляет, что китайские мудрецы не сделали этих шагов. Изумляет, что эти открытия были сделаны вообще”.

Эйнштейн не раз восторгался “чудом науки”, но отказался искать ответ, который невозможно проверить. Чудеса новой физики основаны на многократной опытной проверке ее гипотез. А история состоялась лишь единожды, ее не воспроизвести, и гипотезу о ее причинных связях опытами не проверить.

Такой довод не всех отвращает от размышлений об истории науки, в которой драма идей переплетается с судьбами людей. Главное событие в развитии науки – рождение идеи, а это дело сугубо человеческое. Поэтому история физики – наука гуманитарная, хоть в ней и говорят о физических явлениях и математических соотношениях.

В гуманитарных делах, однако, тоже бывает определенность, как, скажем, в правосудии, высший орган которого – коллегия присяжных – обычные, неискушенные в юриспруденции граждане. Им дано право, выслушав доводы и опираясь на собственный здравый смысл, согласиться с предложенным им утверждением или нет. Такую же роль могут взять на себя вдумчивые читатели.

Прежде всего расширим вопрос Нидэма в пространстве и времени, чтобы говорить не только об одном уникальном историческом событии – о рождении современной физики. К шестнадцатому веку Китай, Индия и мир Ислама не уступали Европе по уровню техники и социальной организации. В Европе освоили китайское изобретение бумаги, ставшее предпосылкой книгопечатания, и десятичную системучисления, принесенную из Индии мусульманами, от которых также получили многое из античного наследия и их собственные изобретения, как, например, “алгебру” и “алгоритм”. Однако новая физика, родившись в Европе, лишь внутри нее распространялась свободно: из Италии

² J. Needham, *The Grand Titration: Science and Society in East and West*, Toronto: University of Toronto Press, 1969, pp. 16, 190.

Галилея в Голландию Гюйгенса, в Англию Ньютона и в Россию Ломоносова. А за пределы Европы новое европейское изобретение не проникало почему-то очень долго.

Уточним вопрос Нидэма так:

Чего не хватало античной науке, чтобы сделать следующий после Архимеда шаг? И почему после возникновения современной физики ее развитие три века проходило без участия неевропейских цивилизаций?

Взлет науки, обеспеченный Коперником, Галилеем, Кеплером и Ньютоном, историки назвали *Научной революцией* и стали искать ее причины.

Первое решение предложил советский философ науки Б. Гессен в 1931 году в докладе “Социально-экономические корни механики Ньютона”.³ Эти корни он усмотрел в запросах растущего капитализма – в усилении роли техники. С этого начался подход, объясняющий события в истории науки причинами внешними – вненаучными. Новаторским был сам выход за пределы внутренней истории науки. Спустя несколько лет американский социолог Р. Мертон предположил, что дух эмпиризма в новой физике обязан протестантскому взгляду на земные дела. Наперекор, французский историк А. Койре, автор самого термина “Научная революция”, предположил, что главной ее силой была “математизация природы”, а вовсе не эксперимент. И, наконец, австрийский историк Э. Цильзель объяснил возникновение современной физики тем, что развитие капитализма способствовало контактам академически образованных ученых с техниками высшей квалификации.

Само различие этих объяснений свидетельствует об отсутствии убедительного. О том же говорит и вопрос Нидэма, заданный под влиянием Цильзеля. Тот надеялся проверить свое представление, сравнивая развитие науки в Европе и в других цивилизациях. Таким сопоставлением с китайской цивилизацией Нидэм занялся и пришел к своему озадачивающему вопросу.⁴

Каждое из указанных объяснений, беря одни стороны исторической реальности, не согласуется с другими. Действительно, главные достижения Научной Революции – в небесной механике – не имели выхода в технику. И опыт и математика – главные инструменты всех четверых основоположников: Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона, лишь двое из которых – протестанты. И, наконец, в Китае, без капитализма, ученые теоретики успешно сотрудничали с искусными практиками, а физика не возникла.

Физика современная и физика фундаментальная

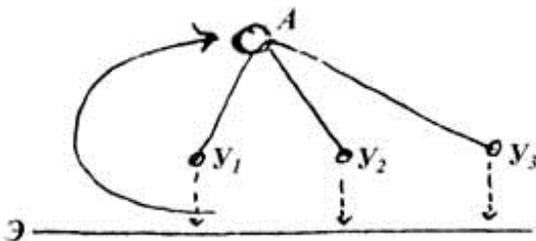
Чтобы увидеть суть главного изобретения Галилея, надо прежде всего выяснить отличие его физики от физики Архимеда. Книги

³ Б. М. Гессен. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.-Л. 1933.

⁴ J. Needham. Foreword. In: Edgar Zilsel. The Social Origins of Modern Science. Ed. Diederick Raven, Wolfgang Krohn, and Robert S. Cohen. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.

Архимеда поражают ясностью и точностью изложения. Не зря Галилей называл его божественнейшим. К тому же опыты и математика Галилея не выходили за пределы возможностей Архимеда.

В чем за эти пределы вышел Галилей, помогает увидеть Эйнштейн, который свое понимание физики изобразил схемой:



Здесь аксиомы A – основные понятия и законы теории – “свободные изобретения человеческого духа, не выводимые логически из эмпирических данных”. Аксиомы эти изобретает интуиция, взлетающая (дугообразной стрелой), оттолкнувшись от почвы эмпирики \mathcal{E} . Из аксиом логически выводят конкретные утверждения V , которые приземляют – сопоставляют (пунктирными стрелками) с данными наблюдений \mathcal{E} .

Новые аксиомы изобретают гораздо реже, чем применяют уже известные для объяснения новых явлений. Однако поразительные успехи современной физики достигнуты именно способом, изображенным Эйнштейном, а изобретенным Галилеем, который, можно сказать, изобрел сам метод изобретения новых понятий.

Этот метод предполагает, что:

- 1) **Природа основана на глубинных законах, вовсе не очевидных, подобно фундаменту многоэтажного здания;**
- 2) **Человек способен понять устройство Природы, свободно изобретая новые понятия и сопоставляя их с опытами.**

Назовем это *двойным постулатом фундаментальной науки*. Соответствующее мировосприятие и стало главным новшеством Научной Революции. Оно опирается на веру в то, что мир – стройное мироздание, стоящее на некоем невидимом – “подземном” – фундаменте. Невооруженному глазу видны лишь надземные этажи, но фундаментальные физики надеются понять архитектурный план всего здания, начиная с фундамента, очам не видного. Чтобы раскрыть устройство этого фундамента, физики задают Природе вопросы в виде измерительных опытов. Измерения обеспечивают четкость ответов и позволяют подтвердить или опровергнуть математически выраженную теорию. Поэтому фундаментальной физике и необходим комплект из двух инструментов – опыта и математики. Но необходимо и нечто большее, о чем сказал Эйнштейн, – свободная изобретательность духа.

Дело в том, что фундаментальные понятия вовсе не обязаны быть очевидными, их подтверждает или опровергает весь процесс познания, обрисованный Эйнштейном. “Понятия никогда нельзя вывести

из опыта логически безупречным образом”, и *“не согрешишь против логики, обычно никуда и не придешь”*”, писал он, подразумевая, конечно, логику предыдущей теории. Но совершая первый шаг – первый взлет интуиции, физик другой логики еще и не имеет.

Плодотворность неочевидных аксиом в познании Вселенной первым обнаружил Коперник, получив убедительные следствия из абсурдно неочевидной аксиомы о движении Земли подобно очевидным движениям планет. Этот пример свободы разума помог Галилею изобрести метод познания, суть которого в том, что исследователь волен изобретать сколь угодно неочевидные – “воображаемые” – понятия, отталкиваясь от наблюдений, если затем соединит свободу творческого взлета разума с надежным его приземлением в опытах.

Именно так Галилей открыл закон свободного падения – первый фундаментальный закон, согласно которому *в пустоте* движение *любого* тела не зависит от его веса и состава. Неочевидное и “нелогичное” фундаментальное понятие, которое ему понадобилось, – “пустота”, точнее – “движение в пустоте”. Это *физическое* понятие он ввел вопреки Аристотелю – величайшему тогда авторитету, “доказавшему логически”, что пустота, т.е. ничто, существовать не может. Пустоту Галилей не воспринимал органами чувств, он не проводил опытов в пустоте. Он мог лишь сопоставить опыты с движением в воде и в воздухе, что и стало взлетной полосой для его изобретательного разума. Он воспользовался свободой изобретать фундаментальные понятия на математическом языке – свободой, ограниченной лишь проверкой выводов в опытах. Так он пришел к понятию “невидимой” пустоты – понятию, позволившему сформулировать закон инерции, принцип относительности и, наконец, закон свободного падения. Тем самым он показал, как работает изобретенный им метод.

На схеме Эйнштейна отличие физики Галилея от физики Архимеда – стрела изобретательной интуиции, взлетающая вверх. Все понятия Архимеда наглядны: форма тела, плотность вещества и плотность жидкости. И этих понятий ему хватило, чтобы создать теорию плавания – последовательно, малыми шагами. Подобным же образом Птолемей составил геоцентрическую теорию планетных движений. Однако не любую теорию можно создать, ограничиваясь лишь наглядными понятиями и малыми шагами.

Коперник совершил идейный взлет, решив всерьез исследовать, как выглядели бы планетные движения, если на них смотреть с «Солнечной точки зрения». А взлет Кеплера – предположение, что траектории планет должны описываться не сложными комбинациями круговых циклов и эпициклов, а неким единым образом. И Коперник, и Кеплер изучали, однако, по сути лишь один объект – Солнечную систему, эмпирически опираясь лишь на астрономические, “пассивные”, наблюдения, а главным их теоретическим инструментом была математика. И оба принимали двойной постулат фундаментальной науки. Поэтому их можно назвать фундаментальными астро-математиками.

Галилей первым применил изобретательную свободу познания в мире явлений земных, где возможны активные систематические опыты.

Он верил в то, что оба мира – подлунный и надлунный – подвластны единым законам. Обнаруживая в земных явлениях фундаментальные законы, вроде закона инерции, он считал этот закон действующим и для астрономических явлений. И стал первым фундаментальным физиком (и астрофизиком).

С тех пор так работает физика переднего края, которую можно назвать фундаментальной, или галилеевой. Остальную часть физики можно назвать “архимедовой”, в ней к понятиям наглядным, или «очевидным», добавляются фундаментальные понятия, уже проверенные и ставшие привычными. Фундаментальная часть физики, подобна передней – острой – кромке ножа, без которой нож теряет свою дееспособность, хотя необходимы также и ручка и часть лезвия за передней кромкой.

Метод Галилея стал главным инструментом открытий в новой науке, – давая новые понятия, новые законы природы, он мощно продвигал всю науку. Начиная же Галилей с *веры* в фундаментальную закономерность мира и в познавательную способность человека.

Источник веры в фундаментальную закономерность мира

Говоря о научном познании, Эйнштейн заметил: *“Невозможно построить дом или мост без использования лесов, не являющихся частью самой конструкции”*. Какими же лесами пользовались строители новой физики?

“Кеплер, - писал Эйнштейн, - жил в эпоху, когда власть закона в природе отнюдь не была общепризнанной. А его вера в единообразный закон была столь велика, что дала ему сил на десять лет терпеливого труда – эмпирически исследовать движения планет, чтобы найти их математические законы”.

Основатели новой науки разделяли такую веру в фундаментальную закономерность. Вера и знание прекрасно уживаются в науке: знание – это итог науки, а вера определяет начало и энергию самого процесса познания. В чем же источник этой веры?

Новая наука рождалась на фоне масштабных социальных явлений: Ренессанс, Реформация, капитализм, политическое многообразие Европы, книгопечатание.

К науке ближе всего книгопечатание, но в Китае его изобрели на несколько веков ранее и без особых последствий. Быть может, дело в том, какие именно книги печатали?

Среди первых бестселлеров была Библия, что на первый взгляд не имеет отношения к физике. Важнее, однако, как на это смотрели основатели новой науки. В их биографиях нередко встречается фраза типа “по иронии истории сам Галилей верил в Бога”. Серьезным фактом истории, однако, является то, что верующим был не только Галилей, но и все другие основатели новой науки. И все они считали Библию не менее важной книгой, чем Книга Природы. Коперник был духовного звания, Галилей и Кеплер в юности хотели стать священниками, а Ньютон о Библии написал больше, чем о физике. В своих научных исследованиях они, по выражению Кеплера, видели служение Богу. А мыслили в религии,

как и в науке, свободно-критически, что вело к расхождениям с церковными авторитетами и канонами. Истину в науке они искали, опираясь на книгу Природы, а в религии, опираясь на Библию. Для них обе эти великие книги «в оригинале» были реальностями, восходящие к единому Богу.

Но чем была религиозная вера в научных поисках основателей новой физики? Пережитком темного прошлого, туманящим их светлые умы? Безвредной данью предрассудкам, усвоенным в детстве? Или же чем-то полезным?

Свидетельство связи между религиозной верой и верой в закономерность мира обнаружил историк-марксист – и, разумеется, атеист – Э. Цильзель в обстоятельном исследовании “Происхождение понятия физического закона”. Он выяснил, что сами выражения “физический закон” и “закон природы” возникли лишь в 17-ом веке, и возникли в рамках Библейского мировосприятия. А до того слово «закон» имело лишь юридический смысл.

Свидетельство связи между религиозной верой и верой в закономерность мира обнаружил историк-марксист – и, разумеется, атеист – Э. Цильзель в обстоятельном исследовании “Происхождение понятия физического закона”. Он выяснил, что выражения “физический закон” и “закон природы” возникли лишь в 17-ом веке, и возникли в рамках Библейского мировосприятия. А до того слово «закон» имело лишь юридический смысл.

Галилей в своих книгах вместо этого слова писал “*ragione*” (соотношение) или “*principio*” (принцип). Превращение началось в его теологических письмах своему ученику и герцогине-покровительнице (1613-15), где его мировосприятие выглядит так:

И Библия и Природа исходят от Бога. Библия продиктовано Им, а Природа – верная исполнительница Его велений.

Библия, убеждая в истинах, необходимых для спасения, нередко говорит иносказательно – языком, доступным даже людям необразованным. А прямое значение слов было бы богохульством, когда, например, говорится о руках и глазах Бога, о его гневе и сожалении, о его забывчивости и незнании будущего.

Природа же, никогда не нарушая законов, установленных для нее Богом, вовсе не заботится о том, доступны ли человеческому восприятию ее скрытые причины и способы действия. Бог наделил нас органами чувств, языком и разумом, чтобы мы сами могли познавать устройство Природы. Поэтому, когда мы узнаем нечто о природных явлениях, опираясь на опыт и надежные доказательства, это знание не следует подвергать сомнению на основе фраз из Библии, которые кажутся имеющими иной смысл. Особенно это относится к явлениям, о которых там лишь несколько слов. Ведь в Библии не упомянуты даже все планеты.

Здесь фактически изложен двойной постулат фундаментальной физики: нерушимые законы управляют *скрытыми причинами* в Природе, а человек способен их понять.

При этом в познавательную способность человека Галилей верил не слепо:

“Человек устремляет свое познание вишь или вглубь. Познание вишь имеет дело с бесконечным разнообразием вещей, и даже если такое познание добыло тысячу истин, это почти ничто, поскольку тысяча по отношению к бесконечности – ноль. А человеческое познание вглубь приходит к некоторым истинам, столь же определенным, как сама Природа. Таковы математические науки, геометрия и арифметика. В них Божественный разум знает, конечно, бесконечно больше истин, поскольку знает их все. Но если говорить о тех немногих истинах, которые человеческий разум действительно понял, то это знание равно Божественному по своей объективной определенности, ибо постигнута необходимость. А больше этого уверенности не бывает”.

К концу XVII века галилеевские “законы, установленные Богом для природы”, превратились просто в “законы природы”. Произошло это благодаря Декарту и Ньютону – глубоко религиозным и влиятельным людям науки. Для атеиста Цильзеля выражение “закон природы” – это “метафора библейского происхождения”, но для религиозных основателей новой науки это было метафорой не более чем другие слова, которыми говорят о Боге. Выражение “закон природы” вошло в общий язык верующих и неверующих, а к 20-му веку забылось и то, что оно существовало не всегда, и его библейское происхождение.

Свое исследование Цильзель опубликовал в 1942 году в США, куда эмигрировал из захваченной нацистами Австрии. И то была его последняя публикация: он покончил с собой в 53 года. Неизвестно, видел ли он конфликт между своим марксистским – социально-экономическим – подходом к рождению современной физики и обнаруженной им библейской подоплекой. Похоже, он видел лишь некую особенность европейской истории, которую предполагал сравнить с историями других цивилизаций.

Изучая историю цивилизации Китая, Нидэм обнаружил главную, по Цильзелю, предпосылку для возникновения современной науки – контакты ученых теоретиков с практиками высшего уровня. Однако ничего, похожего на физику Галилея, в Китае не возникло. Не возникло там и капитализма, хотя все социально-экономические предпосылки, казалось бы, имелись – деньги, рынок, свободная рабочая сила, развитая техника, юридическая система. А, по Цильзелю, именно капитализм побуждает сотрудничать ученых-теоретиков и техников-практиков.

Так что объяснение Цильзеля не выдержало проверки. Но обнаруженная им вовлеченность Библии в рождение новой физики подсказывает объяснение совсем иное – не социально-экономическое, а культурно-историческое. Немарксистский ответ на вопрос о причинах Научной революции дает гипотеза об определяющей роли Библии, которой за пределами Европейской цивилизации попросту не было. Что и отвечает на вопрос Нидэма.

Не так важна история выражения “закон природы”, как сама роль Библейского мировосприятия в мышлении основателей новой науки. Нет смысла обсуждать их теологические различия. Религиозное чувство

совмещалось у них со свободой и независимостью мышления и в науке, и в религии. Их общей религией можно назвать “библейский теизм”, источник которого – Библия в их собственном понимании. Связь двух видов веры в сознания основателей помогает увидеть связь двойного постулата фундаментальной науки с фундаментальными постулатами Библии – о Творце-Законодателе и о свободе человека, созданного по Его подобию.

Не следует думать, что в 17-м веке, когда возникала современная физика, атеистов не было. Атеизм “жил и работал” еще во времена Архимеда – в учении Эпикура и его последователей. Открытым атеистом был коллега и друг Ньютона – астроном Э. Холи (Галлей). Однако среди основателей новой физики атеистов не было. Не были атеистами и великие физики, изобретатели новых фундаментальных понятий, – Максвелл, Планк и Эйнштейн.

Эйнштейн свое мировосприятие выражал в шутило-религиозной форме: *“Господь изощрен, но не злонамерен”*. Его друга-атеиста М. Соловкина беспокоило, что в подобных шутках читатели увидят слишком большую долю религии. Отвечая ему, Эйнштейн писал, что *«не нашел лучшего слова, чем “религиозная”, для уверенности в рациональном характере реальности, доступной человеческому уму, а там, где это чувство отсутствует, наука вырождается в бескрылый эмпиризм»*. И пояснил: *«Ты находишь странным, что я говорю о познаваемости мира как о чуде или как о вечной тайне. Но ведь следовало бы ожидать мира хаотического, который мы могли бы упорядочить своим разумом лишь подобно алфавитному порядку слов. Совершенно иной порядок проявился, например, в теории гравитации Ньютона. Он придумал аксиомы этой теории, но сам ее успех означает высокую упорядоченность объективного мира, ожидать чего заранее нельзя. В этом и состоит “чудо”, которое лишь усиливается при расширении наших знаний”*.

Эйнштейн, по сути, выразил тот же двойной постулат фундаментальной науки.

Постулаты и предрассудки

Во времена Эйнштейна верить в существование фундаментальных законов было нетрудно, – многие уже удалось открыть. В 16-ом веке не знали еще ни одного. Потому основатели новой науки нуждались в поддержке, которую и получали от своих религиозных *предрассудков*. Их «пред-физику» можно назвать и более возвышенно: скажем, «метафизикой» или «постулатом», но слово «предрассудок» точнее выражает суть дела. Речь идет об исходной позиции исследователя, *пред-шествующей* научным исследованиям его *рассудка*. Употребляя слово «предрассудок» в таком нейтральном смысле, будем писать его через дефис: «пред-рассудок».

Постулат – это утверждение, принимаемое без доказательства, но принимают по-разному. Евклид предложил набор постулатов, чтобы из него следовали все остальные утверждения геометрии. Пример постулата: через две точки можно провести лишь одну прямую линию. Представив

себе прямую в виде натянутой нити, постулат этот легко принять на основе собственного жизненного опыта. Менее очевиден другой постулат: на плоскости через точку вне данной прямой можно провести одну и только одну прямую, не пересекающуюся с первой. Многие века математики пытались этот постулат доказать, то есть свести к другим – очевидным – постулатам. Лобачевский первым понял, что это невозможно, заменив этот постулат на его отрицание и получив логически безупречную систему утверждений. Подобные системы утверждений описывают геометрии не на плоскости, а на искривленной поверхности (например, на сфере или на поверхности, подобной воронке). То есть в математике неэквивалентные наборы постулатов определяют разные математические миры.

Постулат же о фундаментальном устройстве реального мира и о его познаваемости имеет совершенно иной характер. Он не следует из каких-то научных знаний или из житейского опыта. А чтобы этот постулат стал крепкой опорой, в него надо «свято» верить. Так что речь идет о научном пред-рассудке, который для основателей новой науки следовал из их пред-рассудков религиозных. Лишь для носителя пред-рассудков они очевидны, поскольку усвоены незаметно, обычно в юном возрасте, из культурного окружения, подобно тому как усваивают родной язык.

Связь научных и религиозных пред-рассудков увидели в 1737 году миссионеры, принесшие в Китай и Библию и европейскую науку:

*“Мы объясняем китайцам, что Бог, создавший Вселенную из ничего, управляет ею всеобщими законами, достойными Его бесконечной мудрости, и что все творения подчиняются этим законам с изумительной точностью. Китайцы отвечают, что эти высокопарные слова не несут им никакого содержания. Законом они называют порядок, установленный законодателем, который имеет власть предписывать законы тем, кто способен их исполнять, а, значит, способны их знать и понимать. Считать же, что Бог установил всеобщие законы, означает, что животные, растения и вообще все тела имеют знание об этих законах и, следовательно, наделены пониманием. А это, говорят китайцы, абсурдно”.*⁵

Абсурдно для тех, кто не верит рассказу Библии о Создателе-Законодателе Вселенной. Раз в Китае не было понятия “законы природы”, то не мог и возникнуть постулат фундаментальной науки.

Когда в Китае миссионеры писали процитированный отчет, в России, на 12-ом году ее Академии наук, 26-летний Михаил Ломоносов усердно осваивал европейскую ученость. Этот сын рыбака с дальнего Севера преодолел высокие жизненные барьеры на пути к науке, но “китайского” барьера среди них не было. В России, несмотря на все ее отличия от Западной Европы, в науку точно так же шли люди из просвещенного – читающего – меньшинства, которое опиралось на те же библейские пред-рассудки, что и аналогичное меньшинство в Западной

⁵ Цит. по: Н. Ф. Cohen, The scientific revolution: a historiographical inquiry, 1994, p. 467.

Европе. Для Ломоносова Библия была столь же важной книгой, как для Галилея и Ньютона, так же укрепляла его веру в закономерность мира и так же помогала критически смотреть на земные авторитеты, провозглашая высший авторитет Создателя-Законодателя Вселенной.

Пока речь идет о гениях науки, гипотеза о том, что ими двигало, может выглядеть просто домыслом, – слишком это штучные личности. Наука же – явление социально-культурное, и доводы желательны социологические.

Естественно начать с той культуры, которая дала Библию. Традиционное образование и религиозная жизнь евреев опирались на изучение Книги книг настолько, что возникло выражение «народ Книги». Богоизбранность этого народа – вопрос веры, а историческая реальность – беспримысленные притеснения. В частности, доступ в университеты евреи начали получать лишь в 19-м веке. Творческая активность, которую евреи проявляли с тех пор, особенно в науке, наводит на мысль, что и притеснения способствовали их дееспособности. Трудно, однако, проверить эту мысль сравнением, отделив вклад библейского заряда: вековые ограничения так сильно «перекосили» социальный состав евреев относительно основного населения Европы, что сравнивать не с чем.

Можно, однако, сравнить разные христианские конфессии. Историки-социологи подсчитали, что за первые три века современной науки протестанты внесли в нее непропорционально большой вклад по сравнению с католиками.⁶ В двадцатом веке перевес подтверждается статистикой нобелевских премий: лауреаты протестантского происхождения составляют 30% при доле в мировом населении 7%, а лауреаты католического происхождения – 9% при доле в населении 17%.⁷ Такое различие в «нобелевском потенциале» можно связать с ролью Библии в протестантской традиции.

Религия действует на социальную жизнь и культуру, разумеется, многосторонне, а влияние Библии началось задолго до 16-го века, но оно кардинально усилилось, когда изобретение книгопечатания дало возможность лидерам Реформации осуществить принцип *Sola Scripture*, провозглашающий Библию единственным источником вероучения, для чего следовало переводить ее на разговорные языки. Чтобы противостоять протестантам появились и католические переводы Библии. А религиозные дебаты о смысле библейского текста побуждали верующих к чтению новоизданной древней Книги книг. Это могло содействовать развитию науки, например, таким образом.

⁶ H. F. Cohen, *The Scientific Revolution: a historiographical inquiry*. Chicago: University of Chicago Press, 1994, p. 314.

⁷ Данные взяты из статьи: J. M. Rector and K. N. Rector “What is the Challenge for LDS Scholars and Artists?”, опубликованной в мормонском журнале “Dialogue – A Journal of Mormon Thought” (2003, Vol. 36, N 2, p. 34-46) и призывающей мормонских ученых “подтянуться”. По данным авторов статьи, нобелевские лауреаты еврейского происхождения составляют 17% при доле в мировом населении 0.2%.

Будем считать, что врожденные способности к исследованию (любопытность, интеллект, воображение, целеустремленность) встречаются в разных культурах одинаково часто, точнее – одинаково редко. Однако пред-рассудки данной культуры могут помогать или мешать выявлению таких людей. Проникая в культуру, библейские постулаты о незримом Творце-Законодателе, создавшем мир для человека, свободного познавать волю и деяния Создателя, поддерживали религиозных естествоиспытателей в поиске законов Мироздания. Чем активнее Библия участвовала в жизни общества, тем больше шансов было у потенциального исследователя стать реальным. До книгопечатания текст Библии был доступен в основном лишь служителям церкви, уже избравшим свой путь, далекий от исследования природы. Став широкодоступной и попадая в руки юным потенциальным исследователям (таким, как Галилей и Кеплер), Библия заражала и заряжала их мощным пред-рассудком – верой в свое право на свободу познания, укрепляя их творческую смелость.

После того, как физика Галилея-Ньютона триумфально оправдалась, верить в фундаментальное устройство мира и в его познаваемость можно стало и без опоры на Библию. Убеждали сами триумфы. А “самоочевидный” ныне двойной постулат фундаментальной физики вместе с другими установками библейского происхождения, стали общей инфраструктурой цивилизации, которую именуют Западной, или Европейской, или Христианской. Точнее эту цивилизацию назвать Библейской, поскольку именно Библия, растворившись в национальных культурах от Италии до Скандинавии и от Англии до России, стала основой их общности.

Вклад Библии в рождение современной науки не более удивителен, чем ее вклад в развитие литературы. Культурный европеец, даже если считает себя неверующим, знаком с сюжетами Библии и с ее идеями. Принципы Европейской цивилизации, кажущиеся общечеловеческими и самоочевидными, имеют библейское происхождение, даже если ныне звучат не религиозно. Само представление об общечеловеческих ценностях не было общечеловеческим. Единство человечества, выраженное в Библии единым происхождением всех людей, заповедь о еженедельном дне отдыха для «раба и рабыни» наравне с членами семьи, благожелательность к «пришельцам», равенство людей перед Богом и личная ответственность человека за свои действия, – все это именно в Библейской цивилизации развилось в нынешние представления о человеке, о его достоинстве и праве на свободу, которые называют гуманизмом. Ставшая крылатой фраза “*Человек – это звучит гордо*” в пьесе Горького следует за словами: “*Человек может верить и не верить... это его дело! Человек – свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за все платит сам, и потому он – свободен!*”

Современный атеизм, как мировоззрение, формировался в Европе восемнадцатого века. И нынешние атеисты, свободно говоря о своей позиции, редко осознают, что такая их свобода – свобода совести – это плод библейской цивилизации. Первыми эту свободу провозгласили

глубоко религиозные люди, которые, стремясь к духовной свободе, переселялись в Америку и, чтобы гарантировать эту свободу, отделили церковь от государства на уровне конституции.

Библейское наследие принадлежит и верующим и неверующим, а культурное расстояние между библейским теистом и библейским атеистом много меньше расстояния между различными цивилизациями. Неверующие дети Библейской цивилизации, не принимая всерьез религиозных постулатов Библии, несут в себе секулярные следствия этих постулатов, - в частности и в особенности, веру в познаваемую закономерность Мироздания и в золотое правило морали: *«Не делай ближнему того, что ненавистно тебе»*. Такая общность предшествовала распространению новой науки – науки Галилея-Ньютона – по всей Библейской цивилизации. Необходимая для новой науки внутренняя свобода и сила духа роднит глубоко верующих и глубоко неверующих, отличая их от непросвещенных мелко верующих.

Пред-рассудок свободы

Гипотеза о том, что ключевой предпосылкой Научной Революции была Библия, отвечает на вопрос Нидэма, поскольку Библия действительно выделяет Европейскую цивилизацию. Другая важная предпосылка – возникновение академического сословия, профессионально передающих знания в университетах, которые, однако, появились за четыре века до Галилея.

Современная физика, а вместе с ней и вся современная наука, – результат добавки новых культурных «генов» к научно-философским традициям, идущим из Древней Греции. Уже древние греки говорили о неких неочевидных первичных элементах природы, таких как апейрон и атомы. Пифагор, открывший зависимость звука струны от ее длины, проповедовал, что «Всё есть число», то есть что основа мира – числовые соотношения. Платон учил о первичности идеальных форм в понимании материального мира. Для него материальный мир был лишь намеком на главный мир – мир идей; так круг, нарисованный прутиком на песке, намекает на идеальное понятие круга. Отсюда, казалось бы, лишь шаг до поиска фундаментальных законов Вселенной, но этого шага никто не сделал за оставшиеся семь веков античной цивилизации.

Позицию Платона не принимал даже его великий ученик Аристотель, которого занимал сам реальный мир, а на понятия и их соотношения он смотрел как на способ описания этого мира. Так что идеи Пифагора и Платона были всего лишь мнениями некоторых философов, пусть и великих. Платон подкреплял свои идеи фигурой Демиурга – некоего божественного мастера, создавшего реальный мир в соответствии с идеальными формами, но из материала далеко не идеального, чем и объяснялись несовершенства мира. Некоторые помещали Демиурга среди Олимпийских богов, а христианские философы приписали Платону предвидение библейского Бога-Творца. Вряд ли, однако, сам Платон согласился бы опознать Демиурга в божестве, придуманном далеко от Эллады народом, не знающим геометрии. Достаточно сопоставить изошранные

философские диалоги Платона и бесхитростные сказания Библии с кровопролитиями и жертвоприношениями.

Мировосприятие отца современной физики, Галилея, основывалось на гораздо более надежных пред-рассудках, чем мнение какого-то философа. Он не сомневался, что Бог сформировал Вселенную, сотворив и сам исходный материал. Сотворил и человека, наделив его качествами, необходимыми для познания. В своем поиске истины Галилей применял интеллектуальные инструменты великих греков: и Архимеда, которого почти боготворил, и Аристотеля, с приверженцами которого сражался, но прежде учился у него логике и систематичности мышления. Он оттолкнулся от учения Аристотеля, шагнув вперед, но оттолкнуться тоже значит опереться.

Рациональная традиция, пришедшая из Древней Греции, жила в тонком высокообразованном слое общества. А Библейское послание адресовано любому человеку. Благодаря книгопечатанию это послание стало доступно не только в пересказах служителей церкви. Возможность своими глазами читать слово Божье привела к стремительному росту грамотности в Европе 16-17 веков, а пытливые читатели, ощущавшие призвание исследователя, получали мощную духовную поддержку.

Историк, даже не веря ни в какого бога, но желая понять религиозного физика, вроде Галилея и Ньютона, должен понимать, во что именно те верили, в чем состояли их религиозные пред-рассудки. Суть библейского пред-рассудка, важнейшего для исследователя, – статус человека. Для физика, принимающего Библию откровением, человек, как подобие Творца Вселенной, наделен Им внутренней свободой и способностью творить. Человек – не просто венец творения, сам мир создан ради человека. Соответственно, Бог к человеку относится по-отечески – любовно и справедливо. Первый библейский сюжет, где человек принимает решение сам, – рассказ о Древе познания – дает урок свободы выбора и ответственности за свой выбор. Стремление к познанию проявилось в самом первом поступке Евы, значит, стремлением этим ее наделил сам Создатель. Главное проявление любви к Богу – любовь к ближнему, и к рабу, и к пришельцу, поскольку они в той же мере богоподобны.

Отсюда можно заключить, что именно библейский статус человека, его божественное право на свободу в познании мира, созданного для него, поднял античную рациональную традицию на новый уровень, когда возникла новая – фундаментальная – физика. Иными словами, современная наука родилась в результате соединения двух традиций – древнегреческой и библейской.

Такой вывод, разумеется, не бесспорен. Возразить можно, во-первых, тем, что еще в Древней Греции сказали, что «Человек – мера всех вещей». Однако то было лишь здравым выражением познавательного антропоцентризма. С тем же основанием, муха могла бы сказать, что «Муха – мера всех вещей (хоть как-нибудь интересующих мух)», и провозгласить мухо-центризм. Речь идет о том, что глядя на мир и высказывая свои о нем суждения, человек должен помнить, что это именно он смотрит на мир, с ограничениями, присущими «зрению»

человека. В Греко-Римской цивилизации вовсе не было «общечеловеческого» представления о человеке: раб считался «говорящим орудием», свободного гражданина отделяла от пришельца пропасть. По той же причине у греков было возможно представление о кинокефалах – людях с пёсыми головами, живущих, разумеется, где-то далеко, на окраине ойкумены.

Можно также предположить, что дело не в Библии, а в самом книгопечатании, как новом средстве распространения знаний, пришедших из античности. Тут следует учесть, что античные знания в мире Ислама освоили раньше, чем в Европе: на арабский язык перевели множество античных трудов, появились выдающиеся продолжатели научной и философской традиций древних греков. Однако появление книгопечатания не имело последствий, сравнимых с европейскими, не возникло ничего, подобного новой европейской физике, и еще три столетия не было ни одного крупного физика исламского происхождения. Первым и пока единственным Нобелевским лауреатом-физиком исламского происхождения стал в 1979 году пакистанец Абдус Салам (1926-96). При том религиозное направление, к которому он принадлежал (Ахмадия, Ahmadiyya), парламент Пакистана отлучил от Ислама, и в надписи на надгробье Салама «Первый мусульманский Нобелевский лауреат» слово «мусульманский» было стерто.

Пред-рассудка о божественной свободе человека не было в Китайской и Индийской культурах уже потому, что там не было представления о Создателе мира и человека.

Не было такого пред-рассудка и в Исламе, хотя Коран упоминает многие библейские эпизоды и персонажи. Согласно Корану, Аллах бесконечно выше человека, прямо отрицается, что Аллаху кто-либо подобен, и немислимо его отеческое отношение к человеку. Основной пред-рассудок, которому учит Коран, - покорность Аллаху (что и означает слово «Ислам»). Для исламской философии закономерность мира ограничивала бы могущество Аллаха, а претензия человека познать Вселенную – самоуверенная дерзость.

В Библии же всемогущество Творца совмещается с наличием замысла: Творец может сделать всё, что хочет, а вот что Он хочет – вопрос особый, на который Библия прямо не отвечает. Земная аналогия: для художника, поэта или композитора замысел произведения не ограничивает, а реализуют свободу творения; когда же произведение создано, зритель, читатель или слушатель имеют возможность постигать замысел земного творца. Можно постигать и замысел Творца небесного, всматриваясь в Его творения, вслушиваясь в Его голос и пользуясь дарованными Им человеку, как писал Галилей, умом, чувствами и языком. Чем и занялись физики, следуя примеру Галилея, но вовсе не обязательно наследуя его религиозное мировосприятие.

Среди нынешних физиков есть и верующие и неверующие. Согласно опросу британского журнала *Physics World*, пятая часть его читателей считают себя атеистами и уверены, что религия несовместима с наукой. Больше половины считают, что религия и наука мирно сосуществуют, поскольку рассматривают разные стороны реальности, и

эти миролюбивые физики примерно поровну называют себя верующими и неверующими. И, наконец, еще одна пятая часть, называя себя верующими, утверждают, что вера обогащает их восприятие науки.⁸ Такими были и все основатели современной физики.

Тем же, кто считают, что религия несовместима с наукой, стоит иметь в виду взгляды двух физиков, хорошо знакомых с жизнью науки и не считавших себя верующими.

Советский физик Сергей Вавилов серьезно занимался историей науки, в частности, переводил Ньютона и написал его биографию. И вот что он записал в дневнике в 1948 году: *“XX век. Прошли и Галилей и Ньютон и Ломоносов. Такие вещи возможны только на религиозной почве. Естествознание!?”* Сам Вавилов религиозную веру давно утратил, о чем писал в дневнике. Однако, внимательный читатель Галилея, Ньютона и Ломоносова видел, что из истории их высших достижений религию не изъять.

Так думал и Эйнштейн: *“Наши моральные наклонности и вкусы, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты помогают нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям”*.

Где же место для гуманитарных сил среди измерений и формул? Вспомним нарисованную Эйнштейном схему, в которой стрела интуиции взлетает вверх, а пунктирные стрелки, тоже с участием интуиции, приземляют высоко парящие мысли. Интуиция, как свободное непосредственное усмотрение истины, не сводится к логике, не гарантирует подтверждение «усмотренной истины», но позволяет взлетать и парить на такой высоте, откуда легче увидеть неочевидные связи эмпирических фактов. Подъемную силу при этом могут дать и упомянутые Эйнштейном «религиозные инстинкты», включая пред-рассудок свободы.

Подлинно великое изобретение в науке и технике – всегда чудо, то есть нечто непредсказуемое, не вытекающее логически из всего известного, можно сказать, нечто иррациональное. И такая иррациональность – важнейшая сила развития рациональной и реалистической науки.

Новая наука и Новое время

Согласно изложенной гипотезе, чудо рождения современной физики – следствие чуда гуманитарного, состоявшегося, когда древняя книга на языке народа очень малого и ничем не знаменитого (кроме своей миссии, описанной в самой книге), стала самой читаемой в мире. Для библейского теиста связь этих чудес говорит о божественной истине Библии. Научный атеист, скорее, признает старую книгу просто чертовски эффективным изобретением. А нынешний основной потребитель ждет от науки новых «гаджетов», не думая о том, как история науки движет историю мировую.

⁸ Данные из статьи: Robert P Crease. Religion explained // Physics World, Jul 31, 2009.

Первой современной наукой стала физика гравитации, или небесная механика. По той же причине в далеком прошлом небесные наблюдения дали первые представления о закономерности: наглядная и почти идеальная повторяемость явлений.

Вместе с астрономическим триумфом радикально обновилась вся высшая четверка – квадравиум – свободных искусств, пришедших от древних греков: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Сначала астрономия выросла в физику Галилея-Ньютона. Затем арифметика и геометрия, соединенные Декартом, выросли в высшую математику Ньютона-Лейбница. И, наконец, музыка Ренессанса, благодаря таким, как Вивальди и Бах, выросла в новую музыку, которая до сих пор звучит современно.

Причина обновления математики, как языка физики, кажется более понятной, однако сила обновления была общей: можно сказать, что потенциальная энергия свободы переходила в кинетическую энергию творчества. К XVIII веку, когда Вивальди и Бах начали сочинять, система Коперника, надежно обоснованная новой физикой, стала общедоступной для публики благодаря очень популярной книге Фонтенеля. Всем видный небесный пример смелой – и плодотворной – свободы человека впечатлял просвещенных европейцев, даже далеких от естествознания. Об этом говорят и строки Пушкина: *«Ведь каждый день пред нами солнце ходит, / Однако ж прав упрямый Галилей».*

Ничто не действует так заразительно, как наглядный пример, включая и пример свободы человека. Поэтому резонно усмотреть распространение «заразы свободы» из науки, занимающей считанных профессионалов, в сферу экономической жизни, занимающей всех. За Научной революцией последовала Революция промышленная, в которой новый масштаб свободного предпринимательства повлек за собой новые формы свободы социальной. В результате Западная цивилизация далеко оторвалась от других по своим возможностям.

Социальные историки ввели понятие Нового времени, но расходятся в определении его начала, которое связывают с такими разными событиями как падение Константинополя (1453), открытие Америки (1492), Реформация (1517). История рождения современной науки, с ее малым числом участников, вполне определенными «маломасштабными» событиями и обилием документальных свидетельств, позволяет увидеть начало Нового времени в изобретении книгопечатания (около 1450 г.), а его главную движущую силу увидеть в заряде свободы, распространявшейся по Европейской цивилизации в библейских переплетях.

Следует подчеркнуть, что первый существенный вклад науки в экономику – телеграф – относится к XIX веку, к веку электричества. А промышленная революция разворачивалась в век пара, фактически без прямого участия науки. Однако общекультурное – психологическое и духовное – воздействие новой науки началось гораздо раньше, подавая примеры свободы и изобретательства.

Как свидетельствует история, эти примеры успешнее действовали там, где люди яснее понимали, что созданы богоподобными

и наделены Создателем неотъемлемым правом на свободу, то есть там, где больше и свободнее читали Библию.

Размышляя о законе падения, Галилей без труда мог опровергнуть Аристотеля: из самых обычных наблюдений ясно, что у шаров, одинаковых по размеру, но различающихся по весу в десять раз, время падения различается вовсе не в десять раз. Уже в начале своих сомнений Галилей догадался, что быстроту падения определяет не сама по себе разница в тяжести. Вопрос был в том, что же определяет? Но сам вопрос первым поставил Аристотель, а значит, осмелился предположить, что на такой вопрос можно ответить. Ответ был неправильным, но стало от чего отталкиваться.

Глядя на Аристотеля из нашего времени, можно сказать, что мощный мыслитель слишком крепко держался за свой «здравый смысл», основанный, как обычно, на собственных жизненных наблюдениях. А двигаться вперед можно, опираясь не только на землю под ногами, но и на воздух под крыльями, как это делают птицы. Тогда можно преодолеть и непроходимый, скажем, сильно заболоченный, участок земли. Галилей фактически изобрел такой – крылатый – метод опоры в поиске научной истины. И при этом сам опирался на столь невероятный пред-рассудок, в котором незримый Бог и богоподобный человек заняты каким-то общим делом.

Каким образом эта удивительная история, пересказанная или прочитанная, столь успешно принималась на веру? На этот вопрос должны отвечать, скорее, не историки, а специалисты по психологии восприятия.

Другой вопрос, адресованный сразу историкам и футурологам: как западный гуманизм эволюционирует, пытаясь освободиться от своего библейского основания. В результате нынешние супер-гуманисты и эко-фундаменталисты готовы, кажется, предложить наследникам библейской цивилизации убраться из этого мира, чтобы не мешать другим культурам самобытно развиваться, чтобы «не портить природу» и, пожертвовав всего одним видом, сохранить все остальные в Красной книге. Оказалось, что у «венца творения» шатается земля под ногами, если он перестает смотреть выше себя и вглубь себя, где живет моральный закон, удививший когда-то Иммануила Канта, – моральный закон, объединяющий моральные пред-рассудки, наследуемые незаметно для наследников. Этот вопрос стоит перед современной библейской цивилизацией.

Дружелюбное устройство Вселенной?

Если библейский ответ на вопрос Нидэма и на загадку рождения современной физики не кажется читателю убедительным, он свободен искать иной, либо же присоединиться к Эйнштейну, считавшему чудо фундаментальной физики необъяснимым:

“Позитивисты и профессиональные атеисты горды тем, что не только избавили этот мир от богов, но и “разоблачили все чудеса”. Как ни странно, нам приходится удовлетвориться признанием упомянутого “чуда”, и никакого иного законного выхода нет. Я

вынужден это добавить, чтобы ты не думал, будто я, ослабленный возрастом, стал добычей попов”.

Не жалюемые Эйнштейном “профессиональные атеисты” в лучшем случае согласились бы, что религиозные предрассудки, как ни странно, иногда помогают. “Попы”, то бишь профессиональные теисты, вряд ли признали бы чудом рождение новой физики, основатели которой не почитали церковные авторитеты.

А для физиков в двадцатом веке чудо познаваемости стало еще большим. При расширении и углублении научных знаний обнаружилось, что чудесная упорядоченность мира, открытая Ньютоном, оказалась лишь приближенной. Эйнштейн, перестроив фундамент, создал новую теорию – глубоко родственную прежней, хоть внешне на нее и не похожую, а, главное, точнее соответствующую опыту. В двадцатом веке физика пережила еще несколько подобных перестроек и предвкусает следующую.

Успешность таких перестроек фундамента означает, что Вселенная устроена очень дружелюбно по отношению к человеку. Она устроена проще, чем мобильный телефон. Ведь попади мобильник в руки Галилею или Ньютону, они ничего не поняли бы в его устройстве, даже приближенно, до появления электродинамики, квантовой механики и физики полупроводников. А в устройстве Вселенной очень важные закономерности удалось понять уже в семнадцатом веке с помощью простых экспериментов и простой математики – очень простых по сравнению с веком двадцатым.

Как понимать такое дружелюбное устройство Вселенной? Ответ зависит от мировосприятия человека. Библейский теист увидит в этом подтверждение отеческой любви Создателя Вселенной к своему главному творению – Человеку. Атеист может принять на веру так называемый антропный принцип, согласно которому Вселенная такова, как она есть, потому, что в иначе устроенной вселенной человек не мог бы появиться. Остается и подход Эйнштейна – просто признать чудом познаваемость мира, в котором мы живем, и участвовать в его познании.



Сергей Ландо

Владимир Игоревич Арнольд*

*Ньютон, Эйлер, Гаусс, Пуанкаре, Колмогоров – все
это пять жизней отделяют нас от истоков нашей науки.*

В.И. Арнольд



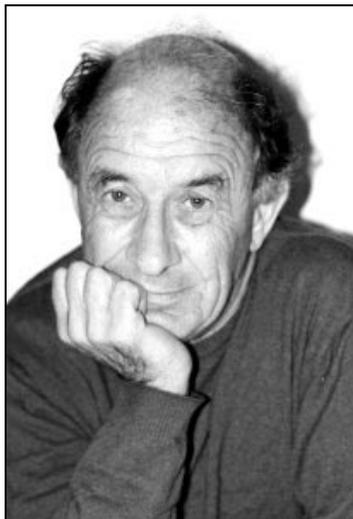
Тринадцатого июня 2012 г. на факультете математики Высшей школы экономики состоялся День Арнольда, посвященный имевшему место накануне 75-летию со дня рождения великого математика Владимира Игоревича Арнольда. Лекцию «Однородная динамика и теория чисел» студентам и всем заинтересованным математикам прочитал лауреат медали Филдса 1978 года Григорий Маргулис, затем в течение 3-х часов воспоминаниями о Владимире Игоревиче делились его друзья и ученики. День Арнольда предполагается сделать ежегодным, и организаторы будут рады видеть среди его участников всех желающих.

Владимир Игоревич Арнольд не дожил до своего 75-летия двух лет. В последние годы жизни он находился под регулярным медицинским наблюдением, и ничто не позволяло предсказать его скоротечную смерть от перитонита в одной из парижских клиник вскоре после очередного обследования. Его тело было перевезено в Москву и захоронено на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его друга Нобелевского лауреата Виталия Лазаревича Гинзбурга. Сегодня имя Владимира Игоревича Арнольда удлинит на одно звено цепочку великих имен, перечисленных в эпитафии.

Смерть В.И. Арнольда вызвала множество откликов по всему миру – как от официальных объединений математиков, так и от друзей, учеников, коллег [1]. Значительная часть двух номеров *Notices of the American Mathematical Society* [2, 3] посвящена воспоминаниям о Владимире Игоревиче, собранным С. Табачниковым и Б. Хесиным. Все крупнейшие информационные агентства России и мира опубликовали известия о его кончине, сопроводив их биографией Арнольда и перечислением важнейших его достижений.

* Первоначальная версия статьи опубликована в журнале «Математика в высшем образовании», №10 (2012). Публикуется с любезного согласия редакции этого журнала.

Цель настоящей статьи – дать читателю, не имевшему возможности общаться с Владимиром Игоревичем, представление о глубине и силе его личности, о его взглядах на математику и обучение ей, о проложенном им в математике пути.



Владимир Игоревич Арнольд

1. О направлениях развития науки, которые он определял

*Никакого деления математики на области я не знаю...
Делить математику на области – это всё равно что
решать, поэт ли Пушкин или же писатель,
и драматург ли Шекспир или же поэт.
В.И. Арнольд*

За свою жизнь В. И. Арнольд оказал влияние на самые разные математические теории, породив некоторые из них и определив пути их развития. Перечислим вкратце направления математики, в которые Владимир Игоревич внес основополагающий вклад, и упомянем, в чем этот вклад состоял. Приводимый ниже список его достижений ни в коей мере не претендует на полноту. Напротив, он призван лишь продемонстрировать глубину разноплановых результатов Арнольда, из которых складывается весьма цельная картина всей современной математики.

Доказательство теоремы о представимости любой непрерывной функции композицией конечного числа непрерывных функций не более чем двух переменных – тем самым было получено решение 13-й проблемы Гильберта в одной из возможных её интерпретаций (1956).

Теория возмущений гамильтоновых систем – доказательство теоремы о сохранении в аналитическом случае некоторых инвариантных

торов гамильтоновой системы при малом её возмущении (1963). Совокупность идей, методов и результатов, выросших из работ Колмогорова, Арнольда и Мозера по этой тематике, получила название КАМ-теории.

Применение топологических методов в гидродинамике (1966).

Вычисление когомологий группы кос (1969), давшее толчок к построению теории конфигураций плоскостей (arrangements).

Теория особенностей (с конца 1960-х годов) – изменение принципов классификации особенностей, которое позволило революционизировать методы классификации и создать богатую теорию с многочисленными приложениями.

Топология вещественных алгебраических многообразий – Арнольду принадлежит одно из первых применений комплексной техники для изучения топологии вещественных алгебраических многообразий (1971).

Критическое переосмысление понятия интегрируемости динамической системы – теперь её называют *интегрируемостью по Арнольду – Лиувиллю*.

Построение нормальной формы для общих семейств матриц (1971) – глубокое многомерное обобщение понятия жордановой формы матрицы.

Идея построения симплектической топологии (с начала 1980-х годов) – одного из источников квантовых когомологий.

Сам Владимир Игоревич не слишком высоко ставил свое участие в решении 13-й проблемы Гильберта и развитии КАМ-теории. Он полагал, что основные продвижения в проблеме Гильберта о представлении функции в виде композиции функций от меньшего числа переменных и в теории КАМ получены его учителем А. Н. Колмогоровым, а его собственный вклад состоит лишь в уточнении и подробной записи результатов Колмогорова. Так, скажем, статья 1963 г. в «Успехах математических наук» носит название «Доказательство теоремы А. Н. Колмогорова о сохранении условно-периодического движения при малом возмущении гамильтониана».

Среди математиков часто выделяют класс «решателей задач» – людей, основным занятием которых является решение поставленных другими задач, как правило, трудных, годами не поддающихся усилиям многочисленных исследователей. В эту категорию нередко попадают победители олимпиад, становящиеся решателями ещё в школьные годы. К кругу победителей олимпиад принадлежал и Арнольд, и в своих первых работах он, безусловно, предстает «решателем». Однако в 1960 годы стиль его работы резко меняется. Я бы сказал, что с этого момента он становится «понимателем», направляя весь свой потенциал на понимание с помощью математических методов устройства мира в интересных ему областях. Более того, он сознательно отстранялся от тех «полян», на которых «топчется» слишком много народа, предпочитая исследовать пустынные или давно опустевшие области, а его энциклопедические знания предоставляли ему на выбор широкий спектр результатов и усилий классиков, не нашедших достойного продолжения.

Уже на середину 60-х годов приходится его многообразные открытия, ставшие зародышами нескольких весьма далеких друг от друга теорий. Владимир Игоревич закладывал основы этих теорий и определял направление их развития. Однако когда общее направление приобретало ясное очертание, когда основные, на его взгляд, задачи были сформулированы, он отходил в сторону, вкладывая не слишком много сил в дальнейшее развитие и оставляя разработку деталей своим ученикам, которые во множестве тянулись к нему, зачастую не привязанные никакими формальными узами.

Есть, пожалуй, лишь одна область, в которой Арнольдом и его школой – при активном участии многих других исследователей как в Советском Союзе, так и за рубежом – не только были заложены основы, но и теория целиком была проработана в самых многообразных и богатых проявлениях. Речь идет, разумеется, о теории особенностей, называемой в некоторых западных публикациях – не в последнюю очередь в рекламных целях – теорией катастроф. Построение этой теории заняло несколько десятилетий, и её нельзя считать завершенной и сейчас. Остановимся на ней подробнее.

2. Теория особенностей

Теория особенностей – это грандиозное обобщение исследования функций на максимум и минимум.

В.И. Арнольд

К задаче исследования особенностей гладких отображений В.И. Арнольд пришел в ходе поездки во Францию в 1965 году. Из французских ученых наиболее глубокое впечатление на него произвел Рене Том, который как раз в то время в свойственном ему неформальном стиле разрабатывал общие подходы к изучению функциональных пространств.

В основе теории особенностей лежит привычное всем со школы исследование функций на максимум и минимум. В точках локального максимума или локального минимума производная гладкой функции обращается в нуль. Критические точки функции, т. е. точки, в которых её производная обращается в 0, и есть её особенности. В окрестности простейшего экстремума x_0 после подходящей замены координаты всякая гладкая функция одной переменной приводится к виду $f(x) = f(x_0) + a(x - x_0)^2$, $a = 0$, причем экстремум является локальным минимумом при $a > 0$ и локальным максимумом при $a < 0$. Ключевое соображение, позволяющее исследовать функции, состоит в том, что *знание всех экстремумов гладкой функции качественно определяет её поведение и в промежутках между экстремумами*. Ясно, что это лишь первый шаг, но именно он и дает толчок к построению теории.

Первое, и наиболее естественное, направление развития – выяснение того, какие в принципе особенности могут быть у функции. На этом пути в игру вступает топология функциональных пространств. Дело в том, что любая гладкая функция при малом шевелении параметров становится функцией лишь с простейшими особенностями (проще всего это увидеть на многочленах – небольшим изменением коэффициентов

многочлена можно добиться, чтобы все его особенности стали простейшими максимумами и минимумами). Основной принцип теории особенностей состоит в том, что изучению следует подвергать лишь те особенности, которые не пропадают при малом шевелении. В частности, сложные особенности функции нельзя устранить малым шевелением, лишь если объектом нашего изучения являются не отдельные функции, а *семейства* функций. Так, если мы рассматриваем однопараметрическое семейство многочленов $f(x) = x^3 + bx$ при малых значениях параметра b , то при любом возмущении этого семейства в нем будет присутствовать функция вида $f(x) = x^3 + c$, особенность которой в нуле уже не является простейшей.

Все особенности функций одной переменной, которые неустранимым образом возникают в конечнопараметрических семействах, несложно перечислить: они имеют вид $f(x) = f(x_0) + ax^m$ для $m = 2, 3, 4, \dots$. Однако для функций двух и более переменных ситуация оказывается далеко не столь простой. Значительным достижением в начале 1960-х годов считалось обнаружение 7 элементарных катастроф – типов особенностей, возникающих неустранимым образом в семействах гладких вещественных функций, зависящих от не более чем 4 параметров. Все эти 7 типов особенностей реализуются уже для функций двух переменных (см. таблицу и рисунок, на котором изображены каустики – геометрические образы, отвечающие элементарным катастрофам). Именно здесь делает Арнольд одно из наиболее фундаментальных своих открытий.

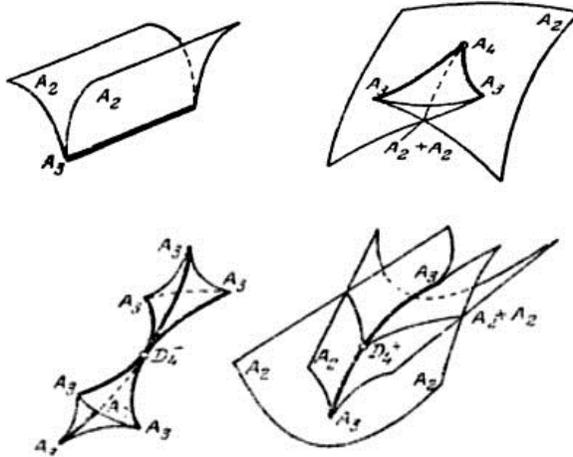
Суть этого открытия состоит в том, что он принципиальным образом меняет схему классификации особенностей, отказавшись от постепенного увеличения количества параметров в семействах. Вместо этого он вводит абсолютно новое понятие *модальности* особенности – количества параметров, необходимых для описания всех особенностей, неизбежно возникающих при деформации данной. Так, особенность 0-модальна, если при её достаточно малой деформации могут встретиться особенности лишь конечного числа различных типов, 1-модальна, если пространство типов таких особенностей одномерно, и т. д. Выполненная им сразу же классификация типов 0-модальных особенностей (которые он называет *простыми* и которые включают все 7 элементарных катастроф) позволяет отождествить их с особенностями дю Валя и напрямую связать с простыми алгебрами Ли типов A_m, D_m, E_6, E_7, E_8 . В результате теория особенностей из одной из периферийных ветвей анализа превращается в центральную область математики, связывающую между собой алгебру, теорию представлений, алгебраическую геометрию и анализ. В дальнейшем её развитии всё большую роль начинают играть геометрия и топология.

Описание всего, что происходило с теорией особенностей в последующем, в таком коротком тексте невозможно. Ограничусь поэтому лишь краткой и не претендующей на полноту хронологией событий, свидетелем – и до определенной степени участником – которых мне довелось быть.

Построение В.А. Васильевым теории инвариантов конечного порядка. Свой доклад на 1-м Европейском математическом конгрессе в Париже в 1992 году Арнольд целиком посвятил работам Васильева, что сразу же сделало последние знаменитыми.

Типы элементарных катастроф. При классификации над комплексными числами особенности D^+_4 и D^-_4 не различаются

Особенность $f(x, y)$	Название	Деформация особенности	Тип особенности
$x^3 + y^2$	Складка	$x^3 + y^2 + ax$	A_2
$x^4 + y^2$	Сборка	$x^4 + y^2 + ax^2 + bx$	A_3
$x^5 + y^2$	Ласточкин хвост	$x^5 + y^2 + ax^3 + bx^2 + cx$	A_4
$x^6 + y^2$	Бабочка	$x^6 + y^2 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx$	A_5
$x^3 + y^3$	Пирамида (эллиптическая омбилика)	$x^3 + y^3 + axy + bx + cy$	D^+_4
$x^3 - xy^2$	Кошелек (гиперболическая омбилика)	$x^3 - xy^2 + a(x^2 + y^2) + bx + cy$	D^-_4
$x^2y + y^4$	Параболическая омбилика	$x^2y + y^4 + ax^2 + by^2 + cx + dy$	D_5



Каустики элементарных катастроф ([4, стр. 277])

Построение теории зеркальной симметрии – фундаментального феномена теоретической физики, первые проявления которого были обнаружены при изучении особенностей модальности 1 и которым В. И. дал название «странная двойственность».

Введение понятия фробениусовой структуры, предвосхищенного в работах А. Гивенталья, ученика Владимира Игоревича, и открытого К. Сайто. Из теории особенностей это понятие перешло в математическую

физику, и фробениусова геометрия играет ключевую роль в современных физических теориях.

Продолжающееся до сих пор построение теории функциональных пространств – подобно тому, как особенности отдельной функции образуют скелет её графика, функции со сложными особенностями образуют скелет функционального пространства. У истоков этой теории стоит начатое Р. Томом исследование глобальных особенностей функций – особенностей, неизбежно возникающих у общих функций на компактных многообразиях.

Построение теории лагранжевых и лежандровых особенностей, необходимая для описания распространения волн в различных средах.

Инициированное Арнольдом построение теории инвариантов конечного порядка плоских кривых. Эта теория, в основе которой лежат далекие обобщения индекса Уитни, близка к теории инвариантов узлов, однако существенно отличается от нее в некоторых аспектах.

Можно без преувеличения сказать, что современная математика и математическая физика интенсивно используют результаты теории особенностей, а сама теория продолжает развиваться и приносить новые плоды.

3. Семинар и школа Арнольда

*Самое главное, что ученик должен узнать от учителя,
– это то, что некоторый вопрос ещё не решен.*

В.И. Арнольд

Для Владимира Игоревича Арнольда исследования и обучение были неразделимы. Став старшекурсником, он начинает вести семинар, первыми участниками которого были, по существу, его сверстники. Самые юные из участников (Эдуард Белага и Андрей Леонтович) затем стали его аспирантами и защитили диссертации под его руководством. Всего же он был официальным руководителем более 60 кандидатских диссертаций, а к школе Арнольда себя относит и множество людей, никогда не бывших его формальными учениками.

Помимо семинара он, будучи до середины 1980 годов преподавателем мехмата МГУ, регулярно читал обязательный курс обыкновенных дифференциальных уравнений, а также разнообразные специальные курсы, содержание которых определялось его текущими интересами. В дальнейшем эти курсы ложились в основу его книг (в редких случаях – с соавторами, в качестве которых выступали его ученики).

Семинар Арнольда, начавший свою работу в 1958 г., существовал до самой смерти своего основателя (и даже после его смерти – он проходил под руководством учеников Владимира Игоревича и завершил свою работу в весеннем семестре 2011 г.).

Несмотря на то, что в начале 90-х годов Владимир Игоревич принял приглашение университета Париж-Дофин и занял там пост постоянного профессора, он оговорил свое право проводить во Франции лишь половину учебного года. Вторую половину года он был в Москве и руководил семинаром непосредственно, тогда как один семестр ежегодно

работа шла при его удаленном участии. Так что в течение более 50 лет практически каждый вторник в течение учебного года около 4-х часов дня (время начала семинара немножко менялось в зависимости от расписания звонков) аудиторию 14-14 на мехмате МГУ заполняли как математики в возрасте, так и зеленая молодежь, желавшие, в первую очередь, послушать Владимира Игоревича. Действительно, несмотря на то, что докладчиком на семинаре выступал, как правило, кто-нибудь другой, комментарии самого руководителя составляли главную часть события.

На огонек семинара, который ведет молодой активный исследователь, стекаются самые разные люди. Такой семинар и привлекает, и отталкивает – страшно самому оказаться не на высоте, обнаружить свое несоответствие уровню семинара. Поэтому приживались на нем люди не только сильные, но и обладавшие достаточной наглостью, чтобы пережить – неизбежное и зачастую многолетнее – непонимание большинства докладов и обсуждений. Поведение Арнольда немало способствовало закреплению новых участников. Выступление докладчика, как правило, понять было нельзя. Я появился на семинаре в конце 70-х годов, когда построение теории особенностей давно миновало начальную фазу, и объем знаний, накопленный старожилыми семинара, позволял им легко ориентироваться в докладах на эту тему. Напротив, для человека нового то, что все присутствовавшие, по-видимому, воспринимали как нечто совершенно естественное, звучало китайской грамотой. Несколько облегчало жизнь лишь искусство Арнольда, регулярно прерывавшего докладчика и объяснявшего на простых примерах, которые он извлекал из своей необъятной и ничего не теряющей памяти, суть описываемых в докладе явлений. В том же, что эти примеры приходили ему на ум, не было ничего удивительного: частую доклад представлял собой изложение теории, отправной точкой которой послужили как раз эти обнаруженные самим Арнольдом примеры и вопросы, оставленные им на основе этих примеров.

Даже в эти годы семинар не ограничивался обсуждением лишь вопросов теории особенностей. Непрестанный интерес Арнольда к самым разным математическим идеям позволял ему выхватывать из огромного потока работ ключевые, сулившие наиболее интересные продвижения. Неся обязанности главного редактора журнала «Функциональный анализ и его приложения», входя в редколлегии многих иностранных журналов, он всегда прочитывал множество работ, вникая не только в их содержание, но и в существенные детали доказательств. Желая привлечь к работе внимание, зарубежные коллеги часто присылали ему статьи ещё до появления их в печати. Напротив, непосредственный доступ всех остальных участников семинара к зарубежным статьям был ограничен – хотя библиотека мехмата и обладала неплохой по тем временам подпиской на иностранные журналы, их получение часто задерживалось. Работы, вызвавшие его интерес, предлагались участникам семинара для разбора и, в случае если их предполагаемые достоинства находили подтверждение, – последующего доклада. Почти все эти работы докладывались – интуиция подводила Арнольда крайне редко.

Именно семинар и был тем горшком, в котором варился бульон школы Арнольда. Семинар был местом, где встречались люди, работающие в разных учреждениях и (если повезло) институтах, не имевшие возможности встречаться в других местах. Разговоры начинались задолго до его начала и продолжались по нескольку часов после его окончания. Именно из этого семинара выросли такие замечательные математики, как Александр Варченко, Виктор Васильев, Александр Гивенталь, Виктор Горюнов, Сабир Гусейн-Заде, Владимир Закалюкин, Юлий Ильяшенко, Максим Казарян, Михаил Севрюк, Борис Хесин, Аскольд Хованский, Борис и Михаил Шапиро и многие другие. Часть из них продолжает работать в Москве, другие разъехались по всему свету. Влияние, оказанное Владимиром Игоревичем на развитие своих учеников, огромно – его следы в их работах видны до сих пор несмотря на то, что срок ученичества закончился десятилетия назад. Может быть, более важно, что каждый из нас, его учеников, в меру своих способностей унаследовал от Владимира Игоревича его взгляд на математику в целом, на то, что является в нашей науке главным, а что не принципиально, и пытается донести этот взгляд до своих учеников.

4. Задачи Арнольда

Сравнивая сегодня влияние проблем Пуанкаре и Гильберта, следует признать, что математика XX века следовала скорее предложению Пуанкаре...

В.И. Арнольд

Стремясь достичь понимания предмета, Владимир Игоревич Арнольд думал задачами. В начале каждого семестра участникам семинара предлагался список из 10-12 задач, которые он считал важными и – что весьма существенно – разрешимыми. По большей части это были задачи, возникшие у него самого, однако иногда в список попадали и вопросы других математиков, привлечшие его внимание. Впоследствии эти задачи составили сборник «Задачи Арнольда» [5], куда вошли в том числе и задачи самых первых семинаров – с конца 1950-х.

Участники семинара выбирали для себя задачи по своему усмотрению, руководствуясь собственными интересами и пристрастиями. Иногда Владимир Игоревич выражал желание, чтобы тот или иной участник посмотрел на конкретную задачу (полагая, что именно его знания позволят справиться с ней быстро). Однако эти рекомендации никогда не были настоятельными и никогда не оборачивались требованиями – по мнению Арнольда, выбор задачи по значимости сравним с выбором невесты, и никакое насилие здесь недопустимо. Основываясь на многолетних наблюдениях, Арнольд оценивал период полураспада задач – промежутки, за который решалась половина задач из предложенного списка, – в 7 лет.

Эти задачи никогда не придумывались искусственно. Они возникали следующим образом. Придя к выводу, что для понимания предмета требуется ответить на тот или иной вопрос, Арнольд начинал этот вопрос последовательно упрощать, сводя его постепенно к тому первому частному случаю, в котором ответ на него был неизвестен, и его

не удавалось быстро найти. В процессе упрощения менялись не только параметры задачи – упрощалась и её формулировка. В современной математике уже для понимания условия задачи нередко требуется огромный объем знаний, что служит серьезным препятствием для начинающих свой путь в науке. Выполнявшаяся Арнольдом огромная работа значительно снижала этот барьер, предоставляя возможность большому количеству молодежи попробовать свои силы. В результате, как сказали бы сейчас, база нерешенных задач была открытой – любой желающий мог не только ознакомиться с их списком, но и понять, в чем они состоят.

Приведу близкий мне пример. Каждой конечнократной локальной особенностью функции можно сопоставить её *спектр* – конечный набор рациональных чисел. При деформации особенности её спектр меняется, и Арнольд поставил задачу – доказать, что в определенном смысле спектр может только уменьшиться.

Строгое определение спектра требует использования введенных Дж. Стинбрином смешанных структур Ходжа в исчезающих когомологиях особенностей. На одно усвоение этих понятий у неподготовленного человека могут уйти годы. Но для случая функций двух переменных Арнольд нашел такое переопределение понятия спектра в терминах целых точек внутри многоугольников и такую переформулировку задачи, что на объяснение её условия мне, ничего про особенности не знавшему, ушло несколько минут. Она приняла чисто комбинаторную форму. После того, как я через два месяца принес Владимиру Игоревичу её решение, он дал согласие взять меня в аспирантуру. Полное же доказательство полунепрерывности спектра особенности было получено А.Н. Варченко спустя несколько лет.

Нужно понимать при этом, что Арнольд сохранял в памяти весь путь, который привел его к окончательной формулировке задачи. Нередко оказывалось так – и именно на это была нацелена работа по переформулировке – что решение нетривиального частного случая открывало прямой путь к получению значительно более общих результатов, а оттуда и к построению содержательной теории. (В упомянутом выше случае с полунепрерывностью спектра такого не произошло – разбирая многомерную ситуацию, Варченко не использовал ничего из моих результатов для двух переменных.)

Впрочем, случалось и такое, что формально верное решение задачи Арнольда не удовлетворяло. В таких случаях он сердился и говорил, что ученики всегда решают не ту задачу, которая им поставлена, а ту, которую они умеют решать. Многие из поставленных Владимиром Игоревичем задач ещё ждут своего решения.

Сборники нерешенных задач в различных областях математики – явление привычное. Специалисты в каждой области нередко составляют их на своих конференциях и публикуют. Однако я не знаю ничего сравнимого по совершенству формулировок и по богатству мысли с этим результатом многолетнего труда одного человека; списку задач Арнольда уступают, на мой взгляд, и имеющий совсем другой жанр список проблем

Гильберта, и предложенный Институтом Клэя список проблем тысячелетия.

5. Награды и звания

Для науки во всем мире было бы полезно, если бы Нобелевские премии и академические звания раздавались не только генералам от науки, но иногда и квалифицированным специалистам.

В.И. Арнольд

К счастью, на развитие нашей замечательной науки все эти награды почти не влияют.

В.И. Арнольд

Яркий взлет Арнольда был отмечен несколькими престижными наградами. Он чрезвычайно ценил Премию Московского математического общества для молодых математиков, которую получил в 1960-м году. Впоследствии, уже будучи президентом этого общества, он прикладывал все усилия к тому, чтобы поднять престиж этой премии.

В 1965 г. В.И. Арнольду и А.Н. Колмогорову за разработку КАМ-теории была присуждена Ленинская премия. В Советском Союзе более высокое признание научных заслуг со стороны государства было невозможно. В том же году Арнольду не хватило одного голоса для избрания – минуя стадию члена-корреспондента – в действительные члены Академии наук СССР.

В дальнейшем казавшаяся поначалу блестящей академической карьера не имела быстрого развития. Так, избрание в Академию наук СССР произошло лишь спустя долгих 25 лет после первой попытки. Причиной тому послужила, по-видимому, независимость взглядов Владимира Игоревича, высказываемые им без оглядки на личности мнения о математическом содержании работ тех или иных авторов. Под огонь его критики не раз попадали и академики. Не последнюю роль в установлении серьезных барьеров на его пути сыграло и подписание им в 1968 году «Письма 99-ти» в защиту логика А.С. Есенина-Вольпина, подвергнутого принудительному психиатрическому лечению, – пожалуй, единственный «диссидентский» поступок Арнольда. Все подписавшие это письмо так или иначе пострадали, и до конца 1980 годов Арнольд практически не имел возможности бывать за границей. Он считал, что ограниченность его общения с зарубежными математиками (их приезды в Россию были редки и кратковременны) сугубо отрицательно повлияла на его математические достижения, и жалел о том, что подписал письмо.

В то же время в мировом математическом сообществе признание заслуг Арнольда было безусловным. Дважды (в 1974 году в Ванкувере и в 1983 году в Варшаве) он был приглашенным пленарным докладчиком Международного математического конгресса, в 1958 году в Эдинбурге – секционным, и в 1966 в Москве делал специальный получасовой доклад. В 1996-2002 гг. он был членом Исполнительного комитета и вице-президентом Международного математического союза.

В 1982 году Арнольду (совместно с Л. Ниренбергом, США) была присуждена только что учрежденная и сразу же ставшая престижной

Крафордская премия Шведской Королевской Академии наук – его не выпустили в Стокгольм для получения премии. В 1987 году он стал Почетным иностранным членом Американской академии наук и искусств, в 1988 году – иностранным членом Лондонского Королевского общества. Больше же всего из знаков признания он ценил избрание его почетным членом Лондонского математического общества (1976). По его словам, этот почетный клуб гораздо представительнее, чем подбор лауреатов медали Филдса. А вот от предложенного ему членства в Папской академии он отказался, объяснив папе Иоанну Павлу II, что сделал это из-за до сих пор не отмененного приговора, вынесенного инквизицией Джордано Бруно в 1600 г. В 2001 году Арнольд получил премию Вольфа – «за глубокую и оказавшую большое влияние работу во многих областях математики, включая динамические системы, дифференциальные уравнения и теорию особенностей».

Смена государственного устройства в Советском Союзе и одновременный скачок цен, не сопровождавшийся ростом зарплаты, привели Владимира Игоревича, как и многих других математиков и не только, к необходимости искать новые источники дохода. С детства свободно владея французским языком и с удовольствием вспоминая свою долговременную поездку во Францию в 1964–1965 гг., он из многих сделанных ему предложений выбрал парижский университет Дофин. Тем временем неспешно крутящиеся жернова государственной машины в конце концов вызвали изменение формата Государственной премии России, и среди первых лауреатов новой премии (2007 г.) был и Владимир Игоревич Арнольд – так государство утверждало её престиж. Последовавшая через год Премия Шау («азиатская нобелевка»), которую Арнольд разделил с Л.Д. Фаддеевым, стала ещё одним подтверждением мирового признания, уже не только в среде математиков.

Литература

1. Страница памяти В. И. Арнольда на сайте Московского центра непрерывного математического образования <http://www.mccme.ru/arnold/>
2. Tribute to Vladimir Arnold. Boris Khesin and Serge Tabachnikov, coordinating editors // Notices Amer. Math. Soc. 2012. Vol. 59, № 3. P. 378–399.
3. Memories of Vladimir Arnold. Boris Khesin and Serge Tabachnikov, coordinating editors // Notices Amer. Math. Soc. 2012. Vol. 59, № 4. P. 482–502.
4. Арнольд В. И., Варченко А. Н., Гусейн-Заде С. М. Особенности дифференцируемых отображений. – М.: МЦНМО, 2004.
5. Arnold V. I. Arnold's problems. – Springer-Verlag, Berlin; PHASIS, Moscow, 2004.



Генрих (Хаим) Соколик

Огненный лёд*

Предисловие



енрих (Хаим) Соколик родился в 1929 году в Ленинграде, в семье профессора физики. Вскоре родители переехали в Москву. В детстве мальчика поразила тяжелая болезнь – полиомиелит, последствия которой сказались на всей его жизни. Несмотря на это Генрих закончил в 1952 году физический факультет МГУ имени М.Г. Ломоносова по специальности теоретическая физика. Тема дипломной работы: общая теория относительности и квантовая механика. В 1964 году Г. Соколик защитил кандидатскую диссертацию в Институте математики АН СССР имени В. А. Стеклова. Работал в лаборатории магнетизма АН СССР и преподавал в Московском университете. В 1952-1962 годах занимался математическими методами квантовой механики и разработкой применения этих методов в теории взаимодействий, теорией представлений групп Ли.



В 1962-1972 годах Г. Соколик проводил исследования в области математических методов общей теории относительности и физики элементарных частиц в лаборатории общей теории относительности АН

* ג'נרליך (חיימ) סוקוליק. ה. הקרח הלוהט. H. SOKOLIK FIERY ICE © 1984 ראיסא סוקוליק
ISBN 965-222-026-4.

СССР, руководимой профессором К. Станюковичем. Одновременно он вел семинар по теории гравитации и теории элементарных частиц.

Опубликовал около сорока статей по применению теоретико-групповых методов в описании взаимодействий элементарных частиц и по общей теории относительности. В 1965 году в «Атомиздате» вышла книга Г. Соколика «Теоретико-групповые методы в теории элементарных частиц».

В 1972 году ученый репатриировался в Израиль, где занимался алгебраическими свойствами гравитационного поля и алгеброй токов. Написал ряд статей по проблемам философии науки.

Здоровье Соколика постоянно ухудшалось. К концу жизни (Генрих Соколик умер 6 августа 1982 года) он был практически полностью парализован, но несмотря на это продолжал упорно работать над главным трудом своей жизни – трактатом «Огненный лед», который и предлагается вниманию читателей.

По понятным причинам издатели не имели возможности подготовить рукопись к печати так, как об этом мечтал автор. Поэтому, возможно, внимательный читатель обнаружит неточности в цитатах, ссылках и другие огрехи, неизбежные в том случае, когда автор лишен возможности вместе с редактором внимательно просмотреть рукопись на всех этапах ее подготовки к выходу в свет. Надеемся, что читатели отнесутся к этому с пониманием.

Пробуждение еврейской души

Д-р Генрих (Хаим) Соколик был человеком необыкновенным и недюжинным. Однако сказать это – значит почти ничего не сказать. Возможно, так охарактеризовать его было бы достаточно, если бы Гарик оставался только ученым-физиком. Личность же его заключала в себе нечто неизмеримо большее. Пожалуй, можно сказать, что он – явление в современной еврейской жизни. Именно так. Вся жизнь этого человека – сочетание героически переносимых долголетних страданий с удивительным взлетом духа, творчеством, незаметный с первого взгляда подвиг победы над средой, над окружением, над с детства впитанным мировоззрением, триумфальный переход от европейского нивелирующего универсализма к основанной на понятиях выделенности, единственности философии Торы – все эти разрозненные элементы, черты современного еврейства соединились в Гарике и выразились в нем с предельным напряжением.

Его поиски истинного, единого, поиски Б-га и назначения еврея начались еще в России. С приездом же в Израиль они не только умножились, но и стали приносить плоды.

Как рассказывал сам Гарик, озарение наступило в первый после его приезда на Священную землю Йом Кипур, тот самый Йом Кипур, когда арабские орды двинулись со всех сторон на Израиль. В этот день в синагоге центра абсорбции в Рамат-Авиве советский ассимилированный еврей, физик, человек, воспитанный на идеях секулярного гуманизма, не впервые разговаривал с Б-гом, но, вероятно, это был первый раз, когда он отчетливо почувствовал, что Всевышний ему отвечает. Много раз

рассказывал Гарик о пережитом им откровении, которое навсегда наполнило его душу счастьем и бесконечной благодарностью, придало глубочайший смысл его приезду в Эрец-Исраэль. После было много открытий, радостей познания и необыкновенного ощущения впервые осознанно исполненной заповеди – мицвы.

Состояние здоровья его ухудшалось от года к году. Паралич приковал его к постели. Он терял способность говорить. Мать Гарика Раиса Давыдовна ценой нечеловеческих усилий продлевала жизнь сына еще на год, еще на месяц, еще на неделю. Но мысль его оставалась ясной и деятельной. Все это время он постигал и творил. Друзья, прежде всего доктор Цви Файер, улавливали его речь по движению губ и записывали. Гарик продолжал работать и в области теоретической физики, но более всего его занимала философия еврейского духа, Тора, переплетенная в его восприятии с философией науки. Вместе с Цви Файером он основал институт исследований в области, которая в одной из опубликованных ими книг была названа «возвращением в физический и интеллектуальный Иерусалим».

Над книгой «Огненный лед» Гарик работал многие годы. Повидимому, в ней отразились различные стадии развития мировоззрения автора. Тут и Гарик в России, только еще нащупывающий еврейские мотивы, и Гарик в Израиле, исполняющий заповедь о возложении тфилин. Придирчивый критик найдет в книге немало высказываний, которые без подтекста, без знания, кто, когда и почему это написал, выглядят противоречащими концепциям Торы. Но тот, кто воспримет эту книгу более обобщенно, ощутит и соединит воедино монументальность ее рациональной мысли, полет трансцендентной интуиции и нежную чуткость мелодии, разглядит в ней что-то вроде фотографии души автора – физика, философа, человеколюба, поэта, Еврея, прорвавшегося сквозь все преграды к своим истокам, к Торе. Книга эта безусловно не учебник, но она наверняка станет ферментом брожения в душах заблудившихся в дебрях ассимиляции.

И те, кто, начав с этой книги, вернется в конце концов к чистоте и мудрости Торы и еврейской жизни, сохранят навсегда в сердцах благодарность к чистому и мудрому человеку – Гарик Соколику.

Проф. Герман Брановер

Учёный и поэт

Среди еврейских интеллектуалов в Советском Союзе, как бы заново выносивших идею сионизма, выделялись две трагические фигуры, которых репатриация в Израиль не могла спасти от страданий, уготованных им жестокой судьбой. Обоих победила неумолимая болезнь, не дав им спокойно дожить свои дни на земле Израиля.

Одним из них был Борис Гапонов, гениальный переводчик на иврит «Витязя в тигровой шкуре». Вторым – Генрих Соколик, физик и мыслитель, соединивший в себе талант ученого и поэта.

В шестидесятых годах Г. Соколик входил в группу Иваненко, разрабатывавшую частные вопросы общей теории относительности. Опубликованные Соколиком труды внесли свой вклад в физическую

науку, сделавшую в то время качественный скачок. Нам посчастливилось увидеть, как идеи, к которым был причастен и я, легли в основу новейшей физики.

Соколик занимался главным образом поисками алгебраических решений проблемы искривления линии в пространстве, разрабатывая те математические идеи, которые в начале века высказал французский математик Картан. Сегодня алгебраические решения интересуют многих, и учение о супергравитации в значительной степени базируется на них.

Я виноват перед Соколиком. Услыхав, что он собирается репатрироваться в Израиль и зная о его тяжелой болезни, я пытался отговорить его. Соколик однако приехал в страну и проработал в Тель-Авивском университете около десяти лет. Все мы были свидетелями постепенного увядания его большого тела и – вопреки этому – постоянного духовного возвышения.

В Израиле он продолжал развивать свои идеи в области физики и математики и написал свой «Огненный лед» – философский трактат, в котором пытался проникнуть в глубинную сущность иудаизма и осветить ее с новой, необычной точки зрения.

Г. Соколик прибыл в страну очень больным. Друзья, и в первую очередь доктор Йосеф Розен и профессор Джеральд Таубер, помогали ему быть в курсе событий, происходящих в научном мире. Свои мысли он не мог записывать самостоятельно. Он диктовал их своим слабым, еле слышным голосом, пока не замолк навеки.

Да будет благословенна его память, память человека, чья могучая душа успешно боролась с больным телом.

Проф. Юваль Неэман

Огненный лед

О сказке

Программа романтической школы

Кривое нельзя выпрямить...

Екклесиаст

– Сказка, что хочешь ты от меня? Зачем ты нашептываешь мне по ночам эти странные и чужие притчи? Ведь ты знаешь: я не твой. Словно кто-то заградил мне уста; все притчи мои – ни о чем. Родись я среди дикарей, я был бы нем. А тебе ведь служат все сказочники на свете, знающие чудесные и занимательные истории.

– Я не отпущу тебя – ты мой должник. Помнишь, я встретила тебя когда-то в Бенаресе. Тебе тогда открылось, что увидеть дерево «ашока» можно лишь после того, как его придумаешь¹. Ты спорил у стены храма с учеными брахманами, и все вы были счастливы – я это видела. Помню я тебя и в Кордове – ученого иудея при дворе великого халифа. Ты изучал Платона и алгебру. Я слышала ваши беседы с почтенным Ибн-Рушдом о том, может ли сей мир по воле Аллаха исчезать

¹ Позднебуддистские философы заметили, что «видевший низкое дерево «ашока» не признает за дерево высокое дерево «ашока», если не знает, что такое дерево» (Щербатской Ф.И. Буддистская логика. Л., 1932).

и возрождаться каждое мгновение и следует ли понимать буквально все речения святых пророков. В Риме ты был капелланом у Николая Кузанского. Вы часто беседовали с его преосвященством о природе бесконечности, а также о превосходнейшем доказательстве бытия Божьего св. Ансельма Кентерберийского. Потом я встретила тебя в Вене. Ты был библиотекарем у кесаря. Ты писал тогда трактат «Геометрия, или искусство непонимания». Помню я и вашу беседу с покойным Готфридом Лейбницем об очевидности и тождестве в математике. Он хотел рационально осмыслить мир, ты же доказывал, что разум, по сути своей, есть изгнание смысла из философии. Вот это и было для тебя источником радости: свобода от мира вещей. Ты всегда предпочитал синтаксис орфографии. Прекрасные сияющие замки возникали у тебя из ничего. Но пустота эта была похищена у меня, и твои конструкции оставляли провалы в моем царстве. Каждый раз, когда рождалась новая антисказка о «глокой куздре», в моих владениях умирала фея или русалка. Тебе были даны века наслаждения, и за него ты заплатил жизнью моих подданных. Теперь наступил и твой черед.

– Но ведь я уже заплатил?

– Какая чисто мужская наивность. Вы, мужчины, вообразили, что нам – а я ведь тоже женщина – нужны ваши плоть и кровь. И все потому, что вы считаете нас богинями. А богам и вправду нужна действительность: подлинная плоть и кровь человеческая. Ведь жизнь, а она и есть главная суть жертвы, это хлеб богов; без него они стали бы призраками, ибо только бытия им и не хватает. Поэтому жрецы приносят им кровавые жертвы на алтарях и ступенях храмов. Из плоти и крови отроков и дев, из их жизней и невинности Великий Дух тклет живое тело богов. Но нам, женщинам, не нужны ваши жертвы. Нам нужны лишь цветы и сказки. Верни же мне моих гномов и русалок, превращенных тобой в бессмысленные знаки, в узоры, которыми ты украшал себя!

*И в созерцании высшей красоты, дорогой Сократ,
только и может жить человек, ее узревший.*

Пир

Сон

Церковь казалось безграничной. Видна была лишь лестница, уходящая вверх. Большие бронзовые колокола висели по обе стороны лестницы. Затем я увидел Пастыря. Он был в черном, с черной остроконечной бородой. В руках его была чаша. Он спускался ко мне и говорил голосом невыносимо чистым о суете мирских желаний. В чашу со всех сторон падали деньги. Когда он приблизился, я в великом смущении стал рыться в карманах и протянул ему несколько бумажек. И тут я увидел, что он смеется, выставив вперед острую свою бороду. И вся бесконечная церковь задрожала от хохота невидимой толпы. Я взглянул на свои руки. Скомканные деньги превратились в большой голубой цветок.

Лао-Цзы снится, что он мотылек, а мотылька, что он Лао-Цзы.

Афоризм

О провидении

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется.
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.*

Ф.И. Тютчев

Манихей вопрошает Иудея:

– Почему и ты, и весь народ твой почитает Творца вселенной? В вашей святой Книге я прочел: «И посмотрел Господь на сотворенное Им, и увидел, что это очень хорошо». Но Учитель наш, пострадавший за Истину, сказал, что страшный мир сей, полный греха и злобы, – порождение духа зла.

– Мы верим в Благодать и Мудрость Творца и Промыслителя, – ответил Иудей, – ибо Божественность Его скрыта в Его замысле. Он позволил нам познать Добро и Зло в этом мире. Разве Сатана, будь он Творцом, открыл бы нам различие между Добром и Злом? Его коварство, заступившее место Благого Промысла, не дало бы тебе усомниться в благодати его замысла.

О мудрости и свободе

Сатана спорит со Всевышним о первенстве: «Тебя называют Всемогущим, но ведь и мне подчиняются и ход светил, и судьбы земных племен. В чем же о, Боже, ты больше меня?»

И ответил Всевышний: «О, Люцифер, ты равен Мне в силе, но лишь Моя **мудрость** могла позволить тебе на Меня восстать».

СКАЗКА О ЗОЛОЧЕНОМ ФЛЮГЕРЕ И ДОБРОМ АЛЬБЕРТЕ ЭЙНШТЕЙНЕ

**СОЧИНЕНИЕ МАЙСТЕРА ХАЙНРИХА
(ПОВЕСТЬ ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ ГОСПОД И ДАМ)**

*И сей пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог.*

Марина Цветаева

В старые времена был город, в котором жили тензоры. Они были гордые и независимые. Такие независимые, что в любой системе отсчета, как бы на них не смотрели, они оставались самими собой. Правил ими Великий Тензор по имени Инвариант. Он оставался неизменным во всех системах отсчета – столь велика была его гордость, – прочие тензоры склонялись перед ним. Но уж, конечно, они не стали бы этого делать, зная они тайну, о которой не подозревали даже его приближенные. Дело в том, что Великий Тензор вовсе не был инвариантом, более того, он не был даже и тензором. Его настоящее имя было Кристоффель, и он прекрасно знал, что всякий, взглянувший на него сверху, увидит лишь пустоту. Но это никому и в голову не приходило, потому что главным законом тензорного королевства был закон о преимущественных системах отсчета.

И в законе этом строго предписывалось глядеть на Великого Тензора снизу вверх и притом лишь с должного расстояния. Так и сидел Кристоффель в своем дворце на высоком троне, величественный и инвариантный. Но вот однажды в том краю объявился чужеземец. У него были пышные усы и длинные седые волосы. Звали его Альберт Эйнштейн. После мороженого и скрипки больше всего на свете ему был дорог принцип общей ковариантности, утверждавший равноправие всех систем отсчета. Как только эта новая ересь стала известна Инварианту, Эйнштейна схватили, судили и, признав, разумеется, единогласно, виновным в реакционном релятивизме, осудили на смерть. На другой день на городской площади поставили черный эшафот, а рядом – трон Великого Тензора, пожелавшего присутствовать при казни столь опасного преступника. На все это со шпиль ратуши глядел флюгер, маленький позолоченный человечек. Уже много лет он наблюдал сверху все, что творилось в городе, но предпочитал помалкивать. Он был молчалив по природе. И если на этот раз он не удержался, то единственно из-за необычности зрелища. Рядом с пустым тронем стоял настоящий инвариант. Такого старый флюгер еще никогда не видел. Ведь, как всем известно, короли редко допускают к престолу инвариантные величины. Вот флюгер не удержался и крикнул, да так звонко, что его услышали во всем городе.

Так пала власть злого Кристоффеля. И тогда тензоры собрались в ратуше и решили предложить опустевший престол Альберту Эйнштейну – как истинному и бесспорному инварианту. Но он отказался, сославшись на принцип общей ковариантности. Дело в том, что, согласно этому принципу, все системы отсчета равноправны, а стало быть, все равно, смотреть ли на мир с высоты престола или сидя на земле. Удивленные жители тензорного королевства спросили Эйнштейна, что же он в таком случае хочет. И тот поведал им о своей заветной мечте: стать смотрителем маяка. И с тех пор старый ученый дни и ночи сидит на высокой скале над морем, курит трубку и размышляет о солнце, о звездах и о принципе общей ковариантности. И моряки, проплывая в бурную ночь мимо опасных скал, всматриваются во тьму и, увидев свет маяка, говорят: «Это Альберт Эйнштейн указывает нам путь». И на душе у них сразу же становится спокойно, ибо все знают, что Альберт Эйнштейн – истинный инвариант.

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА О ДОРИАНЕ ГРЕЕ

*И вот, миновав мириады звезд
и тысячи Млечных путей,
они приблизились к Петру,
хранителю ключей.*

Киплинг. Томлинсон

Рассказывают, что, попытавшись изменить прошлое, Дориан Грей утратил вместе с жизнью и свою прославленную красоту.

Однако многим представляется неправдоподобным, чтобы светский человек мог допустить подобную бестактность – утратить очарование в разгар сезона. И действительно, пронзив шедевр своего

несчастливого друга, Дориан Грей приблизился к небесным Вратам во всем блеске вечной юности. Его положение в обществе давало ему право ожидать чуда при своем вознесении. Но он, разумеется, не проявлял неуместного нетерпения, ведь он не привык чему-либо удивляться. Это и вправду было чудо: огромное зеркало, превосходившее красотой оправы бесчисленные зеркала, перед которыми он провел лучшие минуты жизни, завязывая свои неподражаемые галстуки. Но еще прекраснее оправы был сад, отраженный в безупречной поверхности зеркала. Одно лишь удивляло: он не видел в зеркале самого себя - единственное, что его действительно интересовало. И тут он впервые смутился. Но пока он осматривался, думая, что его изображение, возможно, потерялось из-за небрежности прислуги, Врата Эдема закрылись перед Дорианом Греем, и видение Райского сада исчезло навсегда.

ТРАГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

*Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный Жар –
Смешной недуг иль высший Дар?
Реши вопрос неразрешимый.
Баратынский. Рифма*

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Ганс Рейхенбах пишет в «Направлении времени» о театральном зрителе, пытавшемся предупредить Ромео о том, что его любимая сейчас проснется. Но трагедию невозможно предотвратить, ибо она «записана на пленку», точнее, истинная трагедия, по сути своей, всегда «записана на пленку».

Время, будучи связано с некоторым выделенным процессом, меняет свой характер, становясь воспроизводимым. Именно в этом случае время может быть реализовано геометрически. Таким образом, геометрическая трактовка времени становится возможной именно тогда, когда трагическая развязка, покидая область случайностей, становится существенным элементом композиции.

Иначе говоря, теоретическое время «музыкально» в смысле, который придавал этому термину Томас Манн. В романе «Волшебная гора», главным героем которого является время, Манн отметил, что «музыкальное время» – выемка в обычном времени, куда устремляется музыка, несказанно его возвышая.

«Вычлененное» время воспроизводимо. Для него существует «в другой раз». Для естественных же процессов, зависящих от всего, что происходит во внешнем мире, ничего не повторяется. Но для создания такого искусственного музыкального пространства, близкого к «зеркальному царству» Льюиса Кэрролла, необходим специальный язык, настолько грамматически совершенный, что с помощью его синтаксиса можно строить фразы независимо от содержания символов, связанных грамматическими правилами.

Такая независимость структуры предложения от содержания высказывания проявляется в знаменитом примере академика Щербы:

«Глокая куздра штеко бодланула бокра и курдячит бокренка» или в «Джаббервоки» Кэрролла. Именно существование формального языка, реализующего введенную нами структуру (то есть принцип относительности), позволяет до известной степени игнорировать контекст, иначе говоря, изымать какой-либо круг явлений из окружающего мира. Другими словами, такая формализация и лежит в основе абстрактного мышления, исследующего одни типы отношений за счет пренебрежения всеми остальными. Именно эта способность игнорировать связи превращает исследуемый процесс в «музыкальный» в духе приведенного высказывания из «Волшебной горы». Такая «музыкальность», с нашей точки зрения, является главным проявлением культурного, то есть теоретического мышления.

В поэзии принцип музыкальности приводит к сублимации обычного драматического сюжета в трагедию. Таким образом, для реализации трагического замысла печальное стечение обстоятельств должно стать необходимым. Тысячи историй, подобных «Ромео и Джульетте», могли кончиться вполне благополучно, но для несчастных любовников из Вероны нет спасения. Сама поэзия в лице Шекспира избрала их как трагических героев.

И в этом суть того внутреннего протеста, который вызывала у Б.Рассела попытка сведения духовной жизни человека к психологии. Именно о чисто психологической интерпретации Человеческого Духа, упрощающей его и обедняющей, и говорится в философской притче Б. Рассела «Кошмар психоаналитика». Конечно, эта притча, по-шекспировски сочетающая страсть души и ясность ума, не может считаться непреложным приговором такому сложному явлению, сочетающему науку и искусство, как система З.Фрейда.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ШИФР

З.Фрейд и его последователи, прежде всего К.Юнг, пытались понять, как формируется внутренний мир человека и есть ли в нем что-либо отличное от простых реакций на внешний мир. Так и возникла основная идея психоанализа: человеческое сознание это своего рода отрицательный слепок заложенных в человеке естественных биологических тенденций. Последние, как указал Р. Эшби, определяются принципом гомеостата, то есть необходимостью удерживать основные биологические параметры в некоторых биологических пределах.

Сознание же по Фрейду стремится зашифровать эти естественные тенденции. Именно способность представлять свою биологическую структуру в скрытом виде характерна с точки зрения этой школы для сформировавшегося сознания, поскольку детские желания как раз биологически очевидны: дети видят во сне именно то, что хотят наяву.

В священной книге буддистов «Дхаммапада» говорится, что истинным брахманом будет назван тот, чей путь неизвестен ни богам, ни духам. Точно так же и духовная культура как степень интеллектуального совершенства проявляется для фрейдистов, прежде всего, в стремлении к «неочевидности», то есть к непредсказуемости поступков, и поэтому язык символов является основой психологии культуры. Надо сказать, что

способность говорить обходя суть вещей, говорить вне контекста (Ф.Клейн) действительно характерна для культуры.

Примитивные языки образуются списком конкретных ситуаций, обозначенных простыми наборами звуков, это языки-картинки. В этих языках, как в языке ученых Лапуты, заменивших язык ссылками на некоторые материальные объекты, существуют лишь названия сущностей. Но сам Свифт отметил, что полноценная беседа на таком языке возможна лишь в кабинете, где все «слова» будут под рукой, то есть языки-картинки всегда привязаны к контексту, к определенной ситуации. Напротив, культурный язык, благодаря грамматике, позволяет говорить вне контекста, что сообщает нашим высказываниям более высокий уровень обобщенности. Связь грамматической структуры с символическим языком Фрейда хорошо видна на примере творчества Льюиса Кэрролла.

Мир Кэрролла - мир непредставимых образов. Естественно, что писать о них можно лишь на особом «зеркальном» языке. В балладе «Джаббервоки», написанной этим искусственным языком, позволяющем говорить «ни о чем», речь идет лишь об отношениях между вещами, а не о самих вещах. Некоторые намеки в предисловиях, написанных Кэрроллом к своим книгам, позволяют думать, что это стремление к «другому» миру и к «зеркальному» языку связано у него с психической травмой. То есть с точки зрения психоанализа язык, позволяющий говорить о непредставимом, мог возникнуть у Кэрролла как попытка говорить об Алисе, представив свои чувства в максимально зашифрованном виде. Недаром он сам писал, что символическая логика помогает ему избавиться от грешных мыслей (это уже вполне психоаналитическая мотивировка; достаточно вспомнить слова Алисы из «В Зазеркалье»: «Разве вы думаете, чтобы не плакать?»). Но аналогия между языком психоаналитических символов и формализованным языком научной теории хотя и кажется убедительной, в сущности – поверхностна, даже если понимать символы Фрейда как неизменные прообразы данной культуры (как архетипы Юнга).

В констатации ограниченности этой аналогии (да и всей концепции психоанализа) и заключен пафос притчи Рассела.

МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Дело в том, что формализованный язык, освобождающий нас от контекста, не зависит от психологических реализаций. Его цель – придать теоретическим утверждениям общность и необходимость, в то время как «неочевидность» и «зашифрованность» символики психоанализа в значительной степени случайны. В действительности символический язык Фрейда как раз привязывает нас к психологической ситуации. Просто эта ограниченность и конкретность каждого психоаналитического примера видна лишь знающим язык символов. Мы таким образом приходим к двум версиям реальности. Например, для психолога драмы Шекспира есть не что иное, как «Шекспир без Шекспира». В них уже нет шекспировской «музыкальности», их трагические развязки становятся случайными, то есть без них можно было бы обойтись. На самом деле шекспировские трагедии изъяты из мира психологических реализаций, из мира

«архетипов». Они «музыкальны», и это с неизбежностью движет их сюжет к трагическому финалу.

В мире мифологии (в мире культурных прообразов² могла родиться легенда о «безвольном принце», вдохновлявшая многих поэтов и до Шекспира, но образ Гамлета, то есть образ трагического противопоставления «естественных законов существования» и интеллекта, мог создать лишь Шекспир; и именно философский замысел трагедии и сделал ее действительно трагедией, сделал ее трагический замысел «музыкальным».

В то же время традиционный, идущий от хроники сюжет не несет в себе необходимости трагической развязки.

Сходство и глубокое внутреннее различие двух способов воспринимать действительность с замечательной явностью и наглядностью представлено именно в «Гамлете» в сцене «мышеловки». Шекспир просто разделяет две «сказки», вставляя сцену в сцену.

Трагический сюжет, освобожденный от случайных подробностей, разыгрывается на «внутренней сцене» перед аудиторией, состоящей из «архетипов», то есть прообразов того же действия, сидящих на «внешней сцене». Трагический («музыкальный») замысел возможен лишь на «внутренней сцене», потому что бродячие комедианты могли бы поставить «убийство Гонзаго» и при любом другом дворе, то есть «внутренняя трагедия» не зависит от контекста. Ее трагический сюжет необходим для реализации драматического замысла «внешней драмы».

Психологические же прообразы трагедии, сидящие в зале, немислимы вне контекста именно датского двора. Их мифологическая интерпретация возможна потому, что предание, всякое предание, немисливо вне контекста, оно всегда «о чем-то», хотя, маскируясь под «музыкальную сказку», оно начинается обычно неопределенно: «В некотором царстве, в некотором государстве...» Именно эта «немузыкальность» психологического подхода, лишаящего действительность поэтического элемента, и отталкивала Рассела, для которого поэзия и строгое мышление были синонимами.

Пользуясь метким эпитетом Честертона из его эссе «Две стороны зеркала», в котором сопоставляется мир непредставимых образов грамматических сказок Кэрролла с миром традиционных мифологических прообразов Андерсена, можно сказать, что Расселлу, побывавшему в «зазеркалье», была очевидна ограниченность мира «естественных сказок».

МУЗЫКА И ОБРАЗ

В замечательной книге Э.Ханслика «О музыкально прекрасном» подвергается остроумной критике общеизвестное, заимствованное у просветителей XVIII века положение о том, что музыка – «язык чувств». Ханслик доказывает, что музыка, вопреки мнению современных ему романтических музыкальных писателей, лишена какой-либо «естественной» программы. Романтической доктрине о «естественной»,

² Правила орфографии не позволяют написать «праобраз», чтобы подчеркнуть философский смысл этого слова, важный в данном контексте.

апеллирующей «к сердцу» музыке Ханслик противопоставляет ясное понимание собственно музыкальных задач, близких к гетевскому определению музыки как «текучей архитектуры».

Многие современники (а наивные поиски видимых образов в музыке, которая якобы апеллирует к нашему «живому воображению», продолжают и в наше время) считали Ханслика сухим педантом, но мы знаем, что необычайные и в то же время совершенные музыкальные структуры способны доставлять поразительные переживания, лежащие и вне нашего обыденного опыта или даже мира чувственных поэтических образов.

Это, разумеется, не исключает сочетания музыки и поэзии, а иногда (как у Вагнера) и философии. Но нелепо искать в опере, музыкальной драме или симфонической теме некую «новую» музыку («музыку будущего», как говорил Вагнер). Это лишь синтетическое искусство, апеллирующее к разным сторонам человеческого сознания.

Музыка, собственно, проявляется лишь в гармонизации времени, в превращении случайного мира акустических явлений в многообразие, подчиненное своим внутренним законам (как в герметической педагогике). Именно поэтому Т.Манн и называет время, связанное с некоторым искусственно выделенным из внешнего мира процессом, музыкальным. Иными словами, музыкально все, что относится к «царству Снежной королевы», все, что проявляется не в образах, а в конstellациях, то есть в сочетаниях звуков, действующих на нас вне каких-либо чувственных ассоциаций. Такая независимость от контекста (своего рода иерархия отъединенности от внешнего мира) определяет ряд степеней «музыкальности». Для музыки в собственном смысле характерна независимость от психологических ассоциаций, в то время как элементы коллективной психологии в музыке несомненно присутствуют. Ведь совершенно очевидно, что если мы не видим в музыкальном произведении ничего, кроме калейдоскопа звуков (как говорил Ханслик и его пропагандист в России Ларош), то легко отличить музыку барокко от музыки романтиков XIX века и так далее. То есть музыка, чуждая индивидуально-психологических характеристик (в отличие, например, от живописи), в то же время отображает архетипы (исторические прообразы).

Существуют, однако, более высокие степени грамматической игры, когда отсутствуют даже и архетипы. Грамматическая структура математики настолько высока (н настолько независима от психологического контекста), что в математических «предложениях» нельзя найти даже следов общ исторического элемента. Ведь любые исторические ссылки носят содержательный, то есть полностью «немзыкальный» характер, а именно в математике «немзыкальность» (содержательность) до конца преодолевается.

Согласно Расселу, только математика, в рамках которой мы не знаем, о чем говорим, и верно ли то, что говорим, является в этом смысле вполне «музыкальной». С другой стороны, теоретическая физика, хотя и принадлежит к «другой сказке», все же содержит элементы онтологии и тем самым, до известной степени, привязана к контексту. Таким образом, теоретическая физика принадлежит к более низкому типу музыкальности.

Правда, исторические ссылки, на которых основана физическая онтология, носят ковариантный характер, они свободны от каких-либо хронологических или географических уточнений.

К мудрому изгнанию в «музыкальность», к благоразумию, спасающему людей от навязанных им драматической судьбой трагических развязок, призывает бесконечно остроумная – одна из вершин англосаксонского эксцентрического юмора - новелла Рассела «Кошмар психоаналитика». Психоанализ, примиряющий человека с окружающей средой, избавляет шекспировских героев от пятых актов, и мир, избавившись от музыки, обретает покой. Но тут оказывается, что высшая музыкальность, воплощенная в мышлении, восстает против прозы психоанализа.

Рассела пугает судьба «счастливых детей», руководимых мудрыми наставниками (как в «Легенде о Великом Инквизиторе»). Аристократическому интеллектуализму Рассела противна перспектива духовной кастрации человечества, хотя бы и для его блага.

ШЕКСПИР БЕЗ ШЕКСПИРА

Сама идея сведения строгого мышления к психологии, то есть постановка «внутренней» трагедии на «внешней» сцене, казалось Расселу скучной и филистерской. В этом он, возможно, был необъективен: интеллектуально-взволнованной натуре «страстного логика», как его называли, объективность была, вообще, не очень свойственна. Он видел в психоанализе попытку примирить разум и поэзию с банальностью, а человека с окружающей действительностью. С этим поклонник «бунтующего лорда» (недаром он ввел Байрона в историю западноевропейской философии) примириться не мог.

В притче Рассела шекспировские герои в первом круге ада (по Данте это круг праведных язычников) восхваляют мудрость психоанализа, который в свое время помог им освободиться от поэзии и трагических решений, навязанных им Шекспиром. Это своего рода суд коллективной психологии над поэзией (и тем самым - над логикой, то есть над «неочевидными» решениями драматических ситуаций). И действительно, то, что у Шекспира было трагично и потому – поэтично, благодаря анализу Фрейда обернулось мирным и благополучным приспособлением к «лучшему из миров». Ведь драматические сюжеты, избавленные от «поэтических нелепостей» Шекспира, уже не музыкальны, иными словами, трагические развязки уже не заложены в них, как необходимые части авторских замыслов. Поэтому трагический элемент в них всегда легко устраним, благодаря своевременному вмешательству Великого психоаналитика – доктора Бомбастикуса. Ромео, освободившись от «детских глупостей» своей поэтической страсти, становится достойным представителем дома Монтекки. Доктор Бомбастикус объяснил ему, что юношеская любовь, чуть было не породившая трагический финал, была лишь бунтом против родительского авторитета, то есть проявлением Эдипова комплекса. Отелло, осознав под руководством Великого психоаналитика, что в несчастной Дездемоне он видел материнский Символ - отсюда нелепая ревность, едва его не погубившая, – становится

мирным негодяем и мужем добродушной хозяйственной жены. Наконец, сам Гамлет благополучно женится на Офелии и, вступив «в свое время» на датский престол, становится достойным королем, сумевшим в битвах с поляками поддержать – не хуже Фортинбраса – честь датской короны. Поняв, благодаря психоаналитическому методу, что отца он подсознательно ненавидел, Гамлет освободился от видений, изолирующих его от общества «нормальных людей» (то есть изымавших его из привычного мира человеческого безумия и тем самым сообщавших его поступкам музыкальную гармонию). Психоанализ помог ему вернуться в общество Розенкранца и Гильденстерна, которые заменили ему сомнительного – с точки зрения приспособленности к миру – Горацио. Иногда он, правда, жалеет о своем былом «безумии», открывшем ему глаза на окружающий его «нормальный мир». Ему жаль поэзии, которую он утратил, став «толстым принцем датским».

ОГНЕННЫЙ ЛЕД

*Пространственные отношения
не следуют из опыта. Напротив,
опыт предполагает понятие пространства.*

Кант. Критика чистого разума

Когда часы на башне королевского замка проббили полдень, Иммануил Кант, как обычно, вышел на прогулку. На берегу Прегеля ему повстречался старый моряк. Общительный и любопытный Кант пригласил его к себе домой, чтобы послушать рассказы о заморских странах.

Моряк с удивлением осмотрел кабинет философа. Особенно поразили его бесчисленные тома, покрытые какими-то странными знаками.

– К чему тебе эти непонятные узоры? – спросил моряк.

– Я читаю книги, – ответил Кант, – и сам пишу другие.

– Ты кажешься зрелым мужем, – заметил моряк, – а говоришь как юноша. Когда-то в молодости и я пробовал разгадать узоры на камнях, которые находил на берегу моря. Я пытался постигнуть язык Природы. Но с годами я оставил эту детскую забаву, ибо понял, что Природа украсила скалы и коралловые рифы узорами, чтобы ими любовались, а не для того, чтобы их читали.

– И ты никогда не учился? – удивился философ.

– Учатся дети, – сказал моряк, – запертые в школе, как ты в Кенигсберге. Я же с юных лет брожу по морям. Лишь однажды я чуть было не уподобился тебе. Это было в южных морях. Ураган занес нас к берегам Великого южного материка. Стало очень холодно. Утром я вышел на палубу и не увидел моря. Сияющие ледяные стены окружали нас. Старые моряки говорили, что это чертоги Снежной королевы.

Я сошел с корабля. Казалось, не будет конца ледяным залам. Стены дворца были украшены драгоценными камнями, которые складывались в какие-то затейливые письмены. Я стал их разглядывать, и смысл их вдруг открылся мне. Восхищенный, я взял с собой самые прекрасные из алмазных изречений.

Но задули теплые ветры, ледяные стены исчезли, и мы были вновь свободны. Я посмотрел на свои драгоценные надписи, но они превратились в воду. И подумать только, что я видел в этих жалких льдинках какой-то скрытый смысл. Так я вырвался из ледяного плена. Ты же всю жизнь был узником ледяного замка и не удивительно, что ледяные узоры так тебя занимают. Неужели тебе никогда не хотелось быть свободным?

– Я никогда не покину Кенигсберг, – сказал Кант. – Только в этих стенах, хранящих мой покой, я смогу сберечь свои сокровища. Ведь ты сам сказал, что твои письма растаяли, когда корабль ваш сдвинулся с места.

– Но наш капитан, – возразил моряк, – тоже ученый человек. В его каюте я видел такие же письма, как и у тебя в кабинете. Значит, есть и живая наука, которую постигают в открытом море, а не в ледяной келье.

– Ты все бы понял, – последовал ответ, – если бы мог прочесть мою книгу об огненном льде, которому не нужны солнечные лучи, чтобы светиться, ибо он несет в себе свой свет. Поэтому огненный лед не боится солнца. Тому, кто его видел, не надо плавать в дальних морях, чтобы быть свободным. Но я не хочу докучать тебе пересказом ученой книги. Лучше расскажу тебе притчу о Картографе и Мореплавателе.

– Сколько карт ты начертил! – сказал Мореплаватель Картографу. – И тебе никогда не хотелось увидеть места, столь искусно тобой отображенные? Почему бы тебе не стать моряком и плавать в теплых морях вместо того, чтобы целыми днями сидеть в холодном кабинете?

– Но, чтобы плавать, надо выбрать из многих карт одну, а у меня, видишь, целый атлас.

– Но я ведь плаваю, хотя и сверяюсь с картой.

– Ты можешь странствовать в океане, – улыбнулся Картограф, – ибо веришь в картографию. Поэтому тебе не приходится рыться в атласе. Карта, висящая на стенке твоей каюты, единственно возможная для тебя.

ДВЕ СКАЗКИ ИГРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Алиса, странствуя в стране чудес, то и дело меняется: сокращается и растягивается, «подобно телескопу», по ее словам. Один ученый в этой связи заметил, что страна чудес, по-видимому, основана на проективной геометрии, то есть на геометрии, сохраняющей прямые линии, но не имеющей – в отличие от евклидовой, которой соответствует обычный земной мир (точнее, его локальная область, где мы живем), – метрических инвариантов.

Каждый раз после очередного превращения у Алисы, естественно, возникает вопрос об идентичности. Единственный способ убедиться, что она по-прежнему та же самая девочка, – повторить хрестоматийные стихи, которым ее обучили, так как для педагогики (с культурной точки зрения) человек – сочетание школьных стандартов (результат педагогического воздействия). Мир культуры – искусственный мир, основанный на установленных изречениях, и человек, знающий эти

«заклинания» и «священные тексты», отождествляется с культурой, то есть это собрание текстов образует внутренний мир, выделенный из естественного мира, не знающего «школы». Главная особенность внутреннего мира – привязанность к «школе», к системе правил, на которых он основан. Так возникает сказка о «зеркальном царстве», царстве игры. Возникает мир, где произвольные, но строго определенные правила игры (ведь эта сказка и задумана как шахматный этюд) превращают сказочные персонажи в фигуры, обусловленные какими-то уже заранее известными «стихами».

Сведение действительности к игре является источником бессмертной иронии, прославившей эти сказки. «Слова значат то, что хочу я», – заявляет Шалтай-болтай, а Лев и Единорог, хотя им давно уже надоело сражаться, все же подчиняются старинной песенке и действуют «по правилам», ибо, в известном смысле, и лев, и единорог, как и любая шахматная фигура, полностью исчерпываются системой правил, определяющих их ходы.

Но выясняется, что Алиса (и в первой, и во второй книге) не хочет быть просто «сном красного короля», как ей объясняют берклиански настроенные Тру-ля-ля и Тра-ля-ля. Хотя все хрестоматийные стихи, которые девочка пытается вспомнить, превращаются в остроумные пародии – ведь сатана в «Докторе Фаустусе» Т.Манна говорит, что на высшей ступени культуры искусство должно реализоваться как автопародии, – она все же остается сама собой.

Стало быть, автор допускает нечто независимое от «школьных стихов», некоторую сущность, не подчиненную правилам грамматики (то есть некоторую внекультурную сущность). В этом смысле Алиса, подобно некоторой словарной реалии (корню слова), существует в разных играх, в то время как другие герои этих книг немислимы вне грамматики, подобно «глокой куздре» – подлежащему без сущности.

Но такая «одичавшая» грамматика, игнорирующая основанный на мифологии (на традиции) словарь, принадлежит лишь культуре. И тот факт, что для профессора Доджсона Алиса не только фигура, может означать признание ограниченности мира культурной игры, искусственного мира Оксфорда, в котором прошла его жизнь. И девочку, образ которой воплощал для него надежду на другой, вероятно, более реальный мир, он поместил за пределами игры. В его книгах Алиса принимает в играх участие (они придуманы специально для нее), но нам ясно, что она не только фигура культурно-педагогических игр – раньше или позже Алиса разрушит их правила: король и судьи превратятся в колоду карт, а красная королева – в котенка. И тогда профессор Доджсон уйдет из сна в реальность, то есть перестанет быть лишь частью теоретического мира, присоединенного в одной точке к реальности.

В «Житии» протопопа Аввакума замечено, что в пользу восьмиконечного византийского рисунка креста (в противоположность латинскому «крыжу») свидетельствует то место в «страстях», где сказано, что над головой Христа была прибита доска с надписью «Се царь иудейский». Стало быть, различие двух знаков, чисто условное с грамматической точки зрения, становится безусловным, благодаря

внелогической мифологической цитате. Иными словами, мифология носит внеграмматический (и тем самым внекультурный) характер, но именно внелогическая природа мифологии и позволяет говорить о чем-либо содержательно.

Теоретический мир, присоединенный в одной точке к миру реальности, сочетается с неким внеграмматическим онтологическим пространством (своего рода пространством метафизики).

В рамках этой модели речь идет о мире внеигровом, то есть внелогическом. О чистой морфологии, содержащей инвариантные части слова³ можно сказать, что корни слов вообще могли бы представляться идеограммами. Иначе говоря, речь идет о принципиально сущностном элементе языка.

«Культурная поэзия» – это обезумевшая грамматика, забывшая о мифологической реальности, элементом которой она является. В этом же смысле можно говорить об «одичавшей морфологии», то есть о метафизике, состоящей в последовательном извращении грамматических функций слова.

Если теоретики верят в суверенность логических структур (грамматических форм), то метафизики думают, что слова могут нести содержание и помимо грамматики (можно сказать, что в этом отношении метафизика напоминает магию, видящую в словах таинственен) силу, дающую власть над видимыми и невидимыми мирами. Отсюда характерное для метафизики превращение глаголов в существительные, субстантивация и тому подобное.

Известна знаменитая проблема, разделившая когда-то европейских схоластов на два лагеря, – проблема тождества. Сторонники Фомы Аквинского считали, что могут различаться два состояния одной сущности, то есть одна и та же сущность, обладая различными предикатами, тем самым не равна себе самой. С другой стороны, последователи Иоанна Дунса Скотта утверждали единство сущности.

В шекспировском «Короле Лире» эта теоретическая проблема необычайно ярко иллюстрируется замечанием Шута о двух половинках яйца (и «верхушка яйца», и «корона» по-английски «crown»). Лир считает, что его королевская сущность – он верил в нее всю жизнь – не зависит от условий (от раздела царства), но Шут объясняет ему (в согласии со Скоттом), что, разрубив венец, он тем самым оставил себе столько же сущности, сколько ее осталось и в яйце, «форма» которого разбита (в яйце, лишенном акциденции).

Таким образом, вера метафизика в неотделимость сущности от слов, которыми он манипулирует, ставит его в трагическое положение, хотя, казалось бы, он весь – в реальности. Оказывается, что существуют понятия, доступные лишь игре, то есть культурному языку. Но в этом и есть самая суть трагедии для тех, кто хочет быть «настоящим» и не

³ Речь идет, разумеется, об аналитических языках. В английском слово само по себе вообще внеграмматично, так как все его логические функции вытекают из грамматической структуры. В этом смысле английский ближе всего к логическому идеалу.

принимает мира, основанного на соглашениях, не желает быть фигурой внутреннего мира. Так, наряду с грамматической, изъятой из действительности сказкой, в которой Алиса действует как абстрактная фигура, принимающая участие в различных играх (она отдается им с характерным для ребенка увлечением формальными процессами), возникает другая сказка, своего рода мифология об Алисе, в которой она действует на этот раз как неизменная фигура, как имя, не связанное ни с одним из логических парадоксов первой (грамматической) сказки. В двух знаменитых книгах об Алисе «другая» сказка, однако, так и остается за сценой; о ней можно лишь строить догадки, исходя из некоторых намеков в биографии автора. Зато в третьей, менее известной книге – «Сильви и Бруно», составленной, подобно «Снежной королеве», из разных историй, Кэрролл пытается соединить оба типа сказок.

ВНУТРЕННЯЯ СКАЗКА

Ранние романтики (особенно Э.Т.А. Гофман) любили как литературный прием такую конструкцию, где в каждой точке реальности присоединялось (если воспользоваться геометрическим термином) сказочное пространство. Например, реальные надворные советники, населяющие гофмановские города «внешнего пространства», преображаются в сказочные персонажи, но при этом в персонажи традиционных сказок, столь же широко представленные в мифологии, как и в реальной жизни.

Мифологическая, (традиционная) сказка не выделена полностью из внешнего мира, ибо населена его прообразами. Так, Дон-Кихот, пыгавшийся воплотить в ренессансной Испании миф о Рыцаре, отнюдь не изъят при помощи «своей сказки» из мира, она его не защищает, он открыт ударам, идущим из реального пространства, хотя и пытается его игнорировать.

В «Сильви и Бруно» использован совершенно новый композиционный принцип. Именно в каждой точке внешнего мира взаимодействуют две сказки. «Естественная» сказка вполне традиционна. В ней есть и добрый король, и злой узурпатор (его младший брат), и несчастные принц и принцесса во власти злой мачехи. Традиционная сказка основана на развернутой пародии, обыгрывающей железнодорожное расписание. Дворец злого короля - железнодорожная платформа. «Железнодорожная сказка» обычно начинается в вагоне дачного поезда. Там же появляется и странный профессор, соединяющий сказку «внешней страны», то есть «естественную», со сказкой страны фей, где царят непредставимые образы из мира «зеркальной», освобожденной от реального пространства сказки.

Чтобы геометрическая структура повествования, склеенного из двух сказок, была прозрачнее, впервые, у Кэрролла появляется внешний мир. Наряду с прекрасными персонажами банального викторианского сюжета (надо думать, что профессор Доджсон не иронизировал, он просто не мог представить себе небанальную действительность; этим и объясняется псевдосуществование, которое он вел в искусственном мире Оксфорда, напоминающее столь же

искусственное бытие Канта в Кенигсберге) во «внешнем» мире появляются еще и прообразы «пространства фей» из мира интеллектуальных шуток. В нем, как у Свифта в Лапите, вся суть в остроумном вывертывании наизнанку классической механики. При этом так называемая «наглядная» классическая физика обнаруживает всю свою неочевидность. В этом отношении особенно характерным кажется пример с гостиней, движущейся по баллистической траектории. Интересно, что среди различных «безумных» парадоксов, основанных на строгом соблюдении законов физики, именно этот пример реализации состояния невесомости в наше время совсем не кажется только лишь отвлеченной интеллектуальной конструкцией.

Психологически интересно, что воплощение вечно женственного – в первых книгах этот образ был связан с Алисой – в «Сильви и Бруно» разворачивается. Мир интеллектуальной игры связан с земным отражением эльфической Сильви – леди Мюриэл и с волшебным братом Сильви – принцем Бруно. Тем самым, в известном смысле, образ Алисы раздваивается на лирический и логический.

В спорах с Галилеем сторонники Аристотеля в качестве решающего аргумента против использования при астрономических наблюдениях оптических приборов выдвигали довод, что они искажают реальность. Аристотелианцы справедливо замечали, что телескоп создает, в сущности, другую физическую реальность, хотя бы тем, что открывает новые астрономические объекты, ранее не наблюдаемые.

Неудивительно, что развитие астрономии ведет к исчезновению старых представлений типа «семь планет – семь элементов», то есть в астрономии, вооруженной приборами, старый подход, основанный на изучении констелляций, ищущий в звездных параметрах некий внутренний смысл, уже неэффективен. Именно поэтому ключом к разгадке двух связанных миров: «фейного» и «внешнего» («естественной» сказки) оказывается лекция профессора на железнодорожной платформе (во дворце железнодорожного короля, похитившего престол у настоящего начальника станции, который в конце повести оказывается владыкой пространства эльфов, примиряющим в заключительной сцене оба мира).

В лекции демонстрируются изобретения профессора: микроскоп (делающий из блохи лошадь) и мегалоскоп, совершающий обратную операцию. И здесь игра слов, как часто у Кэрролла, реализуется наглядно и поэтому превращается из безобидного каламбура (микроскоп – мегалоскоп) в безумный парадокс. Та же форма кроткого помешательства, порожденная милым ученым педантизмом, блестяще проявляется в рассказах странного взвездного ученого о картах, отображающих мир столь точно, что их просто невозможно развернуть, и о теории движения совершенных шарообразных тел. Теория эта, воплощенная в шарообразном декане одного из колледжей этого странного мира, реализуется при «охоте на студентов» (своеобразной форме конкурса для абитуриентов в «другом мире»).

Это может показаться смешным педантизмом, но поразительно, насколько последовательно воплощает Кэрролл необычную конструкцию своей повести. И из того, что «пространство эльфов» присоединено к

одной точке внешнего пространства, естественно следует непротяженный характер «эльфического времени» в реальном пространстве. То есть время «мира фей» образует точку во внешнем времени. Это чрезвычайно распространенный художественный прием. В эпических произведениях, например, в «Махабхарате» или «Песне о Роланде», эта геометрическая конструкция использовалась для соединения двух типов времени: эпического, которое не несет элемента конца (ведь эпическое полотно, подобно дневнику, можно продолжать, пока завершение не будет продиктовано внешними факторами), и драматического, построенного по иному принципу.

Поэтому в «Махабхарате» замечания Кришны об наивности, которую истинный брахман может проявить, оставаясь свободным от мира страстей (от элемента «раджас»), пока в его поступках отсутствует личный элемент, не являются лишь механической вставкой философского фрагмента в эпический текст. Пояснения Кришны относятся к теоретическому (и поэтому драматическому) времени. Это «музыкальное» время вследствие своей изъятости из «внешнего» (эпического) времени воспроизводимо, так как несет в себе свое завершение. Поэтому оно присоединяется в точке реального времени.

Кэрролл реализует эту идею, вводя в «естественную» сказку особые волшебные часы, позволяющие профессору присоединиться к любой временной точке «железнодорожного царства». Благодаря этому устройству присутствие профессора «в сказке об эльфах» не ощущается в «железнодорожной сказке». Именно музыкальный характер времени мира эльфов, воплощенный в этих часах, позволяет совместить самую суть банальной сказки – сказочно-отвратительного мальчишку Уггуг – с поэтической парой из мира эльфов: Сильви и Бруно.

Часы профессора, будучи воплощением времени, изъятых из внешнего хаоса, тем самым реализуют геометрический характер времени. В этом смысле часы должны демонстрировать его обратимость, причем обратимость не должна нарушать принцип причинности (события должны оставаться внутри светового конуса, говоря современным языком). Действию часов посвящена в книге целая серия забавных эпизодов; и в каждом обратимость времени связана с его музыкальностью в том смысле, что «изъятость» времени связана с его драматичностью, то есть время это «записано на пленку» (включает результат как элемент процесса). И именно поэтому часы могут обращать движение. В известном смысле, именно «драматический» процесс может вписаться в часы, оказаться связанным с их конструкцией. Иначе говоря, «драматическое» время может оказаться отгороженным от внешнего мира, и эта отгороженность выражается в виде особой конструкции пространства, а в книге – в виде волшебных часов, несущих время в себе, вместо того, чтобы, находясь в нем, отмерять его внешний ход.

Здесь мы сталкиваемся с обстоятельством истинно загадочным.

ЭЛЬФЫ И ПАРАДОКСЫ

Все изучавшие английский фольклор убеждались, что поэтическая фантазия этого народа развивалась по каким-то загадочным и

ни на что не похожим законам. У англичан никогда не было своих сказок или народной демонологии, не было и такой разработанной мифологии, как у германцев. Можно сказать, что именно традиционные сказочные образы, образы стихийных духов для жителей этих странных островов нетрадиционны (и даже обычные детские сказки в культурный период просто переводились из сборников Перро и братьев Гримм). Зато чисто английским был мир эксцентрических, намеренно безумных песенок и стихов, вдохновивших впоследствии Кэрролла и Эдварда Лира. И чисто лирическая струя в народной поэзии, которой, как и повсюду, следовали романтики, принимала форму баллады – драматического поэтического повествования, всегда композиционно замкнутого (в этих глубоко музыкальных маленьких трагедиях нет ничего напоминающего фрагменты забытого эпоса). Вероятно, в английской поэзии эпического начала или совсем не было, или оно стояло на втором месте. Недаром собиратель артуровских легенд Т. Мэлори удивлялся, почему о подвигах короля Артура столько писали французы и итальянцы и нет ничего по-английски, хотя он ведь был правителем бритов. Но в этом нет ничего удивительного: все эпические легенды, в частности, о Граале и Персевале, о Тристане и Изольде, Мэлори пришлось восстановить уже в XV веке, вероятно, по французским и провансальским источникам. Это еще раз подтверждает, что традиционной у Кэрролла оказывается именно «грамматическая», присоединенная в точке «внешнего» эпоса, сказка.

Можно сказать, что в истории английской культуры связь между эпическим и музыкальным (между двумя сторонами зеркала) преобразуется. До сих пор геометрические аллегории, которые лежали в основе наших рассуждений, четко разграничивались между эпическим, то есть лишенным внутренней структуры, не содержащим конца в качестве архитектурного элемента, и «музыкальным», трагическим началом.

Самая суть эпического начала в том, что оно допускает рапсодический элемент, но не в тех случаях, когда речь идет о маленьких трагедиях вроде «Прекрасной Энни» (в известном переводе С.Маршака «Трагедия Дагласов») или, причисляя к английской поэзии близкую ей южношотландскую, каком-либо из вариантов баллады о Томасе Лермонте (Томасе-стихотворце). Сказанное, впрочем, не относится к кельтской поэзии, в высшей степени богатой преданиями, украсившими творчество вдохновителя «Ирландского возрождения» У.Б.Йитса.

Интересно, что традиционно-сказочные эльфы и феи кельтских сказок (и именно в этом особенность «двойной» сказки о Сильви и Бруно и всей вообще поэзии Кэрролла) в английской поэзии, например, в «Сне в летнюю ночь», преображаются в причудливые, почти пародийные персонажи. Честертон писал, что русалок и эльфов видят не поэты, а простые люди. Об эльфах Шекспира этого не скажешь; его мир изысканно культурен. Да и то пространство, куда уходят из «железнодорожной сказки» Сильви и Бруно, более напоминает некий фантастический вариант Оксфорда, чем Авалон (остров фей кельтских сказок).

Именно поэтому Шекспиру было так легко найти музыкально-поэтический элемент своих трагедий в народных эксцентрических

балладах (вспомним, например, «Песни Тома О'Бедлама», воспроизводимые Эдгаром в «Короле Лире», или же песни Офелии). Мифологические же образы и сюжеты он брал из исторических хроник или из итальянских новелл, то есть мифология у Шекспира оказывается чуть ли не более искусственной, чем собственно трагические замыслы (это другая сторона юркала, говоря словами Честертона). Всякое подлинно бессмертное произведение возникает из сочетания музыкального (композиционно замкнутого) образа и мифологического образа, для которого характерна незыблемость, независимость от культурно-исторического контекста. Однако независимость, изолированность музыкального образа совершенно другого происхождения: он независим, поскольку подчинен законам внутреннего развития. Как сказал Пушкин: «Какова Татьяна? Представьте, вышла замуж!» И самая суть великого произведения, вероятно, и состоит в переводе «вечности» на язык «суверенности», то есть эпоса на язык музыкальности.

Замечательно, что в истории живописи немало места занимают поиски естественного языка видимых образов. Это, в известном смысле, возвращение к утраченной невинности, к языку, не нуждающемуся в ухищрениях грамматики, для которого говорить ни о чем (о «глокой куздре») не сложнее, чем говорить что-то.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Именно поэтому развитие живописи привело к возникновению манеры, апологеты которой стремились полностью исключить из языка искусства грамматический (неестественный, введенный извне) элемент. Это отразилось прежде всего в увлечении пленэрной живописью, пренебрежением мастерской, светотенью, то есть экраном. Ведь принципы, введенные искусственно, в частности, принципы симметрии, связаны как раз с экраном (или с герметической камерой), выделяющими ситуацию из внешнего мира. Импрессионисты же в своем стремлении к естественному освещению исключали какую-либо герметическую педагогику, иначе говоря, всякий внешний элемент из своих картин. Поэтому в их живописи исчезла перспектива, причем следует иметь в виду, что импрессионизм не просто, как думают кантианцы, заменил один внешний, трансцендентальный принцип восприятия другим. Импрессионисты просто отказались ото всех трансцендентальных, то есть предшествующих восприятию элементов. Здесь можно было бы говорить о поисках «естественной» перспективы, но это спор о терминах, ибо перспектива, будучи внешней, всегда тем самым искусственна, поскольку игнорирует сущность явлений.

Напротив, средневековая живопись посвящена не образам мира, а попыткам увидеть Небесный град. Все произведения содержат образы «небесных цветов» или драгоценных камней, украшающих небесные стены. В известном смысле, земные драгоценности возникают как прообразы «небесных камней», то есть Небесный град является источником симметрии, лишь интеллектуально созерцаемых в земном мире.

В «Улиссе» Дж. Джойса есть один крайне характерный для манеры автора каламбур (у автора «Улисса», как и у Кэрролла, которому он во многом близок, игра слов часто переходит в игру логическими отношениями): увидев стену кладбища, герой сопоставляет «cemetery» и «symmetry» (кладбище и симметрия). Уподобление поражает своей глубиной и точностью. Ведь мы уже говорили, что отношение симметрии предполагает некоторый выделенный из внешнего мир; недаром алхимики использовали рисунок гробницы как символ трансмутации (превращения обычных металлов в благородные). В нашем случае это соответствует превращению хаотической внешней случайности в присоединенную в точке симметрию (это как раз есть то, что Т.Манн называл герметической педагогией или сублимацией духа). Поэтому «другой мир» осуществляет непредставимые симметрии.

Средневековые художники подчеркивали это заменой классической перспективы (некоторого внешнего условного языка, с помощью которого евклидова геометрия нашего времени заменяется проективной, и поэтому все линии сходятся и видимые размеры убывают с расстоянием) обратной перспективой, согласно которой размеры объектов соотносятся с их духовной значимостью в соответствии с иерархией, лежащей в основе замысла картины. Но это вовсе не означает, что обратная перспектива в отличие от классической более естественна, как думал, например, П.Флоренский. Также и этот принцип не является присущим изображению.

В то же время музыка всегда носила характер искусственного, внутреннего языка, апеллирующего к чему-то «внечувственному» в нашем сознании. Подобно средневековой живописи, которая стремилась как бы заключить нас в какую-то из другого мира пришедшую симметрию (в этом отношении особенно замечательны витражи готических соборов, превращающих прихожан в узников драгоценного камня, Небесного града), музыка вся «неотсюда», то есть принадлежит «внутренней сказке».

Идеи Просвещения и в особенности мысли Руссо о «естественном» знании породили в музыке XIX века мечту о «естественной» музыке, идущей от природы, подобно «подлинной» живописи (под такой живописью эстетика XIX века понимала лишь Высокое Возрождение и его эпигонов, то есть Рафаэля, представителей Болонской школы и академистов). Совершенно последовательно эта эстетика рассматривала всю живопись до Рафаэля и всю музыку до Бетховена как примитив.

Но если сравнить музыку величайшего представителя романтического направления Вагнера с произведениями доктринеров «естественной» музыки, легко убедиться в противоречивости самой идеи последних. Действительно, Вагнер в «Тристане и Изольде», самом замечательном из своих творений, музыкально противопоставляет внешний мир и любовь, находящую высшее выражение в смерти. Жизнь – это факел, который должен погаснуть, чтобы, изгнав любовников из внешнего мира, породить музыкальное царство любви. И чтобы прояснить эту мысль, Вагнер ссылается на философию буддизма, в

которой пламя светильника отображает цепь рождений, а погасший светильник является прообразом Брахата, преодолевшего цепь рождений и достигшего нирваны.

В музыке Вагнера нет ничего от имитационной живописи академизма, то есть ничто в ней не апеллирует к «естественному» человеку. Напротив, она, всецело теоретическая и философская, менее всего напоминает что-то подобное естественному языку. «Ключевые мелодии» (лейтмотивы) Вагнера являются своего рода заклинаниями, вызывающими нужный автору философский образ.

Таким образом, музыкальные конstellации Вагнера не вытекают как некоторые неизбежные следствия из его философских замыслов. Вся его музыка – заклинание и принуждение образов, которые вне его музыкальной магии (вне его культурного мира) были бы лишены какого-либо внутреннего смысла.

В вагнеровских сюжетах музыкальный язык вовсе не кажется внутренне им присущим. Он столь же условен, как и всякая знаковая система. То есть и в вагнеровской музыке культура, как и в любой области человеческого духа, проявляется как самоограничение.

О ПОДОБИИ

Поселянин ропщет на Бога: «Видел я царя, когда проезжал он со свитой мимо моего дома, и понял я, Господи, что неправы дела Твои. Я ожидал встретить полубога, достойного своей высокой участи, а это лишь человек, во всем мне подобный. Чем же он лучше меня? Скажи, чем именно, и я снова поверю в Твою благость».

Ему отвечают из вихря: «Он тебя ничем не лучше, но скажи, разве что-то изменится в судьбе твоего края, если ты заменишь его на престоле?»

Оба, мужик и царь, умерли и предстали пред Его Лик: «Теперь вы воистину равны. Ведь в Моем царстве все места одинаковы, у Меня нет ни хижин, ни дворцов, и ваше подобие здесь то же, что равенство там, на земле. Только в Моем царстве подобное означает равное, о, бывшие монады!»

ОБ ЭРЛАНГЕНСКОЙ ПРОГРАММЕ ПРИТЧА ДЛЯ АДЕПТОВ

Посвящается Э.Картану

Когда жители дикого-дикого леса устроили у себя школу, Кошка оказалась совершенно неспособной к геометрии.

«И не удивительно, – сказал Пес. – Ведь Кошка самая дикая из тварей в нашем диком-диком лесу, и все места для нее – одинаковы. Зачем же ей геометрия?»

Мораль: изучение геометрии предполагает известный культурный уровень.

МУЗЫКА И ОБРАЗ

*Мы слишком много говорим.
Сам я хотел бы совсем отказаться
от слова и, подобно природе,
выражать себя картинами.*

Гете

Музыкант и живописец спорят о старшинстве.
– Мое искусство родилось первым, – сказал живописец. –
Первый человек, чистый и правдивый, говорил образами.
Лишь научившись лгать, он обратился к грамматике.
Ведь картины выдавали его скрытые помыслы.
И его язык стал раздвоенным, как у змеи.
Теперь он мог говорить ни о чем.
Но живописцы остались верны природе.
О природе же можно говорить лишь языком картин. И хотя мир
сей полон естественной красоты, в нем нет естественной музыки.
И не говори мне о птицах.
Ведь у них нет грамматики.
Поэтому они не придумывают свои песни. Вы же вынуждены
сами создавать искусственные сочетания звуков.
А картины окружают нас.
Они живут и в облаках, и в солнечном свете.
На это музыкант ответил:
– Но разве мы придумываем свои конstellляции?
Они приходят к нам из другого мира.
Поэтому наше искусство древнее.
Ведь другой мир возник еще до начала времен.

О КОШКАХ И ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ГАРМОНИИ ОПЫТ КАМЕРНОЙ МИФОЛОГИИ

*Вовсе не та частица речи, которой
люди договорились называть каждую
вещь, есть имя, но определенная
правильность имен прирождена
и эллинам, и варварам.*

Платон. Кратил

Многих ученых людей занимал вопрос: почему кошки, столь умные и внимательные, никогда не приходят, когда их окликают по имени? И если люди все же дают кошкам имена, то потому лишь, что не могут себе представить безымянную сущность. Собаки же, ветреные и шумные, всегда отзываются на кличку, придуманную людьми, даже на самую странную. В старых книгах об этом сказано так. Великий Каталогизатор был столь искусен в составлении каталогов, что никогда не читал книг своей библиотеки. Он знал, что шифр всегда вполне отражает содержание книги. Но однажды он усомнился и открыл книгу. Так родилась Возможная Ошибка. И порядок, ранее предвечный, стал внешним и потому – условным. Ведь отныне знать место книги на полке уже не значило знать ее содержание. В этом, говорит старая книга,

различие между кошкой и собакой. Люди условились с собаками, как какую зовут, и собаки, согласившись считать эти относительные клички своими именами, подчиняются человеку. Но кошки не заключали с нами никакого соглашения, ибо у них есть свои имена, нам не ведомые. Поэтому кошки будут гулять сами по себе, и все места будут для них одинаковы, пока не придет человек, не знающий различия между собакой и кошкой. Предсказано, что человек этот сможет выбирать между участием каталогизатора, равнодушного ко всему в книге, кроме титульного листа, и судьбой поэта, знающего истинные имена всего сущего.

*И грани ль ширишь бытия,
Иль формы вымыслом ты множишь -
И в самом я от глаз не я
Ты никуда уйти не можешь.
Иннокентий Анненский*

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

*Воистину и горшие от невежд
имеются... Между ними есть
многоречивые невежды, которые
егда кто от правоумствующих...
обличает их суеверия, то, отходя
далече от вещи, о ней же есть беседа,
краснословием мнение свое
утверждают, истину же самую
всячески закрывают и слышащих
в другую сторону от нее отводят...*

Феофан Прокопович.

Разговор гражданина с селянином

ВОСПИТАНИЕ

У многих примитивных народов существует обычай отправлять юношу перед инициацией в пустыню. Полное одиночество позволяет ему впервые осознать себя как нечто, отличное от внешнего мира. Это и превращает его в человека. Многие сторонники просвещения, для которых воспитание состоит в «наполнении» ученика полезной информацией, сочли бы такой обычай печальным пережитком варварства. И действительно, чему может научить человека пустыня? Место, по определению лишённое чего бы то ни было полезного и поучительного. С этой точки зрения изоляция означает просто лишение живого существа всех источников знания, то есть бессмысленную потерю времени. Напротив, истинной школой должна стать реальная жизнь («школа жизни»). Там, окруженный реальностью, отрок узнает много «нового и полезного» и тем самым просветится.

Именно так просветители XVIII века, впервые развившие идею «естественного знания», обосновывали отрицание «оторванной от жизни» формальной схоластической премудрости. Дело в том, что для них

существовали «естественные» истины, открытые всякому хорошо организованному сознанию. Нужно, мол, только правильно воспитать человека. Научить его пользоваться разумом и своими пятью чувствами, и ему откроется подлинная, единственно возможная истина. Причем, в этом случае истина становится для разума очевидной.

Для просветителей, видящих в человеке «*tabula rasa*», задача состояла лишь в том, чтобы поскорее обучить ребенка всему «полезному» и уберечь его от «нелепых суеверий», от «глупых» сказок и песен. О, они бы страшно удивились, узнав, что в XX веке истинные продолжатели Галилея и Ньютона ищут вдохновение в сказках Кэрролла, основанных именно на нелепостях, извращающих реальность и здравый смысл, а не в их давно уже мало кому интересных сочинениях...

Видимо, задача истинного просвещения противоположна устремлениям сторонников «реальных» знаний и как раз состоит в том, чтобы уберечь ученика от «реальности».

О СУЩНОСТИ

Ученик, воспитанный «на улице», то есть в школе «реальных» знаний, не является культурным, несмотря на обилие усвоенной им информации. Подобно статуям Микеланджело, он окружен необработанным материалом и едва выступает из него. Гениальный Микеланджело предполагал, что все настоящее, истинное заключено в материале, в эмпирической реальности, в которую надо «пробиться», чтобы сделать явной скрытую в необработанной глыбе истину. Сторонники этой точки зрения обычно говорят о «боге, скрытом в глыбе мрамора», и задачу художника видят в том, чтобы найти этого «бога» в окружающем «материале».

Другие рассматривают статую как нечто принципиально отличное от материала. Иными словами, для нас «статуя» не является чем-то уже потенциально сущим и открывающимся внимательному взгляду художника. Исходный поток реальности перевоплощается здесь в гармонизированную «музыкальную» реальность, в которой уже нет места чему бы то ни было случайному и хаотическому. Таким образом, именно удаление и изоляция от исходной реальности, от исходного материала и позволяет превратить случайное в необходимое, то есть в объект культуры.

Разница двух этих точек зрения хорошо видна при сопоставлении двух типов сценического мышления. Например, концепция сцены как площадки с тремя стенами предполагает, что сценическое действие есть лишь кусок некоторой реальности, процесса, продолжающегося за сценой. В этом смысле Офелия, являясь в сцене безумия босая и с распущенными волосами, тогда как ранее она появлялась в придворном платье, должна была переодеться где-то за кулисами.

«Музыкальная» же концепция считает бессмысленным и антитеатральным самый вопрос о том, что было за кулисами. Театральная гармонизированная реальность представляется как серия сцен, в которых мы видим и чувствуем все, что хотел сказать художник. Поэтому новое

явление (новый образ) Офелии вводится вне всякой связи с какой-либо основанной на внешней посылке мотивировкой. В нем лишь наглядно представлено ее душевное состояние. Мы видим другую Офелию, и ее лохмотья и распущенные волосы говорят о ее безумии и разбитом сердце.

Возникает естественная аналогия с двумя концепциями детерминизма: лапласовским и квантовой механики. В первом случае речь идет о траектории, определенной начальными условиями, в которой каждое состояние, кроме первого, имеет предшествующее, бесконечно близкое по времени. Такая траектория, образованная причинно-отнесенными состояниями, впервые возникла в концепции, связанных рождений, развивавшейся философами махаяны (прежде всего – Нагарджуной).

В квантовой механике мы исходим из набора состояний, причем исследуется вероятность перехода между ними, но вопрос в том, что было между состояниями, лишен смысла в рамках квантовой физики.

СТИХИЙНЫЕ ДУХИ

Различие между культурным и естественным типами мышления состоит в том, что для последнего не существует вариантов. Тип мышления стихийного существа немислим вне контекста. Дело в том, что стихийные существа «немузыкальны» по определению, так как все в их мире единственно возможно. В известном смысле, память им не нужна, ибо их мир невоспроизводим.

ИРОНИЯ

Людям, способным представить себе другие варианты мира, присущ такой важный элемент культуры, как ирония, то есть возможность игры. Но игра, в свою очередь, предполагает «культурную традицию», поскольку она вообще возможна лишь при условии, что ее правила считаются внешними по отношению к самим «фигурам», и никто не задается вопросом: почему данная фигура должна двигаться именно так, а не иначе. Но так могут думать лишь люди, для которых какая-либо игра не является уникальной и, следовательно, «естественной». У «естественных» людей, как у русалок из сказки Андерсена, нет «бессмертной души», они чужды каким-либо внешним соглашениям, и все их поступки безусловны. И поэтому русалки себе не тождественны.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Так возникает потребность в логике, которая, конечно, не нужна русалкам. Ведь для русалок в их единственно возможном мире и так все предельно ясно, то есть аксиомы, которые теоретику представляются лишь произвольными соглашениями, для русалок – очевидные истины. Но мы уже видели, что теоретическое мышление предполагает способность выделять из внешнего мира какие-нибудь воспроизводимые процессы. Такая способность превращать в «музыку» внешнюю данность присуща именно культуре. «Естественному» существу никогда не придет в голову, как великому ирландскому поэту У.Б.Йитсу, редактировать свои старые письма, чтобы все в его судьбе было подчинено единому замыслу и было бы свободно от случайных элементов.

Существует мнение ⁴, что во сне разум, в отличие от бодрствующего (рационального) состояния, воспринимает мир предельно индивидуализированным, ибо сон освобождает человека от каких-либо правил игры, его психика становится естественной и тем самым безусловной. Можно сказать, что мышление спящего человека ближе к искусству, чем к теоретическому («зеркальному») миру. В этом отношении мир сна – это менее всего мир фантазии. Наоборот, мы никогда так не связаны реальностью, как во сне, то есть «зеркальный мир», мир логики, противоположен «сну».

Искусственный логический мир подчиняется своим внутренним правилам. Для того, чтобы «играть» в нем, надо уйти в отгороженное от мира пространство. Поэтому прообразом университетского образования, возникшего в средние века, и является обычай формировать разум юноши, изолируя его от внешнего мира. Благодаря этому представитель «зеркального» мира Льюис Кэрролл, выросший во «внутреннем» оранжерейном мире Оксфорда, и смог создать свой воображаемый мир. Теперь нам понятны слова Честертона о Кэрролле: «Надо уйти в сказочный мир, чтобы мыслить логично» (чтобы быть свободным от «сновидений»).

Знаменательно, что просветители считали логику, которую, как известно, успешно развивали схоласты, совершенно ненужным извращением естественного человеческого разума. И это понятно. Истина, скрытая в природе, должна являться естественному здоровому разуму не посредством искусственных и чуждых самому объекту исследования правил, а путем свободного и непредвзятого созерцания. Разумеется, «естественная» истина открывается нам в согласии со здравым смыслом, то есть с «естественным» рассудком.

Отсюда идеи о свободном и естественном человеке, об исследовании, свободном от каких-либо предвзятостей, не связанном никакими правилами игры. Неудивительно, что представление просветителей об интеллектуальной свободе сводилось к простым формулам типа «раздавите нечестивую». Они не понимали, что связывая себя идеей истины, открытой чувствам, они накладывают на человеческий разум ограничения еще более жесткие, чем те догмы, против которых они восставали.

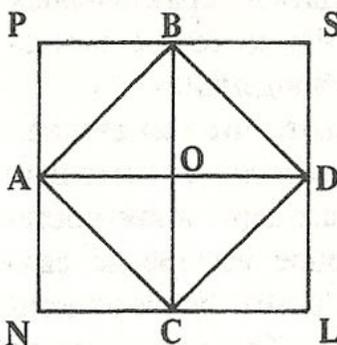
Действительно, если проанализировать любое геометрическое доказательство, легко заметить, что простое созерцание геометрической фигуры ничего нам не дает, хотя, казалось бы, имея перед глазами, например, треугольник, мы можем узнать о нем все, доступное разуму и чувствам. Однако оказывается, что все геометрические свойства фигуры раскрываются лишь тогда, когда мы проведем ряд добавочных линий и построим некоторую новую фигуру, однозначно связанную с исходной. С «естественной» же точки зрения самое построение совершенно немотивировано. Знаменитый парадокс рук Канта гласит, что фигуры неразличимые, то есть равные с точки зрения принципа достаточного

⁴ Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность Ф.Б. Березину, поделившемуся со мной результатами своих клинических наблюдений.

основания Лейбница, могут быть неконгруэнтными (не совпадающими при наложении). Отсюда делается вывод, что собственно геометрические свойства содержатся не в фигуре, а в допустимых движениях этой фигуры в данном пространстве. Тем самым конгруэнция, являющаяся принципом геометрического построения (его «мотивировкой»), отражает не только внутренние свойства фигур, которые должны были бы совпадать в неразличимых фигурах, но и геометрические свойства, которые не могут открыться при «естественном» наблюдении.

Нельзя сказать, как часто думают, что подлинная геометрия внешнего мира раскрывается с помощью более точных измерений или же благодаря иной постановке экспериментов. Наоборот, любое измерение связано соглашениями, обуславливающими выбор конгруэнции фигур данной геометрии. То есть всякое утверждение предполагает структуру. Для сравнения объекта и эталона надо договориться какие же фигуры считать равными. И если речь идет об измерении длины в евклидовом пространстве; самое понятие измеряемой величины заключается не в объекте измерения, а в движениях, совмещающих объект и эталон. Таким образом, познание начинается лишь в рамках культуры, то есть соглашений, чуждых самому предмету, поскольку палке совершенно безразлично, равна ли она другой палке или нет.

Мы приходим здесь к идеям Эрлангенской программы Ф.Клейна, которая классифицирует различные геометрии по допустимым группам движений, осуществляющих построение. Известно, например, что в евклидовой геометрии равными считаются фигуры, отождествляемые сдвигами и поворотами. В геометрии группа конгруэнции вводит структуру языка, который и позволяет изучать геометрические свойства тел, игнорируя сами тела, то есть позволяет создать «музыкальную» теорию, отделяющую геометрические построения от каких-либо чувственных образов, чем и обуславливается возможность «воображаемых» (неевклидовых) геометрий, в которых, как у Кэрролла, все наоборот.



В «Меноне» Платона Сократ, желая продемонстрировать тезис о «естественном и необходимом» характере геометрии, приводит мальчика-раба к осознанию формулы удвоения площади квадрата (к построению $l/2$) с помощью серии «естественных» вопросов. Все эти вопросы

действительно носят естественный характер, исходят из самой задачи. Все, кроме одного: равны ли треугольники, образованные диагональю АВ (АВО и АВР)?

Раб наивно отвечает: «Это очевидно», не понимая, что Сократ навязывает ему критерий равенства геометрии Эвклида, полагающей равными фигуры, совмещаемые с помощью наложений, то есть евклидову конгруэнцию. В других геометриях, основанных на более широкой структуре, равенство определяется иначе. Например, в геометрии Лобачевского, в которой линейные элементы связаны с углами, равными считаются треугольники, лишь подобные с точки зрения евклидовой геометрии. Иначе говоря, геометрическая истина открывается не бесстрастному наблюдателю геометрического объекта – ведь «здравому смыслу» не пристала идея связывать с задачей удвоения площади квадрата, казалось бы, совершенно не имеющий к ней какого-либо отношения вопрос о равенстве треугольников, – а умеющему задавать вопросы «праздные» и «бессодержательные» (не относящиеся к сути дела).

Здесь в «Меноне» и появляется знаменитое «я знаю, что ничего не знаю». Не как свидетельство «скромности» Сократа, а как основной эвристический принцип сократовских рассуждений, согласно которому человеку надо ссерией вопросов заставить отказаться от «естественного» взгляда на вещи (от здравого смысла) и завлечь в систему рассуждений, чтобы он перестал ощущать вопросы собеседника как праздные. Тогда только ему откроется истина. Здесь Платон, в сущности, признает, что геометрическое мышление не имеет какого-либо отношения к сути дела (к выяснению истины). Он, правда, не идет до конца, и ему все-таки кажется, что человек, если и не может с помощью чувств узнать, какие фигуры равны, а какие нет, то где-то это знание все же таится, и в мире идей душе откроются абстрактные истины, суть вещей, скрытая дотопле в мире чувств.

Современная математика, рассматриваемая как самостоятельная наука, трактует (даже если вопрос о реальной геометрии внешнего, физического пространства и о ее связи с экспериментом и не решен до конца) систему аксиом именно как систему соглашений (в том смысле, который придавал конвенционализму А.Пуанкаре), определяющих грамматику данной теории.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Именно этим искусственным (условным) характером научного подхода и объясняется главная особенность теоретического мышления: возможность говорить о данных ситуациях совершенно чуждым им математическим языком. Теоретик как бы пытается «говорить не говоря», находит способы обойти предмет рассмотрения вместо того, чтобы постараться вникнуть в его суть.

В «Жизни и мнениях Тристама Шенди» Стерна как раз приводится пример такого языка, позволяющего, пользуясь грамматикой, то есть структурой, говорить о некоем предмете, ничего о нем не зная, и, в сущности, не желая знать: мог бы я увидеть белого медведя? что бы я

сказал, увидев белого медведя? чем белый медведь лучше черного? Так же грамматически правильно можно говорить о «глокой куздре» или о «Джаббервоки». Уклонение от темы принимает здесь характер основного композиционного приема, ставшего после Стерна главной особенностью сентиментализма (достаточно вспомнить И.П.Рихтера). Оно позволяет избегать детализации некоторых тем (говорить о чем-нибудь вне контекста), отвлекаться от внешнего мира, то есть становится проявлением «музыкальности».

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ТЕОРИЯ

В полемике Гете со сторонниками теории цвета Ньютона ясно выразилась самая суть протеста великого художника, отождествившего себя с природой, против искусственной и поэтому ложной («серой») теории. Гете хотел познать саму природу, и ему были чужды все элементы структуры, на которых строится теория. В попытках науки свести разговор к математическим соотношениям, позволяющим рассматривать свет как набор частот⁵, он справедливо видел подвох, так как для него голубое небо было нерасчлененным «прафеноменом» и не имело ничего общего ни с дипольной антенной, ни с формулой Рэлея-Джинса, объясняющей, в частности, почему небо имеет голубой цвет⁶.

Гете не мог позволить теоретикам заманить его в сети и навязать ему искусственную схему мышления. Он жаждал знаний о природе, не связанных никакими условиями, которые он мог бы добыть, оставаясь самим собой. Он понимал, что искусственные методы науки отгораживают человека от природы, которая для нее всего лишь одна из возможных областей изучения. Но рассматривая природу как сочетание соглашений, мы тем самым приобретаем над ней власть, тогда как естественный человек, составляющий с природой одно целое, по определению не может ее контролировать. Разумеется, художник, близкий к природе, подобный Гете, откажется от власти над миром, основанной на игре, то есть связанной системой произвольно выдвинутых условий. Ведь для того, чтобы, допустим, строить самолеты или конструировать передатчики, нужно признать совершенно «неестественные» уравнения Максвелла, преобразования Лоренца, законы аэродинамики и так далее.

Таким образом, могущество человека оказывается весьма двусмысленным, ибо основано на соглашениях, которыми он себя связывает. Если же мы хотим власти безусловной, нас ни к чему не обязывающей и, тем самым, позволяющей нам ощущать единство с природой, то такую «естественную» власть могла бы дать скорее магия, чем наука. В этом смысле, естественный полет – это полет на помеле, и аэродинамика тут не причем. Поэтому так странно видеть частые в наше

⁵ Если бы такая теория существовала во времена Гете. Надеемся, что читатель простит этот невинный анахронизм.

⁶ Согласно закону Рэлея-Джинса, в воздухе рассеиваются главным образом «голубые» компоненты солнечного света, поэтому днем в небе преобладает голубой цвет.

время попытки объединить эти две почтенные области духовной активности. И дело не только в магии. Просто, обусловленный по своей природе, теоретический подход чужд всяким ссылкам на единичные события, так как обусловленность ведет к суждениям высших типов (несовместима с единичными явлениями). Скажем, научное объяснение астрофизических явлений обходится без каких-либо ссылок на внеземные цивилизации и на направленную деятельность разумных существ. Исходя из этих предпосылок, «марсиане» просто ненаучны, и сомнительно, чтобы при помощи методов, основанных на произвольных соглашениях, можно было бы «открыть» существа, которые такие условия не признают. Кроме того, с «марсианами» в науку вошла бы мифология, ей, в сущности, чуждая.

Эта несовместимость свободы и власти гениально выражена Рихардом Вагнером в «Кольце нибелунга». Лишь юный Зигфрид, свободный от «лживой связи договоров» и ничем не обязанный могуществу бога Вотана (власть которого основана на этих соглашениях, но ими же ограничена), способен убить дракона, охраняющего проклятый клад, и спасти мир. Так возникает тема «естественного меча», противостоящего «копью договоров» Вотана, принужденного в виду предварительных соглашений (освященных его же копьем) противостоять Зигфриду. Юный герой создает нотунг – меч, ломающий «искусственное» копьё Вотана. Но хотя Зигфриду и удается убить дракона и освободить мир, сам он, в силу логической необходимости, становится последней жертвой проклятого кольца. Тетралогия завершается мировым пожаром, в котором мир находит очищение (катарсис), но в котором гибнут боги, великие, и потому – бессильные. Однако Вагнер ошибался, думая, что Зигфрид действительно мог выковать нотунг. Ведь столь сложный процесс предполагает заключение соглашений, то есть следование законам термодинамики и механики. Что же тогда останется от свободы «естественного» героя?

Мы знаем, как это противоречие разрешилось в истории Третьего рейха. Последователи юного Зигфрида тоже стремились к «естественному» знанию. Недаром нацистские вожди так увлеклись оккультными науками и презирали чуждую «истинно арийскому духу» теоретическую физику. Но оказалось, что лишь «неестественная» наука, связанная договорами, может выковать нотунг. И поэтому атомный «меч» оказался в руках противников нацизма.

ХОББИ

Психологически вычленение «зеркального» мира из внешней реальности связывается с сознанием внутренней неполноценности, с темой «раны».

Стерновский дядя Тоби (предвосхитивший образ Пиквика) создает внутренний «модельный» мир, мир хобби, как способ уяснить себе происхождение «раны», которую он получил во внешнем (реальном) мире. Стерн говорит об этой «ране» достаточно фривольно, в стиле XVIII века, но суть в том, что именно мир хобби (мир игры) позволяет автору

говорить о «ране», избегая контекста. И снова уклонение от темы является ничем иным, как способом уходить во внутреннее пространство.

Кэрролл также думал о «ране», когда писал, что логика нужна ему для спасения в бессонные ночи от грешных мыслей. Здесь логика служит ключом к «другому миру», построенному по правилам игры, который также является способом забыть о «ране».

С фрейдистской точки зрения зеркальное царство скрывает грешные мысли профессора Доджсона, как и волшебный мир капитана Шенди, возникший на почве его сексуальной раны. В этом отношении «Лолита» В.Набокова может считаться фрейдистской реализацией тайных мыслей, в которых Кэрролл не смел себе признаться (и поэтому написал «Алису», а не «Лолиту»). Можно сказать, что сама идея двух сказок (или двух сторон зеркала по Честertonу) – это ложная параллель между образами Алисы и Лолиты.

Фрейдистское переосмысление трагического сюжета действительно подменяет «музыкальную» сказку банальной, превращая Алису в Лолиту. Но трагический замысел совершенно не связан с банальным решением, хотя в области «банальной сказки» (паралитературы) он может оказаться более динамичным. И уж, конечно, сюжет приключенческого романа более естественен, чем мучительная (хотя и упоительная) музыкальность романов Достоевского. В этом легко убедиться, заменив «Преступление и наказание» детективом на ту же тему.

Надо сказать, что именно у Достоевского контрапунктическое ведение двух замыслов – банального и музыкального – играет огромную роль, и несомненно в этой двойственности лежит вся суть его художественного замысла.

ДВЕ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛА

Присущая культуре духовность, позволяющая ей подниматься над реалиями, повышающая уровень обобщенности утверждений, вызывает у нас потребность играть в «другой мир», то есть использовать формальный язык, изымающий сущности из контекста. В другом мире, отключенные от привычных ассоциаций, мы должны выражаться с предельной точностью, если не хотим впасть в ошибку или же в банальность.

Вообще, понятие логической строгости несомненно связано с уходом от привычного, со способностью фантазировать. Для сказки, ограниченной миром традиционных образов, она необязательна, там многое можно считать понятным слушателю – это порождает даже характерный для эпической манеры прием, позволяющий вводить новые персонажи и новые сюжетные линии, считая их уже известными читателю. Требуется лишь, чтобы все эти лица и ситуации оставались бы в рамках привычного. Оттого, что люди и лошади заменяются в сказке, допустим, гномами и единорогами, ничего, собственно, не меняется, и обыденный, то есть оперирующий само собой разумеющимися понятиями язык остается в силе.

ФАНТАЗИЯ

В современной теоретической арифметике такие утверждения, как $2 + 2 = 4$ оказываются важными теоремами, требующими доказательств, которые иногда (как в вышеприведенном примере) оказываются весьма громоздкими. Это не проявление смешного педантизма. Просто для того, чтобы наши суждения относительно чисел носили бы достоверный характер (были бы действительны и за пределами наглядного) язык арифметики должен стать свободным от контекста. Только в этом случае арифметические теоремы не будут сводиться к банальностям, не будут зависеть от «пальцев» и «яблок».

Именно поэтому истинно фантастические поэты, подобные По, Гофману и Кэрроллу, поражают таким совершенством формы, такой точностью каждого оборота. Ведь они живут в «другом мире», их предмет - немислимое и непредставимое, и малейшая неточность лишит их построения достоверности. Но став случайной и импровизированной, их экспозиция утратила бы свою музыкальность и либо свелась бы к банальности, либо стала бы хаотичной и бессмысленной. Без точности и строгости формы так называемый «полет фантазии» способен лишь рождать новые комбинации интуитивно воспринимаемых объектов. Продолжая нашу арифметическую аналогию, скажем, что весь «теоретический» процесс здесь заключался бы в замене привычных чисел на астрономические. Отсутствие точности в искусстве особенно заметно, если сравнить интеллектуальные видения Э.По, не связанные с какой-либо конкретной ситуацией, но в то же время необычайно убедительные, и города А.Грина, населенные пиратами.

Так, самая возможность соблюдения до конца правил игры избавляет от банальных решений в трактовке реальности.

КУЛЬТУРА

«Герметическая педагогика», то есть превращение «русалок» в людей, состоит в воспитании способности ощущать «музыкальное время» (чувствовать потребность в «музыкальной судьбе»). При этом изоляция от привычного мира (но не от тайны, которая также становится элементом воспитания) рождает в ученике дух иронии, позволяющий рассматривать реальный мир как один из возможных миров («отстраненное» восприятие мира). Таково воспитание в духе культуры.

Это объясняет также, почему культурная традиция характеризуется способностью воспринимать искусство, которое стихийным существам, привязанным к сущности, показалось бы пустой игрой (в особенности, японская икебана и другие виды орнаментального искусства, превращающие отдельное и случайное в продуманную музыкальную композицию). Здесь мир хобби опять смыкается с миром культуры, о чем мы уже говорили. Такой взгляд на культуру включает в ее сферу многие народы, которых просветительская традиция XIX века относил к дикарям, так как культуру понимала как набор внешних признаков, свидетельствующих о «просвещении». Не случайно многие утилитаристы прошлого столетия вообще отрицали все виды искусства как лишённые «положительного знания» («сапоги выше Шекспира»).

В то же время, если рассматривать стремление к «музыкальному бытию» как главный признак культуры, мы должны считать культурными, например, полинезийцев, достигших поразительных высот в искусстве украшения, а также в игре.

Таким образом, герметическая педагогика видит цель культуры не в том, чтобы заглянуть за театральный занавес, скрывающий, по мнению сторонников положительного знания, подлинную реальность (наивные зрители, они думают, что именно там им откроется главная суть театрального действия – мнение, разделяемое многими театральными деятелями), а в том, чтобы, отгородившись занавесом от внешнего мира, создать замкнутый, живущий по своим законам, театральный мир.

Такая трактовка культуры напоминает один из вариантов «платоновской пещеры», которая рассматривается как некий искусственный мир, присоединенный в произвольной точке к внешнему привычному миру. Эта пещера является вместилищем логического мышления, только в ней и возможного, поскольку она отгораживает человека от контекста, от необходимости вникать в «суть дела».

В этом смысле понятно, почему университетский курс некогда назывался «изучением свободных искусств». Ведь его целью было освобождение студентов от «контекста», от привычного мира. Иначе говоря, человек, как бы ни были велики его запасы информации, остается человеком, «воспитанным на улице», то есть по определению неспособным логически мыслить.

Высшая же форма духовной свободы приходит именно благодаря освобождению от здравого смысла, которое дает возможность мыслить последовательно, то есть включает в мир игры, рожденный герметической педагогикой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ, КОТОРОЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ ПРЕДИСЛОВИЕМ

Доктор Чебутыкин из чеховских «Трех сестер» узнал с интересом из газет, что Бальзак венчался в Бердичеве. Чехов написал об этом, чтобы подчеркнуть предельную пустоту и тоску провинциальной жизни. Но в то же время это было, несомненно, нетривиальное сообщение, обогатившее опыт доктора Чебутыкина. И вопрос о том, насколько такого рода информация обогащает человека, и что вообще нужно «русалке», чтобы стать культурным существом, лежит в основе всякого логически корректного (чуждого эмоциям и обывательскому эмпиризму) исследования цели педагогики.

Особенность приведенной исторической справки о Бальзаке в ее анекдотичности⁷. Уже говорилось, что суть теоретического мышления (и в этом его освобождающая роль) в способности мыслить вне контекста, а сообщение, заинтересовавшее Чебутыкина, предельно привязано к ситуации и лишено какой-либо обобщенности. Вместе с тем критик, увидевший какую-то связь романа Бальзака и Ганской с замыслом «Человеческой комедии», превратит анекдотическую справку (курьезный

⁷ Это лишь сообщение, которое еще не стало притчей, то есть общим положением (контекст еще не перешел в форму).

факт) в элемент «музыкального» построения, поскольку этот «жизненный факт» станет частью общей конструкции.

Иначе говоря, включившись в литературу, став элементом литературного замысла, Бальзак и графиня Ганская подвергнутся, как говорит Томас Манн, «сублимации» (или, выражаясь более корректно, случай из жизни Бальзака станет из единичного общим – его тип, согласно теории Рассела, возрастет).

Разумеется, я не подвергаю сомнению роль опыта в воспитании. Мне лишь кажется, что те публицисты, которые говорят о необходимости включить современную физику и математику в систему обучения культурного человека, понимает это просто как увеличение объема информации, не вполне ясно представляя, в чем именно состоит изменение мировоззрения, обычно связываемое с наукой XX века.

Именно в этом смысле обычно сравнивают объем знаний современного школьника и Аристотеля (не в пользу Стагирита). Казалось бы, достаточно поместить младенца в «естественные условия», причем современные сторонники доктрины просвещения понимают «естественное» буквально (ведь именно их ученики бегают по снегу в чем мать родила), и затем, освободив его от чуждых «естественному» разуму искусственных предпосылок, наполнить его полезной информацией. Сказкам и играм в такой системе, разумеется, нет места. И именно потому, что игра несовместима с «наготой», а «*tabula rasa*» должна быть именно нагой (в прямом и переносной смысле). Тем не менее, чему бы ни учились «русалки», их «нагота» никогда не даст им подняться над планарным типом суждений. Их сознание будет всегда опираться на суждения, подобные чебутыкинским. Но если (как писали экспериментаторы) «нагие» младенцы все же играют, превращая в куклы примитивные счетно-решающие устройства, которыми их снабдили в дидактических целях, то в этот момент они неизмеримо ближе духу современной науки, чем тогда, когда приобщаются к миру «реальных знаний». Они осознают, что главное не в кукле, не в том, насколько она имитирует человека, а в том, что лежит вне игрушки – в правилах Игры. С этой точки зрения все равно, играют ли они счетами или настоящими куклами. Только дух игры способен поднять «нагих» над привязанным к контексту метафизическим естествознанием прошлого. Именно игра превращает анекдотическое («фельетонное», как выражаются адепты Игры в замечательном философском романе Г.Гессе «Игра в бисер») в музыку. Для того, чтобы превратить «нагих русалок» в теоретиков, их надо прежде всего изъять из мира «фельетонного» мышления.

О БЕССМЕРТИИ ДУШИ (ПОЯСНЕНИЕ)

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Многие думают, что русалки живут на дне морском. Но это не так. Просто людям кажется, что, родись они сами русалками, они жили бы в коралловых дворцах среди рифов и скал, поросших водорослями. Но русалки никогда бы не смогли жить там, они не выносят прикосновения твердых тел.

Далеко от берега, на страшной глубине, куда не проникают лучи солнца, парит морской замок. Все в нем – живое. Окна украшены морскими анемонами и звездами, а щупальца медуз колышутся как занавеси. И сам замок похож на огромную радужную медузу. В его залах, которые становятся то большими, то маленькими – в такт дыханию живого дворца – плавают русалки. Они вечно играют в какие-то непонятные для нас игры. Иногда одной русалке удается догнать подругу, но оказывается, что это совсем другая, – ведь у русалок, живущих в сияющей подвижной воде, среди живых стен дворца, ничто не случается дважды. Даже рыбок, с которыми русалки так любят играть, они каждый раз встречают впервые. И всех рыбок надо знать по имени. Русалки ведь не знают, что рыбок зовут рыбками. И все потому, что у русалок нет бессмертной души. У нас, людей, она есть, и потому, увидев цветок или бабочку, мы вспоминаем, что похожих видели еще вчера, и так учимся. Но русалки, хотя и много знают, – им приходится помнить имена всех морских жителей – ничему не учатся. Как всем известно, повторение – мать учения, а для русалок ничего не повторяется.

Одной русалке как-то захотелось посмотреть мир. Она поднялась на поверхность моря и поплыла к берегу. Там стоял мраморный королевский дворец, а на балконе дворца она увидела прекрасного принца. И русалке в первый раз захотелось, чтобы что-то случилось дважды, – она захотела снова увидеть принца. И уже ничто в живом подводном дворце ее не радовало. Она рассказала о своем несчастье старой колдунье, которая жила глубже всех в море. И колдунья открыла ей тайну. Вы, русалки, сказала она, слишком подвижны. Мир лишь мелькает у вас перед глазами, и ничто не останавливает вашего внимания. Вы вечно носитесь по своему подводному замку и никого не узнаете при встрече. Все вокруг вас скользит и колышется. В вас нет ничего твердого и неизменного. Поэтому вы не можете любить. И если ты хочешь всегда видеть своего принца, иди к людям. Живя среди них, ты обретешь бессмертную душу. Тогда ты узнаешь не только имена вещей, но и их сущность. И тебе откроются любовь и верность.

Русалка пошла к принцу и поселилась в его мраморном дворце. Но и на земле она сохранила русалочью подвижность и резвость, и принцу иногда казалось, что в его дворце танцует и кружится не одна прекрасная морская дева, а тысячи. Он, разумеется, был ими всеми очарован, но полюбить можно лишь одну. И когда пришел его час любить, он взял в жены красавицу-принцессу, дочь короля соседнего царства, с которым его отец много лет вел войну. Жители города были счастливы. Ведь с прекрасной принцессой возвращались мирные дни. Только русалочка не радовалась. Грустно смотрела она на свадебное шествие, а когда пришла ночь, спустилась к морю и исчезла...

Зима в том году была жестокая, какой не помнили и самые глубокие старики. Небо побелело, земля стала твердой и звонкой, а в море плавали зеленые прозрачные айсберги. Однажды такая ледяная скала подплыла к мраморной лестнице королевского дворца, и придворные увидели в ее зеленой глубине вмерзшую в лед русалочку. Позвали принца. Русалочка протягивала к нему руки и смотрела не отрываясь своими

большими зелеными глазами. Теперь принц мог хорошо разглядеть русалочку и понял, что любит ее всей душой. Ему стало грустно: переменится ветер, айсберг унесет в море, и они расстанутся навеки. Тут выплыла из моря колдунья и коснулась льдины своим волшебным железом. И принц увидел у себя на пальце изумрудный перстень, а из глубины большого прозрачного камня на него глядели зеленые глаза русалочки.

Дни и ночи сидел принц в своих покоях в высоком резном кресле и глядел на свою подругу. Русалочка была счастлива. Мир остановился, и ее возлюбленный не отрывал от нее взгляда. Теперь наконец у нее была бессмертная душа, такая же твердая и прозрачная, как изумруд.

Пришла весна, но принца уже не было во дворце. Принц умер и лежал, как подобает мертвым принцам, в тронном зале под красным покрывалом. Руки у принца были сложены на груди и на левой светился перстень, из которого по-прежнему глядели на него глаза русалочки. Так как он был принцем и наследником престола, его решили похоронить в главном соборе города, но когда траурная процессия приблизилась к храму, церковные ворота закрылись сами собой. Тогда бледный епископ подошел к старому королю и шепнул ему, что принца лучше похоронить в море. И в тот же день в море вышла флотилия с приспущенными флагами; на корме флагманского корабля стоял черный гроб. В открытом море гроб опустили в волны. Думали, что он поплывет, но он исчез сразу – видно, изумрудный перстень оказался очень тяжелым...

С тех пор старые моряки не могут понять, что стало с русалками. Они уже не заманивают корабли на скалы, и в бурные ночи не слышно их смеха и пения. Грустные и задумчивые сидят они на утесах и смотрят с тоской на далекую землю. Наверное, у них тоже появилась бессмертная душа.

О НЕРАЗУМНОЙ ПРИНЦЕССЕ

*Но пред тобой, как пред нами мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.*

Баратынский

В давние времена жила принцесса. Она была прекрасна и умна. Как подобало ее происхождению, она выросла в высокой башне, вдали от мирской суеты. Но искушенная в семи свободных искусствах, в особенности же – в грамматике и риторике, она могла судить обо всем на свете. В точных и тщательно построенных предложениях она могла сказать о любой вещи: чем эта вещь не является и на что она не похожа. Прославленные риторы и метафизики, которым поручили воспитание принцессы, были в восхищении от ее логичности и изобретательности. Но старый король не разделял их радости – ведь он желал продолжить в веках свой древний род, а принцесса всем принцам и королям, искавшим ее руки, всегда отвечала каким-нибудь общим отрицательным предложением. Ее редкий ум и философское воспитание, его изошрившее, не позволяли ей произнести положительно-конкретное высказывание.

Однажды король созвал придворных мудрецов, воспитателей принцессы, и гневно их спросил:

– Чему вы учите мою дочь?

– Ваше величество, – отвечали мудрецы, – никто не может сравниться с принцессой в тонкости ума. Она способна говорить обо всем.

– И всегда какую-нибудь бессмыслицу, – пробормотал король.

– О ваше величество, – сказал мудрейший из метафизиков, – если бы вы знали, как трудно построить бессмысленную фразу; я учился этому всю жизнь.

С этим король вынужден был согласиться; в заботах о благе своего королевства, он никогда еще не сказал ничего бессмысленного.

Прошли годы. Принцесса стала красивей и умней. Сын императора могучей державы приехал просить ее руки. И когда принцесса увидела прекрасного принца, она впервые забыла все грамматические правила и смогла в ответ сказать лишь «да». Она сделалась царицей великого народа, жила счастливо и мирно, но никогда больше не интересовалась философией.

О ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ

*Можно ли сказать о чем-либо:
смотри, вот новое? Это уже было
до нас, в старые времена.*

Екклесиаст

Грустный царь ехал по улицам своей столицы, погруженный в высокие царственные думы. На углу, возле старого дома, стоял музыкант и играл на скрипке. Царь обратился к нему:

– Ты беден, но по лицу твоему я вижу, что ты счастлив. Мне повинуются многие народы и племена. Почему же я не знаю радости?

Музыкант ответил:

– Уже много лет я играю эту прекрасную сонату. Века прошли с тех пор, как ее создали, а она – все та же. Как же мне не радоваться, если мне покорно время? Ты же повелеваешь лишь пространством. Тебе не дано возвращать прошлое. Поэтому ты несчастен. Вспомни о великой битве, проигранной тобой...

– Когда-то, – сказал царь, – я прочел в старых книгах о том, что в государстве не быть гармонии, пока либо музыканты не придут к власти, либо цари не станут музыкантами.

– Но кто же сможет учить царей музыке? – возразил музыкант. – Игре учатся в комнатах, запертых так плотно, что их называют консерваториями. А цари живут на виду у всех. Они принадлежат истории, а история ничему научить не может, ибо «история не повторяется».

– Но ведь я – повелитель пространства, – сказал царь. – Что же помешает мне основать консерваторию там, где я нахожусь?

И царь поехал по свету искать педагога, способного превратить его дворец в консерваторию. Нашел он его на пороге всеми покинутого дома. Это был седой человек с печальными глазами. Грустный стоял он и играл на скрипке.

– В чем твое горе, незнакомец? – спросил его царь. – Ведь ты посвятил себя веселой науке.

– Меня зовут Альберт Эйнштейн, – ответил тот, кто играл на скрипке. – Когда-то дни и ночи я играл Прекрасную Сонату и не знал

печали. Но однажды мне пришла в голову несчастная мысль. Я захотел объединить пространство и время. Но соединившись с пространством, время утратило музыкальность и стало невоспроизводимым. Теперь уже невозможно отгородиться от пространства стенами консерватории. Адепты приходили ко мне, чтобы послушать Прекрасную Сонату. Я же каждый раз играл им что-то совершенно новое. Неудивительно, что все ученики меня покинули: чему может научить тот, кто никогда не повторяется?

ПЕЩЕРА

*Кто не знает, что видит
синее пятно, его не видит.*

Васубандху

Мастерская была совсем маленькая, но Художнику она казалась безграничной.

И все из-за картин, над которыми Художник трудился всю жизнь. Каждый раз, вешая на стену новую картину, он говорил: «Еще одно окно».

Но это была лишь шутка – он не любил вспоминать о внешнем мире. Одна лишь мысль о реальности вызывала головокружение.

Прошли годы, и у Художника кончились холсты. Пришлось писать на стенах.

– Мастерская стала бесконечной, – думал Художник, – я больше не вижу стен.

Но было одно место, которого никогда не касалась его кисть. Это была большая декоративная дверь. Он знал, конечно, что это лишь украшение, и все же часто думал: «Сейчас она откроется, и кто-то войдет».

Но вот на стенах не осталось свободного места.

Трогать дверь не хотелось.

Было жаль мышей о визите извне.

Но Художнику искусство было дороже мечты о таинственном госте.

Он взял кисть и написал на двери свою последнюю картину. Это был узор из двенадцати знаков.

И тогда дверь открылась.

Он увидел звездное небо и на нем двенадцать созвездий, расположенных в том же порядке, что и таинственные знаки на двери.

И Художнику стало грустно.

– Я отдал всю жизнь этим картинам, – подумал он, – и только теперь увидел звездное небо.

И раздался Глас из Бездны:

– Ты не увидел бы звезд без знаков зодиака, которыми украсил свою дверь.

О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ

Ученики спросили Евклида:

– Люди создали искусство землемерия, чтобы разделить свои владения между сыновьями. Но зачем им логически доказывать очевидное? Что привело тебя к аксиоматике?

– Когда-то, – ответил Великий Учитель, – у моего отца был иудейский раб. От него я узнал о Храме Бога иудеев, лишенном образа.

Этот Храм не похож на храмы других народов, ибо Бог иудеев запретил им творить кумиры и тем сделал их отличными ото всех. Вот поэтому мы, геометры, подобно иудеям, чужды другим людям. Ведь и нам Великий Геометр запретил ссылаться на очевидность в суждениях.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

И когда по воле Всевышнего оставил Моисей землю и приблизился к Его престолу, Господь сказал:

– Я связал твой язык в знак того, что Мой народ должен принять заповеди прежде, чем говорить о них. Но теперь ты волен спрашивать.

– Скажи, Господи, – спросил пророк, – Ты даровал зрение сынам Адама, чтобы мысли открывались им через образы. Как же может Твой народ приблизиться к Тебе? Ведь Ты запретил нам творить кумиры.

– Моему народу, – ответил Господь, – не надобны образы, чтобы познать Бога. Вместо изваянных кумиров Я даровал вам Субботу, дабы явить Божественный Покой и Божественную Красоту.

МИР БЕЛОГО РЫЦАРЯ

Ах, вы сами в сказке, рыцарь.

Вам не надо роз.

Блок

Однажды великий немецкий математик Давид Гильберт узнал, что его ученик решил стать поэтом. «И прекрасно, – сказал Гильберт, – для математики ему не хватало фантазии».

Это не просто парадокс, выворачивающий наизнанку общее место о рвущейся к небесам поэзии и сухой прозе математики, изучающей факты. Ведь вся суть поэзии – в образах, которые составляют ее мир, и к которым она тем самым привязана. Поэзия неотделима от земного обыденного опыта, образующего действительность. И в этом вся сила и ограниченность поэтической фантазии.

И конечно же, Единорог имел право сказать Алисе, что дети представляются ему сказочными чудовищами. Поэт всегда говорит о чем-то определенном (хотя бы о русалках, единорогах или драконах), но говорить ведь можно и ни о чем, как в «Джаббервоки». Слова в «Джаббервоки», романтической балладе, из которой можно лишь понять, что «кто-то кого-то убил», не играют самостоятельной роли, как и в романе Дж.Джойса «Поминки по Финегану». В них обыгрываются грамматические правила, несущие смысловую нагрузку, но слова не связаны с какими-либо образами.

В этом мире «музыкальной игры» предвосхищена самая суть теоретического подхода современной науки, хотя возможность формальной интерпретации явлений возникла еще во времена Галилея, когда на смену содержательной натурфилософии Аристотеля пришел релятивистский (и поэтому не зависящий от контекста) подход к явлениям, согласно которому все научное знание о явлениях сводится к степени независимости наблюдений от системы отсчета.

Таким образом, собственно теория понимается как система правил (соглашений) о том, какие положения при наблюдении считать

«эквивалентными»: отождествляются ли «прямо» и «вниз головой» (у Аристотеля это различие было абсолютным), разные положения во времени или, наконец, «лево» и «право». Именно благодаря эксцентрической поэзии Кэрролла стало ясно, что строгое мышление – это искусство воспринимать отношения вещей вне зависимости от самих вещей.

Философы Просвещения верили в «естественную» истину, спрятанную во внешнем мире, но доступную здравому смыслу. В этом смысле геометрия, например, казалась им прообразом совершенного естественного знания о свойствах фигур. Но открытия Гаусса, Лобачевского, Клейна и Пуанкаре помогли понять, что мы не узнаем что-то новое о свойствах пространственных фигур, а вносим новые отношения в изучаемую область. Прогресс науки поэтому состоит не во введении новых терминов, обозначающих открытые явления, а в расширении общности наших утверждений (в увеличении степени независимости высказываний от внутренней сущности явлений). Но это связано с созданием нового языка, основанного на более совершенной грамматике. Таким языком, позволяющим говорить о том, что не вызывает каких-либо чувственных ассоциаций, и является современный математический аппарат. Как в примерах Кэрролла и Щербы, речь идет лишь о структуре, а не о предметах, между которыми устанавливается отношение. Неважно, идет речь об электронах или о «глокой куздре».

Знаменательно, что хотя создатель «Алисы» и был математиком, его достижения в этой науке весьма скромны. Но как Льюис Кэрролл (а не профессор Додж сон) он внес обессмертивший его вклад в развитие теоретического мышления. Именно в ту эпоху, когда он жил и творил, произошла великая революция в математике, окончательно превратившая ее из науки о количествах и измерениях в науку «ни о чем», то есть в теорию отношений. Но профессор Доджсон, как ни странно, обиделся на победу «абсурда», хотя, казалось бы, этот странный волшебный мир должен был бы ему понравиться.

В результате появился не делающий ему чести полемический трактат «Евклид и его современные соперники». (Конечно, об этом никто бы не вспомнил, если бы не «абсурдные» книги Кэрролла, которые стали образцовым примером возможностей интеллектуального видения. Именно поэтому они так часто упоминаются в трудах по теоретической физике.) Язык «интеллектуальной сказки», язык умозрительных образов позволяет представить в компактном, как говорят, в интеллигибельном виде то, что, благодаря математическому языку, воспринимается вне контекста. Но чисто логическое изложение все же само по себе лишено интеллектуальных эмоций, а именно для развития математической идеи важно, чтобы она апеллировала не только к нашему разуму, но и к чувству прекрасного; недаром ведь один из величайших современных теоретиков П. Дирак когда-то написал (эту надпись мелом на стене и сейчас можно увидеть в здании физического факультета Московского государственного университета): «Физический закон должен быть математически изящным».

Именно в своих интеллектуальных фантазиях Кэрролл приблизился к тому странному, вывернутому наизнанку миру, который называет миром современной науки. И дело не в том, что Кэрролл предвосхитил в своих сказках многие достижения современной теоретической физики.

Например, в связи с «Зазеркальем» вспоминают теорию, разработанную в 1956 году А.Саламом и независимо – Л.Ландау. Теория Салама – Ландау (закон сохранения комбинированной четности) объясняла феномен нарушения зеркальной симметрии при некоторых взаимодействиях элементарных частиц, когда процесс, являющийся в начальной стадии развития зеркальным отражением другого процесса, развивается иначе, чем исходный. Эта теория утверждает, что если в ходе процесса, являющегося в начальной стадии развития зеркальным отражением другого процесса, заменить частицы на античастицы, то он будет развиваться, как исходный.

Киске может повредить «зеркальное» молоко, ведь коснувшись «антимолока», котенок может погибнуть превратившись в свет.

Красная королева в «Зазеркалье» говорит, что в их стране надо бежать, чтобы оставаться на месте (для того, чтобы покониться в «движущейся» системе отсчета, надо бежать). Эддингтон видел в этом намек на открытое в двадцатых годах нашего столетия явление «разбегания галактик». Розина озорная дорожка, по которой Алиса никак не могла подойти к Красной королеве («здесь ближе идти в обход»), по мнению многих – намек на неевклидову геометрию. И в этом нет ничего удивительного.

Ведь, как мы уже сказали, теоретическое мышление возникло еще во времена Галилея. Он впервые релятивистски подошел к проблемам механики, описывая все свойства систем в терминах инвариантности относительно некоторого класса преобразований систем отсчета. Релятивистское мышление Кэрролла свидетельствует не о предвосхищении теории относительности Эйнштейна, а о глубоком понимании классической механики, столь же релятивистской, как и специальная теория относительности, с той лишь разницей, что принцип классической относительности (то есть степень общности теории) гораздо уже.

Примеров предвосхищений можно было бы привести великое множество, но мне кажется, что дело не в этом, а в самой невозможности представить себе существование «другого» мира, не соответствующего нашему чувственному опыту. Ведь люди тысячелетиями верили, что разум открывает истину, очевидную для чувств. Правда, уже античные математики перестали верить в очевидность, как, например, верили древние индийские математики, которые считали доказательством построение фигуры, соответствующей данной теореме. Именно попытки доказать очевидный постулат о параллельных прямых привели Лобачевского к пониманию того, что из «дикого» (с точки зрения привычного видения мира) постулата: «Через точку можно провести по крайней мере две линии, параллельные данной», можно вывести столь же непротиворечивую геометрию, как и евклидова. Вначале она казалась

чисто логической игрой, неосуществимой вне нашего разума (поэтому Лобачевский называл ее «воображаемой»), но в дальнейшем было доказано, что она столь же реализуема, как и евклидова, то есть допускает евклидову модель. Иначе говоря, отождествляя объект неевклидовой геометрии с некоторыми элементами евклидовой (например, хорды – параллельными прямыми), мы реализуем в этих терминах аксиоматику Лобачевского (ведь теперь через точку можно провести более «одной прямой, параллельной данной»).

Как и у Кэрролла, возникает искусственный мир, в котором все обитатели связаны особыми, странными правилами игры. Замечательно, что новым языком можно пользоваться именно благодаря изытости его объектов из мира «естественной» элементарной геометрии. Только лишь этот искусственный характер моделей для зеркального царства «воображаемой» геометрии и приводит к реализации неевклидовой структуры в рамках евклидовых объектов, то есть такая реализация лежит именно по ту сторону зеркала.

Для естественного подхода к геометрической реальности, характерного, например, для индусов, это было так же немислимо, как перевод «Джаббервоки» на язык картинок.

И это волшебное царство отнюдь не хаотично. Именно ввиду его изытости оно музыкально. И эта стройность и согласованность придают миру «зазеркалья» что-то от старинной музыки, с ее призрачной ясностью; кажется, что фигуры сказки-игры танцуют менуэт.

Но хотя в уже упоминавшемся эссе Честертона традиционная и «зазеркальная» сказки противопоставляются, Андерсен, несомненно, знал о существовании царства Алисы, хотя неизмеримо лучше чувствовал себя в мире традиционных сказочных образов, по эту сторону зеркала, где живут «нормальные» эльфы и русалки. И в его видении «зеркального царства» чувствуется страх перед ним: «Холодно было здесь, пусто, мертво и величественно... Снежная королева говорила, что ее трон стоит на зеркале Разума, самом совершенном зеркале в мире... Кай играл с остроконечными кусками льда... это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Ему так казалось оттого, что сердце его превратилось в кусок льда, и в глазу его сидел осколок волшебного зеркала». Из льдинок Кай мог складывать разные слова, но никак не мог сложить слово «вечность». В этом – суть критики теоретического знания романтической философией. Вечность недоступна сухому логическому разуму, воспринимающему не действительность, а что-то искусственно возникшее в сознании теоретика. Поэтому нераздробленный логическими операциями мир (то есть вечность) постигается лишь непосредственным чувством, от которого тают твердыни Снежной королевы, и ледяные цветы становятся живыми. Но люди с застывшим сердцем, люди интеллектуальных эмоций, к непосредственному чувству не способны.

Из ледяного плена их может освободить лишь любовь, разрушающая искусственное царство культуры. По Руссо именно чувство восстанавливает утраченную миром естественную гармонию

(естественное право человека, основанное именно на чувстве, а не на разуме).

И вот оказывается, что романтический поэт Андерсен дрожит от холода в «зеркальном царстве», где защищенный от всех внешних невзгод Льюис Кэрролл чувствует себя как дома, и это действительно родной его дом.

Видимо, «ледяная игра разума» требует огромного интеллектуального мужества. Способность следовать выводам, не пугаясь следствий, какими бы дикими они не казались, вытекает из иронии, образующей для своего повелителя некоторый внутренний сказочный мир, устроенный по своим законам, то есть мир «музыкальной» игры. Это и есть подлинный дух детства, дух увлекательной, эмоционально насыщенной жестокой игры. Игра эта чужда сентиментальным поправкам к логике, идущим от традиционных поэтических представлений (то есть от мифологии), неизбежным у всякого романтического поэта, чья фантазия по сути своей всегда традиционна. Но блестящий и упоительный мир предъявляет к своим обитателям жесткие требования. Поэтому книги Кэрролла и других поэтов эксцентрической игры, хотя и бесконечно остроумные, редко бывают веселыми. «Ледяная игра разума» часто оборачивается против своего адепта. Ведь натуры, проникнутые духом иронии, всегда стремятся, говоря словами Омара Хайяма, «разломать мир и вновь составить его по своему желанию». Но видеть изнанку мира иногда грустно... И так часто эксцентрические шутки Кэрролла заканчиваются сценами, исполненными высокой поэтической грусти. Достаточно вспомнить образ Белого рыцаря, которого Кэрролл, видимо, отождествлял с собой. И хотя этот глуповатый добрый неудачник с его величественным стоицизмом и нелепыми «изобретениями» конечно же смешон, он остается в памяти Алисы поэтически-прекрасным. Это вообще поразительное место в «Зазеркалье». Именно здесь Алиса подходит к границам «зеркальной игры» и смотрит, уже не фигура, связанная внутренними правилами, а Прекрасная дама Кэрролла, вслед одинокому всаднику. И «музыкальная» сказка, соединяясь с лирическим элементом, возникающим впервые на границе «игры», остается с нами навсегда.

Собственно, здесь и возникает впервые идея двух сказок, и лирическая неизменная Алиса дополняет Алису – фигуру академической игры. Игра присоединяется к традиционному повествованию, сохраняя музыкальность и поэтичность центрального образа.

(окончание следует)



Игорь Ефимов

Опять о страсти нежной



эпомерный любовный жар, дарованный нам, наш нелепый восторг при виде мелькнувшего в разрезе юбки колена – это просто попытка Творца загладить, уравновесить, скрыть эстетическую неудачу, которую Он потерпел, создавая эти голокожие бесшерстные существа.

Наркотик любви течёт в нас по игле красоты.

В собрание русских пословиц Даля включено примерно три сотни пословиц о любви. Почти во всех объект любви – «милёнок», «милый дружок». То есть ОН. Влюбиться же парню в девуку – позор и посмешище. «Влюбился – как сажа в рожу впелся». «Влюбился – как мышь в короб свалился». Но жалеть всё же следует русских парней, а не девок. Как, должно быть, каждый ждал – пословицами обещанного, – что и по нему кто-то начнёт сохнуть. Впадал, наверное, в панику: «Что ж это неладно со мной? Али я хуже других? Али я порченый, что никто мне русы кудри не гладит, белы ноги не целует?».

Любовь может занимать такую власть над вами, что вы найдёте в себе силы простить возлюбленному даже зубную щётку, поставленную в стаканчик ручкой вниз, а не вверх.

Оказывается, каждая улитка является одновременно и самкой, и самцом. Их любовное соитие абсолютно взаимно. Оба – обе – дарят себя друг другу, оба – обе – расплозаются удовлетворённые, счастливые, беременные.

– Что нужно для счастья человеку? Разделённая любовь. Любовь у меня уже есть – к себе ненаглядному. Теперь только нужно, чтобы кто-то её разделил со мной.

Наша кошка – охотница. Главный объект охоты – ласки. Надо видеть, как она подкрадывается, как готовится к прыжку на колени, как – прыгнув – прижимает уши и ждёт – поглядят или прогонят? В тот момент, когда я пишу это, она уже пытается потереться о мою авторучку. Чтобы перейти на следующую строчку я должен отодвинуть её лапу с листа.

Теперь она упёрлась лбом в рукав моей рубашки и заливает его благодарной слюной.

А мы? Мы всё лицемерим и делаем вид, будто хотим друг от друга чего-то другого.

Ослеплённый женщиной Самсон, ослепивший себя из-за женщины Эдип, вовремя ослепший мистер Рочестер из «Джейн Эйр» – разве не сквозит здесь извечная женская мечта – от Далиды до Шарлоты Бронте и дальше – заполучить нас в конечном итоге как слепую безвольную игрушку?

Количество разводов растёт пропорционально длительности жизни в стране. Супругам ещё по силам выносить друг друга по 15, по 20 лет. Но по 30? По 40? С этим уже не каждый справится.

Страсти вообще стоят дорого. Но как-то упускают из вида, что страсть к семье и детям – самая дорогостоящая.

Счастье бывает только по дороге к счастью.

Что может быть нелепее выражения «должны играть»? Только «должны любить».

Жена пережила мужа на несколько лет. И первое, о чём она спросила, представ перед Господом: «Он вас тут не очень обижал?».

Американские присяжные оправдали Лоретту Боббит, которая, мстя за измену, отрезала спящему мужу член кухонным ножом. Во многих городах женщины устроили восторженные победные демонстрации. Чего нам ждать дальше? Что кто-нибудь из двенадцати рассерженных мужчин прижжёт своей неверной подруге клитор горячей сигарой?

В сегодняшней Америке женщина может подать на вас в суд даже за подмигивание. И с этим надо смириться. Но всё же как хочется иногда сказать красивые слова красивой женщине и не бояться, что тебе пришьют sexual harassment.

Если женщинам не удаётся заразить нас своими страхами, они – по доброте своей – готовы удовлетвориться умеренной дозой стыда и неуверенности в себе.

Человек, которому ниспослан дар любви, всё не верит, что это – не всем, что Господь равнодушен к идее справедливости, что Он терпеливо ждёт, когда одаренный продерёт глаза и воскликнет: «Мне? Грешному и невзрачному? Но за что? Просто так, задаром?».

Нет, дурень – за то, что способен расплакаться от счастья и благодарности.

Первые слова, слетевшие с оживших губ Галатеи, были упрёки Пигмалиону за то, что он не сделал ей лодыжки потоньше, пальцы – подлиннее, грудь – повыше. Так сразу, с первого дня, пошла у них нормальная семейная жизнь.

«Ещё одно слово о врождённой неспособности любить – и мы объявим вас эмоциональным расистом, мучителем мелкосердечной бедноты, угнетателем душевного пролетариата».

«Позвонит или не позвонит возлюбленная?» – когда-то ничего на свете не могло быть важнее. Годы спустя мы сидим за полночь, стиснув пальцы, у телефона и ждём, ждём самого важного звонка из страшного ночного города, от запропастившегося шалопая, родившегося от звонков, звеневших двадцать лет назад.

Наши возлюбленные пытаются говорить с нами тоном всезнающего следователя, а потом удивляются, что мы уходим в глухую несознанку.

Из тюрьмы эгоизма бегут на свободу прорытым туннелем любви. Видят свет впереди. И попадают напрямик в сети сердечных привязанностей.

Большинство добрых русских женщин понимают «любить» прежде всего как «жалеть». Поэтому любить сильных успешных мужчин им очень трудно. Не для того ли они вытаптывают в нас ростки гордости и достоинства – чтобы пожалеть потом и полюбить?

Женщины порой требуют от возлюбленного только слов не потому, что они доверчивые глупышки, а потому, что в глубине души они знают: гладко соврать сумеет только любящий. Нелюбящий и стараться не станет.

От греческих богинь перед Парисом до сказочных цариц перед волшебным зеркальцем – женщины жаждут услышать лишь одно: «Ты прекраснее *других*». И сколько осторожности, сколько мудрой сдержанности должны мы проявлять, чтобы не дать вырваться из сердца опасному воплю: «Как вы *все* прекрасны!».

«Разве ты не видишь, как я люблю тебя?!», – говорит любящий равнодушной.

Видит, глупый, видит. Потому и бежит от тебя, как должник бежит от кредитора, чьи счета ему нечем оплатить.

Ревнивые и фригидные знают, как мало людей в глубине сердечной разделяют их чувства. Именно поэтому они так неустанно раздувают ужас перед «изменой» и преклонение перед целомудрием.

У одних людей любовь течёт, как река, – порой ровно, порой извилисто, бурно, но непременно в одном русле. У других движется, как туча, – по воле ветра, непредсказуемо, заливая водой случайных встречных, громкая, уносясь.

И про тех, и про других обладатели тихих прудов говорят: «Это ненастоящее».

Как сладки первые поцелуи! Немудрено, что люди гоняются за ними всю жизнь.

Муки ревности – это стоны ущемлённого «владею», а не уязвлённого «люблю». Иначе как бы миллионы повес всех времён и народов могли заводить романы с замужними женщинами и ничуть не страдать от ревности при этом?

Утоление похоти – медицинская необходимость. То есть утрата свободы выбора, отказ от избирательной любви. Отсюда – неизменный привкус стыда в эротике. Исчезает только когда с любимой, любимым.

Строгое соблюдение супружеской верности – это и есть культ секса. А прелюбодеи заняты именно ниспровержением культа. За что им и грозят всякими карами христиане, иудеи, мусульмане, коммунисты.

Весь фрейдизм – усложнённая охота за виноватыми ведьмами, живущими между детской кроваткой и родительской спальней.

Борьба между сторонниками и противниками абортот прекратится только тогда, когда какой-нибудь добрый швед научит людей размножаться путём ксерокопирования.

Мудрость танцплощадки протягивает руку мудрости пивного ларька, и из их союза рождается исчерпывающая формула отношений между мужчиной и женщиной: «Да им всем только бы трахнуть!».

«Лицо – зеркало души»?

Вот погодите, физиономисты! Влюбится ваша дочка в миловидного Сына Сэма, или приветливого Джеффри Дамера, или очаровательного Теда Банди, или задумчивого Теодора Козинского – тогда посмотрим, что вы запоёте.

Неловкость эротических отношений с женщиной, впадающей в детство. Будто растлеваешь малолетнюю.

Влюблённый порой стыдится собственного вожделения, как стыдится родного брата, пойманного на уголовщине. «Знать его не желаю! Можете сейчас же забрать его и упрятать в тюрьму условностей, за решётку приличий, под клеймо морали!».

Безбрачие католических священников и монахов вырастает из зерна эротики, таящегося в любви к ревнивому Богу.

Настоящая супружеская измена – это когда возлюбленному в постели начинают жаловаться на супруга.

Если бы семнадцатилетние узнали, что и семидесятилетние могут бредить сексом с утра до ночи, уважение к старшим в мире сильно возросло бы.

Набоков со своей Лолитой вовсе не одинок в русской литературе. Чацкий влюбился в Софью, когда та была ещё ребёнком. Печорин похищает малолетнюю черкешенку Бэлу. Князь Андрей влюбляется в Наташу, когда та ещё девочкой в деревне мечтает при луне. О Ставрогине и говорить нечего. Если русские писатели встретятся на том свете, им будет что вспомнить за стаканом кипящей смолы.

Если бы композитор Чайковский женился на драматурге Оскаре Уайльде, сколько замечательных опер могло бы появиться на свет от этого брака!

Настоящий писатель опишет нам состояние ума и сердца героя.

Писатель посредственный – только занимаемый пост, состояние здоровья, размеры кошелька и отношения с любовницами.

Но миллионам посредственных читателей кажется, что прекрасное состояние ума и сердца возможно лишь для того, кто здоров, богат и имеет послушных любовниц, не представляющих угрозы ни для занимаемого поста, ни для здоровья, ни для кошелька.

«Истинно, ибо нелепо», – сказал Тертуллиан о вере.

«Прекрасно, ибо безнадежно», – хочется сказать о любви.

Когда мы слишком любим кого-то – женщину или Бога, – ужас быть отвергнутым может дорасти до такой силы, что мы захотим лишиться свободы объект нашей любви: женщину упрянуть в гарем, в терем, Бога – в идею predeterminedности.

«Но, Господи, как я могла догадаться? Он выглядел таким довольным и счастливым».

Трансцендентальный цех по упаковке душ в тела будущих новорожденных работает с большой перегрузкой. Ошибки неизбежны. Самая частая: запихнуть женскую душу в мужское тельце или наоборот. На Страшном суде гомосексуализм не должен вменяться человеку в грех.

Эрос может задеть своей стрелой любого человека очень рано, даже в детстве. Но только дети с богатым воображением сумеют потом

снова и снова вызывать в памяти это блаженное ранение, доводя случайное до прочного – порочного – на всю жизнь – сексуального пристрастия. Поэтому-то среди художников, музыкантов, поэтов так много эротических уклонистов и фантазёров. Богатое воображение – вот главная причина их выпадания из нормы.

Не единожды, а трижды пыталась Далида выведать загадку силы Самсона и трижды предавала его. Трижды Самсон благоразумно обманывал её, как обманывал раньше свою невесту – филистимлянку. Но не выдержал в конце концов – сказал правду и был ослеплён врагами. Отсюда вырастают два главных вопроса:

Почему нам так жадно дорога правда – даже гибельная – в отношениях с женщиной?

И второе: почему им так жадно невыносима наша сила?

Робость её была безграничной. Поэтому даже её телефонный звонок казался ему проявлением доблести.

Богатеи любви.

Вы говорите, что секс – это состязание? Тогда пусть и приз в нём выдаётся, как в парном катании, – непременно двоим.

«Дорогой, я всё же не понимаю, почему ты не хочешь эмигрировать ко мне и попросить душевного убежища в моём дивном Царстве Упущенных Возможностей?»

Что в ней привлекало сильнее всего? Отчаянная смелость, с которой она предъявляла невыполнимые требования – людям, жизни, возлюбленному, книгам и фильмам, себе.

Если женщине всё не нравится, если она поносит всех и вся – что может быть в этом привлекательного? А хотя бы то, что любовь её – например, к тебе – дорожает как великая редкость.

Какую свободу даёт нелюбовь! И какое это рабство, какая зависимость – любить кого-нибудь или что-нибудь. Немудрено, что на свете всё больше нелюбви, а любви – всё меньше и меньше.

Наконец-то слово «любовь» будет изгнано из английского языка! На смену ему идёт unusually meaningful relationship (необычные многозначительные отношения).

Господь даёт пылать друг к другу только тем двоим, кому предназначено родить чудного нового человечка. Отсюда ужас перед изменой: нарушение замысла Господня. И отсюда же мучительный стыд от совокупления с нелюбимой/нелюбимым: измена замыслу Господню о тебе и твоём потомстве.

Мы любим свободу в близком человеке. Но это включает его свободу причинить нам боль – равнодушием, нелюбовью, презрением. Мы целиком зависим от благорасположения близкого. А разве можно быть влюблённым в того, от кого ты так зависишь? Отсюда вечное правило: неизбежность умирания влюблённости.

Собственность священна не сама по себе, а как последнее прибежище свободы человека, в котором он может укрыться от власти государства. Но это почтение к собственности мы распространяем и на коллективные её формы: собственность храма, общины, корпорации.

Брак священен не сам по себе, но как прибежище любви, доверия, взаимопомощи людей. Но почему же мы вот уже три тысячи лет верим, что любовь и доверие возможны только между *двумя* людьми в моногамном браке?

Ухитрился изменить жене даже на смертном одре.

Если бы Господь, в мудрости Своей, не отнимал у пожилых женщин привлекательности, большинство мужчин гонялось бы только за ними – за мудрыми, богатыми, власть имущими – и забросили бы задачу продолжения рода.

Порой мы виноваты только в том, что объект нашей любви взрастил в своём сердце мечту о *таком* возлюбленном, которую нам воплотить не по силам. Но это и есть самая страшная вина.

Вы хотите знать, почему Кафка не мог жениться ни на Фелиции Бауэр, ни на Хелене Есенской? Да потому, что женитьба на них оборвала бы счастье переписки с ними.

Любить – самое опасное дело на свете. Именно поэтому миллионы людей довольствуются любой подменой: жалеть, помогать, защищать, поклоняться, опекать, завоёвывать, подавлять.

В Америке женщина завоевала право уйти в любой момент от мужа, без всякой его вины, забрать детей и заставить его оплачивать их содержание до совершеннолетия. Интересно, откуда берутся американские дураки, которые ещё соглашаются жениться на таких условиях?

Когда народы долго живут бок о бок, они, в конце концов, проводят между собою границы, которые нельзя пересекать.

Когда двое живут долго вместе, они создают поля умолчаний, которые нельзя нарушать живым словом.

Любовь прорывает корку – шкуру – души, открывает нас ледящему ветру Неведомого. Но такой прорыв – сладостный или

мучительный – всегда рана. Мы не можем забыть возлюбленную не потому, что она лучше, прекраснее других. Просто она – место ТВОЕЙ раны. Может болеть до конца жизни.

В банке люди хранят свои сокровища в ящике с двумя замками: нужны двое, каждый со своим ключиком, чтобы ящик открылся.

Так и в любовных отношениях: нужен не самый красивый, не самая красивая, а тот – та – кто обладает вторым заветным ключиком, чтобы отпереть волшебный ящик с сокровищем любви.

Горе разрыва – ящик больше не откроется, нужно снова искать владельца парного ключика.

Крохобор, попрошайка любви.

Когда завоёвываешь новую возлюбленную, ты словно прокладываешь к ней дорогу в горах: вырубашь заросли, выравниваешь подъёмы и спуски, строишь мосты, пробиваешь туннели. А когда соблазняешь жену друга или мужа подруги, ты словно бы легко и быстро проносишься к ней – к нему – по дороге сердечной близости, проложенной другим.

Гордая женщина не может полюбить того, от кого она зависит.

Жажда любить и быть любимым умирает последней.

Мастерство Голливуда достигло таких высот, что его фильмы способны создать у каждого американца иллюзию, будто тискать грудь Элизабет Тейлор или Мадонны намного, намного слаще, чем тискать грудь собственной жены.

Влюблённость – это *танец* двоих, а танец не может длиться вечно.

Любовь – это *поход* вдвоём. Вполне может растянуться на всю жизнь.

В демократических странах наличие двух – почти не отличающихся друг от друга – партий создаёт у подданных иллюзию свободы от государственного гнёта. Можно ли надеяться, что наличие по крайней мере двух жён или двух мужей создавало бы у человека иллюзию свободы от гнёта семейного? Пример Магомета, убежавшего на крышу мечети даже от четырёх жён, делает подобное предположение весьма сомнительным.

«Завоевать сердце красавицы», «покорить», «любовные победы», «сломить сопротивление» – сам словарь выдаёт военный характер любовных отношений.

Счастье любовного слияния – двое свободно и радостно дарят себя друг другу. В супружестве это исчезает – нельзя подарить себя тому,

кто уже как бы владеет тобою. Отсюда – миллиарды так называемых «измен», и конца им не будет.

С первого же дня брачной жизни в душах обоих супругов неизбежно начинает оседать слой маленьких и больших обид, разочарований, умолчаний. Немудрено, что соблазн новой любви – пусть мимолётной, но свободной от этого горького груза – становится неодолимым.

Женщина не в силах смириться с идеей неизбежности смерти. Поэтому она пытается отвлечься от неё идеей несправимости собственного мужа. Тогда остаток жизни уйдёт на попытки исправить его. Ведь в теории они выполнимы.

Обязанность не может охладить любовь, наоборот, согревает изнутри как тёплая печь. Но влюблённость она убивает безотказно.

– Почему я должен целовать только тебя, когда кругом так много дев не менее прекрасных?

– Потому что ни одна из них не может сравниться со мной мерой счастья, которой наполняют меня твои поцелуи.

Соблюдение моногамного идеала не только невыполнимо, но и унижительно для обоих супругов, ибо отдаёт их в рабскую зависимость друг от друга.

Люди вступают во внебрачные связи не потому, что их одолевает ненасытная похоть, а потому, что душа рвётся вернуть любовным отношениям бесценное метафизическое зерно: ТАЙНУ. Сделайте эти связи разрешёнными, и число их резко пойдёт на убыль.

Восхвалять единую – верную – на всю жизнь – любовь в сегодняшнем мире это всё равно, что превозносить трюфеля, устрицы, крабьи ноги, жареных куропаток в блокадном Ленинграде, где люди впадали в счастливый экстаз, получив подгнившую картофелину.

В мусульманских странах жених и невеста несвободны в выборе друг друга, а это всегда плохо отражается на потомстве. До поры до времени ситуация компенсировалась многожёнством – богатые и успешные самцы активнее участвовали в продолжении рода. Теперь этому приходит конец, и мусульманские страны одна за другой отстают от тех стран, где жених и невеста сами находят друг друга.

Семейные консультанты имеют искажённое представление о супружеской жизни, потому что они знают только тех, кто *приходит* к ним искать помощи в достижении семейного мира. Миллионы тех, кто любит лишь мучить, унижать, подавлять, оскорблять друг друга, к психотерапевтам не обращаются.

Никто не требует и не ждёт от человека, чтобы он наслаждался изо дня в день одной и той же едой, одной и той же книгой, симфонией, пейзажем. Но наслаждаться одним и тем же партнёром в супружестве считается нашей пожизненной обязанностью. Хотя её, кажется, не сумел исполнить ни один из персонажей мировой истории, которым мы поклоняемся.

Несчастливая женщина безотказно вызывает в добром мужчине желание помочь, спасти, оберечь. Не потому ли женщина так часто принимает позу несчастья? Но добрых мужчин на свете всё меньше, и женщины остаются в позе несчастья на всю жизнь.

Сутенёр зарабатывает своим ремеслом деньги на колледж. Проститутки потом торжественно провожают его в университет, говорят: «Учись хорошо, мы гордимся тобой».

По телевизору показали предприимчивого швейцарца, который ведёт уникальный бизнес: изготавливает сверхдорогие неповторимые духи по индивидуальным заказам. Он собирает цветы в горных лугах, ловит пахучих каракатиц, заказывает в Африке редкие масла. Одна бутылочка его духов стоит 20 тысяч долларов. И это при том, что любая собака бесплатно знает, насколько неповторим запах каждого человека.

Внушать своим детям с младенчества высокие недостижимые идеалы – самый верный способ разбить им сердце и искалечить на всю жизнь.

Две вещи тянутся под покров тайны с одинаковой силой: любовь и предательство.

И это естественно: ведь любовь к кому-то одному – это и есть предательство всех остальных.

Еврейско-кавказские полукровки, как правило, люди несчастные. Кавказские гены переполняют их сердце гордостью, а еврейские требуют давить гордыню как самый страшный грех, вытеснять её чувством вечной вины. Чревато разрывом сердца.

Ребёнка легче любить, потому что душа его мягка и прикосновение к ней всегда приятно. Потом душа затвердевает в характер и давит на тебя всеми своими буграми и предрассудками в тесном пространстве семейной жизни.

Единобрачие – это единственное – последнее – прибежище для каждого из нас, где можно отдохнуть от вечного противоборства – соперничества – с другим мужчиной, другой женщиной. И в этом залог того, что оно останется нерушимым.

Влюблённость не уживётся с добротой. Гордость – с благодарностью.

Человек может искренне заботиться только о том, что является его собственностью.

«Пусть семья будет твоей собственностью, – сказали мужчине тысячи лет назад. – Заботься о ней хорошенько. Твой дом – твоя крепость».

И он заботился. Но часто и тиранствовал над семьёй.

«Нет, так не годится, – сказали гуманисты и доброхоты. – Нужно помочь женщинам. Мы должны разрешить развод и дать жёнам равные права».

И под ударами доброго разводного тарана рушатся стены семейной крепости, и страна наполняется одинокими, покинутыми, осиротевшими – детьми без отцов, мужчинами без жён, женщинами без мужей.

Когда жену президента Линдона Джонсона (Lady Bird) спрашивали, как она относится к слухам о шалостях её мужа на стороне, она отвечала:

– Линдон всегда любил людей. И было бы несправедливо, если бы он исключил половину человечества.

Каждая семья получает от судьбы свою долю бед и несчастий. Но есть супруги, которые не успокоятся, пока не истолкуют обрушившуюся беду как совершённую ошибку, промах, вину. И это может свести с ума.

Онегин убил Ленского, не испытывая к нему никаких враждебных чувств, подчиняясь неписанному кодексу чести. Точно так же и сегодня миллионы супружеских пар распадаются не потому, что разлюбили друг друга, а потому что моральный кодекс обязывает их считать любую мимолётную влюблённость супруга оскорблением и концом прежней любви.

Лиловый парик, татуировка на лбу, протуберанцы из волос, серьга в языке – всё это вопль о собственной неповторимости.

Возлюбленным мы говорим много нежных слов. Но слово «родная» скажем только той, на которой готовы жениться.

«Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». Что же нам делать? Ведь вожделение запретить – подавить – невозможно. Только хитрые мусульмане догадались и *запретили смотреть* – спрятали женщину под чадру и бурку, в гарем и саклю.

Подготовительная школа для жениха и невесты: их запирают в отдельной квартире, где они должны обмениваться неожиданными пощёчинами и учиться тут же прощать друг другу.

Любовь к заболевшему – тяжкая и неприятная обязанность. Поэтому многие пытаются подменить её *заботой*. Особенно если есть страховка, которая позволит передоверить заботу врачам.

Творец одарил нас безудержным вожделением, чтобы гарантировать нужное Ему *количество* нашего потомства. Любовь же дарована для того, чтобы гарантировать *качество*.

Бесправие женщин в Саудовской Аравии сравнимо только с бесправием мужчин в США. Ситуация, в которой жена может в любой момент забрать детей, уйти от мужа – без всякой его вины! – и заставить его оплачивать их безбедное существование, должна внушать ужас любому мусульманину. Что ему остаётся? Только обвязаться динамитом и броситься под первый попавшийся американский бронетранспортёр.

Мальчика и девочку учат кататься на лыжах. Потом разрешают съехать с горки.

– Ах, как замечательно! – кричат дети в восторге.

Тут их впрягают в санки и говорят:

– Эти санки называются «семья». Везите. В них будете растить своих детишек.

Дети послушно везут, но время от времени спрашивают:

– А когда же будет опять горка?

– Горок больше не будет.

– Как не будет? Ведь их полно кругом.

– Те горки уже не для вас. По нашим правилам, человеку положена лишь одна горка в жизни. Не то вы можете потерять или опрокинуть санки. Да и вам спокойнее ехать по прямой. Ведь лыжи – те же, снег – тот же, солнышко светит так же. Чего вам ещё надо?

Какие должны быть послушные дети, чтобы подчиниться таким правилам! Немудрено, что половина их убегает кататься с горок. Правда, некоторые, покатавшись, возвращаются с помягчевшим сердцем и везут санки дальше.

Собственная семья так дорога человеку потому, что он ощущает в ней возможность сотворить – произвести на свет – нечто уникальное и неповторимое: нового человека. Любовь может уйти из сердца, но творческий акт остаётся важен и дорог. Отсюда – несоразмерная ярость на разлюбивших, на уходящих, на изменяющих.

Семья – бесценное сокровище, источник настоящего счастья и благополучия. Именно поэтому представляется нелепым возлагать на неё

невыполнимое требование сексуальной верности, уже взорвавшее – погубившее – разрушившее миллионы семей и судеб.

Желание иметь много жён и любовниц вовсе не является мечтой каждого мужчины. Мечта каждого мужчины – чтобы ему не надо было притворяться, будто он совсем-совсем этого не хочет.

Страх перед одиночеством и ужас перед семейными обязательствами – вот Сцилла и Харибда, между которыми живёт сегодняшний американец.

Любовное сближение всегда окрашено страхом: «А что я буду делать, если он/она решит порвать со мной?». Процесс ухаживания состоит в том, чтобы убедить другого: «Мне потерять тебя будет так же страшно, как тебе – потерять меня».

Не напрасно всё связанное с эротикой переживается человеком как нечто глубинно-сакральное. Здесь голос рода взывает к нам и властно говорит: «Продолжи!».

На уроках Закона Божьего заучивают десять заповедей, но при этом забывают, что самая первая – ещё до Моисея – заповедь Адаму и Еве была: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте Землю».



Эстер Пастернак

"Опоздавшие гении"

בס"ד

"...Какания, может быть, все-таки была страной для гениев; и наверно потому она и погибла".

Роберт Музиль "Человек без свойств"

1.



от ситуация, поистине схожая с чудом, судите сами. При небольшом количестве дождевых осадков и довольно малой территории, в Израиле на каждый сотый квадратный метр приходится по два гения и двадцать грибов. Как говорил друг из прежней жизни: "Монтгомери – неустребимый Коган".

В последние десятилетия наблюдается странная тенденция – посмертное присвоение звания "гений". Погибших смертью храбрых повышают в чине, но звание гений после смерти? Рискованный, согласитесь, титул.

И не так всё, по-видимому, просто.



В 1826 году Пушкин пишет графине Ламберт: "Не страшно мне смотреть вперед. Только сознаю я совершение каких-то вечных, неизменных, но глухих и немых законов над собою, - и маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если бы я вздумал лепетать: "Я, я, я..." на берегу невозвратно текущего океана... Брызги и пена реки времен".

"Что такое эготизм? – Капила ответил:

Эготизм, это – примысливание себя:

Я – в звуке, я – в осязании, я – во

я вкусе, я – в запахе, я – вкуситель".

Стендаль был тем, кто сформулировал термин эготиста. Стендаль писал: «Оберегая своё «Я», мы оберегаем неповторимый отрезок земной правды, а чем больше человек живёт современностью, тем больше он умирает вместе с ней». Философ Сергей Аверинцев пошел ещё дальше: "В конце концов, Времени нужны не те, кто ему поддакивает, а совсем иные собеседники». Эготист "высокомерно игнорирует современность".

Сквозь форточку крикну детворе:
Какое, милые у нас,
тысячелетие на дворе?"
Б.Пастернак

Лично мне из синонимов эготизма, нравятся:

1. – изменчивый; 2. – пламенный; 3. – первоэлемент; 4. – с выводом; 5. – без вывода. Эмоциональные и умственные ресурсы эготиста, несомненно, отличаются от не-эготистов. Как правило, эготист – человек творческий, а возможен ли творческий человек без гипертрофии чувств?

Но есть и вторая часть, и она опасна.

Часто у человека начинает развиваться "невроз трансфера" (З. Фрейд), некая разновидность сопротивления, ведущая к нарциссизму. Стендаль, которого С. Цвейг называл "великим эготистом", Байрон, Набоков, И. Бродский, – у всех в наличии эготизм, как принцип "звездной пыли", прикосновение к гению, и тогда на протяжении всей жизни можно обойтись без постоянного подглядывания в зеркало времени и истории.

Гении актуальны. Моцарта будут слушать, пока существует мир. Тарковский, имя которого Ар-Синай, говорил: "Пока я жив – я вечен". Можно и так, но вернее будет: **"Я вечен, потому что таким меня создал Б-г"**.

"Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком".
Арсений Тарковский

Для начала решим – "опоздавшие гении", или – "местные гении".

Если по Бунину, то – опоздавшие¹, а если по мне, то – местные, взлелеянные.

Три гения, по личному признанию И. Бродского, повлияли на его творчество: Цветаева, Ахматова, Оден. Мы уже знаем, что гении актуальны. Гомер тревожил сон Мандельштама. Тарковскому снился Пушкин. Как правило, гения отличают рубежи. К примеру: возьмем непревзойденного мастера полифонии - Баха, у него этот рубеж - 1708 год, период, когда он получает место придворного музыканта у герцога Веймарского – время интенсивного творчества и приобщения к мировой культуре. Ровно через двести лет, в 1908 году, Пруст переходит рубеж, и материалы "Против Сент-Бёва" превращаются в "Поиски утраченного времени". Рубеж Пушкина до "Евгения Онегина" и после него; рубеж Б. Пастернака до и после "Марбурга"; рубеж Цветаевой до и после "Поэмы горы" и "Поэмы конца"; рубеж Мандельштама до и после "Воронежских тетрадей". Эстетически цельные творения, свидетельствующие о достижении зрелости творческого гения. Гений подобно Моцарту, Пушкину, Рафаэлю, творит в органическом синтезе природной красоты окружающего мира.

В 1938 году Бунин впервые публикует прозаические сонеты, назвав их - "Тёмные аллеи".

В 1985 году в Испании были опубликованы одиннадцать сонетов из утраченной книги Ф.Г. Лорки, ставшей легендой, под названием - "Сонеты тёмной любви". Всего в книге, по словам Лорки, должно было быть сто сонетов. За маской любви всегда прячется боль, а за маской гения – божественное откровение.

Потрясение, вызванное появлением поэзии Рембо, эта головокружительная пропасть, которую разверзает перед будущими поколениями творчество гения, которого, по сути, постичь нельзя, напоминало снежный обвал в горах. После знакомства со стихами юного Рембо, старый Гюго воскликнул: "Это же маленький Шекспир!"

Интересно, что русским переводчикам обычно не дается последняя строка знаменитого сонета Рембо: "O l'Omega, rayon violet de Ses Yeux!".

Сравните:

"Омега... Синие – твои глаза, Судьба!" (пер. И. Тхоржевского);

"Омега – синий свет в глазах моей звезды" (пер. М. Миримской);

"О, – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд!" (пер.

В. Миклушевича)

Точнее других передал смысл этой строки Н. Гумилев:

"Омега, луч Её сиреневых очей".

Гений непредсказуем. Бруно Шульц начал писать в сорок лет, а прожил всего пятьдесят. Читая рассказы Чехова, – "Шопена в драматургии" (Моруа), – точно пьёшь колодезную воду, холодную настолько, что сводит челюсти.

¹ "...опоздавший" лучше, совершенней (как и Тютчев), писавший Бунин ревнует все признанные судьбы". А. Битов "Пушкинский дом".

*"У одних есть призвание, другие
справляются, как могут".*

Чеслав Милош

С какой целью люди вообще берутся за перо?². Свой очерк "Армия поэтов" Мандельштам заканчивает так:

"...все мы носим ботинки, а ведь мало кто шьёт башмаки. А многие ли умеют читать стихи? А ведь пишут их почти все".

Вот этих "почти всех" Мандельштам назвал "армией поэтов". В современном мире, когда все грамотные (!), а досуга хватает с избытком, эта армия (и примкнувшие к ней "писатели"), разрослась до невероятных размеров.

Гёте назвал это – "Lust zu fabulieren", – художественный позыв – некая "страсть к сочинительству". Тенденция эта прослеживалась задолго до появления интернета, еще в сороковых годах Андрей Платонов сказал: "В литературу попёр читатель".

Не до конца исследованной, но, может быть, главной движущей силой, помимо удовольствия от самого сочинительства, каковое испытывает писатель, это увидеть в расхождении событий тайный ход земного бытия, понимая, что конечный пункт назначения невыразим, и не может быть предметом нашего знания, а только Верой.

"Если ты написал книгу и тебе посчастливится, то ее будут читать какое-то время, пока не появятся новые, лучшие книги и не займут ее место, но всякий породивший новое слово подобен тому, кто прикасается к Вечности"³.

Мне неизвестно, был ли знаком Кафка с "Действительными историями" ("Сипурей маасим") раби Нахмана из Браслава, хотя не лишним было бы предполагать. Я не собираюсь подвергать Набоковский ответ сомнению⁴, но одно *совершенно* и ясно – гению должно, и - *невозможно* подражать, ибо гений – неподражаем.

Зарубежная русская критика упрекала Набокова в том, что в его прозе (в частности, в романе "Приглашение на казнь") явно проступают кафкианские контуры, на что Набоков в одном из ранних интервью сказал: "Правильнее было бы говорить о французском влиянии – я обожаю Флобера и Пруста".

Быгует справедливое мнение, что Прусту нельзя подражать и научиться у него ничему невозможно. Оно и верно. Или ты родился с тончайшей мембраной лошадиного волоса в позвоночнике, или – нет.

Человеческая мысль может быть причудлива в своей алогичности, спонтанности и непосредственности, и если сны иногда

² "Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу, и в нее верю меньше, чем в домашнего: она необразованная, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам".

(Из письма Чехова Суворину 23 декабря 1888 г.)

³ Амос Oz "Повесть о любви и тьме".

⁴ 1936 год, литературный вечер в Париже. Адамович: "Знакомы ли вы с «Процессом» Кафки? – Набоков: Нет!"

переплетаются с реальностью, сознание с подсознанием, то жизнь никогда не повторяет литературу.

(Сцена, имевшая место...)

Она смотрела на него глубокими, как апрельское небо, глазами. Боже мой, как она на него смотрела, когда он говорил, а говорил он вот что: "Ты не сможешь, как тебе сказать, прорваться, сейчас это не так, как когда-то, это сложнее..." Он запинаясь, он явно нервничал и чувствовал себя неудобно.

- Как это, не смогу? А почему, вообще, надо куда-то прорываться? Вы же сами сказали, что *"это очень талантливо"*, и что значит - сейчас?..

- Понимаешь, как бы тебе объяснить, гм-м-м... не помешало бы еще знакомство... имя, понимаешь, или... Ну, хватит! – Он ударил по столу и нечаянно смел на пол стопку бумаг, среди которых были и её талантливые стихи.

Не Рембо и не Гюго, а просто – наше время *сейчас*. И прав был поэт А. Кушнер, сказавший: "Не думаю, чтобы молодой Маяковский или Рембо произвели сегодня на кого-нибудь впечатление".

*"Наше время, боже праведный!
Да это суций Ковчег Завета:
горе тому, кто его коснется!"*

Дидро

Люди издают журналы. Издают газеты. Открывают издательства. Переоценка ценностей. Талант сегодня никого не волнует, никто не собирается открывать таланты.

Лучше открыть издательство. Публиковаться всегда было этической проблемой и во времена Цветаевой и во все времена, да к тому же в диаспоре. Например - вдова поэта Абрама Терца, считала, что издательство надо открывать для того, *"чтобы тебя боялись!"*⁵. Ни больше, ни меньше! Но всё же, изменения кое-какие есть.

В 1916 году Шолом-Алейхем писал о своей книге "С ярмарки": "Книга любит, чтобы её печатали и читали. А печатать было негде. Издать книгу на собственные средства еврейский писатель не в состоянии. Печатать в журнале? Еврейская литература еще не настолько богата, чтобы иметь ежемесячник – как у людей".

Ну вот, сегодня у нас все, как у людей. Еврейский издатель издает книги еврейских, (и не только еврейских), писателей. Настоящий очерк есть подтверждение тому, что еврейская литература уже настолько богата, что имеет свои ежемесячники. Это ли не мечта поэта?

К чему стремиться - слово поэта, кисть художника, резец скульптора, ноты музыки – если не стать ещё одним связующим кольцом в цепочке духовного единения, и если это поистине так, то в искусстве живой воды нет места искусственности.

Скажи мне, *как ты хочешь быть*, и я скажу тебе, кто *ты*. Прекрасное никуда не уходит, оно остается навсегда. Цветаева считала,

⁵ М. Розанова.

что "настоящая поэзия – это вдохновение плюс воловий труд", не соглашаясь с Полем Валери в том, что "минуты вдохновения не лучшие минуты, чтобы писать стихи". Цветаевой ближе мнение профессора И. Клаузнера, утверждавшего, что "шелест крыльев вдохновения можно услышать только там, где лицо покрыто потом: вдохновение рождается из усердия и точности".

Только умея оставаться собой, искренне болея по исчезающей неземной красоте, можно с чистой совестью сказать, что... "Самая печальная радость – быть поэтом. Всё остальное не в счёт. Даже смерть"⁶.

2.

*Гениепоклонцы, люди очень полезные,
часто оказываются куда более опасными
врагами гения, чем косные обыватели".*

Роберт Музиль

Вспоминаю слова папы, сказанные в день юбилея Чехова: "В России, для того, чтобы о тебе говорили, ты должен сначала умереть".

Предполагаю, что говоря это, папа и не подозревал о "онтологическом парадоксе" Музиля: писателю, для того, чтобы жить, нужно умереть. Обратила внимание, что к этому прибавилось ещё одно неперменное условие: перед тем, как умереть *так*, чтобы о тебе говорили, ты обязан *стать* своим при жизни, войти в "бранже"⁷,. иначе не получится.

"Бранже". От этого слова отдаёт конным снаряжением. Писать в одиночку и нигде не числиться?!.. По такому случаю Андрей Битов вывел поразительно точную формулу: "У тусовки один закон: есть те, кто на неё пришел. А тот, кто не пришел, того нет". Отдайся "бранже", а она уже сама о тебе позаботится, так что можешь спокойно умирать, дорогой гений.

Есенин учил начинающего А. Мариенгофа, как надо пробиваться в поэты: "Так, с бухты-барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри - Белый: и волос уже седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит".

Или: "Горба у вас нет, вы не хромаете, глаза не косят – это для поэта большая потеря. Ну, хоть спивались бы вы, что ли, или шумно развратничали. Что-то надо придумать. А пока вы живёте в четырехкомнатной квартире, пьете по рюмочке дорогой коньяк и ходите на свидания с мужчинами в синих бостоновых костюмах – ничего не выйдет"⁸.

Прекрасный поэт и человек Яков Хромченко, муж поэтессы Лии Владимировой, не переставал удивляться: "Романские языки пишутся слева направо, семиты пишут справа налево, китайцы пишут столбиками.

⁶ Ф.Г. Лорка

⁷ *branche* – "Отрасль; ветвь". Пер. с французского. На сленге языка иврит означает – "свои люди".

⁸ Из письма С. Довлатова поэту Елене Скульской.

Зачем Мише Генделеву писать треугольником и ромбом самые обычные стихи, которые можно свободно записать в строчку. Не понимаю".

А я поняла, когда прочла Э. Кеммингса. Прочитав Кеммингса, всё становится понятным. Э. Кеммингс прославился тем, что в своем стремлении эпатировать читающую публику либо совсем отказывался от знаков препинания, либо ставил их самым загадочным образом между частями слов; не употреблял заглавных букв, отказывался от всяких синтаксических норм, использовал фигурные стихи. В графические средства, функционирующие на уровне текста в целом, включено и то, что Тынянов назвал *эквивалентом текста*.

Антивоенное стихотворение Э. Кеммингса ⁹ имеет форму треугольника, в нём нет ни одного знака препинания, стихотворение начинается со строчной буквы; синтаксические конструкции начинаются, не заканчиваются и переходят одна в другую и, тем не менее, смысл целого совершенно ясен, а эмоциональная сила велика. В произведениях Э. Кеммингса стилистическое использование графики доведено до крайности, а иногда и до абсурда. Кеммингс *предельно эксцентричен в отношении формы*, хотя тематика его традиционна: радости любви, красота природы, трагедия смерти.

я
спрашивающий
Конечно
Вы дорог что
еще можно понимать
нет но не это но вы кажется я не могу сделать
было понятнее войны просто не то что
мы воображаем но пожалуйста для бога
что черт возьми да это правда что было
меня но что мне это не я
разве ты не видишь теперь нет не
любой но вы
должны понимать
почему потому что
я
мертвый
Э. Кеммингс

Постоянный, как припев в известной французской песне: "Padam! Padam! Padam!" – Эпатаж, эпатаж, эпатаж!

⁹ Уистен Хью Оден: "Кстати, кто бы мог хорошо перевести Катулла? Я думаю, Кеммингс". Эдвард Эстлин Каммингс (1894-1962) – американский поэт, живший в Париже. "Виртуоз английского языка, синтаксически и графически добивавшийся фантастического отстранения поэтической формы – что привлекало Одена и требовалось при переводе Катулла". Записал Алан Ансен.

*"Кто изобрел бы новое, точное слово для понятия гений,
тот сослужил бы сегодня большую службу
всему человечеству".*

Роберт Музиль "О гениях"

ИЗ ЦИКЛА "ИДИЛЛИИ

ЧАЙ С МОЛОКОМ

Чай с молоком белая ночь какой чай с молоком
только
в одной палате ночник горит
или
у них стал Питер в начале лета
уже подводный теперь такой
или
я выдохнул жизнь как в жабры
и
легкие пузыри
но не
оторваться мне от окна
и не
насмотреться мне
на
всегда
или
ушла под белую воду вся их страна
или
всегда на этом месте текла вода
белая ночь
какой
чай с молоком
из чешуи глаз не сомкнуть и смотри
рыбий свой рот разевая каждым давясь глотком
и
пью до одури
до
о
дури!
эту
белую воду пью да не пьется вот
рыбы слезы наши
и есть
толща самой воды
или
идет надо мной весенний ладожский лед
или
плывут надо мной
небеса как льды

белая ночь
какой
чай с молоком
папа льет на скатерть слепой старик
отгоняю мальков от света вареной своєю рукой
и
за
потевает иллюминатор
из
нутри
и
отгаликиваюсь
от
дна
и всплываю на свет звезды
надо мною
одним
и светит она одна
или
отражается от воды.
Яффо, июнь 1984 М. Генделев

Есть люди, совершенно уверенные, что при всём таланте творческого человека, его невыплаченным долгом перед человечеством является именно гениальность, и засчитывается это литератору, как подарок на будущее (!) Но - либо поэт дорос до поэзии, либо она разорила его.

"Написана книга – так и называется: "ГЕНДЕЛЕВ". Автор - Андрей Масевич, бывший соученик Михаила Генделева по Санитарно-гигиеническому институту в Санкт-Петербурге, Сангигу. Тон книги, ее интонация? Нервная, многословная, Достоевская, бесстыжая". (Никита Елисеев 25 апреля 2011 г.)

Был бы поэт Генделев доволен? Не уверена.

"Я боялся даже произнести, но в лживой глубине своей души верил: я - гений. Бывший, но гений. А я не гений. Я - неудачник". Это написал Аркан Карив в своем последнем, незаконченном романе "Однажды в Бишкеке". Там же есть глава о М. Генделева. Эта глава, под названием "Мишенька", была опубликована в февральском (2012 год), номере журнала "Лехаим". Вот отрывок из главы: "Он был умней своего народа, но печатать не умел совсем. Зато как готовил! Его авторская стряпня была дитя брутальной бедности. «Из качественных продуктов чего-нибудь приготовит даже невеста», - горько усмехался он и, добавляя щепотками снадобья, варил суп из топора".

Так перестают читать стихи ушедших поэтов и усиленно переходят на многочисленные воспоминания, а затем постепенно тот, о ком пишут, из поэта превращается в героя воспоминаний рассказов о "супе из топора".

Пруст говорил, что "ошибки гениев в их частной жизни достойны наибольшего снисхождения". Положим. С натяжкой. Что мы воспринимаем из того, *что* сказал поэт? Только то, что в дальнейшем мы приложим к нашей личной жизни, и только от этого зависит наше восприятие или вовсе неприятие.

Вечность не заработаешь проходными воспоминаниями других, а тем лишь, что оставлено тобой самим. Здесь не утешит пустая *иллюзия - илу ээ ая!*..

"...Я счастлива, что ещё при жизни успела ему сказать слово, которое считается собственностью мертвых: что он – гений". (Майя Каганская "Я хочу рассказать вам").

Был бы поэт Генделев доволен? Уверена.

"Звучит стихотворение «Господь наш не смотрит на землю...»

Ведущий напоминает нам, что в 2004 году Майя Каганская провозгласила Михаила Генделева гением! (Как ни стараюсь, а всё же – трудно отнестись серьезно к подобному провозглашению). Мне в нем видится выдача желаемого за действительное"¹⁰.

Психологи утверждают, что высокомерным людям присуща мнительность. К примеру, *воз*-омнили, что они или их ближайшие друзья – гении. Проходят годы, а *воз* и ныне там.

Есть поэты, сжигающие свои рукописи, а есть сжигающие свои жизни, как фолкнеровские сарторисы. Чем больше бесплодных воспоминаний, типа: "Помню, в детском саду он отличался от всех, на горшке сидел как-то боком и всё побрякивал..." Чем больше *такого* о поэте, тем меньше самого поэта.

Гений не только неотъемлемая и лучшая часть эпохи, не только её устный и письменный рупор, он ещё и тот, кто успешно отстаивает прочность своих идеалов. "Гений - это любовь и будущее" - писал Рембо. Гениальный поэт, Артур Рембо умер в полном одиночестве. Поэта никто не знал, его не печатали, не понимали, разве что, отчасти – Верлен.

"Но этой троице чужд небесный лик,

Так гений с обезьяной не двойник!"¹¹.

Гений подобен високосному году. Только серьезные литературоведческие работы, проверенные временем, оставят след в истории литературы, где проклонется имя и Поэзия ушедшего поэта. И если что и останется, то лучше бы - "*брызги и пена реки времен*".

Март – 2011

Март – 2013 Ариэль



¹⁰ "Субъективные заметки о вечере памяти Михаила Генделева", Артур Клява 28.03.2010.

¹¹ Байрон "Бронзовый век, или Юбилейная песнь".

Евгений Брейдо

Город



олько себя помнил, он всегда любил море. С детства завораживали картинки с кораблями, мачтами, дымком от пушечных залпов, голубыми волнами. Волны почему-то всегда рисуют голубыми или синими с белой пеной, хотя в жизни он никогда такого не видел – они или светло-бирюзовые, почти зеленые, или серые, черные. Он любил море всякое, в любую погоду – и тихое, ласковое, и громовое, ревущее, вроде как он на своих бояр, чувствовал связь, родство с морем, может, предощущал, как знать, что и погибнуть ему придется от моря. Ох, на минутку бы увидеть его сейчас, подышать соленым ветром, легче бы стало. Тоска, суша.

Вскочил, сделал два шага по комнате, уперся в стену, отошел, резко сел на кровать, привалившись спиной к высоким подушкам, затянулся трубкой. У двери стоял навтыяжку гонец, драгунский капитан в залепленном грязью мундире. Стараясь унять дрожь в коленях, деревянным голосом односложно отвечал на вопросы о нарвском разгроме. Он нагнал царя в Новгороде, ни жив, ни мертв вошел в дом, который ему указали, жалея, что уцелел – царский гнев страшнее шведской пули.

Петр, уставившись на него немигающим взглядом, пыхтя трубкой, неожиданно сказал: "За битого трех небитых дают. Я воевать начинаю только". И, жестом подтверждая, велел капитану - "Налей, выпей с дороги". Тот подошел к столу на негнущихся ногах, налил водки, залпом выпил, не закусывая.

Понял, что снова уцелел – государев гнев прошел мимо. Вспомнил свойственника, стрелецкого сотника. Всей вины его было, что не донес о бунте – на Москву с полком не ходил, копал картошку в своем огороде - семью-то нужно кормить, цареву жалованье вон за сколько годков не плачено. Изломали на дыбе бедолагу заодно с другими, вырвали ноздри, били кнутом и сослали навечно в сибирскую глушь – спасибо, что не убили, пожалел его страшный князь Ромодановский.

- "Другую армию соберу, офицеры, генералы новые будут, молодые", - распаялся Петр, - "Солдат обучим лучше французских, саксонских, шведских. Пусть и пять и десять раз побьют – все равно переселим". А душа ныла как зуб, от тоски, - и как наваждение, поднималось дымчатое марево морского тумана, кажется, запах его чувствовал.

Снова порывался ходить по комнате, но негде было, сел за стол. Кивком головы отпустил офицера. Вена поперек лба набухла, глаза тяжело уставились в одну точку. Все труды, надежды, мечты за последние два года – все рухнуло в один миг. Даже когда мальчишкой бежал от сестрицы Софьи в Троицкую Лавру, кажется, не было так трудно и страшно. Но за страхом крепла непонятно откуда, разве из тех детских морских фантазий взявшаяся уверенность – "Одолею."

За три недели в Новгороде он выкопал вокруг города рвы, организовал ополчение, отправил Шереметева с конницей под Псков со строжайшим наказом искать неприятеля, устроил смотр гвардейским полкам, пришедшим из-под Нарвы, сам назначил новых полковников – уже, кажется, было чем встретить Карла, если после Нарвской победы тот решит идти на Москву.

Теперь, поручив командование Репнину, спешил в Москву впереди потешных, гвардии. Взял с собой в возок Меншикова и драгунского капитана, прискакавшего первым гонцом после Нарвы, - куда определить его, еще не решил, но парень понравился – умен, сметлив, такому делу найдется.

Заночевали в Валдае на постоялом дворе. В пути прихватила непогода, снег с дождем, государь застудился в возке, лечился сейчас полуштофом водки, настоящей на кореньях.

За ужином Алексашка Меншиков балагурил, старался отвлечь от тяжелых мыслей, смешно рассказывал про польского короля Августа и его успехи у женщин, изображал в лицах и самого короля, надутого спесью безмозглого гусака, и его последнюю пассию, кажется, бывшую любовницу шведского Карла XII. Петр Алексеевич после третьего стакана помягчел, расслабился, смеялся до слез, глядя на Алексашкины художества. Тот отбегал к двери, задирая камзол, кланялся, нарочно сбивая оттопырившейся шпагой со столов светильники, хватал стоявшего истуканом усатого капитана Голикова, крутил, наклонял в разные стороны, представляя его подругой Августа Польского. Хитро подмигивая перед каждой сценкой, не забывал завернуть крепкое матерное словцо по адресу его польского величества.

Петр знал из секретных донесений, что все это правда, и главным было совсем не беспутство и мотовство Августа, это бы ладно, не жалко, а небрежение государственными делами, легкомыслие и ненадежность, о которых согласно писали и польский и саксонский поверенные. Ясно было - только что заключенный с Польшей союз против шведов особых выгод не сулил, помощи от Августа не дождешься, да что ж делать, раз лучших союзников не нашлось. Третий член антишведского альянса, датский Христиан, боязливый и нерешительный, тоже не вызывал в Петре добрых чувств.

Государь резко поднялся, глянул на Меншикова, показывая, что представление окончено, и пошел спать, яростно скрипя половицами.

"Одолеем, должны одолеть", - кричал Петр Алексеевич, ворочаясь на неудобной перине, - «деньги нужны, много, люди нужны честные, умные, да где их взять?

Торопливо вскочил, пересек комнату, бухнулся на колени перед иконой. Молился истово, страстно, сам не помнил, когда так молился. Просил помощи в одолении врагов, сохранения от боярских заговоров, сил вытащить страну из дерьма, нищеты, невежества, чтоб стать вровень с цветущей горделивой Европой. - «А что в Новгороде попов Твоих с монахами заставлял рвы копать, велел кнутом бить ослушников, так то же не для гордости своей, для обороны Отечества, рук не хватает, а эти морды отъели, в три дня не обгадишь, тяжелее кружки с вином ничего не поднимают. Прости и этот грех, Господи, видишь же, не для себя стараюсь." Передохнул, и свистящим шепотом, слова не шли – "Господь всемилостивый, всемогущий, воля твоя, помоги город построить, новую столицу на море, парадиз истинный, как Амстердам, чудо голландское, с каналами, с островами, прости длань свою над ним, защити, не дай погибнуть замыслу моему." Так же торопливо снова лег, натянул одеяло, застучал коленками и затих.

На вопли прибежал Алексашка, благо спал близко, в соседней комнате, стал успокаивать, нежно, ласково гладил по голове, по рукам. Петр немного стал приходить в себя, уже не бился в припадке, диковато озирался по сторонам, слезы двумя струйками стекали по бледному лицу.

"Все хорошо, ну посмотри, все хорошо, я здесь, вон Голицов стоит за дверью, охраняет, я ему не велел входить, все спокойно", – приговаривал Меншиков, положив голову царя себе на колени и убаюкивая его как опытная сиделка. Петр медленно успокаивался, вздрагивая не в такт Алексашкиным поглаживаниям и сглатывая последние слезы. Со всеми заносчивый, дерзкий, Алексашка Меншиков с Петром был совсем другим. Петра он любил искренне, честно, готов был за него в огонь и в воду, в случае чего не задумался бы и умереть, ни одну бабу никогда так не любил. Старался угадывать желания, слушал, впитывал, денщикам, которые у Петра были вместо слуг, делал подарки, чтоб вовремя доносили, о чем государь думает, чем занят, гневен или в добром расположении. Что баба, толку-то от нее, кроме плотских утех, а с царем были связаны все замыслы, честолюбивые мечты, вся суть жизни. Да и не забывал никогда Александр Данилович, что был ничем, ни родовых имений, ни боярства, ни дворянства за ним не водилось, вознесен наверх одним царским капризом, заступников, кроме Петра Алексеевича, у него нет, одни враги - наушники да завистники. Жадный до всякого добра, денег, чинов, славы, надменный, непокорный, с Петром Меншиков был мягким, предупредительным, ласковым, терпел и грубое слово и палку. Истово, всей душой, помыслами служил государю.

Припадок прошел, он сидел на постели обессиленный, окруженный подушками. В голове было мутно, вроде и пьянства никакого в последнее время не было, может, сказалось напряжение этих недель в Новгороде, как-то весь обмяк, выдохся. В голове почему-то неотступно вертелась мысль, что вот он отвоюет сейчас у шведов устье Невы и построит там город, новый Амстердам, свою столицу на Балтийском море.

Сколько часов провел он в детстве, разглядывая гравюры с волшебным старинным городом на морском берегу – их привозил ближний боярин Борис Голицын. Каналы, дворцы, каменные дома, улицы,

прямые как стрела – когда он, наконец, увидел этот город своими глазами, точно такой, как на гравюрах из детской мечты, понял, что не сможет ни жить, ни спать спокойно, пока не построит такой у себя вместо постылой убогой Москвы. Гнал ее прочь, эту мысль, какие города, войну вести не на что, денег только и было, что проиграть одну битву, но она возникала и возникала снова в его расслабленном, туго, словно с похмелья, соображающем мозгу.

Всю дорогу до Москвы государь был не то что неприветлив, а сосредоточен, прерывать его мысли никто не решался. Велел ехать сразу в Преображенское.

Голикова поставил на входе, сказал никого не впускать, буркнул, чему-то своему усмехнувшись: "Вот тебе первое поручение", и вошел внутрь. Капитан только через пару дней понял смысл этой усмешки. Тогда, придя в себя после припадка, Петр определил Василия Голикова в денщики. Тот понемногу перестал бояться, обвыкся вокруг царя, не зная еще, радоваться или печалиться своей новой должности. Меншиков подошел, ткнул кулаком в бок: «Дурак! Благодарен будешь." Засмеялся покровительственно. Василий после обнаружил у себя в кармане 10 целковых - за что дарил, неизвестно, но деньги были очень кстати, - поизносился.

Петр третьи сутки из дому не выходил, ни за кем не посылал, докладов не слушал, в течение дел не вникал. Ходил, слонялся по комнатам, думал. Деятельность его, столь необходимая после Нарвы, не допустившая в самые опасные первые дни ни растерянности, ни трусости, сошла на нет. Никому, даже самым близким, даже другу-наперснику Лефорту, если вообразить того вдруг воскресшим из мертвых, не сознался бы в охватившем его ужасе. Только сейчас, через несколько недель после нарвского разгрома, он вполне осознал, в каком положении оказался.

Казна пуста, армии нет, страна разорена восстаниями, неудачными войнами, междоусобными дрязгами, сильный и наглый враг у ворот. И опереться-то не на кого. Боярство, бородачи льстивые, угодливые, рады, небось, до смерти его неудаче, у-у-у-у, Третий Рим. И угораздил же господь этого киевского князя, как там его, Владимир, кажется, воспринять православие из Византии. Вот уж, воистину, удружил. Жили бы сейчас как люди, не отгороженные от всех стеной, нет, понравились ему ризы поповские, обряды пышного великолепия, империя сказочной мощи. Политики хреновы, етить твою. Накрылась империя турками-османами, с Софией, с попами, с василевсами, нам осталось расхлебывать веками пышное это великолеpie с голой задницей. Одни расхлебываем-то, одни, ошетинились от всего света гордостью, высокомерием, обрядом этим шутовским. Неучи, холопы негодные, дураки, спесью надутые.

Это что же, крамольные мысли, богохульные? Князь-кесарь и за меньшее на дыбу вздергивает. Господи, прости, уж все равно, какие есть, навеки теперь крещенные православные, хотя православие это вот где, Господи.

Встал к образам на колени, перекрестился, но молитва не шла, из самых каких-то глубин детской памяти пришла картинка, как бросали

старика Матвеева на стрелецкие подставленные копы, стрельцы вопили дурными голосами: "любо, любо!", вспомнил, как Милославский топал ногами, кричал на него, на мать, вскрикнул, судорога прошла по телу. Нет, теперь уж он их не боялся, давно уже чувствовал себя самовластным государем, все делалось по его воле, мигнуть достаточно, и любая голова полетит с плеч, но в детских воспоминаниях все равно была боль, всегда острая резкая боль, никогда уже от нее не избавиться, лучше не вспоминать, опять кончится припадком, а Алексашки нету под рукой, послать, что ли, за ним, нет, про другое нужно думать, про войну, где взять людей, денег, господи, как хочется быть царем в нормальной стране, в Голландии какой-нибудь, Англии, милое дело. Города строить, верфи закладывать, заводы, балы давать, законы принимать, чтобы торговля процветала, наука, ремесла, люди жили счастливо. Пройти по красивому городу или в карете проехать, видеть улыбки, беззаботные лица. У нас глянешь, хоть бы кто улыбнулся когда, одни угрюмые рожи с похмелья, только и смотрит, чего бы у соседа стырить или кому в ухо дать. Не привел господь. А как хочется, чтобы страна была сытая, люди вежливые, без дикости. Эх, указ что ли издать специальный, велеть улыбаться друг другу при встрече, а кто не станет, тому двадцать палок для первого раза. Так и видишь улыбки-то эти.

Дума боярская! Только и горазды бахвалиться друг перед другом древностью рода да местами прадедов. Бездельники! Назад хотят, в дедовском веке жить. Не выйдет. Прошло их время. От одной знатности толку немного, и от худородства тоже. Как сказал тот стрелец, мимо него идя к плахе: "Посторонись, государь, я здесь лягу." Такое захочешь - не забудешь. Одно древнее это упрямство, что у стрельца, что у боярина. Скорее дыбу вытерпит, на колесе сдохнет страшной смертью за веру и дедовский обычай, чем думать начнет по-другому, поймет, что отечеству надобно. Не знатность, годность к делу нужна. Людей нужно молодых, энергичных, образованных на европейский лад, чтоб служили не за страх, государству были настоящей опорой. Верные исполнители надобны, точные, надежные. Но и без других людей нельзя, умом дерзких, бесстрашных, с искрой Божьей. Помощники нужны, а то во всем один, простой вещи поручить некому: или украдет, или дров наломает, а иной раз то и другое вместе.

Жалел ли он людей, ближних и дальних? Переживал ли о пролитой крови? Нет, никогда. Упрямство это было и в нем самом, и в его дядях, свойственниках, сподвижниках - эка невидаль. Слишком его вокруг много, и цена ему - ломаный грош. Ценил он мастерство, деловитость, любопытство к новому и превыше всего терпеливую способность достигать цели. Ничего этого не было в замшелом московском духе. А крови он не боялся. Наверное, с той минуты в отрочестве, когда злоба на сестру, Милославских, стрельцов пересилила страх. И он из ребенка вдруг стал - царем.

Петр вышел на шум, доносившийся из ближних комнат.

Князь-кесарь стоял перед Васькой Голиковым в распахнутой шубе, палку держал в одной руке, шапку в другой - натоплено было жарко, дышал тяжело, уже осип от крика, глаза того гляди выскочат из орбит,

вращаются страшно. У бедного Голикова ружье в руках ходит от страха, сам вот-вот грохнется на пол в обморок, бледный, но отвечает твердо: "Государь занят, никого пускать не велел." Остальная стража давно уже попряталась: не выполнить царский приказ - разложить на лавке и ввалит палок немеряно, а выполнить – еще хуже. Шутка ли, перечить самому Ромодановскому, тут уже пахнет кнутом и дыбой.

- "Молодец, против князя-кесаря выстоял, далеко пойдешь", - хохотнул Петр.

- "Не шуми, твое кесарское величество", - царь усмехнулся, глядя на правителя своей тайной канцелярии. - "Я велел никого не впускать, он службу несет исправно, за это награждать нужно, а не бранить, остальные-то вон все кто куда, бояться тебя больше, чем меня", - сказал чуть ли не с завистью. И добавил в никуда, в пространство – "тебя я поставил, хоть и шапку перед тобой ломаю равно как перед царем и другим велю то же делать, а меня Господь помазал. Власть наша от того разная – одна от Бога, другая от царя." Посмотрел на князя-кесаря – "Так что не зарывайся, милостивый государь-кесарь. Ну проходи, раз пришел."

"Нынче скучно у нас", - рассказывал Петр, "- Воевать надо, да нечем. У меня в казне денег нет, у бояр одни вотчины, тоже много не отымеешь, купчишки слабы еще, про мужика и говорить нечего, а сундуки монастырские ты трогать не велишь, так?" – сказал, и не поворачиваясь, по одному только сопению за спиной почувствовал, как напрягся князь.

- "Нельзя их трогать", – ответил твердо и, посмотрев на обернувшегося к нему государя, добавил: "Денег их брать нельзя, а власть можно. Гордыню их сломить окончательно, заставить тебе служить, как холоп любой служит, кормить со своей руки. Тогда ты им будешь господин".

- "Да не о том речь. В государстве одна власть – царская, другой не бывать. Я всем господин, передо мной все равны – что холоп, что патриарх, что ты, князь."

Ромодановский при сих словах бухнулся на колени и пополз к царю, отбивая поклоны.

"Ну ладно, ладно, не обижайся. У тебя перед другими заслуг много. Предан, смел, прям. И первейшая среди прочих – честен. Казну какую хочешь можно на сохранение отдать – полушки не возьмешь, еще и своего прибавишь. Это среди наших качество редкое из редких", - усмехнулся с горечью, поднимая князя-кесаря. "Уж я-то знаю. Оттого и возвысил тебя. Скажи, что делать? Деньги нужны. Вот ты зачем пришел, ради каких дел через пол-Москвы ехал ко мне, на Голикова кричал, дыбой угрожал, я слышал, требовал пропустить, что хотел мне сказать? Или заговор какой открылся новый, одно к одному?"

- "Заговором, слава Богу, нет, все спокойно, да и я на страже, а людишки такое болтают, что иной раз волоса дыбом становятся, откуда берут да как не бояться, зачем тебе знать, с этим я сам разберусь." – Усмехнулся. - "Кричат, ты и сам ведаешь, что иноземцы царя опоили зельем, не продохнуть русскому человеку от проклятых жидов да немцев."

У царя при этих словах верхняя губа вздернулась, и заходил кадык на шее, но ничего, смолчал.

- "А монастыри разоришь, еще не то заголосят, запричитают - пришествие Антихриста", - бесстрашно продолжал Ромодановский.

- "Хватит", - оборвал Петр, - "про истинно русское непобедимое православное слышали уже от преподобных, от патриарха, чтоб им всем... И как дает деру православное, смазавши салом пятки, видали. Где деньги взять, ваше православное величество, цезарь-князь?"

- "Пойдем", - согласно кивнул князь-цесарь, - "Кое-что покажу." Петр без расспросов гаркнул: "Голиков, запрягать!" Втроем подъехали к Романовским палатам на Варварке, Голикова оставили в возке, спустились в подвал, Петр Алексеевич от затхлости и сырости чихал почти безостановочно, все заросло плотным слоем паутины, казалось, что люди сюда не заходили уже много лет. Ромодановский подошел к стене, подслеповато оглядывая кирпичную кладку с облупившейся штукатуркой, что-то бормотал себе под нос, стуча в стену палкой. На шум прибежал заспанный сторож, увидев, кто перед ним, рухнул на колени, Петр вернул его к действительности: "Два лома и свечу, живо!" Орудяя ломом в тех местах, где указывал князь-цесарь, Петр со сторожем довольно быстро разрушили каменную кладку – она оказалась фальшивой, в один кирпич, за ней была дверь. Ромодановский достал ключ, попробовал открыть, но ключ не поворачивался в заржавевшем замке. Петр оттолкнул его, нажал плечом, дверь не дрогнула, матерясь, разбежался, от мощного удара кусок старой стены проломился, дверь слетела с петель, на вошедших осыпался сверху изрядный слой штукатурки. Со свечой в руке, отряхнувшись от штукатурки, огляделся.

- "Что это?", - "Сокровищница прадеда твоего Феодора Никитича, патриарха Филарета. В лихие годуновские времена, когда царь Борис неистовствовал против всего твоего рода, государь, боярин Феодор с братьями решили собрать и спрятать все семейные деньги и ценности в надежном месте, подальше от всевидящего Борисова ока. Дальше ты и сам слышал – искал да не нашел царь Борис романовские богатства. Мало кто знал о кладе – только шесть братьев да доверенные слуги, вот и дожил до сего дня в сохранности."

Петр проходил мимо мешков с золотыми рублями, ефимками, монетами иноземной чеканки, соболями, траченными молью, старинными золотыми украшениями с лалами и алмазами.

- "Ого, да тут казна, на год мне хватит!", - повеселел царь, - "А как начнем бить шведа, деньги сразу найдутся. Как узнал про клад и почему раньше не говорил?"

- "Узнал от родителя твоего, он копилку пополнял при случае, а мне оставял на сохранение, уезжая в походы и по другим надобностям. Клад этот особенный, кровью предков твоих оплачен. Умирая, государь Алексей Михайлович призвал меня и велел наследникам не открывать сего, разве что будет нужда крайняя в военное время."

- "Ну, спасибо, выручил! Но колокола обдери на пушки. Звону много пустого по Москве."

Ромодановский усмехнулся: "Ничего, выдержим. И хуже бывало."

Обратной дорогой князь-кесарь потрепал Голикова по загривку: "Не сердчай, парень, одному делу служим. Оба мы государевы люди. Каждый службу несет как может и знает." Голиков благодарно улыбнулся в ответ. Он даже не обрадовался, удивился. Обидеться на князя не посмел, не такова чина он, букашка, чтоб обижаться на вельможу, перед коим сам царь склоняется, а не уступил тогда, не спрятался со всеми вместе только оттого, что помнил царские особые слова про поручение. Даже и думать не хотелось, что было бы, не выйди Петр вовремя из покоев. А так ничего, обошлось, и царь доволен и князь-кесарь не гневается.

Петр велел ехать назад в Преображенское, в Москве не остался. Дорогой задремал в возке, вошел в горницу, опираясь на плечо Голикова. Велел лечь с собой в комнате. И сразу уснул, наверное, первый раз легко и беззаботно за последние недели.

Ему снился сон. Это был город, и он вроде бы понимал, что это тот самый город, но в то же время другой. Он был своим, придуманным и одновременно чужим, непонятным. Слышно, как говорят и по-русски и на незнакомом языке. Что же это за язык? На голландский или немецкий непохоже. Он точно его слышал раньше - вдруг возникло надменное лицо с тщательно завитым париком по обе стороны от щек, где-то он видел это лицо, да, и при том много раз, его чеканят на монетах, это король Людовик-солнце, а вот роскошный парк с королевским дворцом и то, что он любил почти так же сильно, как море, ребяческой восторженной любовью – разноцветные вензеля потешных огней, он запускал их немало на веселых пирушках в Кукуй-слободе. Узнал этот парк - конечно, Версаль. Понял, что за язык. Но, господа, где же он?

Это Нева, ну точно, Нева. Прямой берег и вон тот изгиб не забудешь, все-таки он моряк, линию берега помнит точно, а что это там за огни впереди, так много огней?

Мягкий учтивый голос, возникший вдруг ниоткуда, подсказал ему: "Подойди ближе". Он подошел. Какой огромный дворец.

- "Загляни в окно первого этажа, оно открыто, ты можешь даже услышать, о чем говорят".

Первый этаж высокий, но при его росте это нетрудно – да, заглянуть стоило, его взору предстала ослепительная картина.

Анфилада комнат, залитых светом люстр в десятки тысяч свечей, все заполнено людьми в изящных европейских платьях, надушенные плавно скольльзящие дамы в кринолинах, мужчины, многие в мундирах с орденами, другие в нарядных камзолах с драгоценными застежками, пряжками, всюду французская речь вперемежку с русской, сверкание бриллиантов. И все чего-то ждут.

"Они ждут выхода государыни. Ее величество императрица Екатерина дает бал в честь победы над турками под Рымником.", - пояснил невидимый голос.

- "Это что за город, кто его построил, когда?", - спросил Петр, волнуясь.

- "Построил его ты, а город это Санкт-Петербург, столица Российской империи", - продолжал тот же голос.

Санкт-Петербург, столица империи, город святого Петра, его город, все верно, он не ошибся – от этих слов кровь прилиwała к вискам и начинала кружиться голова. – "Пойдем, покажи мне город", - не велел, а почти попросил царь, - "Расскажи о нем."

- "Это красивейший город мира."

- "Как Амстердам?"

- "Что ты, куда там Амстердаму, он не уступит ни Риму, ни Парижу, а в чем-то, может, и превосходит их. Видишь, вот гранитная набережная Невы, мосты, ночью их разводят, чтобы дать возможность пройти большим кораблям."

- "Сюда, к нам заходят большие корабли, шведы им не мешают, мы можем спокойно торговать со всем миром?"

- "Швеция ни с кем не воюет с тех пор, как ты разгромил ее, она стала небольшой скучной второразрядной державой."

- "Что это за улица, на которой мы стоим?"

- "Это Невский проспект, главная улица твоей столицы, широкая, прямая, чтоб экипажи могли свободно двигаться в несколько рядов, как ты хотел. Пойдем, я покажу тебе еще кое-что."

- "Что это за памятник?"

- "А ты присмотришься повнимательнее."

- "Мне? Это я, каким стану лет через 10-15?"

- "Примерно. Его потом назовет "Медным всадником" один великий поэт, прославлявший тебя, и под этим названием памятник войдет в историю. Прочти надпись."

- "Петру Первому Екатерина Вторая. Кто это - Екатерина Вторая?"

- "Немецкая принцесса, теперь русская императрица, она даже не родственница тебе по крови, но тебя чтит и город твой строит и украшает."

- "Это я вижу. А о какой победе ты говорил вначале, в честь которой этот роскошный бал, и что это за дворец?"

- "Генерал Суворов, великий виртуоз войны, наголову разбил вчетверо его большую турецкую армию под местечком Рымник в Бессарабии. Россия продолжает воевать моря, воюет с Турцией за Черное море, как ты воевал со Швецией за Балтийское. Дворец этот, императорский зимний, роскошью, как ты видишь, превосходит все мыслимые пределы."

- "Откуда у них столько денег, у моих потомков? Я только-только наскреб продолжать войну, и так каждый грош на учете. И что, Россия стала империей?" - спросил недоверчиво.

- "Они богаты только потому, что ты нашел эти деньги, создал на них новую армию, флот, уничтожил шведское могущество и одним броском сделал свою страну одной из главных мировых держав. Ты сделал Россию империей."

- "Как диковинно все это слышать, я только что начал войну и сразу все проиграл."

- "Что проиграл под Нарвой, с лихвой отыграешь под Полтавой, ты проиграл одну битву, а выиграешь целую войну."

Они снова вышли на Невский. Петр стоял, озираясь. Ему не нравились завитушки на домах, какие-то непонятные фигуры, но город был хорош, хоть и не Амстердам, как он хотел, совсем другой. Он втянул носом воздух. Дух с моря настоящий - соленый, с ветром. Сколько же у них денег. Воруют, небось, как всегда, подумал с горечью. А у меня вечно гроша за душой нет. Живу на казенное жалованье.

- "И что, Россия изменилась, стала богатой, горделивой, как Европа?"

- "Как тебе сказать... Она стала мощной империей, грозной и сильной, многое впрямь как в Европе, даже своя Академия Наук есть и в ней Михайло Ломоносов – универсальный гений, болтают даже, что твой сын – похож и умом и силищей, но... улыбаться люди в ней так и не научились, если ты об этом. Половина ее тебя любит и почитает, другая ненавидит."

Петр вспомнил, как устраивал смотр боярским недорослям – половина грамоте не разумеет, да-а-а, Академия Наук, и надо бы узнать, кто этот Ломоносов. Петр помялся, не решаясь, посопел носом, но спросил неожиданно о другом: "Скажи, что главное останется от меня, сумею я что-нибудь сделать такое, что сохранится навечно?"

- "Пожалуй", – ответил голос после некоторого раздумья.

- "Что это? Победы мои над шведами, армия, флот, сама держава Российская?"

Голос ответил едва слышно, исчезая в предутренней дымке: "Город."

Как ни рано государь проснулся утром, в приемной уже ждали министры с докладами. За время его отсутствия скопилось множество дел.



Борис Тененбаум

Корень всякого зла...

Главы из новой книги "Гитлер"

(продолжение. Начало в №4/2013 и сл.)



вою книгу "Майн Кампф", "Моя Борьба" - Гитлер начал писать в Ландсбергской тюрьме. Вообще-то поначалу он думал описать только историю своей политической карьеры, и книга должна была называться **"Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости"**. Но первоначальные заметки все разрастались и разрастались, и понемногу книга стала чем-то вроде смеси из автобиографии и политического манифеста.

Как из всякого связанного текста, из книги выпирает на свет личность ее автора.

Он сентиментален. Он дилетант, часто - вопиюще невежественный. Самоучка, убежденный в том, что *"...владеет научной истиной..."*, и что *"...правота его неопровержима..."*.

В чтении текст не производит впечатления даже связности - но у нас есть и другие свидетельства.

Как уж и говорилось - при всем почтении к своему узнику тюремные службы все-таки настаивали на соблюдении каких-то внешних приличий. Доступ посетителей к Гитлеру был, в принципе, вполне свободным, и зашел только от его желания (или нежелания) их принимать - но существовали и тюремные правила. Согласно им, при свидании заключенного - с кем бы то ни было - в камере должен был присутствовать кто-то из тюремной службы.

И это не обязательно был обычный надзиратель. Гитлер вызывал большой интерес, и обязанности "присматривающего за визитом" старшие чины Ландсбергской тюрьмы часто брали на себя.

Обставлялось это с соблюдением всех возможных форм вежливости: дежурный офицер просто садился в кресло, разворачивал газету, и делал вид, что ни к чему не прислушивается. Согласно мнению одного из этих надзирателей, Франца Хеммериха, не было ни одного человека, который устоял бы перед Гитлером в беседе один на один - такова была сила его личности.

Ну, само по себе это свидетельство мало что стоит. В конце концов, в тюрьме узника навещали в основном его восторженные поклонники. И какой же поклонник устоит перед обаянием "звезды",

которой он восхищается? Однако, согласно тому же Хемриху, во всей Ландсбергской тюрьме, от коменданта и до последнего истопника, не было человека, который не был бы убежден в правоте Адольфа Гитлера, и в том, что он герой и мученик.

Речи Гитлера в разговорах с его посетителями, по-видимому, близко соответствовали записям, которые легли в основу его книги. Записи делались, как правило, не им самим. Рудольф Гесс не был арестован после путча, но добровольно сдался властям, получил уменьшенный приговор, и был помещен в той же Ландсбергской тюрьме, в камере неподалеку от той, в которой был помещен Гитлер. Он имел право свободного доступа к своему кумиру, и правила ночного отбоя на них не распространялись - они могли беседовать хоть за полночь. Вот Гесс-то и вел почти всю секретарскую работу - он записывал слова Гитлера, сводил сказанное воедино, редактировал рукопись, обсуждал текст с автором, уточняя его - ну, и так далее. Кое-что делал в этом смысле и Путци Хейнштенгль - ордер на его арест был отменен, он смог вернуться в Германию, и конечно же, немедленно навестил своего *"...великого друга..."*. Путци смог посмотреть собранные записки, и даже внести пару предложений по тексту, которые были полностью проигнорированы. В тюрьме Ландсберг уже начал осуществляться "принцип фюрера".

Слово Адольфа Гитлера должно было быть последним словом.

II

В "Майн Кампф" нет никакой ясно изложенной политической программы. Собственно, это признавал даже сам Гитлер - он говорил потом, что книга состоит из отдельных материалов, каждый из которых - набросок статьи для "Фёлькишер Беобахтер". Но какое-то представление о ходе мысли автора книга все-таки дает.

Он видит мировую историю как нескончаемую борьбу, в которой высшая раса, арийцы, не может занять своего законного места в мире из-за непрерывной подрывной работы евреев, низшей расы, все усилия которой идут на разрушение расы-хозяина, на которой евреи паразитируют.

"Расовый вопрос" - пишет Гитлер - *"дает ключ не только к мировой истории, но и ко всей человеческой культуре"*.

Кульминацию процесса подрывной деятельности евреев он видел в Октябрьской Революции в России. Согласно ему, жидо-большевизм нечеловеческими пытками и голодом убил там 30 миллионов человек в своем желании установить власть еврейских так называемых интеллектуалов над великим народом. Попутно там еще говорится о махинациях биржевиков, хотя связи между биржевиками и большевиками вроде бы не просматривается.

Но для Адольфа Гитлера это, конечно, не так - для него это две лапы одного и того же чудовища.

И вообще - миссией национал-социалистического движения является *"...разрушение еврейского большевизма..."*. Это разрушение, кстати, послужит и еще одной цели - даст германскому народу жизненное пространство на Востоке. Насчет *"...жизненного пространства на"*

Востоке..." он ничего нового не придумал - это была идея пангерманистов, выдвинутая задолго до Первой мировой войны, когда никакого "жидо-большевизма" не было и в помине.

Просто было тогда в Германии некое ощущение, что для истинной Империи нужно пространство целого континента, а не узкие границы страны в центре Европы.

Ну, Гитлер смотрел на вещи пошире. Для него вопрос сводился к борьбе не на жизнь, а на смерть, и шла она между "германизмом" и "мировым еврейством". И полумеры тут не годились. "Расовый туберкулез" должен быть устранен. В "Майн Кампф" Гитлер говорит, что если бы при начале Первой мировой войны 12-15 тысяч еврейских разрушителей нации были бы сунуты под отравляющие газы, то жертвы, принесенные миллионами германских солдат на фронте, не остались бы напрасными.

Поэтому миссией немецкого народа должно быть уничтожение большевизма, и на этом не следует останавливаться, потому что настоящий смертельный враг - это мировое еврейство, породившее большевизм.

Это битва даже не германского, а мирового значения:

"...большевизация Германии <...> означает полное уничтожение всей христианской европейской культуры...".

Надо сказать, что большевизм всплыл в "Майн Кампф" не случайно. В окружении Гитлера было несколько человек из числа "немцев, рожденных вне Рейха". Например, шедший с ним рука об руку Макс фон Шойбнер-Рихтер, убитый полицейской пулей, родился и вырос в Риге. Для него русская революция 1917 была воплощением чудовищного зла, несчетных бед и разрушений - и винил он в ней Троцкого и прочую *"...еврейскую шваль, прикрывшуюся именем Ленина..."*.

Россия с ее большевизмом сильно занимала воображение Адольфа Гитлера.

Он думал, что настало время прекратить все попытки найти жизненное пространство для Германии в колониях - это только ссорит немцев с англичанами - и обратить взор на необозримые просторы за пределами восточных границ Рейха. В конце концов, именно Германия питала своими соками старую российскую элиту, создавая *"...германское ядро..."* верхнего слоя российского общества. Теперь это ядро заменили собой евреи. Но абстрактный "мировой еврей" есть паразит. Он может только разрушать сделанное другими, а сам на созидание не способен. И это означает, что гигантская Империя, лежащая на восток от Германии, созрела для крушения, ибо крушение ее новой еврейской элиты будет означать и крах России как государства.

Гитлер выражал надежду, что современники станут еще свидетелями катастрофы, которая станет полным, неопровержимым доказательством верности теории высшей расы. Надо только подготовить немецкий народ к этой титанической борьбе.

Сделать это может только лидер, осененный гением.

III

В самых первых страницах "Майн Кампф" Гитлер пишет о том, что само Провидение помогло тому, что он родился именно в городке Браунау, что стоит на реке Инн в Австрии. Потому что городок расположен как раз на границе между Австрией и Рейхом, на границе, разделяющей два германских государства - границы этой не должно быть вне зависимости ни от каких экономических соображений. Даже если бы их слияние в чисто материальном смысле было бы вредным, оно должно быть осуществлено. Потому что *"...единая кровь необходимо требует и единый Рейх..."*. Осуществить такое великое деяние, конечно же, нелегко.

Но надежда все-таки есть:

"...если искусство политика на самом деле есть искусство возможного, то теоретик - человек, о котором можно сказать, что они говорят то, что внушено им свыше, и требуют и желают невозможного. Очень редко в истории встречаются случаи, когда теоретик и политик слиты в одном и том же лице..."[1].

Кто это лицо, читателю уже понятно, не правда ли? Ну, а дальше автор переходит к вопросам более конкретным и чисто практическим. Он обсуждает средства и методы достижения поставленных целей, и, в частности, он заявляет следующее:

"...Искусство пропаганды лежит в понимании эмоциональных нужд широких масс... Надо иметь в виду, что их способность к пониманию очень ограничена, что их способность к суждению крайне мала, но способность забывать - огромна...".

Из вышесказанного с необходимостью вытекает, что эффективная пропаганда должна быть простой, и касаться только очень немногих пунктов - которые, естественно, следует тщательно выбирать.

Дальше в "Майн Кампф" следует такой пассаж:

"...искусство всех подлинных национальных лидеров всех времен состоит в том, что они не распыляют внимание народа, а концентрируются на одном враге...".

Гитлер добавляет, что большое число самых разнообразных противников должно быть представлено как щупальца одного и того же главного врага, и что последователи лидера должны верить в то, что с ним-то, с этим главным врагом, они и ведут битву.

Он даже приводит практический пример того, как это должно делаться:

"...это евреи приводят негров на Рейн, как всегда, с тайным замыслом и с ясной целью - разрушить ненавистную им белую расу путем ее заражения чуждой кровью...".

Эта фраза, конечно, нуждается в некоторых комментариях.

IV

Как ни странно, тезис о *"...неграх на Рейне..."* имел некие реальные основания: огромные потери во время Первой мировой войны вынудили Францию использовать в Европе и свои колониальные войска, набранные в Марокко и в Сенегале. Поскольку они к тому же, как правило, не подлежали демобилизации, то их часто использовали для оккупации германских территорий - и на Рейне, и в Сааре. С дисциплиной

что у сенегальцев, что у марокканцев дело обстояло так: своих офицеров-французов они слушались беспрекословно, всех остальных игнорировали, а на побежденных смотрели как на законную добычу.

В итоге в оккупированных районах прокатилась волна грабежей и изнасилований. Французские власти пытались бороться с этим злом, преступления против гражданских лиц расследовались, и как правило, наказывались - но тем не менее они случались, с периодичностью в два-три каждый месяц.

Националистическая пресса, разумеется, изображала их как дикое изнасилование всех германских девушек по Рейну - так что мысль о *"...заражении чистой германской крови неграми и арабами..."* была довольно обычным мотивом.

Новостью было приписывание "оккупационных изнасилований" евреям, которые вроде бы, не имели никакого отношения ни к французской оккупации, ни тем более к сенегальским стрелкам - но Гитлер следовал своим принципам, столь ясно изложенным в "Майн Кампф":

1. Враг должен быть один.
2. Все зло должно идти от него, даже если это не так.
3. Широкие массы имеют слабую способность понимать.
4. Широкие массы имеют неограниченную способность забывать.

Но, пожалуй, стремление свести все беды Германии к еврейскому заговору было у Адольфа Гитлера не только рациональным расчетом, но и совершенно искренней манией. Он видел их повсюду.

В его воспоминаниях о голодной венской молодости вдруг, как бы из ниоткуда, появляется *"...еврей в грязном кафтане..."*. Кстати, еврей в грязном кафтане и в самом деле вполне мог встретиться Гитлеру в Вене - в столице Австро-Венгерской Империи случались и более неожиданные посетители, чем какой-нибудь приезжий из Галиции, откуда-нибудь из тамошнего захолустья.

Но он видел тут не одного непривычно одетого человека, а целое явление:

"...была ли когда-нибудь какая-то форма грязи или гнусного распада - особенно в культурной жизни - в которой не был бы замешан, по крайней мере, один еврей? ..."

Более того, продолжает Адольф Гитлер:

"...если вы вскрыете это абсцесс, вы непременно найдете в нем, как вы нашли бы личинку в гниющем трупе, какого-нибудь еврейчика, моргающего при неожиданно упавшем на него свете. Это зараза, духовная зараза, хуже чем чума старых времен - и люди ей непрерывно отравляются..."

Дальше автор "Майн Кампф" говорит, что это беда не только духовная или интеллектуальная проблема - о нет, отнюдь нет. Суть дела закопана куда глубже:

"...Связь евреев с проституцией, и даже еще хуже - с торговлей женщинами - может быть изучена в Вене так, как, может

быть, нигде больше ... там на темных улицах и в закоулках вы увидите то, что скрывается от германского народа...“.

И Гитлер говорит дальше, что проблема лежит в продажности любви, в превращении ее в объект торговой сделки. И что это ведет к моральному опустошению, к дегенерации, разрушающей германский народ медленно, но верно. И вообще:

“...евреизация нашей духовной жизни и монетизация нашего инстинкта к продолжению рода рано или поздно разрушат все наши подрастающие поколения ...”.

Ну, дальше там идет долгий поток обвинений евреев в темных грехах заражения народа, смысл которых не ясен - важно только то, что Адольф Гитлер видит свою миссию в очищении мира от этого зла.

Гитлер был странным человеком. В числе прочего в нем удивляло не только наличие огромных способностей к внушению толпе своих мыслей, эмоций и переживаний, но и то обстоятельство, что с ним было что-то не так в смысле пола.

Жена Путци Хейнштенгля сказала мужу, что Гитлер - кастрат. И удивилась тому, что сам Путци этого не видит. Ну, кастрат он или нет, было неясно - но тот факт, что вроде бы здоровый 35-летний человек не только не был женат, но даже и не обзавелся никакой подругой, выглядел действительно странно.

Под этот факт подводились самые разнообразные объяснения.

Говорили, например, что *"...все силы и помыслы Адольфа Гитлера отданы его борьбе..."*, и на прочее у него нет времени. Другие люди, настроенные не столь благожелательно, говорили, что чувства, которые Гитлер испытывает, говоря с толпой, заменяют ему нормальные половые отношения. Но было и такое мнение: в годы венского бродяжничества Адольф Гитлер подхватил сифилис и потом плохо лечился.

В итоге зараза ударила ему в мозг.

Примечание

1. Все цитаты из "Майн Кампф" даны в обратном переводе с английского и приведены в книге "Hitler, Path to Power", by Charles V.Flood, Hoghton Mifflin Company, Boston, 1989.



Анатолий Мудрик

Лики отечественной педагогики советского периода

Заметки дилетанта

*- Но позвольте! Если глубоко
рассмотреть, то я лично ни в чем
не виноват. Меня так учили.
- Всех учили. Но зачем ты оказался
первым учеником, скотина такая?*
Евгений Шварц «Дракон»

Вместо предисловия



первую очередь возникает вопрос: почему лики? Звучит весьма благостно и относительно обозначенного периода отечественной истории даже лакировочно, если не фальсифицирующее. Но, по В.И.Далю, лик – это лицо, облик, обличие, выражение лица, физиономия, т.е. это благостное, на первый взгляд (слух?), слово обнимает не только нечто возвышенное, но и все обыденное, заурядное (лицо), и даже омерзительное (выражение лица может быть и зверским, а физиономия отвратительной). Из этого следует, что слово лик (если не впадать в сентиментальность или клерикальность) вполне справедливо употреблять и говоря о С.И.Гессене, и о Н.К.Гончарове, и всех тех, кто внес свой вклад в отечественную педагогику советского периода.

А теперь о главном. Подлежащим в тексте будет идея о том, что в тоталитарный советский период существовали нетоталитарные концепции, созданные отдельными педагогами, а все остальное, о чем пойдет речь, это либо предыстория, либо контекст их возникновения и бытования, т.е. все остальное – дополнение.

И еще одно: почему «записки дилетанта»? Дилетант – человек, который занимается чем-либо без специальной подготовки или обладая поверхностными знаниями о предмете. Поскольку в тексте речь идет об истории педагогики, то это про меня, ибо я не профессионал уровня В.Г.Безрогова или М.А.Лукацкого. В то же время, имея базовую историческую подготовку и четыре десятилетия читая по необходимости или из любознательности различные историко-педагогические работы, я имею некий слой исторических, педагогических и историко-

педагогических знаний, которых, как мне кажется, достаточно для дилетантского суждения о заявленном в заголовке предмете.

1. О чем этот текст?

Хочу четко оговорить, что в этом тексте речь пойдет только о педагогике, а не о воспитании. Воспитание, если и будет упоминаться, то как некая штриховая иллюстрация, как нечто реально существующее, но не совпадающее с педагогикой.

Сколько раз я читал и слышал: «педагогика как наука», «педагогика как искусство», «педагогика как теория», «педагогика как практика» и еще много подобных словосочетаний. Довольно поздно (уже в почтенном возрасте, подбиравшемся к полусотне лет), мне понадобилось для чтения курса лекций и написания учебника по социальной педагогике навести порядок в своих представлениях о том, чем я занимался со студенческих лет, и ответить на вопросы про определение, объект, предмет, принципы и пр., относительно социальной педагогики, наверное, действительно полезные, а может быть и необходимые. И вот тут я с удивлением, а иногда и с оторопью обнаружил, что мои коллеги в большой своей части не считают нужным четко отделять воспитание от педагогики.

Воспитание – это часть социальной реальности любого конкретного социума. В этой реальности взаимодействуют конкретные люди, группы, коллективы, организации, органы власти и управления. Все они что-то делают или хотят что-то делать для того, что они понимают или ощущают как воспитание. При этом они очень мало задумываются, если задумываются вообще, о том, почему они делают то или иное, как на самом деле это надо было делать (если это действительно можно определить). Это не значит, что все они напрочь игнорируют то, что принято называть теорией, методикой, философией, психологией воспитания: эти материи доходят до иных в виде учебников в студенческие годы; уставов, приказов, методических рекомендаций и пр., когда они уже работают; наконец, они их воспринимают из собственного опыта, опыта своей семьи, ближайшего, и не очень, социального окружения. Но суть того, что называется воспитанием, – это то, что оно – часть социальной реальности конкретного социума.

Педагогика – отрасль знания (большинство моих коллег называют его наукой, хотя и всеми вышеприведенными словами тоже – теорией, искусством и пр.). С.И.Гессен писал, что педагогика – это «осмысление воспитания», т.е. реальность нуждается в осмыслении, т.е. в педагогике.

Далеко не сразу я придумал свое определение педагогики – рефлексия фрагмента социальной реальности, называемого воспитанием, отраженная в текстах и «преданиях» (забавно, что определение Гессена мне встретилось позднее, а он двумя словами сказал то, на что я употребил одиннадцать – впрочем, известно, что краткость – сестра таланта).

Так вот, дело в том, что воспитание как реальность и педагогика как ее осмысление очень плохо соотносятся друг с другом. Педагогика

предпочитает не столько осмыслять воспитание, сколько определять то, каким оно должно быть. Придуманные ею варианты Утопий и Городов солнца, что в масштабе системы воспитания целого государства, что для микропространства обучения детей чтению, улучшенные по сравнению с ними или ухудшенные (казалось бы, куда уж хуже, ан XX век показал, что очень даже можно хуже) в реальном воспитании либо не используются, либо «упрощаются», порой до неузнаваемости. И это несовпадение может быть как вредом, так и благом. Я полагаю, что применительно к истории нашего отечества в XX веке это несовпадение иногда приносило вред, но значительно чаще бывало благом. Что я и попробую немного показать ниже.

Мемуарное отступление

В книге Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (бестселлера, как бы сказали теперь, второй половины 50-х годов XX в.) есть такой пассаж (почти дословно): «В гостиницу я вернулся поздно, совершенно вымотанный и сразу же бросился в кровать. В эту ночь Гитлер двинул свои танки на Прагу». Как сейчас помню ехидные рассуждения газетных критиков о нескромности автора, посмеявшегося поставить чуть ли не через запятую, эпизод своего парижского быта и трагедию чешского народа, и многие иные рассуждения по поводу.

Вспомнил я об этом не случайно. Ибо и в моей жизни случилось соседствовать драматическому и вполне заурядному. Было это в 1996 году, в день, когда Б.Ельцин совершенно неожиданно отправил в отставку трицу своих ближайших клеветов – Коржакова, Барсукова и Сосковца, что означало победу Чубайса и отстаиваемой им идеи о необходимости проведения второго тура выборов президента.

Так вот, именно в этот, весьма небезразличный для отечественной истории XX века, день и в моей жизни произошло нечто, привлекшее мое внимание к истории отечественной педагогики XX века.

В этот день на Редколлегии Педагогической энциклопедии обсуждалась одна из основных статей второго тома – «Педагогика», включавшая в себя раздел по истории педагогики. Все шло очень благостно (хотя было высказано Н.Ландой, зам.гл.редактора Издательства, замечание по поводу цивилизационного подхода в рассмотрении истории педагогики; были, вроде бы, еще какие-то довольно незначительные замечания).

Идиллия кончилась, когда я напомнил присутствующим о том, что в вышедшем первом томе в моей статье «Воспитание» оно включает в себя образование, а в обсуждаемой статье «Педагогика – наука об образовании». М.б., осторожно предложил я, имеет смысл хотя бы дописать «и воспитание»? Авторы статьи Н.Д.Никандров и Г.Б.Корнетов отнесли к моим словам вполне индифферентно, резонно полагая, что «собака – то бишь я – лает, а караван идет». (Хотя в опубликованный вариант были добавлены два абзаца про советский период, в которых почему-то были смешаны педагогика и система воспитания).

Зато весьма негативно отреагировал Президент РАО Артур Владимирович Петровский, сказавший, что надо дать во втором томе какое-нибудь пояснение, исправляющее ошибочное суждение в первом

томе. Но Н.Ланда категорически заявил, что так в Издательстве не делается. Так и осталась педагогика наукой об образовании в полном противоречии с тем, что было написано в первом томе. Как оказалось, это были мелочи по сравнению с тем, что последовало.

Дело в том, что в обсуждавшемся варианте статьи история педагогики советского периода была изложена в одном (хотя и большом) абзаце без дифференциации ее содержательных особенностей в 20-х или 30-х-40-х годах, а затем в 60-х-70-х годах. И черт меня дернул сказать, что это неправильно, ибо в 30-е годы у виска педагогов был пистолет, а в 70-е годы, хотя и нельзя было писать все, что хочешь, но можно было не писать то, чего не хочешь.

Разгорелся скандал, столь громкий в буквальном смысле слова, что Наум Моисеевич Ланда, с которым мы были знакомы ранее, поздно вечером позвонил, чтобы выяснить, всегда ли околопедагогические проблемы обсуждаются на столь высоких тонах.

Содержание инвектив в мой адрес я не упомянул, но точно помню сделанный Артуром Владимировичем вывод о том, что из-за моих размышлений торчат коммунистические уши. В момент, когда Зюганов имел, или считалось, что имел, реальные шансы стать президентом, этот вывод звучал...

Прошедший разговор (если так это можно назвать) стал для меня своеобразным щелчком. Мне стало интересно обдумать, что же на самом деле было в нашей педагогике в советские времена. Почитав и повспоминав, я пришел к выводу о том, что в это период было три педагогики – тоталитарная, анти тоталитарная и нетоталитарная.

Впервые выступая с этой идеей на бюро отделения философии образования РАО где-то спустя пару лет после описанного выше эпизода, я назвал создателями не тоталитарных концепций воспитания позднего Сухомлинского, И.П.Иванова, Л.И.Новикову и Х.Лийметса. Некоторые члены бюро обиделись на то, что я их не причислил к этому списку, что выглядело довольно забавно.

2. Единство или многообразие?

Совершенно очевидно, что понятия советская педагогика и педагогика советского периода отечественной истории (1917-1991 г.г.) нельзя считать идентичными.

Советская педагогика как понятие – это идеологический стигмат, хотя она и не представляла собой нечто застывшее и одномерное (кроме, пожалуй, периода 30-х – первой половины 50-х годов).

Отечественная педагогика советского периода нашей истории – явление отнюдь не однозначное и не одномерное на всем историческом отрезке 1917-1991 годов. Она включает в себя не только педагогика, создававшуюся жестко в рамках партийных установок. И, соответственно, «колебавшуюся – вместе с линией партии», а порой «отстававшую» от этих колебаний, как это было в период, называемый «оттепелью».

В 20-е годы, а потом в 60-е-80-е г.г. появились вариации – авторы которых, кто осознано, а кто неосознано, в той или иной мере пытались, даже не помышляя о конфронтации с «линией партии»,

предложить идеи, не совсем совпадавшие с этой линией, иногда доведя их до уровня концепций, которые, будучи «прикрыты» марксистско-партийной фразеологией, не всегда становились объектом критики или травли «подлинных марксистов». Но и особого признания тоже не получали.

Однако и в смутные 20-е, и в расстрельные 30-е, и в «оттепельные» 60-е, и в застойные 70-е доминантной характеристикой советской педагогики был ее тоталитарный дискурс. Советская педагогика, будучи тоталитарной, изначально и всегда была ориентирована на создание философии, теории, методики, психологии воспитания нового человека. Частные признаки этого нового человека могли варьироваться на том или ином отрезке времени. Но главное его назначение – служение партии и народу – оставалось неизменным. Педагогика и разрабатывала всяческие программы и методы того, как наиболее эффективно государство (т.е. партаппарат) уже с детских лет могло приучить человека к мысли (даже не к мысли, а к реакции или чему-то подобному) о том (на то), что оно (они – партаппарат и его вооруженный отряд ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ) имеет право, может и должно организовать, нормировать, контролировать все сферы жизни человека – экономическую, социальную, идеологическую, духовную, семейно-бытовую и даже сексуальную.

В этот же исторический период в центрах русской эмиграции, в так называемом Русском зарубежье, разрабатывалась последовательно и осознанно анти тоталитарная педагогика, которой я посвящу свою следующую краткую заметку. Мне неизвестно, были ли подобные попытки в Советском Союзе. Ведь, если они и были, то авторы писали «в стол» и, может быть, какие-нибудь рукописи педагогов – авторов потаенных анти тоталитарных текстов когда-нибудь «всплывут». Могли быть диссиденты-педагоги, а анти тоталитарные идеи могли быть текстуально оформлены в исламских, католических и униатских регионах советской империи, а также в подпольных сектах и немногочисленных и малочисленных антисоветских кружках и организациях, подобных описанной в книге Анатолия Жигулина «Черные камни».

И, наконец, очень важно иметь в виду, что в 20-е и затем в 60-е – 70-е годы наряду с тоталитарной советской педагогикой бытовали, оформленные в текстах и более или менее широко публикуемые, идеи и концепции, которые я в 1996 году назвал нетоталитарными и о которых ниже будет высказан ряд соображений.

3. В изгнании или в послании?

После октябрьских событий 1917 и спровоцированной ими гражданской войны 1918-1922 годов из страны эмигрировало несколько миллионов представителей в основном наиболее образованной части российского населения. Эта трагедия имела, как минимум, два аспекта, непосредственно относящихся к предмету моей статьи.

Один – косвенный. В эмиграции оказалось довольно много детей, родители которых были озабочены не только их физическим выживанием, но и их воспитанием. Поскольку относительно долго многие эмигранты верили в скорый крах большевизма и, соответственно, в неизбежность

своего возвращения на родину, постольку они, одни больше, другие – меньше, были озабочены тем, чтобы дети воспитывались в национальных и православных традициях, сохраняя русский язык, постигая русскую культуру в возможном многообразии. Кроме того, взрослым эмигрантам надо было не только залечивать свои душевные раны, но и реабилитировать детей, подростков, юношей и девушек, жизненный опыт которых 1917-1922 годы «обогатили» такими кошмарными эпизодами, читать о которых страшно и сегодня (педагоги-эмигранты провели массовые исследования-сочинения «Мои воспоминания с 1917 г.» написали более двух тысяч учеников разного возраста русских гимназий, открытых за рубежом). В Берлине, Праге, Карловце, Париже, Харбине и в других городах за пределами России русские педагоги в течение двадцати с лишним лет создавали и сохраняли систему национального воспитания детей-эмигрантов. Но о воспитании, как я написал в начале статьи, я речь не веду.

Предмет моего интереса – педагогика, которая и есть тот второй аспект трагедии эмиграции, о котором скажу несколько слов. До конца 80-х годов прошлого века мы, основная масса советских педагогов (думаю, практически все, за исключением единиц) ничего не знали ни о русском Зарубежье, ни о педагогике, которая там существовала. Во всяком случае, мне не попадалось ни одного текста, в котором об этом шла речь, хотя бы, как это было принято в советское время, в формате «Критический анализ...». И лишь на рубеже 80-х – 90-х годов появились первые известные мне работы о педагогике русского зарубежья П.В.Алексеева, Е.Г.Осовского и его учеников, моей тогдашней аспирантки Т.В.Скляровой (ныне – доктор педагогических наук, профессор).

Педагогика русского Зарубежья 20-х – 30-х годов была представлена такими крупными фигурами, как Сергей Иосифович Гессен и Василий Васильевич Зеньковский. Это были мэтры отечественной педагогики за рубежом. Но, как это уже бывало в русской истории, педагогические идеи порождали и люди, формально с педагогикой не связанные (до революции, например, Н.И.Пирогов – попечителем учебного округа он стал после своей эпохальной статьи, которую писал в статусе хирурга, В.В.Розанов и др.). В эмиграции – ее интеллектуальные и духовные лидеры – Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков и другие менее известные авторы, которые сотрудничали в созданном в 1927 г. в Париже Религиозно-педагогическом кабинете Богословского Института.

Тексты М.И.Гессена и В.В.Зеньковского изданы в Саранске в 2001 и 2002 годах в виде толстых фолиантов, подготовленных Е.Г. и О.Е.Осовскими тиражом тысяча экземпляров каждый (деньги дал Российский гуманитарный научный фонд, к чему и я приложил руку, будучи тогда в фонде «почти главным по педагогической части»). В 90-е и 2000-е годы опубликовано несколько десятков статей о них и других педагогах Зарубежья. А вот о серьезных монографиях мне неизвестно.

А жаль. И труды С.И.Гессена, и труды В.В.Зеньковского необходимо анализировать в надежде найти в их далеко неидентичных взглядах нечто, что позволит осмыслить сегодняшние реальности

воспитания. Ведь каждый из них в отдельности и оба вместе своими монологами и имплицитными диалогами, запечатленными в их текстах, дают явные, а чаще латентные фрагменты ответов на вопросы, вечные, в том числе и для педагогики, «Кто виноват?», «За что?», «Что делать?».

Но это может быть даже не главное. Главным может оказаться, а может и не оказаться, объяснение (не прямое, а имплицитное) того, почему даже в трагической ситуации гибели привычного мира и невзгод эмиграции Д.Мережковский заявил, что народ-богоносец (по Ф.М.Достоевскому) находится не в изгнании, а в послании.

4. Тоталитаризация под маской смуты

Про советскую школу и педагогику 20-х годов принято писать как о периоде творческого расцвета. Очень модно стало, начиная, кажется, с перестроечных времен, цитировать слова, кажется, Дьюи о том, что всем департаментам (министерствам по-нашему) образования западных стран необходимо иметь в России своих представителей, чтобы перенимать ее творческие находки.

Во-первых, Дьюи (если это был он), наверное, как и Джон Рид, а потом многие западные интеллектуалы, не понимал (а иные из них не хотели понимать) то, что в России на его глазах (в 20-е годы) происходит катастрофа всемирного масштаба.

Во-вторых, то, что почиталось педагогическими изобретениями, сделанными в Советской России, нередко на самом деле было столь же справедливо, как и утверждение «Россия – родина слонов».

В-третьих, хотя я и не уверен в этом, для многих (статистика мне не попадалась, поэтому пусть для многих) конкретных педагогов – учителей, методистов, теоретиков – бригадный метод, метод проектов, Дальтон-план и пр., и пр., и пр. были действительно творческими изобретениями, позволявшими им, как сказали бы ныне, самореализоваться. Но большинство эти новации вряд ли воспринимало как «дар судьбы», а скорее как ниспосланные Богом испытания.

И, наконец, в-четвертых, и это мне кажется главным, все новации 20-х на самом деле имели своими целями разрушение старой школы; дискредитацию педагогов (переименованных в шкрабов, а слова за себя мстят); снижение общего культурного уровня и школы, и педагогов, и населения в целом; многопланную дезориентацию детей, подростков, юношества, весьма упрощавшую процесс их коммунистической индоктринации.

Возникшая в 20-е годы смутная социальная реальность – воспитание, естественно, влияла на ее отражение в педагогике. Одни теоретики бежали из страны (те же С.И.Гессен, В.В.Зеньковский и др.), другие в ужасе затаились во внутренней эмиграции (К.Н.Вентцель и плеяда столь же ярких и нестандартных мыслителей), третьи стали искать общий язык с властью (П.П.Блонский, С.Т.Шацкий и немало иных), четвертые, видимо, искренне поверили в Документы Наркомпроса и Гуса, в идеи статей образованцев (по Солженицыну) Н.К.Крупской и А.В.Луначарского и, нередко полуголодные и разутые, стали создавать

марксистско-ленинскую тоталитарную педагогику. (Были еще пятые и шестые, но о них – позже.)

Как водится, среди вновь обращенных адептов тоталитарной педагогики почти сразу же началась борьба «за близость к телу и к уху» марксизма, за то, кто из них, чьи идеи и прожекты «больше соответствуют» и «вернее толкуют» генеральную линию. К концу 20-х годов искренние и истинные творцы и последователи марксистско-ленинистского тоталитаризма в педагогике А.П.Пинкевич, М.М.Пистрак, В.Н.Шульгин и др. регулярно схлестывались между собой – кто из них больший марксист-ленинец. Называли дискуссиями, а на самом деле было тем, что позднее В.Высоцкий обозначил как «толковище вели до кровянки». Фактически между своими же шли драки «на вылет» за то, какой должна стать тоталитарная педагогика (в 1937 г. «вылетят» почти все, расстрелянные или сосланные).

Но, «пришел лесник и выгнал всех из избушки» - в 1929 году вместо А.В.Луначарского, грешившего писанием не всегда ортодоксальных текстов и иными изъятиями, наркомом просвещения назначается не обезображенный интеллигентскими комплексами начальник Политуправления РККА А.С.Бубнов, перед которым ставится задача – навести в школе порядок, ибо уже прикрыт НЭП, идет год великого перелома и вот-вот начнутся массовые раскрестьянивание, расстреливание и тоталитарное закабаление.

5. «Фельдфебеля в Вольтеры дам...»

Фельдфебель, то бишь Бубнов, весьма шустро навел порядок, сделав воспитание окончательно тоталитарным по существу (новые программы, учебники, инструкции и т.д., и т.п.) и, обернув господствовавшую в 20-е латентно тоталитарную смуту в содержании и в формах (ведь и по сию пору многие исследователи считают эти годы чуть ли не Афинами на 1/6 части суши), в квазиармейский тоталитаризм (вновь классно-урочная система, вновь жесткое построение урока, палочная отчетность и пр.). Время пришло – задача разрушить школу, дискредитировать и зачистить учительство, дезориентировать учащихся была решена и весьма успешно. Пора было собирать камни - прости меня, Господи, ежели это звучит нехорошо («Он в три шеренги вас построит, А пикнете, там мигом успокоит» - А.С.Грибоедов).

И вот тут любопытный момент. Общее место – история не знает сослагательного наклонения. Ну, во-первых, как мне думается, знает и не так уж редко. А во-вторых, педагогика, будучи, с моей точки зрения, отражением реальности, уж точно имеет возможность рассуждать в сослагательном наклонении тоже. И тогда, в связи с обсуждаемым здесь периодом, должен был возникнуть вопрос: что класть в основу новой советской школы? Ответов было несколько. В частности: идеи русских педагогов XIX – начала XX веков или серьезно разработанный в 1915-1916 годах проект реформы графа П.Н.Игнатьева, или толстовско-вентцельские идеи свободного воспитания, или... Но для тоталитарной системы нужна была тоталитарная школа. А ее педагогической (иначе теоретической) основой, естественно, должны были стать идеи казенно-

казарменные и желательны четко и окончательно по-большевистски структурированные и сформулированные.

Поэтому, если посмотреть на плоды деятельности НКП Бубнова в 1929-1937 годах, то мы обнаружим школу, скроенную как и дореволюционная по лекалам германской педагогики. Но имевшую кардинальное отличие: дореволюционная гимназия была классической, а советская школа – технократической.

Но что это я все о школе да о школе. Обещал ведь о педагогике. С ней-то дело обстояло неважно. В годы, которые не я назвал расстрельными, когда каждый ощущал у своего виска или затылка дуло чекистского револьвера, мало было охотников писать педагогические тексты (даже в текстах С.Т.Шацкого в последние годы жизни сегодняшней взгляд видит силуэт пистолета, направленного на автора). А если такие и находились (а они находятся в любую чуму), то либо искренне писали тексты-доносы, либо тексты-панегрики, либо... все что угодно, кроме того, что можно хотя бы приблизительно назвать «рефлексией реальности». (М.б. они и были, но или мне не встретились – ведь я дилетант, либо писались в стол, что вряд ли.)

О том, что с педагогикой обстояло дело плохо, свидетельствует весьма интересно задуманная книга М.В.Богуславского «XX век Российского образования», в которой к каждому календарному году «пришпилены» один педагог-теоретик и одна воспитательная организация. Так вот, в 1930-1956 годы, судя по очеркам книги, тон задавали такие столпы тоталитаризма, как Н.К.Гончаров, И.А.Каиров, А.М.Арсеньев, М.А.Данилов, которые в своих трудах живописали, каким должно быть воспитание и его плод – воспитанник в полном соответствии с последними на каждый текущий момент постановлениями партии и правительства.

Вслед за академиком Струмилиным уже в 1926 г. заявившим, что «Наука (экономика – А.М.) должна быть служанкой партии» педагоги той поры (да и почти до середины 80-х г.г.) видели свою функцию в комментировании и реализации партийных постановлений.

6. Луч света! ...?

Однако именно эти самые мрачные, трагичные и подлые годы во всей нашей отечественной истории породили некое чудо, имя которому Антон Семенович Макаренко (воспитателем он работал еще до семнадцатого года, а вот как педагог-теоретик явился именно в 30-е годы). О не знавшем аналогов сочетании практической работы и рефлексии ее содержания написано немерянно, как у нас, так и за рубежом. Естественно, я читал из написанного лишь ничтожную часть (да и качество написанного нередко таково, что и оно не стоит траты времени), хотя семь томов самого Макаренко прочел, учась в девятом классе (что и определило во многом мое дальнейшее), а поскольку память тогда у меня была магнитофонная, постольку до сих пор помню из Макаренко столько, сколько ни из какого другого автора. Но сам о нем практически не писал.

Умнее, глубже и драматичнее среди всех тех, кого я читал о Макаренко, написал о нем, на мой взгляд, ныне покойный Сергей

Владимирович Кульневич в одной из глав совместной с Е.В.Бондаревской книги «Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания» (1999 г.). Он пишет о Макаренко как о безусловно тоталитарном марксистско-ленинско-сталинском педагоге-теоретике (он приводит его письма о Сталине 1928 г. со словами восторга), парадоксальность которого была в том, что он сумел «соединить принципиально несводимые понятия – коммунистический коллективизм и гуманизм» под сенью самой страшной «конторы» ГПУ-НКВД. Именно поэтому «не стоит упускать из виду, что созданная А.С.Макаренко система коллективистского воспитания была чрезвычайно гуманизированным для своего времени, но все-таки лагерным вариантом педагогики» (С.Кульневич).

Поскольку весь этот текст – заметки дилетанта, постольку и в отношении А.С.Макаренко ограничусь несколькими поверхностными и слабо между собой связанными суждениями.

Макаренко был очень не прост как человек. Об этом свидетельствуют его отношения с властью, с ее идеологией и пр. Об этом говорили и его воспитанники (я работал в детдоме С.А.Калабалина), и моя родная тетка (она была с ним знакома по писательским делам, когда он переехал в Москву), и его собственные тексты. Один пример: впервые читая его в 9-м классе я сначала пришел в восторг от «Педагогической поэмы», а потом – в сильное недоумение (но не более того) от напечатанных в том же первом томе (издания 1947 г., кажется) «Типов и прототипов». Недоумение шло от того, что ни одному из них не была дана позитивная оценка, а для большей части у автора нашлись лишь негативные.

Макаренко парадоксален как воспитатель, иначе он не стал бы тем, кем был и остался в истории воспитания.

Я с удовольствием читал повести Макаренко.

Макаренко как педагога можно изучать в самых разных и порой, как мне кажется, неожиданных аспектах и ракурсах. Попробую обозначить некоторые, хотя, может быть, не скажу ничего нового, ибо, как уже писал, читал о нем не так уж и много. Но все же рискну.

Во-первых, мне представляется, что в наследии Макаренко нет теории воспитания в таком виде, какого обычно требуют от теории, хотя имплицитно она безусловно имеет место. Вся довольно детально проработанная и прописанная методика воспитания у него концептуальна. В практике, судя по текстам и разговорам с воспитанниками, успешно, порой парадоксально, талантливо он реализовал свою постепенно формируемую методику, и у меня впечатление, что «разрывы» между методикой и практикой не только уменьшались со временем, но и изменялись по сути («смазывая», ретушируя, смягчая то, что не позволяла идеология и, как это может быть ни странно, некоторые его же концептуально провозглашаемые теоретические идеи).

Во-вторых, то, что писал Макаренко (и, видимо, во многом то, что он делал) безусловно имело определенный и солидный бек-граунд, включающий в себя идеи, как минимум, от эпохи Просвещения. Но, хотя он и писал в «Педагогической поэме», что в первую колониетскую зиму

перечитал гору педагогической литературы (а надо думать, он читал ее и раньше), я не припомню ни одной упоминаемой им в книгах и статьях фамилии предшественника. Это вполне объяснимо, ибо в любой момент могло случиться так, что упомянутого объявят врагом марксизма-ленинизма, а еще того хуже троцкистом (пусть и в душе, ежели он давно ушел из жизни). Но это ведет к тому, что авторство ряда идей, довольно широко бытовавших в русской дореволюционной педагогике, приписывается Макаренко (на что он вряд ли претендовал). Например, идеи коллективного воспитания имели «предшественников» в виде идей «товарищества», «товарищеских отношений», «духа школь», «корпоративного духа» и др. (см. статьи Г.Рокова, О.Шмидта, Е.Ельницкого и др. в журналах конца XIX – начала XX веков).

В-третьих, складывается ощущение, что многие идеи бекграунда довольно успешно реализовывались Макаренко и встраивались в его тексты, несмотря на то, что его педагогическое наследие создавалось в эпоху большевистских модернизма и конструктивизма. Но и контекст сурово корректировал идеи эпохи Просвещения в наследии Макаренко, например, гипертрофировал одну из его основополагающих идей о необходимости производительного труда, которая была актуальна для его колонии и коммуны, но им и его адептами распространялась и на общеобразовательную школу. А в школе эта идея вступает в неразрешимое противоречие с ее институциональной культурой, что и ведет к регулярным провалам попытки ввести производительный труд в ее жизнедеятельность (конечно, как и всякое, это правило знало и знает исключения, которые лишь его подтверждают).

В-четвертых, кратко скажу о том, что я назвал «жизнь после жизни». Активное и почти директивное внедрение этой педагогики в массовую школу в 40-е – 50-е, во-первых, как правило, имело в виду лишь внешние аксессуары, во-вторых, давало весьма слабый эффект из-за того, что школа (даже в тоталитарном государстве) все-таки не колония, а в-третьих, порождало, порой, таких монстров, при виде которых Макаренко сам наложил бы на себя руки.

Хотя были и противоположные весьма немногочисленные примеры: несколько позднее в середине 50-х г.г. школа-интернат – но опять же не школа – Андрея Антоновича Ганзена в Ленинграде, которая, впрочем, была довольно быстро приведена к общему знаменателю, но уже без Ганзена.

В самом конце 50-х появится так называемый коммунарский вариант проникновения идей Макаренко в практику, но о нем будет речь дальше. А вот в постсоветский период его идеи стали, порой, воплощаться просто в фантастических проектах вплоть до постмодернистских по своей сути.

7. Оставаясь под глыбами

В наступивший в середине 50-х годов вегетарианский период, по определению Анны Андреевны Ахматовой, советской истории тоталитаризм никуда не делся. Он просто стал вегетарианским, т.е. за не те мысли уже не расстреливали, хотя и сажали.

Педагогика вегетарианского периода, тоже оставаясь тоталитарной – марксистско-ленинской (слава Богу, хоть «сталинская» отвалилась), являет собой довольно пеструю палитру полутонов.

С одной стороны, очень многие педагоги-теоретики и методисты продолжали, а молодые лишь начинали, истово разрабатывать идеи коммунистического воспитания. Так, единственная из известных мне, монография под названием «Теория коммунистического воспитания» Б.Т.Лихачева вышла не в расстрельном 1937, а в достаточно вегетарианском 1974 году (+- 1-2 года). Автор и его друзья-единомышленники (в общечеловеческом понимании этого определения) В.М.Коротов, А.Ю. и Л.Ю.Гордины, хотелось бы думать, вполне искренне проповедовали весьма последовательные идеи (о методах комвоспитания и т.д.), которые, по их мнению, черпались ими из наследия А.С.Макаренко и развивали его. Я не хотел бы ставить под сомнение искренность Э.И.Монозона, который уже в 70-е годы (когда вроде бы многое многим было ясно) издал несколько книг о формировании коммунистического мировоззрения. И этот ряд имен можно длить и длить. Были попытки «очеловечить» и «модернизировать» ортодоксию – например книга Федора Филипповича Королева «В.И.Ленин и педагогика». Причем, вовсе не надо думать, что педагогика в этом аспекте как-то выделялась среди других обществоведений.

С другой стороны, некоторые педагоги, сохраняя верность идеологии в целом, в своих работах более или менее осознанно ее смягчают и даже слегка, совсем чуть-чуть трансформируют – все-таки, на дворе несколько иная погода. У меня есть сильное подозрение, что, например, мудрая и прагматичная Ольга Сергеевна Богданова стала создавать «Азбуку нравственного воспитания» в надежде, что младший школьный возраст ее «объектов» (хотя и без кавычек дети рассматривались только объектами) позволит немного уйти от ортодоксии, которая была совершенно непременна в Программе воспитания подростков и старшеклассников, разработанной под руководством Ивана Сергеевича Марьенко (абсолютно порядочным в человеческих отношениях).

Наконец, педагоги-исследователи, одни раньше, другие позже выбирали как вариант поведения уход от идеологизированных проблем (как я думаю, неосознанный и иллюзорный). Яркий пример – Галина Ивановна Щукина и ее последовательное самоограничение с какого-то времени формированием познавательных интересов школьников. Или Татьяна Ефимовна Конникова, которая углубилась в нравственное воспитание (надеясь, как я думаю, по факту заменить им коммунистическое), да и не она одна. Но! Речь-то могла идти только о коммунистической нравственности. И многое, если не все, на деле, т.е. в текстах, возвращалось на круги своя – на рельсы господствующей идеологии.

8. Из-под глыб

Вегетарианские времена «оттепели» и «застоя» породили кое-что новое как в сфере воспитания, так и в сфере педагогики.

В сфере воспитания в конце 50-х и в 60-е годы возникали, множились, менялись, исчезали, разваливались, административно закрывались относительно многочисленные воспитательные организации, создатели которых – люди неординарные – стремились сделать их жизнь совершенно не похожей на «советскую мертвечину», укоренившуюся в школах, пионерских лагерях, домах пионеров (в последних в меньшей степени) и т.д.

В школе тоже появились, а скорее прорезались такие люди. Начиная от неординарного зав. Москворецким РОНО Георгия Васильевича Гасилова, у которого рождались постоянные новации и расцветали педагоги (Эдуард Георгиевич Костяшкин создал удивительную школу для трудных у него в районе, Светлана Эдуардовна Карплина и Кирилл Николаевич Волков из окрайных московских школ сделали то, что сейчас назвали бы «гимназия» или еще как-нибудь возвышенно, Владимир Пиновский организовал чуть ли не первый в стране лагерь старшеклассников, а ведь это только те, о ком я помню).

Позднее, в 60-е – 70-е г.г. в той же Москве появляется в разное время плеяда непохожих друг на друга директоров школ (некоторые работают по сю пору) Ю.М.Цейтлин, Е.А.Ямбург, С.Р.Богуславский, Э.М.Беренштейн (в 1963 г. в окраинной Московской школе в Люблино Эдуард Михайлович создал школьный вариант «Орленка», если об аналогичной школе В.А.Караковского широко известно, то Беренштейн последовательно «уходил» от известности).

В 70-е годы мы узнаем имена С.Н.Лысенковой, В.Ф.Шаталова, М.П.Щетинина, А.А.Захаренко.

Появляются новые внешкольные воспитательные организации – от Коммуны юных фрунзенцев Игоря Иванова и пронзительно талантливой Фаины Шапиро, а также ее почти клонов в «Орленке» 63-66 г.г. и в Клубе юных коммунаров (секции – по всей стране); отрядов «Искатель» Жени Волкова в Туле, «Каравелла» Владислава Крапивина в Свердловске и Театра юношеского творчества до Клубов юных моряков, пограничников, Детских пароходств, возникают детские лесничества и даже колхозы, а также многое другое. Такое ощущение, что в стране вдруг обнаружилось очень много талантливых педагогов, фантазия которых в работе с детьми, подростками, юношами и девушками была неисчерпаема и воплощалась в самых причудливых формах (к примеру, «Снежная республика» Сталя Шмакова в Новосибирске).

В поселке Мундыбаш в Горной Шории вроде бы обычный учитель музыки по фамилии Капишников (убей, не помню имени и отчества, а ведь знал) чуть ли не всех учеников школы приобщил к пению и игре на различных инструментах, а также делает меломанами высокого класса практически всех жителей поселка, этим хитом сначала изумляются, а потом восторгаются приезжающие сюда на гастроли крупнейшие тогдашние пианисты, скрипачи и не только (мог бы назвать несколько оглушительно известных во всем мире имен, но боюсь перепутать, однако в доме моего дяди – профессора Ленинградской консерватории Натана Ефимовича Перельмана собственными ушами слышал, как его восторженные отзывы о слушателях его концертов в

Мундыбаше, так и аналогичные отзывы его весьма именитых приятелей-музыкантов, чуть ли не Эмиля Гилельса, Павла Когана и других, которых не упомянул). Интересно, как сложилась дальнейшая судьба поселка, его жителей и что стало с «дудочкой Капишникова».

В «Комсомольской правде», «Литературной газете», «Известиях» тех лет было много статей-панегириков новым людям в воспитании и их делам. А «всего-то» потребовалось убрать пистолет от виска, чтобы люди зафонтировали идеями и воплотили их в дела. Ведь партийно-государственный надзор никуда не делся.

(К слову, конечно, я не очень сведущ в конstellации новых звезд в воспитании. Но у меня такое ощущение - наверное, старческое уже - что и сегодня имена все те же. Я не один раз спрашивал и у журналистов, и у самих педагогов-практиков, кто входит в современную обойму педагогических звезд. В ответах почти не звучали новые имена – почти, потому как мог забыть какое-нибудь из названных). Кроме, конечно, блистательного Сергея Казарновского.

Повторю, что, конечно же, названные выше и, как я думаю, многие другие факты и фамилии, оставались лишь очагами нового, а в массовой практике воспитания дела обстояли совсем или не совсем радужно (это надо специально исследовать, но у нас фактически пока нет истории воспитания, ибо имеющаяся история системы образования и история педагогических идей, не охватывают истории воспитания как фрагмента социальной реальности, включающего в себя, кстати, и образование). Касаясь массовой практики, могу лишь вспомнить, что сам учился в обычной школе-новостройке около Даниловского рынка (тогда почти окраина Москвы), и у нас были обычные, очень разные, но в массе своей милые учителя. Директор – Капитолина Сергеевна Рысина, сумела сделать так, что в школе нам было вполне комфортно (прошло полвека, а я и мои друзья-однокурсники все еще помним имена ее и многих учителей, а кличек у них не было: и то, и другое кое о чем говорит).

«Оттепель», разморозив (простите за трюизм) практиков, явила педагогике новые феномены, которые надо было осмыслять. Да и сама по себе изменившаяся атмосфера подействовала на ряд педагогов-теоретиков. Появилось то, что в 1996 году я назвал нетоталитарной педагогикой (эту идею я впервые озвучил, выступая на заседании бюро Отделения философии образования РАО: меня весьма позабавила явно звучавшая обида в речах В.В.Краевского и некоторых других, вызванная тем, что я их не назвал в числе нетоталитарных педагогов).

Что понимать под нетоталитарностью? В обществоведческой литературе я не встретил ни этого термина, ни определения понятия, которое он обозначает (во всяком случае, с моей точки зрения). Мои эскерсисы на сей предмет уже не только дилетантские, но, вполне вероятно, не вполне грамотные. И тем не менее...

Нетоталитарная педагогика – это не антитоталитарная педагогика. Их объединяет, пожалуй, лишь присущее их носителям инакомыслие в условиях тоталитаризма. Антитоталитарные педагоги Русского зарубежья и неизвестные мне, но, возможно, существовавшие в

СССР, не принимали господствующую идеологию, противопоставляли ей принципиально иные педагогические взгляды, порой пытались активно с ней бороться (естественно, лишь в своих рукописных текстах и/или публикациях).

Педагоги, которых можно считать создателями нетоталитарных концепций, как я думаю, были нетоталитарными стихийно, а не сознательными противниками господствующей идеологической системы (хотя известные мне люди относились к ней весьма критично, а некоторые и не принимали ее напрочь). Поэтому они, будучи инакомыслящими, не были диссидентами. В социальной практике нашей страны в 60-е – 70-е годы термин диссидент означал не просто инакомыслие, но и антитоталитарное инакоделание, активное действие в соответствии с инакомыслием (правозащитная работа, отстаивание религиозных свобод, информирование отечественной и зарубежной общественности о нарушениях прав человека, распространение «самиздата» и «тамиздата» и т.д.).

Поэтому педагогические идеи и концепции, порожденные инакомыслием и осмыслением нетипичной воспитательной практики, но не предполагающие классической диссидентской деятельности, я считаю возможным и адекватным обозначить как нетоталитарные.

Нетоталитарность в педагогике как антитеза тоталитаризму возникла уже в 20-е годы. Отражающие ее идеи разрабатывали некоторые педагоги и часть педологов, а также удивительный человек – Моисей Матвеевич Рубинштейн. Он прожил долгую жизнь педагогического инакомыслящего и, слава Богу, умер своей смертью в 1953 г., к сожалению, мало кому известным, если не забытым. (Вопрос о предшественниках нуждается в исследовании весьма трудном, но, тем не менее, необходимом).

В «оттепель», пожалуй, самым известным педагогом из тех, кто стал проповедовать нетоталитарные идеи, стал Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970). В своих последних книгах «Сердце отдаю детям», «Мудрая власть коллектива», «Рождение гражданина» и в других он не только изложил комплекс идей, за которые был публично обвинен в проповеди «буржуазного гуманизма», но и дал довольно много оснований для того, чтобы проследить в них явную связь с этикой христианства: и то, и другое явно противоречили марксистско-ленинской педагогике тоталитаризма.

Работы, концепции некоторых педагогов застойной поры можно весьма условно обозначить метафорой – редиска, у которой, как известно, шкурка красная, а мякоть – белая. Безусловно, сами они очень бы возмутились таким сравнением, ибо они были не просто абсолютно последовательными приверженцами коммунистической идеологии, а искренними адептами ее «чистой», «ленинской версии», не «испорченной» и позднейшими «ошибками», «перегибами» и пр. Наиболее яркие из известных мне представителей этой педагогики – Игорь Петрович Иванов, а также Лев Ильич Уманский и Анатолий Николаевич Лутошкин (хотя были и другие, но либо мне неизвестные, либо не оказавшие такого

большого влияния на практику воспитания при жизни и не оставившие столь много последователей после жизни).

Концепции и И.П.Иванова, и Л.И.Уманского – А.Н.Лутошкина – редиски потому, что номинально-терминологически в них идет речь о воспитании коллективизма и индоктринации коммунистических лозунгов и стоящих за ними ценностей, но суть их – в создании условий для развития и самореализации воспитанников. Это концепции, внешне вполне вписывающиеся в тоталитарную педагогику, которая, тем не менее, «верхним чутьем» улавливала их неототалитарную сущность и не принимала в «свои ряды» Иванова и почти не замечала Лутошкина и Уманского.

Можно назвать и других педагогов, идеи которых в той или иной мере имели нетоталитарный характер (а наверняка были и такие, о которых никто или мало кто знал) – всех их надо бы серьезно осмыслить. Я же кратко скажу лишь о моем учителе – Людмиле Ивановне Новиковой.

За свою долгую жизнь исследователя Л.И.Новикова создала свою научную школу, в которой было разработано довольно много теорий и концепций, в которых более или менее успешно предлагались решения очень существенных проблем воспитания (правда, ни оба Минпроса, кроме Л.К.Белянской, ни оба ЦК понятия не имели, что с ними делать).

В середине 60-х годов Л.И.Новикова создает лабораторию «Коллектив и личность», которая в течение около двух десятков лет заполняла «лакуну», случайно образовавшуюся во всеобщем «сне разума, рождающем чудовищ», получившем позднее название «застой». В этой «лакуне» создавались концепции, которые вполне можно определить как нетоталитарные.

То, что создавать такие концепции стала лаборатория Л.И.Новиковой – вряд ли случайность. Уже ее состав был своеобразным. Старшее поколение: Илья Борисович Первин – учился в школе-станции НКП у З.Н.Гинзбург, прошел войну, фашистский и советский лагеря; Александр Тимофеевич Куракин – мальчишкой начал войну в морской пехоте и прошел войну на передовой; Маргарита Дмитриевна Виноградова – дочь репрессированного. Мы, тогда младшее поколение – Валя Максакова (ныне профессор), Толя Буданов, Наташа Селиванова (ныне член-корреспондент РАО, руководитель Центра проблем воспитания, который создала Л.И.Новикова) и я – с одной стороны, дети оттепели, с другой – работавшие в известных воспитательных организациях (в «Орленке», в детдоме Калабаллина, в школе Цейтлина), с третьей – достаточно реалистично, а значит критически-скепично и, что касается меня во всяком случае, довольно цинично смотревшие на все происходящее вокруг нас. Но и старших, и младших объединяло то, что нам было интересно делать то, что мы делали, а Людмила Ивановна не только создавала атмосферу постоянного интереса к делу, но и особые человеческие отношения, а также позволяла нам не делать то, что нам категорически не нравилось. А главное – она была по-настоящему умна, талантлива и человечна.

Концепция традиционно понимается во многом как синоним теории – система взглядов, то или иное понимание явления

действительности. Но в этом тексте мне более подходит определение философов С.С.Неретиной и А.П.Огурцова: «Концепция связана с разработкой и развертыванием личного знания, которое в отличие от теории не получает завершенной дедуктивно-системной формы организации и элементами которого являются не идеальные объекты, аксиомы и понятия, а концепты – устойчивые смысловые сгущения, возникающие и функционирующие в процессе диалога и речевой коммуникации».

Спецификой лаборатории Л.И.Новиковой было в том числе и то, что практически все ведущиеся в ней исследования подвергались многократному обсуждению как на заседаниях, так и, еще чаще, в кулуарах, а также дома у Людмилы Ивановны, Александра Тимофеевича Куракина и других сотрудников. Поэтому в любой подготовленной диссертации или книге в той или иной мере присутствовали «устойчивые смысловые сгущения», возникавшие в процессе диалога. Причем, не всегда в том виде, в котором они высказывались, а нередко как антитеза предложенным в диалоге концептам или их большая или меньшая трансформация.

Если даже бегло обозреть работы, выполненные в лаборатории за рассматриваемый период времени (приблизительно 1965-1984 годы), то за редким исключением (а таковые все же встречались – например, была диссертация про пост № 1 у Вечного огня), они имели нетоталитарный характер, не укладывались в общепринятые идеологические стандарты. Несколько примеров: групповая работа и коллективная познавательная деятельность (М.Д.Виноградова, И.Б.Первин, Н.Л.Селиванова), общение как фактор воспитания школьников и воспитание личности школьника в коллективе – обеспечение субъектности, помощь в самоосознании, самоопределении, самореализации (А.В.Мудрик), коллектив старшекласников и самоопределение личности (К.В.Вербова, И.А.Карпюк), развитие самосознания старшекласников в коллективной жизнедеятельности (К.Г.Митрофанов), старшекласники как субъекты клубной работы (В.В.Полукаров), микрогруппы в коллективе подростков (А.В.Буданов), развитие индивидуальности подростка в коллективе (В.И.Максакова), развитие общительности в коллективе (Л.М.Пикова) и др.

Концепция воспитательного коллектива является типичным и наиболее завершенным примером нетоталитарной теории среднего уровня, а точнее теории среднего радиуса действия (по Р.Мертону, в смысле объема той сферы социальной реальности, к которой относится эта концепция). Определять как нетоталитарную позволяет ряд основополагающих положений этой теории:

- коллектив – цель воспитательных усилий лишь на стадии его создания, а главное его предназначение – быть средством воспитания личности;

- коллектив – средство нивелирования человека лишь в аспекте приобщения (подтягивания до минимального уровня) его к общественной культуре, а главное его назначение – стать средой и инструментом развития индивидуальности;

- коллектив – не только база накопления социального опыта его членами, но и арена самовыражения и самоутверждения личности;

- коллектив – сложное социально-педагогическое явление: открытая и автономная система, обладающая неоднородным полем интеллектуально-морально напряжения, включающая в себя микрогруппы различной направленности, в которой складываются формализованные и неформализованные отношения, могущие иметь различный характер (гуманистический, асоциальный и нейтральный).

Самое поверхностное сопоставление этих положений (а они не исчерпывают концепции) с теми, которые содержались в подходах к коллективу, предлагавшихся в документах, монографиях, учебниках, показывает их альтернативность, а, следовательно, в данном случае нетоталитарность.

Очень любопытна и, думаю, показательна постсоветская судьба названных выше нетоталитарных концепций. Грубо говоря, о них забыли (кстати, кроме наиболее внешне идеологичной – ивановской). Вернее, правильнее будет сказать, забыли упоминать тех, кто их разрабатывал, потому что сами идеи «пошли в ход», да еще как. Начало положила т.н. Переделкинский манифест «педагогике сотрудничества», в котором каждый тезис имел автора (Шаталова и т.д.), и лишь «личный подход» болтался бесхозным (ну не могли авторы переделкинского манифеста признать, что эта идея не их, а раскрыта в моей брошюре). Именно она получила широчайшее хождение среди педагогов-теоретиков, которые, как и практики, нередко путали и путают личный подход и индивидуальный. А весь пласт идей, связанных с созданием условий для развития личности и помощи ей в самоопределении и прочем, пустили по департаменту педагогической поддержки (даже такой серьезный исследователь, как Григорий Борисович Корнетов, говоря о педагогике поддержки, от Роджерса перескакивает к педагогической поддержке, появившейся у нас в стране не ранее самого конца 1993 г., игнорируя и Сухомлинского, и концепции школы Новиковой).

9. Поле брани остается...

(место заключения)

У Анджея Вайды поле битвы остается мародерам. В постсоветской педагогике не все так однозначно.

Практика воспитания претерпела огромные изменения благодаря довольно краткому министерству Эдуарда Дмитриевича Днепров, который раскрепостил школу и учителя (хотя, как и во времена великих реформ Александра II, далеко не все «крепостные» этому а) обрадовались, б) этой свободой воспользовались). Больше я про это ничего не скажу, ибо у всех это еще в памяти (замечу лишь, что независимо от того, проявляли или не проявляли творчество те или иные учителя, они, несмотря на нищенскую оплату, которую еще и подолгу не выплачивали, совершили, на мой взгляд, подвиг, в тяжелейших условиях выучив и выпустив в жизнь основную массу учеников 90-х годов).

В педагогике, которая тоже была освобождена от идеологического пресса, в конце 80-х – в 90-х годах появляются,

проявляются, расцветают новые идеи, новые подходы, новые концепции и т.д. Противоречивые, может быть радикальные, непоследовательные и даже сумбурные.

То было, как сказал бы Юрий Тынянов, время промежутка, родовая черта которого – смена школ одиночками или иногда, рисковно добавить я, стаями.

Но и в практике, и в ее рефлексии, т.е. в педагогике, на мой взгляд, преобладали институциональные стереотипы, которые сохранялись либо осознанно, либо имплицитно. В практике главным было сохранение технократизма воспитания в целом и содержания образования в школе в частности, а в педагогике – его обоснование и оправдание в якобы модифицированных концепциях. И практика, и педагогика все-таки скорее имплицитно (что ничего не оправдывает) сохранили метастазы тотального нигилизма, свойственного советской и досоветской культурам, которые, спустя всего лишь десятилетие, пошли вширь и вглубь и в системе воспитания, и в педагогике.

В конце 80-х и особенно в 90-е годы самой многочисленной частью педагогов-теоретиков, методологов (они ведь тоже в педагогике имеются), методистов – стали те, кого я условно назвал каскадерами. Это те, кто моментально или довольно быстро совершил кульбит от коммунистического к гуманистическому тренду. Для этого им понадобилось лишь срочно забыть одно слово – коммунистическое и научиться выговаривать другое – гуманистическое (вроде как поменять в голове кассету с одним набором звуков на кассету с другим набором). Суть их идей, концепций, работ от этого, как правило, не менялась. Очень забавно в списках трудов весьма маститых персонажей обнаружить первым труд, изданный в 1992 году, а человек, например, уже в 1960 г. был доцентом. «Где деньги, Зин?» Все просто: первая работа, в названии которой есть слово «гуманистический» появилась лишь в 1992 году, а в названиях большинства работ (числом, порой, две-три-четыре сотни), изданных до того, непременно присутствуют слова «коммунистической-ое-ая», «идейно-политический», «идейно-нравственный», «военно-патриотический» и тому подобные.

Другую часть педагогов-теоретиков и др. я условно называю транзитеры. Это, во-первых, те, кто до середины 80-х годов объяснял нам, что западная педагогика реакционна, а школа – плоха, и вдруг стал страстно доказывать обратное (ушам своим не поверил, когда впервые столкнулся с таким «транзитом из ада в рай» одного из ныне покойных членов РАО).

Во-вторых, к транзитерам я отношу тех, кто, игнорируя такие феномены как ментальность, архетипы, традиции и пр., добивается бездумного переноса на нашу почву результатов социально-культурных конвенций, в процессе формирования которых нас (исторически сложившейся общности в России), что называется, и рядом не стояло.

Масштаб этого варианта транзитерства весьма различен. От объявления основным понятием педагогики «образования» вместо «воспитания», что, якобы, очень улучшит межкультурную коммуникацию, и до замены идеи «воспитать человека», со времен Н.И.Пирогова бывшей,

пусть и эфемерным, фоном отечественных педагогических штудий, на прагматичное «подготовить работника», что, якобы, потребно современной экономике (что есть примитивизм и неправда в одном флаконе, как свидетельствуют зарубежные исследования).

А вот и еще одна категория педагогов – условно клерикалы. В педагогике всегда работали специалисты по атеистическому воспитанию – младшие братья и сестры специалистов по научному атеизму. И те, и другие срочно переквалифицировались в религиоведов. Очень скоро к ним стали присоединяться и даже бороться с ними совершенно неожиданные персонажи, ранее в боголюбии не замечаемые.

Одним из трендов, в том числе и в педагогике, стали сначала стенания об утраченной духовности (которая, видимо, в советское время ну просто зашкаливала), а затем и о возрождении таковой желательно в рамках триады графа Уварова (православие – куда только деть 20% мусульман, не говоря уже о прочих инородцах; самодержавие – очевидно, в виде суверенной демократии, тандемократии или чего еще экзотичного; народность – а уж тут...).

Ныне не писать про духовность – признак дурного тона и даже, не побоюсь этого слова, злостного диссидентства вольтерьянского разлива. Читать то, что пишут о духовности даже довольно умные из пожилых и достаточно начитанные из молодых, оставшихся в педагогике, грустно.

Именно эти неопиты играют первую скрипку в реализации заказа РПЦ и приказа чиновников о клерикализации воспитания и школы в первую очередь. Введение нового предмета – основы религиозной культуры – только начало, очень непроработанное, топорное и компрометантное. Объективно, как мне кажется, решение о новом предмете должно изумлять, ибо напрочь игнорирует всю отечественную, да и не только, историю.

Хотя на самом деле все объяснимо. Принимая решение, высшие чиновники изображают из себя неопитов, которые, как водится, «святей римского папы», и при этом просто не знают истории (у меня, правда, большое сомнение относительно министра Фурсенко – сдается мне, что он ведает, что творит, утомившись от прессинга с разных сторон, и понимает заведомую провальность так называемого эксперимента).

А про священноначалие РПЦ, пролоббировавшее это решение, можно сказать, перефразировав слова князя де Линя про реставрированных на троне после войны 1812 года Бурбонов, что оно все забыло и ничему не научилось. (Сам я, будучи с детства агностиком, весьма позитивно отношусь к религиозному возрождению и отрицательно – к клерикализации.)

Наконец, те, кого я называю мародерами. Они весьма многообразны.

Есть терминологические мародеры. Мне как-то пришло письмо из Новосибирска от весьма там известного персонажа по фамилии Руденский. Он благодарил меня за то, что в моей книге встретил термин социально-педагогическая виктимология (которую я разрабатываю с конца 80-х годов как отрасль знания о жертвах неблагоприятных условий

социализации), и наконец-то понял, как следует называть то, что он разрабатывает (он уже издал кучу книг и даже журнал с «найденным» названием). В свое время так же поступил немецкий педагог Ноль, определив социальную педагогику как науку об ущербных. Хотя еще жив был классик Пауль Наторп, согласно которому социальная педагогика имеет своим объектом всех граждан страны. Думаю, что Руденский не одинок, а всего лишь искренне простодушен. Другими примерами терминологического мародерства можно считать самые различные трактовки «воспитательного пространства» (авторы – А.Т.Куракин и Л.И.Новикова), «педагогическая инноватика» (автор – С.Д.Поляков) и др.

Есть мародеры иного склада. Так, некоторые психологи спокойно переписывают у педагогов их идеи, определения понятий, классификации, не упоминая источники (они справедливо полагают, что психологи и коллег-то не очень читают, а педагогами просто брезгают).

Конкретный пример из собственного опыта. Когда в 70-е годы я изучал проблему диалогов в общении школьников и предложил их классификацию, это мало кому было интересно. А вот когда к 90-м годам диалог стал одним из мейнстримов в психологии и педагогике (во всяком случае, про него много писали) психологи Е.И.Исаев и его титульный соавтор в своем учебнике воспроизвели мою классификацию, но, забыв упомянуть ее автора. О подобных заимствованиях рассказывали коллеги-педагоги (покойный Х.Й.Лийметс, Б.М.Бим-Бад, В.А.Сластенин и др.).

Но самое массовое явление – переписывание кусков, нередко по несколько страниц текста, из диссертаций, статей, монографий и даже учебников. Мои аспиранты и докторанты, вынужденные много читать по исследуемой ими проблеме, утверждают, что это типичное явление и для педагогов, и для психологов.

Весьма распространенное мародерство навело меня на мысль о том, что в педагогике (а думаю и не только в ней, но и во многих отраслях знания) вклад того или иного исследователя надо оценивать не только, а может быть и не столько по индексу цитируемости, принятому за границу, сколько по придуманному мною индексу списываемости (т.е., чем больше у тебя списывают, тем больше твой вклад в ту отрасль знания, в которой работаешь).

Мародерство – проблема трудная для решения. Одну из причин обозначил Станислав Ежи Лец: «Плаггиаторы могут спать спокойно. Муза – женщина и редко признается, кто был первый.»

Этот пассаж важен не только в связи с плагиатом-мародерством. Клио – муза-покровительница истории (а это заметки про историю) не просто женщина, но еще изрядно ветренная особа, а порой ведет себя как последняя шлюха. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на ее объективность в тех или иных исторических ситуациях (современное восприятие в относительно образованных слоях населения Александра II, Барклай-де-Толли, Витте – лишь наиболее явные примеры ее капризности и необъективности). Вряд ли госпожа Клио согласится с моими субъективными заметками по истории педагогики советского периода. Впрочем, у меня не было задачи в чем-либо убедить ее. И я не считаю и потому не напишу, «нас рассудит история».

Можно выделить еще один (самый опасный, с моей точки зрения) вариант развития нынешней педагогики – появление теоретиков-фашизоидов. И в периодике, и в Интернете, а также в виде брошюр и монографий открыто, а также более или менее латентно пропагандируются идеи, которые одобрили бы самые мрачные мыслители, политики и душегубы прошлого. Не буду конкретизировать, чтобы не нарваться на судебные иски.

И, наконец, в последние пять-семь лет появились те, кого я называю реконструкторами. Это те, чья тоска по прошлому (которое они могли и не застать из-за молодости) все более и более настойчиво проявляется в текстах. Опять модно писать о военно-патриотическом воспитании так, как будто ни в мире, ни в стране ничего не изменилось за последние четверть века. Многие из тех, кто лучшие годы жизни потратил на теоретизирование по поводу идейно-политического, идейно-нравственного и т.п. воспитания, с азартом стали писать о духовно-нравственном воспитании.

И таких становится все больше и больше. Они рекрутируются и из среды молодых исследователей, и из числа каскадеров, и даже из части транзитеров, не говоря уже о фашизоидах. Эта явная или латентная тоска по тоталитарной педагогике – знамение последних лет. Вопрос в том, надолго ли? Не знаю. Но очень хочется, чтобы пророческими оказались слова Ю.Тынянова «Еще ничего не было решено». Или уже?



Эдуард Бормашенко

Ошибка вышла, вот о чем молчит наука

כ"ט

"Что же такое мудрость?

*Ограничение всеведения
и всемогущества".*

С. Лем, Записки всемогущего.



начала шестидесятых годов компьютерщики пугают нас искусственным интеллектом. Пока еще устрашающий кадавр на свет не появился, хотя компьютер и выиграл у чемпиона мира по шахматам. А почему искусственный разум еще не наслаждается этим моим текстом? Ведь компьютерные чипы считают сегодня значительно быстрее, чем самый тренированный ум, а объем электронной памяти давно превысил возможности мозга. В книге С. Роуза "Устройство памяти. От молекул к сознанию" (ее легко найти в свободном доступе в сети) я наткнулся на любопытное предположение: человек пока умнее компьютера, потому что умеет ошибаться. Моя память постоянно ошибается, ибо мозг работает "не с информацией в компьютерном понимании этого слова, а со смыслом и со значением... смысл подразумевает динамическое взаимодействие между мною и цифрами, это процесс, который несводим к количеству информации" (С. Роуз). Компьютерные мозги безошибочны, они ничего не забывают; мои все время ошибаются (память сбоят), но они работают по-другому, и ошибка - неустрашимый элемент мышления. Это соображение мне показалось очень серьезным, и я попытался его поковырять глубже.

В самом деле, все значимые научные и философские системы содержали грубые противоречия, что не мешало им быть плодотворными (см. Б. Рассел "История Западной Философии"). Алхимики в поисках философского камня разработали технику химического эксперимента; астролог Кеплер, походя, открыл законы небесной механики. Ньютонова физика включала в себе представление об абсолютном пространстве, которое сегодня кажется вздорным, но успехи механики неоспоримы; ошибочная концепция эфира не помешала Максвеллу написать гениальные уравнения электромагнитного поля, нет смысла множить примеры. Таким образом, от науки и философии следует ожидать не безошибочности и непротиворечивости, а плодотворности и

продуктивности. Америка была открыта в результате картографической ошибки.

А. Воронель как-то обронил: "парадоксальная природа реальности". Парадокс (внутреннее противоречие) заложен в строении природы. Если так, то каким должен быть разум адекватный природе? Человеческий ум силен не безошибочностью, а способностью переваривать одни ошибки и порождать новые, более плодотворные. Парадоксальный, несовершенный человеческий разум более адекватен парадоксальному и несовершенному миру, чем непогрешимые электронные мозги компьютера. Компьютер туп в своем совершенстве. Рациональное отнюдь не синоним безошибочного. В той же мере совершенное, будучи человеческим совершенным, не синоним непогрешимого.

Несовершенство встроено в мир. Если бы нам предстоял совершенный мир, он был бы непознаваем. Мы понимаем мир, потому что наш грешный разум ему сродни. Но мы ищем совершенства, всякий раз нам кажется, что до него рукой подать. Падение Ньютоновой механики, кризис основ математики осознавались катастрофой, сходящей на нет, как и прочие научные катаклизмы с вымиранием ученых, веривших в то, что когда-то им открылась Истина. Окончательной теории всего, Б-г даст, не будет. Для безошибочности необходимо всеведение, а оно человеку не дано, и потому, как говорил С. Лем: "мудрость есть ограничение всеведения".

Язык, как всегда, умнее нас; мы говорим: ошибка вышла. Откуда вышла? Оттуда же, откуда вышло правильное решение. Профессиональные заклинатели языка, куда как терпимее к своим промахам. У Куприна ель дрожит всеми своими листочками. У Достоевского встречается круглый стол овальной формы. Когда классика ткнули носом в этот ляпсус, он, подумав, сказал корректору: оставьте, как есть, правильно рассудив, что безошибочность не всегда приличествует литературе.

Человек ведь мыслит не только мозгом, он мыслит всем телом. Я покушал, попил чайку, в моем кишечнике выделился серотонин, и мой эмоциональный строй враз переменялся. Это не слишком романтично, но это так. Не случайно Аристотель размещал душу и разум в сердце, а еврейские мудрецы в почках и кишечнике. Спусковым крючком, запустившим "Поиски утраченного времени", было воспоминание о вкусе пирожного "Мадлен", полюбившегося Прусту в детстве. Нелепо требовать от больного, жалкого человеческого тела безошибочности, но тело знает неведомое силиконовому чипу.

Задумаемся о роли мутаций (ошибок в строении ДНК) в биологии. Без мутаций не было бы вовсе никакого развития. Жизнь всегда ошибается; безошибочна, всегда права смерть. С ней не поспоришь.

В физиологии и медицине есть принцип: судить о функции по дисфункции. Иными словами, правильное функционирование организма

может быть понято из анализа его сбоев, ошибок. Эта идея положена в основу фрейдовского анализа оговорок и описок.

Удивительный пример бережного отношения к мнениям, признанным впоследствии ошибочными, доставляет Талмуд. Талмуд приводит и мнения мудрецов, не ставшие в дальнейшем галахой, постановляющим решением. Противоречащие друг другу мнения школ Гиллеля и Шама были признаны словами Б-га живого.

Иудаизм, вообще, видит и мир и человека несовершенными, подлежащими исправлению. Конечно, лучше не падать, но падения, ошибки (обратим внимание на родство ушиба и ошибки) почти неизбежны, надо знать, как подниматься. Опасаться следует бессмысленной жизни, и не стоит стремиться к жизни безошибочной.

Воспитывая ребенка, мы инстинктивно следим за тем, чтобы он не падал. А надо бы учить его подниматься после неизбежных падений. Жизнь прожить, не расквасив носа, невозможно.

У Бориса Слуцкого есть изумительные строки:

Слепцы походкой осторожной
Идут дорогой непреложной
И не сойдутся ни на шаг.
А я сбивался, ошибался,
И так, бывало, расшибался,
Что до сих пор звенит в ушах...

Лет в четырнадцать я разбирал с родителями приключившуюся со мной неприятную ситуацию. У нас была очень дружная семья. В этот раз я удивил отца и мать, сказав: я поступил неверно, я ошибся. Но я сделал *мою* ошибку, и потому, сожалея о случившемся, я кое-чему научился. И впредь я собираюсь совершать *свои* ошибки. Родители удивились и смирились. Расхожая мудрость гласит, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Это пошлая чепуха; никто еще на чужих ошибках ничему не научился. Истина претендует на универсальность, ошибка чаще всего индивидуальна. Она спонтанна, непредсказуема и потому жива. Мераб Мамардашвили говорил: живой пошутит по-иному, напишет другую книгу; добавим: ошибется по-иному.

Есть ошибки, в которых таится смерть; в безошибочности таится безжизненность. Абсолютно правильные черты лица – безжизненны.

Разбор ошибок вызывает самое человеческое чувство – смех. Человечество не погибло от того, что компьютер стал систематически бить чемпионов мира по шахматам. Опасаться следует того момента, когда компьютер расскажет смешной, уместный анекдот.

Знание не есть исчерпывающая информация. Талант физика сродни таланту карикатуриста. И тому и другому необходимо схватить существенные черты реальности, величественно пренебрегая деталями. Если теоретику удалось зацепить и пришпилить к бумаге длинный нос и толстый зад природы – его модель-шарж удалась. Экспериментатору

никогда не известны все факты, он должен научиться вылавливать в их море главное и навязать природе свой личный порядок предпочтений, который завтра непременно изменится. Всем, работающим в науке, известно это чувство: какой же я вчера был идиот; как же я мог так нелепо ошибиться и не заметить элементарного?

Экспериментатору знаком и соблазн записать «ошибочную», выламывающуюся из графика точку, поближе к мирно пасущемуся вокруг гладкой кривой стаду данных. Только настоящие искусники знают, что эта ошибочная точка подчас больше говорит о сути явления, чем послушное стадо. Функцию следует изучать по дисфункции.

Конечно, ошибка - ошибка рознь. На третьем курсе Университета в качестве курсовой работы мне досталась задача о фотографировании быстро движущегося объекта. Эта задача знаменита тем, что при ее решении ошибся Эйнштейн. А я вот решил ее правильно. У меня началось легкое головокружение от успехов. Слава Б-гу, я быстро подавил бурно развивавшуюся мегаломанию, сообразив, что ошибка Эйнштейна интереснее моего правильного решения. Эйнштейн и вообще спокойно относился к собственным ошибочным работам. Все печатали ошибочные работы. И все работы, не сводящиеся к таблице умножения, когда-нибудь окажутся ошибочными. Наверняка содержит и ошибки и это эссе, остается надеяться на их продуктивность.

Евгений Михайлович Лифшиц в одном из писем сказал: наука погибнет не от того, что ученые печатают ошибочные работы. Ошибочные работы всегда были, есть и будут. Наука погибнет, оттого что люди публикуют работы, в которых нет ничего нового. Именно это и происходит, потный вал научного вдохновения обрушивается на редакции научных журналов. Проще простого пропихнуть в журнал (даже солидный) гладенькую, аккуратную, безошибочную статейку, не содержащую ничего нового. На по-настоящему прорывные работы редакторы косятся; еще бы, трудно не ошибиться, когда пишешь поперек линованной бумаги. Свеженький пример: Nature отверг работу, за которую Гейм с Новоселовым затем получили Нобелевскую Премию.

Не печатал ошибочных работ только Джозайя Уиллард Гиббс. Этот феноменальный ум публиковал только безупречно правильные работы. Правда, он в основном занимался своеобразной областью знания – термодинамикой. В отношении термодинамики справедлив блестящий афоризм Мартина и Инге Голдстейнов: "термодинамика, имеет, что сказать обо всем на свете, но никогда не говорит, всего о чем-либо". Велика все-таки и плодотворна мудрость ограничения всеведения.



Андрей Алексеев

Корни и ветви

В помощь пишущим о предках и о себе самом/самой:
«эстафета памяти» и два примера семейной хроники

1. ТЕОРИЯ: ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ



се большее количество людей ныне задумываются над своими «корнями» и осознают себя в качестве «веточек» генеалогического древа. Некоторые обращаются и к собственной, частично прожитой, жизни как предмету саморефлексии и осмысления. Тем, кто захотел «остановиться, оглянуться», могут пригодиться эти заметки.

Биографический дискурс: акт общения, отображение реальности и изъятие себя (заметки об «эстафете памяти»)

Автору хотелось бы представить читателю как единый цикл тезисы девяти докладов, произнесенных на различных научных конференциях за последние 15 лет..

(1) Семейная ценность и семейная память (к постановке вопроса)[1]

1. «Семейная ценность» – термин, пока не обретший научного статуса в науках о человеке. В это понятие мы вкладываем ту составляющую материально-духовной среды или экологии человека, которая позволяет личности идентифицировать себя в качестве представителя определенного рода (родов) и звена в цепи семейных поколений. Принципиальное значение здесь имеет именно осмысление, осознание соответствующих материальных или информационных объектов в качестве семейной ценности, т.е. наличие ценностного отношения личности к ним.

2. Существенным для понимания специфики феномена **семейной ценности** является вычленение в ценностном сознании субъекта особой сферы или слоя – назовем это семейной памятью. Этот слой нередко оказывается весьма тонким (говоря попросту – «короткая семейная память»). Скажем, человек является обладателем вещи, доставшейся ему от предков, но не знает «истории» этой вещи. Или: человеку неизвестно, кто же из его старших родственников изображен на фотографии, хранящейся в семейном альбоме.

3. Личностное осознание субъективной значимости объектов – носителей фамильной ценности сплошь и рядом приходит к человеку достаточно поздно, когда старших уже нет в живых, и «спросить не у кого». Устные биографические рассказы родителей стираются в памяти детей, в свое время не придавших этому значения. Порой полученная младшими от старших информация трансформируется в «семейное предание» (не поддающееся проверке).

4. В последнее время усилился интерес к биографическим методам в социологических, культурологических, этнографических исследованиях. Мемуарный, «житийный», документальный жанры становятся все более популярными в литературе и публицистике. При этом делается упор на историко-культурной ценности соответствующих текстов. Хочется, однако, подчеркнуть экзистенциальную значимость фамильной ценности и семейной памяти для конкретных лиц, которые, при незрелости интереса к своему происхождению, своим корням, часто оказываются в положении «Ивана, не помнящего родства».

5. Автору этих строк довелось консультировать составление ряда «семейных хроник». Их инициаторами были уже немолодые люди, осознавшие свою ответственность за сохранение памяти о своих предках для своих потомков. Это оказалось достаточно трудной задачей. Следует заметить, что работа эта оказалась бы куда более эффективной, если бы была предпринята составителями семейных хроник в более молодом возрасте.

6. Во всякой семейной хронике обычно представлены два пласта информации. Первый – «генеалогическое дерево» и хотя бы минимум информации о предках, которых пишущий хронику в живых уже не застал. Здесь он опирается на сохранившиеся документальные свидетельства и рассказы старших. Другой пласт – личные впечатления и воспоминания, относящиеся в первую очередь к собственным родителям. Здесь возникает особая проблема моральной ответственности за сохранение информации, которой располагает только данный индивид и которая исчезнет невозвратно, если не будет транслирована младшему поколению.

7. Заслуживает постановки вопрос о воспитании в младших поколениях не просто «уважения к старшим» и «заботы о стариках», а внимания к ним, в частности, как к носителям семейной памяти. В идеале не старшие, а младшие должны быть инициаторами того, чтобы эта память не оказалась утраченной. Способы культивирования фамильной ценности могут быть самыми разнообразными (включая современные технические средства). Но общение поколений должно включать ценностно мотивированный запрос младших на семейную память.

8. Представляется необходимой пропаганда сохранения личных архивов в семьях. Здесь не идет речь об архивах «выдающихся людей» (которые имеют шанс получить государственное хранение и т.п.). Не только фотографии, но и всевозможные документы, письма, иногда – дневники, любые письменные свидетельства, оставшиеся от покойных, заслуживают сбережения детьми, внуками. К сожалению, материальные ценности ныне наследуются куда охотнее, чем ценности, имеющие

духовное значение. Отношение к последним часто оказывается варварским.

9. В заключение отметим, что проблематика, обозначенная в настоящих тезисах, пока не стала предметом специального научного рассмотрения, в частности, в социологии и культурологии. Здесь необходимы и теоретические анализы, и эмпирические исследования.

Как нам представляется, понятия **фамильной ценности и семейной памяти** поддаются операционализации в практике массовых опросов и систематических наблюдений. В целом вырисовывается комплексная – культурно-историческая, гуманитарно-экологическая и междисциплинарная – научная проблема.

Февраль 1998

(2) Дневник, письмо и статья как соотносительные формы коммуникации [2]

1. В структуре процесса человеческой коммуникации традиционно выделяются: субъект – источник коммуникации; содержание коммуникации; ее форма; ее средства (знаковые, технические, институциональные и др.); адрес (субъект, которому коммуникация адресована); эффекты. Коммуникация осуществляется в определенном контексте (ситуации, среде – социальной, исторической, культурной и проч.). Если коммуникация является целевой (т.е. субъект преследует цель, в которой «отдает себе отчет»), можно говорить об эффективности коммуникации (в смысле соответствия результата цели). Различают личную (адресованную вполне определенному, персональному адресату) и массовую (адресованную анонимной аудитории) коммуникации, аксиальную («осевую») и ретиальную («сетевую»), монологическую и диалогическую коммуникации. Существуют и иные классификации процесса.

2. Здесь не станем углубляться в вопросы теории коммуникации и общения, где вышеуказанные понятия фигурируют в разных соотношениях и используются в построении разных социальных моделей. Сосредоточимся на индивидуальной коммуникации (т.е. такой, где субъектом-источником выступает индивид, личность, лицо) и в частности на фундаментальном различении ее возможных адресов.

Таковыми адресатами могут быть: сам субъект – источник коммуникации (коммуникация самому себе); другое лицо (индивид, личность); аудитория (другие лица, группа, общность). Будем называть первый случай коммуникацией самому себе, второй – **коммуникацией другому лицу** и третий – **коммуникацией для других**.

3. От этих общих определений перейдем к рассмотрению конкретики вербальной коммуникации личности, в частности коммуникации, воплощенной в письменном тексте. Здесь для каждого потенциального адреса может быть усмотрен «классический» тип текста, характеризующийся своими содержательными и формальными особенностями, используемыми средствами, а также иными параметрами. Назовем эти типы: дневник (коммуникация самому себе); письмо (коммуникация другому лицу); статья (коммуникация для других).

4. Сначала некоторые «очевидные» черты и определения. **Дневник** по преимуществу монологичен; это аксиальная коммуникация; дневник сугубо личностен, импровизиационен; он может быть насыщен фактами («записная книжка»), переживаниями, размышлениями («ауторефлексия »); может быть регулярным или эпизодическим, воспроизводящим последовательность событий («хроника») и отражающим движение чувств или хода мысли («поток сознания»). Можно далеко продолжать перечисление вариаций. Принципиальным для нас является то, что дневник в любом случае обращен главным образом к самому себе, в этом его смысл и «организующее начало».

5. **Письмо** тоже лично и, как и дневник, есть аксиальная коммуникация; оно может содержать фактическую и эмоциональную информацию; письмо может быть сугубо «информационным», «исповедальным» или «поучающим»; оно может быть посвящено обстоятельствам собственной жизни и жизни другого или других, а также обсуждать вовсе не личные обстоятельства; как правило, письмо «реактивно», т.е. откликается на предыдущие сообщения адресата («переписка»); оно может быть «целевым » и «бесцельным» (совершенно спонтанным); письмо *par excellence* – это разговор, оно не монологично, а диалогично (т.е. рассчитано на реакцию собеседника). Вот в этой диалогичности и состоит его (письма) принципиальная особенность, проистекающая из специфики адреса: другое лицо.

6. **Статья** – наиболее условное из использованных нами выше обозначений «эталонных» типов текста. Ибо «коммуникация для других» может иметь множество ипостасей, среди которых, например, почти все жанры делового, журналистского, научного сообщения. Такая коммуникация адресуется аудитории – иногда специфизированной, иногда массовой. В ней (статье) особенно ярко выражена целевая функция и по необходимости минимизирован личностный момент. Здесь не меньшее разнообразие вариаций, чем в предыдущих родах письменных сообщений. Достаточно сказать, что художественная (литературная) коммуникация (в различных отношениях антинормативная – будь то деловой, будь то научной) есть тоже «коммуникация для других». Но для целей последующих типологических сопоставлений нам удобна именно «статья».

7. Является ли наша систематизация «адресов» человеческой коммуникации полной, их перечень (на данном уровне обобщения) – конечным? Нет. Ибо возможна еще коммуникация не «к себе», не «к другому» и не «к другим», а к некоей «надчеловеческой» сущности: коммуникация «к Богу», «к Высшему существу», «к Универсуму»; именно индивидуальная, по субъекту-источнику, коммуникация, но апеллирующая к чему-то или к Кому-то, кого (чего) или нет, или есть, но Он (оно) принципиально непостижим (непостижимо).

Да и в рассмотренных ранее формах коммуникации могут присутствовать элементы такого трансцендентного общения: обращение к умершему или к еще не родившемуся, к «предкам» или к «потомкам». Само по себе адресование «к человечеству» может иметь общие черты с молитвой, обращенной к Небу.

8. Нами выделены и обсуждаются три «формы» индивидуальной (субъект-источник), вербальной (знаковые средства), письменной (материальный носитель) коммуникации, принципиально различающиеся по своему адресу (себе; другому; другим), обозначенные (по избранным для нашей модели «эталонным» типам текстов) как дневник, письмо и статья. Более или менее понятна специфика этих категорий текстов. (Вышеприведенные характеристики далеко не являются исчерпывающими.) Но самым интересным и перспективным – для последующего анализа – является прояснение взаимосвязей, взаимопереходов и взаимодополнительности этих форм.

9. Можно предположить, что здесь имеем дело с системной триадой (в смысле Р.Баранцева) [3], поскольку каждый из вышеназванных концептов, по-видимому, соотносим (разумеется, не жестко и не однозначно!) с тем или иным элементом универсального семантического архетипа: интуицию (дневник), эмоцию (письмо), рацию (статья). В таком случае, исследование соотносительности всех трех форм становится не узко предметной, а философской, эпистемологической задачей.

10. И логически, и исторически письмо является, по-видимому, «праформой» индивидуальной письменной коммуникации. Оно зарождается как закрепленное в «письменах» личное послание, впрочем, очень рано совмещающееся (переплетающееся) с посланием «также и» к другим, а в пределе – «ко всем, кто его прочитает», не сегодня, так в будущем. Вместе с тем, это также есть само-выражение, а стало быть – хотя бы в потенциале – присутствуют и элементы самокоммуникации. Вообще человек – существо общественное, и его обращение к себе невозможно без осознания себя как «одного из» себе подобных. Отсюда, кстати, приоритет диалога над монологом – не только «логически», но и «исторически» оправданный.

11. При ближайшем рассмотрении не только в «письме» могут быть обнаружены элементы как «дневника», так и «статьи» (напомним про условность нашей терминологии!). Но и в любой из названных форм индивидуальной письменной коммуникации можно усмотреть – актуально представленные или потенциально мыслимые – черты остальных. Иначе говоря, понятия «перетекают» друг в друга.

По-видимому, правомерно выделение типов-«кентавров»: письмо-дневник; письмо-статья; статья-дневник. Здесь не станем приводить известные примеры, которыми богата история культуры.

12. Особенно интересно совмещение «имманентных» черт всех трех форм индивидуальной коммуникации в конкретном тексте, иногда приобретающее достоинство синтеза. При этом обычно форма специфична, а содержание универсально. Например, исповедальное открытое письмо, или дневник, который субъект не требует уничтожить после своей смерти, или статья, вроде «Дневника писателя» Ф.Достоевского. Вообще говоря, такие синтетические жанры особенно распространены и сознательно используются в художественной литературе, публицистике, философии. Однако и в обыденной дневниковой и эпистолярной практике можно встретить как синкретизм, так и синтез всех трех форм.

13. Наконец, существует опыт овладения механизмом такой взаимосвязи форм индивидуальной письменной коммуникации, когда, например, человек, пишущий письмо конкретному лицу, делает это также и «для себя» или/и отдает себе отчет в том, что его личностное послание может обрести также и других читателей. Или: человек пишет дневник или письмо, сознавая, что потом он «перепишет» это как статью. (Интересно, что невозможно обратное движение: лишнее подтверждение того, что «обращение к другим» вырастает на базе обращения к другому или к себе, а не наоборот.)

14. Нам известно немного примеров сознательного взаимодополнения и совмещения форм дневниковой, эпистолярной и «статейной» (научной и проч.) коммуникации. К таким примерам безусловно относится феномен А.А.Любищева (1890–1972), общекультурное значение которого еще далеко не полностью осмыслено, однако, благодаря усилиям его младших современников, имеет шанс стать одним из «услышанных» посланий человечеству в XXI век.

15. Автор настоящих тезисов полагает, что в теории индивидуальной письменной коммуникации – в намеченном здесь аспекте – пока еще непечатый край работы. Но стоит ли «дождаться», пока такая теория будет построена, а затем станет достоянием социологических или психологических учебников? В дневниковом и эпистолярном наследии как «великих», так и «рядовых» людей (кстати, ставшем в последнее десятилетие предметом все возрастающего общественного внимания) нам видится как богатейшее поле для исследования, так и сокровищница коммуникативного опыта, черпать из которой – и «без учебника!» – может каждый.

Апрель 1999

(3) Эстафета памяти. Ресурсы, нормы и эффекты автобиографического повествования [4]

Целью настоящих заметок является общая постановка вопроса о таком специфическом моменте повседневной жизни современного человека, который можно метафорически определить как **эстафета памяти**.

1. Порождение автобиографических повествований (нарративов), создание и накопление «историй жизни» и «семейных хроник», по нашему убеждению, есть задача не только гуманитарно-научная, но и общекультурная. В конечном счете, это задача продления памяти человечества – ее сохранения не «на скрижалях истории», а в мельчайших «капиллярах» и «клеточках», в самой толще социальной жизни. Названная задача далеко не вполне общественно осознана, во всяком случае эта работа пока не вошла в повседневный быт и культурный обиход семей и граждан. Люди привыкли жить «сегодняшним днем», иногда они «планируют будущее», однако редко «оглядываются назад» и сплошь и рядом не осознают свой собственный жизненный путь как некую культурную, духовную, социальную ценность.

2. Общая постановка вопроса: «человек – это прежде всего его собственная жизнь» – в терминах еще «донаучных» содержится в одном

из наших текстов 1983 г. [5] Попытку концептуализации и обоснования категорий *фамильная ценность* и *семейная память* см. в нашей работе 1998 г. [6]

За последнее десятилетие научная работа по сбору и анализу «историй жизни» и «биографий семей» получила плодотворное развитие в ряде исследовательских центров Москвы, Киева, Санкт-Петербурга (здесь эти центры и их труды не перечисляем.)

3. Автобиографическое повествование (АП) выступает одной из естественных форм презентации жизненного пути и «объективации» памяти, прежде всего – индивидуальной памяти, без которой не может быть и «памяти коллективной». К названному типу текстов примыкает жанр *самодетельных семейных хроник (СХ)*, где с большей или меньшей степенью подробности представлены жизненные пути всех членов многопоколенной семьи в их переплетении. В дальнейшем будем говорить в основном об автобиографическом повествовании, хотя все сказанное может быть отнесено и к *семейной хронике (биографии семьи)*.

4. Рассмотрим сначала вопрос о ресурсах, или источниках, АП. Здесь можно выделить три основные группы ресурсов «истории жизни»:

а) **личный** (соответственно – **семейный архив**, в широком смысле, – включая всю совокупность документальных материалов, «жизненных свидетельств», как личностных, интимных, так и официально-публичных, относящихся к данному индивиду (семье);

б) **живая память** ныне здравствующего человека («память о своей жизни, о своей семье»);

с) **память других** – о данном человеке или людях (ныне здравствующих или покойных); она может быть как «живой», так и документированной.

5. К разряду личностных документов относятся любые тексты, отражающие факты поведения и сознания данного, конкретного человека, причем отражающие их – иногда «специально», иногда (чаще) «попутно», т.е. без сознательной установки на фиксацию таковых фактов. К ценнейшим документам такого рода относятся: *дневники* (ныне – едва ли не культурный реликт!); *письма* (как собственные письма данного индивида, так и, пожалуй, в не меньшей мере, адресованные ему); *фотографии* и другие изобразительные материалы, а в последнее время также – любительские аудио- и видеозаписи.

Весьма информативным источником или ресурсом АП (СХ) являются также «официальные» документы, особенно такие, где сам субъект жизни выступает автором (копии листков по учету кадров, «служебные» автобиографии, обращения в официальные органы и т.п.), но также и адресованные данному человеку или посвященные ему (от метрического свидетельства до профсоюзного билета или пенсионной книжки).

6. К сожалению, «*рядовой человек*», не сознающий историю собственной жизни и жизни тех, с кем он повседневно общается, как культурную ценность, плохо сберегает эти «жизненные свидетельства». А отношение его потомков, наследников к этим «следам» прожитой жизни порой является просто варварским. В итоге документированная память

(личный архив) нередко оказывается еще менее долговечной, чем «живая».

7. Ресурсы АП конечны. «Живая память» субъекта, разумеется, хранит впечатления, «воспоминания» (часто избыточные абберациями, связанными с последующими «напластованиями» жизненного опыта). Однако чем дальше во времени - тем меньше точность и достоверность биографической информации (если она не может быть подкреплена документами).

8. Здесь возникает проблема как личной ответственности человека за сохранение «себя» (в случае СХ – всех членов семьи) во времени, так и – особенно – ответственности младших поколений за сбережение памяти о старших. Дети еще кое-что помнят о своих родителях, а уж о родителях родителей (если не застали их в живых), а тем более о прадедах – не больше того, что написано на кладбищенском кресте (если хоть он цел).

Процесс «истирания» памяти в конечном счете неизбежен, но, как правило (в частности в нашем обществе, пережившем трагедию ее уничтожения), довольно слабо развита общекультурная установка на «торможение» этого энтропийного процесса.

Можно понять тех наших старших современников, которые в суеете буден не оставили детям писаной истории своей жизни (или намеренно «оберегли» своих детей от «опасной» информации из семейного прошлого, как это часто случалось у наших отцов и дедов). Однако сегодня становится уже непростительным, если человек не рассказал, не записал, не зафиксировал (для своих детей, внуков) хотя бы минимума биографической информации о своих родителях: ведь после их смерти он зачастую оказывается единственным живым носителем этой информации. И когда он сам уйдет, взять ее будет почти неоткуда.

Как видно, проблема автобиографического нарратива и семейной хроники является также и моральной проблемой.

9. Конечно, работа ученых, записывающих «истории жизни», журналистов, проводящих «конкурсы биографий», вообще – всякие институциональные усилия запечатлеть уходящее время (эпоху) «в точке пересечения биографии и истории общества» [7] имеют общекультурное значение. Однако остается проблема сохранения «памяти о жизни» каждого человека. А это уже может быть решено не накоплением АП и СХ в исследовательских архивах и т.п., а только – развитием и распространением культуры создания таких «историй» и «хроник» в каждой семье.

Автобиографическое повествование (писанное самим субъектом жизни или записанное с его слов), равно как и семейная хроника, в принципе должны стать элементами нашего жизненного обихода, что, по-видимому, потребует специальной просветительной работы. Необходимо воспитание в людях – и культуры жизнеописания как такового, и культуры сбережения личных архивов (прежде всего в семьях), и «культуры памяти» вообще, как неотъемлемого элемента цивилизованного общества и личности.

Понятно, что такая социокультурная программа реализуется не скоро, но надо хотя бы ее сформулировать.

10. Обозначим некоторые нормы автобиографического повествования. Здесь выдвинем три «постулата», равно относящихся как к письменному, так и к устному АП:

а) Постулат **фиксации семейных корней**. Всякая «история жизни», для какой бы цели она ни создавалась, должна включать генеалогическую информацию – столь подробную, насколько это под силу автору данной истории. При том, что о предках рассказать больше некому, субъект повествования должен сделать это – в силу культурно-нравственного императива, отмеченного выше (для семейных хроник указанный аспект выдвигается на передний план).

б) Постулат **внятности биографического текста**. «История жизни» может быть: краткой или развернутой; «объективной» или эмоционально окрашенной (насыщенной); выстроенной хронологически или тематически, или еще как-либо иначе. Но субъект должен позаботиться о тех, кто его услышит или прочитает. В АП должны быть по возможности четко обозначены узловые точки «жизненной траектории» (что, где, когда...), хотя бы приблизительно датированы жизненные события. Важно, чтобы у воспринимающего этот текст не возникло неясностей (разве что сам повествующий намеренно опускает нечто важное, чего-то не хочет сообщать). (Семейные хроники требуют внимания к четкому определению степеней родства; желательно построение генеалогического дерева, что требует минимального обучения.)

в) Постулат ценности «истории жизни». Конечно, хорошо, если инициатором фиксации «воспоминаний о жизни» выступает близкий носителю биографической информации человек, младшие члены семьи или профессионал-исследователь. Однако пусть даже человека (обычно это человек пожилой) никто к этому особенно не побуждал – он должен «убедить себя» или принять а priori, что его жизненная история (семейная хроника) нужна, что она может быть востребована не сегодня, так завтра, близкими или далекими, знакомыми или не знакомыми ему людьми.

Допустим, «заказчика» на АП (СХ) сегодня нет. Можно в таком случае посоветовать всякому, особенно человеку в преклонном возрасте, поискать и своевременно назначить своего «душеприказчика» – такого, которому он может «оставить» писаную историю своей жизни (а тот – сохранит) или рассказать (а тот – запишет и т.д.). Также желателен выбор конкретного «душеприказчика» и для личного архива, даже совсем небольшого. (И это вовсе не обязательно должен быть наследник имущества, материальных ценностей.)

АП и СХ являются интеллектуальной собственностью, заслуживающей «наследования». Пусть для этого нет юридических, но вполне возможны культурные, нравственные регламенты.

11. Нашу постановку вопроса о сбережении памяти можно было бы иллюстрировать множеством примеров, имея в виду прежде всего деятелей науки и культуры. Архивы некоторых из них (включая дневниковое, эпистолярное наследие), в силу разных исторических и

личных обстоятельств, порой бывали безвозвратно утеряны. Но немало и счастливых примеров, когда личный архив (а не только опубликованные мемуары!) сохранился и сберегается в полном объеме и порядке.

Последнее чаще имеет место, когда сам человек хоть как-то позаботился (имел возможность позаботиться) об этом, а его родственники, друзья, ученики, режиссеры – государство, в свою очередь, приложили к тому старания. Здесь стоит заметить, что иногда усилия частных лиц по сохранению конкретных личных архивов оказываются поистине героическими.

Подчеркнем, однако, еще раз, что сбережения заслуживает память о любом человеке, а не только об «исторических личностях»! И простейшим и универсальным способом сохранения памяти оказывается написанное самим человеком жизнеописание (или зафиксированный техническими средствами биографический рассказ, или хотя бы конспективная запись, вручную, с его слов). Хорошо, если кроме «живой памяти» при этом использовались также и иные источники.

12. Для того, чтобы сами по себе АП и СХ стали нормой нашего культурного обихода, нужна работа по научению и пропаганде «биографической деятельности». Ныне в популярной литературе наблюдается бум «учебников жизни»: как строить отношения в семье, на работе и т.д., как «достичь успеха» в жизни и т.п. Но отсутствует практика наставлений, как сделать память о себе (и других людях) культурным достоянием (не обязательно – всеобщим, пусть ограниченными рамками семьи в нескольких поколениях; чтобы осталось от человека не только посаженное дерево или надпись на могильной плите).

13. Обратимся к вопросу об эффектах автобиографического повествования (семейной хроники).

Одна группа эффектов уже была обозначена выше, назовем их **культурными**: сбережение памяти о конкретном человеке (людях, роде), прежде всего – в семье, как той клеточке общественного организма, где эта память в принципе имеет наибольший шанс сохраниться (а биографический или хроникальный документ – стать семейной реликвией, наряду с обычно сберегаемыми, но редко датируемыми фотографиями).

Другая группа эффектов – **воспитательные** «истории жизни» и «биографии семей» – не дидактический материал, но «доподлинное», воплощенное в них знание о жизненных путях старших (включая тех, кого младшие «не застали»). Такое знание несет в себе мощный воспитательный заряд. И это «педагогическое» воздействие может оказаться куда более эффективным, чем навязчивые попытки со стороны старших научить молодых – «как жить» (от которых те зачастую – и порой справедливо! – отмахиваются).

И третья группа – это такие эффекты АП (СХ), которые не всегда замечаются, но почти всегда присутствуют: **ауторефлексивные**. Всякий человек рано или поздно (и не однажды на протяжении жизненного пути!) задумывается о собственной жизни. Один – с горечью или тревогой, другой – с «сознанием исполненного долга», третий – для того, чтобы «себя понять» или решить, «как жить дальше»,

четвертый – сравнивая свой жизненный путь с судьбами других членов рода.

14. О последней (третьей) группе эффектов – чуть подробнее. Жизненная ауторефлексия может быть не спонтанной, не ситуационной, не подспудной, а – систематической, универсальной и осознанной. И «история собственной жизни» есть повод или основание или стимул – для «размышления о жизни».

При этом у автобиографического нарратива часто возникает особый, психотерапевтический эффект. Ибо в итоге «воспоминаний о жизни» человек, как правило, имеет возможность убедиться, что все же «не зря жил» (или «не зря живет»); а если не все в жизни «удалось» («удаётся»), то, оказывается, он сделал (делает), «что мог» («что может»).... Сожаление же об утраченных возможностях, будучи «выговорено», меньше берedit душу.

(Конечно, возможна и обратная ситуация: «...и с отвращением читая жизнь мою...» Поэтому, при отсутствии живого собеседника, может быть, лучше ограничиться «сухим» изложением фактов.)

Так или иначе, особенно в пожилом возрасте, особенно при побуждении со стороны – не к импульсивному (и обычно истирающемуся из памяти слушателей) воспоминанию – автобиографическое повествование (семейная хроника), тем более при уверенности в том, что оно будет востребовано, может стать смысложизненным занятием, поддерживающим жизненные силы и даже «целительным», лучше иных лекарств.

15. Как видно, наша постановка вопроса выводит субъекта биографического нарратива или семейной хроники из положения объекта или – «всего лишь!» – источника информации, для культурно-исторических, социологических и т.д. штудий. Последняя цель, конечно, существенна. Но не следует забывать о самоценности АП (СХ), как одного из способов самовыражения, самопознания и самоутверждения личности.

16. Итак, не для того лишь нужны «истории жизни» и «биографии семей», чтобы их потом анализировать и обобщать («реконструировать эпоху», познавать ее «в человеческом измерении» и т.п.). Жизнеописание (иногда вырастающее в «размышление о жизни») есть шанс для всякого человека продлить «себя» (или «себя и других» – для случая СХ) – если не в веках, то в десятилетиях – в памяти индивидуальной, семейной, коллективной. Это простейшая, самая доступная (доступная практически каждому, хотя иным людям нужна помощь, причем не обязательно профессиональная) форма кристаллизации жизненного опыта и жизненного самоотчета (имея в виду АП).

17. Естествоиспытатель и краевед С.Н. Поршняков (1889–1982), именем которого назван краеведческий музей в г. Боровичи (Новгородская обл.), формулировал в своем «духовном завещании», написанном в 1942 году, такую заповедь: «Умение итожить опыт своей жизни – по периодам и этапам (говоря языком исследователей – умение “камеральничать”)...» [8].

Если жизнь человека сравнить с исследованием (каковым она в ряде отношений и является), то автобиографическое повествование может рассматриваться как способ подведения «промежуточных» или «предварительных» жизненных итогов. А это необходимо и самому человеку, и тем, кто «придет на смену». И ценность таких повествований не уменьшается, а прирастает с ходом времени.

18. В заключение повторим однажды сказанное: «человек – это прежде всего его собственная жизнь...» А **история жизни** (автобиографическое повествование, семейная хроника) есть не просто ее (жизни) конспективное отображение, но и особый способ отложенной во времени коммуникации поколений и духовного преодоления природных границ индивидуального человеческого бытия.

Автор этих строк убежден, что письменная «эстафета памяти» («память до востребования») нуждается в осмыслении: и как культурная задача общества, и как нравственный императив личности.

Ноябрь 2000 – февраль 2001

(4) Что такое и зачем нужны «протоколы жизни» [9]

Verba volant, scripta manent [10]

«Рассказы о жизни» ныне стали широко распространенным методом в социальных и исторических исследованиях. Биографические нарративы порождаются либо в устной беседе (фокусированное или неструктурированное интервью), либо пишутся самим субъектом жизни по заказу исследователя. Все более частым становится научное использование также и инициативно написанных мемуаров.

Все это документы биографии и истории – ценнейшие. Однако они являют собой всегда опосредованную позднейшим жизненным опытом субъекта жизни (не говоря уж об естественных ошибках памяти, равно как и о нечаянных и намеренных акцентировках и умолчаниях) вторичную реконструкцию, ретроспективу жизненного пути. Далее: это документы времени, но какого? Ясно, что больше нынешнего, чем минувшего. Это – современные свидетельства о прошлом.

Разумеется, исследователь пытается идентифицировать и сепарировать соответствующие психологические и культурные напластования, как бы расшифровывает (декодирует) «человеческий документ» - с учетом его «многослойности» и в соответствии со своими собственными задачами. Иногда социологам и культурологам это удается.

Иначе обстоит дело с «первозданными» личностными документами, каковыми являются, в частности, дневники и письма. Разумеется, и в них аккумулирован жизненный опыт автора, но только предшествующий, и существенно влияние «господствующих мыслей» эпохи, но только тогдашней. Поэтому при работе с документами такого рода исследователю приходится учитывать (делать поправку на...) только их «непосредственную» (а не «приумноженную» или многоступенчатую) субъективность и культурно-историческую обусловленность.

Цель настоящей работы – рассмотреть одну из специфических форм дневника как имеющую историко-культурное значение и ценность,

с одной стороны, и как некую нестандартную социологическую практику – с другой. Но сначала несколько общих теоретических соображений.

I

<...> [11]. Дневник есть имманентная и, можно сказать, универсальная форма аутокоммуникации, способ оперативного отображения личностью (для себя самой!) внешних и внутренних событий своей жизни. Эти события неизбежно вплетены как в жизнь непосредственного окружения пишущего, так и в «жизнь историческую». Во многом в силу этого дневник может приобрести и иногда приобретает (независимо от намерений автора) смысл «послания» (другому лицу) или «свидетельства» (для других) – как биографии, так и истории. Но об этом чуть позже.

Каковы «собственные» черты дневника как коммуникации самому себе? В отличие, скажем, от «письма» (которое, как правило, предполагает реакцию адресата, и постольку диалогично), дневник по преимуществу монологичен (по форме). В отличие от «статьи» (в которой личные моменты, как правило, элиминированы), дневник чаще всего сугубо личностен.

Формы дневника <...> чрезвычайно многообразны. Здесь нет каких-либо жанровых канонов или ограничений. Личный дневник может быть насыщен фактами, переживаниями, размышлениями, может быть регулярным или эпизодическим, воспроизводящим последовательность событий («хроника») и отражающим движение чувств или ход мысли («поток сознания»). Несмотря на видимую монологичность, дневник есть форма общения или *диалога с самим собой* [12]..

<...> Попытаемся все же как-то «упорядочить» чрезвычайно разнообразие форм и воплощений дневниковой практики. Представляется возможным выделить три типа дневника:

а) **«дневник души»** (дневник в традиционном и, пожалуй, узком смысле слова, сугубое «общение с самим собой», причем на первый план выходят личные переживания и самоанализ; такой дневник обычно аутоисповедален);

б) **«дневник духа»** (в котором личное «я» отходит на второй план, а дневник оказывается своего рода копилкой символов, образов, мыслей и «лабораторией» творчества; часто это «сырье» для будущих произведений);

с) **«дневник факта»** (где главный упор делается на «внешних» событиях жизни, а личные переживания и размышления отсутствуют либо сведены к минимуму).

Как и в представленной выше типологии индивидуальной письменной коммуникации (дневник, письмо, статья), здесь имеем дело с «идеальными типами». В реальной дневниковой практике описания событий обычно перемежаются впечатлениями и размышлениями; имеет место если не синтез, то синкретизм типов. И все же всякий дневник «тяготеет» к тому или иному типу.

Здесь сосредоточимся на случае *дневника факта*, а точнее – на особой его разновидности.

...Конечно, человек может вести такие записи исключительно для себя – так сказать, «для памяти»: что когда произошло, с кем встретился, что предпринял, иногда – расписание дел, встреч и т.д. на будущее (так называемый ежедневник). Но в принципе возможна и иная – дополнительная, а иногда и выходящая на передний план – цель: фиксация событий частной жизни «на стыках» с жизнью общественной, в тех точках, где та и другая «пересекаются». То есть целевая установка на фактографию в *контексте данного исторического времени*.

Тогда оказывается, что человек ведет эти записи как бы для себя, но по существу – и *не только для себя* (вариант совмещения коммуникации самому себе и другому или для других). Здесь хочется вспомнить известное замечание А.С. Пушкина, засвидетельствованное А.Н. Вульф: «Непреренно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться» [13]. В этой спонтанной формуле выражена суть предмета нашего обсуждения.

Для такого рода дневника уместно использовать термин «протокол». Данную разновидность «дневника факта» будем называть *протоколом жизни*.

Попробуем выявить некоторые особенности текстов такого рода путем рассуждения «от противного»: укажем сначала на то, чем «протокол жизни» заведомо не является, несмотря на некоторые внешние сходства и параллели.

1. Это – не хроника общественной жизни. Личности (если, конечно, она не ставит перед собой такой профессиональной, «мониторинговой» задачи) вовсе незачем конкурировать, скажем, со СМИ (выступающими сегодня многосоставной и полифонической «летописью современности»), «протокол жизни» отображает только те социальные (возможно, мелкие и частные) события, эпизоды, в которых субъект жизни лично участвовал, был если не действующим лицом, то хотя бы очевидцем. В таком случае этот «протокол» приобретает характер жизненного свидетельства, тем, прежде всего, и ценного, что оно есть свидетельство непосредственного участника или наблюдателя.

2. Вместе с тем «протокол жизни» – это не сугубо личный документ. Здесь неуместны интимные подробности индивидуальной жизни. В этой разновидности дневника факта отражаются лишь такие «происшествия», которые, по мнению автора, представляют интерес и *для других*, – «чтобы могли на нас ссылаться» (если кому-либо когда-либо зачем-либо это понадобится).

В таком случае это документ также и – изначально! – *общественный*. (Вообще говоря, «хорошо увиденное частное может всегда считаться общим», как отмечал Гёте).

3. И, наконец, «протокол жизни» (как явствует из самого термина) – это вовсе не «мемуары», не «ретроспекция», не отложенное во времени описание или реинтерпретация, а именно протокол, который ведется в ходе *события* или составляется по его «горячим следам». Это *первичный*, а не вторичный документ личности и времени, «не замутненный» последующими напластованиями индивидуальной субъективности и влияний социокультурной среды.

И еще несколько замечаний (уже не «от противного»).

4. «Протокол жизни» – это своего рода тематизированная регулярная или эпизодическая *жизненная хроника*. Ее можно вести в утилитарных целях – фиксируются некие «реперные» события, ситуации, чтобы потом учесть в последующих собственных действиях. Это может быть и способ информирования других людей об обстоятельствах своей жизни, представляющих для них интерес. Иногда присутствует и понимание культурно-исторической значимости жизненного свидетельства.

5. В зависимости от характера события (событий) или сложившихся обстоятельств, сам протоколист выступает главным героем (или одним из главных) – если тот в описываемой ситуации активно действует, или же его персона отходит в «протоколе» на второй план – если он является только наблюдателем, свидетелем.

6. Наконец, «протокол жизни» есть оперативное и более или менее преднамеренное отображение случившегося не вообще, а «в точке пересечения биографии и истории» (выражение Ч.Р. Миллса) [14].

Подведем предварительные итоги.

«Протокол жизни» – будь то за определенный период времени, будь то относящийся к отдельному событию – это *первичный личностно-общественный документ*. Он есть *актуальное свидетельство очевидца или действующего лица* (актера), выступающего наблюдающим участником драмы собственной жизни (всегда вплетенной в общественную, и – в пределе – в «мировую драму»). В нем находит преимущественное отражение то, что случилось с человеком «*в точке пересечения биографии и истории*». «Протокол жизни» сочетает элементы коммуникации самому себе, другому и для других, т.е. оказывается *многоязычным посланием*.

II

Первая попытка постановки вопроса о *протоколах жизни* как особой форме коммуникативного (а в рассматриваемом ниже случае – еще и исследовательского) опыта предпринята автором этих строк на рубеже 1970-х – 1980-х годов, когда им был задуман натурный эксперимент (одновременно профессиональный и жизненный). Эксперимент начался с инициативного перехода социолога из научного института на завод в качестве рабочего (1980). На протяжении ряда лет велось исследование производственной жизни изнутри, «глазами рабочего».

В отличие от традиционного в эмпирической социологии метода включенного наблюдения был разработан и опробован метод *наблюдающего участия*, предполагающий «исследование социальной среды через целенаправленную социальную активность субъекта, делающего свое собственное поведение своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследования» [15].

Естественно, понадобился поиск или выбор адекватных способов фиксации как «фоновых» наблюдений, так и собственных действий в конкретной социальной ситуации и их (этих действий) последствий на экспериментальном поле. Поскольку жизнь и

исследование здесь практически совмещены («исследование жизнью» или «сама жизнь как исследование»), автор определил свой полевой дневник как *протоколы жизни*.

Автоцитата из дневника того времени [16]:

«Три цвета “протокола жизни”»

2.01.80. Жанр этих записей – не исповедь, не проповедь, не эссе, даже не дневник, но – протокол. Протоколы жизни...

Записи дифференцированы. Написанное красным карандашом будет иметь более или менее прямое отношение к специфической ситуации «включенного наблюдения», в которую поместил себя протоколист, сменив работу в институте на работу на заводе. Написанное синим карандашом будет касаться всего остального, заслуживающего сохранения в качестве фактов и соображений, имеющих не сугубо личный интерес. Это – тоже своего рода протокол включенного наблюдения, но с «расширенным полем», каковым является вся область соприкосновений субъекта с действительностью. Наконец, написанное зеленым (или простым) карандашом будет относиться к обстоятельствам жизни и переживаниям, являющимся сугубо личными...

Что касается синих и красных страниц, то они имеют смысл жизненных свидетельств. Критерием для их отбора является пока затруднительная для обоснования уверенность автора во все возрастающей культурно-исторической ценности свидетельств индивидуального жизненного опыта.

Вполне вероятно, что сам по себе протокол жизни окажется самоорганизующейся системой, создающей свои правила и подчиняющей себя ей же самую выработанным правилам. За исключением гениев, многое из того, что человек оставляет после себя, чуть лучше или чуть хуже, чуть раньше или чуть позже, оказывается, сделано и другими людьми. Только протокол собственной жизни уникален, как сама жизнь. <...> [17]

Здесь надо сказать, что социологу-экспериментатору вскоре стало тесно в рамках даже такого свободного, лишь чуть структурированного протокола. Еще не успевший устояться жанр «полевого» дневника довольно быстро сменился «письмами-дневниками-отчетами» друзьям (коллегам), насыщенными не только социальными фактами, но и субъективным отношением к ним, включая личные переживания и размышления [18].

...Но вот в середине 1980-х довольно очевидное «инакодействие» актора в сочетании с не столь очевидным инакомыслием (в его «письмах...») дало повод для вмешательства государственной организации, призванной пресекать и то, и другое. На предъявленные ему политические обвинения социолог-испытатель, пережив кратковременный шок растерянности, ответил «необходимой самообороной». Тогда-то жанр «протоколов жизни», как бы поневоле, и кристаллизовался.

При продолжении эксперимента (теперь уже не только в производственной сфере) понадобилось отслеживать множество встреч, бесед с должностными лицами (сотрудниками правоохранительных

органов, партийными функционерами, работниками общественных организаций), фиксировать всевозможные санкции социальных институтов по отношению к испытуемому и его реакции на эти санкции (и наоборот – собственные инициативные «акции» и институциональные реакции на них). Причем важно было обеспечить, чтобы эти записи, если и попадут (в результате очередного досмотра или обыска) в руки к «оппонентам», – не вызвали новых нареканий.

Выход один – строгий *протоколизм*: кто что сказал, сделал, когда, при каких обстоятельствах, кто присутствовал, и т.п. Никаких оценок, минимум комментариев, «голые» факты (впрочем, «красноречивые»). Авторское отношение к «событиям» – только в подтексте (или контексте). <...> [19]

К сожалению, дневниковая активность современного человека (хоть в экстремальных, хоть в рутинных ситуациях) куда слабее активности мемуарной. Соответственно, и использование *первичных* личностно-общественных документов, актуальных свидетельств действующего лица или очевидца события (будь то историческое событие, будь то «частный» жизненный эпизод), в современной гуманитарно-научной практике заметно уступает использованию документов *вторичных*: воспоминаний, «рассказов о жизни», биографических интервью и т.п.

Как уже отмечалось, в любых мемуарах неизбежны и естественные aberrации памяти, и авторская реинтерпретация, и мощная «иррадиация» социального сознания, социокультурных стереотипов уже *нынешней*, а не минувшей эпохи. В отличие от дневника, «воспоминания» несут на себе «двойную нагрузку» субъективности и так или иначе мифологичны.

Было бы, конечно, наивно ожидать, что кто-либо станет *на протяжении всей жизни* вот так «сканировать», скажем, свое взаимодействие с социальными институтами (хоть в утилитарных целях, хоть в исследовательских, хоть следуя некоему культурно-нравственному императиву). Однако бывают и максималистские примеры ответственности человека перед собой и перед временем. И те «протоколы жизни», которые уцелеют, впоследствии станут ценным культурно-историческим свидетельством (безотносительно к «важности» эпизода или «масштабу» личности автора).

Можно предположить, что бурно развивающаяся ныне «всемирная сеть» (в которой, кстати, часто происходит совмещение диалога с самой собой, другим и другими) будет способствовать выработке *массовой* культурной привычки «описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться». Но наверняка это наступит не так уж скоро.

Апрель 2003

Литература

[1] Тезисы доклада на межвузовской конференции «Экология социально-антропологических процессов» (Санкт-Петербург, март 1998). Впервые опубли.: Дом человека (экология социально-антропологических

процессов). СПб.: Институт биологии и психологии человека, СПбГУ, 1998.

[2] Тезисы доклада на XII Любичевских чтениях (Ульяновск, апрель 1999). Впервые опубли.: XII Любичевские чтения. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 2000. Вошли в кн.: *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. В 4 т. Т.1. СПб., 2003. С.299-303.

[3] См.: *Баранцев Р.Г.* Системная триада – структурная ячейка синтеза // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1988. М., 1989; а также другие работы этого автора.

[4] Тезисы доклада на международном семинаре «Жизненные повествования: методы и социокультурные реальности» (Киев, 30.11 – 01.12.2007). Впервые опубли.: XIII Любичевские чтения. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 2001. См. также: Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2001. №4). Вошли в кн.: *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т.2. СПб., 2003. С.471-477.

[5] *Алексеев А.Н.* Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего). В 2-х кн. Кн.1. М., 1997. С.292-294.

[6] *Алексеев А.Н.* Семейная ценность и семейная память (к постановке вопроса) // Дом человека Указ. изд. См. также раздел (1) настоящей работы.

[7] *Миллс З.Ч.* Социологическое воображение. М., 1998. С.6.

[8] *Поршняков С.Н.* Завещание (то, чего желаю в жизни вам, – из достигнутого и не достигнутого мною за 55 лет моей жизни). 1942. Рукопись. – Архив Ю.А. Щеголева (СПб.).

[9] Сокращенный текст доклада на первых Чтениях памяти В.В. Иофе (Санкт-Петербург, апрель 2003). Впервые полностью опубли.: Право на имя: биографии XX века. Биографический метод в социальных и исторических науках: Чтения памяти Вениамина Иофе. 18–19 апреля 2003. СПб., 2004. См. также: Время/бремя артефактов (социальная аналитика непоправимости). СПб., 2004. Вошел в кн.: *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т.3. СПб., 2005. С.51-58.

[10] Слова улетают, написанное остается (*лат.*).

[11] Здесь опущено обоснование модели трех типов индивидуальной коммуникации: *самому себе, другому лицу, другим людям* (аудитории), в основном повторяющее сказанное в тексте 2: Дневник, письмо и статья как соотносительные формы коммуникации (см. выше).

[12] См.: *Пигров К.С.* Дневник: общение с самим собой в пространстве тотальной коммуникации // Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации. СПб., 1998.

[13] См.: А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1974. Т.1. С.416.

[14] *Миллс Ч.Р.* Социологическое воображение. Указ. соч. С.16.

[15] *Алексеев А.Н.* Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего). Указ соч. С.16.

[16] Цитирование позволит сэкономить на «ученых» рассуждениях и, кстати, пояснить соотношение «протокола жизни» и иных видов дневника, как автор себе это соотношение представляет.

[17] *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т.1. Указ. изд. С.89.

[18] См.: Там же (главы 2 и 3).

[19] Здесь опущены приводившиеся в полном тексте доклада примеры «протоколов жизни» («записей для памяти»), принадлежащих как автору этих строк, так и другим лицам. См., в частности: *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 2. Указ изд. С. 105-111, 120-123, 137-142, 143-156, 200-207, 254-261, 262-277, 278-286 и др.

(5) Многообразие писем и полифункциональность письма [1]

Название этого доклада навеяно воспоминанием о давней работе В. Голофаства – «Многообразие биографических повествований» [2]. В сущности, всякий подступ к предмету исследования начинается с выделения его из всего многообразия реалий мира и с констатации разнообразия его (этого предмета) собственных форм.

Наш предмет здесь – *письмо* (будем говорить также – *послание*), под которым будем понимать определенную форму человеческой коммуникации, к специфике которой (формы) относятся:

а) пространственно-временная *разделенность* участников коммуникации (в отличие от наличия или актуальной возможности непосредственного контакта между субъектами общения);

б) более или менее четко обозначенная *адресованность* сообщения определенному лицу или кругу лиц, а если к анонимной аудитории – то с прямым обращением (апелляцией...) к целевой аудитории;

в) вытекающая из (а) необходимость фиксации сообщения на некотором материальном носителе, который может перемещаться в пространстве и сохраняться во времени.

Уже эта первая попытка охарактеризовать наш предмет обнаруживает высокую степень разнообразия в его рамках. К примеру, интервал между отправкой и получением сообщения может измеряться как годами, так и секундами... Послание – от индивида к индивиду, от индивида к группе людей, от группы к индивиду, или от группы к группе? А материальный носитель – вещественный, волновой, магнитный?

Чтобы не утонуть в этом море многообразий, введем некоторые ограничения. Будем говорить о письме в максимальном приближении к обыденному толкованию этого слова: «*Написанный текст, посылаемый для сообщения кому-н. чего-н.*» [3]. Письмо почтовое или электронное, телеграмма или факс – это лишь «технические подробности». И хоть всякое техническое средство коммуникации существенно обуславливает и сам стиль общения, и даже его содержание, здесь от этой специфики отвлечемся. Сосредоточимся на письме как форме приватной либо общественной связи между людьми.

Рассмотрим простейший случай, когда и отправитель письма, и его получатель являются индивидами. Письмо «от одного к другому» в

предложенной нами ранее модели предстает одной из трех форм коммуникации, имеющей своим источником конкретное лицо, при различии адресатов. Этими формами являются: *коммуникация самому себе*, *коммуникация другому лицу* и *коммуникация для других* [4].

Такое письмо может быть посвящено сугубо личным, даже интимным сюжетам, или иметь деловой характер, или трактовать общезначимые вопросы, но в любом случае оно *моноадресно* (в теории информации такая коммуникация называется *аксиальной*). Письмо конкретному лицу не рассчитано на «постороннее» восприятие, за исключением случаев *официального* письма, которое, строго говоря, имеет лишь формально индивидуализированный (подпись), а по существу – *институциональный* источник. То есть из простейшего случая послания «от одного к другому» официальное письмо выпадает.

В свете сказанного элементарным видом письма является письмо по существу *приватное* (частное), хотя бы оно трактовало и не личные вопросы. Приватность – антитеза *публичности*, когда отправителем является тоже индивид, однако письмо принципиально *многоадресно* (в теории информации – ретельная коммуникация).

Возможно ли приватное многоадресное письмо? Строго говоря, оно в таком случае перестает быть частным. Но тут возникают варианты. Круг лиц, которому адресовано послание, может быть весьма узок, и тогда послание сохраняет некоторые признаки приватности. А обратная комбинация – публичное моноадресное письмо? Такое вовсе не невозможно (так называемые *открытые* письма), но тогда письмо оказывается моноадресным лишь по форме (индивидуализированное обращение...), а по существу адресовано «граду и миру».

Лишний раз оговорим, что в этих различиях мы отвлекаемся от содержания сообщения. Это все различия только по характеру связи между субъектами общения. Среди таковых мы в дальнейшем будем различать *субъекта-отправителя* (он же – *источник* сообщения) и *субъекта-получателя* (он же – *адресат*) письма.

Уже в предыдущей попытке рассмотреть и соотнести оппозиции «приватности–публичности» и «моно-» и «многоадресности» мы начали выходить за рамки «коммуникации другому» и обсуждать также «коммуникацию для других». В принципе письмо в обыденном смысле больше ассоциируется с первым, однако в теоретической классификации оба случая равноправны.

Коммуникация для других имеет многоадресность своим атрибутом, или имманентным признаком. Ее публичный (хотя бы в некоторых случаях и ограниченно...) характер также очевиден.

Вариациями здесь являются «равноправие» и «неравноправие» адресатов: в первом случае письмо адресовано в равной мере множеству людей; во втором оно имеет «главного адресата», а остальные как бы получают его (письма) копии. Далее, адресаты могут быть поименованными или анонимными. Универсальной формой последнего случая является *массовая коммуникация*, где имеет место адресованность анонимным аудиториям.

Вообще, адресатом публичного письма, по определению, является *аудитория* (уместно также говорить о *целевой аудитории*). Тут мы, по нашему опыту исследования массовой коммуникации, а также зрелищных искусств, равно как и специализированной коммуникации (разновидностью которой является коммуникация *научная*), будем различать аудитории *потенциальную* и *реальную*. Первая объемлет всех, для кого данное сообщение предназначено; вторая включает только тех, кого оно реально достигло.

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что сказанное об аудитории и т.д. относится к коммуникации вообще, но оно, понятно, справедливо и заслуживает учета при рассмотрении феномена письма (послания) как ее частного случая.

Далее, попробуем выйти за пределы ситуации, когда отправитель письма, или источник сообщения, индивидуализирован. Вариантом жанра «письма» (уже не в узком, обыденном, а в широком, теоретическом смысле) являются *институциональные* документы, имеющие характер послания. Тут и «обращение к народу», и дипломатическая нота, и даже рекламный ролик... Стремясь избежать чрезмерной универсализации понятия письма, ограничим это случаями, когда имеет место *прямое обращение* к потенциальному получателю сообщения (будь то «товарищи», «господа» или «уважаемый господин Президент»).

Понятно, что официальное письмо, институциональный документ, может иметь и очень ограниченный круг адресатов, т.е. быть закрытым (в отличие от «открытых писем» и вообще публичных текстов). Документы «для служебного пользования», скажем, содержащие коммерческую или государственную тайну, – это тоже «письма». Господствующие социальные институты, различные ведомства и т.д. часто устанавливают ограничения на публичность (в рамках закона или даже вопреки ему), чем делают свою деятельность *непрозрачной*.

С другой стороны, приватное письмо принципиально не должно быть «прозрачным», а всякая перлюстрация (за исключением специально оговоренных законом случаев) является посягательством на тайну личной жизни, равно как и не разрешенное автором и адресатом «чтение чужих писем» подлежит моральному осуждению.

Последние замечания, впрочем, относятся скорее уже не к многообразию писем как таковых, а к социальным условиям «бытования» письма, что есть отдельная тема.

Наконец, последняя из указанных выше форм коммуникации, имеющей персональный источник: коммуникация самому себе. В наших прежних работах классическим случаем такого «общения» представлен *дневник* [5]. Но что такое, в сущности, дневник, как не своего рода письмо самому себе? Дневник выступает таковым если не субъективно (человек может полагать свои дневниковые записи и безадресными...), то объективно.

Укажем еще на различие писем по основанию: *монологичность* – *диалогичность*. Вообще говоря, письмо *par excellence* это разговор, оно не монологично, а диалогично. Потенциально всякое

письмо предполагает ответ; отправитель «ждет» этого ответа, рассчитывает на обратную связь («переписка»). Но это предположение ответной (или «встречной») коммуникации может быть подкреплено либо нет содержанием конкретного письма, может быть эксплицировано в тексте либо только подразумеваться. В последнем случае письмо оказывается своего рода монологом. Особенно это наглядно в институционализированной, публичной коммуникации, где достаточно отчетлива разница между письмом-обращением (диалогичность) и письмом-заявлением (монологичность).

(Заметим в скобках, что в российской институциональной практике, идущей еще от советских времен, «заявлением» называется в сущности «челобитная»: «*Прошу* принять меня на работу...», «*Прошу* решить мой вопрос...», – пишет гражданин работодателю или чиновнику, даже не подозревая, что просьба вовсе не есть «заявление»...).

Итак, «монологичное» письмо – это письмо, не претендующее, не рассчитанное на ответ, или же не дающее для ответа повода либо основания. В отличие от «диалогичного» письма, предполагающего обмен сообщениями и периодическую смену ролей отправителя и получателя.

Как видно, многообразие писем, их классов и разновидностей является исключительно высоким. В рамках настоящего доклада мы вовсе не претендуем на полную систематизацию, а лишь пытаемся обозначить возможные способы письменного общения, основания для классификации и т.п.

Напомним, что нами введены следующие различия: моноадресность – многоадресность, приватность – публичность, личностность – институциональность, поименованность – анонимность (адресата), монологичность – диалогичность. Некоторые из этих понятий пересекаются, и порой на пересечениях обнаруживаются специфические типы.

Обратимся теперь к вопросу о *полифункциональности* письма.

Каковы вообще функции письма (послания), в самом общем виде? Хотелось бы возвести их к фундаментальной модели всякой человеческой коммуникации, в которой, как нам представляется, могут быть выделены три взаимодополняющих момента: *сообщение*, *отображение* и *выражение* (или изъятие: ср. у Довлатова: литература – изъятие внутреннего мира).

Во всякой коммуникации имеет место передача информации, а поскольку речь идет о взаимодействии субъектов (актеров, коммуникантов), уместно говорить о сообщении одним другому некоторой информации («контента», содержания).

Далее, во всякой человеческой коммуникации передаваемая информация так или иначе отображает реальность, точнее – некоторые фрагменты ее. Кем-то сообщается кому-то информация о чем-то из реалий мира.

И наконец, в каждом человеческом сообщении представлен субъективный момент; в коммуникации иногда явным, иногда неявным образом выражена позиция, изъяснено отношение субъекта общения к отображаемой реальности.

(Не следует забывать, что коммуникация – двусторонний процесс, в котором участвуют как минимум два субъекта. Субъективно не только обращение к другому или другим, но в равной мере и восприятие сообщения его адресатом. Это восприятие может быть как адекватным, так и не адекватным ожиданиям адресующейся стороны.)

Спускаясь на менее абстрактный уровень рассмотрения, говоря о феномене именно письма, заметим, что в любом письме присутствуют все три момента, которые могут интерпретироваться также как *функции*. Притом, что та или иная функция может оказаться приоритетной. Письмо-сообщение (по преимуществу) отличается от письма, выступающего формой выражения или самовыражения (по преимуществу). Соответственно, то и другое отличаются от письма-отображения (по преимуществу).

В принципе возможно и «равноправие» указанных выше трех функций в конкретном письме.

Заметим, что общение, отображение и изъяснение как функции письма могут быть сопоставлены с выдвигавшейся нами ранее, как мы считаем, *системной* (в смысле Р. Баранцева) триадой «свободной жизнедеятельности»: *общение, познание и творчество* [6].

Здесь для нас принципиален сам факт полифункциональности всякого письма. Отправляя письмо, мы сообщаем другому нечто о себе и мире; другой же из нашего письма узнает нечто о мире и о нас самих (даже если специально «о себе» мы ничего не сообщали).

С этой точки зрения может быть переосмыслена и наша попытка обозрения многообразия писем. Представление о письме как *акте общения*, как *документе времени* и как *автопортрете пишущего* (что соответствует нашей триаде функций) позволяет приблизиться к пониманию возможного богатства размежеваний и соединений признаков письма, выделенных выше по основаниям моно- и многоадресности, приватности и публичности, личностности и институциональности...

Так, приватное письмо, адресованное современнику с целью сообщить нечто, скажем, о себе самом, может годы спустя приобрести смысл публичного свидетельства об исторической эпохе. А собрание частных писем исторической личности может сказать о ней больше, чем тома адресованных широкой аудитории сочинений. С другой стороны, стилистика институциональных писем и обращений чрезвычайно информативна, в частности, для социальной и психологической характеристики их авторов. И т.д., и т.п.

Может быть, самые яркие примеры переплетения указанных выше функций и форм письма предъясвляет современная «мировая сеть» (Интернет). Думается, что изложенные общие положения и предложенная концептуальная схема вполне приложимы и к анализу таких новейших форм человеческой коммуникации (глобального общения), как «форумы», «блоги», «живой журнал», не говоря уж об обычной электронной переписке с явными и скрытыми копиями, пересылками и т.д. Однако обсуждение этих специальных вопросов уже выходит за рамки нашей общетеоретической темы.

В заключение, подчеркнем целесообразность и перспективность специализированного исследования *письма* для постижения не только природы этого социального феномена и множественности его ипостасей, но и его места и роли в системе человеческой коммуникации и жизни общества, от глубокой древности до наших дней.

Март 2007

(6) Эстафета памяти-2. Мотивы, формы и роль автобиографических повествований [7]

1. В нашей работе «Эстафета памяти. Ресурсы, нормы и эффекты автобиографического повествования» [8] «истории жизни» (life stories, recits de vie) рассматривались не в качестве специального исследовательского метода, а как социальный феномен и форма межпоколенной коммуникации и еще – как нравственный императив человека, обязанного передать детям хотя бы минимум информации даже не столько о себе, сколько о своих родителях (семейная хроника).

К *ресурсам* автобиографического повествования (АП) мы относили *архив*, «*живую память*» и «*память других*». *Нормы* АП резюмировались в трех «*постулатах*»: постулат *фиксации семейных корней*, постулат *внятности биографического текста* и постулат *ценности «истории жизни»*. Что касается эффектов АП, то выделялись эффекты *культурные, воспитательные и ауторефлективные*.

2. В нашей нынешней постановке вопроса о мотивации автобиографических повествований будем различать мотивы *коммуникативные, самоутверждения* и *творческие*. В первом случае человек хочет «всего лишь» сообщить потомкам некоторую информацию о себе и то, что ему известно о предках. Это эстафета памяти, так сказать, «в чистом виде». Далее, мотивы самоутверждения – это когда человек так или иначе заявляет посредством АП о своей социальной значимости (порой это используется как дополнительное средство достижения жизненного успеха). Третий случай – творческая самореализация *par excellence*. Какой-то из мотивов всегда приоритетен, но обычно дополняется элементами двух других.

3. *Формы* АП не изоморфны мотивам, хотя до известной степени обусловлены ими. «История жизни» может быть событийной, хроникальной по преимуществу (назовем это *автобиографическим очерком*), может быть эмоционально насыщенной (своего рода *биографическая лирика*), наконец, это может быть такой мемуар, в котором жизнь «главного героя» (субъекта биографии) предстает на фоне картин жизни других людей и – шире – общественной жизни. Этакий *биографический эпос...*

4. Однако к этому не сводится дифференциация форм АП. Уместно различать автобиографическое повествование как таковое, где формообразующим элементом выступают *воспоминания*, индивидуальная память, воплощенная в текст. В качестве формообразующих элементов могут выступать также *документы* (словесные или изобразительные, например, фотографии из семейного альбома) и даже *предметы* (например, фамильные ценности) или «памятные места», дающие повод

для автобиографического комментария («Мне все здесь на память приводит былое...»)

5. Что касается роли автобиографических повествований, то они, как и всякая человеческая коммуникация, предстают: (а) **актом общения** (межпоколенного, но и не только...), (б) **способом отображения** жизненной траектории и биографического контекста и (в) своего рода автопрезентацией – самовыражением, или **изъявлением себя**. То есть роль эта как минимум тройкая. Здесь заслуживает специальной разработки проблема специфики «историй жизни» в каждой из названных ипостасей.

6. Все изложенные общие соображения и предложенные классификации в докладе подкрепляются примерами или иллюстрациями.

В заключение отметим, что «эстафета памяти», каковой может стать всякое автобиографическое повествование, есть социокультурный феномен фундаментального значения. Как замечал Д.С.Лихачев, «одна из величайших основ, на которых держится культура, – память».

Март 2007

(7)

Биография в социологии как "исследование случая" [9]

Исследование случаев (case-study) - один из самых распространенных методов (подходов) в рамках качественной парадигмы социологических исследований. Оно предполагает углубленное изучение некоторого участка (фрагмента) социальной реальности с его контекстом, для вскрытия некоторых общих закономерностей, воплощаемых в данном, избранном для анализа *случае*. Как замечал Гете, «хорошо увиденное частное может всегда считаться общим». Напомним также афоризм Я. Кавабаты: «Один цветок лучше, чем сто, передает природу цветка».

Случай есть событие, совокупность и / или последовательность событий, ставших предметом исследовательского внимания. Случай есть, с одной стороны, нечто уникальное, а с другой – нечто характерное, типическое, по крайней мере, черты общего, универсального в частном, конкретном составляют особый интерес исследователя. Принципиально важным является также исследование события в контексте, т. е. в совокупности его социальных связей и опосредований. Без контекста нет события, равно как и контекст есть не что иное, как своего рода иерархия событий, обуславливающих совершение всякого данного события.

При такой широкой трактовке понятий *событие* и *контекст*, являющихся ключевыми в методологии исследования случаев, обнаруживается глубинная, сущностная связь между известной практикой исследования случаев и биографическим методом в социологии. Человек – это, в сущности, тоже «случай», причем случай, как никакой другой, уникальный – Событие этой именно Личности. Биография есть последовательность событий, связанных единством субъекта, места и времени, «линией жизни», событий - совершающихся в определенном историческом, культурном, социальном контексте.

Такой эпистемологический подход расширяет горизонт, позволяет лучше понять общее и особенное в практике социологических (и не только!) исследований разного типа, жанра, направленности. Биографическое изыскание есть *исследование случая*. А исследование

случаев не сводится к анализу только состояний, но и относится к процессам, в том числе – «длинною в жизнь».

Апрель 2009

(8) Тезисы о биографии и со-бытии человека [10]

1

1.1. Биография – один из генетически исходных и универсальных способов отображения мира. «Одиссея» - это, кстати сказать, биография Одиссея.

1.2. Кто пишет биографии? Ученые, художники (литераторы), «простые» люди. Предмет науки, искусства, самой жизни.

1.3. Ученые (историки, социологи, психологи...) постигают устройство мира и человеческую природу через жизнь человека.

1.4. Художники посредством биографии открывают людям их самих, «человеческий мир».

1.5. «Просто» люди – рассказывают свою жизнь для общения с другими и для понимания самих себя.

1.6. Грани между наукой, искусством и «просто» рассказом о жизни вовсе не отчетливы. Например, документальный фильм «Подстрочник» - это художественное исследование, но также и жизненная ретроспектива, и богатейшее поле для научного анализа (в частности, исторического, но и не только).

2

2.1. В социологии есть понятие «исследование случаев». Случай – это некоторая развивающаяся конкретная ситуация, ставшая предметом углубленного исследования.

2.2. Исследователя интересуют всевозможные подробности и нюансы динамической ситуации, но не ради них самих, а для постижения ее (ситуации) целостности.

2.3. Целостная конкретная ситуация нужна исследователю для выявления общего и типичного в ней, для постижения, на ее основе и примере, неких общих социальных закономерностей.

2.4. Ситуация есть воплощение закономерностей, но не прямое, а путем взаимоналожения, «сюрдетерминации» разных закономерностей. Даже исключительная ситуация обнаруживает некоторые общие правила.

2.5. Например, «в истории исключение из правил есть правило правил» (Альтюссер).

2.6. Ситуация есть частное относительно общего, т. е. закономерности. «Хорошо увиденное частное может всегда считаться общим» (Гете).

2.7. Исследование конкретных ситуаций имеет свои (не безусловные...) преимущества перед массовым, репрезентативным исследованием. «Один цветок лучше, чем сто, передает природу цветка» (Кавабата).

3

3.1. Жизнь человека есть некое уникальное событие в рамках универсума. Но это также и СО-бытие, поскольку нет человека, который бы не взаимодействовал с другими в процессе жизни.

3.2. Исследование жизни человека (= биографическое исследование) – это не просто обозрение повседневности, событий и процесса - истории его жизни. Это рассмотрение того, и другого, и третьего – в контекстах: биологическом, личностном, семейном, общественном, культурном, историческом...

3.3. Для социолога или историка общественный и исторический контекст равнозначны с биографией как таковой. Постижение мира происходит «в точке пересечения биографии и истории» (Миллс).

3.4. Для исследователя биографий эти последние не самоцель, а средство познания социального мира, исторических процессов и т. д.

3.5. В частности, этим ученый отличается от художника, для которого человек как таковой является приоритетным предметом познания.

3.6. Для человека же «рассказывающего жизнь» (свою ли, другого ли человека...) существен именно ДАННЫЙ человек, в его уникальности.

4

4.1. Все эти положения, в их совокупности, могут рассматриваться как некий ключ к пониманию того, чем занимаемся, в частности, мы – социологи, применяющие биографический метод, историки, работающие с конкретным биографическим материалом, а также – психологи, литературоведы, архивисты и т. д., своего рода археологи человеческих жизней, пытающиеся таким образом приобрести новое знание о человеке и мире.

4.2. Ни один из способов постижения мира – научный, художественный, «житейский» не является предпочтительным перед остальными. Мало того, без двух других каждый является ограниченным и недостаточным.

4.3. Однако пусть каждый, имеющий дело с биографией или даже сотворяющий ее, делает «свое дело», при этом постоянно «оглядываясь» на других.

4.4. Иногда происходит намеренное или нечаянное вторжение на «чужую» территорию. Так, человек, «просто» рассказывающий свою жизнь, может стать источником мощнейшего художественного воздействия (вспомним опять же «Подстрочник»). В нем может проявиться и высокая аналитическая способность, ставящая его в ряд с исследователями социума или истории.

4.5. Ученый может «преобразиться» (хотя бы отчасти) в художника. Реже (но вовсе не исключено) – наоборот. И если у того или другого не будет интереса к данной конкретной личности, в ее неповторимости, своего рода трепета перед ней, то ущербными могут оказаться и наука, и искусство.

4.6. Мир целостен. Человеческая жизнь – тоже целостна. Ее отображение – научное, художественное или «житейское» - всегда более или менее фрагментарно. Однако и оно должно стремиться к целостности, как к «далекому желаний краю» (Ухтомский).

22.04.2009

(9)

Память индивидуальная и коллективная, семейная и историческая (актуальная проблема соотношения) [11]

1

Современные исследования массового сознания все чаще сталкиваются с чрезвычайной дезинформированностью представителей младших поколений относительно действительной истории нашей страны, а не той, что предьявляется в учебниках. Осведомленности личностно-биографической, понятно, здесь быть не может. Это было... “давно”, и, скажем, политические репрессии сталинизма предстают немногим “ближе”, чем казнь и ссылки декабристов. Что касается старших поколений, то здесь сплошь и рядом имеем дело с вытеснением из сознания неприятных воспоминаний, а остатки “книжного” знания вполне мифологичны. Средним же поколениям – вроде бы не до исторической памяти. Жизнь - сегодняшним днем, для кого - выживание, для кого - завоевание нового жизненного пространства.

Из всех источников знания о прошлом решающим для большинства оказывается не жизненный опыт, и даже не учебник истории, а - массовая коммуникация, причем, как правило, не в лучших ее образцах. Мы не столько помним, сколько знаем то, что следует «помнить», что отмерено рынком или идеологией (последняя все более претендует на приоритет).

Обратимся к таким, пока не имеющим строго терминологического статуса, понятиям, как *семейная* и *историческая* память. Носителем исторической памяти может быть общество в целом, социальный институт (наука, искусство, школа, СМИ...), социальная группа, в определенном смысле и индивид - в меру своей осведомленности о прошлом мира, страны, края, “малой родины”. Носителем семейной памяти могут быть только семья и индивид. И эта память локальна, относится к ближним, в лучшем случае - к дальним родственникам, к более или менее широкому семейному кругу, а также к предкам.

Семейная память в значительной мере непосредственна, в отличие от исторической памяти, которая многократно опосредована - как всей совокупностью исторических источников и наслаивающихся друг на друга интерпретаций, так и, в особенности, актуальными общественными представлениями (“господствующими мыслями эпохи”, пользуясь выражением К. Маркса). Историческая память человека может включать в себя и семейную, как существенное олицетворение первой. Семейная память всегда пересекается, как-то переплетается с исторической, поскольку не существует истории семьи вне истории общества.

Несколько общих постановок вопроса о коллективной (групповой) и исторической памяти:

«Мы еще не привыкли говорить (даже метафорически) о групповой памяти. Кажется, что такое свойство, как память, может существовать и сохраняться только в той мере, в какой оно привязано к индивидуальному телу или сознанию. Однако допустим, что воспоминания могут выстраиваться двумя разными способами: они или

выстраиваются вокруг определенного человека, рассматривающего их со своей собственной точки зрения, или распределяются по большому или малому сообществу, становясь его частичными отображениями. Другими словами, индивиду доступны два типа памяти. Но в зависимости от того, соотносится ли он с той или другой из них, он занимает две совершенно разные и даже противоположные позиции. С одной стороны, его воспоминания вписываются в рамки его личности или его личной жизни, и даже те из них, которые он разделяет с другими, рассматриваются им лишь с той стороны, с которой они затрагивают его в его отличии от других. С другой стороны, в определенные моменты он способен вести себя просто как член группы, вызывая в памяти и поддерживая безличные воспоминания в той мере, в какой они затрагивают его группу. Эти две памяти часто проникают друг в друга; в частности, индивидуальная память может опереться на память коллективную, чтобы подтвердить или уточнить то или иное воспоминание или даже чтобы восполнить кое-какие пробелы, вновь погрузиться в нее, на короткое время слиться с ней. И тем не менее она идет по собственному пути, и весь этот внешний вклад постепенно усваивается и встраивается в нее. Коллективная память же оборачивается вокруг индивидуальных памятей, но не смешивается с ними. Она развивается по собственным законам, и даже если иногда в нее проникают и некоторые индивидуальные воспоминания, они видоизменяются, как только помещаются в целое, которое уже не является сознанием личности» (Морис Хальбвакс. Память коллективная и историческая // Неприкосновенный запас, 2005, № 2-3). [12]

«...Общепринятой является точка зрения, согласно которой память больше связана с настоящим, чем с прошлым. Проблема тут не столько в «точности» воспоминаний, соответствии «реальным» фактам, сколько в интерпретации прошлых событий, использовании тех или иных интерпретаций для легитимации / делегитимации настоящего.

В изучении социальной памяти важно рассматривать не только собственно воспоминания (что и как вспоминается), но и забвение (что именно, полностью или частично, какими социальными группами забывается). Эта проблема не тождественна проблеме «адекватности / неадекватности» памяти «историческим фактам». Изучение конструирования прошлого – специальная исследовательская задача. Необходимо учитывать связь памяти о прошлом с потребностями настоящего времени: как воспоминание, так и забывание не являются конечными» (М. Г. Мацкевич. К исследованию коллективной памяти (социологический подход). Рукопись. 25.10.2008).

Эти общие соображения могут служить теоретической рамкой для нашего обсуждения взаимоотношения индивидуальной, семейной и исторической памяти.

Добавим, что семейная память как бы соединяет в себе черты *индивидуальной* и *коллективной*. Она является групповой по субъекту, однако персонализирована по предмету.

2

Каким видится механизм взаимопроникновения, в частности, исторической и семейной памяти, и от чего это взаимопроникновение зависит?

Чем больше масштаб исторического события или процесса, тем больше шансов, что это окажется отражено и в семейной памяти, и не только как “фон”, но и как непосредственный биографический фактор. Могут быть события всеобщие, затрагивающие практически каждую семью, и не только в качестве условия социализации или жизненного пути того или иного ее члена, но и как фактор жизни и смерти, можно сказать - судьбы. К таким историческим событиям (периодам) безусловно относится Отечественная война 1941-1945 гг., без которой не может обойтись ни одна семейная хроника, и ни один мемуар человека старшего поколения.

Есть события ключевые для того или иного поколения, иногда - не всего, а для определенной его части. Например, для большинства современников смерти Сталина (1953) и XX съезда (1956) эти два события входят не только в историческую, но и в семейную память. А вот, скажем, вторжение советских войск в Чехословакию (1968) входит в память не всех, а по преимуществу тех, кого сегодня принято называть шестидесятниками (для многих из них именно это событие явилось началом настоящего «идейного прозрения»).

Из сказанного выше ясно, что как историческая, так и семейная память требуют рассмотрения в связи с индивидуальной *биографической* памятью (в общем совпадающей с персональным жизненным опытом). Но она нас сейчас интересует меньше, как наиболее краткосрочная (ограниченная относительно узкими хронологическими и возрастными рамками) и заведомо непосредственная (в отличие от памяти семейной и исторической).

3

Попробуем применить высказанные, тоже общие соображения к памяти о массовых репрессиях 1930-40-х гг. Какое отображение это наше трагическое прошлое находит в семейной и исторической памяти разных поколений? На этот вопрос могла бы ответить социология. Но увы...

За всю историю новейшей российской социологии я не могу указать ни одного массового обследования (опроса), в котором среди прочих “объективных” характеристик, относящихся к условиям социализации личности, выяснялось: есть ли среди близких родственников респондента репрессированные, с учетом возраста опрашиваемого - в поколениях отцов, дедов, а для младших - в поколениях прадедов или даже прапрадедов. Разумеется, с дифференциацией по степени (близости) родства.

Замечу, что в принципе такое обследование могло бы проводиться и заочно, по документальным источникам, будь то биографические справки или мемуары.

Известный нам (хоть все еще и не до конца, лишь в приблизительном исчислении массовости) исторический масштаб процесса таков, что можно достаточно уверенно предположить, что с 1917

по 1953 г. *практически не было такого семейного клана (рода), который не был бы так или иначе затронут государственным террором* (как, думается, немного было и таких, которые не потеряли кого-либо из своих членов на фронтах Великой отечественной).

Но есть различия в мере причастности и в мере актуальности. Скажем, для тех, кто родился в 1930-40-е гг.: а) потерявшие родителей (родителя), т. е. дети “врагов народа”; б) потерявшие близких родственников из поколения родителей (дядя, тетка); в) потерявшие близких родственников из поколения дедов; г) потерявшие относительно дальних родственников (двоюродное родство); и т. д.

Сам характер репрессии, естественно, подлежит различению - от расстрела до ГУЛАГа, и от официального поражения в избирательных правах до не афишируемых ущемлений и ограничений (например, “проживавшие на оккупированной территории”, “пятый пункт” в паспорте и т. д.). Можно было бы вырисовывать целые генеалогические деревья с обрубленными или покалеченными ветвями.

Следующий вопрос: в какой мере, в частности, государственный террор 1930-40-х гг. находит отображение в семейной памяти? Для многих ровесников автора этих строк (1934 г. рожд.) репрессия в отношении кого-либо из родителей стала существеннейшим жизненным событием и обстоятельством жизненного пути. Потеря отца или матери, брата, сестры не могла пройти «мимо», она не только ощущалась, но и как-то осмыслялась - если не в отроческом, то в юношеском возрасте.

Но даже и здесь существенные различия - в информированности. Родители обычно предпочитали как можно меньше сообщать детям о судьбе родственников, не говоря уж о происходивших порой обрывах семейных связей. Молодой человек, когда пришла ему пора впервые заполнять какую-нибудь анкету, мог “с чистой совестью” отвечать отрицательно на соответствующие вопросы. Информация о репрессиях, так или иначе затронувших семью, могла достигнуть человека уже много лет спустя, если сам он не был их непосредственным свидетелем.

Таким образом, семейная память (передающаяся от поколения к поколению) часто оказывалась ущербной, выхолощенной, искажающей реальную картину. Историческая же память, формируемая институционально, оказывалась полностью оторванной от семейной.

Если до середины 50-х указанный *разрыв* семейной и исторической памяти был обусловлен во многом коллективным страхом, то позже восстановление этой связи, несмотря на возврат репрессированных родственников, на волны индивидуальных и массовых реабилитаций, не прекращавшиеся до начала 90-х гг., оказывалось затруднено уже просто неосведомленностью. Старшие, считавшие, что их детям “лишнего” знать не надо, дальше молчали иногда уже просто “по инерции”. А с их уходом и вообще ниточка семейной памяти обрывалась, эстафета памяти оставалась не переданной.

Историческая же память продолжала формироваться и видоизменяться, под влиянием текущих общественных событий, политической конъюнктуры и т. п. А урезанная семейная память как-то под нее, историческую, подстраивалась.

Не следует, однако, преувеличивать и полагать всеобщим истирание семейной памяти. Не имея возможности соперничать с личными жизненными впечатлениями и опытом, она в принципе остается важным фактором мировосприятия и идентификации. И в конкуренции с насаждаемой исторической памятью, семейная, если она все же есть, имеет шансы одержать верх.

И вот тогда возникает феномен существенной неоднородности исторической памяти (включающей в себя также и семейную, если не как часть, то как камертон). В зависимости от истории своей семьи, по крайней мере, в ближайших поколениях, человек формирует свое сознание и самосознание. И даже по прошествии многих лет отзвуки семейных травм (если говорить, в частности, о жертвах государственного террора) становятся фактором современной информированности и рефлексии об истории общества.

С учетом сказанного, хотелось бы поставить вопрос о включении проблематики соотношения семейной и исторической памяти в практику современных эмпирических социологических исследований. При изучении структуры и факторов формирования социального сознания и поведения (не исключая, кстати, политических пристрастий и электорального поведения) может оказаться значимым как блок собственно биографических переменных, так и блок характеристик истории семьи.

Во всяком случае, этот последний должен обладать определенной дифференцирующей, а может быть - и объяснительной силой при анализе современного состояния сознания в различных возрастных когортах. И там, где семейная память сохранена (сбережена...), она может оказаться ценностным ядром личностной интерпретации памяти исторической.

Можно выдвинуть, в частности, следующую гипотезу: *мера адекватности личностных представлений об истории страны, в частности, о трагических ее страницах, существенно зависит от меры непосредственной причастности, от того, насколько репрессии коснулись членов семьи (рода), хотя бы и не в ближнем поколении.* Проверка этой гипотезы вполне доступна для средств эмпирической социологии.

4

Автор этих строк имел случай ознакомиться с недавно вышедшим сборником работ победителей Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников, под названием: «Как наших дедов забирали...» (М.: РОССПЭН, Международный Мемориал. 2007, 607 с.). Как указано в послесловии, за восемь лет существования конкурса в архиве Международного Мемориала собрано более 21 тысячи исторических работ; лучшие работы прошедших конкурсов опубликованы в девяти сборниках. Это масштабная и благороднейшая историко-культурная и воспитательно-просветительская работа.

Здесь не место для приветственной рецензии, которой этот труд несомненно заслуживает. Но мне хочется солидаризироваться с точкой

зрения составителя и редактора этого сборника И. Щербаковой: “Память эффективнее всего передается через историю семьи и человеческую историю” (Указ соч., с. 598).

Генеалогическая, историко-биографическая, семейно-хроникальная деятельность оказывается эффективным инструментом “само-просвещения” и “само-воспитания” народа. Это особенно важно в свете современных исторических и общественных вызовов, в частности, угрозы возврата в тоталитарное прошлое, нарастающей тенденции подчинения исторических взглядов сиюминутным политическим и квази-политическим интересам, едва ли не насаждения социальной амнезии, в частности, в младших поколениях (вспомним нынешнюю кампанию переписывания школьных учебников истории).

Наш исторический и современный опыт показывает, что историческую память можно исказить, переписать, подменить. Труднее это сделать с семейной памятью

Ноябрь 2007

Литература

[1] Текст доклада на Чтениях памяти В.В. Голофаства (Санкт-Петербург. Март 2007).

[2] *Голофаств В.Б.* Многообразие биографических повествований // На перепутьях истории и культуры. Труды СПбФ ИС РАН. СПб., 1995.

[3] *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1994. С.509.

[4] См. раздел (2) настоящей работы.

[5] См. раздел (3) настоящей работы.

[6] См.: *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т.1. Указ. изд. С. 507-510.

[7] Тезисы доклада на пятых Чтениях памяти В.В. Иофе (Санкт-Петербург, апрель 2007).

[8] См. раздел (2) настоящей работы.

[9] Тезисы к Седьмым Чтениям памяти В. В. Иофе (СПб. 20-22.04.2009).

[10] Сокращенный текст доклада на Седьмых биографических чтениях памяти В. В. Иофе (апрель 2009).

[11] Авт. - А. Н. Алексеев. Текст доклада на Международной конференции «Между памятью и амнезией: Следы и образы ГУЛАГА» (СПб., ноябрь 2007).

См. также: Алексеев А. Н. Память семейная и историческая: точки пересечения и разрывы (гипотеза о влиянии семейной памяти на мировосприятие) // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, 2008, № 5. (Электронная версия - http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=33&type=by_year&value=2008&id=590).

Этот же текст см.. на сайте «Международная биографическая инициатива»: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/alekseev_family.html.

Его же см.: на сайте «ИМЯ. Капризы памяти»: <http://sundry.wmsite.ru/publikacii-druzej/analekseev-sociolog/pamjat->

semejnjaja-i-istoricheskaja/; на форуме СВРТ: запись И. Яковлевой от 12.09.2008 (<http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=2330&st=0&gopid=35035&#entry35035>).

Опубликовано также в: Право на имя. Биографика 20 века. Шестые чтения памяти Вениамина Иофе. СПб. 16-18 апреля 2008. СПб.: НИЦ "Мемориал", Европейский университет в СПб, 2009, с. 72-89.

[12] См. на сайте «Журнальный зал»: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>. См. также: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.

[13] Фрагмент семейной хроники «Коротка моя память... (О моих родителях – для моей дочери) (1997-2001)», впервые опубликованной (в составе работы: Алексеев А. Н. Корни и ветви (XIX – XXI век). Из рукописи первого варианта книги «Драматическая социология и драматическая ауторефлексия» 2001) на сайте «Международная биографическая инициатива»: <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Memoirs/alekseev.html>.

Нижеприводимый текст представлен в Сети также на сайте «ИМЯ. Капризы памяти»: <http://sundry.wmsite.ru/publikacii-druzej/analekseev-sociolog/korni-i-vetvi/>

См. также:

Андрей Алексеев. Письмо, дневник, автобиография: многообразие форм и сопряжение смыслов (теоретико-методологические заметки)

Опубликовано в: Телескоп. Журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007, № 4, с. 46-56

На сайте «Международная биографическая инициатива»: http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/alekseev_letters.html

Приложение

Для 11-х чтений памяти В.В. Иофе (СПб, апрель 2013)

«Коротка моя память...»

(Индивидуальный опыт составления семейной хроники)

Автор впервые обратился к теме семейной эстафеты памяти 15 лет назад, движимый как профессиональными (исследовательскими), так и личностными мотивами. При этом теоретико-методологические разыскания не предшествовали практическим опытам, а скорее следовали за ними или же те и другие осуществлялись параллельно.

В частности, теория и методология нашли определенное отражение в серии докладов, так или иначе представленных в нашей работе, републикованной ныне в сборнике: Право на имя: Биографика XX века. Чтения памяти Вениамина Иофе: Избранное. 2003–2012. СПб.: Норма, 2013. «Практикум» же, осуществленный автором в виде собственной семейной хроники в 1997 году, так и остался за кадром его печатных трудов (правда, доступен в интернете: <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Memoirs/alekseev.html>).

Настоящий доклад является попыткой постановки ключевых проблем межпоколенной трансляции родовой (семейной) памяти *на примере* конкретной семейной хроники, с особым акцентом на

проблематике моральной ответственности «детей» перед «отцами» за сохранение за последними «права на имя» и «права на биографию» в памяти последующих поколений.

Фантастический проект «воскрешения предков», предложенный русским философом Н. Федоровым во второй половине XIX века, может трактоваться и метафорически – как некое «общее дело», осуществляемое каждым очередным поколением и человечеством в целом - в каждой из своих мельчайших ячеек, Успех этого «общего дела» зависит от активности – как ушедших, так и наследующих им: важно, чтобы было ЧТО помнить и КОМУ помнить. «Воскрешение предков» - непрерывный, универсальный процесс.

Автор доклада уже в первом своем опыте семейной хроники (15-летней давности), пытался осмыслить, что же он делает, реконструируя биографии своих родителей и более отдаленных предков. Теперь же оказывается уместной попытка рефлексии по поводу тогдашнего опыта. Что и составляет основное содержание доклада.

А. Алексеев

3.04.2013.

2. ПРАКТИКА: ДВЕ СЕМЕЙНЫХ ХРОНИКИ

(1)

Коротка моя память...

(о моих родителях — для моей дочери)

[Ниже – опыт семейной хроники автора, написанный в 1997 г .

Примечания – курсивом – относятся к 2001 г ., что специально не оговаривается. Позднейшие примечания помечены: «Март 2007» или иначе .- А. А.]

Моей дочери Ольге, в день ее 37-летия, 21 сентября 1997 г.

Содержание

5.07.97. Введение

Родители (пока не впали в детство) обычно мудрее своих детей. Это заметно, поскольку сравнивают их в одной "хронологической точке" (в определенный, общий для тех и других момент исторического времени).

Родители, на данный момент, прожили дольше, пережили больше... Это — их естественное «преимущество» перед детьми. Но дети часто мудрее своих родителей, если сравнивать их с родителями, когда те были в их (детей) нынешнем возрасте. Ибо они (родители) тогда еще не прожили того отрезка исторического времени, который суждено было, к настоящему моменту, пережить и им, и детям (пусть одним — в зрелом возрасте, а другим — еще в детском).

Мне, может быть, и есть чему поучить мою дочь **сегодня**, в июле 1997 г. (мне – 63, а ей – 36). Но, полагаю, в мои 36 (в году 1970-м, как нетрудно подсчитать), мне можно было бы и «поучиться» у нее сегодняшней.

Детям порой бывает отмерен больший срок жизни, чем родителям. Срок жизни может зависеть от эпохи. Например, многие люди моего поколения (поколение предвоенных детей) помнят (если помнят!) только молодых родителей, рано ушедших из жизни. Но меня судьба раннего сиротства миновала. Я больше помню своих родителей уже

немолодыми людьми. (Позднейшие впечатления, возможно, способствуют стиранию или искажению ранних). Я вообще более или менее отчетливо помню, в частности, свою мать не раньше ее 40-летнего возраста. Тут дело еще и в том, что я был относительно поздним, хоть и единственным ее ребенком.

Мать умерла в 1963 г., в 63-летнем возрасте (когда мне было 29). Отец умер в 1974 г., в 70-летнем возрасте (когда мне было 40). Ушли из жизни и все остальные родственники старшего поколения. Давно уж нет маминих сестер (моих теток). А родственников отца я практически никогда не знал.

И вот сегодня, в свои собственные 63 года, я оказываюсь едва ли не старшим из рода Пузановых (фамилия моей матери) *[на самом деле, старшим является И. Д. Пивен; см. ниже. — А. А.]*, а из рода Алексеевых (фамилия моего отца) — так даже и не знаю...

Ныне дочь моя, в свои 36 (а вообще-то и раньше!) спрашивает меня, как старшего: **Откуда ты? Откуда я сама?** Бабушку (мою мать) Варвару Петровну Пузанову она помнит с 2-х летнего возраста не может. Не знаю, помнит ли деда (моего отца) Николая Николаевича Алексеева (после смерти матери у него была новая семья, и мы с ним последнее десятилетие его жизни общались мало).

В общем, спросить моей дочери больше некого! И спрашивает она **вовремя** (пока есть кого...). А вот я вовремя не спросил, ни в свои 26 лет, ни в свои 36. Ни пока мать была жива, ни пока отец. И это — предмет укоров моей совести. Что-то, может быть, и помню... Точнее помнил (то, что само у уши текло, да само и вытекало; ведь не запоминал!). Забыл больше, чем помню сейчас.

Так кто же мудрее из нас: я — в своем, тогда уже вполне зрелом, возрасте, или моя дочь Ольга Андреевна Новиковская (в девичестве — Алексеева), сама теперь уже мама двоих детей (моих внуков), Ивана и Егора? Могу, конечно, ее поучить теперь, но скорее собственным отрицательным опытом. **Покаянная — эта моя записка!**

Должен был бы знать, а не знаю... Должен был бы помнить, а не помню. Благодарю мою дочь за то, что не повторяет этой моей ошибки. (А какие-то другие ошибки, возможно, повторяет; а иные жизненные ошибки есть на ее счету и свои, «оригинальные»).

Итак, **короткая у меня память!** Своей короткой памятью буду сейчас с дочерью делиться.

Есть одно утешение, может быть, и не такое уж слабое. Кроме "короткой" памяти, есть еще какие-то мамини вещи, книги, документы и, как во всякой семье, фотографии. Когда мама умерла (а мне, напомним, было тогда "всего" 29 лет), я все это забрал из родительского дома, поскольку отцу они были не очень нужны. И, при всех своих сменах места жительства, сохранил. Что-то и разбазарилось за 30 истекших лет. Но — не фотографии, и не документы!

Кое-какие «семейные реликвии» — сейчас уже у дочери. Большая часть — пока у меня. Иногда я их беру в руки, с некоторых документов даже сделал ксерокопии. Увы, как и в почти любом семейном

альбоме, есть фотографии, на обороте которых нет даты. Есть лица, забытые мною, сегодняшним, и даже такие, которых никогда не знал.

Если когда-нибудь соберусь (а надо!) как следует разобрать этот семейный архив, то я буду по отношению к нему скорее в роли "изыскателя", чем "воспоминателя". Но в таком случае, это не самое срочное дело... А вот **записать, что помню**, надо именно сейчас, не откладывая. Этим и займусь.

Прочитал написанное выше моей жене, Зинаиде Глебовне Вахарловской. Ей понравился этот зачин. Зина удачно резюмировала мое предыдущее рассуждение афористической репликой: **«Дети старше нас, потому что они младше нас...»** («Младше» или «моложе»? Грамматически правильное последнее. Но «младше» тут звучит лучше, а главное – точнее).

Глава 1. Эксперимент над собственной памятью

Итак, «короткая память»... При моей привычке (и даже страсти) к построению «моделирующих ситуаций» и личностному экспериментированию (см. «Драматическую социологию»), придумал я — строго («экспериментально») разделить то, что пока сохраняет моя активная, «живая» память, и — то, что могу извлечь из документов (может быть, даже и вспомнить, извлечь из собственной «пассивной» памяти, заглянув в пожелтевшие листки).

Я предполагал сочинять эту записку на кордоне Кавказского заповедника (куда мы с Зиной каждый год ездим в отпуск). То есть — без всяких «подсобных материалов».

Но вот, случилось написать эту преамбулу за несколько дней до отъезда на Кавказ, еще в Петербурге, когда семейные альбомы и папки с документами — вот они рядом, на полке. Но раскрывать их сейчас некогда, да и сознательно не буду.

(Разве что, «для контроля» возьму с собой ксерокопию последней из маминых автобиографий; впрочем, там лишь сугубо деловая информация, своего рода послужной список).

Так что «эксперимент над собственной памятью» останется почти чистым, не замутненным документальными разысканиями и консультациями.

Вот вернусь с кордона, с исписанной ("из головы") тетрадкой, и наберу текст на компьютере. А уж в компьютере — что хочешь делай (не разрушая первого варианта): хоть "приложения" пиши, хоть вставки делай, хоть документальные ссылки. (Не спеша, по мере розысков).

Можно эту работу (дополнения, уточнения) продолжать сколь угодно долго. И **прервать когда угодно** (пускай потом младшие поколения довершают). Зато, хоть короткая, хоть бедная, но **живая** моя память, не исчезнет, уцелеет — уже как документ.

[10.07.97. Сейчас, когда текст вчерне написан уже на добрых $\frac{3}{4}$, окончательно прояснилась моя «технология».

Я вовремя догадался датировать свои записки — по мере написания кусков (см. ниже). А вставки — хоть компьютерные, хоть рукописные — тоже буду датировать. Так же и фактические (не

стилистические!) исправления (ведь сейчас я слишком часто вынужден писать: «кажется», «примерно», «точно не знаю», а кое-где удастся потом внести определенность).

Итак, мое повествование будет разворачиваться как бы в двух временных пластах. Один — **хроникальный** (биографический, хронологический). Другой — **современный** (разворачивающийся в «удлиняющейся» памяти).

Первый пласт относится в основном к фактам, второй — к нарастающему воспоминанию и размышлению.

Следить полезно за обоими пластами. Так, эти строки — в квадратных скобках — я пишу четыре дня спустя после написания первоначального текста. А какие-то другие вставки (тоже в квадратных скобках), может быть, возникнут через несколько лет. И будут, соответственно, датированы].

[Продолжение текста, написанного 5.07.97. В дальнейшем таких оговорок после вставок в квадратных скобках делать не буду].

Еще одно (может, и не последнее!) предварительное замечание. Отчего же вдруг задумался я над этими вопросами? Что подтолкнуло? Или — что "подвигло"? Ну, одно из обстоятельств я уже назвал: моя дочь Ольга меня к этому стимулировала. Вообще-то, уже не впервые... Она еще лет пять-десять назад пыталась рисовать генеалогическое дерево (и отцовское, и материнское: ее мама — Елена Ивановна Алексеева, в девичестве — Ларионова). Да куда-то это «дерево» потом запропастилось.

А тут возникли новые поводы... Мой старший внук состоит в каком-то кружке, где предлагают подросткам [14-15 лет. — А. А.] о своих предках рассказывать (такой прогресс в современной внешкольной педагогике!). А внуку Ване есть чем «похвастать»: знаменитый русский металлург, изобретатель русского булата Павел Петрович Аносов (читай о нем во всех энциклопедиях) доводится ему, сейчас соображу — если мне пра-прадедом, то Ване, стало быть — пра-пра-прадедом.

Вот только неясно, которая из дочерей П. П. Аносова вышла замуж за Михаила Пузанова и родила моего деда (а Ваниного пра-пра-пра-прадеда) Петра Михайловича Пузанова.

Ну, на Ваню, как на исследователя своей родословной, рассчитывать пока не приходится. Отправилась моя дочь Ольга сама в музей П.П. Аносова, при Санкт-Петербургском горном институте. Звала и меня, да я уклонился...

С другой стороны, включилась в это дело Олина мама, Елена Ивановна (моя бывшая супруга — первый брак; с нею у нас еще 30 лет назад супружеские отношения сменились на «братски-сестринские»). Елена Ивановна, вообще, Бабушка с большой буквы (очень активная в решении всех внуковых проблем). В данном случае она произвела разыскания в Российской национальной библиотеке. И многое стало известно насчет потомков П.П. Аносова, кроме — пока что, увы! — особо интересующего нас факта о моей прабабушке.

В общем, вот так вот устыдили дочка и ее мама — меня, "не помнящего родства".

Другим стимулом была «семейная хроника Гудковых» (девичья фамилия матери моей жены Зины).

В отличие от меня, единственного сына своих родителей, у Зины две сестры (младших) и брат (старше ее). А родительские семья как ее матери (ныне покойной Ольги Константиновны Вахарловской, в девичестве — Гудковой), так и отца (ныне здравствующего Глеба Анатольевича Вахарловского) [Г. А. Вахарловский скончался 9 октября 1998 г. — А. А.] были многодетными.

Зина не застала в живых ни деда, ни бабушку, по материнской линии, но всех их восьмерых детей (своих тетушек и дядей) она хорошо помнит, а две тетушки — еще и здравствуют.

Не беднее родственниками моя жена и по отцовской линии. И именно она (в свои 45-50 лет она оказалась уж всяко мудрее меня 30-35!) подвигла своего отца Глеба Анатольевича написать воспоминания. Тому, в его почти 90 лет, есть что вспомнить, и не только про себя самого (его имя можно найти в Большой советской энциклопедии, в статье под названием «Док»; Г. А. Вахарловский был проектировщиком крупнейших судостроительных заводов).

Тем более что уже давно Глеб Анатольевич пишет исторические труды (по истории российского флота и судостроения). Сейчас сам писать уже не может (стало плохо со зрением), и потому — диктует своей дочери Светлане (Зининой сестре). Вот так и надиктовал он свои воспоминания на 200 рукописных (красивым Светланиным почерком) страниц, под названием «Семейный альбом Вахарловских».

Прочитала Зина, и стало ей обидно за свою маму и за ее род Гудковых, о котором там — почти ни слова. Да и в собственной семейной хронике Вахарловских есть у Глеба Анатольевича заведомые пробелы и неточности (иногда и нечаянные бестактности).

Написано пером – топором не вырубишь. Пришлось Зине писать приложение к воспоминаниям своего отца.

Тем более, что среди трех сестер (дочерей Г. А. Вахарловского) кому как не ей писать про мать Ольгу Константиновну... Ведь Зина — старшая.

Так возникла рукопись, которую здесь не буду ни пересказывать, ни рецензировать, а просто приложу копию, как некий образец: вот как можно (пока еще не поздно!) писать «семейную хронику». [*Эта работа называется: «О моей матери, о моих родственниках и о себе самой» (1997). — А. А.]*

Ну, жене-то я помог оставить для ее дочери Любви и ее детей (Зининых внуков) документированную память о матери и отце. А сам-то, что же?

Тут я понял, что писать эту хронику (о моих родителях — для моей дочери) надо поскорее. Ведь память с годами не удлиняется, а еще больше укорачивается...

6.07.97.

И все же — не только "внешние" стимулы, поводы, обстоятельства подтолкнули. Было и какое-то внутреннее созревание... (Хотя, поди разберись, где тут внутреннее, где внешнее!).

В позапрошлом (1995-м) году состоялась, наконец, мой формальный, а не только фактический развод, жилищный размен и разъезд с моей бывшей супругой (не Олиной мамой, а другой — второй браком) Нелли Алексеевной Крюковой.

Всякий жилищный переезд — веха в жизненном пути российского (в отличие, скажем, от западного) человека. У меня таких жизненных вех было — порядка пяти. При переездах обычно что-то ломается, что-то теряется, а что-то выбрасывается. В 1995 г., в возрасте 61 года, я **не выбросил ничего!**

По счастью, в нашей с Зиной нынешней петербургской «берлоге», хоть это и только комната в коммунальной квартире, удалось кое-как разместить все, что у меня накопилось за жизнь.

Упаковывая старые книги, бумаги, фотографии, я заново открыл для себя, в частности, гимназический альбом моей матери. В таких альбомах, в традиции еще прошлого века, было принято у барышень писать друг другу задушевные пожелания и любимые стихи.

Я потом, может, расскажу отдельно об этом альбоме с записями педагогов и выпускниц Екатерининской женской гимназии Петрограда. <...> Сейчас же в этой (затянувшейся уже, пожалуй) прамбуле ограничусь упоминанием о существовании альбома и о том импульсе, который он дал мне, в частности, для настоящего сочинения.

Разумеется, при переезде "всплыло" и кое-что другое — такое, о чем (как и об этом альбоме) помнил только, что "где-то должно быть". Теперь положил так, что сразу найду, при надобности...

Вот так "удлинялась" моя короткая память.

Пора заканчивать "экспозицию". Но — еще одно предупреждение.

В хронике семьи Гудковых — был избран прием рассказа о родственниках сквозь призму истории собственной жизни. И не ради авторского (З. Г. Вахарловской) самоутверждения. А потому, что жизни родителей и детей неизбежно переплетаются — и биографически, и, так сказать, концептуально.

Так писать семейную хронику — оправданно, и даже оптимально для случая, когда родители еще живы, или ушли недавно.

Что касается меня, то я собираюсь так или иначе рассказывать здесь о себе — не далее конца 60-х — начала 70-х гг. То есть до того (примерно) 35-летнего возраста, которого достигла сегодня моя дочь.

Было потом много всего... Но, во-первых, уже описано (хотя бы в упомянутой выше «Драматической социологии»), которая в этом году, похоже, выйдет в свет и я, разумеется, дочери подарю [*имеется в виду книга: А. Н. Алексеев. Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего)*]. Кн. 1- 2. М.: СПбФ ИС РАН, 1997. — А. А.]. А во-

вторых (и это главное!) — не имеет прямого отношения к заданной самому себе теме.

Ситуация для самого себя, пожалуй, не выгодная. Ибо сам себе в детстве я вовсе не нравлюсь («не уважаю» и «не люблю» себя тогдашнего). И вспоминать о себе вроде было бы незачем, если бы не долгосрочная родительская инвестиция в те годы.

Эффективность этого родительского вклада сегодня, разумеется, тоже не очевидна. Но вложено было немало...

Глава 2. Родительская родословная. П. П. Аносов

Итак, родился я, как мой дочери известно, 22 июля 1934 г., в Ленинграде.

Я был первым и единственным ребенком у моей матери. (У моего отца позже был еще внебрачный ребенок, моложе меня лет на 15-20, но я его никогда не видел, и даже не уверен в поле; кажется — мальчик).

Так или иначе, родных (в полном смысле слова) братьев и сестер у меня не было.

Моя метрика (свидетельство о рождении) сохранилась в моем домашнем архиве.

Моя мать **Варвара Петровна Пузанова** родилась в 1899 г. (17 декабря).

Мой отец **Николай Николаевич Алексеев** родился в 1904 г. (17 мая).

Мать была родом «из дворян» (в анкетах, т. е. листках по учету кадров прежних времен, она писала о своих родителях: "сословие — дворянство"). Отец — «из крестьян» или «из мещан» (скорее последнее, т. к. его родители жили в г. Рыльске, Курской губернии).

Теперь обращусь к родословным моих родителей.

Из родословной отца мне известно настолько мало, что может уместиться в нескольких строчках. Моего деда (родителя моего отца), очевидно, звали **Николаем**. Род занятий и годы его жизни — мне неизвестны. Моя бабушка (мать отца) — **Наталья Николаевна**. Сохранилась довоенная фотография, где она со мной, ребенком. Я ее — не помню. Годы жизни бабушки мне также неизвестны.

У отца были брат **Иван Николаевич** и сестра **Анна Николаевна**. Я их не знал, и если и встречался, то в очень раннем детстве. (Кажется, ребенком родители возили меня в Рыльск).

Может показаться удивительным, но я сейчас не могу припомнить даже, **кто из детей моего деда по отцовской линии был старшим, кто младшим** (хоть раньше, кажется, я это знал). Вроде Анна Николаевна была старшей. А Иван Николаевич вроде моложе отца. Но это я сейчас почти наугад говорю.

Я не знаю, где жил дядя Иван Николаевич до войны. Возможно, в Рыльске. Не знаю, чем он занимался. Ничего не знаю о его семье. Кажется, он был репрессирован, сослан в Казахстан. Откуда-то всплывает в памяти название города — Чимкент. Может, туда был сослан Иван Николаевич? Когда — до войны, после войны?

Интересно, с каких пор мне это стало известно? Предполагаю, что уже после моего поступления в институт (в 50-х гг.). Кажется, отец переписывался с братом. Но я не уверен в этом.

А сестра отца (моя тетя) Анна Николаевна уже после войны жила где-то то ли в Рязанской, то ли в Московской области. Ничего не знаю о ее семье. Кажется, уже в 60-х гг., когда мы с отцом почти не общались, он ездил туда к сестре, в гости.

Что я могу утверждать с уверенностью, так это то, что ни Иван Николаевич, ни Анна Николаевна у нас дома в Ленинграде на моей памяти, т. е. после войны, не были ни разу.

[10.07.97. В 50-х гг. мы с отцом и с матерью объездили на собственном автомобиле всю европейскую часть страны. Город Курск лежит на трассе Москва-Симферополь, хорошо нам знакомой. Родина отца — г. Рыльск — чуть в стороне, но, по-моему, мы ни разу не заезжали туда. Не возникало даже разговора, чтобы навестить кого-либо из отцовых родственников, где бы они ни жили].

Вообще, тема родственников моего отца либо не обсуждалась родителями при мне, либо это начисто выветрилось из моей памяти. Родственные связи по отцовской линии не просто оборвались для меня. Этим связям для меня — **никогда не было!** (Может быть, какие-нибудь сведения еще всплывут при разборке маминого архива. Да вряд ли...).

Можно упрекнуть в этой противоестественной ситуации моих родителей. Отца, в частности. Но лучше упрекну самого себя. Уж достигнув 40-летнего возраста, можно было и поинтересоваться у 70-летнего отца... Чтобы хоть было что самому в 63 года сообщить своей 37-летней дочери.

Вот и вся моя память о родительской семье и родственниках моего отца Николая Николаевича Алексеева. Не «память», а «чистый лист»... **Стыдно!**

Теперь — из родословной моей матери Варвары Петровны Пузановой. Здесь — уже не «чистый лист». Но память и тут с провалами.

Мой дед **Петр Михайлович Пузанов** (1862-1935) происходил от соединения двух дворянских родов: **Пузановых** (ударение на последнем слоге — ПузанОв) и **Аносовых**. Сохранилась стеклянная дворянская печать Пузановых (с чутью оббитым краем), предназначавшаяся, вероятно, для оттиска на сургуче. Эту семейную реликвию я уже передал дочери.

Об отце деда (моем прадеде по материнской линии) я ничего не знаю, кроме имени (**Михаил Пузанов**). Мать же деда (моя прабабушка) была одной из дочерей **Павла Петровича Аносова** (известный русский металлург, которого я упоминал выше). Имени моей прабабушки (дочери П. П. Аносова) я не знаю, но, думаю, это можно установить, путем библиотечных и архивных разысканий, которые уже начала мама моей дочери (Елена Ивановна Алексеева).

Поскольку дело касается генеалогии и родственной связи с исторической личностью, требуется особая щепетильность и скрупулезность в установлении факта родства. Откуда я это знаю?

Во-первых, мне неоднократно говорила об этом моя мать. Но при отсутствии записи ее рассказа я предстаю скорее хранителем семейного предания. И хоть в одной из публикаций СМИ о моей персоне (в конце 80-х гг.) эта информация фигурировала (взятая из моего дневника), я лишь с осторожностью подтверждаю это, допуская возможность аберрации памяти.

В семье хранилась серебряная ложечка, старинной выделки, с выгравированным на ней затейливым вензелем "А". Мать расшифровывала — "Аносов"...

В 1990 г. судьба занесла меня в г. Златоуст, Челябинской обл., где есть металлургический завод, основанный П. П. Аносовым, а при заводе — музей Аносова (или музей истории завода — не помню). Я встретился с музейными работниками, показал им фамильную реликвию, рассказал о "семейном предании" (мол, я, кажется, пра-правнук П. П. Аносова).

Оставил им эту ложечку — для идентификации: мол, если в самом деле она "аносовская", то дарю ее в музей, а если ошибка — то верните мне.

Мне выдали даже какую-то квитанцию о приеме на "временное хранение" (квитанцию я храню). Однако ни подтверждения, ни опровержения моей информации я так и не получил.

Будем, по умолчанию, считать, что вензель на ложечке в самом деле аносовский. Однако и это не доказательство.

[10.07.97. Сейчас, уже едучи в поезде «СПб-Адлер», не могу проверить, но должна быть в моем доме еще одна такая же серебряная ложечка с вензелем «П» (Пузанов). Только сейчас соображаю, что фамильно, да и исторически ценна была именно **пара**, символизирующая соединение двух родов. Кстати, о музее Аносова в Санкт-Петербурге я тогда, в 1990 г., не знал. Уж если не хранить в семье, лучше было отдать обе ложечки — в Петербургский музей. А еще лучше было бы — отдать дочери. Но, как видно, и в 56 лет «мудрости» у меня не хватило].

Документальное свидетельство родства с П. П. Аносовым (для меня бесспорное!) обнаружено было мною совсем недавно. Просматривая (довольно бегло) бумаги Варвары Петровны Пузановой (моей матери), перед упоминавшимся выше походом Ольги в музей Аносова (при Горном институте), я наткнулся на рукописный текст маминой автобиографии, относящейся к середине 50-х гг.

Там, собственной рукой мат, написано: «Мой отец – служащий, инженер-технолог (внук известного русского металлурга П.П. Аносова)».

Тут уж сомнения отпадают. Я, со своей короткой памятью, мог ошибиться. Моя мать, правнучка П.П. Аносова, – не могла. О Павле Петровиче Аносове можно прочитать во всех Советских энциклопедиях.

Приведу, в качестве иллюстрации, статью из Советского энциклопедического словаря (1990 г.):

«Аносов Павел Петрович (1799-1851), рус. металлург. Известен работами по высококачеств. литой стали. Создал новый метод ее получения, объединив ее науглероживание и плавление металла. Раскрыл утерянный в средние века секрет изготовления булатной стали. Автор кн.

«О булатах» (1841). Впервые применил микроскоп для исследования строения стали (1831)». (Сов. энциклопедич. словарь. М., 1990, с. 59).

ОП. П. Аносове вышла книга в серии «Жизнь замечательных людей» (в 50-х гг.). [И. Пешкин. Павел Петрович Аносов. М.: Молодая гвардия, 1954]. Есть и другие книги. (Все эти книги я недавно передал дочери).

Подробнее рассказывать о моем знаменитом пращуре здесь нет нужды. Полагаю, моя дочь сейчас уже знает больше меня.

Интересно такое «историко-культурное» наблюдение. Недавно был у меня случай раскрыть соответствующий том «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона 1910-х гг. Там, в томе 2, я не нашел персональной статьи об Аносове, зато нашел:

«Аносовская сталь, готовится по способу Аносова, для булатов; см. Булат».

В статье же **«Булат»** (том ?) описывается этот способ и указывается, что он разработан П. П. Аносовым в 1828-1829 гг.

Похоже, что популярность моего прапрадеда в советское время возросла. (Не в борьбе ли с космополитизмом и за русский приоритет в науке и технике? Впрочем, тут русский приоритет бесспорен).

Но это так, попутное наблюдение. Рядом с **"Аносовской сталью"** — другая статья: **«Аносовы»**, какую в советских энциклопедиях уже не встретишь:

«Аносовы, русский двор. род, восходящий к началу XVII в. и записанный в VI ч. род. кн. Костромской губернии».

Надо сказать, что в дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Эфрона, похоже, так представлены все российские дворянские фамилии. (Например, Зина нашла собственную фамилию — **«Вахарловские»**).

Конечно же, я захотел посмотреть том на букву «П» («Пузановы»). И оказалось, что это издание Брокгауза и Эфрона (насколько я знаю, не первое!) оборвалось на букве «О» в 1914 г. (с началом Первой мировой войны). (Заканчивалось это издание словаря уже в 20-х гг., но вряд ли с сохранением тех же принципов отбора и представления материала).

Надо бы посмотреть более раннее (законченное) издание словаря Брокгауза и Эфрона. Вполне вероятно, что там есть не только Аносовы, но и Пузановы.

Итак, будем считать два «дворянских корня», соединившихся в персоне моего деда Петра Михайловича Пузанова, установленными **документально**. (Если бы я стремился вступить в нынешнее Дворянское собрание, небось, понадобились бы и дополнительные доказательства. Но нам с дочерью, полагаю, этого достаточно).

У П. П. Аносова было несколько [*а точно – пятеро. – А. А.*] сыновей и четыре дочери. Некоторые из его потомков по мужской ветви тоже вошли в историю. Горные инженеры, геологи — сейчас нет под рукой соответствующей информации, но это нетрудно узнать.

Есть у меня большая фотография, а скорее — старинная гравюра (непонятна техника изготовления!), с изображением золотодобывающего

прииска второй половины XIX века на р. Силиндже, с указанием на принадлежность ее П.П. Аносову (не Павлу Петровичу, а его сыну — Павлу Павловичу, геологу и основателю Верхнеамурской и Среднеамурской золотопромышленных кампаний для разработки золота). (На гравюре указан год – 1873).

Другая, похожая гравюра сохранилась в семье моего двоюродного брата Владимира Владимировича Абрашкевича.

[13.09.97. Подпись под той гравюрой, что у меня дома:

«Усть-Норский склад Средне-Амурской золотопромышленной компании на р. Силиндже. 1873 г.»].

Не требует пояснений тот факт, что мой дед Петр Михайлович Пузанов был внуком П.П. Аносова — **по материнской линии** (иначе бы он носил фамилию Аносов). Как все же звали его мать (мою прабабушку), иначе говоря — которая из дочерей П.П. Аносова была моей прабабушкой, надеюсь, удастся установить. [*Теперь и этот вопрос проясняется; см. раздел 24.6. — А. А.*].

Понятно, что при многодетности дворянских семей XIX века, у моего деда должно было быть много родственников — как Аносовых, так и Пузановых. Но, увы, ничего я о них не знаю. И даже те некоторые из старших родственников по материнской линии, которых я знал (потом назову их), сейчас не могут быть надежно идентифицированы мною по степени и характеру родства (то ли они были родственниками по линии деда, то ли по линии бабушки).

Моя бабушка по материнской линии — **Ольга Николаевна Пузанова** (1864-1930). Ее девичья фамилия мне неизвестна.

В семейном архиве есть старинные фотографии как деда, так и бабушки. Большая часть их у меня, кое-что я уже отдал дочери. Самая интересная из фотографий – 1901 года. (Ныне она под стеклом, украшает мое жилище). Там представлены: дед Петр Михайлович, бабушка Ольга Николаевна с младенцем на руках; это их первенец – моя мама) и пожилая женщина, очевидно, моя прабабушка. (Вот только которая из двух: мать деда или мать бабушки? Если первое, то это одна из дочерей П.П. Аносова).

Фотография – огромная (примерно соответствует современному формату А-3), на картоне. Все сидят в **трехколесном** автомобиле, очень старинной конструкции (на современный взгляд – скорее самодвижущаяся коляска: без крыши, пассажиры спереди, а водитель – мой дед – сзади, за рулем), на фоне Путиловского завода (как рассказывала мне мать).

Автомобиль этот собственноручно построил мой дед, это было его "хобби" (ниже еще пойдет об этом речь).

Моя мать Варвара Петровна Пузанова, родившаяся в 1899 г., как уже сказано, была первым ребенком в семье деда. Всего же у Петра Михайловича и Ольги Николаевны Пузановых было трое детей. Три сестры: **Варвара** (старшая), **Елизавета** (средняя) и **Мария** (младшая). Моих тетушек по материнской линии я хорошо знал, и еще расскажу о них. Сейчас же должен опять повиниться перед дочерью. Я забыл годы

рождения Елизаветы Петровны (тети Лили) и Марии Петровны (тети Маруси) – а ведь знал! Надо будет спросить моего двоюродного брата Владимира Абрашкевича, сына Марии Петровны. С датой рождения тети Лили (Елизаветы Петровны Брусенцовой, в девичестве – Пузановой) – сложнее. Но думаю, что и это – задача, поддающаяся решению. [Е. П. Пузанова родилась в 1903 г.; М. П. Пузанова родилась в 1905 г. – А. А.]

Вообще, у моего деда с бабушкой были поздние дети (напомню, год рождения Петра Михайловича Пузанова — 1862, а Ольги Николаевны Пузановой — 1864; первая же из дочерей — моя мама — родилась в декабре 1899 г.).

Глава 3. Мой дед Петр Михайлович Пузанов

Кем был мой дед? Мама в своей автобиографии пишет: «Мой отец — служащий, инженер-технолог». В другом варианте автобиографии: «мой отец, железнодорожный служащий...».

Почему-то у меня осталось в памяти, что дед имел какое-то отношение также к Путиловскому заводу. Возможно, это аберрация памяти, связанная с упомянутой выше фотографией, а также с тем, что проживала родительская семья моей мамы в Дачном. [Вопрос этот также удалось позднее прояснить. См. раздел 24.6. – А. А.]

Петр Михайлович Пузанов был кем-то вроде инспектора железных дорог и много ездил, с семьей. Кажется, потому и случилось, что моя мать родилась в г. Калуге, а не в Петербурге, где семья Пузановых жила постоянно.

Мой дед имел какое-то звание в «табели о рангах» (сейчас не помню – какое). Эта информация была обнаружена мамой моей дочери Еленой Ивановной в справочнике «Весь Петербург» предреволюционных лет.

Что касается бабушки Ольги Николаевны, то она была, согласно автобиографии Варвары Петровны Пузановой, «домохозяйкой». (Отец – железнодорожный служащий, мать – домохозяйка... Терминология – уже советского времени).

В Дачном у деда был собственный (или ведомственный?) двухэтажный деревянный дом, довольно оригинальной архитектуры. В войну дом не уцелел. Есть фотографии дома в Дачном, и сам я немного его помню.

Про бабушку Ольгу Николаевну я больше ничего не знаю. Умерла она еще до моего рождения, в 1930 г. А дед Петр Михайлович дождался меня – первого из своих внуков. Он умер в 1935 г. (Эти сведения – из табличек на крестах на Красеньком кладбище, где до сих пор сохранились могилы бабушки и деда, а рядом — похоронена моя мама Варвара Петровна Пузанова, скончавшаяся в 1963 г.).

О моем деде Петре Михайловиче Пузанове была семейная легенда, прочем, имевшая вещественные подтверждения. Он был инженером милостью Божьей, с "золотыми руками".

Сохранились две фотографии автомобилей, сконструированных им и собранных собственноручно. Об одной фотографии я уже говорил. На другой – четырехколесный, уже более современного вида автомобиль.

Эта вторая фотография хранится в семье моего двоюродного брата Владимира Абрашкевича, сына моей тети Марии Петровны Пузановой.

Кто-то из старших родственников рассказывал, что дед, уже в старости, говаривал: «Ну, пойду в свой сарайчик...». Это был гараж, где стояли два его «исторических» автомобиля, которые, чуть ли не до конца его жизни, поддерживались «на ходу». (Впрочем, это скорее умозаключение, а не факт. Если не для того, чтобы возиться с автомобилем, для чего проводить время в гараже?).

Автомобили деда разделили судьбу дома в Дачном, в котором до своей смерти продолжал жить дед, а до начала войны проживала его младшая дочь (моя тетя) Мария Петровна Пузанова, со своей семьей. Когда после войны мама, отец и я вернулись в Ленинград из эвакуации, мы с мамой побывали на месте, где стоял тот дом. Сам он сгорел, а от двух автомобилей остался один руль, торчащий из груды кирпичей, на месте гаража.

Примерно на этом месте в первые послевоенные годы у матери с отцом был огородный участок, где сажали картошку. Это где-то в районе нынешней ул. Хрустицкого, где прошли девические годы моей дочери и где и сейчас живет ее мама.

О последних 10-15 годах жизни моего деда мне, кроме упомянутого любительского увлечения, ничего не известно. После смерти бабушки Ольги Николаевны дед продолжал жить в Дачном, в семье младшей дочери Марии Петровны.

Было одно событие в жизни деда, о котором я узнал совершенно случайно, от мужа моей тети Марии Петровны Владимира Васильевича Абрашкевича, уже в конце 80-х – начале 90-х гг. Оказывается, незадолго до смерти, в 1933-1934 гг. дед был арестован.

Петр Михайлович тогда был уже тяжело болен (рак). Дети (тетя Маруся, возможно также — моя мама и тетя Лиля) как-то сумели выхлопотать, чтобы его отпустили "помирать" домой. Так что скончался он на руках у детей, а не в заключении.

Моя мать никогда не рассказывала мне об этих обстоятельствах. Не рассказывал и отец, который наверняка об этом знал. Владимир Васильевич (муж тети Маруси) упомянул это событие между прочим, «к слову», не предполагая, что для меня это будет новостью.

Интересно, как повторяются наши с моей женой Зиной семейные хроники!.. Зина ведь тоже узнала о трагической судьбе своего деда Константина Николаевича Гудкова, арестованного в 1938 г., от старших родственников, лишь полвека спустя).

До самого зрелого возраста я полагал, что репрессии миновали мою родительскую семью.

Не потому ли я так мало знаю о своих родственниках по отцовской (да, в общем-то, и по материнской) линии, что старшее поколение оберегало младших от "ненужной" информации? А потом молчали уже "по инерции", а младшие не спрашивали...

Вот так утрачиваются родственные связи, укорачивается память... (Кого винить? Себя? Родителей? Время? Предпочитаю — винить себя).

Глава 4. Когда меня еще не было... Девические годы матери

Что я знаю о детстве и девических годах моей матери Варвары Петровны Пузановой?

Она училась в Екатерининской женской гимназии (Ведомство учреждений императрицы Марии). Закончила ее одной из первых учениц.

Вместе с упоминавшимся выше гимназическим альбомом у меня хранятся ее гимназические ведомости об успехах и поведении. Вот ведомость II (второго) класса (учебный год 1915/1916): все оценки — высшие (12 баллов), кроме «рукоделия» (11 баллов); переведена в I (первый; выпускной?) класс. (Оценки в более ранних классах — скромнее).

Мама пишет в своей автобиографии 50-х гг., что окончила женскую гимназию в 1918 г. Судя по ведомостям — скорее в 1917 г. (Или первый класс гимназии, который она должна была бы закончить в 1917 г., не был выпускным, а был еще — «нулевой»?). Может, это ошибка ее памяти? Но может быть, это сделано и сознательно.

Из маминых детских и юношеских книг сохранилось несколько томиков Л. Чарской. Кажется, еще хрестоматия по русской литературе.

Гимназический альбом заполнялся надписями и пожеланиями соучениц и педагогов в последние годы учебы. Не удержусь, и приведу отрывок из Некрасова, вписанный туда на первой странице рукой кого-то из педагогов (как я понял). (При этом, я как бы нарушаю чистоту эксперимента с "короткой", живой памятью. Но на удивление, именно эти стихи Некрасова я помню наизусть и сам, с детства. Уж не от матери ли?).

Средь мира дальнего
для сердца вольного
есть два пути.
Взвесь силу гордую,
взвесь волю твердую —
каким идти.
Одна просторная,
дорога торная,
страстей раба.
По ней громадная,
к соблазнам жадная
идет толпа.
О жизни искренней,
о цели выпренной
там мысль смешная.
Кипит там вечная,
бесчеловечная
вражда — война.
За блага бранные
там души тленные,
в цепях умы.
Ключом кипящая,
там жизнь мертвящая
там царство тьмы.

Другая тесная,
дорога честная,
по ней идут
лишь души сильные
любвеобильные,
на бой, на труд.
За угнетенного...
За обойденного...
Умножь их круг.
Иди к униженным,
Иди к обиженным,
И будь им друг [*так подчеркнуто в альбоме. – А. А.*].
Н.А. Некрасов (Из поэмы "Пир на весь мир")

На добрую память и как пожелание от ... [*подпись неразборчива.*
— А. А.]

Вообще, альбом этот — интереснейший историко-культурный документ. Но воздержусь от дальнейших цитирований и комментариев. Останусь в рамках семейной хроники.

[10.07.97. Вообще, хоть пишет эти строки и социолог, не надо рассматривать настоящие записки как историко-социологический опус. Я пишу – **семейную хронику**, я хочу рассказать дочери то, что знаю о своих предках и о своих родителях, а вовсе не об «эпохе».

Не потому, что не интересна эпоха, а потому, что мои родители мне, да и дочери – сейчас **интереснее**.

Конечно, в судьбах конкретных людей отражается эпоха. Но это для меня – уже побочный результат и не планируемая здесь возможность исторической интерпретации семейной хроники].

У моей мамы были, мне кажется, способности к рисованию. (Сохранились несколько альбомов с очень интересными рисунками). Вообще, у матери вполне определено были способности и склонности к гуманитарной сфере. Тем не менее, после окончания гимназии она поступила в Ленинградский (тогда – Петроградский) технологический институт (1918 г.). Возможно, сказалось влияние отца (моего деда).

Сейчас опускаю биографические детали из документа (автобиографии), копию которого я собираюсь приложить к этой хронике. Здесь ограничусь тем, что мне и без документов было известно.

Окончив Технологический институт в 1927 г. (были перерывы в учебе, когда работала на железной дороге) мама стала трудиться на заводе «Красный путиловец» (б. Путиловский завод), где до этого проходила дипломную практику. В качестве инженера-технолога она участвовала в освоении массового производства тракторов. <...>

Сохранились фотографии: моя мама на испытаниях первых советских тракторов в поле.

Все, кто видел портретные мамыны фотографии 20-х гг. (а есть среди них и сделанные знаменитым Напфельбаумом), находят ее очень красивой. Я тоже так считаю. (Глядя на это лицо, можно предположить, что это скорее человек искусства, чем инженер-тракторостроитель.

Накопленный опыт инженерной работы получил теоретическое осмысление. В 1933 г. в «Госмашметиздате» вышла первая книга инженера В.П. Пузановой «Допуски в тракторостроении» (5 печ. л.). Всего лишь шесть лет после окончания института! Бурный старт научно-технической карьеры. Работала мама все это время либо на «Красном путиловце», либо на других машиностроительных предприятиях, куда откомандировывалась как специалист по допускам (см. автобиографию). С середины 30-х гг. она все больше стала заниматься преподаванием (Институт повышения квалификации ИТР и т. п.). В 1939 г. была издана вторая книга — конспект лекций В. П. Пузановой по курсу "Допуски и посадки".

Экземпляры этих, еще довоенных, трудов инженера В. П. Пузановой у меня есть.

Есть основания утверждать, что мама очень рано, в относительно молодом возрасте, выдвинулась в число ведущих отечественных специалистов в области теории допусков и посадок.

(Конечно, пользуясь маминой автобиографией, другими подсобными материалами, я мог бы рассказать об этом подробнее. Но пока — только "живая", активная память...).

7.07.97.

О детстве и юности моего отца Николая Николаевича Алексеева мне известно куда меньше, чтобы не сказать — неизвестно ничего.

Его детство прошло, очевидно, в г. Рыльске, Курской губернии (где он родился). Вероятно, и юность тоже (по косвенным признакам). Какую школу он окончил — не знаю. Но судя по его, памятной мне шутке: «У меня высшее образование без среднего!», — самую демократическую.

Так же не знаю я, когда он приехал в Ленинград. По-видимому, где-то в первой половине 20-х гг. Отец закончил Ленинградский политехнический институт.

Отец, как и мать, был инженером-технологом. Не знаю, с какого времени он стал работать на Ленинградском заводе им. Ворошилова, ныне известном как завод «Звезда». Во всяком случае, к началу войны он был на этом заводе начальником бюро стандартизации.

(На заводе им. Ворошилова отец проработал всю жизнь. Последние 10-15 лет до выхода на пенсию в конце 60-х гг. он был главным технологом на этом заводе).

Отец не воевал (военный завод, бронь).

Но вернемся в 1930-е гг.

Глава 5. Материнское воспитание. Как я выучил французский

Мои родители познакомились, по-видимому, на рубеже 20-30-х гг. Во всяком случае, моя родительская семья образовалась за несколько лет до моего рождения. К этому моменту (моменту моего появления на свет) мама и отец жили в большой комнате (порядка 40 кв. м.) в многонаселенной (7-8 семей!) коммунальной квартире на ул. Некрасова, дом 40, кв. 8, 5-й (последний) этаж. Балкон над «фонарем».

Я родился 22 июля 1934 г. Как я уже говорил, других детей, кроме меня, у моих родителей не было.

Судя по автобиографии, мама не прекращала работу после моего рождения. Однако в ясли меня не носили и в детский сад не водили. Я был «домашним» ребенком.

Какое-то время была няня (кажется, ее звали Татьяна). Но в основном меня воспитывала сама мать. Видимо, режим преподавания в ИПК это позволял, а может — как раз ввиду моего рождения мама стала заниматься преподаванием по преимуществу.

(Вообще же, до знакомства с маминой автобиографией, у меня было впечатление, что мать на какое-то время прервала работу, с моим рождением).

Я был достаточно спокойным ребенком. В большой комнате, превращенной в своеобразную квартиру расстановкой мебели и ширм, у меня был свой уголок, в котором я был приучен находить себе занятие и в одиночестве.

Летом выезжали "на дачу", в Дачное, где, как уже говорилось, в то время жила младшая из трех сестер Пузановых, моя тетя Мария Петровна, вышедшая замуж за инженера-кораблестроителя (впоследствии — главного строителя объектов на судостроительном заводе им. Жданова) Владимира Васильевича Абрашкевича. У них в 1939 г. родился сын Владимир (мой единственный двоюродный брат).

Там же, в доме деда, жила (кажется, постоянно) "тетя Машура" (скорее бабушка), моя старшая родственница по материнской линии (точно определить родственное отношение затрудняюсь). Помню, у нее было очень слабое зрение (если не слепая совсем). Кажется, она была вдовой О'Рурка (известного составителя таблиц умножения многозначных чисел — таблиц, многократно переиздававшихся до 1950-х гг., пока не было компьютеров).

Не знаю, когда переехала из Ленинграда в Москву средняя из трех сестер Пузановых, моя тетя Елизавета Петровна (тоже жившая до этого в доме деда в Дачном), выйдя замуж за Георгия Николаевича Брусенцова, москвича, инженера по деревообработке.

Если тетю Марусю я помню с детства, то с тетей Лилей познакомился уже только в 1950-х гг.

В моем родительском доме на ул. Некрасова бывали тетя Маруся с Владимиром Васильевичем, приезжала (из Рьльска?) мать отца Наталия Николаевна, бывала Вера Павловна Пивен (предполагаю, что это двоюродная сестра моей мамы, дочь брата моего деда) со своим сыном Игорем, старше меня лет на 10. Из друзей семьи — бывал Борис Владимирович Рошановский, друг и сослуживец (не родственник ли?) отца, у которого были дочери Таня (примерно моя ровесница) и (младшая) Катя.

Всех названных я, конечно, помню скорее уже из послевоенных времен.

Мать любила самостоятельный туризм. Кажется, уже после моего рождения они вдвоем с отцом совершали пешеходный поход вокруг озера

Селигер. Мать возила меня на пароходе — по Волге или Каме. Не уверен, но вроде тогда (в раннем детстве) я был в Кунгурской пещере. Если не ошибаюсь, ездили втроем в г. Рыльск (родина отца).

Читать и писать я научился рано, во всяком случае — до войны. Кажется, первой прочитанной мною книгой было «Путешествие по электрической лампе» (детская с картинками, название — приблизительно).

Еще, не помню, но знаю, что до войны, т. е. до семилетнего возраста, мать водила меня к учительнице немецкого языка.

Вот, пожалуй, все более или менее достоверные факты. Но достаточно, чтобы судить о месте, которое занял единственный ребенок в жизни родительской семьи.

[10.07.97. Довоенных воспоминаний так немного, что приведу «семейную легенду», характеризующую не столько меня ребенком, сколько семейную атмосферу. (Рассказывала, кажется, тетя Маруся). Будто я стою на довольно высоком крыльце в Дачном и отец говорит: «Прыгай, Андрюша!». А я (лет 5-6) отвечаю: «Колечка, но ведь ты знаешь, что Варечка не велела!». (Кстати сказать, авторитет матери на всю жизнь остался для меня выше авторитета отца).

Еще помню, что мама тогда была очень озабочена обнаруженным у меня астигматизмом в левом глазу. Был продолжительный курс домашних упражнений со стереоскопом, позволивший улучшить зрение в этом глазу до 20 процентов (с 2-х). В итоге мне потом удалось благополучно водить машину, т. е. была обеспечена бифокальность зрения].

Предупрежу самого себя против двух опасностей, подстерегающих меня в дальнейшем изложении.

Первая — «перетягивание одеяла на себя». То есть — постановка себя в центр семейной хроники (по крайней мере, начиная со своих школьных лет). Такой ход в принципе возможен. Например, моя жена Зина предьявила историю своей жизни как повод для рассказа о матери и родственниках (в своем приложении к воспоминаниям отца). Но здесь — другой случай и другая задача.

Вторая опасность — "увязание в подробностях". Понятно, что юношеские впечатления отчетливее детских. И можно вспомнить много эпизодов из жизни моей матери и моего отца, описание которых перегрузит семейную хронику и превратит ее в какой-то другой жанр.

Я, конечно, расскажу кое-что о себе, но лишь имеющее прямое отношение к жизни моих родителей.

Мне, конечно, не избежать описания отдельных "эпизодов" из жизни родительской семьи, но постараюсь ограничиться значимыми, имеющими достоинство **биографического факта**.

Когда началась война, мать со мной и тетя Маруся с сыном Володей уже в августе 1941 г. эвакуировались из Ленинграда в г. Уфу. Там жила "тетя Леля" (я не знаю, в каком родственном отношении она находилась с Пузановыми).

В Уфе мы пробыли недолго. Завод им. Ворошилова (на котором работал отец) эвакуировался сначала в г. Чкалов (Оренбург). Мать со мной переехала туда к отцу. Потом все вместе, ввиду дальнейшей эвакуации завода, переехали в г. Омск, где мы с матерью пробыли до 1944 г.

Уфу и Чкалов я помню смутно, а Омск – более отчетливо.

Отец работал на заводе, а мать не работала (разве что подрабатывала) и целиком посвятила себя мне.

Может показаться удивительным, что я в войну не только не потерял годы для учебы (как это было со многими моими сверстниками), а наоборот!

Мама учила меня сама, причем так, что когда в 1943 г. (мне 9 лет) она впервые отвела меня в школу – сразу в 3-й класс, оказалось, что мне там «делать нечего», и меня посреди учебного года перевели в 4-й класс. Его я успел закончить в Омске (кажется, даже с похвальной грамотой).

Но занятия матери со мной не ограничивались школьной программой. Сохранились мои детские тетрадки, где прописи – не только на русском, но и на немецком (даже готическим шрифтом) и французском языках.

Немецкий мать знала средне, а французский — превосходно. И она избрала оригинальный метод, о котором я и позже не слышал.

Мама брала старинную детскую или полудетскую книжку на французском языке (помню томики «Bibliothèque rose» с повестями графини де Сегюр) и читала мне вслух, тут же переводя с листа. Потом побуждала меня читать по-французски самого.

Когда дело дошло до Жюль Верна, я увлекся настолько, что стал читать только сам, со словарем (пользоваться которым был научен очень рано). Книги брали в городской библиотеке иностранной литературы.

В итоге, уже лет в 9-10 я стал даже «сочинять» по-французски (какой-то цикл рассказов из жизни зябликов — *les pincons*). А еще до этого «из-под моего пера» вышла «Повесть о Белочке-рыжехвостке», по-русски.

Произведения этого детского «литературного творчества» на русском и французском языках у меня сохранились. Мать буквально сделала из меня «вундеркинда» (по тем временам).

Мать придавала особое значение знанию иностранных языков. Если английский я потом изучал в школе, немецкий — в институте, то знание французского я получил с детства, от матери.

В Ленинград из Омска мы вернулись с матерью осенью 1944 г. Я пошел в 5-й класс 181-й средней школы (на Соляном переулке). Примерно через полгода-год к нам присоединился отец.

Родительская комната на ул. Некрасова сохранилась. В ней пережил блокаду муж моей тети Марии Петровны Владимир Васильевич Абрашкевич. Уцелели все довоенные вещи, книги.

Помню, мама тяжело заболела после возвращения в Ленинград. У нее обнаружилось острое малокровие. Спас ее добытый где-то печеночный экстракт.

Мама поступила преподавать в машиностроительный техникум при Кировском заводе (начертательная геометрия), потом преподавала в учебном комбинате ЛОНИТОМАШ (Ленинградское отделение НТО "Машпром"). Отец вернулся в Ленинград вместе со своим заводом и продолжал на нем работать. Я учился в школе.

[10.07.97. Надо сказать, что в Ленинграде мама в значительной мере переложила на школу мое обучение. Я не помню, чтобы она когда-нибудь проверяла мои тетради или — выучен ли урок. Мамина «домашняя школа» в эвакуации была сверхмощным зарядом, избавившим ее от необходимости вникать в детали моего школьного обучения.

Интересно, что при этом она иногда избавляла меня от «позора» неудовлетворительной оценки тем, что писала записку классному руководителю: «мой сын не был в школе (или — не выполнил домашнее задание) по семейным обстоятельствам».

В пятом классе я нечаянно нарушил какое-то правило поведения (я был слишком послушен, чтобы сделать это нарочно). Маму вызвали в школу и пригрозили меня исключить. Она хладнокровно спросила: «Значит, завтра мой сын может в школу не приходиться?»].

До 7-го класса мои школьные успехи были скромными. Однако постепенно я выдвинулся в "первые ученики". Заканчивал школу (в 1950 г.) с золотой медалью.

(Вообще, мой школьный выпуск 10-а 181-й школы был сильным. Три золотых медали, несколько серебряных. Все те, кто дошел до десятого класса — а многие отсеялись после пятого-седьмого — получили высшее образование).

В конце моей школьной биографии есть эпизод, очень ярко характеризующий мою мать. Я был определен ею в школу, где преподавался английский, «нарочно» — поскольку этому языку она меня не учила. Параллельно я совершенствовался в немецком и французском, у частных преподавателей, которых находила для меня мама.

В итоге оказалось, что экзамены на аттестат зрелости я могу сдавать по трем иностранным языкам (что, понятно, в тогдашней обычной школе было не принято).

Мама добилась (сохранилась собственноручная копия ее письменного обращения в органы народного образования), чтобы у меня таки приняли эти экзамены. Этот текст стоило бы приложить к этой хронике). В итоге, при поступлении в Университет, на филологический факультет, я сдавал в приемную комиссию уникальный аттестат зрелости, с отличными оценками по английскому, французскому и немецкому языкам.

(Сейчас сам этому удивляюсь, но во всех трех языковых экзаменах в школе я не произнес ни одного слова по-русски, даже излагаю правила грамматики. Ныне от такого владения языками у меня осталось мало).

Мать готовила меня к высшему гуманитарному образованию. И эта подготовка оказалась чрезвычайно сильной. Позднее, в институте, я учился исключительно на пятерки, был сталинским стипендиатом (что,

впрочем, по тем временам обеспечивалось не только успехами в учебе, но и общественной, комсомольской активностью).

Напомню, что в школу я пошел девяти лет, фактически сразу в 4-й класс. Когда после окончания школы я подавал документы в Университет, мне пришлось предъявлять метрику, а не паспорт (которого еще не было). Я был моложе своих одноклассников в школе и однокурсников в вузе на два года.

Стоит особо подчеркнуть, что всякие заботы о моем обучении примерно с шестого-седьмого класса мать прекратила полностью (если не считать иностранных языков). У меня же к 10-му классу сложилась личная установка «круглого отличника». Для этого имелись описанные выше общекультурные предпосылки, созданные матерью. Кое-что из этого раннего культурного багажа я в своей последующей жизни приумножил, многое подрастерял, но это — отдельная тема.

В детские и отроческие годы (совсем ребенком и позже, в 40-х гг.) я вел дневник. Эти тетради сохранились. Мне не хочется перечитывать их (там дикая смесь подростковой «эрудиции» и инфантилизма). Но, наверное, перечитать стоит. Может, там удастся найти что-то относящееся к матери и отцу, такое, что важно, а потом забылось.

Глава 6. Инженер, кандидат технических наук В.П. Пузанова

После войны моя мать Варвара Петровна Пузанова вернулась к работе в области теории машиностроения. Уже в 1947 г. в «Машгизе» вышла коллективная монография «Технологические припуски и размеры», где большой раздел написан ею.

Вскоре затем (1948 г.) – в том же "Машгизе" – оригинальный плод "профессионально-семейного" сотрудничества моих родителей. Это их обоих (в соавторстве) книга "Размеры и допуски в машиностроении".

Надо сказать, что мама с отцом, оба инженеры-технологи, составляли своеобразный «научно-технически-литературный тандем». В.П. Пузанова, известный еще своими довоенными трудами теоретик в области допусков и посадок и смежной проблематики (размерных связей механизма, взаимозависимости деталей в машиностроении). Н.Н. Алексеев — технолог-практик, руководитель инженерно-технологических служб крупнейшего оборонного завода.

Писала эту книгу, конечно, мама. Отец шутил, уже когда книга вышла: «Надо мне собраться, хотя бы прочитать свою книгу...». Думаю, однако, что это было достаточно равноправное разделение труда, соединение инженерно-практического опыта и научно-литературного таланта.

Из автобиографии мамы и соответствующих характеристик, можно судить о ее активности в качестве лектора, преподавателя, редактора. В течение почти 10 лет (с 1946 по 1956 г.) она работала по договорам с «Машгизом» и в рамках НТО Машпром (т. е. формально "не служила").

Иногда она заключала договора на редакторскую работу (в том же «Машгизе»).

Научно-техническая работа (лекции, научно-технические семинары и конференции). Член всяких бюро и комитетов в Ленинградском отделении НТО «Машпром».

В декабре 1953 г. (в возрасте 54 года) инженер В.П. Пузанова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ размерных связей механизма как основа для простановки размеров в рабочих чертежах». Защита происходила в Ленинградском политехническом институте. (Текст этой диссертации у меня сохранился).

Не помню, был ли уже к этому времени мой отец Николай Николаевич Алексеев главным технологом завода им. Ворошилова (пожалуй, еще только зам. гл. технолога).

Остановлюсь пока на этом рубеже.

[13.09.97. Сейчас, вводя этот текст в компьютер, уже дома, имея под руками издания книг инж. В. П. Пузановой, я мог бы дополнить эту главу цитатами из этих книг, вообще — осветить этот сюжет подробнее. Но мне хочется успеть закончить первую версию этого своего сочинения до 21 сентября, дня рождения моей дочери, к которому готовится этот отцовский подарок. Так что — отложу «до лучших времен», а если сам не соберусь, то дочь и сама может перелистать эти книги, выписать оттуда и вставить сюда, что сочтет нужным].

Глава 7. Родительская семья. Круг родственного общения

В начале 1950-х гг. (мы жили еще на ул. Некрасова) родительская семья приобрела автомобиль «Москвич», самая ранняя модель, стоившая тогда 900 руб. Это было событие, существенно определившее уклад жизни всей семьи. Инициатива этого приобретения принадлежала маме. Она же (уже в 50 лет) получила водительские права. Отец машину не водил. Я – получил водительские права по достижении 18-летия, в 1952 г.

И начались (сначала только мама за рулем, потом мы с ней — по очереди) поездки в Прибалтику, в Крым, на Кавказ, в Закарпатье, и еще более оригинальные маршруты, о которых скажу ниже.

Если мой дед Петр Михайлович Пузанов был одним из первых в Петербурге автомобилистов, то мама, наверное, одной из первых в послевоенном Ленинграде женщин-автолюбителей.

Удержусь от искушения рассказывать о наших путешествиях в ту пору, когда в России было всего две «европейских» (построенных, кажется, пленными немцами) автостреды: Москва-Симферополь и Москва-Минск.

Между Ленинградом и Москвой современная автострада еще только строилась, и мы застали участки дороги, вымощенные деревянными шашечками.

В 1952 или 1953 г. продали «Москвича», купили «Победу» (стоившую тогда 1.600 руб.). Я с увлечением водил машину, каждый день отвозил отца на работу с ул. Некрасова к месту, где сейчас расположена станция метро «Обуховская».

Что касается дальних (летних) поездок, то собственный автомобиль выступал не "средством передвижения" (скажем, на дачу, которой не было, или на пляж, к морю), а «способом существования».

Матери нравился сам процесс автомобильного путешествия. За месяц летней поездки «накручивали» на спидометре по 10 тыс. км и больше. Отец называл маму и меня «пожирателями километров».

(Еще, он шутил: «Когда сидишь в машине, не видно дырок на штанах»).

Функции вождения и технического обслуживания, по мере роста моего автомобильного опыта, все больше переходили ко мне. Мать водила машину очень осторожно и аккуратно, я – в меру «лихачил», однако за десять лет не было ни одного дорожно-транспортного происшествия (мелкие поломки и аварии, разумеется, бывали).

Я еще вернусь к рассказу о «члене нашей семьи» автомобиле "Победа". Сейчас же – еще о родственниках.

Как я уже говорил, я практически не знал родственников отца.

Из родственников по маминой линии моя родительская семья, еще с довоенного времени, была дружна с маминой сестрой, моей тетей Марией Петровной Пузановой и ее мужем Владимиром Васильевичем Абрашкевичем.

После войны они жили в Автове, на ул. Строителей (теперь ул. Маринеско), в 2-х комнатной квартире дома «сталинской постройки». Еще младшим школьником (в середине 40-х гг.) я часто бывал в этом доме.

О моей тете Марусе (Марии Петровне Пузановой) много теплых слов сказано в семейной хронике моей жены Зинаиды Вахарловской. <...> Правда, в 40-х — начале 50-х гг. тетя Маруся еще не работала в школе, не заведовала своим знаменитым кинокабинетом, столь памятным Зине *[учившейся в этой самой школе, как и мой двоюродный брат Володя и его будущая супруга Ира Яковлева. – А. А.]*. А чем тогда занималась Мария Петровна — точно не скажу, надо спросить моего двоюродного брата Владимира Абрашкевича.

Так же часто бывали и тетя Маруся с Владимиром Васильевичем в моем родительском доме.

Интересно, что вслед за моей родительской семьей семья Абрашкевичей приобрела автомобиль «Победа». Опять же — инициатива принадлежала женской стороне (Мария Петровна). Владимир Васильевич машину не водил. Потом семейным шофером и автомехаником (несоизмеримо более высокого класса, чем я) стал их сын (мой двоюродный брат, моложе меня на пять лет) Володя.

Не помню, ездили ли куда-нибудь вместе (двумя семьями), на двух машинах. Но первое большое путешествие на Юг на нашей машине совершали аж шестером (и как умещались!): мама, отец, я, тетя Маруся, Владимир Васильевич и Володя (мама была тогда еще единственным водителем).

Сохранилось много фотографий от этих путешествий.

Другая мамина сестра (средняя из трех сестер Пузановых), Елизавета Петровна – тетя Лиля – еще до войны переехавшая в Москву, вошла в круг нашего семейного общения где-то в начале 50-х гг.

Тетя Лиля с мужем (Георгием Николаевичем Брусенцовым) жили на тогдашней окраине Москвы, в Растокинском городке, в комнате (квартире?) в деревянном доме барачного типа (если правильно называть баракom двухэтажный дом). В отличие от мамы (инженера-технолога) и тети Маруси (педагога, организатора учебной кинематографии), тетя Лиля всю жизнь была «домохозяйкой».

Мне кажется, самореализация трех сестер Пузановых была различной по содержанию, но равно мощной. Елизавета Петровна была «высокопрофессиональной» домохозяйкой. (Высшего образования у нее, полагаю, не было).

У тети Лили был огород, какая-то скотина (куры, во всяком случае), и она всю жизнь посвятила заботам о муже и ведению домашнего хозяйства. Детей у Елизаветы Петровны и Георгия Николаевича Брусенцовых не было.

Отец ее мужа был кем-то вроде «садовода-мичуринца», и достаточно известен (я как-то раз был в его саду под Москвой). А сам Георгий Николаевич — инженер.

После первого визита в Москву к тете Лиле в начале 50-х гг. мы с мамой и отцом стали наезжать в Москву довольно час-то.

Кого еще я знал из маминых родственников? Я уже упоминал Веру Павловну Пивен. Пивен — это фамилия по мужу, девичью — не знаю. *[Как оказалось — Пузанова. См. раздел 24.6. — А. А.]*.

Было две сестры — Вера Павловна и Нина Павловна. Я не уверен, но предполагаю, что они были дочерьми брата моего деда Петра Михайловича Пузанова (или, может, дочерьми его сестры? Но Павел — одно и родовых имен Пузановых). Не исключено, впрочем, что они происходили из рода моей бабушки Ольги Николаевны.

У Веры Павловны от брака с Даниилом Яковлевичем Пивеном был сын Игорь (я его упоминал выше). Игорь Данилович Пивен, примерно 1924 г. рожд., воевал. Потом стал военным инженером, заслуженным изобретателем РСФСР, крупным специалистом в области надежности и остойчивости кораблей.

Кажется, был период, когда Владимир Васильевич Абрашкевич (муж моей тети Марии Петровны) был главным строителем крупнейшего военного судна на заводе им. Жданова, а Игорь Пивен — военпредом на том же заводе, приемщиком этого корабля (где-то в 60-х гг.). <...>

А в 40-х — 50-х гг. мне довелось знать мать Игоря Веру Павловну. Она жила где-то на Кирочной ул. (тогда — ул. Салтыкова-Щедрина). Я брал у нее читать книги из домашней библиотеки. (Кажется, «Всадника без головы» Майн-Рида).

Нину Павловну тоже помню. Даниил Яковлевич Пивен потом разошелся с Верой Павловной и женился на младшей сестре Нине. Сейчас никого из них уже нет в живых.

С Игорем Пивеном в последующие годы мы встречались редко, больше на семейных юбилеях. Помню похороны его отца Даниила

Яковлевича, но когда же это было? С Игорем больше общался мой двоюродный брат Володя.

Последний раз мы виделись лет 10 назад. Это было в его прекрасной квартире на Кировском (Каменноостровском) проспекте. Тогда я впервые познакомился с его женой (имени не помню). Во времена же моей молодости Игорь был женат на Наталье (с которой давно разошелся).

Игорь Данилович Пивен, мой старший (троюродный, как я понимаю) брат, мог бы, наверное, восполнить некоторые пробелы в этой семейной хронике, в частности, в родословной Пузановых. Надо бы разыскать его.

Но вернусь к началу 1950-х гг.

Глава 8. Сын — студент. Автомобильные путешествия

Мое поступление на филологический факультет Ленинградского университета в 1950 г. было предопределено мамиными культурными вложениями.

Возможно, мама прочила мне научно-филологическую карьеру, ожидала, что я стану «полиглотом». Во всяком случае, она согласилась с моим выбором славянского отделения филфака. (Я рассчитывал поступить в «чешскую» группу, но в том году — оказалась «болгарская»).

Я пытался также факультативно заниматься на отделении романских языков (французский язык), и даже, вольнослушателем, на историческом факультете. Но из этого ничего не вышло.

(Мои гуманитарные интересы со школьных времен были стимулированы, кроме мамы, также замечательным школьным педагогом Натальей Николаевной Житомирской, ведшей в нашем классе экспериментальную учебную программу по истории, до 8-го класса. Н. Н. Житомирская, впоследствии — педагог-методист, кандидат наук, скончалась в конце 80-х гг.).

Ученого-филолога и полиглота из меня не получилось (хоть я поначалу пытался, «по инерции», заданной матерью, изучать еще «дополнительные» языки). Мое славянское отделение было «переводческим» (т. е. скорее с прикладным уклоном). Но дело даже не в этом. К тому времени у меня возникли новые склонности и интересы.

9.07.97.

Надо сказать, что уже в конце школьного периода у меня стал назревать какой-то протест против «мамино» воспитания. Под влиянием школы, пионерского лагеря, других внешних воздействий, оно стало казаться мне слишком «камерным». Положение «мальчика в коротких штанишках» среди порой великовозрастных одноклассников (к старшим классам большинство их «отсеялось» из школы) тяготило.

[11.07.97. Мать дома звала меня «Мурлыша», почти как М. Цветаева своего «Мура». Меня дразнили этим прозвищем в школе. Впрочем, «официальной» школьной кличкой была «француз»: ведь я читал «Трех мушкетеров» в подлиннике].

Самоутверждения в школе через культурную эрудицию, «пятерки» — мне было недостаточно. Я занялся «самовоспитанием»: например, уроки танцев (чему мама не препятствовала). В то время ни к физическому, ни даже к домашнему труду я приучен не был.

[11.07.97. Похоже, что это, действительно, было недостатком воспитания. Сама мама занималась домашней работой без удовольствия, «через силу». Из хозяйственных нагрузок мне вменялось в обязанность только приносить дрова из подвала на пятый этаж (отопление в доме на ул. Некрасова тогда было печным). Помню, когда в первом послевоенном году мы ездили с матерью на картофельный участок, мама предоставляла мне читать Жюль Верна по-французски, пока сама полдела.]

Свою «слабосильность» я в инициативном порядке преодолевал занятиями в ДСШ (детской спортивной школе). И надо сказать, не без успехов: к последним школьным классам я научился делать сальто, стойку на кистях на брусьях, даже «большие обороты» («солнце») на турнике. Эти спортивные занятия я продолжал и в институте (заработал 2-й разряд по спортивной гимнастике).

Что касается «безрукости», то ее я преодолевал уже позднее — вождением и техническим обслуживанием автомобиля, а также на студенческих стройках. (С учетом этого и всей последующей биографии, руки у меня в конечном итоге оказались все же «не дырявые»).

Своего рода антитезой материнскому культурному воспитанию (иностранные языки, чтение — исключительно литературы прошлого века, так что первые книги советских авторов я читал уже только в 10-м классе) явилось начавшееся уже в Университете мое увлечение общественной, комсомольской работой (кстати, похоронившее надежды на овладение "множеством" иностранных языков).

Тут стоит заметить, что ни о какой моей «адаптации» к тогдашним общественным реалиям мама как будто не заботилась (разве что оберегала от «не нужной» информации). Мое «общественное возмужание» происходило если не вопреки, то независимо от родительского влияния.

Я не помню, чтобы у нас с матерью когда-либо возникали разговоры на общественно-политические темы. В комсомол (в школе) я вступал без родительского влияния. То же можно сказать о моей комсомольской карьере, начиная с первого курса Университета (на предпоследнем курсе я был даже «освобожденным» секретарем комсомольского бюро факультета). *[На филфаке тогда обучалось свыше 1000 студентов. – А. А.]*

Мама вообще считала себя как бы человеком "из прошлого века". Читала она почти исключительно старых авторов (особенно — на французском). Из "советских" ценила немногих (например, Паустовского). Стандартные формы советского коллективизма были ей заведомо чужды.

[11.07.07. Вообще, воспитательная установка матери относительно меня была, я бы сказал, "культурно-нравственной". Все идеологические ценности черпались мною извне семьи, все общечеловеческие — из круга чтения и общения с мамой.]

При этом мама, как мне кажется, вовсе не была принципиальным «дезаптантом», игнорирующим господствующие идеологические нормы. Так, в 50-х гг. своеобразным предметом ее самоутверждения (отчасти, может быть, также способом сдать кандидатский экзамен по философии) было окончание Университета марксизма-ленинизма (что она отмечала как свое "второе" образование в анкетах)].

[12.07.97. Уже много позднее я сформулировал собственное жизненное кредо: «Уважай других не больше, чем себя, и себя не больше, чем других!». Я думаю, мама согласилась бы с этой заведомо не коллективистской, но и не индивидуалистической формулой чувства собственного достоинства].

Если мою мать в партию наверняка не приглашали (хотя бы в виду дворянского происхождения), то иначе было с отцом. Он оказался «белой вороной» в кругу людей своего должностного положения. В чем тоже, думаю, не было особой идейно-политической позиции. (В семейной библиотеке, например, было и 3-е издание сочинений Ленина, и комплект журнала «Большевик» за 30-е гг.).

Общественная активность отца в молодости была такова, что (если верить его шутливому рассказу) он в 20-х гг. был избран секретарем райкома (или даже горкома!) комсомола (или партии, не помню!), вероятно, в Рыльске. Пока не спохватились, что он... не комсомолец (или не член партии).

Уже позднее (на моей памяти) отец, опять же шутливо, объяснял, как он оказался «беспартийным большевиком»: «Меня все спрашивают, почему Вы, Н. Н., в партию не вступаете? А я им отвечаю: "Я еще не созрел, не все понимаю". "Чего же Вы не понимаете, Н. Н.?" — «А вот не понимаю, как это получается: один член партии — дерьмо, другой — дерьмо, а в целом партия — ум, честь и совесть...».

(Вообще, отец «за словом в карман не лез». Похоже, его считали в этом плане «несерьезным» человеком).

С общественной активностью у отца сочеталась конфликтность на работе. Мама часто помогала ему в разрешении этих конфликтов тем, что сочиняла за него безупречно корректные служебные записки. Выручал его также безусловный авторитет профессионала.

[11.07.97. Заодно скажу о других родственниках. Тетя Лиля — «вечная домохозяйка» — была, разумеется, беспартийной. А вот тетя Маруся и Владимир Васильевич — оба были членами партии. В родственном общении это различие семей, впрочем, никак не сказывалось).

В период моей учебы в Университете (1950-1956 гг.) студенческие каникулы для меня делились на две части. Месяц — на студенческой стройке (все стройки — в Ленинградской области). Другой месяц — автомобильное путешествие с матерью и отцом.

Маршруты были не тривиальными для автолюбителей. Например, такой: Ленинград — Киев — Кишинев — Одесса — Херсон —

Симферополь – Ялта – Керчь – Сочи – Батуми – Тбилиси – Пятигорск – Ростов – Москва – Ленинград. Это все – за одну месячную поездку!

Останавливались на ночь, как правило, не в гостиницах, а где-нибудь в укромных уголках за лесополосой, у дороги. Костра не разжигали, опасаясь привлечь к себе внимание. Мама спала в машине (где сиденья не раздвигались). Мы с отцом устраивались под открытым небом, без палатки.

Больше двух дней нигде не задерживались, даже на Черноморском берегу.

Обычно посещали «памятные места». Заезжали и в Ясную поляну, и в Спасское-Лутовиново, и в Михайловское. Мать во время путешествий очень любила посещать храмы, монастыри (хотя религиозной не была). Как-то соединялись в наших поездках любованию природой, интерес к культуре и "охота к перемене мест".

Мне особенно нравились горные дороги с серпантинами. Справлялась с ними в качестве водителя и мама, уже в преклонном возрасте).

Часто брали с собой кота. Мама очень любила кошек, но не вообще, а именно данного, конкретного, своего кота. Первого, кого я помню (дымчатый «Пушок»), она везла с собой в теплушке, возвращаясь из эвакуации в Ленинград. Он, кажется, разбился, упав с балкона, с высоты 5-го этажа, в доме на ул. Некрасова.

Последнего из котов (черного) задавила машина на шоссе, где-то около Тосно, когда мы, вопреки обыкновению, оставили его у знакомых, по дороге на юг. Для матери это было большим душевным потрясением («Он, наверное, выбегал на дорогу, нас ждал...»).

Когда кот путешествовал с нами, мама, боясь, что он убежит и потеряется, выводила «зверя» из машины гулять на веревочке, с ленточкой. (Вообще, мама часто вела себя «нонконформно», не только в таких пустяках).

Кстати, как к «живому существу», со своими «нервами» и «душой», мама относилась и к автомобилю («машина устала, отдохнет и заведется», и т. п.).

Удивительно, что отец не пытался овладеть искусством вождения. Вообще, о нем ходили легенды, как об инженере, "шестым чувством" находящим ошибку в техпроцессе. Но сомневаюсь, чтобы он мог сам обработать какую-нибудь деталь на станке.

Мать же, в случае какой-нибудь неисправности в машине, рассуждала «с точки зрения теории». И часто ее предположения оказывались верными.

Мама отваживалась на путешествия и в одиночку. Помню, за год-полтора до своей кончины она одна приехала из Ленинграда во Львов (где я тогда был на военных сборах). А еще раньше — из Ленинграда в Куйбышев (где я тогда работал в газете после окончания Университета).

Глава 9. Сын вырос. Кончина матери

Примерно в 1955 г. наша семья рассталась с коммуналкой на ул. Некрасова, где прожили больше 20 лет. Отец получил квартиру в доме на

углу пр. Обуховской обороны и ул. Чернова, в 200 м от проходной своего завода.

Это была 2-х комнатная квартира. Рядом с домом был индивидуальный гараж. (Кстати, на ул. Некрасова гараж был тоже рядом, в бывшей подворотне, во дворе нашего дома; тогда такое было возможно).

По времени этот переезд совпал с моей женьбой. Моя первая супруга Елена Ивановна Алексеева (в девичестве – Ларионова) была студенткой того же филологического факультета ЛГУ.

Мама настояла, чтобы молодожены какое-то время пожили в квартире на пр. Обуховской обороны. Но вскоре мы с женой переехали к ее родителям (Ивану Ивановичу и Ольге Тимофеевне Ларионовым) на Поварской пер., рядом с Владимирской площадью. Там были две большие комнаты в коммунальной квартире.

Наши автомобильные путешествия продолжались, теперь уже вчетвером. Помню, гостила мама и в дер. Стрелке, Новгородской обл., где летом (а потом и постоянно) жили мои тещь и теща. Не сразу, но прочно мама приняла невестку к себе «в сердце». И моя нынешняя «сестра» Елена Ивановна бережно хранит память о моей матери.

Мама еще застала рождение моей дочери Оли (21 сентября 1960 г.). Но моя дочь может помнить ее не больше, чем я «помню» своего деда.

Минимум биографических сведений о себе (1957-1963 гг.), необходимых для дальнейшего рассказа о родителях.

Окончив с отличием университет по двум отделениям (славянское и журналистика), я стал работать журналистом. Как молодой специалист, я был распределен в газету «Волжский комсомолец» в г. Куйбышеве (ныне — Самара). Потом вернулся в Ленинград. Работал в молодежной газете «Смена». В 1961 г. вступил в партию. Потом «ушел в рабочие» — вальцовщик на Ленинградском заводе цветных металлов.

[12.07.97. Этот жизненный шаг имел множественную мотивировку. Но среди прочих мотивов был, похоже, и тот, о котором напомнил мне один партийно-журналистский чиновник в 1984 г. (при исключении «социолога-рабочего» из Союза журналистов). Тот был свидетелем моего первого «хождения в рабочие» в 1961 г. По его свидетельству, я тогда говорил при увольнении по собственному желанию из редакции газеты: мол, «хочу преодолеть недостатки семейного воспитания». Может быть, и говорил...

Стоит заметить, что ранее, еще в студенческие годы, переориентация с филологии на журналистику (обращенную во «внешний мир» специальность) также была неявной формой выхода из-под материнского влияния: «Ближе к жизни!». Прочие детали и обстоятельства этого жизненного поворота выходят за рамки темы настоящих записок].

Все эти годы я жил уже отдельно от родителей. Это было благом и для отца с матерью, поскольку в те годы они фактически разошлись и расселились в разные комнаты своей 2-х комнатной квартиры на пр. Обуховской обороны.

Отец был моложе матери на 4 года с лишним. К тому же, как уже можно было понять из всего сказанного выше, они были очень разными, не похожими друг на друга людьми. Отец был типичным экстравертом, мама — интравертом. Различны не только темпераменты, но и условия воспитания, культурный багаж, склонности и интересы. Принято было считать, что у мамы — «тяжелый» характер, а у отца — «легкий». Но неизвестно, что лучше, во взаимных отношениях.

[11.07.97. Мама была «чувствительной натурой», отец — как бы «толстокож». Какая-то повышенная «нервность» была в маме всегда — «капризы», в интерпретации отца. Между прочим, она всю жизнь курила].

Так или иначе, но на исходе третьего десятка лет совместной жизни срок семейного союза истек. (Хотя формально — развода не было). С какого точно времени начался разрыв матери и отца — я не знаю. Да разрыв и не был резким. Во всяком случае я «заметил» его уже только в квартире на пр. Обуховской обороны. Примерно к рубежу 50-60-х гг. моих отца и мать связывали только общая квартира, автомобиль (формально владельцем «Победы» была мама, а гаража, кажется, отец), да еще, конечно, общие профессиональные интересы.

У отца, как уже говорилось, появился внебрачный ребенок (отец помогал его воспитанию материально, но устойчивой связи там не было). А потом у него возникла действительно прочная связь с сослуживицей Лидией Михайловной (о чем маме было известно).

[11.07.97. Мама различала супружескую измену и «предательство». Тут, по ее мнению, было второе].

В 1958 г. вышла в свет еще одна книга инженера В.П. Пузановой — «Размерный анализ и протановка размеров на рабочих чертежах». А за год до этого, с организацией совнархозов, мама, уже в пенсионном возрасте, поступила на работу в Ленинградский совнархоз (технический, потом — отраслевой отдел), где проработала пять лет. Возможно, она искала материальной независимости от отца.

В 1963 г. мама, если и работала, то, видимо, уже не постоянно. При этом продолжались ее лекции, научно-технические доклады и т.п., в рамках Ленинградского отделения НТО «Машпром», где она была заметной фигурой.

В маминой автобиографии, датированной мартом 1963 г. записано: «В настоящее время я являюсь членом оргкомитета конференции по взаимозаменяемости, которая состоится в мае 1963 г.». Принять участие в этой конференции ей было не суждено. Моя мама скончалась скоропостижно 16 мая 1963 г., в возрасте 63 лет.

Смерть настигла ее в больнице, куда она была помещена по поводу инфаркта. Кажется, это случилось на 9-й день после первого инфаркта.

Это было накануне дня рождения отца. Рассказывали, что маму взволновал неожиданный для нее визит отца в больницу.

Я узнал о ее кончине от своей супруги Елены Ивановны, встретившей меня 17 мая у проходной завода после ночной смены.

Смерть матери была неожиданностью для всех, т. к. казалось, что состояние ее здоровья, после инфаркта, уже пошло на поправку.

Мама ушла из жизни, когда мне было 29 лет.

Моя мать Варвара Петровна Пузанова похоронена на Красненьком кладбище, рядом со своей матерью и отцом (моими бабушкой и дедом) Ольгой Николаевной и Петром Михайловичем Пузановыми. На этой семейной могиле регулярно бывают моя дочь Ольга и ее мама Елена Ивановна Алексеева. К моему стыду, редко бываю я. Я еще вернусь к теме родительских могил.

Надо сказать, что в возникших в последние годы жизни мамы родительских размолвках (а затем – разрыве) я всегда держал сторону матери.

Вообще, с мамой я был ближе, чем с отцом. Можно сказать, что «недостатки» матери казались мне продолжением ее достоинств, а достоинства отца – «продолжением» его недостатков. Сейчас удержусь от развития этой темы, выходящей за рамки семейной хроники.

(окончание следует)



Нора Райхштейн

Царица ночи, или ненужное письмо дочери

Предисловие Александра Ласкина

Предисловие

ВТОРОЙ И ПЕРВЫЙ
Привходящие обстоятельства



уда-то исчезли из нашей жизни вторые режиссеры. Буквально все – первые. Было время, когда на этих вторых держался театр. Кто осуществит вводы? «Разомнет» пьесу? Поруководит труппой в то время пока главный занят своими делами или решил отдохнуть...



Н.А. Райхштейн в фойе театра имени Ленсовета. 1987

В ленинградском театре Ленсовета в семидесяте-восьмидесятые годы всем этим занималась Нора Абрамовна Райхштейн. Неслучайно эпиграфом к своей книге «Осколки памяти» она поставила стихи Глеба Горбовского: «Рыжий ослик родом из цирка,/ Прямо на Невском, в центре движенья.../ Скромн ослик, немного грустный,/ Служит ослик, как я, искусству».

Последнюю строчку так и тянет перевернуть: служит ослик, как я... или я, как ослик... Ее жизнь была очень беспокойна и не предполагала особенной благодарности. Ясно же, что основная слава достанется не ей. Впрочем, такова участь хранительницы очага. Одно дело - хранить очаг, а другое - его возжигать.

Надо представить главного режиссера театра Ленсовета Игоря Петровича Владимировича – огромного, породистого, напоминающего сыгранного им Гаева, - чтобы стало ясно: черновую работу он не любил. Не барское дело – все эти вводы, дисциплина на гастролях, застольные репетиции... Для этого была Нора Абрамовна. В течение многих лет она без устали разводила, вводила, контролировала... Во многом благодаря ее усилиям этот театр существовал не только в дни премьер, но каждый день.

Человеку, согласившемуся быть вторым, не избежать обид. Даже те, кто работал с ней постоянно, отлично понимали, что роль у нее подчиненная. Помню, как после премьеры один замечательный актер сказал Владимирову:

- Только у нас это бывает. Кто-то трудится-трудится, а потом приходите вы, и все становится на свои места.

Надо сказать, на этот раз Владимиров не приходил долго. А потом пришел на три репетиции. Да из них некоторое время ушло на поездки в Управление культуры. Так что вмешательство было точечным. Основную работу делал не он.

Все же Игорь Петрович благожелательно улыбался. Наверное, он понимал, что в словах ученика есть преувеличение, но не мог не радоваться порядку. Порядок – это тогда, когда актеры четко отделяют Первого – и всех остальных.

Норе Абрамовне приходилось терпеть. По мере сил держать оборону. Постоянно учитывать привходящие обстоятельства. Ведь театральная среда – слишком плотная. Расслабишься, забудешь об осторожности, – и, считай, пропал.

Каждый день в девять утра в ее доме раздавался звонок. Звонил один известный петербургский театральный человек. Этакий бескорыстный (или не очень корыстный) собиратель театральных новостей. Чуткий улавливатель колебаний, постоянно сотрясавших окружающую художественную жизнь.

- Какие новости? - не здороваясь, начинал он.

«Сплётки», как любила выражаться Нора Абрамовна, в самом деле имели место. То одно, то другое. Странно, что при такой погруженности в театральную обыденность ей удавалось оставаться человеком трогательным, даже нежным. Поэтому лучшие ее спектакли – детские. В них она отрешалась от всего, что осложняло ее жизнь.

Назад, в детство!

В ее письме, которое вы вскоре прочтете, есть образ расцветающего кактуса. Уж ей ли не знать про расцветающие цветы? К ним она имела особую склонность. В ее «Снежной королеве» такой цветок красиво распускался под музыку Георгия Портнова. Для спектакля его специально сделал мастер на все руки - актер Сергей Заморев.

Лучший ее спектакль «Малыш и Карлсон» - тоже в каком-то смысле распускающийся цветок. Куда более поздние постановки уже давно стали историей, а он существует уже сорок четыре года. По театральным меркам – это почти бессмертие.

Сколько раз я смотрел этот спектакль и всякий раз думал: в чем тут тайна? Почему иные спектакли прожили один, два сезона, а этот все не сойдет со сцены. Да еще продолжает доставлять удовольствие – и актерам, и зрителям.

В этом все дело, - в удовольствии. А еще – в интонации. Казалось бы, интонация – это практически воздух. Была – и нет. В данном случае это не так. Сколько сменилось Малышей и Карлсонов, а интонация живет. Настолько верно она была найдена режиссером.

Детские постановки были для Норы Абрамовны отдушиной. Не только потому, что из второго режиссера она превращалась в первого. Главное, мир этих спектаклей не походил на тот, в котором она существовала. В нем отсутствовала повседневность. Трудно представить, что Малыш звонит Карлсону с вопросом: «Какие слёпки?»

Если что-то этот мир напоминает, то ее одесское довоенное детство. Или счастливые годы ГИТИСа, где она училась у М.И. Кнебель... Глава о Мастере в «Осколках памяти» называется «Ангел». Судя по этому тексту, Мария Осиповна вполне могла претендовать на место рядом со сказочными героями ее спектаклей.

Предыстория

На занятиях Мария Осиповна любила пересказывать спектакли двадцатых годов. Кое-какие оценки Нора Абрамовна сохранила.

Вот хотя бы такой пример. Оказывается, в «Сверчке на печи» Первой студии МХТ главным было «голосоведение». Спектакль не оперный, но прежде всего обращался к слуху. Он прекрасно звучал – и запомнился этим.

Институтский преподаватель учит не только мастерству. Не всякий, конечно, но Кнебель учила так. По крайней мере, два ее поступка для Райхштейн были особенно значимы.

После объявления войны Кнебель записала себя в паспорте еврейкой. Это один важный поступок. Второй прямо относится к преподаванию. Соученик Норы Абрамовны сотрудничал с органами. К сожалению, Мария Осиповна узнала об этом после того как в своей книге поместила снимок курса. Зато в последующих изданиях фото публиковалось без этого студента.

В начале девяностых Райхштейн предложила мне написать пьесу по «Рассказам юного врача». Хотя у нас ничего не вышло, но кое-что мне стало понятней о моем соавторе. Объясняя интерес к ранней прозе Булгакова, она сказала, что дело в таировской «Мадам Бовари». Там был многоэтажный дом, и в каждом его окне шла своя жизнь.

Выяснилось, что она уже давно приглядывается к этому дому. «Сверчок на печи» Сушkevича-Чехова-Вахтангова как-то проявился в ее творчестве, а теперь настало время для таировской конструкции.

Чаще всего гордятся тем, что до них ничего подобного не было, а тут режиссер настаивает на вторичности! На том, что в искусстве есть постоянные величины. Так что ничего странного нет в утверждении, что, к примеру, Грановский был в ее жизни, а Таиров еще нет.

Это и называется культурой. Включаешь в свои соображения не только настоящее, но и прошлое. Воображая будущую постановку, соизмеряешь ее не только со своими, но с чужими работами. Причем примеры выбираешь из числа тех, до которых вряд ли сможешь подняться.

Письмо

С восемьдесят девятого года Райхштейн служила в Александринском театре. Активными были лет десять. Потом она тяжело заболела. В последние годы уже не выходила из дома. Ясно отдавала себе отчет, чем в любой момент это может закончиться. Потому и написала письмо дочери.

Это самое удивительное из писем, относящихся к прощальному жанру. Уже не на сцене, а на странице она продолжала делать то, что делала всегда. Объяснять, указывать, сочинять формулировки... По сути, этот текст есть ее последний спектакль.

Кто герои? Она сама, дочка, первый муж... Сильнее всего звучит ее голос – особенно тогда, когда она говорит, что смерть не окончательна. Всегда есть возможность вернуться – ну хотя бы цветком кактуса.

В этом она вся. Неунывающая, трогательная, постоянно что-то придумывающая, находящаяся в обороне, готовая постоять за себя. Видите ли, даже со смертью она не совсем соглашается! Точно представляет, как ее обыграть!

За несколько дней до кончины к ней зашла ее соседка по дому – актриса Анна Алексахина.

- Анька, объясни ей, - Нора Абрамовна показала на сиделку, - какая я была.

Примерно такая интонация слышится в ее письме. Вот какой я была. Если вы будете меня вспоминать, то вы вспомните меня такой.

Александр ЛАСКИН

Нора Райхштейн

Царица ночи, или ненужное письмо дочери

Этой осенью у нас в Ботаническом саду произошло чудо, которое повторяется раз в три года.

Вооруженные видеокамерами и фотоаппаратами профессионалы ждали начала чего-то, что должно было вскоре состояться. Тишина... Такое впечатление, как будто в театре зрительный зал полон и замер и ждет поднятия занавеса.

А они все ждали пока начнет распускаться цветок большого кактуса под названием «Царица ночи». И он начал распускаться. Он начинал жизнь на глазах присутствующих. Распустился. Необыкновенно

красивый. Прожил столько времени, сколько ему было отпущено Богом, и начал медленно угасать. К утру он скончался. Прожил ЖИЗНЬ, для себя, вероятно, огромную и ушел в нирвану опять на три года.

О чем он успел подумать? Что его осенило? Сделал ли он какое-нибудь открытие для себя? Тайна. Его тайна. Никто не узнает, а если узнает – не поймет...

Странные мысли навещают меня иногда перед сном (а может быть, и не странные?): а если я не проснусь? Ну что ж, все-таки я прожила больше цветка кактуса. Но между нами есть разница – он спокойно распустился, прожил жизнь и закрылся, чтобы опять через три года возродиться на ночь.

А у меня больше не будет возможности «распуститься», как цветку кактуса, и начать жизнь с начала до конца и сделать все то, что не успела в первой жизни. Что ж... Да ничего...

Веселый человек всегда прав. Сказал Бабель. Я с ним согласна и всю свою жизнь была очень веселым человеком – до определенного времени. И, конечно, считаю, что почти всегда была права. А как же иначе?! Но теперь я не очень веселый человек. Я бы даже сказала – совсем не веселый человек, и далеко не всегда бываю права.

В одном я не изменилась. Это если говорить о моем творческом пути. Так сложилось – вся моя душа, любовь, радость и слезы был «сказочно прекрасны», то есть все, любой материал, попадавший в мои руки, превращался в сказку, имел сказочный конец или тоску по сказке. Я всегда исповедовала одно: взрослые – это состарившиеся дети. Не выношу названия – «детский спектакль». Есть такая мысль: «Детский спектакль – это спектакль для взрослых, подвинутый в сторону детства». Я и ставила «Золушку» четыре раза, и смею заверить, – это были четыре абсолютно разных спектакля. Я была тронута и тайно гордилась одним сюжетом. Мелочь, но не для меня. Когда я поставила в Молодежном театре мою любимую и грустную поэму «Там, где шиповник рос аленький...», в одной молодежной компании, «продвинутой» в современность, кто-то посмотрел на часы и сказал: «Пора, пошли к Золушке – у нее сегодня премьера». То есть я, оказывается, не оказалась незамеченной, и у меня было прозвище, и я гордилась этим. Меня называли незнакомые люди – Золушкой. Пусть. Я действительно всю жизнь была Золушкой. Только сейчас, когда я смотрю на свои больные ноги, я думаю: «Куда же девались мои хрустальные туфельки?». Вероятно, растаяли вместе с молодостью.

Я очень редко вижу сны. А недавно приснился странный сон – будто бегу я за мамой, а она недосыгаема, а я все кричу: ма-ма, ма-ма, ма-ма... Не догнала. Последнее время очень часто вспоминаю маму, больную, беспомощную, как ребенок, оставленную мной в Одессе с отцом, но без себя, без себя... Потом я приехала, чтобы увидеть ее в последний раз. Ушла она при мне, тихо-тихо. Уснула.

И мы с тобой, доченька, разлучены судьбой. Все правильно, но очень нелепо получилось. Никогда не думала, что часть моего существа исчезнет, и я останусь в чем-то ущербной. В начале я не очень ощущала потерю. Но шло время. И стало ясно: неизбежность происходящего

трагична для моего организма. И стала я вспоминать... Вспоминать, как все началось.



Н.А. Райхштейн с дочерью Е. Шор в ее доме в Германии. 1997

Доченька, я помню, что не сразу после твоего рождения поняла, что ты – ЧЕЛОВЕК.

Во-первых, наше знакомство произошло в несколько агрессивных тонах (с твоей стороны): когда мне принесли какой-то маленький сверток, и я приложила свою грудь к твоему роту, ты высунула язычок и активно выплюнула сосок (правда, как потом выяснилось, там не было молока). Когда тебе было три месяца, папа пошел с тобой гулять, вез тебя на санках, а одновременно на ходу читал книгу. Прохожие обратили его внимание на то, что если его это интересует, то по ходу он как бы потерял ребенка. Действительно, ты соскользнула с санок. Он возвратил тебя на место и так разволновался, что присел отдохнуть. Присел на скамейку около детского сада прямо под надписью: «В детском саду карантин – коклюш». Ну, он плохо видел, не прочел, но ты взяла это сообщение на заметку и немедленно заболела коклюшем. Тогда в нашем доме появилась наша НЯНЯ (царство ей небесное).

Ходить ты начала поздно, годика в два. То есть ты ходила, но не подозревала об этом: тебе достаточно было ухватиться пальчиком за чей-нибудь палец или за хвост чьей-то юбки, и ты пускалась в путешествие. Но однажды мы решили предоставить тебе свободу – уселись все по разным местам, а тебе хотелось пройтись, а мы не помогали тебе, а ты нас перехитрила – взяла в ручонки большой мяч и, крепко держась за него, пошла по комнате сама.

Каждый день рано утром ты вставала в своей кроватке и, держась ручонками за нее, играла роль будильника: «Папа, тавай, мама, тавай, на боботу пора!». Выходными днями пренебрегала. Ну, мы всю жизнь и уходили на «боботу». А ты подрастала с НЯНЕЙ.

Прошло несколько лет, и ты постепенно становилась моей подругой, я все узнавала про тебя и от тебя, а ты постепенно узнавала все про меня и от меня. Основной моей мечтой была мечта: театр не должен стать твоей мечтой. Когда я думала о твоём будущем, в моей памяти вставали десятки молоденьких, хорошеньких, способненьких актрис. Они

хотели, они могли, но редко кому удавалось устоять, утвердиться, состояться. И мне категорически не хотелось пополнить их ряды тобою. И, слава Богу, мне это удалось. Ты совсем доросла до меня, побывла со мной, а потом пошла по жизни дальше. Сама. Одна. Без меня. Не прямой дорогой шла. Но все равно мы были вместе и на равных некоторое время. Постепенно я стала отставать. А ты шла вперед. Спотыкалась. Искала. Нашла... Теперь ты далеко. Не столько географически далеко, сколько существом своим уходишь все дальше от меня и дальше. И это хорошо, естественно, грустно до безумия, но неизбежно. Ты по-другому мыслишь, живешь, существуешь. И правильно. И пусть дорога твоя будет светла.

А я останусь здесь, в другом времени. Знаешь, теперь часто вспоминаю о чем-то хорошо знакомом, интересном, близком – и вдруг оглядываюсь и вижу глаза, которые не понимают и не могут понять даже о чем, или о ком, или про что это я... И понимаю: я осталась в том веке со всеми своими чувствами, мыслями и понятиями. Помнишь, в Летнем саду памятник великому баснописцу Крылову? Сидит дедушка, а вокруг герои его басен. Очень мило. Так и я: сижу в окружении своих Золушек, Карлсонов, и ни шагу назад, ни шагу вперед, только мысли шелестят в душе, как листья в Летнем саду.

А когда придет мое время уходить, ты, доченька, так же, как и я, ничего не сможешь сделать. Не тоскуй! Прошу тебя! Так надо. Не волнуйся: я вернусь расцветающим кактусом. Я решила. Честное слово!

Публикация Елены Шор



Ася Лapidус ...И легкокрылый Серафим...

Заметки на полях – вкривь и вкось

*Бьют часы, ядрена мать,
Надо с бала мне бежать!*
Ю.Михайлов. Золушка

*Советская власть –
Никак тебе не пропасть...*



В каком году – рассчитывай, в какой земле – угадывай, а точнее 9 декабря 1971 года в Москве состоялась защита кандидатской диссертации Наташи Романовой с последующим, как водится, банкетом и развеселым состоянием духа, что привело к временному раздвоению толпы празднующих – мы втроем поехали для скорости на такси за выпивкой к запасливому Мигулину, а остальные напрямиком к Надьке домой – квартира которой была уготована для продолжения веселий. По дороге - в метро им встретился Ким – да, тот самый – Юлий Ким, с которым Наташин муж Дима Гордеев работал в небезызвестном Колмогоровском математическом интернате. Так что пока мы ездил за горячительным, толпа радостно пополнилась Кимом, которого уговаривать не пришлось. Так же без уговоров он уселся у Надьки за пианино и пел-играл с заметным удовольствием.

Что-то невероятно легкокрыло-прелестно-прельстительное было в его облике. За окном сновала неподъемная серая жизнь, а тут был праздник – именины сердца. Никого из гостей я не помню – подвираю, конечно, Кляцкина помню отчетливо, особенно разговор с ним о Наташиной диссертации – скупой на комплименты и вообще на разговор, Кляцкин проскрипел с явным удовольствием – настоящий уровень. Так или сяк - Ким прямо перед глазами. Совершенно нездешний – казалось бы, концертные фалды фрака, а не пиджачишко должны развеваться за спиной, и публика – не чета нам – дамы в соболях в сопровождении черно-белой мужской степенности – и мельтешение звуков в ожидании концерта. Совершенно сюрреальная картина эта ошеломила бегом книжных аллюзий – но увидела я все это невероятно отчетливо. И ножом по сердцу – не было надежд – ни малейших – оттепель ушла в прошлое.

Между тем, Дима Гордеев возьми да изобрази нашу постбанкетную вахханалию очень даже реалистически - и время и место и

публику – разумеется, не без присущей ему карикатурности, но абсолютно узнаваемо – на переднем плане Ким, там же и Гайдуков и Надька, и Дима тоже там, и даже я – такое вот документальное подтверждение моим реминисценциям.



Д.Гордеев. Портрет Ю.Кима

А потом случился спектакль, на который Валера Голиков щедро привел нас целой гурьбой. Спектакль – насколько я помню, назывался Золушка и должен был идти в Театре Советской Армии, куда мы тогда, благодаря Голикову, попали на генеральную репетицию. Уже сейчас, по моему нетерпеливому востребованию, интернет в лице Гугла мгновенно подсказал, что было это в 1975 году, и назывался спектакль по-другому - Странствия Билли Пилигрима, а Золушка была очень небольшой частью его. Но я помню только Золушку – никуда не денешься, фраза оттуда – Любишь-найдешь - навсегда застряла в моем лексиконе, равно, как и огромный сапог на сцене – вклинился в поле зрения.

Здание театра под тенью музея все той же Советской Армии – величественный пентагон сталинского ампира – не знаю, как у всех - у меня ассоциировалось с красными советскими знаменами, с общественным трауром серпасто-молоткастых святынь. Но тогда – тогда то, что происходило на сцене – было несусветной вольной вольницей и совершенно не вписывалось в подсоветскую систему. Это казалось, да и было ошеломляющим - сумасшедше – сносшибательно талантливым. Суховато-жесткий Воннегут оборачивался искрометной иронией совершенно другого – комедийного толка, завораживающим - немислимым свободомыслием. Звали Золушкиного автора Ю.Михайловым, а был он на самом деле Юлием Кимом. Изгнанный не только из почетного интерната, но и отовсюду, он гениально перевоплотился под другой фамилией, подарив нам казалось бы легкомысленный – воздушный спектакль – с витаминным привкусом свободы...

Время течет – хоть шути-не шути... Концерт в Нью-Йорке - 1992 год. Огромный зал – по-моему, Хантер колледжа. Деревянные кресла – деревянная обшивка стен. Я уселась в первых рядах – пришла одна – встретиться с прошлым полагается наедине.

Ким маленький - легенький, может для кого постаревший, а по-моему молодой – конечно, мне его морщины заметны, а у кого их нет? – все тот же – лучезарный. Он тихо говорит – рассказывает об Израиле. Пересказывать не буду – он об этом пишет сам – куда лучше. А потом он поет под гитару – ничего не завяло, не увяло – как было, так и осталось – талант – это навсегда. И независимость – негромкая, но отчетливая. А вот дам в соболях и джентльменов во фраках не было – да и сам Ким был мало приметен в темной рубашке с распахнутым воротом – обманул мираж. Но оказывается, ему не нужны крылья фрака – он и без них летающий. И как ни кинь – дороги судьбы неисповедимы – этот школьный учитель не только истории и литературы, но еще и суконно-посконного обществоведения, с непростыми исходными данными непростой биографии, а поди ты – под несерьезный вальсок лукавого легкомыслия пригласил своенравную францужистую *liberté* на просторы родины чудесной – пусть на короткий, но освежающий танец.

Я было поставила точку – но случилось непредвиденное, вместо меня многоточие поставил сам Юлий Черсанович своими заметками об Израиле. Дозвольте процитировать:

«А что я знал об Израиле? Ничего. И вот он предо мною. Меня по нему водили, возили, таскали и прогуливали наши бывшие москвичи, питерцы и харьковчане – как, впрочем, и по Америке-Канаде. Но здешние-то таскали и гуляли меня по своей земле. По своей – не только в смысле паспорта и гражданства. А по чувству. Наши американские или европейские – приживалы. Здешние – свои».

Комментарии излишни. Господи, прости душу грешную – прости и помилуй – меня, приживалу несчастную, ни ко времени, ни к месту обидчивую.

Между тем, реинкарнации продолжаются. Вот и не знаю, что на это сказать. - О русская земля, как хорошо, что ты уже за холмом... или – Пожалуйста, восстань, пророк, или еще что-нибудь - как водится – не впадет, например - Эх, хорошо Страной любимым быть – здесь свои – там чужие.

И тем не менее, нет у меня никакой уязвленности-оскорбленности – все улетучилось, не успев, как следует появиться. Дело известное - каждому времени и каждому месту – свои песни, не говоря о том, что каждый слышит, как он дышит.



Михаил Цаленко

Взгляд назад невидящих глаз

(окончание. Начало в №3/2013 и сл.)

Последний месяц лета



так, в сентябре 1988 года я перешел на работу в историко-архивный институт и приступил к работе в качестве заведующего новой кафедрой математики, включенной в состав факультета научно-технической информации. Вместе со мной в институт перешли Женя Бениаминов и Аркадий Вайнтроб. Витя Васильев перешел на работу, предложенную Гельфандом. Через год к нам присоединилась Наташа Березина, ставшая заведующей вычислительной лабораторией факультета. Остальные члены нашей прежней лаборатории не имели необходимого математического образования и педагогического опыта. На кафедру перешли уже работавшие в МГИАИ Светлана Алексеевна Ганнушкина и Елена Александровна Куренкова. В таком стартовом составе мы начали новый учебный год. Мне пришлось лихорадочно изучать программы математических курсов, внося на ходу коррективы, читать лекции по новому для меня курсу "Дискретная математика", осваивать новое жизненное пространство и новую среду обитания.

Институт располагался в самом центре Москвы на улице Двадцать пятого Октября, ныне Никольской улице, в когда-то красивом здании греко-римской-славянской академии, требовавшем капитального ремонта. Институт также занимал отдельные здания на Никольской, ранее принадлежавшие Русской православной церкви. Разумеется, все здания не предназначались изначально для учебных целей и были грязными и полутемными, что особенно меня раздражало.

Через пятнадцать лет я встретился со студенческой средой, сильно отличавшейся от студенческой среды мехмата шестидесятых и от среды моих слушателей в военной академии, и к которой тоже надо было приспосабливаться. Моральная деградация советского общества, мгновенно проявившаяся при быстром распаде социалистической системы и отторжении коммунистической идеологии, не могла не затронуть молодое поколение. Для многих студентов целью стало получение диплома, а не знаний, они предпочитали продавать пиво с ящиков у станций метро или подрабатывать в кооперативах и не посещать

занятий, зная, что найдутся преподаватели, которые за соответствующую плату поставят нужную оценку и напишут дипломную работу.

Уровень моральной деградации студентов наглядно демонстрирует мой разговор с нашей выпускницей Наташей Кабановой. Начиная с 1988 года, Наташа три года слушала мои лекции и посещала семинарские занятия. На первых порах она с трудом понимала самые простые вещи, и ей приходилось пересдавать экзамены, чтобы получить тройку. Но она проявила поразительное упорство, и на третьем курсе достигла такого уровня, что я смог поставить ей пятерку. В конце пятого курса она пришла ко мне в кабинет и попросила написать рекомендацию для поступления на специальную программу какого-то американского университета. Я сказал: "Наташа, мне известно, что ты не писала свою дипломную работу". В ответ я услышал: "Я выучила английский, работала переводчицей на международной выставке, я свои пятерки на жопе высидела и не собиралась на эту ерунду время тратить". "Пошла вон", - ответил я, пораженный цинизмом услышанного.

Конечно, среди студентов были способные и старательные молодые люди, стремившиеся получить современное образование. Один из моих студентов Евгений Долгий создал автоматизированную систему обучения языку программирования Foxpro и получил за эту работу премию Национальной ассоциации по искусственному интеллекту. Другая моя студентка Элина Третьякова прошла преддипломную практику на фирме у Алеши Голосова и создала схему реальной базы данных, оцененную, по утверждению Голосова, в два миллиона рублей. Вполне доверительные отношения сложились еще с одним дипломником Олегом Матвеевым, рассказавшим мне, как КГБ организовывало предвыборную кампанию Жириновского осенью 1993 года. В результате выборов партия Жириновского набрала больше всех голосов.

Ректор института Юрий Николаевич Афанасьев запомнился советским людям фразой об агрессивно-послушном большинстве горбачевского Верховного совета СССР. Недаром Клара Новикова шутила, что с Афанасьевым любая женщина даже в Сибирь поедет.

После успешного окончания исторического факультета МГУ в 1956 году он был направлен на стажировку в Сорбонну и после возвращения довольно быстро стал проректором Высшей школы комсомольского движения, защитил докторскую диссертацию по историографии Коммунистической партии Советского Союза и впоследствии вошел в состав редакции журнала "Коммунист". Будучи высокообразованным человеком и хорошо понимая разницу в развитии гуманитарных наук в западных странах и в СССР, Афанасьев в начале перестройки получил возможность преобразовать закосневший гуманитарный институт в современный учебный и научный центр. Многие он смог сделать, но в итоге институт, преобразованный в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), оказался под управлением людей, не имеющих ни глубокого понимания исторических процессов, ни афанасьевского размаха, но зато накопивших серьезные личные претензии к своему бывшему вождю.

Институтом, кроме ректора, управляли два проректора: проректор по учебной работе заведующая кафедрой истории средних веков Наталья Ивановна Басовская и проректор по научной работе Виктор Александрович Муравьев. Выпускница исторического факультета МГУ Басовская не только любила свой предмет, но и мастерски читала лекции, заражая студентов своим энтузиазмом. Миллионы слушателей радио "Эхо Москвы" в настоящее время сами могут оценить ее мастерство рассказчицы: каждую субботу она ведет передачу "Все так". Одновременно Наталья Ивановна наслаждалась своей административной властью, будучи правой рукой известного всей стране ректора. Она много времени проводила в своем кабинете, вникала в дела каждой кафедры, вела доверительные долгие разговоры за закрытыми дверями своего кабинета и пыталась быть в курсе всех сплетен и интриг, без которых маленький историко-архивный мир немислим.

В отличие от Басовской Муравьев достаточно формально исполнял свои обязанности, по существу не вмешиваясь в научную работу кафедр, не пытаясь освободить исследования по истории от догм коммунистической идеологии. Думаю, что он, как и полагалось историку, опасался возможной реставрации. В определенной степени он оказался прав: реставрация произошла не в сфере идеологии, а в политической системе, когда КГБ пришло к власти вместо ЦК КПСС. Через два года Муравьева сменил на посту проректора заведующий кафедрой истории СССР Ефим Иосифович Пивовар, старавшийся реализовать научные проекты ректора. Он умел поддерживать хорошие отношения со многими заведующими кафедрами и одновременно держаться в тени, не обладая ораторским искусством Афанасьева или Басовской. Тем не менее он впал в немилость и был вынужден уйти из РГГУ. Однако в российской действительности по-прежнему молчаливники выходят в начальники, и ныне Пивовар - ректор РГГУ.

Осенью того же года в давно не ремонтировавшемся актовом зале МГИАИ произошло важное для политической жизни России времен перестройки событие – по инициативе А.Д. Сахарова, Ю.Н. Афанасьева, Р.З. Согдеева, А.М.Адамовича и А.Б.Мигдала был создан общественно-политический клуб московской интеллигенции "Московская трибуна". Мы с Машей попали на учредительное собрание благодаря Свете Ганнушкиной, и с тех пор почти ни разу не пропустили заседаний. В результате мы познакомились со многими т.н. либеральными политиками, журналистами, экономистами, чьи имена мелькали на страницах журналов и звучали по радио и телевидению. Позже я остановлюсь более подробно на деятельности "Московской трибуны", а сейчас отмечу лишь существенный и одновременно курьезный факт: вопрос о членстве в "Трибуне" был поднят на первом же заседании и никогда не был решен. Вспомним, что именно этот вопрос оказался важным в истории России, расколов российскую социал-демократию на большевиков и меньшевиков.

Учреждение "Московской трибуны" состоялось промозглым и дождливым ноябрьским вечером, заседание окончилось после одиннадцати часов вечера, но, выйдя из здания института, мы с

удивлением обнаружили на внешних подоконниках "наблюдателей", хотя вход в актовый зал был свободный и любой желающий мог в него войти.

Этой же осенью нам в руки попал машинописный экземпляр книги Шафаревича "Русофобия". Мы сделали для себя несколько дополнительных экземпляров. Один из этих экземпляров я отдал Сахарову на очередном заседании нового клуба и попросил его отреагировать на текст одного из членов его правозащитного комитета. "Я попрошу Леонида Михайловича Баткина написать ответ", - ответил Андрей Дмитриевич, но Баткин ничего не написал. Короткий яркий ответ написала Света Ганнушкина. Однако труд Шафаревича требовал тщательного анализа, и среди наших друзей имеется человек, не понаслышке знающий средневековую еврейскую теологию. Его зовут Борис Кушнер. Я познакомился с Борей осенью 1960 года, когда мехматское бюро ВЛКСМ назначило меня одним из редакторов факультетской стенной газеты, сочтя неприличным, что Ленинский стипендиат не имеет общественной работы. В состав моей редакционной группы был включен второкурсник Боря Кушнер. Нам нужно было выпустить новогодний номер газеты, и Боря предложил придать газете форму новогодней елки, поместить стихи и картинки о том, как отмечали Новый год на мехмате в разные исторические времена, в центре поместить зеркало, окаймленное надписью "Лучшие люди мехмата", преподнеся каждому читателю приятный сюрприз. Идея настолько всем понравилась, что в день перед выпуском мы работали до двух часов ночи. Но наш труд студенты не увидели: утром в половине восьмого на факультете появились уборщицы, в восемь часов газету сняли, а в десять часов, как только я появился на мехмате, меня вызвали в партбюро. Там на столе лежала наша газета с дыркой в середине вместо зеркала. Не имеет смысла пересказывать предъявленные мне претензии. В результате факультет остался без новогодней газеты, и наша редакционная группа перестала существовать. К моему удивлению, никаких дисциплинарных мер против нас не предприняли – наши шалости не носили политического характера.

С Борей мы снова встретились через десять лет, когда он со своей женой Мариной и двумя детьми въехал в кооперативный дом на проспекте Вернадского, построенный для сотрудников МГУ. В этот же дом въехал и Роберт со своим семейством, и Марк Фрейдлин. О разнообразии Бориных талантов и его активной творческой деятельности я не стану рассказывать, так как он сам опубликовал свою автобиографию, которую можно найти на Интернете. Удивительно другое: квартира Кушнеров располагалась непосредственно над квартирой Гольдштейнов, и Боря постоянно развлекал соседей своими музыкальными импровизациями. Теперь Боря и Марина живут в Питтсбурге, а их младший сын живет в Сан-Франциско. Родители регулярно навещают сына, а заодно и нас.

Не дождавшись ответа Баткина, я попросил Бору прокомментировать "Русофобию". Недавно выяснилось, что с подобной просьбой к Кушнеру уже обращались его друзья, и его развернутый ответ Шафаревичу уже был написан, но он был опубликован только после

выезда Кушнеров из СССР в феврале 1989 года. Через десять лет после публикации Шафаревич счел необходимым отреагировать на некоторые замечания Кушнера, умолчав о том, кому он отвечает.

Зимой 1989 года в издательстве "Наука" вышла моя книга "Моделирование семантики в базах данных", и после этого я подал в Ученый совет ВИНТИ докторскую диссертацию по информатике. Хотя к этому времени я мог бы подать снова диссертацию по математике, но я не хотел наступать себе на горло и идти на поклон к тем же антисемитам. Даже во время начавшейся перестройки никто не собирался анализировать деятельность ВАК в семидесятые годы и открыто признавать погром в советской науке. На мое обращение к Горбачеву с требованием ревизии решения ВАК я получил ответ, что могу снова защищать докторскую диссертацию по математике.

Все как бы шло по плану, но неожиданно началась моя административная карьера, вызвавшая серьезное недовольство моей жены. Здесь надо поговорить о роли человеческих амбиций не только в судьбах отдельных людей, но и в истории народов. В Советском Союзе много способных людей явно или неявно ощущали недореализованность своих потенциальных возможностей, а развал советской системы позволил некоторым людям почувствовать, что пришло их время. Такие люди появились всюду – в политике, в экономике, в журналистике, в культуре. Далеко не все почувствовавшие добились успеха, но многие попробовали проявить свои возможности. Амбиции людей далеко не всегда соответствовали их реальным личным способностям, но в истории успех часто достается не тем, кому следовало. В постсоветской России за примером далеко ходить не надо: в переломный момент истории первым президентом России стал Ельцин, а в Чехии первым президентом стал Гавел.

У меня с самого начала было скептическое отношение к перестройке, начатой сверху, и к попыткам искать новых лидеров в Политбюро. Ни о какой административной или политической карьере я и не думал. Единственно, что я позволял себе, - коротко и определенно выражать свою личную оценку происходящего в стране на заседаниях "Московской трибуны". Однако мой хороший знакомый Виктор Константинович Финн лучше меня почувствовал возможности нового времени. Он имел определенное влияние на Афанасьева и убедил ректора в целесообразности преобразования факультета научно-технической информации в факультет информатики и избрать меня деканом нового факультета. Идея Финна понравилась Афанасьеву еще и потому, что он хотел избавиться от прежнего декана В.Р. Серова, который до сих пор остается для меня загадочной фигурой. Пожилой маленького роста худой человек тихо, не повышая голоса, был по существу диктатором на факультете. Детали его биографии были удивительны: генерал-лейтенант в отставке, работавший в закрытом заведении, неизвестно за что получивший Государственную премию и степень доктора наук, вдруг оказался в совершенно гуманитарном вузе, но вне специального факультета секретного делопроизводства, а на весьма специфичном факультете научно-технической информации. После недолгих колебаний

я принял сделанное мне предложение, и вскоре оказался погруженным в административные заботы, поскольку у факультета не было постоянного помещения, и в течение двух лет мы трижды переезжали из одного арендованного помещения в другое. Самым катастрофическим оказался переезд в освободившееся школьное здание около метро "Преображенская" зимой 1991 года, когда от сильных морозов лопнули водопроводные трубы со всеми вытекающими последствиями: факультет не мог работать без действующей системы канализации. Привычный порядок жизни вдруг рухнул, я каждый день стал уезжать в институт, вечерами телефон звонил непрерывно, а Маша недовольно повторяла, что я вместо научной работы предпочел заниматься ремонтом унитазов. Последний переезд факультета в завоеванное Афанасьевым после провала августовского путча здание Высшей партийной школы состоялся без меня, потому что весенний семестр и лето 1991 года я провел в Гамбурге, где в Высшей технической школе читал курс алгебры для будущих инженеров и специалистов по вычислительной технике.

Среди всей этой суеты защита второй докторской диссертации прошла без волнений и чрезмерных эмоций, известные оппоненты профессора В.А. Успенский (МГУ, ВИНТИ), Д.А. Поспелов (ВЦ АН СССР), А.В. Бутрименко (МЦНТИ) произнесли хвалебные речи, к которым присоединились и некоторые члены Ученого совета, знакомые мне только по фамилии, и только член совета Н.М. Остиану, геометр по специальности, тесно связанная с антисемитом Позняком, спросила меня о наличии пересечений с моей предыдущей докторской диссертацией. Получив заверения в том, что пересечений нет, она больше вопросов не задавала, но думаю, что единственный голос против принадлежал именно ей. На сей раз ВАК без задержек утвердил диссертацию. Через год также без промедлений ВАК присвоил мне звание профессора, и на этом закончились наши "дружеские" отношения.

Став деканом, я, опираясь на активную поддержку и помощь своего заместителя Михаила Самуиловича Певзнера, решил автоматизировать работу деканатов, привлекая студентов к написанию программ и к коллективной осмысленной работе. Заодно работу получили сотрудники лаборатории вычислительной техники под руководством Наташи Березиной, а преподаватели, читавшие курсы по программированию, получили наглядный пример того, как надо обучать студентов работе на ЭВМ. Весной 1990 года Певзнер неведомым мне образом познакомился с приехавшим в Москву профессором английской литературы одного из небольших колледжей штата Юта, центра мормонской религии. Профессор, немец по происхождению, ставший мормоном и заведший большую семью, очень заинтересовался нашим гуманитарным институтом, Москвой и историей России. Он захотел привезти своих студентов в Москву. Признаюсь, я отнесся к этой идее скептически, но оказалось, что в неформальной ситуации комсомольские организации могут действовать весьма эффективно. Секретарь комсомольской организации факультета Илья Резников, прошедший армию, деятельный и изобретательный, быстро организовал группу студентов, готовых принимать дома иностранных гостей, и эта группа

разработала план экскурсий и развлечений для американских студентов. Приглашение было отправлено в неведомый американский штат и в еще более неведомый местный колледж. В июле в МГИАИ появилась группа упитанных розовошеких молодых людей, которая после моей короткой приветственной речи была отдана в распоряжение команды Резникова. Провинциальные американские юноши и девушки были ошеломлены устроенным им приемом и, вернувшись домой, с таким восторгом описывали свою поездку в Москву, что граждане штата Юта собрали специальный фонд для ответного приема советских студентов.

Тем временем в нашей семье начались передвижения на Запад. Второй муж нашей старшей дочери Лили получил приглашение на работу в известный калифорнийский университет в Беркли, и в августе 1990 года мы простились с ними и с нашей первой внучкой Инночкой в Шереметьево. Инночка жила вместе с нами со дня своего рождения, и в первые месяцы я часто сам ее купал по вечерам, пеленал, кормил и укладывал спать. Инна довольно рано научилась читать и очень любила, когда ей читали. По утрам она не будила родителей, а являлась растрепанная в нашу спальню с книгой в руках и плаксивым голосом требовала: "Муся, читай!" Машу в семье с детства называли Мусей, и все внуки называют ее только этим именем. Инна рано пошла в школу, и ее первая учительница Татьяна Михайловна Великанова, известная правозащитница, сразу разглядела что-то необычное в ребенке, сказав, что она звезда. Через двенадцать лет в другой стране ее предвидение в определенной мере подтвердилось. Но в разгар лета 1990 года в аэропорту Шереметьево я передал из рук в руки Лиле нашу старшую внучку, не зная, когда мы увидимся вновь.

Я увидел Лилю и Инну через четыре месяца. Из Юты пришло официальное приглашение, у нас уже была сформирована группа студентов, Резников взял под контроль своевременное оформление выездных документов, и все шло гладко до тех пор, пока не дошла очередь для покупки авиационных билетов. В кассе Аэрофлота нам сказали, что у них нет билетов в США на декабрь, а приглашавшая сторона хотела принимать нас на Рождество. Но благодаря влиятельным связям включенного в студенческую делегацию Саши Орджоникидзе, родственника Серго Орджоникидзе, мне удалось добраться до заместителя министра авиационной промышленности и получить распоряжение о продаже нам авиационных билетов.

22 декабря 1990 года мы прилетели в Нью-Йорк накануне Рождества. Самолет Аэрофлота, разумеется, опоздал на два часа, и мы не успели сделать пересадку. Очередной рейс в столицу Юты Солт-Лейк-Сити отправлялся на следующий день ранним утром, и мы были вынуждены остаться в аэропорту Кеннеди, так как представители Аэрофлота бросили нас на произвол судьбы.

В аэропорте нас встретили двое молодых людей, действовавших по поручению организаторов нашего визита. Хотя аэропорт на ночь закрывался, нам разрешили оставить наши вещи в зале ожидания, и встречавшие повезли нас в город, чтобы показать праздничное убранство Нью-Йорка. Панорама залитого огнями огромного города, на который мы

смотрели со сто первого этажа знаменитого небоскреба Имперского Здания, была грандиозной и ошеломляющей и несомненно скрасила наше ночное бдение. На следующий день мы благополучно добрались до Солт-Лейк-Сити, откуда нас отвезли в близлежащие городки и разместили всех в отдельных частных домах, так что студенты сразу могли почувствовать разницу в организации повседневной жизни. Меня и Певзнера разместили в большом двухэтажном доме президента небольшого местного банка. В доме поражали размеры общих помещений: гостиной с роялем, кухни с непривычно большим количеством встроенных шкафов, огромным холодильником и двумя столами, один из которых предназначался для праздничных обедов, гимнастического зала с различными снарядами и отделенном диванами пространстве, в центре которого стоял телевизор с непривычно большим экраном. В гостиной, кроме рояля, стояли диваны и высокие стеклянные шкафы, наполненные вазами, статуэтками и другими предметами прикладного искусства. Одна из стен гостиной казалась стеклянной, поскольку простенки были маленькими, а окна простирались с пола до потолка.

У хозяев было семь детей, причем младшая дочь оказалась приемной девочкой из индейского племени. Каждый ребенок имел свою отдельную комнату на первом этаже, но эти комнаты были небольшими, в них дети готовили уроки и спали. Одна из таких комнат была предоставлена нам, но ванная комната снова оказалась большой.

Отец нашего хозяина был уже старым человеком, во время нашего пребывания ему исполнилось 79 лет, и собрать всех его детей и внуков, вместе с гостями из Москвы, можно было только в доме его старшего сына. В более молодом возрасте он был министром финансов штата Юта. Когда он пригласил нас к себе, то три вещи поразили меня: проекционный экран, оранжерея в центре гостиной и кабинет, заставленный книгами от пола до потолка. Я очень быстро нашел общий язык с хозяином дома, и пока студенты смотрели телевизионную программу, мы часа два поговорили с ним и о текущей политике, и о еврейской истории, и о связи между мормонами и евреями. В нашу обширную программу был включен прием у сенатора Орвина Хатча, до настоящего времени являющегося одним из самых влиятельных деятелей республиканской партии. В кабинете сенатора я снова был поражен обилием книг, в том числе книгами по политологии самого Хатча. Прием был регламентирован по времени и состоялся только потому, что одна из организаторов нашего приема, близко знавшая сенатора, попросила его уделить нам время. После короткого приветствия он ответил на вопросы студентов. Бросилась в глаза та осторожность, с какой он говорил о перспективах развития советско-американских отношений, подчеркивая непредсказуемость развития событий в Советском Союзе.

Программа нашего пребывания оказалась чрезвычайно насыщенной и интересной. Для студентов были прочитаны лекции о принципах организации американского бизнеса, показаны действующие производства, включая автоматизированную банковскую систему, а после рождественских каникул по моему настоянию целую неделю проводились занятия в компьютерном классе, после которых мы отправлялись на

экскурсии. На Рождество мы присутствовали на праздничной мормонской службе, в Солт-Лейк-Сити мы побывали в здании местного конгресса, посетили резиденцию губернатора, осмотрели главный мормонский храм, где были приняты президентом мормонской церкви. За пределами столицы штата мы побывали в знаменитом мормонском хранилище микрофильмированных копий генеалогических документов, собираемых по всему миру, побывали на знаменитой компьютерной фирме WordPerfect, созданной ее молодым президентом, бывшим по образованию пианистом, познакомились с известным университетом, названным в честь основателя многих городов Брингхэм Янга. Освещенные солнцем и засыпанные снегом горы окружали современные комплексы зданий и WordPerfect, и университета, и меня поражало проникновение современной цивилизации в трудно доступные и мало населенные горные районы, находившиеся под контролем эклектической мормонской религии.

Нашу группу дважды повезли в театр, показав, в частности, местную постановку балета Чайковского "Щелкунчик". Петр Ильич не мог предвидеть, что исполнение его балета станет американской традицией в период рождественских праздников, наряду с "Мессией" Генделя. Местная пресса широко освещала наш визит, и так как мне несколько раз пришлось произносить ответные речи, то моя фотография появилась на первых страницах местных газет.

Десятого января мы распростились с гостеприимной, но холодной Ютой с ее двадцатиградусными морозами, разместились в двух комфортабельных микроавтобусах и отправились через Аризону и Неваду в солнечную Калифорнию. Сменявшие друг друга пейзажи были столь непривычны по цвету, ландшафту, растительности, что невозможно было оторваться от окна, а вечерний Лас-Вегас показался кадрами из кинофильма с нашим участием в массовых сценах. Первая продолжительная остановка произошла в окрестности Лос-Анджелеса, где мы расположились на берегу Тихого океана. Стояла очень теплая солнечная погода, словно мы стремительно сменили зиму на лето, но удивляться мы к этому моменту уже устали. В течение двух дней мы успели совершить небольшую экскурсию по городу, побывали в Голливуде и поразвлекались в Диснейленде. После этого я расстался со своими спутниками. Певзнер со студентами поехали в Сан-Диего и в Большой каньон, а я улетел в Сан-Франциско, в окрестностях которого жили Лиля и Инна. К этому времени Лиля и ее муж уже работали, и в день моего приезда Инна сидела одна дома, так как сильно простудилась. Я приехал к вечеру, и ребенок, устав от ожидания, мгновенно заснул, сидя на моих коленях и положив голову мне на грудь. Лиля тут же запечатлела на фотографии эту сцену. Конечно, мир перевернулся. Еще четыре месяца назад название Эль-Серрито мне не было известно, город Сан-Франциско столь же недосыгаем как Рио-де-Жанейро для Остапа Бендера, а тут я сижу в наполовину мексиканском городке, рядом в Сан-Франциско происходит ежегодный конгресс Американского математического общества, на который приехали многие старые друзья. Уже вечером следующего дня за круглым столом на Лилиной кухне сидели Марина

Ратнер, Марк Фрейдлин и Володя Кресин, успевшие стать профессорами известных американских университетов.

Утром я отправился в Сан-Франциско, где в отеле "Хилтон" проходили заседания математического общества. Убранство отеля по моим представлениям не соответствовало сугубо научному мероприятию, поскольку все конференции, в которых я участвовал, проводились в университетах или институтах. Но в Америке в больших отелях оборудованы специальные помещения для проведения различного рода съездов и конференций. В вестибюле я встретил Славу, в середине восьмидесятых годов переехавшего в США и работавшего в одном из университетов штата Иллинойс, и Алика, работавшего в Северной Каролине. На радостях мы уселись за столик, к нам присоединилась Марина, мы выпили по бокалу Кровавой Мэри и не заметили, как время приблизилось к одиннадцати часам. На это время была назначена презентация новой книги Маклейна, на которую я получил приглашение от автора. Алик повел меня в нужную аудиторию. Но тут произошел непредвиденный сбой: войти на презентацию могли только зарегистрированные участники съезда, уплатившие необходимый взнос. После долгих объяснений меня все-таки пустили, но презентация уже кончилась. С Маклейном я встретился через два года в Беркли.

Несмотря на январь, было солнечно и тепло, около двадцати градусов по Цельсию, и я с удовольствием погулял по Сан-Франциско и по Беркли. Через три дня я улетел в Нью-Йорк к Наташе, где тоже провел два дня, ожидая прибытия нашей студенческой группы. Встретившись в аэропорту Кеннеди, мы без приключений вернулись в Москву.

За три недели мы получили такое количество новой информации и впечатлений, какое зачастую не получаешь в течение многих лет. Неприятный осадок остался лишь от поведения студентов. При вылете из Шереметьева таможенники нашли в их чемоданах множество разных предметов, вывозимых на продажу, включая десятки часов с изображением Горбачева. Однако они не смогли обнаружить все. И поэтому, попадая в торговые центры, студенты бегали в поисках покупателей. Сидеть в компьютерном классе им тоже не хотелось, хотя пятикурсникам компьютерные навыки были полезны, а сама поездка проходила во время экзаменационной сессии. Пятому курсу я не преподавал, и моя требовательность была для них непривычна.

По возвращению в Москву я наконец-то стал готовиться к поездке в Гамбург в качестве приглашенного профессора. Неугомонная Барбара преподавала в Высшей технической школе Гамбурга, и по ее рекомендации руководство школы получило согласие Федеральной службы академических обменов на мое приглашение. Я должен был читать лекции на немецком языке и стал лихорадочно повторять немецкий язык, не имея под рукой необходимых немецких учебников и не имея никакого представления об уровне подготовки своих будущих студентов.

Первым сюрпризом для меня стал многонациональный состав аудитории. Только ее третья часть студентов состояла из немцев, остальные приехали со всего мира от Бразилии до Ирана. Аудитория была

в среднем лет на шесть старше, чем в Советском Союзе. Женщин практически не было, а немецкие студенты провели два года в армии. Поэтому подготовленность студентов к пониманию институтского курса математики оказалась гораздо хуже, чем я ожидал.

Второй неприятный сюрприз состоял в том, что на первых порах мой немецкий студенты понимали плохо. Слава богу, они были взрослыми людьми, желавшими получить образование, и после первых лекций пришли ко мне и объяснили свои трудности. Я стал немедленно менять методику изложения материала, систематически использовать проекторы и заниматься немецким в местном университете. Первые два месяца я уходил с лекций как после футбольного матча, но затем наступил перелом, и в итоге семестра результаты моих студентов по алгебре почти полностью совпали с их результатами по математическому анализу, который преподавал опытный немецкий профессор.

Уезжая из Москвы, я не знал, что приглашение мне было послано на год. Это выяснилось только тогда, когда мне вдруг стали планировать нагрузку на следующий семестр. Я немедленно послал письмо Афанасьеву с просьбой разрешить мне остаться еще на один семестр и с просьбой освободить меня от обязанностей декана. Ответ был получен быстро: от деканских обязанностей меня освободили, но нового декана так и не смогли избрать до моего отъезда из страны, а остаться не разрешили. Узнав о том, что я уезжаю, лучшие студенты стали выражать свое сожаление, тем самым вознаградив меня за мои усилия.

Подготовка к лекциям занимала много времени, научную работу пришлось прервать, но тем не менее в мае я сделал доклад на Международной конференции по базам данных в Ростове, а в июле по приглашению профессора Бискупа выступил на его семинаре в маленьком городке под Ганновером.

В июне в Берлине проходили дни советской культуры, и Сережа Дрезнин приехал со своими артистами для показа в советском посольстве своей рок-оперы "Офелия". Мы с Машей захотели с ними встретиться и отправились в Берлин. Заявившись в посольство, мы попросили место в их гостинице, объяснив причины нашего появления. Без проблем за ничтожную плату мы получили комнату в квартире, в которой поселили артистов, и отправились осматривать Западный Берлин. По дороге домой мы купили какие-то продукты. Наше появление сначала потрясло артистов, а потом и принесло им физическое облегчение. Все принесенные нами продукты были немедленно съедены, так как во время репетиций их не догадались покормить. Спустя тринадцать лет мы встретились вновь в Москве при грустных обстоятельствах на поминках Веры Александровны Дрезниной, и наши старые знакомые вспоминали наше появление в Берлине.

Закончив семестр, я отправился вслед за своей женой в Калифорнию, куда Маша улетела раньше, чтобы опекать нашу старшую внучку во время летних каникул. Мы много гуляли по невысоким горкам вокруг Эль-Серрито, а по выходным дням Лиля возила нас по местным маленьким городкам и на пляж на Тихом океане. Затем Маша улетела на Восточный берег, чтобы снова повидаться со своей сестрой и другими

нашими московскими друзьями, а я восемнадцатого августа вернулся в Гамбург: надо было подготовиться к встрече нашей второй дочери Ани, ее мужа Лени и второй внучки Полины. Все, включая Машу, должны были собраться в Гамбурге в исторический день 19-го августа. Ранним утром того дня в моей квартире раздался телефонный звонок, и, сняв трубку, я услышал Лилин вопрос: "Ты стоишь?" Не отвечая на вопрос, я спросил: "С мамой что-то случилось?" "С мамой все в порядке", - сказала Лиля. "У вас в Москве переворот, по улицам идут танки, скорей включай телевизор".

Немецкое телевидение демонстрировало наиболее драматические кадры: горящий танк, кольцо защитников Белого дома, грузовики с солдатами, но воздерживалось от комментариев. К моему удивлению самолеты из Москвы вылетали по расписанию, и в первой половине дня я встретил Аню, Леню и Полину, а через несколько часов мы все вместе встречали Машу. О событиях в Москве она ничего не знала, находясь в воздухе во время первых информационных сообщений. В такси я сказал Маше: "В Москву мы не возвращаемся, с сегодняшнего дня мы политические эмигранты". У нее непроизвольно покатались слезы, когда узнала о причине столь категорического заявления. Шофер – немец спросил меня о причине Машиных слез и после моего объяснения с пониманием покачал головой, выражая свое сочувствие.

Дома мы стали лихорадочно обсуждать наши планы. Случайное и абсолютно непредсказуемое стечение обстоятельств привело к тому, что вся наша семья и семья Лени в полном составе именно девятнадцатого августа 1991 года оказались за пределами Советского Союза, и нам надо было выбрать страну, в которой мы хотели бы жить. Я мог остаться еще на один семестр в Гамбурге, но детям надо было получить разрешение остаться в Германии. Леня категорически отказался оставаться в Германии и хотел уехать в Израиль, где уже жила семья его старшего брата. Его родители в это время находились в Польше. На следующий день я сообщил в Высшей технической школе о своем желании остаться на следующий семестр и попытался связаться с израильским посольством. Из посольства мне перезвонили только на следующий день и объяснили, что для получения разрешения на въезд в Израиль для продолжения образования нужно получить финансовую поддержку. Пока мы вели телефонные переговоры с друзьями в Израиле, путч в Москве провалился, и весь мир приветствовал победу демократии в Советском Союзе. Через десять лет со второго захода и вполне конституционным путем КГБ все-таки пришло к власти в России. Ровно через десять лет, отвечая на вопрос об историческом значении августовского путча, я сказал во время телевизионной программы в Сан-Франциско: "Может показаться, что путч провалился, но через десять лет цели путча достигнуты - КГБ пришло к власти". Правда, по дороге к конституционному повторению путча развалился Советский Союз, но тоска по возрождению великой империи живет и проявляется во всех действиях правителей России.

Возбуждение также быстро улеглось, как и возникло, Аня и Леня, погуляв в Гамбурге, совершили путешествие по Германии, оставив дочку на попечение бабушки и дедушки, и вернулись в Москву к началу

учебного года. Спустя три недели и мы вернулись в Москву. Дым победы демократии уже рассеялся, победители стремились реализовать свои честолюбивые замыслы, а экономическое положение ухудшалось с каждым днем, продовольственные магазины пустовали, а демократов уже стали называть дерьмократами.

В конце сентября состоялось очередное заседание "Московской трибуны". Оно проходило в высотном здании бывшего Совета экономической взаимопомощи, куда переехала московская мэрия. В большом зале собралось много известных журналистов, экономистов, политологов, представителей средств массовой информации и телевидения. Выступавшие с горечью констатировали растущее разочарование населения в демократических лидерах ввиду их очевидной неподготовленности к решению экономических проблем. Меня особенно поразило выступление мэра Москвы Г.Х. Попова, в котором не были предложены конкретные меры по преодолению нехватки продовольствия в городе и содержался призыв к сотрудничеству со старой бюрократией и с органами КГБ. Раздосадованный услышанным, я задал Попову два вопроса. Во-первых, я спросил, зачем мэрия переехала в здание СЭВ вместо того, чтобы сдать его в аренду и получить сумму денег, сопоставимую с суммой, выделенной канцлером Германии Коелем для помощи всей России. На эти деньги можно было купить дешевую сельскохозяйственную продукцию Польши и Венгрии, которую не покупали страны Западной Европы.

Во-вторых, я спросил, о каком сотрудничестве с преступными организациями может идти речь. Только полная ликвидация секретных служб в их прежнем виде может открыть дорогу к подлинной демократизации страны.

Отвечая на первый вопрос, мэр стал говорить о нехватке кормов на птицефабриках Латвии, а от ответа на второй вопрос он попросту уклонился. После заседания мою наивность ясно объяснил мне известный публицист и экономист Василий Селюнин. Оказалось, что большинство помещений мэрии уже сдано в аренду, а деньги не расходуются в интересах населения Москвы и оседают в карманах чиновников.

С тех пор прошло двадцать лет, за это время выросло новое поколение российских граждан, которые не могут себе представить пустующие магазины в центре Москвы и нехватку основных продуктов питания. Однако до сих пор значительная часть населения влачит нищенское существование, а зародившаяся в тот период коррупция вывела Россию на почетное место среди самых коррумпированных стран мира. Российская демократия выродилась в произвол партии жуликов и воров, ханжески прикрывающейся православием.

Но все это случилось через двадцать лет. А тогда, осенью 1991 года временно вышедшие на авансцену члены "Московской трибуны" стали занимать административные посты или места в Верховном совете, до определенного момента поддерживая иллюзию демократических перемен и ощущая себя в эпицентре исторических событий. Например, Г.В. Старовойтова стала на короткое время помощником президента по национальным вопросам, С.А. Ковалев возглавил комитет по правам

человека Верховного Совета, В.Л. Шейнис стал активно участвовать в разработке новых законов, будучи депутатом. Стоит заметить, что отдельные члены "Московской трибуны" хорошо понимали, куда влечет нас рок событий. Весьма осведомленный Глеб Павловский впоследствии стал главным политологом Путина.

Ю.Н. Афанасьев также воспользовался победой демократии, захватив для историко-архивного института комплекс зданий бывшей Высшей партийной школы, включая большое жилое здание красной профессуры. На первых порах кафедры получили большие помещения, удобные и для работы со студентами, и для приема гостей. В комнате, выделенной кафедре математики, я принимал и американских бизнесменов, пытавшихся включить Россию в сферу своих информационных услуг, и членов "Московской трибуны", собравших большие информационные фонды по политической истории послевоенного Советского Союза.

Сентябрьским заседанием 1991 года заканчивается по моему мнению первый "дискуссионный" период деятельности "Трибуны". К этому времени ее членами были и известные экономисты (Белкин, Селюнин, Пияшева, Волконский, Дзарасов), представлявшие различные научно-исследовательские институты, в том числе институты Академии наук и Академию общественных наук, и обществоведы (Шейнис, Старовойтова, Илюшенко, Афанасьев, Баткин, Павловский), имена которых часто появлялись в средствах массовой информации, и выдающиеся специалисты в области естественных наук (Сахаров, Волькенштейн, Левин, Френкель, Альтшуллер, Мигдал), и деятели культуры (Чудакова, Юрский, Васильев, Каспаров). Всех объединяло желание высказать все, что накопилось в головах и в письменных столах за многие годы, прошедшие под прессом коммунистической идеологии. Булат Окуджава ярко выразил это желание, написав

"Дайте выкрикнуть слова,
Что давно лежат в копилке".

Всех объединяла иллюзия, что интеллектуальный потенциал клуба может повлиять на исторические процессы в России, последовавшие за очередной революцией "сверху". Я не стану обсуждать причины подобного наивного романтизма, последующие события показали, что у него не было никаких оснований.

Более того, "Московская трибуна" не смогла предъявить российскому обществу идеологический документ, который смог бы стать политической платформой для необходимых социальных преобразований. Ни сахаровский, ни румянцевский проекты конституции не разрешили фундаментальные проблемы российской истории - проблему федерального устройства государства и проблему землевладения. Сахаров написал свой проект еще до развала СССР и в первой статье попытался сохранить аббревиатуру, предложив следующую расшифровку: "Союз Свободных Суверенных Республик". Тем не менее определенное интеллектуальное воздействие было оказано - идея о введении поста

президента с большими властными полномочиями понравилась и Горбачеву, и Ельцину, и Путину.

Неразвитость политического мышления ярко проявилась весной 1990 года, когда перед выборами Верховного Совета РСФСР выплыли конституционные демократы, республиканцы, социал-демократы, народные демократы и просто демократы, но, кажется, еще без либерал-демократов, хотя Жириновский уже появился на политической сцене. Сейчас об этих партиях мало кто помнит, но в июне они получили на выборах по несколько депутатских мест, и их лидеры были в полном восторге, полагая, что в России наступил век демократии. "Московская трибуна" собралась в беломраморном зале старого здания Моссовета под председательством сбежавшего впоследствии вице-мэра Москвы Станкевича, и аудитории были представлены избранные демократические депутаты. На радостях никто не упомянул, что фракция КПСС является крупнейшей фракцией российского парламента и что подавляющее большинство депутатов - члены КПСС.

Не разделяя необоснованного ликования, я попросил слова и сказал: "Я не вижу оснований для праздничного настроения. Нам нужна одна партия - партия беспартийных, которая полностью отодвинет коммунистическую партию от власти". В зале стало тихо, но никто не стал спорить. После заседания моя жена долго ругала меня и за краткость, и "за партию беспартийных", утверждая, что никто ничего не понял. Тогда никто не говорил о необходимости смены всего управляющего слоя России, зависящего от КПСС и КГБ. Только Сергей Григорянц, подобно известному римскому сенатору, постоянно повторял: "КГБ должен быть разрушен".

Второй период деятельности "Московской трибуны" тоже продолжался недолго с конца 1991 года по конец 1993. Большинство членов клуба понимало экстренную необходимость экономических реформ и поддерживало правительство Гайдара и заодно Ельцина, назначившего это правительство. В окружении президента появились Филатов и Старовойтова, в парламенте начали активно работать Шейнис, Ковалев, Золотухин, пресса и телевидение избавились от цензуры, но праздник продолжался недолго. Филатов и Старовойтова были отстранены, Верховный совет был разогнан, и никто из демократов не сказал вслух, что Ельцин нарушил конституцию. Российский народ, погруженный в экономический хаос тех лет, ответил по-своему: в декабре 1993 года он проголосовал за Жириновского и Зюганова, оставив "Выбор России" Гайдара на третьем месте. Окружение Ельцина, как можно было предвидеть, стало формироваться из бывших заведующих секторами ЦК КПСС.

Членство в "Трибуне" позволило мне увидеть вблизи весь тогдашний политический цвет России, включая по-прежнему эпатирующего публику Жириновского и всеми забытого лидера демократической партии Травкина. Весной 1993 года в преддверии очередного ельцинского референдума весь бомонд собрался в концертном зале "Россия", и чтобы попасть на это политическое шоу, надо было иметь

пригласительный билет. Мы с Машей получили пригласительные билеты как старые члены "Трибуны".

Во время перерыва я оказался рядом с Жириновским и получил возможность услышать в сольном исполнении разглагольствования "истинного патриота" о том, что российские подводные лодки будут курсировать у берегов США, и что "мы" поставим вопрос об отделении Калифорнии. Весь номер был исполнен для американского корреспондента Давида Резника, документы которого предварительно проверила охрана артиста по требованию последнего. Российский телезритель имеет возможность видеть Владимира Вольфовича во многих ролях, но я увидел его в подобной роли впервые. Интересно было бы знать, как оплачиваются его выступления.

Я послушал и Травкина, но от его разговоров у меня не осталось никакого впечатления. Зато моя сокурсница Елена Мостовая прославилась своими выступлениями на радио "Россия", поддерживая партию Травкина и заодно осуждая людей, покинувших свою родину. На первом курсе я интенсивно общался с Леной, а через много лет мы оказались в разных лагерях. Но дочка Лены, по-видимому, не разделяла взглядов своей мамы. Она была способным лингвистом, вышла замуж за сына Шрейдера, родила ребенка, и вся молодая семья уехала в Австралию.

После формирования правительства Черномырдина и первой Чеченской войны возможности "Московской трибуны" влиять на принимаемые политические решения резко уменьшились, и хотя она продолжала существовать, ее роль как центра выражения независимого общественного мнения значительно сократилась. Многих известных членов клуба уже нет в живых, и на авансцену российской политики вышли новые молодые люди.

В 1990 году я познакомился с Михаилом Андреевичем Сиверцевым, старшим научным сотрудником института США и Канады, приглашенным читать лекции в РГГУ. Он занимался политологией и понимал, что математические методы могут быть с успехом использованы в политологии. К этому времени я уже был знаком с некоторыми политологическими работами, выполненными в Стэнфордском университете, с теорией предпочтений и коалиций и был поражен использованием в них топологических результатов. Тем самым у нас сразу нашлось много общих интересов. В молодости Миша занимался демографическими исследованиями на Кавказе, и мне навсегда запомнилось его предсказание: "Зеленый меч ислама дойдет до сердца России."

Перед отъездом в Гамбург мы заключили с ним пари. Я утверждал, что в России возможен путч, а он считал, что путч не возможен, поскольку в обществе нет энергии для кровопролития. Формально я выиграл, но, распивая принесенную Мишей бутылку коньяка, признал, что по существу он оказался прав.

У Сиверцева было много знакомых среди людей, занимавшихся общественными науками, и он счел необходимым свести меня с ними. Сначала он представил меня А.А.Галкину, заместителю директора закрытого института общественных наук, в котором проходили

идеологическую подготовку наши друзья из стран третьего мира. Сам Галкин был специалистом по фашизму, а впоследствии в институте разместились фонд Горбачева.

Именно в это время ВАК принял решение об открытии новой специальности "Политология". После нашей продолжительной беседы Галкин неожиданно предложил мне прочитать несколько лекций о возможном содержании паспорта новой специальности. Вооруженный определенными знаниями о современных западных исследованиях, я действительно прочел три лекции при неожиданном большом стечении слушателей.

Затем Миша представил меня Г.А.Сатарову, еще не ставшим помощником Ельцина, но руководившим информационно-аналитическим центром, изучавшим, в частности, динамику голосования в Верховном совете России. Эта встреча последствий не имела, так как Сатаров не хотел объяснять методику своих вычислений. Еще один раз мне пришлось с ним столкнуться при проведении встречи в РГГУ представителей разных информационных центров. Мы вели встречу вместе, и я инстинктивно чувствовал, что он хочет быть главным.

Наконец, Сиверцев отвез меня в институт США и Канады и познакомил с рядом ведущих сотрудников, от которых я узнал много интересного об их методах поиска и обработки информации о ведущих политических деятелях зарубежных стран. После создания Государственной думы Миша некоторое время был консультантом политических фракций. Наши контакты прекратились после моего отъезда, и мои попытки их восстановить пока не увенчались успехом.

По возвращении из Германии я впал в немилость. По существу незначительный эпизод биографии заслуживает отдельного рассказа только потому, что в нем участвуют новые и достаточно известные персонажи.

Историко-архивный институт в конце восьмидесятых годов испытывал острую нужду в помещениях для занятий, и новый ректор сумел получить пустующее здание недалеко от метро "Новослободская", требовавшее капитального ремонта и реконструкции для того, чтобы его можно было использовать в учебном заведении. Институт не имел необходимых ресурсов для подобной реконструкции. Афанасьев попросил меня найти партнера, заинтересованного в восстановлении и совместном использовании нового здания. Выполняя его просьбу, я организовал встречу ректора с Владимиром Павловичем Тихомировым.

С Тихомировым я познакомился, когда он был генеральным директором крупного закрытого ящика "Алгоритм" Минрадиопрома. До этого он стал доктором экономических наук и руководил Государственным фондом алгоритмов и программ, где регистрировались все созданные в стране программные продукты. Поэтому у него были обширные деловые связи и знакомства по всему Советскому Союзу.

Придя в "Алгоритм", Владимир Павлович задумал преобразовать закрытое учреждение в фирму, подобную IBM, и захотел создать, в частности, аналогичный научно – исследовательский центр, пригласив на работу известных специалистов, не заглядывая в их анкету.

Не знаю, кто и что рассказывал Тихомирову обо мне, но он пригласил меня к себе и предложил создать научно – исследовательское подразделение "яйцеголовых", способных рождать новые идеи в информатике. Предложение было заманчивым, и я согласился представить план работ и список предполагаемых сотрудников. Однако революционные идеи нового директора встретили сопротивление служб безопасности, и Тихомирова уволили. Он стал заведующим кафедрой в Московском экономико-статистическом институте (МЭСИ) и почти одновременно генеральным директором советско-финско-болгарской компьютерной фирмы. Презентация фирмы состоялась в здании СЭВ и вылилась в роскошный банкет с очень большим количеством приглашенных. Однако штаб-квартира фирмы находилась в Матвеевской, а Тихомиров хотел переместиться в центр Москвы. Зная об этом, я и предложил ему встречу с Афанасьевым. Я надеялся, что Тихомиров поможет создать современные компьютерные классы для факультета информатики.

Я не присутствовал на их встрече и поэтому не знаю о чем точно договорились высокие договаривавшиеся стороны, но реконструкция здания началась, а я уехал в Германию.

За время моего отсутствия вокруг здания развернулось сражение между институтом и фирмой Тихомирова, который попросту собрался отобрать здание, перестраивая его целиком в интересах фирмы. Но в реальной жизни события исторического масштаба могут легко разрушить самые изощренные и тщательно продуманные замыслы. Августовская победа демократии позволила Афанасьеву не только получить весь комплекс помещений ВПШ, но и лишить Тихомирова доступа к отстроенному на его средства зданию. В институте поползли слухи о том, что я получил от Тихомирова взятку в пятьдесят тысяч долларов, эти слухи активно поддерживал известный адвокат Андрей Макаров, пыгавшийся создать для Афанасьева устав нового Российского государственного гуманитарного университета. Однако желание ректора получить для нового университета вольности, сопоставимые с вольностями, дарованными МГУ царем Александром Вторым в 1864 году, никогда не превратилось в реальность.

Когда я вернулся в Москву, Тихомиров приехал ко мне домой и попросил устроить встречу с Афанасьевым, но эту просьбу я выполнить не смог – ректор меня не принимал. В истории иногда можно предвидеть последствия глобальных исторических событий, но судьбы отдельных людей зависят от такого количества деталей и случайностей, что их предсказать невозможно. Тихомиров, став ректором МЭСИ, преобразовал его в Российскую экономическую академию, возглавил Методический совет Министерства образования, а затем передал пост ректора своей дочери. В начальный период образования личных капиталов в России Тихомиров занимал пятое место среди самых богатых людей.

Здание, восстановленное им, никогда не использовалось в учебных целях, оно было сдано в аренду норильскому Североникелю, но сумма аренды не разглашалась. По-видимому, часть аренды в трудные девяностые годы позволяла выплачивать профессорам удвоенную

зарплату. Жилой корпус красной профессуры также сдавался в аренду разным фирмам. Складывался новый стиль жизни непроизводительной сферы: академические институты, университеты, театры сдавали свои помещения в аренду, чтобы выжить и позволить своей бюрократии разбогатеть.

Конец 1991 года вошел в историю человечества как неожиданно быстрый и бескровный конец последней громадной империи, рухнувшей словно картонный домик из-за ни на чем не основанных честолюбивых амбиций одного человека Б.Н. Ельцина, по существу открывшему дорогу к постепенному сползанию России к политической системе, в которой власть принадлежит небольшой группе бывших сотрудников КГБ, создавших огромные личные денежные ресурсы и готовых защищать их любой ценой. Население России уже в 1996 году было готово избавиться от пьяницы президента, зачастую выставлявшего свою страну на посмешище всего мира, но он уцелел благодаря политическим интригам своего окружения. Я горжусь тем, что никогда не голосовал за Ельцина: мне было достаточно посмотреть на его жалкое выступление на партийной конференции 1989 года.

Однако исторические события никак не отразились на нашей личной жизни, поскольку работа доставляла удовольствие и занимала много времени. Министерство образования утвердило новую специальность "Информационные системы", и я был назначен председателем методической секции по математике по новой специальности. Поэтому я счел необходимым самому прочесть предполагаемые курсы, чтобы программы по математике писались не из абстрактных соображений, а на основе полученного опыта. К лету 1993 года все курсы были прочитаны, и я приступил к написанию учебника, содержащего курсы по дискретной математике, алгебре и математической логике, так как по этим курсам не существовали подходящие учебные пособия. Зимой 1992 года я снова съездил в Гамбург, где прочитал небольшой курс по математической логике, а осенью на международной конференции по теории баз данных в Берлине сделал обзорный доклад "Теория баз данных в России (1975-1992 годы)".

Летом 1992 года мы снова уехали в Калифорнию к Лиле, где стали ожидать прибытия Аниного семейства. Аня и Леня закончили соответственно МГУ и физико-технический институт и были приняты в аспирантуру в знаменитый Стэнфордский университет, и в августе наша семья на пару недель воссоединилась. Вернувшись домой, мы почувствовали себя одинокими в большой и прежде многонаселенной квартире.

В ноябре я совершил неожиданную поездку в Саратов, долго бывший закрытым городом, будучи центром ядерных исследований и разработок. Саратовский политехнический институт преобразовали в Технический университет и открыли в нем новую специальность "Научно – техническая информация". Представитель нового университета Т.А. Василевская появилась у меня на кафедре и стала упрашивать приехать в Саратов и прочесть вводные лекции по новой специальности. У меня не было охоты ехать осенью в неизвестное место и рассказывать что-либо

неизвестной аудитории, и я отклонил приглашение. Однако Василевская организовала письмо ректора Технического университета Афанасьеву с настоятельной просьбой командировать меня в Саратов, и мне пришлось отправиться в старинный русский город на берегу Волги.

К моему удивлению, на мои лекции, помимо небольшой группы первокурсников, пришло много преподавателей, и аудитория оказалась полностью заполненной. Почувствовав интерес слушателей, я разговорился, и на две следующие лекции пришло еще больше слушателей. В результате руководство университета принимало меня как почетного столичного гостя.

В Саратове находится один из старейших российских университетов, в котором в разное время работали известные математики, а с кафедрой алгебры у меня установились научные связи, так как мои аспиранты делали там доклады и получали внешние отзывы. Поэтому я решил воспользоваться случаем и познакомиться с саратовскими алгебраистами, а заодно и сделать там доклад на близкую им тему. Василевская отвела меня в университет, где я встретился с В.Н. Салием, фактически руководившим кафедрой алгебры, так как ее заведующим считался ректор университета академик Богомолов. Вячеслав Николаевич встретил меня очень радушно и тут же назначил мой доклад на следующий день. В результате я пообщался с небольшим кругом профессиональных алгебраистов, с пониманием слушавших рассказ о категорном подходе к близким им задачам теории структур. После доклада я познакомился с молодым математиком Бредихиным и получил возможность передать ему огромную по тем временам сумму в пятьдесят долларов (!), посланную ему профессором Крэггом из Берклийского университета. Летом Крэгг попросил меня раздать двести долларов известным мне математикам в качестве единовременной помощи, специально назвав Бредихина, с которым познакомился на какой-то конференции.

Таким образом, деловая часть поездки оказалась вполне успешной, однако я уехал из Саратова в шоковом состоянии. Потрясенный увиденным, я не буду в подробностях описывать состояние туалетов в двух университетах. С большим стеснением Салий рассказал мне, что члены немецкой делегации, посетившей Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, пулей вылетели из единственного в здании общественного туалета, не воспользовавшись им. Имевшийся дополнительный туалет на третьем этаже был переоборудован в компьютерный класс. Перед моим докладом у алгебраистов Василевская отвела меня в знаменитую Саратовскую картинную галерею. Мы пришли за десять минут до закрытия, и галерея была уже закрыта. Но директор еще не ушел, и моя сопровождающая сумела уговорить его впустить столичного гостя. Температура в галерее оказалась около десяти градусов, так как здание не отапливалось, сырость выступала во всех залах, и в подобных условиях хранились работы Левитана, Гончаровой, Судейкина, Петрова – Водкина. Для обеспечения сохранности картин немцы предлагали вывезти их, но советские власти отказались. На площади перед галереей все еще красовался

изготовленный из металла лозунг: "Будем строить жизнь по товарищу Дзержинскому. И. Сталин". Ненастная холодная ноябрьская погода с непрерывно морозящим дождем усиливала впечатление серости и безнадежности. А жизнь в гостинице под охраной, где мне пришлось делить ванну и туалет с весьма подозрительными личностями, казалась сюрреализмом. Мои соседи внезапно исчезли, впопыхах оставив под подушкой десятки тысяч рублей, о чем мне сообщила испуганная уборщица.

Опосредованно на мои саратовские впечатления наложилась короткая беседа с тогдашним исполняющим обязанности премьер-министра Е.Т. Гайдаром. В конце 1992 года в Москве состоялся первый и пока единственный в истории России Конгресс интеллигенции. Как "старый" член "Московской трибуны", я получил два пригласительных билета, и мы с Машей отправились в киноцентр около "Краснопресненской". Несколько тысяч людей заполнило спускающийся амфитеатром зал, и все руководство России прибыло на открытие конгресса. Незадолго до начала конгресса впервые состоялось присуждение европейских Филдсовских премий по математике. Три из пяти премий получили молодые российские математики, совсем недавно уехавшие из страны: москвичи А.Гончаров и М.Концевич и новосибирец Е.Зельманов. Замечу, что последнему в его "родном" институте математики в свое время "завалили" кандидатскую диссертацию. Средства массовой информации России обошли молчанием факт присуждения премий, хотя во всем мире принято гордиться достижениями своих соотечественников независимо от места их проживания. Во время перерыва в заседаниях конгресса я подошел к Гайдару и спросил его о том, как правительство собирается справиться с уткой мозгов, упомянув о результатах присуждения математических премий. В ответ я услышал: "Что поделаешь, я только что вернулся из Арзамаса – 16, где физикам четыре месяца не выплачивали зарплату. Вы понимаете, как это опасно, когда Иран пытается скупать наших физиков?" Я не сообразил сразу ответить, что будет хуже, если нечего будет скупать.

К моменту разговора с Гайдаром я по крайней мере отчасти, но вполне определенно знал, почему Государственный комитет по науке и технике своевременно не переводит деньги на зарплату в академические и другие научные учреждения. В нем существовали специальные подразделения, которые "прокручивали" бюджетные средства, скупая поступающий западный ширпотреб и реализуя его на рынках. Поэтому зарплата поступала с большим опозданием, обесцененная чудовищной гайдаровской инфляцией. Я говорю об этом как свидетель, поскольку сидел в кабинете одного из руководителей подобных подразделений в здании ГКНТ на улице Горького, дом 11 ровно в тот момент, когда он отдавал распоряжение о закупке итальянских дубленок, прибывших в Архангельск. Полный развал системы государственного управления во время Ельцина облегчил приход к власти КГБ во главе с Путиным. Занятый реализацией своих экономических идей, Гайдар выпустил из виду политическую компоненту исторических процессов, проходивших в России, и через год утратил свое влияние и власть.

Еще одно важное событие в политической жизни России также произошло в конце 1992 года, но оно тоже не нашло отражения в печати. На заседании комитета по правам человека Верховного Совета Российской Федерации, которым руководил Сергей Адамович Ковалев, впервые рассматривался вопрос об антисемитизме в России. Официальный доклад, ставший документом Верховного Совета, готовила депутат из Петербурга Юхнева. Ганнушкина рекомендовала ей встретиться со мной для получения документальной информации о дискриминации евреев на вступительных экзаменах в вузах. У меня дома хранились 54 страницы копий документов, присланных мне из США Марком Фрейдлиным. Юхнева была потрясена обилием документов и взяла их для отражения в своем докладе. Она действительно использовала полученную информацию и даже сочла нужным указать, что я предоставил ей соответствующие документы. Выступавших было очень много, среди них были известные общественные деятели Резник, Гербер, Прошечкин и другие. Я тоже был приглашен, но получил слово последним: Ковалев сдержал свое обещание и предоставил мне слово, выделив лишь три минуты. За эти три минуты я успел объяснить, что дискриминация на вступительных экзаменах есть нарушение конституционных прав граждан и что лица, осуществляющие дискриминацию, должны привлекаться к судебной ответственности за нарушение конституции, а не за разжигание национальной вражды. Очень часто последствия человеческих действий невозможно предвидеть. Через день в двенадцатом часу ночи в моей квартире раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал следующее: "Я слышал Ваше выступление на заседании в Верховном Совете. Мы предлагаем Вам стать председателем комитета еврейских ветеранов войны". Я поблагодарил и отклонил предложение, но понял, что смог достаточно ясно изложить свою точку зрения в комитете по правам человека.

1993 год начался с восстановления деловых отношений с ректором. На факультете информатики затянулся период междуцарствия, поскольку с первой попытки новый кандидат на пост декана не сумел собрать большинства голосов и продолжал оставаться и.о. декана. На факультете существовало отделение лингвистики, на котором работали высококвалифицированные лингвисты, окончившие отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ и мечтавшие создать конкурентоспособное отделение в РГГУ. Естественно, что я всегда поддерживал такое стремление. Однако в период междуцарствия В.К. Финн сумел добиться согласия Афанасьева на создание внутри РГГУ Института теоретической и прикладной лингвистики, наравне с сохранившимся внутри РГГУ историко-архивным институтом. Переговоры держались в большом секрете, и их результаты были обнародованы только на заседании Ученого совета университета. Так как создание нового института не затрагивало интересов других факультетов, а финансовые вопросы решались ректором единолично и никогда не выносились на открытое обсуждение, то предложение ректора не вызвало какой-либо дискуссии. Мне пришлось выступить резко против по двум основным причинам. Во-первых, я объяснил, что даже через пять лет

новый институт не сможет обеспечить разумное и регламентированное соотношение между числом студентов и числом преподавателей, необоснованно завышая необходимый фонд заработной платы в условиях сокращения государственных расходов на образование и науку. Вторых, с уходом отделения лингвистики на факультете информатики большинство снова будет состоять из недостаточно квалифицированных сотрудников. Я сказал: "Мне кажется, что в университете революционное правосознание начинает заменять конституционные нормы. Наука создается не кабинетами, а научными школами, на формирование которых требуются десятилетия." Далее я повеселил публику, процитировав стихи Окуджавы о строительстве новых кабинетов. Сидевший в президиуме ректор побагровел, но после заседания повел себя по-рыцарски. Он подошел ко мне и сказал: "Хватит нам друг в друга камни бросать. Нам надо поговорить". От возбуждения я в первый раз в жизни нахамил, сказав, что несколько раз пытался с ним встретиться, а теперь у меня нет времени. Но рыцарь остался рыцарем и предложил мне выбрать удобное время и сообщить об этом его секретарше.

Многие члены Ученого Совета повели себя далеко не рыцарски: проголосовав за предложение ректора, они подходили ко мне и выражали мне свою поддержку словами "Ну ты ему дал", демонстрируя моральную нечистоплотность бывших коммунистов, а заодно и подлинное отношение к своему патрону. Не уверен, что Афанасьев достаточно ясно осознавал, с кем он имел дело. Лицемерие и постоянное заискивание были нормами поведения многих сотрудников университета и воспринимались ими как естественные и разумные средства укрепления своего положения. Образцами были бывший проректор Басовская и нынешний ректор Пивовар, на время изгнанный Афанасьевым. Примеров можно привести сколько угодно. Я упомяну только один из них: Наталья Ивановна горячо поддерживала борьбу ректора с курением, но весь университет знал, что она продолжает курить в своем кабинете, тщательно закрыв дверь.

Спустя неделю наша встреча состоялась. В ректорском кабинете мы с глазу на глаз проговорили около часа. Я категорически отверг все слухи о полученной мною взятке, сказав, что чувство собственного достоинства, не свойственное его окружению, и ответственность за свою репутацию человека, много лет противостоявшего существующей системе произвола и дискриминации, не позволили бы мне получить взятку. Результаты нелिцеприятной беседы я не мог предвидеть. Афанасьев не считал нужным обсудить их со мной. На следующий день приказом ректора был создан Совет по междисциплинарным фундаментальным исследованиям под моим руководством и мне был подчинен Вычислительный центр. Университет был потрясен, многие почувствовали себя обиденными, тогдашний проректор по научной работе Ефим Иосифович Пивовар увидел в приказе посягательство на его полномочия, но никто не выразил готовность к поиску общих тем исследований. Вслед за этим в Министерстве образования был создан Центр по информационному обеспечению гуманитарного образования высшей школы России, директором которого назначили заместителя министра В.С. Меськова, а заместителем директора назначили меня. Еще

через год Министерство решило создать банк данных "Интеллектуальный потенциал высшей школы России", назначив меня главным конструктором разработки. Самое загадочное во всей цепи назначений заключается в том, что заранее никто не обсуждал со мной принимаемые решения и не спрашивал моего согласия. Я не отказывался от назначений, поскольку каждая задача казалась интересной, и мне не навязывалось ее решение.

Естественно, что каждый раз надо было создавать новый коллектив исполнителей. Но учебный процесс оставался в центре моего внимания. На кафедре сложился дружный и творчески активный коллектив, большинство которого составляли выпускники мехмата. Мы одними из первых стали использовать компьютеры при преподавании математического анализа, освоив новый в те годы американский пакет прикладных программ "Математика". Основная заслуга здесь принадлежала В.Ю.Синицыну, под руководством которого были подготовлены необходимые методические материалы для студентов.

В гуманитарном университете непросто было читать лекции по математике: математика не была любимым предметом студентов еще в школе. Тем не менее я много раз слышал от студентов, что именно лекции по математике им запомнились гораздо лучше, чем многие лекции по гуманитарным предметам. Действительно, на кафедре были блестящие лекторы: Бениаминов, Ганнушкина, Бычков и другие, которые одновременно придумывали для дипломных работ новые интересные темы. Другими словами, студенты, стремившиеся получить современное образование, имели замечательных учителей.

К первому министерскому совещанию, посвященному созданию региональных центров по информационному обеспечению гуманитарного образования, я подготовил сборник "Гуманитарные науки и новые информационные технологии". Когда я показал Афанасьеву вариант вступительной статьи, которая, по моему мнению, должна была отражать точку зрения ректора на влияние процессов информатизации общества на системы образования, то не предполагал, что он захочет, чтобы статья появилась как наша совместная работа. Афанасьев не публиковал совместных статей с сотрудниками университета, и поэтому появление нашей совместной статьи стало сенсацией. В сборник также вошла статья В.И. Илюшенко "Национализм и интеллигенция", воспроизводившая пленарный доклад автора на Конгрессе интеллигенции России. Этот доклад показался мне наиболее существенным из четырех пленарных докладов, а материалы Конгресса не были изданы. Получив от автора текст доклада и согласие на его публикацию, я включил доклад Илюшенко в сборник. С автором мы были знакомы, так как Эрика дружила с его женой Машей, работавшей в РГГУ, и мы неоднократно встречались в гостеприимном доме Эрики. Уже после нашего отъезда из России Илюшенко стал председателем "Московской трибуны".

Еще одна статья сборника, написанная Еленой Петровной Сопруненко и мною, описывала проект банка данных по истории политических партий и движений России. Лена тоже была выпускницей мехмата и много лет работала в вычислительном центре университета,

став опытным программистом. Мы были хорошо знакомы, а моя скрипка после нашего отъезда перешла в руки ее дочери, ставшей профессиональным музыкантом. К сожалению, проект не удалось реализовать, несмотря на мои попытки привлечь к участию в нем держателей больших информационных фондов, собранных в семидесятые годы. Сначала я рассказал о проекте на заседании "Московской трибуны", а затем пригласил держателей фондов Глеба Павловского, Нину Беляеву и других в РГГУ для обсуждения принципов формирования общей информационной базы, однако мы не смогли договориться ни о принципах организации базы данных, ни о способах доступа к документам, которые предпочитали рассматривать как частную собственность. К этому времени Павловский прекратил сотрудничество с В.Игруновым, а во время нашей встречи не сказал ни одного слова. С Игруновым меня познакомила Люда зимой 1991 года, когда наш факультет переехал в школьное здание около Преображенской площади. Тогда Игрунову срочно нужно было помещение, и мне удалось договориться с Пивоваром о выделении для них помещения в здании школы. Одновременно Игрунову была предложена квалифицированная помощь архивистов в приведении в порядок его фонда, однако предложенной помощью Игрунов не воспользовался. По-видимому, бывшие диссиденты боялись быть обокраденными. Сам же Игрунов впоследствии взял и не вернул до сих пор, несмотря на многочисленные напоминания, магнитофонные записи заседаний "Московской трибуны", где, в частности, содержались выступления Сахарова.

Следующим большим проектом стала разработка банка данных "Интеллектуальный потенциал высшей школы России". Сама идея, по-видимому, была заимствована у Афанасьева, умевшего находить запоминающиеся выражения и начавшего говорить об интеллектуальном потенциале РГГУ, хотя я ни разу не слышал, что именно под этим понимается. В результате реализация проекта была возложена на РГГУ, хотя университет не имел ни необходимых ресурсов, ни достаточного количества программистов высокого класса. Я узнал о проекте только тогда, когда приказом министра был назначен главным конструктором. Я не знал, кому задавать вопросы, и решил, что многое прояснится при утверждении технического задания, для разработки которого пришлось сформировать большую группу известных экспертов из разных московских научных институтов, оставив за собой концептуальный уровень разработки. Каждый квартал в соответствии с правилами в министерство отсылался отчет о проделанной работе. Отсылая первый отчет, на титульной странице я указал Афанасьева как научного руководителя проекта, хотя в приказе министра его имя не упоминалось. Я хотел сохранить за ним определенный приоритет. На первом отчете он поставил свою подпись без всяких вопросов, но затем перестал автоматически подписывать отчеты, и мне каждый раз приходилось идти к нему на прием, чтобы добиться подписания отчетной документации. По-видимому, он считал, что у него похитили его идею.

Разработанное техническое задание оказалось многостраничным документом, в котором описывалась

автоматизированная система, позволявшая судить о результативности текущих научных исследований в сопоставлении с мировым уровнем, об ожидаемых новых результатах, о наличии дублирований в научных исследованиях и т.д. На уровне управления система открывала новые возможности для планирования и координации научных исследований и более эффективного их финансирования. К моему удивлению, техническое задание было утверждено без всякого обсуждения, и перед моим отъездом мы приступили к разработке структуры базы данных. Я не знаю, на каком этапе разработка была прекращена, но думаю, что в первой половине девяностых годов просто не было ни воли, ни ресурсов для реализации подобных проектов. С одной стороны, денег не хватало на выплату зарплат, с другой, бюджетные средства стали перетекать в кошельки частных лиц, порождая российскую олигархию.

Последним крупным мероприятием, организованным в университете под эгидой Центра по информационному обеспечению при моем участии, была научная конференция "Науки о природе и науки о духе: предмет и метод на рубеже XXI века", состоявшаяся в июне 1994 года. В моем докладе я указал на значительное словарное различие между текстами в гуманитарных науках и естественнонаучными текстами. Последние не доступны для понимания без знания подъязыка конкретной науки, что свидетельствует о большей развитости аналитического аппарата. Я предложил использовать глоссарии научных монографий для количественного анализа соотношения между подъязыками внутри научных текстов. Некоторые предварительные подсчеты выполнил по моей просьбе преподаватель нашей кафедры Л.О. Шашкин. К сожалению, в силу занятости и ухудшавшегося состояния моих глаз текст моего доклада не был написан. Сборник докладов был издан в 1996 году, и его составители включили меня в состав редколлегии, хотя я уже жил в США.

Все эти годы я продолжал участвовать в международных конференциях по теории баз данных. В 1993 и 1995 годах такие конференции проводились в Москве в здании Президиума Академии наук, а в 1994 году конференция состоялась в австрийском городе Клагенфурте. В том же 1994 году мы с Машей посетили Израиль, где я выступал с докладами в университетах Иерусалима, Бар-Илана и Беэр-Шевы.

В дополнение к научной программе мы совершили "кругосветное" путешествие по Израилю, побывав в Хайфе, Кесарии, Цфате, долине Иордана, взошли в прямом смысле на Масаду, искупались в Мертвом море и, разумеется, много гуляли по Иерусалиму и Тель-Авиву. Мы побывали и в поселении Алон-Швут, где жила и живет большая семья Лениного старшего брата Мики, и в Маале-Адумим, где нас ждала столь же большая семья Вити Гальперина, и в ортодоксальной деревне, где жила старинная Машина подруга Таня Ваксман.

Мика окончил биологический факультет МГУ и защитил кандидатскую диссертацию, но в Израиле стал заниматься ивритом и добился большого успеха, изучая историю иврита в Италии. Он обнаружил в средневековых католических книгах страницы на иврите и на основе собранного материала опубликовал две монографии. Сейчас Мика профессор, читает лекции в Бар-Илане и сотрудничает с Академией

иврита. Витя Гальперин сначала был аспирантом известного профессора математики Мойшезона, но, обзаведясь большим количеством детей, стал зарабатывать деньги программированием. В первый раз я увидел Витю в Израиле, когда он пришел на мой доклад в Иерусалимском университете. Там я был гостем одного из лучших специалистов по теории баз данных профессора Катриэля Бири, невысокого стройного, с удивительно тонко вычерченным интеллигентным лицом. В перерыве доклада рядом с нами появился высокий плотно сложенный мужчина с широкой черной бородой, и я с трудом узнал Витю. Представив его Бири, я рассказал Витину историю, в шутку заметив, что подобных солдат Россия поставляет Израилю.

Наш визит начался с Хайфы, где жили Ленины родители. С самого начала мы окунулись в прелести исторической родины евреев – начался хамсин, температура достигла сорока двух градусов по Цельсию, и на улицу страшно было выйти. Поэтому мы провели два дня в непрерывных разговорах с Наташей и Витей, делиясь и московскими, и израильскими новостями. Зато потом мы осмотрели и кампус Техниона, и бахайский храм, и хайфский базар, и просто погуляли по городу. По Иерусалиму нас водили и возили Наташа и Гена Хасины. Гена стал известным преподавателем математики, завучем крупнейшей иерусалимской гимназии, автором школьных учебников, а Наташа работала в статистическом управлении Израиля. Они же свозили нас в Кесарию.

В Израиле я действительно почувствовал, что это необыкновенное место на земле, где постоянно происходит что-то невероятное. Даже за семнадцать дней нашего пребывания в Израиле мы столкнулись с событиями, вероятность которых ничтожна. В Иерусалиме наша старая московская знакомая Лена Бешенковская, ученица Д.А. Райкова, узнав о нашем приезде, захотела встретиться, но по разным причинам нам не удалось выбрать удобное время. Мы встретились в троллейбусе, когда я возвращался из университета после своего доклада. На одной из остановок Лена вошла в троллейбус, увидела нас и бросилась к нам с объятиями и расспросами. Минут через десять она вдруг сообразила, что едет не в университет на работу, а в противоположном направлении, и что на работу она опаздывает. Нег никакого сомнения, что провидение хотело нашей встречи. В Кесарии на развалинах римского театра времен Нерона Маша собралась сделать очередной снимок, но вдруг стала пятиться назад и упала, к счастью, без неприятных последствий. Оказалось, что в объективе она увидела известного геометра профессора М.А. Акивиса, шедшего прямо на нее. Опять незапланированная встреча и опять при непредсказуемом стечении обстоятельств. Известный правозащитник шестидесятих годов Юлиус Телесин, сын известной поэтессы Рахили Баумволь и писателя Зямы (Зиновия) Телесина, учился с Машей в одном педагогическом институте и однажды был на ее дне рождения еще до нашего знакомства. 27 апреля 1994 года мы отмечали очередной Машин день рождения в Иерусалиме у Хасиных, и неожиданно появился Юлиус. Еще живя в Москве, Юлиус спровоцировал Валерия Челидзе, члена сахаровского комитета в защиту

прав человека, на замечательный экспромт. Придя к Челидзе домой, он стал рассказывать о том, что вынес из своей квартиры всю запрещенную литературу. Челидзе мгновенно отреагировал: "Юлиус, Вы поступили неосторожно. Придут, обыщут, ничего не найдут и посадят за распространение".

По дороге в Беэр-Шеву произошло еще одно необычное явление – в пустыне Негев на нас обрушился ливень, длившийся минут десять, однако в самом городе нам никто не верил, поскольку по убеждению местных жителей дождей в мае не бывает.

От Израиля осталось впечатление, что на маленьком кусочке земли мифы и реальность переплелись настолько сильно, что рациональное мышление неспособно объяснить происходящее. Один маленький обыденный эпизод запомнился как кадры цветного фильма. В яркий солнечный день мы вышли с Микой на прогулку за пределы Алон-Швута. За спиной у Мики было ружье, а рядом бежала собака. Мика объяснил, что ружье нужно для того, чтобы встреченный на дороге приветливо улыбающийся араб не метнул тебе нож в спину. Встреченный нами единственный ехавший на осле араб вежливо поздоровался и поехал дальше, не проявив воинственных намерений. Через несколько сотен метров мы пересекли небольшую тропинку, и вдруг Мика спокойно сказал: "По этой дороге Авраам шел в Иерусалим". Вопросы были излишни, очень вероятно, что именно по этим благодатным местам ходили родоначальники еврейского народа, сумевшего, вопреки всем невзгодам, уцелеть и внести огромный вклад в современную цивилизацию.

Вернувшись в Москву, я принялся дописывать свой учебник. Конференция в РГГУ, очередная поездка к детям в США, конференция в Клагенфурте, естественно, отвлекали меня, но к концу года работа была завершена, и сотрудники кафедры стали вводить текст в компьютер.

Осенью фирма Алексея Голосова арендовала девятый этаж бывшего жилого дома красной профессуры у РГГУ. Я узнал об аренде только тогда, когда Алеша предложил мне сотрудничать с фирмой в качестве заведующего сектором системного анализа. В мои функции входила проверка системных решений, положенных в основу конкретных проектов, и контроль за оформлением проектной документации в соответствии с действовавшими стандартами. К сотрудничеству я тут же привлек Женю Бениаминова, а также Ольгу Горчинскую, уже работавшую на фирме. Отдельные проекты оказались достаточно сложными и интересными, и за право их реализации велись скрытые интриги с использованием различных личных связей и сфер влияния. Одним из таких проектов был заказ на замену устаревшей системы контроля за грузовыми перевозками в аэропорту Шереметьево. Руководство аэропорта вело переговоры с разными, в том числе и западными, компьютерными фирмами, отклонив, например, предложения Симменса. Сотрудникам ФОРСа при моем участии удалось представить такое техническое задание, которое было принято. Но этот успех был достигнут тогда, когда с моими глазами произошла катастрофа. Ровно через шестнадцать лет сбылось предсказание Федорова – потребовалась радикальная реконструкция глаза, поскольку снова развился отек

роговицы, с которым не смогли справиться ни в институте им. Гельмгольца, ни во Всесоюзном глазном институте. Ни магнитотерапия, ни капли, ни лазер не помогали, я не мог читать даже в очках, в глазу появилась постоянная боль, хотя и не очень сильная. Людмила Владимировна с горечью сказала мне, что через несколько месяцев ситуация станет необратимой. Единственной надеждой оставались США, и мы решили уехать как можно быстрее.

Конечно, мы давно понимали необходимость переезда в Америку, чтобы иметь возможность постоянно общаться с нашими детьми и внуками, самыми близкими и любимыми людьми на свете. Постоянные слухи о возможной отмене поправки Джексона-Вэника, предоставлявшей евреям существенные льготы при получении права на постоянное жительство в США, побудили нас принять необходимые шаги еще в 1994 году. На приеме в американском посольстве нам не пришлось что-либо объяснять: я показал сотруднику посольства доклад Юхневой, открыв его на той странице, где упоминалось мое имя. Сотрудник попросил разрешение почитать, добавив, что мы, конечно, получим разрешение, а потом стал интересоваться моим мнением о перспективах развития исследований в области искусственного интеллекта. Тогда мы еще не знали, когда мы соберемся уезжать, многое хотелось закончить, хотя события в России развеяли иллюзии конца восьмидесятых годов. Моральная деградация общества стала очевидной после развала коммунистической системы, но алчность и коррумпированность всех людей, причастных к системам управления, перемешанные с честолюбием и криминалом, оказались раковой болезнью огромной страны, потерявшей нравственные ориентиры. Об этой социальной катастрофе тогда не писали, но я повседневно сталкивался с ее проявлениями и понимал, что на моей жизни не увижу выздоровления. Рано или поздно надо было уезжать, но судьба не оставила нам выбора – уехать надо было немедленно. 25 августа 1995 года мы улетели из Москвы, и в этот день кончилось лето моей жизни.

Из моих родственников осталась только Лена со своей двенадцатилетней дочкой Машей. С конца 1983 года мы жили в одном дворе, Инна и Маша гуляли вместе и часто приходили друг к другу в гости. Маша была всего на два с половиной месяца старше и Инне первое время жизни в Америке очень доставало Маши. Когда мы уезжали, Лена уже работала на радиостанции "Эхо Москвы" и до сих пор продолжает там работать, распоряжаясь электронным архивом радиостанции.

ОСЕНЬ

Адаптация

По многим разным причинам мы выбрали Сан-Франциско для нашей жизни в Америке. Хотя этот город расположен в субтропиках, в нем удивительно мягкий климат, зимой температура даже ночью не опускается ниже семи градусов, а летом очень редко достигает двадцати пяти градусов, в основном оставаясь ниже двадцати градусов. Летом с океана часто дует холодный ветер, что заставило Марка Твена написать: "Нет хуже зимы, чем лето в Сан-Франциско". Такой климат был идеален

для моих глаз: в жару или в духоте они быстро мутнели, и зрение резко ухудшалось, так что передвигаться самому становилось опасно.

В Сан-Франциско хорошо организован общественный транспорт, до ближайшей автобусной, троллейбусной или трамвайной остановки в любом месте города надо пройти не более двух кварталов, т.е. не более трехсот метров. Поэтому можно было обходиться без собственной автомашины.

Наши дети и внуки жили в Пало Альто и в Стэнфорде, куда регулярно отправлялась местная электричка, абсолютно непохожая на московскую, знакомую с детства: салон вагона, разделенный проходом, похож на салон самолета, в каждом ряду высокие мягкие кресла и каждый ряд состоит из четырех таких кресел. Даже в часы пик в проходах никто не стоит. Только один раз вечером мы попали в переполненный поезд, когда неистовые болельщики возвращались после какого-то важного матча.

По приезде мы сразу попали под опеку еврейского центра Сан-Франциско вместе с другими иммигрантами из бывшего Советского Союза. К каждой семье прикреплялся социальный работник, который на первых порах помогал заполнять необходимые документы, определял время наших визитов в федеральные органы и в медицинские учреждения и давал много практических полезных советов. Такая помощь была весьма существенна, так как дети не могли ездить с нами в Сан-Франциско, будучи занятыми на работе или в университете.

Каждый иммигрант должен был пройти медицинское обследование в одном из крупнейших медицинских центров США – Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

Первый ознакомительный визит к терапевту был заранее спланирован, но приема у глазного врача надо было ждать более двух месяцев. Поэтому я обратился в глазную клинику при другом большом госпитале, в которой меня уже консультировали в 1993 году. Там мне прием назначили немедленно, и с тех пор я являюсь пациентом доктора Карен Оксфорд. Она добавила к моим каплям только преднизолон, и через несколько недель правый глаз перестал болеть, а еще через пару месяцев отек уменьшился, и я получил возможность заняться редактированием моего учебника, надеясь, что его удастся издать в России. После моего отъезда министерство образования объявило конкурс на написание учебника по математике для специальности "Информационные системы", назначив заведующего кафедрой математики экономического института им. Г.В. Плеханова профессора Пестова ответственным за проведение конкурса. Он приехал в РГГУ, где мои бывшие сотрудники показали ему экземпляр моего учебника, но отказались отдать этот экземпляр без моего разрешения. В результате я получил письмо из Москвы со следующим предложением Пестова: сотрудники его кафедры напишут четвертый раздел, посвященный статистике, и совместный учебник будет представлен на конкурс, при этом предполагалось, что число соавторов возрастет до четырнадцати (!). Я ответил согласием при соблюдении следующих условий: во введении должно быть точно указано, кем написаны разделы учебника и четвертый

раздел должен быть прислан мне на проверку его согласованности с первыми тремя разделами книги. Мои условия не были приняты, и в результате конкурс не состоялся, так как никто не представил варианта учебника.

Редактирование пятисотстраничной напечатанной рукописи было утомительным занятием, но в 1996 году я достиг на короткое время такой "спортивной" формы, какой мне больше никогда не удалось достигнуть. Все написанное и опубликованное впоследствии далось мне с большими усилиями и никогда бы не увидело свет без постоянной Машиной помощи.

Первой серьезной проблемой, которую надо было решать самостоятельно, был поиск квартиры в Сан-Франциско. В середине девяностых годов в США начался долгожданный экономический подъем, а знаменитая Силиконовая долина с центром в Пало Альто превратилась в мозговой центр развития новых информационных технологий. Спрос на квартиры непрерывно рос, а вместе с ним росли цены на рент. Мы еще плохо ориентировались в стандартных жизненных ситуациях и теперь хорошо понимаем первоначальный стресс многих иммигрантов. Но наши дети были рядом и с их помощью мы сняли небольшую квартиру из двух смежных комнат и с миниатюрной кухней. Квартира находилась на втором этаже, вдоль окон тянулась открытая балюстрада, с которой входили в квартиру. Но зато наш квартал упирался в знаменитый Голденгейт парк, и воздух, особенно утром, был опьяняюще сладок. Утром мы стали ходить или ездить в местный колледж на занятия английским языком. Деревья и цветы искрились от брызг поливочных устройств, и сотворенный человеческим гением и невероятным трудом на песчаных и скалистых берегах Тихого океана парк казался чудом. Но к хорошему легко привыкаешь, поскольку в нем отсутствует элемент постоянного, зачастую подсознательного раздражения, и мы быстро привыкли и к парку, и к постоянно умеренно теплой погоде, и к круглогодичному обилию цветов, и к холодному ветру с океана летом, и к теплой без снега зиме, и к другой одежде, и ко многому другому, что отличает Сан-Франциско от Москвы, Тбилиси, Берлина, Гамбурга и других городов, в которых нам довелось побывать.

Второй трудной проблемой, с которой мы столкнулись, оказалась подбор необходимых медицинских препаратов. Американские врачи, как правило, полагаются на результаты многочисленных анализов и на рекомендации федеральных органов, ответственных за систему здравоохранения. Медицинское обслуживание многих тысяч иммигрантов оплачивалось из бюджетных средств, поэтому врачи старались прописывать наиболее дешевые препараты. Стоит отметить, что интерпретация результатов анализов в России и США зачастую была различной. В Москве я десятки лет был пациентом поликлиники научных работников, где врачи считали мое кровяное давление соответствующим моему возрасту. Однако в Америке мое давление считается повышенным, и мне немедленно прописали дешевый препарат для уменьшения моего давления. Однако несмотря на то, что я аккуратно следовал инструкциям, давление не снижалось и после постепенного увеличения дозы, но зато

появилась боль в суставах и ноги стали отекают, чего никогда не было. Препарат срочно заменили на другой, более дорогой, но давление оставалось московским. Тогда я прекратил принимать прописанные лекарства и перестал ходить к своему терапевту, не замечая особых изменений в своем самочувствии в течение трех лет. У Маши ситуация оказалась гораздо хуже, так как прописанные препараты спровоцировали тяжелую аллергию, с которой с трудом удалось справиться, только полностью сменив все принимаемые лекарства.

Третьей и, к сожалению, неразрешимой для нас проблемой стал поиск работы. Состояние моих глаз привязывало нас к Сан-Франциско. Наши резюме и наш возраст делали бессмысленными попытки занять начальные ассистентские позиции, а на более высокие позиции обычно переходят уже работающие штатные преподаватели. Сплошная компьютеризация учебных заведений и компьютерное общение преподавателей и студентов делали меня зависящим от посторонней помощи. Тем не менее два года мы рассылали свои документы, но только один раз я получил приглашение на интервью в Квинс колледж, крупнейший колледж Нью-Йоркского университета. Колледж неожиданно получил дополнительное финансирование для приглашения на один семестр известного специалиста. Так как деньги поступили в середине первого семестра, то заявлений поступило немного, и комитет по подбору кадров отобрал только две кандидатуры - меня и профессора из Пенсильвании. Мой конкурент выиграл конкурс со счетом 3:2, и я думаю, что решение было правильным.

Финансовая поддержка, которую мы получали от федеральных и штатных органов, была недостаточной, и мы стали заниматься частным репетиторством. Нам пришлось ознакомиться со школьными учебниками по математике, с правилами сдачи заключительных экзаменов в школах, а заодно и с задачами американских математических олимпиад. Наши ученики поступили во многие американские университеты, а один из них в знаменитую американскую военную академию Вест Пойнт.

В первые годы нашей жизни в США мы, по-видимому, переживали период предсказуемых и непредсказуемых трудностей. К последним относятся серьезные медицинские проблемы, которые остаются с пожилыми людьми до конца их дней. Появление таких проблем вызывает естественный психологический стресс и держит людей под сильным психологическим напряжением многие годы. Мы оказались ровно в такой ситуации, и хотя первоначальные страхи остались позади благодаря своевременному и высоко профессиональному вмешательству, мы вынуждены были все время быть начеку.

Но жизнь наших детей и внуков всегда подтверждала правильность принятого стратегического решения о выезде из России. Там, на нашей исторической родине все, кому ни лень, ругают мутные, смутные, нелепые ельцинские годы, естественным завершением которых стал приход КГБ к власти. Путин – это только ярлык произошедшего в России. Действующая теперь в России политическая система достаточно устойчива потому, что доходы России от продажи нефти и газа позволили создать определенный социальный слой, действительно

заинтересованный в сохранении нынешней системы. Все беды сегодняшней России, недавно ярко описанные Андреем Кончаловским, уже не касаются наших детей и внуков. Лиля успешно работала в крупнейших компьютерных фирмах, в 1997 году родила нашу третью внучку Элю, а на следующий год ее семейство переехало в новый большой дом в Пало Альто с большим красивым ухоженным садом с зеленой лужайкой в центре. Этот сад попал в одно из моих стихотворений:

Я, словно старый Джолион,
Сижу безмолвно на лужайке,
Неугомонны птичек стайки.
А я впадаю в странный сон.

Как часовые на постах,
В саду застыли в белом розы,
Собака не меняет позы,
Улыбка тает на губах.

Обе Лилины дочки оказались очень способными.

Инна рано начала интересоваться компьютерами, а затем и математикой. В двенадцатом классе она разделила первое место на Национальной математической олимпиаде. Этот успех, вместе со всеми отличными оценками в школе, позволил ей поступить в Гарвард, а ее маме платить только пятьдесят процентов за учебу в университете. После окончания Гарварда она поступила в аспирантуру в MIT, но первый год учебы провела в Англии в Кембридже, получив специальный грант фонда Билла Гейтса. Недавно она защитила диссертацию, и на защите нашей внучки я смог убедиться в том, что она по-настоящему овладела изощренными методами современной алгебры, применяя их при исследовании и поиске топологических инвариантов. Следующие четыре года ее жизни будут связаны с известным частным университетом в Чикаго и с престижным университетом в Принстоне. Инна до деталей разбирается в конструкции современных компьютеров и в программировании, что позволило ей также получить приглашение на работу в Google. Но ее привлекает исключительно академическая работа. Вязание является ее хобби, и здесь она тоже добилась успеха: одно из ее изделий попало в иллюстрации специальной книги по вязанию.

Вторая наша внучка Полина, дочка Ани и Лени, провела почти пять лет на территории Стэнфорда, где ее родители учились в аспирантуре. Семейные аспиранты, как правило, жили в предоставляемых университетом двухэтажных домиках с двумя спальнями наверху и с гостиной и кухней внизу. Группа таких домиков располагалась по кругу, в центре которого находилась детская площадка и на ней дружно играли дети из самых разных стран мира, заодно осваивая английский язык. Я много раз ловил себя на мысли, что взрослым надо учиться у детей умению мирно сосуществовать, несмотря на многочисленные различия. Окончив аспирантуру и получив полагающиеся степени, Аня, Леня и Полина уехали в Чикаго, где Леня стал преподавать в уже упоминавшемся

известном университете, а Аня там же стала работать с биологами, занимаясь статистическим анализом больших массивов генетических данных. Полина пошла учиться в частную университетскую школу, но богатый университет оплачивает все уровни обучения детей своих сотрудников. Спустя восемь лет в ту же школу отправился родившийся в 1999 году наш единственный внук Абрам. Школа известна сейчас во всей Америке, так как дети президента Обамы тоже учились в этой школе. В целом система образования в США находится на неудовлетворительном уровне, но, по-видимому, во всех штатах имеются школы, дающие своим ученикам хорошее образование, и выпускники этих школ имеют больше шансов попасть в лучшие американские университеты. Замечу, что Инна кончила одну из лучших школ Калифорнии, туда же сейчас ходит наша третья внучка, и мы надеемся, что внук окажется там же.

Абрам был назван в честь известного геометра и педагога Абрама Мироновича Лопшица. Дед Лени был заместителем министра сельского хозяйства в тридцатые годы и в период массовых репрессий был расстрелян. После войны его жена и по совместительству Ленина бабушка была сослана, и их дочери Инна и Наташа остались одни. Абрам Миронович забрал младшую из сестер Наташу, будущую Ленину маму, в свою семью. Наташа сумела закончить школу и поступить в институт, но ее прямо с занятий в институте отправили в ссылку вслед за своей сестрой. Подробная история Лениной семьи описана в книге "Семейная хроника времен культа личности", написанной Инной Шихеевой, старшей из сестер, сменившей фамилию после замужества.

Абрам Миронович благодаря своим друзьям сумел избежать ареста и уехал в Ярославль, где много лет преподавал в педагогическом институте. Когда Маша пришла на работу, он по совместительству работал в том же институте на кафедре математики. Она часто встречалась с ним, потому что вела семинарские занятия на курсе, которому Лопшиц читал лекции. Я редко встречался с ним, но в ВГПТИ я оказался близко связанным с его дочерью Галей, уволенной с работы из Центрального педагогического института в 1968 году за подписание письма в защиту Есенина-Вольпина. В восьмидесятых годах я сопровождал Машу, поехавшую на геометрическую конференцию в Новгород. Там мы встретились с Абрамом Мироновичем и его женой и провели вместе несколько дней. Он остался в моей памяти благожелательным к людям и умудренным жизненным опытом человеком. Однажды Лопшиц произнес: "В жизни можно многое увидеть, надо только долго жить". Он сам последовал своему совету, прожив много лет и увидев многое вокруг себя.

Учиться в хорошей школе в окружении очень способных детей Полине было нелегко, но она успешно преодолела трудности и поступила в Брандайский университет, созданный богатыми еврейскими семьями в те годы, когда евреев старались не брать в американские университеты. К сожалению, антисемитизм остается серьезной социальной болезнью человеческого общества, несмотря на неопределимый вклад в развитие цивилизации, сделанный выдающимися представителями небольшого народа, сумевшего уцелеть, преодолев тысячелетия гонений. В мае 2012

года Полина закончила университет, получив две специальности, и мы с радостью присутствовали на официальной церемонии вручения дипломов.

После нашего приезда естественно стал восстанавливаться и расширяться круг общения: Марина жила в Северном Беркли, Володя и Лиля жили в Окленде, в Пало Альто жили Гриша Минц и Марианна Розенфельд. Гриша Минц родился и работал в Ленинграде. Будучи ярким одаренным математиком, он после окончания университета стал работать младшим научным сотрудником Ленинградского отделения Математического института Академии наук, быстро защитил кандидатскую диссертацию, но докторскую ему не рекомендовали подавать ввиду изменения климата в советской математике. Тогда он решил уехать, с работы пришлось уйти, а разрешения на выезд он не получил. Но свет не без добрых людей, и известного специалиста по математической логике приютили в Институте кибернетики Эстонской академии наук. Минц переехал в Таллинн со своей новой женой Марианной. После того, как Эстония получила независимость, они уехали в Стэнфорд, где Гриша стал сразу профессором философского факультета, ибо по американской традиции математическую логику преподают на этом факультете, а заодно получил полставки на факультете математики. Марианна начала работать системным программистом в лаборатории университета, разработавшей методику дистанционного обучения математике одаренных детей. С Минцем я познакомился на конференциях. Приезжая в Москву, он бывал у нас в гостях, и наши отношения естественно стали более прочными после нашего переезда в Сан-Франциско, поскольку мы оказались рядом. О Грише в Таллинне не забыли, недавно он был избран действительным членом Эстонской академии наук. В Америке он был избран членом престижной Бостонской академии наук и искусств.

Более регулярно мы стали общаться с еще одним московским знакомым знаменитым механиком Григорием Исааковичем Баренблатом. В шестидесятые годы он был научным руководителем моего друга Роберта Гольдштейна, и мы познакомились с ним на банкете после защиты Робертом кандидатской диссертации. На моей защите докторской диссертации в МГУ Баренблат был председателем счетной комиссии, и я запомнил, с какой радостью он объявил результаты голосования. Ему принадлежит заслуга в преобразовании Института механики АН СССР в Институт проблем механики, но в результате многие академики – механики стали его врагами и не позволяли избрать Баренблата в Академию наук. После развала СССР он был приглашен в Кембридж в качестве Тейлоровского профессора, а затем переехал в США в Берклийский университет. За время жизни за рубежом его избрали членом ведущих академий мира и удостоили самых престижных наград по механике и вычислительной математике. Его память и работоспособность феноменальны, и я надеюсь, что его автобиография станет ценным вкладом в историю науки.

Хотя мы забрались на край света, друзья стали регулярно приезжать в гости. Уже в 1996 году к нам приехал Максим Хомяков со своей женой Таней, на следующий год приехала Барбара из Гамбурга,

позже стали приезжать Федя и Люся, обе дочери которой жили в наших окрестностях. В непростой период адаптации начались и наши путешествия по Америке и многим другим странам мира. В 1997 году мы побывали на восточном побережье США, посетив Шампэнь, Вашингтон и Нью-Йорк, на следующий год мы полетели в Москву. Начиная с 1999 года, в течение девяти лет мы регулярно посещали Анино семейство в Чикаго и наших друзей в Иллинойсе. Затем последовали Юго-Восточная Азия (Гонконг, Таиланд, Сингапур), любимая Европа (Германия с севера на юг от Гамбурга до границ с Австрией, Италия от Альп до Венеции, Флоренция и Рим, Австрия от границ с Италией в Альпах до Вены, круизы по Рейну от Франкфурта через Кельн и Амстердам до Бельгии) и наконец Париж, Брюссель и Лондон.

Поездки в Юго-Восточную Азию и по Рейну мы совершили в составе больших туристических групп, сформированных в США. Туристическое агентство в основном ориентировалось на пожилых туристов и поэтому интенсивные экскурсионные программы были спланированы таким образом, чтобы никто не уставал. В Таиланде никто не перегрелся, хотя в разгар зимы температура держалась около 35 градусов, но даже мои глаза с этим справились: мы были в основном в тени или в комфортабельных шведских автобусах с превосходными кондиционерами. В поездках меня всегда поражали удивительное спокойствие и дисциплинированность больших групп людей, случайным образом оказавшихся вместе в течение продолжительного времени. Люди с удовольствием рассказывали друг другу о своей жизни, обменивались впечатлениями, показывали друг другу свои покупки, и тем самым создавалась непринужденная атмосфера, стиравшая на время все различия между нами.

Путешествие по Германии, Италии и Австрии было организовано неутомимой Барбарой, способной много часов сидеть за рулем, прекрасно ориентирующейся в дорожных картах и обладающей хорошими организаторскими способностями. Она всегда знала, где мы найдем недорогую гостиницу, где нам следует поесть и что нам следует посмотреть. Мне всегда нравилась организация жизни в Германии, но адаптация к жизни в Германии, по-видимому, дается нелегко. Когда, работая в Гамбурге, я ходил на занятия немецким языком, то в моей группе большинство составляли молодые женщины из разных стран мира. Наш преподаватель любил обсуждать различные аспекты немецкой жизни. Однажды он стал расспрашивать своих учеников о наличии у них немецких друзей. Я был поражен единодушной реакцией женщин, заявивших, что с немецкими женщинами невозможно дружить, поскольку они все убеждены в своей правоте и в превосходстве немецкого образа жизни. Меня тоже поражала регламентация отношений между людьми: даже к друзьям не полагается заходить без предварительной договоренности, приглашая в гости, вам определяют, сколько времени вам уделят и заранее информируют, будут ли вас кормить или вам предложат чашку чая или рюмку вина. Один из моих коллег однажды рассказал мне, что его дочь занимается городской планировкой, и что она собирается поехать в Ленинград. Вернувшись в Гамбург на короткое

время в январе 1992 года, я спросил моего коллегу о впечатлениях его дочери после посещения России. Ответ был неожиданным: "Неужели Вы, большой ученый, об этом помните?" Вопрос показал мне, насколько редко тесное личное общение даже между коллегами по многолетней работе.

В Италии и в Англии незнакомые люди охотно помогали найти нужную улицу, станцию метро или остановку автобуса, так что передвигаться по Риму или Лондону было просто, а в Италии довольно часто люди не понимали ни английский, ни немецкий, но, разобрав знакомое название, энергично жестикулируя и быстро говоря по-итальянски, умудрялись объяснить нам, куда надо идти. Во Франции мы встретились с прямо противоположным отношением к иностранцам в магазинах и даже в Лувре, где сотрудница музея, дежурившая у входа, на вопрос, заданный по-английски, стала демонстративно отвечать по-французски. На знаменитом острове Сан-Луи с его единственной улицей и с изысканным магазином сыров, в котором мы хотели купить рекомендованный нашим зятем паштет, все названия были написаны, разумеется, по-французски, и я спросил у продавца, говорит ли кто-нибудь по-английски. Он понял меня и в ответ спросил, говорю ли я по-французски. Я довольно резко сказал ему, что могу объясняться на трех языках, но не на французском, и тогда он нехотя перешел на английский. Такие мелочи не портили нашего мажорного настроения, поскольку мы всегда были переполнены увиденным, но наглядно демонстрировали сложность сосуществования разных народов в объединенной Европе.

В США многочисленные исторически сложившиеся иммигрантские популяции сосуществуют достаточно мирно и весьма терпимы друг к другу. Без этой терпимости не могла бы возникнуть эта великая страна. Терпимость далась Америке нелегко, она опирается на равноправие всех граждан, мужчин и женщин, белых и черных, христиан, мусульман, евреев, буддистов, атеистов перед законом, и это равноправие было достигнуто почти через двести лет после провозглашения Декларации независимости. Равенство не уничтожило различие в языках, национальных традициях, в организации быта, в уровне образования и т.п., но открыло возможность перемешивания и взаимного воздействия различных культур. Большие города стали центрами такого перемешивания, а средняя Америка проявляет большую склонность к сохранению традиций.

Мирное сосуществование различных идеологий, традиций, культур обеспечивается не формальным признанием равноправия всех граждан, а строгим соблюдением законов, которое обеспечивается независимостью судебной системы от других ветвей власти. Федеративное устройство государства и развитое местное самоуправление также способствуют мирному сосуществованию. К сожалению, эти достаточно общие принципы не реализованы на уровне отношений между государствами и внутри отдельных государств, что приводит к религиозной вражде, к войнам, к геноциду и к другим чудовищным последствиям, несмотря на все достижения человечества в интеллектуальной сфере. Мировое сообщество не создало механизмов

контроля за выполнением своих собственных решений, а принятые общие декларации зачастую становятся прикрытием для террористической деятельности.

Период адаптации закончился после нашей поездки в Москву в марте 1998 года. Там мы расстались с нашей московской квартирой, побывали на могилах родителей, навестили родных и друзей и обнаружили, что у многих возникло ощущение определенного улучшения жизненных условий. Через полгода в России произошел дефолт, и эти ощущения улетучились на некоторое время. В Москве я заключил соглашение с издательством "Фазис" об издании моего учебника и даже нашел спонсоров. Я сумел снова показаться Людмиле Владимировне и повторить курс магнитотерапии. Справившись со всеми делами, мы вернулись в Сан-Франциско, и спустя неделю поехали в небольшой калифорнийский город Чико, где я выступил с докладом в местном университете. Приглашение в Чико организовал уехавший из Саратова алгебраист Семен Гоберштейн, семья которого нас радушно принимала и показала местные красоты. Протянувшаяся на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана Калифорния уникальна по многообразию туристических достопримечательностей, не имеющих аналогов. По геологическим представлениям Калифорния является молодой территорией, и поэтому в ней сохранились большие секвойные леса с тысячелетними деревьями, действующие вулканы и гейзеры, гранитные монолиты и водопады, снежные горы и огромные каньоны, засыпанные вулканическим пеплом леса и пустыня Долина смерти. Земля постоянно вибрирует, небольшие подземные толчки происходят почти ежедневно, а разрушительные землетрясения в Сан-Франциско в двадцатом веке известны во всем мире.

В 1997 году Лиля родила вторую дочку и нашу третью внучку. Через год они купили новый дом, а нам дети приобрели квартиру, и с этого момента мы поняли, что навсегда расстались с прошлым.

Середина осени

В девяностые годы в нашем городе образовалась большая русскоговорящая община, в семьях было много детей школьного возраста, испытывавших подчас значительные трудности при переходе в американские школы. Поэтому была велика потребность в репетиторах по математике. У нас появилось довольно много учеников разного уровня подготовленности, и вторая половина дня оказалась занятой. На первых порах подготовка к занятиям занимала много времени: надо было познакомиться с учебниками для разных классов, причем в разных школах использовались разные учебники, понять методику обучения математике без доказательств, освоить специфику американской терминологии и т.д. Мы столкнулись с неожиданно низким качеством учебников, в которых практически всегда были ошибки и отсутствовали задачи, выходящие за пределы элементарных технических навыков. Основная причина заключалась в том, что учебники писались не профессорами университетов, а учителями школ. Сами учебники по всем предметам издаются в тяжелых переплетах, большого объема и с

большим количеством цветных иллюстраций, и бедные школьники вынуждены таскать тяжелые рюкзаки ежедневно. Учебники издаются толстыми и разукрашенными, чтобы обеспечить прибыль от их изданий за счет достаточно высокой цены.

С появлением третьей внучки мы стали регулярно ездить в Пало Альто и забавляться с ней, оказывая посильную помощь Лиле. По-видимому, мы больше получали удовольствия от общения с жизнерадостным ребенком, чем реально помогали родителям. Когда родилась Эля, Инне было тринадцать лет, и она не требовала ни помощи, ни особого внимания, поглощенная чтением и своими техническими увлечениями. Сначала она ходила в кружок, где дети собирали электромобили, а потом в Пало Альто проводился парад этих машин. На одном из таких парадов наша внучка гордо проехала по центральной улице города. Затем она вошла в группу школьников, конструировавших на фирме Локхид робота, игравшего в хоккей. С этим роботом команда ездила на международные соревнования, но их робот выступил неудачно. После десятого класса Инна попала в математический лагерь при Стэнфорде, и математика вытеснила все ее интересы, кроме компьютеров. После лагеря она твердо заявила: "Хочу заниматься с дедом", и ровно год, приезжая в Пало Альто, я занимался с ней математикой. На следующий год после занятий в школе она стала ездить на лекции в Стэнфорд. На первых порах я скептически относился к ее способности решать олимпиадные задачи, и оказался неправ: в двенадцатом классе она начала выигрывать подряд все математические олимпиады, включая Американскую национальную олимпиаду. Инна унаследовала отцовские гены: ее отец выиграл Международную олимпиаду в Лондоне в 1979 году. Победа на национальной олимпиаде по математике ценится в Америке очень высоко: победители получают денежные призы от президента страны, губернатора своего штата и Национальной академии наук. Двенадцать участников, получивших какие-либо призы, вместе с родителями приглашаются в Вашингтон, где их принимают в конгрессе, в академии наук, в Математической ассоциации Америки, им читают специальные лекции, а формальный заключительный прием проходит в государственном департаменте. Слово "формальный" здесь означает, что приглашенные должны быть одеты в соответствии с определенными стандартами, описанными в приглашении.

После переезда в Чикаго у Ани тоже появился второй ребенок. В марте 1999 года на свет появился долгожданный внук, и Чикаго стал для нас вторым центром притяжения. Пока Анино семейство жило там, мы несколько раз летали к ним в гости, возились с внуком и посещали друзей и знакомых, живших в Иллинойсе. И каждый раз при новой встрече с близкими людьми из общего прошлого меня мучил вопрос: что же нас объединяет сейчас, неужели только прошлое, в котором было так много точек соприкосновения. Теперь мне кажется, что нас объединяет наше одинаковое отторжение прошлого.

Уезжая в Чикаго, Леня сохранил научное взаимодействие со своими научными руководителями в Стэнфорде, и поэтому все семейство каждое лето проводило в окрестностях Стэнфордского университета.

Взрослея, внуки все больше привязывались друг к другу, доставляя нам всем большое удовольствие и порождая ни с чем не сравнимое ощущение близости трех поколений. В 2008 году Леня получил постоянную позицию полного профессора в Стэнфорде, и произошло очередное воссоединение семьи.

Но до этого Маша перенесла тяжелейшую травму левой руки, при падении вдребезги разбив локоть. Это случилось летом 2000 года, когда мы собирались с деловым визитом в Москву, остановившись по дороге в Германии. Во время операции ей собрали локоть по кусочкам, но кости не срастались, и на протяжении восьми месяцев она проявляла подлинное мужество, испытывая постоянную боль и пользуясь одной рукой. Через восемь месяцев пришлось сделать новую операцию, вставив искусственный локоть. Боли прекратились через два дня, рукой стало возможным пользоваться, постоянно проявляя бдительность и осторожность. Проявлять осторожность – это мудрый совет, но мудрым советам невозможно следовать хотя бы потому, что ты можешь споткнуться даже будучи осторожным. Маша упала снова, но ничего не сломала. Однако часть искусственного сустава стала подвижной внутри кости. Все американские хирурги, смотревшие ее, рекомендовали повторную операцию. И тут в нашу жизнь вошел Владимир Юльевич Голяховский, известный советский ортопед, а заодно писатель и поэт, член союза писателей. Он иммигрировал из СССР в 1978 году и в конце концов стал профессором в Нью-Йоркском госпитале. Нет смысла пересказывать его биографию, ибо он сам рассказал о себе в трехтомном описании своей жизни, выпущенном в Москве издательством Захарова. Наши друзья рекомендовали обратиться к нему за советом. В 2003 году мы отправили Голяховскому рентгеновские снимки Машинной руки, и он рекомендовал воздержаться от операции. В следующем году по пути в Москву мы остановились в Нью-Йорке и были приняты Владимиром Юльевичем дома, и он снова подтвердил свою рекомендацию. С тех пор мы стали регулярно общаться по телефону, найдя много общих интересов. К сожалению, за все внимание, проявленное и проявляемое Голяховским, мы смогли отблагодарить его только тем, что иногда с помощью московских друзей доставляем ему авторские экземпляры его книг, изданных в Москве.

Мой учебник не был издан, так как из-за дефолта осени 1998 года спонсоры не перевели обещанные деньги. За истекшие годы произошло много изменений в вузах России, и я не уверен, что книга соответствует действующим программам. Переделывать ее я уже не в состоянии.

Занимаясь математикой со способными школьниками, я неожиданно нашел несколько интересных задач и написал пару статей для способных детей, содержащих новые результаты о числах Фибоначчи и о суммировании обратных величин биномиальных коэффициентов. Осенью 2002 года в Сан-Франциско на ежегодную международную конференцию ORACLE приехала Оля Горчинская. Сидя у нас в гостях, она с грустью вспоминала годы работы нашего семинара по базам данных. Я напомнил ей, что в следующем году исполняется тридцатилетие

семинара и что можно было бы как-то отметить это событие. Энергичная Оля сумела этой идеей возбудить и бывших участников, и сотрудников моей кафедры. Благодаря усилиям Бениаминова, Бычкова, Голосова, Горчинской конференция "Базы данных и информационные технологии XXI века" была внесена в план научных мероприятий Министерства образования, а я был назначен председателем программного комитета. РГГУ и фирма ФОРС стали коспонсорами. В результате в сентябре 2003 года мы отправились в Москву, по дороге проведя три дня в Амстердаме. Во второй половине сентября в Москве стояла необычно теплая солнечная погода, настроение участников конференции было приподнятым, доклады оказались очень содержательными, сделаны они были ведущими специалистами, на заседаниях появились О.В. Голосов, бывший тогда проректором Финансовой академии при правительстве Российской Федерации, и Д.С. Черешкин, ставший членом Российской академии естественных наук и даже прилетела из Алма-Аты моя бывшая аспирантка Сауле Сагнаева, сумевшая стать заведующей кафедрой в Джамбуле, центре богатого южного Казахстана, в котором начало возрождаться полуфеодалное отношение к женщинам. Сауле привезла мне в подарок принятый в Средней Азии знак высокого уважения – черный бархатный халат, со всех сторон расшитый золотом. Всемирно известный Баренблат признал, что его халат скромнее. На следующий год вышел из печати том трудов конференции. В Интернете появилась подробная информация о конференции, благодаря которой меня нашла живущая в Киеве троюродная сестра, о существовании которой я и не подозревал.

Две недели мы прожили у Люды, повидали всех родных и друзей, я снова успел проделать курс магнитотерапии, договорился с Алешей о начале совместного научного проекта.

На прощание мы посетили могилы родных и переполненные положительными эмоциями благополучно вернулись в ставший привычным и удобным для нас Сан-Франциско, город, который мы любим, но остаемся пришельцами из другого мира. Недели через две секретарша Алеши переслала мне письмо из Киева, написанное Светланой Цаленко, пытавшейся проверить, не являюсь ли я ее родственником. В письме сообщалось много деталей, заставивших меня поверить в правильность ее предположения. Я немедленно позвонил в Бруклин двоюродной сестре моего отца Еве и прочитал ей письмо. "Да это же внучка Янкеля", - тут же сказала Ева. Янкель был оставшимся в живых младшим сыном моего прадеда. Он жил в шахтерском городе Харциске и успел эвакуироваться. У него было два сына, и оставалась надежда, что фамилия нашей семьи уцелеет. Но у обоих сыновей родились девочки, и хотя Света и ее дочь Аня сохранили семейную фамилию как и наши дочери, надежд на продолжение рода не остается. Из когда-то большой семьи в двадцать первом веке осталось только шесть человек, носящих фамилию Цаленко, и среди них пять женщин и две Ани. Невероятно!

Узнав о своей родственнице, я позвонил ей в Киев, и между нами завязалась оживленная переписка по электронной почте. Света

прислала мне фотографию моих родителей, сделанную еще до моего рождения. На ней имеется дарственная надпись, адресованная Янкелю. Эта фотография позволила мне оглянуться на семьдесят лет назад.

Отек роговицы, произошедший в 1995 году, по-видимому, был спровоцирован тем, что в то время я стал много времени проводить за экраном компьютера. Тогда никому не пришло в голову, что для меня использование компьютера по существу невозможно. Вернувшись из Москвы, я попробовал использовать дисплей, специально сконструированный для людей со слабым зрением. Пока я прочитывал одну – две страницы, все шло гладко. Но когда я просидел за экраном полтора часа, у меня резко подскочило глазное давление и лопнула роговица. Доктор Оксфорд пришла в ужас, заставила меня капать антибиотик каждые пятнадцать минут даже ночью, но не могла поверить в то, что это реакция на длительное использование дисплея. Прошло три месяца, давление стало нормальным, я приступил к реализации научного проекта и решил снова воспользоваться более совершенным дисплеем. Результат оказался еще более катастрофическим, нависла угроза нового хирургического вмешательства, но в этот момент судьба снова оказалась благосклонной, и операцию удалось избежать. Это позволило нам в мае 2004 года снова поехать в Москву для подведения итогов первого этапа нашего проекта.

На сей раз погода была отвратительной, слякоть на улицах и в особенности у входов в метро все время заставляла проявлять осторожность, чтобы не поскользнуться, духоту в метро я переносил с трудом, спали мы опять мало, встречаясь с родными, друзьями, посещая театры, концерты, кино, и за три недели сильно устали, отвыкнув от московской суety. Итогом этой поездки стала написанная мною летом очень большая статья "Основы теории информационных ресурсов", через три месяца опубликованная в Москве в двух выпусках журнала "Научно-техническая информация".

Из Москвы мы отправились в Чикаго на день рождения Ани, которой исполнялось 35 лет. Там мы через много лет встретились с моим однокурсником Исааком Корнфельдом, тоже чудом уцелевшим во время войны, поскольку заботливая советская власть немедленно отправила его семью в Казахстан: родители Исаака, родившись в Бессарабии, стали французскими гражданами. Летом 1940 года они приехали в Бессарабию навестить своих родителей и показать годовалого внука. Именно в это время Бессарабию захватил Советский Союз, и семья Исаака не смогла вернуться во Францию. Иностранцы не пользовались доверием советских властей, и после начала войны семью Исаака немедленно отправили на восток. Родители Исаака были музыкантами, но природа, как это случается у евреев, наделила их сына математическими способностями, и, окончив школу с золотой медалью, он поступил на мехмат в наиболее благополучном 1956 году. Когда мы с Машей поженились, Исаак жил рядом в аспирантском общежитии, и мы ходили к нему рассматривать альбомы репродукций, которые присылались дядей из Парижа. В США он стал профессором, и к моменту нашего приезда жил под Чикаго.

Мы побывали также в глубинке кукурузного Иллинойса в гостях у Гриши Гальперина и его жены Марты. Гриша был аспирантом Колмогорова, вместе с Синаем написал книгу о бильярдах, был и остается автором многих задач для математических олимпиад. После окончания аспирантуры он несколько лет работал вместе с Машей в одном институте. Во время нашего визита я рассказал Грише о моих результатах по элементарной математике, и он очень быстро организовал публикацию моей статьи в журнале "Математическое просвещение", с которым продолжал сотрудничать. В США Гальперин постоянно участвует в подготовке национальных олимпиад по математике и в проверке работ.

Казалось, что Анино семейство надолго обосновалось в Чикаго, поскольку Леня, заняв постоянную позицию профессора, получил много научных грантов и установил тесные контакты с математиками Франции, Польши, Испании и создал свою группу. Аня перешла на работу в находящуюся в Калифорнии фирму Анжелон, отделившуюся от известной компьютерной корпорации Хьюлетт – Паккард. Эта фирма производила уникальные инструменты для сбора генетических данных и разрабатывала программы анализа собранной генетической информации. Таким образом, наша дочь оказалась на переднем крае науки, она участвовала в научных проектах Гарварда и Стэнфорда, консультировала аспирантов многих стран, и стала соавтором десятков научных статей и постоянно участвует в научных конференциях. Каждое лето, когда Леня приезжал в Стэнфорд, она ездила работать на свою фирму. Они купили большую двухэтажную квартиру около университета, и детям нужно было пройти один квартал, чтобы попасть в школу, а Леня за десять минут попадал к себе в кабинет или на лекцию. Но налаженная чикагская жизнь внезапно оборвалась: Леню пригласили на работу в Стэнфорд в 2008 году, когда Полина закончила школу. Поступив в университет в Бостоне, она стала первой ласточкой, покинувшей уютное гнездо. Остальная часть семейства поехала на год в Стэнфорд, где Леня проработать год как приглашенный профессор. Через год приглашение было принято, с Чикаго расстались, и наша семья третий раз воссоединилась в Калифорнии в окрестности Сан-Франциско.

Две внучки уехали в Бостон, и вслед за ними наши интересы переместились на побережье Атлантического океана, в Бостон и Нью-Йорк. В 2002 году мы приняли приглашение Киры и Геры Липкиных и полетели к ним в столицу Северной Каролины город Ролли. Мне хотелось посмотреть на один из первых штатов Америки, а заодно прокатиться вдоль Атлантического океана. Перемещение через континент – дело непростое и нечастое, поэтому планируешь большое путешествие. Первую остановку мы сделали в Бостоне, поселившись у Насти Тюриной, дочери Юры Тюрина и Тани Фаликс. Настя на год моложе нашей Лили, росла рядом с нами, тоже кончила мехмат и тоже рано уехала в Америку. В Бостоне мы повидали Лену Неклюдову и Сережу Петрова, все старались показать нам как можно больше, но погода была холодной и дождливой, поэтому многое пришлось осматривать через стекло автомобиля, и от Бостона не осталось ясного представления. До Нью-

Йорка мы доехали на поезде, по дороге действительно глядя на Атлантический океан. Вечер и ночь провели у Фимы с Таней, а утром снова сели на поезд. Но на этот раз мы сделали ошибку, поезд шел долго, делал продолжительные остановки и не шел вдоль берега, океан не был виден. К нашему удивлению, мы попали в тихую провинцию, где новый двухэтажный дом с четырьмя спальнями можно было приобрести за те же деньги, что и нашу маленькую квартиру в Сан-Франциско, а в придачу вам навязывали четверть гектара земли. При возрастании цены размер земельного участка пропорционально увеличивался. На окраинах столицы штата соседи жили на почтительном расстоянии друг от друга и почтительно раскланивались при встрече. Природа в Каролине удивительно живописна, покрытые лесами холмы спускаются к просторным озерам, сверкающим под яркими лучами солнца, лиственные леса более привлекательны для бывших жителей России. Посреди всей этой роскоши располагается известный университет Дьюка, вокруг которого находятся научно-исследовательские центры. Летом в Северной Каролине очень жарко, но по случаю нашего приезда не было чрезмерной жары, а в доме современные кондиционеры надежно охраняли нас. Трое детей Киры и Геры разлетелись от Техаса до Парижа вместе с множеством внуков. Рассказы о детях, о прожитом, воспоминания и расспросы занимали все время, и мы незаметно провели несколько дней вдали от дома. Алик Юшкевич тоже жил в Северной Каролине, но повидаться нам не удалось – он куда-то уехал.

Второй раз мы приехали в Бостон в 2006 году, когда Инна закончила Гарвард. Мы впервые увидели, какое значение придается получению высшего образования или научных степеней. Какие-то традиции перекочевали в Америку из Англии, например, форма одежды выпускников и преподавателей. Эту форму я впервые увидел, когда попал в Кембридж в 1990 году. Город был наводнен родственниками, а выпускники ходили по улицам в непривычной одежде. Теперь я знаю, что такую одежду носят даже выпускники школ. В тот год оканчивавших Гарвард студентов, магистров и докторов наук было порядка тысячи человек. Разумеется, что гостей было во много раз больше. Официальная часть, не включавшая вручение дипломов, продолжалась около четырех часов на открытом воздухе под непрерывным дождем, хотя происходила в середине июня. Тогда президентом университета был Ларри Соммерс, последний министр финансов Клинтона. Среди выступавших приглашенных гостей были выдающийся математик Майкл Атья, известный всей Америке журналист и телеведущий Джим Лара, лауреаты Нобелевских премий, фамилии которых я не запомнил. Слушая их, я не переставал удивляться тому, что эти люди, привыкшие выступать по многим официальным поводам, находят возможность сказать что-то нетривиальное и запоминающееся. Выступившие студенты блеснули ораторским искусством, сумев в построенные по определенным канонам речи включить что-то индивидуальное и оригинальное. Умению оригинально мыслить и красиво говорить учат во всех университетах США, но в Гарвард отбирают лучших, и многие выпускники поражают своим умением красиво говорить. Вероятно, и в российских

университетах девятнадцатого века этому умению придавалось большое значение. Иначе Тургенев не приписал бы Базарову следующие слова: "О друг мой Аркадий, не говори красиво."

В Гарварде на факультете математики не принято оставлять в аспирантуру своих выпускников, и Инну включили в лист ожидания. Но она не стала ждать случая и поступила в аспирантуру всемирно известного Массачусетского технологического института, где ее научным руководителем остался профессор Хопкинс из Гарварда, ныне член Академии наук США.

Через полтора года после возвращения из Кембриджа Инна вышла замуж за аспиранта Гарварда Тома Бартлетт-Лэмба. Том по происхождению и по рождению англичанин, он блестяще закончил Кембридж и поступил в Гарвард. Его общее образование сильно отличается от образования выпускников многих американских университетов. Том владеет несколькими европейскими языками, знает европейскую философию и любит классическую музыку. Будучи социально активным, он до сих пор возит английские школьные команды по математике и по информатике на международные олимпиады.

Свадьба состоялась зимой 2009 года в Пало Альто. Том хотел, чтобы она состоялась по какому-нибудь религиозному ритуалу и из любви к своей невесте согласился на еврейский, чем потряс свою многочисленную родню, широко представленную на свадьбе.

Весной 2012 года мы дважды посетили Бостон: в марте Инна защищала диссертацию, в мае Полина заканчивала учебу в университете. Оба раза погода нам благоприятствовала, и мы наконец по-настоящему ознакомились с городом и его окрестностями, а Сережа Петров даже свозил нас в Ньюпорт. Открытием для нас стал бостонский мемориал жертвам холокоста. Для меня он стал свидетельством солидарности с еврейским народом, выраженной наглядно, ярко и монументально. Многие годы он будет напоминать людям о чудовищной силе ненависти и невообразимой жестокости, порождаемой идеей превосходства одной нации, расы, религии или идеологии над всеми остальными. В истории имеется много примеров того, что психически нездоровые маньяки могут разбудить звериные инстинкты толпы, а человеческое общество до сих пор не научилось своевременно избавляться от подобных субъектов. Трагедия еврейского народа не стала уроком и не смогла предотвратить геноцид ни в Нигерии, ни в Бурунди, ни в Камбодже. Мемориалы, подобные бостонскому, напоминают всем, что человечество еще не покончило с варварством, которое, используя достижения цивилизации, может привести к мировой катастрофе.

Защита диссертации в США совершенно не похожа на защиту в России прежде всего потому, что нет Ученых советов. На заседании специализированного постоянно действующего семинара соискатель ученой степени делает подробный часовой доклад о полученных им результатах, желающие задают вопросы, и на этом официальная часть заканчивается. Официальные отзывы оппонентов, или рецензентов, не зачитываются, а специальная комиссия из рецензентов удаляется на закрытое заседание, иногда с участием диссертанта, но Инну не

пригласили. Участники семинара, друзья и родственники собрались в другой аудитории и, к моему удивлению, стали пить шампанское, не дожидаясь оглашения результата. Его по существу и не было: председатель комиссии профессор Миллер скромно вошел в аудиторию и вручил нашей внучке протокол заседания комиссии, проявив заботу о том, чтобы она его не потеряла, и присоединился к распитию шампанского, сам разливая его в пластмассовые стаканчики. Поэтому небольшое заключительное выступление профессора Хопкинса осталось наиболее ярким впечатлением. Он, в частности, сказал, что увидев Инну в первый раз, решил, что к нему пришла Анастасия, а через четыре года он констатирует, что перед ним математик высокого класса.

Я впервые слушал доклад моей внучки и понял, что аспирантов учат не только математике, но и методике подачи материала, контролю за временем, правильному использованию досок, доступности изложения и т.п. Инна очень быстро говорит, но ее изложение оказалось четким, тщательно продуманным, соответствующим принятым стандартам, включая шутки. Диссертация относилась к алгебраической топологии и была посвящена одной из знаменитых задач короля математики двадцатого века Давида Гильберта, распространенной на пространства, размерность которых больше трех. В современной алгебраической топологии теория категорий играет важную роль. Инна среди прочего прочла и нашу с Шульгейфером книгу и даже удостоила меня похвалы. На своем докладе она поразила меня мастерством использования алгебраических конструкций для получения топологических инвариантов.

Заключительный ужин во французском ресторане тоже не был похож на российские традиции: на нем присутствовали только родные и самые близкие друзья.

Мартовский визит был коротким, так как Лиля торопилась вернуться домой: на той же неделе ее вторая дочь Эля сдавала заключительный экзамен в Стэнфорде по классу фортепиано. В мае мы прожили в Бостоне неделю, проведя первые три дня снова у Насти Тюриной, сумевшей уговорить родителей переехать к ней, купив для них отдельный соседний дом. Мы получили возможность впервые за многие годы спокойно пообщаться с Юрой и Таней. Для них психологически переезд оказался значительно более трудным, чем для нас: Юре было трудно расстаться с МГУ, где он проработал всю жизнь. Однако их дети давно покинули Россию, причем младший сын Данила, проработав и в Германии, и в Новой Зеландии, и в Гонконге, и в Голландии, окончательно обосновался в Новой Зеландии, и все внуки родились вне России. Юра гораздо глубже меня разбирался в экономических проблемах послеперестроечной России, иногда положительно отзывался об отдельных экономических реформах, но при встрече в Бостоне удивил меня резко негативным отношением к населению в целом. Во время нашего визита он интенсивно занимался редактированием своей новой книги по статистике.

Затем прилетели Аня, Леня и Абрам, и мы все расположились в гостинице недалеко от Брандайского университета. Университет находится в холмистой местности в пригороде Бостона, и студенты

постоянно тренируются, переходя из одного учебного корпуса в другой. Внешне здания очень простые, но внутри много света и много просторных аудиторий. Официальная церемония проходила в огромном спортивном зале, вместившем не менее пяти тысяч человек. Снова я отметил тщательную подготовку речей, в которых наряду с общепринятыми призывами к поддержанию традиций, к креативности, к работе на благо общественных интересов высказывались глубокие мысли, хотя в возбужденной атмосфере зала только немногие могли на лету оценить содержательность услышанного. Приведу один маленький пример. Новый президент университета Фредерик Лоуренс среди прочего наметил путь развития цивилизации от сбора информации к получению знания, а затем к мудрости. Тем самым он добавил к традиционной дискуссии о связи информации и знания новый элемент – мудрость. Хотя среди приглашенных выступить гостей не были такие знаменитости как в Гарварде, звание почетного доктора получили лауреаты Нобелевской премии, прославившиеся своими работами по генетике и экономике. Вручение дипломов происходило отдельно по факультетам и более торжественно, чем в Гарварде. Наша внучка получила две специальности, так что мы присутствовали на двух таких церемониях. Получение университетского диплома считается большим событием в американских семьях и на заключительную церемонию приезжает много родственников. Наше семейство было представлено шестью членами, так как к перечисленным выше персонам присоединилась Инна. На праздничном заключительном ужине собралось магическое по Гегелю число празднующих – семь. По необъяснимому стечению обстоятельств мы собрались в том же ресторане, в котором отмечали окончание Инной Гарварда. Внучки уехали из Бостона, и мы, по-видимому, надолго расстались с ним.

В июне в Пало Альто мы с Машей организовали мини-встречу моих сокурсников. В ней приняли участие Исаак Корнфельд с женой и двумя сыновьями – близнецами. Им около тридцати пяти лет, оба окончили все тот же известный университет в Чикаго, получив математическое образование, но затем один из братьев стал врачом, а другой финансистом, работающим на Уолл-стрите. К ним присоединилась Марина и Хайм Кестенбойм со своей женой Галей Крупениной. Хайм тоже учился на нашем курсе, но на потоке механиков. Он знал очень много студентов – математиков, но мы познакомились только после переезда в Америку. Галя окончила мехмат на четыре года позже нас. Хайм родился в Западной Украине, тоже ставшей частью Советского Союза, и тоже чудом уцелел, оказавшись на первых порах вместе с родителями и сестрой в окрестностях Омска рядом с лагерями для уголовников. Хаим и Галя уехали в США вслед за своим одаренным сыном, оставив работу в академических институтах. Последние годы жизни в Москве Хайм работал в Институте проблем механики и хорошо знал Роберта. В Сан-Франциско много лет жил еще один студент нашего курса Марк Бернштейн, родившийся в Киеве. Его отец погиб на фронте, а мать с тремя детьми вернулась в Киев в 1944 году. Их поселили в полуподвале, и никто не заметил, что там валяется неразорвавшийся

снаряд. Однажды, братья, оставшись вдвоем, случайно задели снаряд, и произошел взрыв. Только спустя три года в Одессе старшему брату смогли частично восстановить зрение на одном глазу, а Марку помочь не смогли. Тем не менее он смог закончить школу, поступить в МГУ и окончить мехмат. Я долго не знал, что Марк с семьей жил в Сан-Франциско, и до его смерти не встретился с ним.

Несомненно, что существует много "параллельных" историй, с удивительно похожим финалом. Собрание таких историй в одной книге, рассказанных их героями, было бы важным документом т.н. устной истории и постоянным напоминанием об ужасах недавнего прошлого, повторение которых нельзя допустить.

Подведение итогов

Летом 2011 года я стал подводить итоги прожитого, чтобы находясь в здравом уме и еще сохраняя невывцветшую память, успеть сказать напоследок что-нибудь полезное своим внукам.

Жизнь – цыганское гаданье,
В ней и радость, и страданье
Стебли вкось переплели,
Но, мечтая о хорошем,
Я хочу, чтоб связи с прошлым,
Внуков всюду берегли.

С годами я все больше осознаю себя потомком тех шести миллионов евреев, уничтоженных фашистами во время Второй мировой войны. Знакомясь в последние годы с деталями событий в СССР зимой 1953 года, я с ужасом осознаю, что только невообразимое, немислимое чудо спасло евреев Советского Союза от продолжения фашистской бойни.

Конечно, вся история еврейского народа является неповторимым в человеческой истории чудом: изгнанный со своей родной земли маленький народ, презираемый, гонимый, уничтожаемый, расплывшийся по всей земле, сумел сохранить свою веру, свои традиции, свою одаренность и надежду на возвращение на родину. Вернувшись через две тысячи лет к себе домой, возродив свое государство и превратив крошечный кусок Палестины в цветущий оазис, евреи снова стоят перед угрозой уничтожения своего молодого государства. Эта угроза исходит не только и не столько от опирающихся на ислам тоталитарных режимов, сколько от левых либералов, повторяющих ошибки европейских политиков и европейской интеллигенции в тридцатые годы прошлого века, позволившие Гитлеру развязать мировую войну и Сталину создать режим безжалостной диктатуры.

После разгрома Германии и Японии международное сообщество попыталось сформулировать общепринятое представление о правах любого человека, утвердив Декларацию о правах человека, но до сих пор не создало действенного механизма реализации принципов этой декларации. Практически одновременно с принятием Декларации было создано государство Израиль, и арабские страны немедленно начали

войну против молодого государства, попирая принятые международным сообществом решения. Тогда же началось крушение колониальной системы, и с тех пор на огромных пространствах Азии, Африки, Латинской Америки происходит постоянное нарушение прав человека, сопровождающееся убийством миллионов людей. Теперь геноцид коснулся не только армян и евреев, его жертвами стали народ в Нигерии, народ тутси в Бурунди, народ Камбоджи. В Камбодже было уничтожено три миллиона человек из семимиллионного населения, что в процентах больше, чем число погибших евреев во время войны: 43% против 40%. Десятки миллионов людей погибли в Китае во время культурной революции, полмиллиона было убито в Индонезии после победы Сухарто, десятки тысяч людей погибли в полуфашистских странах Латинской Америки. Именно эти страны долго противились признанию государства Израиль, а теперь эти же страны всячески стараются поддерживать арабских экстремистов.

На фоне возрастающего антисемитизма в Западной Европе США и Канада действительно не дают выплескиваться антисемитизму на страницах прессы и телевизионных передачах, и евреи занимают достойное место в экономической, политической, научной и культурной жизни общества. У России, как всегда, "особенная статья": заигрывая с Израилем, она одновременно поддерживает Иран и Сирию, целями государственной политики которых является уничтожение Израйля, провозглашая дружбу народов, одновременно поощряются шовинистические организации с их антисемитской направленностью, о чем подробно рассказано в кинофильмах "Россия 1988" и "Любите меня, пожалуйста". Если Солженицын, Шафаревич и многие другие возлагают вину за Октябрьскую революцию на евреев, то им трудно взвалить на евреев вину за путинскую контрреволюцию. Постоянным источником антисемитизма в России была и, по-видимому, остается православная церковь, по традиции подпирающая государственную власть в знак благодарности за ее щедроты.

Во всем мире не удастся обеспечить соблюдение прав человека. В бывшем Советском Союзе и в нынешней России невозможно обеспечить соблюдение экономического законодательства. В Советском Союзе каждый руководитель предприятия не мог управлять, не нарушая законов или инструкций. Я был принят на работу в 1964 и в 1973 годах в обход правил. Академик В.М. Глушков, активно пропагандировавший применение математических методов при решении экономических задач, рассказывал мне, как все расчеты и сетевые графики могут быть выкинуты на помойку одним распоряжением горкома партии. В сегодняшней России руководители не желают соблюдать закон в целях личного обогащения, именно поэтому сейчас большинство заключенных находится в тюрьмах или в лагерях за экономические преступления. Страна заново переживает дикий период первичного накопления капитала.

Для многих образованных и интеллигентных людей антисемитизм неприемлем и возмутителен, и они оказывают поддержку евреям в той мере, в какой она возможна в конкретной стране и в определенных исторических обстоятельствах. Мне посчастливилось: в

течение всей жизни я получал поддержку от многих людей независимо от их национальности, и имел друзей и близких знакомых во многих республиках бывшего Советского Союза и за его пределами. Однако я вынужден констатировать, что и само по себе образование, и интеллигентность не избавляют людей от антисемитизма, и соответствующие примеры можно найти в любой стране. Зачастую вину за трагические события начинают возлагать на евреев, хотя они составляют ничтожную часть населения конкретной страны. В России многие интеллектуалы возлагают на евреев ответственность и за победу большевистской революции, и за все ее чудовищные последствия, в результате которых пострадал весь цвет российской интеллигенции. При этом сознательно умалчивается тот факт, что в сталинские времена евреи были почти полностью отстранены от участия в политическом руководстве. Одновременно не принято говорить о выдающемся вкладе евреев в развитие науки, литературы и искусства.

К сожалению, даже люди, помогавшие мне в семидесятые годы, теперь обвиняют евреев в развале СССР и в последовавших за этим трансформациях, забывая о том, что порожденная десятилетиями коммунистического правления моральная деградация общества в целом стала основной причиной сегодняшнего состояния России.

Россия не является единственным примером того, что результаты радикальных кажущихся прогрессивными социально-политических изменений не соответствуют предполагаемым последствиям. Весь африканский континент, освободившись от колониальной системы, погряз в нищете, коррупции, в необъявленных войнах, в проявлениях невообразимого варварства. Когда в Конго многотысячные банды насилуют сотни тысяч женщин, то об этом говорят вполголоса, а в реальности никто не знает, как справиться с джином, выпущенным из бутылки. Когда цветущая Родезия превратилась в голодающую страну, то никто не решается силой изгнать Роберта Мугабе. Когда в Центральной Африканской Республике президент занимается людоедством, то это считается внутренним делом страны. Когда в Нигерии бесчинствуют мусульманские террористы, то про мусульман стараются не упоминать, и вдруг спохватываются, что те же мусульмане громят в Мали памятники африканской культуры, которые были созданы пятьсот лет назад. И все это происходит потому, что абстрактные идеи равенства, братства и свободы не имеют реального исторического истолкования. Основные принципы принятой в 1216 году хартии вольностей в течение восьмисот лет постепенно распространялись на всех членов общества в тех странах, где население в целом усвоило основные принципы согласованного сосуществования, стало в достаточной мере образованным и способным к постоянному труду. Бывшие рабы получили в свое распоряжение огнестрельное оружие и стали бесконтрольно им пользоваться для удовлетворения естественных и низменных потребностей.

Застраившие в своем развитии страны Ближнего и Среднего Востока переживают длительный период нестабильности, оказавшись неподготовленными к построению современных демократических

обществ. Однако их нефтяные ресурсы позволили накопить им достаточно денег, чтобы смягчить социальные проблемы и оказывать постоянную военную и финансовую помощь экстремистским группировкам, ведущим вооруженную борьбу с Израилем. Все страны региона объединяет, и долго будет объединять ненависть к Израилю, поскольку на территории Иерусалима находятся святыне места ислама. Более шестидесяти лет маленькое еврейское государство борется за свое существование, превратившись в реальную историческую родину всех евреев, живущих на земле. Мифическая мечта об Иерусалиме вдруг стала реальностью и позволяет евреям, живущим в разных странах, ощущать наличие своего государства. На протяжении двух тысячелетий евреям приходилось расставаться со странами, где они обретали временный приют, хотя и не были желанными гостями. Конец двадцатого века стал временем расставания с Россией, к которой миллионы евреев привыкли и которую полюбили, несмотря на черту оседлости, погромы и процентные нормы. Они внесли неоценимый вклад в русскую культуру, поднявшись на вершины науки и культуры. Имена Ландау и Перельмана, Пастернака и Бродского, Левитана и Антокольского, Ойстраха и Гилельса, Гросмана и Ромма надолго сохранятся в России наряду с именами Лобачевского и Колмогорова, Менделеева и Сахарова, Пушкина, Достоевского и Толстого, Чайковского и Шостаковича, Рихтера и Ростроповича. Расставание нельзя назвать безоблачным, оно было омрачено и судом над Щаранским, и ссылкой Слепака, и с появлением в русском языке нового слова отказник, но, к счастью, все обошлось без погромов и расстрелов, и миллионы евреев получили возможность реализовать свой потенциал в странах с равными правами и возможностями для всех граждан.

Мои дети и мои внуки получили такую возможность, и я надеюсь, что их жизнь не будет проходить под знаком желтой звезды, что они смогут реализовать свои интеллектуальные способности и им не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но будущее моих и их потомков неразрывно связано с сохранением еврейского народа. Трагическая история евреев должна быть для них призывом к бдительности.

Пройдя сквозь злобу, ложь и кровь,
Я уцелел, осколок холокоста,
И я любил, что было так непросто,
И жизни отдаю свою любовь.



Владимир Янкелевич

Осколки

(продолжение. Начало в №3/2013)

- Романтический бред - может быть, скажет Иорам Брановский.

- Да, пожалуй. А почему бы и нет? - отвечу я.

- Но ведь все это уже не ново... да и кому это нужно? - скажет он.

- А я живу впервые, и это нужно мне.

Александр Воронель



Брэдбери в рассказе «И грянул гром» из-за бабочки перевернулся мир, история пошла по другому пути. Все так и происходит, из-за бабочки «грянул гром», а соломинка ломает спину верблюду. Что же перевернуло мой мир, какая соломинка оказалась решающей? Написать бы что-то вроде осознания неправильности выбранного пути или еще что-нибудь умно-красивое, но увы, этого не было.

Все было проще. В командировке в Москве я слушал рассказ приятеля, вернувшегося из Нью-Йорка. В составе руководства коммерческого банка он участвовал в переговорах о создании российско-американской лизинговой компании. Я слушал о возникавших проблемах, о перспективах финансового лизинга, о развитии банка, а у меня, там, где-то внутри, поднималась тоска – ну еще один эсминец «Обалдевший» или «Забубенный», еще одна проверка или инспекция... Как все это надоело. Вот он, предел развития, – кабинет, секретарша, служебная машина, начальство на расстоянии девяти часов лета – все, дальше ехать некуда, осталось только сидеть и ждать пенсии, как паровоз в железнодорожном тупике ждет, когда его отправят в металлолом. Но я не хочу в тупик, я еще живой... Это все и решило, армия, где я провел двадцать семь лет, ушла в прошлое.

Но нужно было не только снять форму, нужно было начать жить иначе, в другой системе координат. Это армейское прошлое никогда не ставило передо мной задач, назовем их – «что», «где» и «для чего», всегда была задача «как». Теперь «постановщика задач» не стало, нужно самому их ставить, решать, а потом ужасаться или радоваться результатам. Военно-морское: – «Я снялся с якоря! – Я взял курс норд-вест! – Я дал полный ход! – Мы сели на мель...», это уже не пройдет. Но самостоятельность зачастую вещь кажущаяся: позвонил приятель, тот самый, что вел переговоры в Нью-Йорке, и предложил возглавить филиал

московского коммерческого банка. Началась гражданская жизнь, приведшая меня в израильскую Натанию через

ДЕЛА ЕВРЕЙСКИЕ

Нью-Йорк

В 1991 году, когда я расстался с армией, в России старых структур не стало, а новые еще не знали, чем и как им заниматься – указаний пока не поступило, а без указаний бюрократическую систему клинит. В этой суматохе, неразберихе начала конца СССР мне и удалось получить заграничный паспорт.

Билет в Нью-Йорк мне купил брат, уехавший из Баку еще до начала армяно-азербайджанских событий.

Незадолго от его отъезда из Баку в 1988, я рассказывал ему:

- Знаешь, меня назначили директором военного завода, полковничья должность, скоро еще одну звезду дадут...

Сказать, что я этим был очень горд, наверно неправильно, но вот дослужиться до звания капитана первого ранга я даже и не мечтал, это было практически нереально. Так что повод для некоторого самодовольства все же был.

- Да ты что! Неужели ничего исправить уже нельзя?

Он был расстроен, ведь в этом случае мне служить не до 45, а аж до 50 лет... Вот такой альтернативный взгляд. Кстати, он был прав, я ушел в 45.

И вот я в Нью-Йорке. Это казалось невероятным... Совсем недавно из-за железного занавеса он был чем-то нереальным, несбыточным, обратной стороной луны, картинкой киноэкрана, но вот он, Нью-Йорк, не киношный, а реальный, живой.

«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой!!!» – какая ерунда. Это чувство нужно было привести внутри себя, тщательно лелеять, тогда был шанс ощутить... Небоскребы совсем не создают этого ощущения, каждый красив по-своему. У меня было совсем другое чувство – потрясение, восторг перед человеческим гением.

Я стою перед «Рокфеллер-центром» и брат мне переводит:

- I believe in the supreme the individual and in his right to life, liberty and the pursuit of happiness. Я верю в высшую ценность человека и в его право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

- Я верю... Я верю... Я верю...

- Я верю в величие труда, будь то умственный или физический; в то, что мир не должен людям жизнь, но должен дать каждому человеку возможность зарабатывать на жизнь.

И наконец:

- Я верю, что любовь – величайшая вещь в мире; она одна может преодолеть ненависть; в то, что право может восторжествовать и восторжествует над силой.

Вот он, Broadway. Какой-то негр с лотком предлагает купить ролекс – у него их полный лоток. Он просит сто баксов. Я остановился посмотреть, но брат потащил дальше. Продавец вдогонку:

- Два за тридцать отдам...

Но мы и два за тридцать не взяли.

Другой, ударник виртуоз, собрал вокруг себя целую толпу. Стучал великолепно, но только на чем он исполнял свои композиции? Старые кастрюли, перевернутый таз, и вообще какой-то невообразимый хлам, но ритм, ритм завораживал.

Вечером возвращались по Brooklyn-Queens Expy – оттуда открывается потрясающий вид на Манхэттен.

- Ты знаешь, что специальный художник определяет, какие окна в небоскребах должны оставаться включенными? Иначе мы бы не увидели эту красоту...



Фотография, к сожалению, не моя. Это работа Juan Santana

Впечатлений, особенно для человека, впервые оказавшегося за границей, да еще в 1992 году, году тотального российского дефицита, хватало. Изобилие, да, безусловно, но вот то, что при таком количестве автомобилей воздух чистый, что во время дождя на машинах прозрачные капли и абсолютно нет грязи, это впечатляло сильнее. Наверняка были и есть места, где грязи достаточно, но я туда как-то не попал.

Входим в дом к приятелю. Открывается дверь, и я не могу переступить порог – передо мной белоснежный ковер с длинным ворсом, настолько белоснежный, что наступить на него кажется кошунством, по нему нужно не ходить в уличной обуви, а парить над ним, что как-то не получалось... Не обращать на такие мелочи внимание я научился довольно быстро. Позже, на заднем дворе, на ветке я заметил белку. Подумал – любят же украшательство, игрушку на дерево прицепил... Но «игрушка», посидев на ветке, убежала.

- Не удивляйся, у меня во дворе и семья зайцев живет. Знаешь, почему все так? Потому что мы не боремся за сохранение природы, мы просто с ней живем в мире.

- Посмотри, как ты живешь... Почему не написал мне – бросай все и приезжай?

- Я так никогда не скажу и тебе не советую. Приедешь, помогу всем, чем смогу, но решение принимай сам. Никто гарантийных справок о грядущем процветании не дает. Оно либо будет, либо нет. И искать виноватых придется перед зеркалом, как в первом, так и во втором случае.

- Мы приехали практически без денег – рассказывал брат. Сняли квартиру у одной еврейской семьи, жена засела за книги, а я диплом положил на дальнюю полку и пошел зарабатывать деньги. Начал с ремонта квартир. Вот представь, бейсмут, я один, и нужно обшить потолок. Эта проклятая гипсокартонная плита, ее как-то поднять надо, не говоря уж про закрепить... А она тяжелая, слезы текут, руки ломит, как я с этим справлялся – сам не знаю.

(В Баку некоторое время брат преподавал физику в школе. На передней парте сидели двое и, как бы это сказать помягче, игнорировали преподавателя, активно общались, что-то горячо обсуждали.

- Ты замолчишь?

Реакции не было, разговор продолжился.

- Ты замолчишь? Спросил брат еще раз и стукнул кулаком по парте. Столешница парты раскололась на две части, парта сложилась в кучу мусора. Когда брат ушел из этой школы, он говорил:

- Представляешь, а если бы между кулаком и партией оказалась его голова?

Так что, как он справился, я примерно представлял.

А еще в Баку он преподавал физику иностранным курсантам в Высшем военно-морском училище. Их инструктировали, что преподавая физику или что другое, они должны еще и пропагандировать «наш советский образ жизни».

- Вот товарищи преподаватели, помните, что после приемки комиссией общежития для иностранцев, фасадная стена упала. Как на этом отдельном, единичном отрицательном примере пропагандировать наш образ жизни?

Немая сцена. Все изображают заинтересованное внимание.

- А вот как. Несмотря на то, что стена упала, кондиционеры, установленные на ней, остались в рабочем состоянии, а некоторые даже продолжали работать, что говорит о высоком качестве бакинских кондиционеров.

Потом брат рассказывал, как на вопрос немца о том, что за три года учебы подъемный кран под окном так и не сдвинулся с места, он, не задумываясь, ответил:

- А у нас таких много).

Каждый вечер хозяева квартиры (Шломо и Рахель) приходили к ним общаться. Языка не хватало, но те были настойчивы и терпеливы, и английский пошел все лучше и лучше. Когда через год, брат с семьей поехал в отпуск во Флориду, Шломо сказал, что он поражен этим, что обычно до первого отпуска проходит года три, и предложил стать компаньоном в создаваемой фирме. Вот так и начиналась американская мечта. Конечно, дело не в кулаке. Брат всегда мог перебрать и двигатель в автомобиле и любое электронное устройство, всегда все делал сам, своими руками. Так что удача знает, в какой дом заходить.

Удача не оставила их и в 9/11. К тому времени Лена, жена брата, работала в Twin Towers, на тринадцатом этаже – она успела выйти. Люди выходили без паники, помогая друг другу, иначе они бы просто пополнили число погибших... Но до этого еще далеко.

Кабалат Шабат – встреча субботы в доме Шломо и Рахели, мой первый шабат. Стол накрыт, на инвалидном кресле ввозят отца Шломо. Он собирается делать Кидуш, все быстро одели кипы, а я стал шарить по карманам, пытаясь найти то, чего не было – кипу. Сосед рядом незаметно дал мне кипу, а когда уходя я хотел вернуть ее, сказал:

– Не нужно, оставь себе.

Это была моя первая кипа, прослужившая верой и правдой примерно 15 лет.

Брат вырос в нерелигиозной семье, еврейский ренессанс в России начался уже после его отъезда. Верх его приобщения к еврейству оказалось посещение синагоги в Йом Кипур.

- Мы понимаем, что ты не религиозен, говорил ему Шломо. И понятно, что нарушая Субботу, ты не испытываешь дискомфорта, но пойми – демонстративно работая по дому в Шабат, ты оскорбляешь окружающих...

Что такое Шабат, почему оскорбляешь – все это было от меня еще очень далеко. Насколько далеко я понял гораздо позже, когда возглавил еврейскую общину, а пока перед временем молитвы мы заехали в Williamsburg. Есть такой район в Нью-Йорке Williamsburg Brooklyn.



Williamsburg Brooklyn

Вдруг, как-то одновременно из всех дверей района стали выходить на улицу странные фигуры в черном, в меховых шапках «штраймл» или черных шляпах, с огромным количеством детей, и все дружно двинулись в одну сторону, в сторону синагоги. Мальчики, абсолютно все, были одеты в белые рубашки и черные брюки, и по 5-6 человек шли за отцом, а девочки были в длинных юбках и кофтах с длинным рукавом. Меня, израильтянина, таким зрелищем не удивить, но тогда, в 1992 году, я увидел это впервые.

Спустя десять лет, вместе с сыном, я оказался в Берлине в Судный день. На удивление, немец, к которому мы обратились, прекрасно говорил на иврите, оказалось, что он проработал в Израиле девять лет.

- Где здесь синагога?
- А какую вам надо?
- Сколько их всего?
- Всего восемь.
- Тогда самую большую!

Он объяснил нам дорогу, и вскоре мы подошли к красивой синагоге с мавританскими куполами. У входа стоял охранник-израильтянин.

- Вы хотите пройти? Вы будете молиться?
- Да...

Но оказалось – не судьба. Молитвенный зал синагоги находится на втором этаже. Дверь открылась и навстречу нам вышла девушка с тфилин на лбу и руке, в кипе, завернувшаяся в таллит. Пока мы обзрели это «чудо», она увидела парня, стоявшего на площадке недалеко от нас.

- Иосси!!! – издала она крик индейцев-ирокезов, а затем в прыжке крепко обняла его, смачно целуя...

Да, действительно, не судьба... Мы ушли. Позже, в Израиле, реформистский раввин Григорий Котляр спрашивал:

- Ну чем она тебе помешала?

Помешала, но объяснить я ему этого не мог. Просто я не узнал место. Это как в анекдоте, когда один религиозный еврей все интересовался, что же там, в баре на другой стороне улицы, куда так активно направляются мужчины. Он надел джинсы, футболку и побежал через дорогу, но не добежал – попал под машину. Оказавшись наверху, он спросил Б-га: «Как же так? Я же вел такую праведную жизнь?» И услышал ответ: «Иосси, это ты? Я тебя не узнал!»

Уже вечер, мы на заднем дворе занимаемся любимым делом – жарим шашлык. Приходит расстроенный знакомый и пытается испортить ужин.

- Представляете, у нас с соседями автомобильный пул, вместе едем на работу, а затраты делим. Так вот я попал в аварию, причем такую, что даже царапины на крыле не осталось, в общем, не авария, а так, ерунда. Бальзаковская дама, что ездил со мной, подала на меня иск на миллион долларов, так как из-за стресса, перенесенного в результате аварии, она потеряла возможность получать сексуальное удовлетворение... Адвокат советует с ней договориться, найти компромиссное решение, что-то ей выплатить...

- Да пошли ты ее подальше – был наш общий, не совсем трезвый вердикт.

Когда я уже уезжал, он пришел еще более грустным. К иску присоединился муж той женщины, он тоже требует миллион, так как в результате того, что жена потеряла возможность получать сексуальное удовлетворение, он лишился сексуального обслуживания, и, естественно,

тоже очень хочет миллион. Про блюдечко с голубой каемочкой речь не шла. Завершение этой сексуальной аварии было уже без меня.

Так получалось, что в этот приезд я побывал на двух судебных процессах. Оба для меня, тогда россиянина, были крайне интересны и необычны.

Процесс первый. В лавку ювелира, знакомого моего брата, входят два вооруженных негра и требуют:

- Драгоценности в сумку.

Тот положил, но когда они выходили, ювелир смог выхватить пистолет и уложить одного. Второй с сумкой побежал по улице. Ювелир бежал за ним и стал «стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека¹». Но когда вор попытался сесть в машину, то ювелир выстрелил прицельно и уложил второго. Тогда из машины вышел третий, и из автомата УЗИ сделал в ювелире 11 дырок. Видимо – еврейское счастье – ни одна не задела ничего важного, ювелир остался жив.

Позже, во Владивостоке, Моисей Ниссенбаум, рассказывая мне о своей военной молодости, показывал след от входного пулевого отверстия на правой стороне лица. Говорил так:

- А выходное отверстие на затылке. Видимо пуля не задела ничего важного. Понимаешь, были бы мозги, убили бы на хрен.

Ювелира судили, а не вручали ему почетную грамоту за успехи в борьбе с преступностью Нью-Йорка или «Пурпурное сердце». По крайней мере, я ожидал именно чего-то в этом роде, но судьей был не я.

А судья сказал ювелиру примерно следующее:

- Те не господь Б-г, не ты им дал жизнь, но ты ее отобрал за камни, которые были застрахованы. Ты ничего не терял. Более того, ты убил и не при самообороне. Вот если бы они только входили в магазин, входили с оружием, ты мог не знать, что у них на уме. Но они уже уходили, и угрозы не было. Ты гнался за ними и убил, забрал у них то, что не давал. Ты должен сидеть в тюрьме очень долгий срок, но так как в тебе уже одиннадцать дырок, считаю, что ты достаточно наказан.

Ювелира отпустили. В мою советскую голову это никак не могло влезть – натура протестовала. Сейчас уже может – либо постарел, либо поумнел... Скорее первое.

А другой процесс был проще. Брат выполнил работу, а заказчик ее не оплатил. Причем сам заказчик – очень богатый. Суд был скорым, ответчик не явился и судья решил дело в пользу брата.

- И теперь снимут деньги с его счета и переведут тебе?

- Да ты что, просто суд пошлет решение шерифу, а тот должен послать письмо ответчику, что тот должен заплатить.

- Ну и что, он это и сам знает!

- А то, что он попадает в компьютер, который начинает насчитывать пени, причем компьютер, он железный, взяток не берет, никаких объяснений не слушает, но блокирует любые обращения к администрации того, кто решения этой администрации не выполняет. А

¹ И. Бабель “Король”.

таких обращений хватает. Например, купить или продать машину или недвижимость, да мало ли что. А сумма все время растет. Это и заставит его рано или поздно заплатить, в противном случае придется переехать в Мексику.

На мой взгляд – конструктивно.

На «проникновенье наше по планете» я обратил внимание благодаря другому брату. Тот не стал ремонтировать квартиры, а решил зарабатывать деньги в Атлантик-Сити. Идея его была очень проста. Над столами рулетки были табло с десятью последними результатами. Вот он, гуляя между столами, смотрел – на каком столе все последние выигрыши были одного цвета, например красного. Тогда он ставил 100 долларов на черное. Если выпадало снова красное, то он ставил опять на черное, но уже 200, чтобы вернуть те 100, что проиграны и получить запланированные 100. Понятно, что красное не будет выпадать вечно, и, удваивая свою ставку, он рано или поздно получит свою сотню, но вот деньги могут кончиться раньше, чем выпадет желанный цвет. Мои слова, что результаты бросков шарика не влияют на последующие броски, то есть события не связанные, он просто отмел, а я не спорить приехал, а посмотреть. Вот я смотрел и задавал глупые вопросы, что да как и почему. А стоявший рядом, черный, как баклажан, игрок по-русски мне ответил:

- Что тебе все непонятно. Смотри и поймешь.

Мне нужно было что-то сказать брату не для широкой публики. Я посмотрел на вывеску на русском языке, кажется, это была «Аптека»... Вот такая анекдотичная ситуация, два еврея в Нью-Йорке чтобы не поняли окружающие заговорили на азербайджанском. Брайтон, что поделаешь...

Один эпизод в Нью-Йорке мне особенно запомнился. Я куда-то спешил, выбегая из многоквартирного дома, толкнул дверь и выскочил наружу. Дверь захлопнулась перед носом у входящего американца. Тот остановился, спокойно посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:

- Спасибо!

Все остальное, соответствующее случаю, я сказал себе уже сам... Прошло больше 20 лет, но это ироничное «thanks!» помню, как будто это было вчера.

Совсем иная система мышления, нужно перестраиваться.

С особенностями американского подхода (в моем понимании, что совсем не обязательно отражает суть дела объективно) я впервые столкнулся, когда с дочерью, только закончившей школу, отправился на Эльбрус. Там наша группа туристов, одетая в то, что могла предоставить военная турбаза, шла, то опережая, то отставая от американской группы, одетой в яркие элегантные костюмы. Там, на седле Эльбруса, находится «Приют одиннадцати» – цель нашего подъема. Еще внизу нам рассказывали, какой необыкновенный чай заваривают там из альпийских трав... Во время подъема я и разговорился с американцем. Обменивались любезностями, говорили о том и сем, но удивил меня ответ на вопрос где его сын, чем занимается... Собеседник ответил:

- А кто его знает, он пока ищет себя...

Это плохо вписывалось в мою (в то время) систему ценностей. Только позже у меня сложилось мнение, что американский менталитет – это свобода выбора, как у молодых, так и у более старших по возрасту. Дети рано покидают родительские гнезда, разлетаясь в другие штаты, для обучения в университетах, находя там работу, или просто начинают жить отдельно, и никто не жалуется, что встречи случаются редко, в традиционные, здесь почитаемые праздники, День Благодарения, скажем, Рождество, Пасху. Такой тесной семейной близости, как в родном мне Закавказье, нет, но всем ли нужна она? А может эта близость и есть, но менее заметна?

Сынок у брата выше меня на голову, когда он входит в комнату, то закрывает дверной проем почти целиком. На шкафу у него выставка разноцветных поясов, отмечавших его путь в боевых искусствах. Вечером, куда-то едем... Он показывает:

- Вот бильярдная, сюда мы ходим по вечерам, если есть настроение поиграть...

- Но я видел бильярдную ближе...

- Нам туда нельзя, там подают спиртное.

- А что, там у тебя спрашивают документы?

- Нет, что Вы, какие еще документы?

- Так в чем проблема?

- Но ведь нельзя же...

Кого в России, да и в Израиле, может остановить «нельзя»?

Из Нью-Йорка я улетал в Израиль. За день до этого пришел приятель брата и сказал:

- Я слышал, что ты летишь в Тель-Авив? Не бросишь ли это письмо там, чтобы скорее было?

На конверте было написано: Израиль, Ашдод, Этину. Оказалось, что письмо к моему однокашнику, которого я удивил и порадовал неожиданным визитом в Израиле.

Уже в аэропорту Кеннеди мы зашли в кафе.

- Перекусим?

- Ты знаешь, мне кажется, что я наперекусывался на всю оставшуюся жизнь. Не могу больше!!!

- Ну только салатик!

- Салатик можно.

- Биг-смолл?

- Само собой смолл!

Принесли этот салатик. В глубокой миске лежал сантиметровый слой утки, на нем такой же – гуся, на нем такой же – курицы, на нем – уже не знаю чего, но всего их было пять. Все это безобразие сверху стыдливо прикрывал листок зелени. Я стал тихо сползать под стол.

- Если б ты увидел биг, то ты вообще бы в обморок упал.

Так я простился с Америкой, а лишние килограммы сбрасывал долго и упорно

Тель-Авив

Что такое – ощущение дома? Как это описать словами? Как понять самому? Ощущение просто есть или его нет. Оно складывается из

неуловимых мгновений, мимолетных ощущений, пролетевших звуков... Вот их уже нет, но ощущение осталось... Возможно помогла мне моя бакинская молодость – Израиль на вид, конечно, Запад, но и Восток, восточный шум, восточный базар, восточные, понятные бакинцу отношения... И я как-то сразу почувствовал – это мое. Нью-Йорк мне показался великолепным, ну что делать, приеду туда еще не раз – гостем, туристом, а здесь я дома.

Встреча с родителями, я на нее уже не надеялся в этой жизни, но вот их дом в городе Бейт-Шемеш. Название города переводится, как «Дом солнца». И правда, солнца хватает. Перекресток, который проезжаешь по дороге в Бейт-Шемеш, называется «Цомет Шимшон» – перекресток Самсона. До места, где он гонял филистимлян – километров сорок, но для такого парня это не расстояние. Я так говорю, потому что я его видел, правда, не живого, а позолоченного, в Нижнем парке Петродворца, но все же – видел...

Недалеко от этого перекрестка раскопки. Я уже и не помню, кто сказал мне:

- Тебя не удивляет, что вот это, что в любой стране лежало бы в музее, лежит так просто, под открытым небом? Дело в том, что если все, достойное хранения в музее, поместить туда, то в музей придется перенести всю страну... Вот недавно один в Иерусалиме решил откопать в своем доме подвал, а раскопал хоромы доримского периода... Теперь он сделал стеклянный пол и пускает туда туристов....

Спустя лет восемь, Слава Гольдберг, мастер спорта всего, чего только можно – я ему помогал в вопросах репатриации – рассказывал мне следующую историю.

- Ты знаешь, я не люблю ходить по тропинкам, по колее. Так вот на экскурсиях по Стране я всегда взбирался вверх напрямую. Сам понимаешь, там обычно не ходят. Что-то заметил под камнем, перевернул и нашел старинные монеты. Вот, посмотри!

Что скажешь – страна такая.

Правда, и нытиков в избытке. В промзоне охранник рассказывал мне:

- Ты не понимаешь, здесь все иное, здесь ты работаешь на хозяина, ты – никто, захочет – уволит тебя, а захочет – повысит... То ли дело в России...

Он по России скучал, но вот возвращаться не хотел, да и не хотел знать, что в России все давно уже иначе, чем он представлял. И вообще, жалующихся на жизнь в Израиле на квадратный метр, на мой взгляд, было многовато. И только отец говорил мне:

- Ты знаешь, я в Израиле не работал, и воевал не здесь, абсолютно ничего для страны не сделал, приехал на все готовое, а мне то и дело звонят, предлагают то такую помощь, то такую.

В Баку у него был запорожец с ручным управлением, а так как у отца правая нога осталась в Венгрии, то и газ и тормоз были сделаны под правую руку. Он так и говорил: «Живу на широкую ногу, одна здесь, другая в Венгрии». Правой рукой нужно было давить на педаль газа и этой же рукой тормозить. В Израиле он получил Mitsubishi Lancer с

автоматической коробкой. Но впечатлило его не это, а вопрос из фирмы - какого цвета машину он бы хотел. Всю жизнь было – «бери, что дают», а – «какой цвет Вас устроит» – такое отношение было внове. За то, что он остановил свой выбор на Mitsubishi, фирма подарила ему часы для подводного плавания.

Вот она – Стена. Котель Маарави. Здесь все и происходило. Сюда приходили евреи в праздники, сюда же Тит привел свои легионы. И мамелюки, и Наполеон...

Вообще-то прочувствовать еврейскую историю, как свою, это дорогого стоит. Для этого мне потребовалось приехать в Иерусалим, а Лена Кужелева смогла это сделать во Владивостоке, в еврейской общине.

Она захотела работать с детьми в воскресной школе. У Лены были природные способности – через некоторое время мы смогли сделать выставку-продажу детских поделок, леки и рисунков, а на вырученные деньги устроить им праздник с тортиками и мороженым.

Как-то Лена принесла мне свои стихи. Мягко говоря, они никуда не годились, но что-то в них было. Я попросил ее рассказать, что она хотела сообщить, какое настроение или эмоцию передать. Как оказалось – с этим были проблемы. Но она была девушка талантливая и через пару недель свои «Былое и думы» излагала очень бойко. Вот тогда и стихи пошли.

Вот ее стихотворение:

Почему я всё это помню?
Как везли нас теплушками в ад,
Как наполнилось сердце скорбью,
Потому, что пути нет назад.
Почему я всё это знаю?
Как живых бросали на снег,
Как с тоскою пичужек стаю
Провожали глазами. Навек.
Почему я всё это вижу?
Как от страха плачет старик,
От предчувствия смерти ближе
Поднимается к горлу крик.
Почему мне всё это снится?
Почему просыпаюсь в слезах?
Я хотела бы не родиться,
Только кто же расскажет так?
Про концлагерь с прогорклой вонью,
Про сирены пронзительный вой...
Почему я всё это помню?
Просто это было со мной.

Может и стихи не совершенны, но искренние чувства подкупают. Невдалеке отдыхал израильский офицер. Я попросил, и мы с ним сфотографировались на память.

Но в память в связи со Стеной врезалось то, что я и сейчас продолжаю считать чудом.



Вот эта фотография

Как ни далеко от еврейства протекала моя жизнь, но я рос у еврейских бабушек и дедушек, ходил в синагогу за мацой, слушал рассказы про «уши Аммана», по «девятое ава» и многое другое. Но мой сын, он родился во Владивостоке, во время, когда ничего еврейского нельзя было найти, как говорят, и днем с огнем. Тогда была в ходу брежневская формулировка, что «В СССР было создано новое общество – советский народ». Куда оно, это «новое общество» делось – я не знаю, но сын так примерно и рос, как часть этого нового общества.

Как же его повернуть к еврейству? И я решил привезти его в Израиль, к счастью такая возможность была.

Приходим мы с ним к Стене, и вдруг сын как-то неожиданно приложил ладони к камню, сам почти прижался, да так и замер. Сколько он не мог отойти от стены, я уже и не скажу, но очень долго... Откуда это? О чем он думал, что просил? В голос крови я как-то не очень верю, но никакого другого объяснения найти не смог.

Когда нам пришло время возвращаться в Россию, он сказал:

- Знаешь, я не хочу возвращаться, я останусь здесь...

- Нет – не согласился я – ты вернешься, а если за год твое решение не изменится, то тогда мы вернемся к этой теме.

Сейчас он живет в Израиле уже 16 лет.

Недалеко от Стены – Храм Гроба Господня.

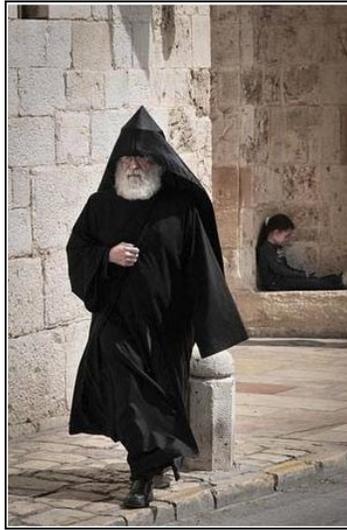
Я спрашивал раввина Адина Штайнзальца, можно ли еврею посещать церковь?

- Если на голове у тебя кипа, а на груди фотоаппарат, то можно.

В противном случае люди могут подумать, что вот и Янкелевич уже в церковь ходит, наверно и мне пора...

С тех пор без кипы я в церковь не захожу.

У входа в Храм Гроба Господня сидит какой-то араб в турецкой феске². Первое, что я увидел, войдя туда, это была очень большая – во всю стену – картина (икона?) с надписью на армянском. Прочитать я не смог, но армянские буквы узнал сразу. Армянские монахи на картине видны сразу, у них такие черные накидки поверх остроконечной шапки.



Армянский монах в Иерусалиме

Мое детство, это армянский район Баку – Арменикенд, и вот спустя много лет, в Иерусалиме, первое, что я вижу, войдя в Храм Гроба Господня – армянские монахи. Здесь, как говорят, «замкнулась связь времен», далекое и близкое, прошлое и настоящее, все переплетено.

Тогда об армянском присутствии в Иерусалиме я ничего не знал. Слова «Армянское присутствие» не должны вводить в заблуждение, во времена царицы Тамар Грузия и Армения были одним государством.

Шота Руставели писал о царице так:

«...Косы царственной — агаты, ярче лалов жар ланит.
Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит.
Воспоем Тамар-царицу, почитаемую свято!
Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то.
Мне пером была тростинка, тушью — озеро агата...»

² Чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями, ключи от храма с 1192 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh, причем право отпирать и запираить дверь принадлежит другой мусульманской семье Нусейбе. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну.

Но ничего не помогло, то ли в поощрение, то ли в наказание (может, передал с любовью не по рангу), короче – отправила царица поэта в Иерусалим восстанавливать монастырь Святого Креста. Во всяком случае, больше он свою любимую царицу Тамар и Грузию не увидел.



Портрет Шота Руставели в монастыре Святого Креста

Я неоднократно бывал в Грузии, знал с каким пиететом там относятся имени великого поэта... Каждый грузин знает поэму «Витязь в тигровой шкуре», а Таризл и Автандил для грузин почти ближайшие родственники, но то, что могила Руставели в Иерусалиме, я тогда еще не знал.

Корни, связывающие Армению и Грузию с Израилем, исследованы далеко не полно. Армянская историческая традиция считает царский род Багратионов потомками знатного пленного еврея Шамбата, а другие источники связывают их происхождение с царём Давидом. Но у нас все было проще. Мы не хотели забираться в такие дебри, а всего лишь осмотреть монастырь, но ворота были закрыты. На робкий стук услышали в ответ армянскую речь.

В свое время в Баку рассказывали такой анекдот:

Встречаются в Африке два эфиопа. Один эфиоп говорит другому:

- Ахпер-джан, ту ха эс? (арм. «Братишка, ты армянин?)

На что другой эфиоп так же по-армянски отвечает:

- Че матаһ, эфиоп! (арм. Нет дорогой, эфиоп).

Так вот, вспомнив это, я обратился к человеку за воротами:

- Ахпер-джан, ту ха эс?

И тот радостно подтвердил, что он именно армянин и открыл нам ворота.

Здесь все рядом. Вон там – Гейеном. Там две тысячи лет назад сжигали мусор и мёртвых животных. Сгоришь в Геене огненной!!! Так это совсем рядом.

Гефсиманский сад на сад похож мало, но можно сказать – Это было здесь... Или не было. Или не здесь, а где-то рядом.

Места здесь такие, необычные, то, что абсолютно точно было здесь, одновременно было еще и где-то рядом, да и не в одном месте. Об этом прекрасно рассказано Губерманом в «Путеводителе по стране сионских мудрецов»³. Даже Гробов Господних уже три.

Приехали на Мертвое море. Один из спутников сказал мне:

- Если ты еврей, то должен подняться на Масаду пешком!!!

Слабо?

И я пошел пешком. Сначала было так, ничего... Потом стало припекать, я достал кипу и прикрыл макушку, но солнце пекло невероятно. Я стал растягивать кипу, пытаюсь превратить ее в сомbrero, кипа не соглашалась. Как дополз наверх, я уже и не помню. Распластался в тени, как выброшенная на берег медуза, отдышался и пошел осматриваться.

Внизу, у подножья горы, до сих пор видны правильные квадраты – валы, которыми римские легионеры Флавия Сильвы огораживали свой лагерь. Здесь держали последнюю оборону бойцы Элизера бен Яира. Вот она – моя история, история моего народа, которой мне так не хватало в школьном курсе истории...

И снова Лена Кужелева:

Закапают слёзы
На жёлтую землю
И глаз не поднять. Почему?
Впервые, быть может,
Сейчас ощущаешь
Причастным себя ко всему.

К камням этим древним,
Что вложены в Стену
Великого Храма Земли,

³ Гробница царя Давида находится на Сионской горе. Знающие люди однажды обратились к толковому раввину и сказали: «Уважаемый рав! Неувязочка получается. Согласно мнению историков, похоронен царь в долине Кедрона. Иосиф Флавий говорит о Вифлееме, в Библии упомянут град Давидов. Ни то, ни другое и ни третье место никакого отношения к горе Сион не имеют. Что же касается этого захоронения, то скорее всего — это гробница какого-нибудь древнего арабского шейха, и до знаменитого путешественника Биньямина из Туделлы, который написал о могиле царя Давида на горе Сион в 1123 году, упоминания об этом месте как гробнице Давида не существует». «Вы абсолютно правы! — ответил раввин. — Конечно же, все исторические, археологические свидетельства вкупе с элементарной логикой свидетельствуют о том, что царь Давид был похоронен в другом месте. Но, видите ли, евреи так долго молились на этом месте, что нет никакого сомнения в том, что Давид сюда перебрался».

И к высям бескрайним,
До боли прозрачным,
Что к Небу тебя вознесли.

Стоишь и не дышишь,
Заходится сердце,
Нахлынула память времён...
Как будто ты воин,
Защитник Масады,
Как будто ты снова казнён...

Как будто согнувшись
Под тяжкою ношей
Бредёшь по пустыне домой...
Под аркою Тита
С пылающим взором
Средь грязи, в цепях и нагой...

Как будто спасаясь
От близкой погони,
Ты мечешься в стенах домов...
Как будто ты в трюме
С большою семьею,
Снедаемый страхом, плывёшь...

Расплавленной нитью
Вернётся сознание,
Вся жизнь, как чарующий миг.
Простите мне, братья,
Слепое незнание,
К которому с детства привык.

Это «слепое незнание, к которому с детства привык» было нашей общей судьбой. Хорошо, что удалось вырваться. А на эти стихи получилась песня. Запись сделана прямо в зале любительской камерой, качество звука и изображения не на высоте, но это то, что мы смогли:

Масада стоит на вершине горы, кругом – пустыня, но у осажденных не было проблем с водой. Проблема водоснабжения была решена инженерами царя Ирода. Интересно, что получится, если сегодняшнему инженеру поставить такую задачу...

И снова Бейт-Шемеш. Мама, которая не хотела и одного слова сказать брату, когда тот уезжал в США, все время спрашивает:

- Ну когда, наконец, вы приедете в наш Израиль?!

- Подожди, мама, скоро, скоро...

Владивосток

И снова Владивосток. Холодно, дождливо. Нужно работать. Бизнес – бизнесом, но появились и другие интересы – нужно было воссоздавать еврейскую общину.

Владивосток до советской власти был городом-крепостью, где считалось недопустимым любое появление евреев. Но как жить без врачей, купцов, юристов и артистов... Вот так и появились евреи во Владивостоке... А где есть евреи, там и синагога, община...

В 1929 году синагогу закрыли, а здание отобрали. Интересная особенность этой ликвидации – она была проведена якобы по просьбе «трудящихся евреев». Очевидно, что во все времена были и те, кто покупал жизнь телу за счет умерщвления души. И все же "Прошение трудящихся евреев города от 23 апреля 1929 года с просьбой о передаче им под клуб Синагоги" представляется весьма необычным документом. А в 1932 году община была вообще закрыта простым постановлением народной власти...

Поиски в архивах дали нам много важных документов, в том числе и о закрытии синагоги. Теперь Вы тоже можете их видеть^{4 5}:

⁴ Постановление трудящихся Евреев города от 23 апреля сего года с просьбой о передаче им под клуб Синагоги /докладчик Кравченко/ Постановили:

1/ Учитывая настоятельные требования трудящихся евреев города Владивостоке о предоставлении им Синагоги под клуб, где среди них возможно было бы организовать общественно-политическую работу и принимая во внимание, что это начинание встречает единодушную поддержку со стороны рабочих ряда производственных коллективов, а так же и то, что для 20-30 человек из группы верующих такое помещение, как Синагога, где можно поместить 350 человек, велико, а почему просить Окрисполком на основании постановления ВЦИКа от 29/II – 1923 г, и пункта 4-го инструкции НКЮ и НКЗ /собрание узаконений 1923 года № 72 страница 699/, о расторжении договора с группой верующих и передачи, здания трудящимся евреям гор. Владивостока, - под клуб.

2/ Всю переписку по данному вопросу переслать в ОИК.

Подлинный за надлежащими подписями.

⁵ **Постановление Президиума Дальневосточного Краевого Исполнительного Комитета**

О закрытии синагоги Еврейской общины верующих в г. Владивостоке /Вносит Постоянная культовая комиссия/

Принято Президиумом ДКИК 1 октября 1932 г.

Принимая во внимание:

1/ Отказ еврейской общины верующих от пользования зданием синагоги;
2/ настойчивое требование трудового населения евреев г. Владивостока об организации еврейского рабочего клуба и трудовой советской школы, - синагогу закрыть, разрешить использовать здание для культурных нужд. Ликвидацию провести с соблюдением правил, указанных в ст. 37-4-декрета ВЦИК и СНХ от 8/IV- 29 года.

Председатель ДКИКа /Буценко/

Секретарь ДКИКа /Власов/

А вторая книга у нее в руке – это репринт случайно найденной книжки «Поваренная книга для евреек». Книжка была издана в Киеве в конце 18 века, валялась на чердаке и истлела почти полностью. К счастью, ее удалось восстановить.



На снимке Инна Слабиткер показывает наши первые книжки (сейчас Инна живет в Израиле, работает по специальности – актриса)

Вообще-то начало еврейской общины все же было положено Сохнумом, открывшим в городе небольшой офис, где руководила Люда Пестун, «еврейская мама», как ее называли. В офисе уже была собрана библиотечка «Алия». Там мне удалось прочитать «Экзодус» Леона Юриса, а затем и множество других. Сказать, что эти книги перевернули мировоззрение скорее всего неверно, скорее они просто вернули его на место.

Организационного опыта у меня было достаточно, и я со страстью наконец вернувшегося издалека блудного сына взялся за возрождение общины. Собрал актив, зарегистрировал общину, открыл небольшую программу с Джойнтом, предложил одного пожилого еврея, назовем его Борух, председателем общины, да и, честно говоря, хотел свое участие ограничить работой в Совете. Но евреи - народ, как известно, жестоковыйный. Борух тут же обратился в Джойнт с просьбой откомандировать его на средства Джойнта в Израиль, со следующим интересным обоснованием: «Во Владивостоке есть историческое здание синагоги. Если я в Израиле смогу посетить израильские синагоги, то это придаст мне дополнительный стимул для возвращения владивостокской общине исторического здания». Когда я предложил ему для посещения синагоги съездить не в Израиль, а в Биробиджан, то он обиделся. Потом он всем объяснял, что я потому препятствую ему, что приберегаю такой шанс для себя – «не за свои же он летает в Израиль!!!»

Следующей идеей Боруха было обращение в Джойнт с просьбой не помогать материально общине, а выделить эти деньги на бизнес его племяннику, а тот, в свою очередь, доход с этих денег будет перечислять в общину. Тем самым, по его идее, можно и общине помощь и деньги

сохранить. Мне стало ясно, что нужно выходить из этой организации и все начинать снова, но только самому.

Зарегистрировал другую организацию – «Еврейский религиозно-культурный общинный центр» (ЕРКО-Центр), и начал работать дальше.



Это Лого нашей общины

А время было, прямо скажем, нескучное – веселые девяностые... Коммерческие банки и криминальные структуры росли, как грибы после дождя, и те и другие развивались очень динамично. Стали появляться невиданные ранее птицы – англичанин Стив Тапер (Tuper), американец Пол Катер (Karter) и серб Драган Станич были среди них наиболее заметными, отличались великолепным русским языком, непривычными галстуками-бабочками и повышенной контактностью. Драган Станич приехал осваивать новое направление бизнеса – торговлю с Россией. А Сив и Пол приехали помогать развивать рыночную экономику, по крайней мере, так они говорили. Все они через некоторое время исчезли, но по разным причинам.

Драган Станич не смог выдержать конкуренции с дешевым китайским и корейским товаром и вернулся домой. Его заместитель Зоран Чиплич, внешне выглядевший, как эталон западного менеджера – приятный в общении, элегантный и хорошо образованный, решив, что он уже неплохо освоился в городе, открыл магазин в центре города, но перепутал рэкетиров с деловыми партнерами. Тут и местные не всегда могли разобраться, а ему это было просто невозможно сделать. Вот и пришлось срочно бежать из города, общение с местными бандитами плохо действовало на здоровье. Перед этим он пришел попрощаться и не смог удержаться - расплакался. Уезжать пришлось, бросив все... Как кормить двоих детей, когда кроме задолженности по кредитам у него ничего не осталось, а в самой Сербии шла война...

А Пола попросили покинуть город (и страну, как мне кажется). Запомнился такой случай. Как-то раз он обратился ко мне с проблемой – в его компьютере вирус заблокировал все внешние входы, превратив его в подобие гробницы с информацией. Я привел с собой ребят из

компьютерной фирмы, они быстро забрали системный блок и увезли в ремонт. Минут через десять Пол вдруг побледнел – его осенило, что ребята могут из его компьютера скачать информацию... Что он только не делал, то рвался немедленно ехать к ним в офис, то чуть ли не бился головой о стенку... Я с большим интересом и удивлением смотрел на это шоу, не особенно понимая его смысл, тогда казалось, что всякие «Джеймсы Бонды» – это все только в кино, но ребята были просто компьютерщики, не контрразведчики – Полу повезло. Кем он был, с какой миссией объявился во Владивостоке, кто знает... Но ФСБ, вероятно, знало, что и завершило его российскую деятельность.

А Стив продержался дольше, активно прорываясь в банковскую сферу, до тех пор, пока не стало очевидным, что в банковском деле он специалист на уровне популярной книги «Банк – это очень просто».

Тогда у меня была антикварная книга – «Судебник», кажется, начала 18 века. Читать было интересно, особенно описания преступлений, они очень расширили кругозор... Вероятно они, эти преступления-проступки были вызваны тем, что все спали на одной печке, где там кто – поди разбери среди ночи... Стив, как любитель русской истории, попросил книгу посмотреть, да с ней и улетел на следующий день, как оказалось – навсегда.

Бандиты были колоритней.

Первый, с которым мне пришлось общаться, был Александр Свиридов. А познакомились мы с ним так. Вопросы, представлявшие интерес для более, чем одного банка, входили в мою компетенцию, в том числе и компьютеризация, системы межбанковской связи и прочее.

Евдокия Гаер – на мой взгляд, искренняя, но излишне доверчивая женщина, депутат Думы России, привезла этого новоявленного специалиста в телекоммуникационных технологиях, которого мы знали, как «Свирида», и попыталась представить его в качестве человека, способного вывести системы телекоммуникаций на новый, современный уровень. Я спросил Александра: «ну куда ты лезешь, ты же ничего в этом не понимаешь!» Ответ был прост и прям: «а зачем мне понимать, я вас яйцеголовых куплю, вот вы и понимайте». Странно было видеть его рядом с маленькой нанайской женщиной, запомнившейся своей бесстрашной защитой академика Сахарова от нападков «агрессивно-послушного большинства». Но во Владивосток она привезла ряженого, как-то вдруг ставшего доктором наук по каким-то информационным технологиям с любимой фразой: "Разум эфемерности подобен превентивности сознания". Прорваться в банковские круги ему, возможно, удалось бы, но в октябре 1994 киллер с косогора, напротив окна его квартиры, завершил его карьеру.

Бандитов убивали, как в Чикаго во времена Аль Капоне. Какие они были великие и независимые. Но у одного в руках взорвался пакет с деньгами, у второго – трубка в акваланге, третьего просто застрелили в кабинете. Успешно уходили от судьбы разве что будущий губернатор Дарькин и будущий мэр Николаев.

Позже, меня, как руководителя еврейской общины пригласили на инаугурацию Николаева. Запомнились два момента этого события. В

своей тронной речи Николаев сказал по поводу наведения порядка в городе:

- Я сказал, значит выполняю. Я с темы вбок не отползаю!

Это было что-то новое в официальном лексиконе. Но дальше выступил приморский епископ Вениамин. Он сказал:

- Вы заступаете на такое трудное служение... Город у нас грязный. Я недавно был в Корее, в Пусане – чисто! Представляете – азиаты, а чисто!!!

В зале сидели и слушали его консулы всех сопредельных азиатских государств.

Но своеобразной лексикой отличался не только мэр. Запомнилась фраза губернатора Дарькина:

- Приехала московская комиссия и сделала нам как бы замечания, и мы их будем как бы устранять!

Вот так, как бы работали, как бы устраняли...

Непонятно почему, но я думал, что там, где-то в Кремле что-то иное. Ну да, не забывают свой карман, ну да, «как не порадеть родному человечку»... Но министр МВД Грызлов все расставил по своим местам. Он приехал во Владивосток и, серьезно глядя вместе с Дарькиным с экрана телевизора, рассказывал нам, как они вместе будут искоренять преступность. Это было вскоре после программы Караулова, где на всю страну была показана дальневосточная бандитская сходка с участием будущего губернатора, которого называли там «Сергея шепелявый».

Интересно, что и у руководителей банков были своеобразные взгляды на «бандюков». Я тогда возглавлял еще и Банковскую Ассоциацию. Мы, совместно с руководителем службы безопасности Владбанка, предложили проект «Концепция межбанковской безопасности». Проект предусматривал много интересного, но глава Дальрыббанка», в то время самого крупного банка Владивостока, Галина Б. на него отреагировала просто: «Зачем мне ваша концепция? У меня своя есть. При необходимости я приглашаю «крышу», и они мне с любого должника все невозвращенные кредиты вытряхнут».

С «бандюками» связана и вот такая история. Одна группа, (бригада, по местной терминологии) захотела получить с меня некоторую сумму. Вот так им захотелось. Клиент (то есть – я) возражал. Обстановка накалилась до такой степени, что я взял у приятеля револьвер, вообще-то газовый, но переделанный под стрельбу дробью и таскал его с собой. Защита эфемерная, конечно, но как-то психологически помогала.

Рядом с домом располагалась охраняемая стоянка. Утром, когда мы все отправлялись на работу, а сын в институт, он выходил раньше, разогревал двигатель и подгонял машину к подъезду. Вот мы выходим, а машины нет. Ну, думаю, не завелась, бывает... Иду на стоянку, но там машины нет. На вопрос охране – где машина, те делают недоуменные глаза и пытаются сказать, что возможно я ее вообще не ставил вчера.

Поехать вдруг покататься сын не мог, следов какой-то аварии на дороге нет... Понять невозможно, тем более, что от стоянки до подъезда 20 метров. Первая мысль, что если это начала действовать та группировка? Но как-то не по схеме действуют, сначала должны были

предупредить... Поехали с женой в офис, решив действовать оттуда. Через четыре часа раздался телефонный звонок:

- Папа, заберите меня отсюда...
- А где ты?
- В ментовке на Махалина.

Оказалось, что ночью в машине разбили форточку, и когда сын выезжал со стоянки, какой-то страж порядка решил, что парень угнал машину. Ни то, что он стоял у дверей подъезда, ни то, что называл адрес, фамилию и телефон владельца, предлагая сразу на месте разобраться – не помогло, сын оказался в «обезьяннике», а машина на арестплощадке. А звонок к нам произошел случайно, мимо клетки прошел сосед милиционер, и сын попросил его позвонить нам. Тот помог. Описать то, что пришлось нам пережить за эти четыре часа я не могу – просто не нахожу слов.

В 1996 году мне удалось побывать на концерте казанского клезмерского ансамбля «Симха». Его создателем, его руководителем и душой был совершенно потрясающий человек – Леся Сонц⁶. Я думаю, сказать, что в нем жила душа еврейской музыки будет неверно, просто он сам был этой самой еврейской музыкой. К несчастью, его уже нет с нами.



Леонид Сонц

Я не только наслаждался концертом, но еще и плакал от зависти. Как я хочу создать еврейский ансамбль, евреи во Владивостоке, им же тоже нужно это услышать.

⁶ http://klezmer.com.ua/groups/groups_text19.p

Но дело было не только в музыке, чтобы что-то сказать людям, их нужно собрать вместе. Ансамбль для этого подходил наилучшим образом.



Ансамбль «Ноар»

Самое удивительное, что казавшаяся утопической идея удалась. Наш ансамбль «Ноар» стал собирать аншлаги в лучших залах Владивостока, ездили по краю, выезжали в Биробиджан.

(Продолжение следует)



Артур Штильман

Мет Опера – дворец музыкальных чудес

Первый полный сезон 1981-82

Из воспоминаний «В Большом театре
и Метрополитен опере»



инкольн Центр и его центральная часть – здание Метрополитен Оперы начали функционировать в 1966 году. МЕТ Опера открывала свой первый сезон оперой Самуэля Барбера «Антоний и Клеопатра». Одним из шедевров первых сезонов была постановка «Волшебной флейты» Моцарта с декорациями и костюмами Марка Шагала, выполнившего также для МЕТ Оперы две огромных картины, висящие в холле-атриуме – «Звуки музыки» и «Источники музыки». В 2012 году Питер Гелб – новый директор МЕТ – объявил, что эти картины заложены в «Чейз Манхэттен банк» за 37 млн. долларов (при бюджете 291 млн.!). Этот факт говорит об уценённости как руководителей МЕТ, так и взглядов на ценность искусства в процессе новых подходов к финансам и исполнительскому искусству. Но всё это – теперь. Тогда же был настоящий «золотой век»!



Бело-мраморное фойе МЕТ Оперы

Поражающее воображение фойе из белого мрамора с красными коврами на полу лестниц, ведущих вверх в зрительный зал и вниз – в

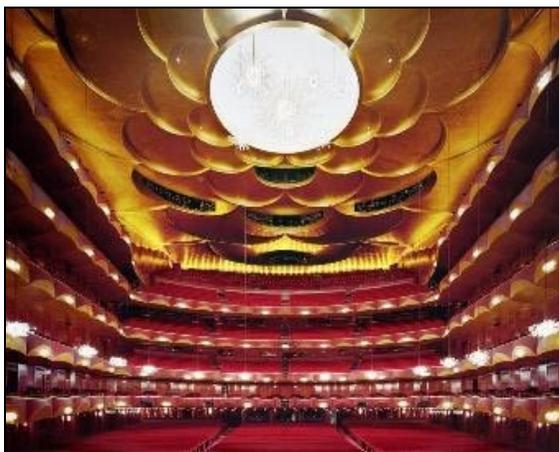
музей МЕТ. По своему дизайну лестница главного фойе напоминала парадную лестницу «Дворца Гарнье» - парижского Театра «Гранд-Опера».

В зрительном зале на почти четыре тысячи мест поразительная акустика. Удивительно, как проектировщикам и строителям удалось создать такое грандиозное и удивительно звучащее чудо! Никакой электронной «помощи» даже для исполнителей за сценой – отовсюду были хорошо слышны голоса и сценические оркестры.

Очень важным для солистов, съезжающих в течение сезона в МЕТ со всего мира, отношение к ним со стороны исключительно доброжелательного и высоко профессионального состава обслуживающего персонала: гримёров, костюмеров, выпускающих режиссёров, остающиеся с артистом до последней секунды перед выходом на сцену. Поэтому большинство певцов мира всегда с радостью возвращаются в МЕТ.

Вот слова всемирно известной российской певицы Ольги Бородиной, очень точно обрисовавшей отношение в театре к своим солистам:

«Когда приезжаю в Met, мне всегда говорят: “Welcome home”. Я в Нью-Йорке всегда бываю с удовольствием. Еще и потому, что там везде и всегда порядок. И ты заранее знаешь за год, за два расписание репетиций и даты спектаклей. И кто твои партнеры, дирижер и режиссер. И там прекрасный пошивочный цех, который сделает такие костюмы, в которых ты будешь хорошо смотреться. И от тебя требуется только быть здоровым и готовым к работе».

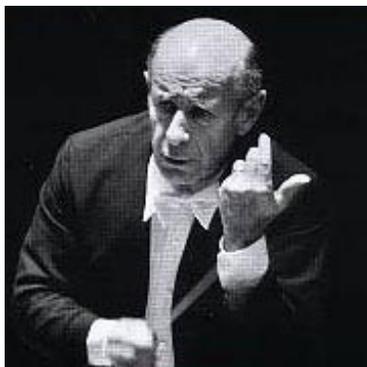


С началом спектакля главные люстры «улетают» вверх к потолку...

Сезон 1981-82 года до сих пор кажется чем-то невероятным, из ряда вон выходящим и именно, как было сказано раньше – волшебным сном наяву! Всё в этом театре казалось действовало как в лучших

швейцарских часах – весь механизм работал с такой выверенной точностью, певцы-солисты были мирового уровня, сценические решения – декорации, костюмы, свет – были настолько стильными и совершенными, что каждый новый спектакль вызывал бурный энтузиазм. Не только мой энтузиазм, как новичка в этом театре, но и у публики. А вообще все были счастливы, что театр не закрылся на весь сезон, что гордость города – Метрополитен опера живёт своей необычной жизнью на радость всем любителям музыки и оперного пения.

Мы начали репетиции в начале сентября. За три недели следовало подготовить шесть опер, среди которых три были высшей трудности для всего участвовавшего состава. Это были «Райнгольд» и «Зигфрид» Вагнера с Эрихом Ляйнсдорфом, с ним же труднейшую оперу «Женщина без тени» Рихарда Штрауса, и три менее сложных спектакля: новую постановку оперы «Норма» Беллини, вполне «дежурные» «Травиату» и «Мадам Баттерфляй», а также новую постановку трёх одноактных опер Пуччини «IL Tritico» - «Гриптих», включавший «Плащ», «Сестру Анжелику» и «Джанни Скикки» с Джимми Левайном.



Эрих Ляйнсдорф в 80-е годы

Но начались репетиции всё же с Вагнера. **Эрих Ляйнсдорф** (Эрих Ландауэр – 1912-1993) четыре года был главным дирижёром и музыкальным директором MET только с немецким репертуаром - с 1938 по 1942 - и ещё пять лет - с 1957 по 1962 – полным музыкальным директором. Он был типичным продуктом «старой школы» дирижёров-скандалистов. Малейшая неточность или непонимание его замысла оркестром или кем-то из музыкантов вызывали в нём невероятную реакцию. Возможно, что он подражал Тосканини, которому был обязан не только работой в Америке, но и самой жизнью. Тосканини встретил его на Зальцбургском Фестивале в 1937 году. При первой встрече он попросил Ляйнсдорфа сыграть на рояле и спеть (!) всю оперу Моцарта «Волшебная флейта». Тосканини дирижировал одним пальцем, а после окончания такого прослушивания сказал лишь одно слово: «Вене», то есть был удовлетворён. Тосканини организовал приглашение от Метрополитен

оперы для Ляйнсдорфа, но наступил 1938 год – Аншлюс Австрии, а Ляйнсдорф был венцем и сразу должен был оказаться, как еврей, без гражданства. Тосканини имел столь большой авторитет в Америке, что прошение от МЕТ Оперы было поддержано сенатором Линдоном Джонсоном и история Ляйнсдорфа закончилась благополучно.

После войны Эрих Ляйнсдорф приобрёл славу одного из лучших исполнителей музыки Вагнера и Рихарда Штрауса. В 1978 году он дирижировал в Москве оркестром Нью-Йоркской Филармонии. Его исполнение 5-й Симфонии Малера осталось в памяти, как одно из самых замечательных в те десятилетия.

Ну, а как человек он обладал весьма скверной репутацией – вздорный скандалист, цепляющийся часто без нужды ко многим музыкантам, тем не менее сам часто становился жертвой жестоких розыгрышей. И даже совсем небезобидных (так в Бостоне в дни его директорства (1962-1969) прославленный трубач оркестра Рожэ Вуазен смешал под столом в рюмке с вином свою *urinae* и незаметно поставил на стол перед Ляйнсдорфом. Музыкальный директор выпил содержимое, не поморщившись. На вопрос моему другу Гарри Пирсу, рассказавшему мне эту историю - понял ли Ляйнсдорф, что он выпил - Пирс ответил, что скорее всего да, но сделал вид, что ничего не произошло. С коллегой Ляйнсдорфа дирижёром Георгом Шолти сыграли также скверную «шутку» в Лондоне и тоже где-то в 60-е годы. Во время репетиции в Ковент-Гардене на его машине кто-то заклеил *все окна* специальной несмывающейся клеейкой бумагой. Немногие дирижёры в истории могли похвастаться таким «вниманием» со стороны коллег-музыкантов).

На этот раз в МЕТ при подготовке двух опер Вагнера Ляйнсдорф решил быть, насколько это было в его силах – милым и обаятельным. Время от времени он делал мини-перерывы на минуту-две и рассказывал какую-нибудь историю или анекдот. Так он рассказал анекдот, которого я не знал. Суть его была в том, что один скрипач пришёл играть конкурс на вакантное место в оркестре и сообщил, что будет исполнять Концерт Мендельсона. Все приготовились слушать, но он начал играть партию аккомпанемента, которую начинали скрипки. Его остановили и попросили играть **Концерт** Мендельсона, на что он ответил: «Я же пришёл наниматься к вам не в солисты!». Из двухсот человек смеялся я один. Этот анекдот в Америке был, что называется «с бородой», да и никто не хотел «жаловаться» Ляйнсдорфа своим вниманием. Я же не только не знал этого анекдота, но и понял всё дословно, так как Ляйнсдорф говорил с понятным мне акцентом. Было это очень забавно. Один человек из двухсот – всего оркестр да и хора, да и тот - я – свежеприехавший не так давно из Москвы.

Но когда Ляйнсдорф начал дирижировать, он становился действительным волшебником – человек маленького роста извлекал из оркестра такие звуковые стихии, что можно было лишь диву даваться, каким образом он это делал без всяких усилий. Ему были свойственны необычайно длинные музыкальные линии – например в самом финале оперы Вагнера «Зигфрид». Это производило огромное впечатление и на

публику, и на музыкантов. После его выступлений ему можно было простить всё.

Абсолютно владея материалом, он с большой лёгкостью «вкладывал» свою интерпретацию музыки в каждого певца, в каждого исполнителя. Нужно отдать ему должное – он умел ценить настоящих артистов – будь то на сцене или в оркестре. В это время в оркестр прошёл на испытательный срок на место первого кларнетиста Джозеф Рабай, выдержавший конкурс среди 500 соискателей одного (!) места. Джо блестяще играл все соло в обеих операх и на последней репетиции Ляйнсдорф торжественно поблагодарил Рабая за «высочайшее в художественном отношении исполнение труднейших кларнетовых соло в этих спектаклях». Потом он написал также свой отзыв об игре кларнетиста и повесил его на доске объявлений оркестра. После таких рекомендаций Джо был сразу оформлен постоянным солистом оркестра – без испытательного срока. Так что надо быть справедливым и сказать, что всё же музыкант в Ляйнсдорфе доминировал над его скверным характером.



Вид на центральный атриум в антракте оперы

Через несколько недель вышла новая постановка оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени» (написана в 1915 году) - тоже с Ляйнсдорфом. Главную партию Императрицы исполняла венгерка Эва Мартон, в спектакле пели ещё две звезды – Биргитт Нильссон и Миньон Данн. Как и большинство опер Штрауса, эта опера также невероятно трудна. Временами у меня просто кружилась голова от фейерверка потрясающих и сегодня находок композитора и его бесконечной способности к колористическому разнообразию. Помнится, что в конце второго акта неожиданно возникает Вальс-кода финала. И тут Ляйнсдорф поразил всех своей необыкновенной способностью создавать звуковое музыкальное чудо! До этой поры мне не доводилось быть свидетелем таких действительно волшебных моментов, которые так легко удавались Эриху Ляйнсдорфу.

Либретто Хофманшталя «Женщины без тени» чрезвычайно сложно – оно полно символики и глубоких философских мыслей. Сегодня

Википедия в статье об этой опере справедливо указывает, что *« в отличие от запутанного либретто и несмотря на внушительный исполнительский состав (расширенный оркестр, хоры), музыка оперы абсолютно доступна для рядового слушателя. По сравнению, например, с "Саломеей", музыкальный язык "Женщины без тени" опирается на ладотональность, гармония в целом классична. Даже если слушатель не разбирается в системе лейтмотивов произведения, это не мешает ему получить эстетическое удовлетворение от музыки»*. К этому нужно добавить, что такие фрагменты, как знаменитое соло виолончели, занимающее время небольшой сольной концертной пьесы, некоторые чисто оркестровые фрагменты – всё это действительно доставляет наслаждение слушателям, даже и не слишком посвящённым во все таинства произведения Штрауса-Хофманштала. Опера производила и на публику, и на исполнителей огромное художественное и эмоциональное воздействие. Мой праздник в МЕТ Опере продолжался всё время – не успел окончиться один – «Райнгольд» и «Зигфрид» (именно и только с Ляйнсдорфом) - как начинался другой, потом следующий. Вот это и казалось временами, что такого наяву быть не может, что это и вправду какой-то чудесный сон в волшебном дворце...

Другим действительным чудом, рождавшимся прямо на наших глазах была новая постановка Франко Дзеффирелли оперы Пуччини «Богема».

Мне не довелось увидеть эту оперу во время первых гастролей «Ла Скала» в Москве в 1964 году. В ней было что-то общее с новой постановкой в МЕТ, были и существенные отличия (могу судить только по видеозаписи той старой постановки из театра «Скала»).



Вторая картина «Богемы» в постановке Дзеффирелли. Парижская улица

Общим был часто используемый Дзеффирелли принцип конструирования сцен одновременно на двух этажах – на верхнем уровне

сцены строилась декорация первой картины «Богемы» - жалкая, холодная комната нищих художников и поэтов в мансарде дома на Монмартре, в то же время уже при начале спектакля был готов нижний уровень - с полностью установленными декорациями второй картины – парижской улицы с кафе, уличными торговцами и занявшими свои места артистами хора и мимического ансамбля, изображавшими уличную толпу. Едва закрывался занавес после окончания первой картины, как мгновенно и бесшумно подымалась сцена и второй, нижний уровень становился вровень с рампой. Всё было готово! Оставалось только посадить Мюзетту со своим ухажёром в настоящую коляску, запряжённую лошадью, открыть занавес и выехать прямо на сцену к столикам уличного кафе!

Так вторая картина с огромной толпой прогуливающихся «парижан» открывалась во всём своём блеске! Сцена МЕТ таким образом демонстрировала публике не только музыкальные, но и чисто сценические, театральные чудеса! Этим приёмом Дзеффирелли пользовался также и в своих постановках «Тоски», «Травиаты», «Кармен», «Турандот» и других операх. Но всё же вторая картина «Богемы» осталась в памяти всех, кто видел его даже раннюю версию, показанную в Москве в 1964 году.

Всякий раз, как только открывался занавес второй картины (в оригинале это 2-й Акт, так как во времена Пуччини поставить на сцену декорации 2-Акта сразу же было невозможно) раздавались восторженные аплодисменты публики – яркая картина уличной жизни Парижа начала XX века никого не оставляла равнодушным!



Финальная сцена «Богемы». Тереза Стратас и Хосе Каррерас

Эта постановка, премьера которой состоялась в МЕТ 14 декабря 1981 года, к счастью записана на видео и её могут видеть любители музыки и оперного искусства во всех уголках мира. Есть несколько записей этого спектакля с разными исполнителями. Но в первом составе пели: Тереза Стратас (Мими), Хосе Каррерас (Рудольф) и Рената Скотто (Мюзетта). Финальная сцена оперы – смерти Мими - всегда берущая за душу в любом исполнении, в той постановке достигала невероятной трагической силы. Даже нам участникам спектакля казалось, что это совершенно реальная сцена смерти, а не театральная, оперная. Тереза Стратас – гениальная актриса и певица, создавшая за годы своей карьеры

целую галерею абсолютно разных по характеру образов, достигала в этой роли той художественной силы, которая быть может даже в её жизни на оперной сцене была редчайшим образцом сочетания драматического и вокального искусства, к счастью оставшегося в видеозаписи для будущих поколений.

Музыкально-исполнительские чудеса начались ещё до декабрьской премьеры «Богемы». Началом была опера «Норма» Беллини. Как и оперы Доницетти, произведения Беллини в моё время не исполнялись в Большом театре, за исключением нескольких недель гастролей миланского театра «Алла Скала». Тогда, в 1974 году я и услышал впервые эту оперу. Не знаю, что тому было причиной, но она не произвела на меня большого впечатления.



Джеймс Левайн в ранние 1980 годы

Теперь же в МЕТ я сам был участником исполнения, и репетировали мы это произведение с Джимми Левайном. В главных ролях выступали Рената Скотто, Татьяна Троянос и Пласидо Доминго. Скотто была уже, вне всяких сомнений, на излёте своей вокальной карьеры. Троянос находилась на самой вершине своего исполнительского мастерства. О Доминго можно вообще не говорить – он пел на протяжении моих 23 лет в МЕТ всегда на том же мировом уровне вокала, который доставлял удовольствие и радость слушателям и музыкантам всего мира. Поразительной красоты голос, передававший все оттенки человеческих чувств в музыке композиторов различных стран, эпох и стилей, певший так естественно, что казалось, это не составляет никакого труда для певца, а лишь одно удовольствие от соприкосновения с музыкой великих композиторов. Поразителен диапазон его стилистических возможностей! Он выступал в операх Вагнера, Берлиоза, Пуччини, Чайковского, Бизе... Если не изменяет память в его репертуаре более 120 опер!

«Вечер Стравинского» – специально подготовленный спектакль перед празднованием в следующем 1982 году 100-летия со дня рождения

великого композитора. В программу спектакля вошли: опера-балет «Соловей» (с солисткой Наталией Макаровой), «Весна священная», и опера-оратория «Царь Эдип». Для этого спектакля снимали обычный барьер, отделявший оркестр от зрительного зала и устанавливали барьер стеклянный, создававший ощущение естественности участия оркестра в сценическом действе.

Опера-оратория «Царь Эдип» была написана Стравинским в 1927 году на адаптированный Жаном Кокто текст трагедии Софокла для труппы, мужского хора и солистов. Это произведение так называемого «неоклассического» периода творчества Стравинского производит при живом исполнении в театре огромное впечатление. Сочетание элементов древнегреческого театра с современными театральными эффектами, совершенное исполнение возвышенной музыки великого мастера осталось незабываемым воспоминанием для всех, кому довелось тогда видеть и слышать тот «Вечер Стравинского».

Оперу-балет «Соловей» Стравинский начал писать ещё в России в 1908 году по заказу Дягилева. Либретто по сказке Андерсена. Первое исполнение состоялось в 1914 году в Париже в программе дягилевского фестиваля. Критики всегда отмечали влияния Римского-Корсакова и Дебюсси.

Этот «Вечер Стравинского» исполнялся за мои годы неоднократно и в другие сезоны. «Соловей» мне казался музыкой немного эстетской, быть может даже предвосхищавшей будущий «неоклассический» период Стравинского. Но что бы ни говорили критики-музыковеды, а музыка и сам спектакль всегда доставляют радость встречи с гениальным композитором – никогда не одинаковым, владевшим стилями различных эпох, всегда элегантным и изящным в музыке этого сочинения. Одним словом «Вечер Стравинского» не оставлял ни одного пустого кресла в четырёхтысячном зале МЕТ!

Премьера «Триптиха» состоялась в Метрополитен опере 14 декабря 1918 года. Таким образом опера имела большую исполнительскую жизнь на этой сцене. В этих трёх операх пели Рената Скотто, Катерина Мальфитано, Тереза Круз-Рома, тенора Чианелла и Молдавану, и несравненный бас-баритон Габриэль Баскье. Его обаяние и исключительное актёрское мастерство привнесли особое очарование в последнюю, наиболее популярную оперу трилогии – «Джанни Скикки». До сих пор помнится его голос, декламирующий строки Данте в самом конце оперы.

Незадолго до моего отъезда из Москвы в Большом театре была поставлена популярная комическая опера Моцарта «Так поступают все (женщины) или школа влюблённых» («*Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti*») Я тогда, незадолго до отъезда, уже не участвовал в той постановке, но играл несколько репетиций, и хорошо помнил, как настойчиво добивался Юрий Симонов точности в ансамблях певцов и оркестра.

Теперь в МЕТ мы имели минимальное количество репетиций – кажется, всего четыре, плюс три репетиции со сценой. Это и

неудивительно – опера была репертуарной и следовало её просто возобновить с новым составом певцов. Но что это были за певцы! Кири Те Канава, Мария Ювинг, Кэтлин Баттл, Джеймс Моррис. Спектакль искрился, как лучшее итальянское «Асти», он был увлекательным, лёгким, каким-то воздушным! Трудно себе представить, какая работа стояла за всем этим - каждого солиста, каждого участника хора и оркестра. Действительно, в такой постановке проявлялось мастерство и профессионализм, индивидуальная работа над партитурой Моцарта всех без исключения участников столь незабываемого спектакля. Джеймс Левайн был одним из крупнейших в мире исполнителей Моцарта тех лет – в стилистической достоверности музыки австрийского гения, в создании иллюзии удивительной простоты и «лёгкости» исполнения, но в то же время и в раскрытии бездонной глубины многих великих эпизодов этой оперы, всегда при таком исполнении создающим атмосферу высшей духовности и праздника музыкально-сценического искусства.

15 января 1982 года начались спектакли оперы Верди «Трубадур». Дирижировал уже знакомый мне по летним концертам 1980 года с «Нью-Йорк Филармоник» Джеймс Конлон. В том спектакле после долгого перерыва выступила несравненная Леонтина Прайс. Первый раз я слышал её в Москве в 1964 году, когда она, Карло Бергонци, Фьоренца Коссото и Никола Дзаккариа исполнили «Реквием» Верди с оркестром и хором Театра «Скала» под управлением Герберта фон Караяна. Позднее я слышал много её записей на пластинках – арии из опер, музыка из «Порги и Бесс» Гершвина и многое другое. (Сегодня мало кто помнит, что в декабре 1955 года Москву посетила маленькая американская оперная компания «Эверимен Опера», которая привезла оперу Гершвина «Порги и Бесс». Солисткой этой компании была совсем юная Леонтина Прайс).



Леонтина Прайс на сцене МЕТ Оперы

На этот раз после исполненной ею знаменитой арии в начале последнего акта началась такая овация, свидетелем которой я ещё никогда

не был. Я не знал и не знаю, что этому предшествовало. Возможно, что Прайс решила по каким-то причинам не выступать на сцене МЕТ несколько лет, возможно были причины финансового или иного характера, но публика, заполнившая МЕТ в тот вечер ясно дала понять, насколько все были счастливы видеть эту потрясающую певицу снова на сцене театра. Овация продолжалась по моему ощущению не меньше 7-8 минут. У Прайс выступили слёзы на глазах. Такого приёма, кажется не ожидала она сама. Но всё же этот приём был вызван прежде всего её пением – феноменальной красоты, теплоты и глубины голосом; изумительным владением техникой настоящего итальянского бельканто, естественно передававшего божественную красоту музыки Верди – вот что вызвало столь невероятную овацию. После того памятного вечера, кто бы ни пел эту партию, всегда вспоминался голос Леонтин Прайс в тот незабываемый вечер января 1982 года. Время идёт, но такие воспоминания никогда не покидают нас – подобное происходит порой раз в несколько десятилетий, если вообще не раз в жизни...

Вскоре мне пришлось быть участником исполнения оперы Вагнера «Тангейзер» – также, естественно, в первый раз – с легендарной австрийской певицей Леони Ризанек. Выдающееся сопрано, на мировой оперной сцене она дебютировала в 1949 году, спев за свою артистическую карьеру только в МЕТ Опере около 300 спектаклей. Диапазон её творчества был исключительно широк – Вагнер, Рихард Штраус, Верди, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Сметана, Яначек. Когда я впервые услышал Ризанек ей было 56 лет, но голос её звучал таким молодым и свежим, что просто не верилось, что за плечами у неё была уже 30-летняя оперная карьера. Слушать её было большим удовольствием. Прежде всего в её пении покоряла глубокая музыкальность, отличный вкус и чувство меры, благородство фразировки и совершенство владения звуком – особенно при нюансах *piano* или *mezzo piano*. При этом её голос, казалось, без труда перекрывал оркестр. Так мне повезло в течение нескольких месяцев услышать столько всемирно известных артистов, которых большинству людей не доводилось слышать вообще никогда в живом исполнении на сцене или концертной эстраде.

Но и это ещё было не всё. В конце февраля того же 1982 годы мы впервые исполнили с Джимми Левайном «Реквием» Верди. Солистами были Леонтин Прайс, Мэрилин Хорн, Пласидо Доминго и кажется, Руджиеро Раймонди. Это тоже стало незабываемым событием – то первое исполнение «Реквиема» Верди оркестром и хором МЕТ Оперы с этими солистами. В последующие годы мы много раз играли это сочинение во многих городах США, Европы и Японии. Это гениальное сочинение никогда и никого не может оставить равнодушным – оно потрясает всех – и участников и слушателей при каждом исполнении своей несказанной красотой, величием и мощью. Можно не сомневаться в том, что когда Верди писал это сочинение, он верил в Бога. Хотя едва ли он вообще был атеистом, но несомненно в мгновения такого возвышенного соприкосновения с текстом он сам поднимался ввысь, увлекая за собой и сегодня каждый раз и слушателей и исполнителей.

Последним «открытием» того сезона была гениальная опера Бетховена «Фиделио». Естественно, также новой для меня. В Большом театре она шла один раз – в 1954 году под руководством А.Ш.Мелик-Пашаева – задолго до моего появления в театре. Понятно, что в советское время эта опера долго идти не могла – всё же как-то неловко было слушать на сцене... хор заключённых!

Дирижировал «Фиделио» на сцене МЕТ голландский дирижёр Бернад Хайтинк – музыкальный директор оркестра «Ройял Концертгебау Амстердам». Удивительно скромный человек, глубокий музыкант, пользовавшийся исключительно скромными дирижёрскими средствами, он умел передать всю глубину сокровенной бетховенской лирики с таким «затаённым» откровением, если так можно выразиться – оркестр чувствовал его замысел без всяких лишних слов – он как бы сам был посредником между бетховенской музыкой и её исполнителями. Его теплота, стильность фразировки, безупречный «бетховенский ритм», точное следование авторским динамическим указаниям, мастерское и ненавязчивое руководство певцами – всё это делало самого Хайтинка, как бы незаметным, полностью «растворяющимся» в музыке. Сама опера в его интерпретации имела как бы собственную форму. Последнее действие открывалось по традиции Увертюрой «Леонора №3». Это гениальное сочинение, часто исполнявшееся в концертах как самостоятельная пьеса, здесь в опере в исполнении Хайтинка казалась вершинной точкой драматического развития всего сочинения. Финал оперы был где-то сродни финалу великой Девятой Симфонии.



Дирижёр Бернад Хайтинк

Исполнение «Фиделио» имело триумфальный успех. Через несколько лет этой оперой также четыре раза продирижировал немецкий дирижёр Клаус Тенштедт. Всё было правильно, всё было на своих местах. Но музыка лишилась той магии, которая только и создаёт музыкальное

чудо. Это был добропорядочный германский Бетховен. Никаких возражений такое исполнение не могло иметь. Но тем не менее, всё же это исполнение не шло ни в какое сравнение с исполнением Бернарда Хайтинка. Ещё через несколько лет «Фиделио» дирижировал Джимми Левайн. Его дирижёрский и музыкальный талант, конечно позволял быть в исполнении «Фиделио» ближе к исполнению Хайтинга, а всё-таки это не был тот «европейский» великий Бетховен, с тысячью деталей исполнения, которые делают именно музыку *этой* оперы чем-то совершенно отличным от вообще любой иной оперы любого композитора. Его, Левайна, исполнение Верди, Моцарта, Р.Штрауса всегда несло в себе ту ауру, которую несло искусство Хайтинка в «Фиделио».

**«КАВАЛЕР РОЗЫ» И «БОРИС ГОДУНОВ».
ПОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ МЕТ ОПЕРЫ. МИША РАЙЦИН В МЕТ**

Лето 1982 года было невероятно занятым. Приехали мои родители. И хотя все заботы по их устройству и организации дел взяла на себя моя жена, всё же летом пришлось после полного сезона в МЕТ играть также летний сезон в Симфоническом оркестре Нью-Джерси. Всё это было очень интересно, но новый сезон начался в МЕТ с «королевской оперы» Рихарда Штрауса – «Кавалер розы».

Написанная в 1911 году и впервые поставленная в Дрездене, опера не сходилась с репертуара Метрополитен оперы, начиная с премьеры в 1913 году. Она была его гордостью во всех своих компонентах: блестящее сценическое оформление – костюмы, декорации, свет; изумительно слаженные труднейшие ансамбли солистов, хора и оркестра, сложная, насыщенная партитура, которой свободно владел весь исполнительский состав.

Понятно, что передо мной стояла огромная задача по исключительно быстрому изучению сложнейшего материала музыки Штрауса – ведь для всего оркестра это давно было репертуарной оперой! В принципе такая работа стояла перед каждым исполнителем, по той или иной причине не участвовавшим ранее в исполнении этого сочинения. Зато и вознаграждение было велико! Сама музыка оперы настолько богата эмоционально, так увлекает всех исполнителей и слушателей, что всякий раз, когда наступает конец этой волшебной сказки в форме комической оперы, становится жаль, что это музыкальное чудо окончилось! Никогда я не испытывал усталости после почти пятичасового исполнения этого сочинения. Об этой опере также будет немного рассказано позднее в главе «Карлос Кляйбер в Метрополитен Опере». В тот сезон 1982 года состав исполнителей в «Кавалере розы» был совершенно головокружительный: Кири Те Канава – Маршаллин, Джудит Блейген – Софи, Курт Мёлль – барон Окс, кузен Маршаллин, в эпизодической роли Итальянского тенора - Лючано Паваротти. Этот спектакль записан на видео. Пожалуй, он превосходит все известные видеозаписи этой гениальной оперы, включая запись Герберта фон Караяна с Элизабет Шварцкопф с Зальцбургского Фестиваля.

Никто не мог сравниться с Кири Те Канава в роли Маршаллин в последнем трио с Софи и Октавианом (Джудит Блейген и Татьяна

Троянос), когда она слегка поворачивалась - в прощальном взгляде на своего возлюбленного Октавиана в этом заключительном трио. Их пение было настолько совершенно, настолько искренним и задушевно прекрасным, что все, кто слышал их тогда при живом исполнении или на видео никогда не забудут эту последнюю сцену оперы.



Записанный на видео спектакль «Кавалер розы». Бессмертное финальное трио с Татьяной Троянос-Октавиан и Кири Те Канава – Маршаллин. К сожалению, в кадре не видна Джудит Блейген

Естественно, я пытался приобщить моего отца к быстрому постижению этой гениальной партитуры, но он сказал мне довольно твёрдо: « Я верю, что это *гениальное* сочинение, но я едва ли теперь, в моём возрасте смогу постичь все его красоты, глубину, и даже техническую сторону композиции. Этому надо посвящать себя с юности. Или, в самом позднем случае – в твоём возрасте...» Он был, конечно, прав.



Джудит Блейген – Софи в «Кавалере розы» Рихарда Штрауса. МЕТ Опера

Лично я столкнулся с огромными трудностями – никогда до той поры не соприкасаясь с музыкой Рихарда Штрауса, Вагнера, почти всего

Верди, композиторов Франции XX века, поздних итальянских «веристских» опер, современных сочинений американских композиторов (многие из которых исключительно интересны!) Это был гигантский материал, который я должен был быстро «охватить» с достойным профессионализмом в кратчайший срок.

Лишь в прошлом, 2012 году впервые на сцене Большого театра был поставлен «Кавалер розы» – *через 101 год после премьеры*. (В 1971 году Венская Штатс Опера привезла этот спектакль в Москву во время наших обменных гастролей. Дирижировал тогда Карл Бём. Кажется, что больше она на сцене Большого театра не шла).

Из этого факта, можно делать собственные выводы, можно их и не делать. Один из моих московских друзей, работавших много лет в Большом театре, превосходный музыкант, сделал свои выводы. Он сказал следующее: «Эта постановка Большому театру не нужна потому, что здесь нет той культуры восприятия и соответственно той культуры созидания, которые требуются для репертуарного проката оперы в театре. В Европе – иное дело. Большой – театр русской оперы и подобные постановки, как и «Воцек» вполне могут здесь идти в исполнении гастролирующих, европейских театров. Таково моё мнение». С этим мнением можно, конечно, соглашаться, можно и спорить. Большинство московских критиков очень благожелательно отозвалось на столь исключительное историческое событие, приветствуя появление великого сочинения Штрауса-Хофманштала, сопровождая свои рецензии весьма интересными экскурсами в историю исполнения оперы и её традиции.

Переходя к «Борису Годунову», шедшему на сцене Метрополитен Оперы с 1974 года, честно говоря, сразу удивившему меня убожеством замысла и воплощения, несмотря на выдающихся певцов, которые принимали участие в его исполнении. Так называемый «оригинал» оркестровки, по моему мнению очень сильно проигрывал редакции Римского-Корсакова, в которой опера всегда шла в Большом – красочной, тёплой, колористически богатой и стилистически органично слитой с характером музыки и действия.

Главное отличие постановок всё же было не только в этом. В большинстве западных театров «Борис» всегда заканчивается сценой под Кромами, с единственным остающимся на сцене персонажем – Юродивым. В этом, на мой взгляд, и заключается западный подход к опере – «загадочная русская душа», воплощённая в Юродивом, уходит в историческое «никуда». Возможно, что и такой взгляд на оперу имеет свой смысл, возможно, я просто привык к постановке Большого театра, но не нужно быть театроведом, чтобы оценить конец оперы, всегда венчавший в моё время постановку Большого театра – сценой смерти Бориса. В этой сцене есть некое шекспировское величие исторической драмы. Почти органные аккорды оркестра завершают драму, а к трону уже подбирается следующий претендент – Шуйский...

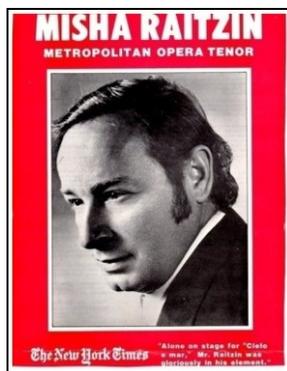
Не хочу сказать всё же, что оригинальную инструментовку, насколько мне известно, восстановленную Д.Д.Шостаковичем, следует с порога отместить. Нет, конечно. Эта инструментовка была использована в

Мариинском театре, если я не ошибаюсь в 1960 годах. Во всяком случае в ней есть некоторый мрачный отблеск потемневшего золота старинных икон. И всё же, когда снова слышишь редакцию Римского-Корсакова, то создаётся совершенно иное настроение – например в сцене коронации. В Большом эта сцена была центральной сценой, незабываемой точкой «золотого сечения» всего первого акта! В оригинальной инструментовке – это не более чем *одна из* сцен, но никак не центральная сцена всего акта. Инструментовка Римского-Корсакова звучит наполненно, страстно, музыка живёт, пульсирует, а хор поднимает всю сцену на какую-то особенную, праздничную высоту. В оригинальной инструментовке этого не происходит. Именно какая-то обычность сцены коронации создаёт как бы дополнительную неустойчивость состояния духа нового царя – Бориса.

Что касается вообще оформления «Бориса» на сцене МЕТ, которое я увидел впервые в сезоне 1982-83 года, то оно соответствовало разве что весьма скромным, если не сказать посредственным голливудским стандартам понимания «русской жизни». Охрана царя была одета в форму китайских пехотинцев и.т.д. Всё это было задолго до сегодняшних «новшеств», и тогда критики обращали внимание на такое абсолютное несоответствие стилистике эпохи.

Спектакль, однако, шёл. С годами он становился всё более жалким, и в конце концов совершенно пришёл к уровню самодеятельного спектакля какого-нибудь захудалого московского заводского Дворца культуры. Никакие усилия солистов не могли сделать спектакль лучше. Он полностью был «отыгран» и должен был давно сдан на склад.

Возвращаясь, однако, к началу 1980-х нужно сказать, что исполнители делали в те годы невозможное, но спектакль всегда, несмотря на все перечисленные недостатки имел успех!



Мой друг **Миша Райцин** начал свою карьеру в Метрополитен Опере с роли Лжедмитрия 5 ноября 1975 года. Незадолго до этого он прилетел из Израиля для участия в торжественном концерте организации United Jewish Appeal – Объединённый Еврейский Призыв в честь премьер министра Израиля Голды Меир. После концерта его попросили выступить на радио газеты Нью-Йорк Таймс - на её музыкальной программе WQXR.

Он оказался в нужный момент в нужном месте – МЕТ искал срочно исполнителя роли Самозванца в «Борисе Годунове». После короткого прослушивания Миша Райцин получил контракт с МЕТ. Закрыт был ему путь в Большой и Мариинский театры в качестве *постоянного* солиста, а тут, в Нью-Йорке – свершилось!

Критик Раймонд Эмерсон в газете «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Райцин в "Борисе" произвёл глубокое впечатление» писал:

«Спектакль "Борис Годунов" в Метрополитен опере в прошлую среду был выдающимся благодаря дебюту Миши Райцина в роли Лжедмитрия... Его сценическая пластика отличается гибкостью и изяществом, а образ, созданный им, особенно в любовной сцене с Мариной был полон страсти. Тембр его голоса исключительно мягок и ровен во всех регистрах... Мистер Райцин был настолько замечателен, что хотелось бы теперь его услышать в ролях итальянского репертуара». Позднее, Миша выступил в «Борисе» также в двух других ролях – Шуйского и Юродивого. Последняя работа была оценена публикой и критиками выдающейся актёрской работой певца.

Metropolitan Opera House
January 21, 1978 Matinee Broadcast

TANNHÄUSER (399)

Tannhäuser..... James McCracken
Elisabeth..... Teresa Kubiak Metropolitan Opera House
Wolfram..... Bernd Weikl
Venus..... Grace Bumbry
Hermann..... John Macurdy
Walther..... Misha Raitzin
Heinrich..... John Carpenter
Biterolf..... Vern Shinal
Reinmar..... John Cheek
Shepherd..... Kathleen Battle
Page..... Mark Freiman
Page..... Adam Guettel
Page..... Gerard
Alvise..... James Morris

Conductor James Levine

Rebroadcast on Sirius Metropolitan Opera Radio

April 10, 1976 Matinee Broadcast

LA GIOCONDA (238)

La Gioconda..... Martina Arroyo
Laura..... Nell Rankin
Enzo..... Misha Raitzin
Barnaba..... Matteo Manuguerra
La Cieca..... Lili Chookasian
Zulane..... Gene Boucher
Isépo..... Robert Schmorl
Monk..... Edmond Karsrud
Steersman..... Nicola Barbucci
Singer..... Paul De Paola
Singer..... William Mellow
Dance..... Suzanne Laurence Hecht
Dance..... Alastair Munro
Dance..... Antoinette Peloso

Conductor Giuseppe Patané

Программы радиотрансляций из Метрополитен Оперы,
в которых пел ведущие партии Миша Райцин

После репатриации в Израиль Миша Райцин раскрыл и иную сторону своего дарования – он стал изумительным кантором. Это была также мечта его жизни, которой в те годы было невозможно осуществиться в России (Несколько слов о личном впечатлении от этой грани уникального таланта моего друга. Осенью 1984 года мне довелось услышать его в отеле «Грессингерс» в вечер Йом Кипур. «Кол Нидрей» в его исполнении звучал совершенно по-иному. Это был другой Миша Райцин, которого я до тех пор не слышал. Его голос звучал величественно

и волнующе, как будто был частью иных сфер, иного мира, мира вечной красоты и гармонии...)

Ещё до начала моей работы в МЕТ в 1980 году, Миша исполнил много ролей на этой прославленной сцене в операх Чайковского, Верди, Понкиелли, Вагнера, Р.Штрауса. Как-то в один из сезонов в 80-е годы мы играли «Евгения Онегина» Дирижировал Джеймс Левайн. Вдруг я услышал знакомый голос! Его нельзя было тотчас же не узнать! Он сразу привлекал внимание слушателей. Оказалось, что Мишу внезапно вызвали - раньше чем начались его плановые спектакли «Онегина» в партии Ленского. Кто-то заболел, и ему позвонили буквально во время начала первого акта! Как и всегда Миша с блеском и абсолютной свободой выступил в этой роли, как будто с утра репетировал со своими партнёрами и был «разогрет» к вечернему спектаклю! Этот эпизод ярко и точно рисует жизнь артиста.

Помимо сцены МЕТ Оперы Миша часто выступал с ведущими американскими оркестрами: Чикаго, Нью-Йорк Филармоник, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Израильской Филармонии и с такими дирижёрами, как Зубин Мета, Лорин Мазель, Шарль Дютюа, Игорь Маркевич, Неэме Ярви, Джузеппе Патанэ, Марио Джулини, Мстислав Ростропович, Джеймс Левайн.



Дебют в Метрополитен Опере: Миша Райцин в роли Лжедмитрия в опере «Борис Годунов». Сцена из IV действия. Нью-Йорк, ноябрь 1976.



Юродивый в опере Муссорского «Борис Годунов» — выдающаяся актерская работа певца. Метрополитен Опера, Нью-Йорк, 1976.

Фото из книги «Певец Миша Райцин» (Артур ШТИЛЬМАН, Hermitage Publishers, 1990, Tiffany, NJ, USA): дебют Миши Райцина в роли Лже-Дмитрия, ноябрь 1975 и в партии Юродивого – 1976 год

Его партнёрами на сцене МЕТ были всемирно известные певцы, как Роберт Мэррилл, Роберта Питерс, Кэтлин Баттл, Грэйс Бамбри, Джером Хайнс, Джон Веккерс, Марти Талвела, Джеймс Моррис и многие другие.

В 1985 году у певца началась тяжёлая болезнь сердца. 9 мая 1990 года он скончался в Нью-Йорке через три дня после концерта в

Филадельфии. Он не дожил до своего 60-летия лишь двух с половиной месяцев. Память его благословенна!

Если «Борис Годунов» на сцене МЕТ вызывал с самого начала даже у благожелательных критиков много нареканий, то постановка «Хованщины» на сцене Метрополитен Оперы в ноябре 1985 года была явлением совершенно иного порядка. Дирижировал Неэме Ярви. Спектакль также шёл в оркестровке Шостаковича. Конечно, Ааге Хаугланд не мог делать в роли Ивана Хованского того, что делал в этом спектакле в своё время на сцене Большого театра А.Ф.Кривченя. Но в целом опера производила огромное впечатление. Главным образом – благодаря финалу. И тут, в МЕТ финал необыкновенно выигрывал по сравнению с постановкой в Большом. В те годы в его постановке совершенно ясно доминировал «социальный заказ»: государство – всё, человек, любая группа несогласных – ничто. Это «торжество силы над духом», правда, иллюстрировалось не самым убедительным образом – петровские солдаты появляются недалеко от каких-то землянок в самых последних тактах оперы.

В МЕТ замысел был полностью противоположным – это было торжеством духа над низменной властью «нечестивого царя». Последняя сцена представляла собой огромный скит, в несколько ярусов, постепенно заполняемый верующими во главе с Досифеем, одетыми в белые одежды и идущими, как на величайшее дело всей своей жизни – утвердить свою смерть в огне величия человеческого духа над грубой силой власти. Сцена была заполнена светом, постепенно окутываясь огнём и дымом, закрывавшими весь скит под торжественные звуки оркестра. Если не ошибаюсь, самый конец оперы шёл в инструментовке Стравинского и Равеля. Быть может и это придавало особую торжественность и величие происходящему на сцене. Но контраст с концом оперы в Большом был столь огромным, что казалось это вообще было совершенно иным сочинением.

В те годы это ощущалось именно так – сегодня молодому поколению вероятно даже и непонятно, почему бы в Большом театре не сделать *тогда* такой же конец оперы, каким он был сделан в МЕТ? Историю «хованщины» в СССР следовало рассматривать только с точки зрения интересов государства – каким бы оно ни было даже и на том историческом отрезке времени. В 40-е годы имперское прошлое страны начинало ощущаться полностью преемственным во всех областях истории, литературы и искусства.

Понятно, что в 1985 году немецкий режиссёр, ставивший «Хованщину» в МЕТ Опере, не был озабочен такими идеями. Он был свободен в своих решениях. И нашёл своё собственное, очень убедительное, духовно и художественно оправданное. На нас, только недавно приехавших из СССР, эта постановка тогда производила очень большое впечатление.

В конце сезона 1982-83 года я также впервые участвовал в исполнении оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». Главную роль

исполняла Тереза Стратас. Голос её звучал совершенно неземным образом, хотя и не так давно мы её слышали в бессмертной «Богеме» Пуччини. Её передача атмосферы символистской драмы Метерлинка была совершенно какой-то «не-вокальной», настолько нетрадиционной, что её собственный голос был тембрально непохож на её же звучание в других операх. Как бы то ни было, но её исполнение партии Мелизанды отличалось от звучания голосов других исполнителей именно каким-то неземным, быть может даже холодноватым тембром. А может быть, так казалось.

Для меня вторым «героем» в этой партитуре Дебюсси был флейтист Майкл Парлофф, о котором говорилось выше. Ведь флейте в этой опере поручена очень большая и важная роль – именно флейта – после первого аккорда пиццикато контрабасов, именно флейта вводит нас в мир Дебюсси и Метерлинка. Дух средневековой метерлинковской легенды претворяется в звуках Дебюсси с самого начала оперы именно этим инструментом. Майкл Парлофф был всегда бесподобен в исполнении своей сольной партии в этой опере. Каждый спектакль был его сольным, триумфальным выступлением, полным пленительной тонкости звучания, волнующих взлётов волнообразных пассажей – всей ткани партитуры гениального мастера. Джимми Левайн ценил Майкла исключительно высоко. Да и кого из своих солистов он не ценил?!



Майкл Парлофф – выдающийся американский флейтист,
солист оркестра Метрополитен Оперы

Вероятно, все уже давно привыкли к исполнению Майкла. Только я всякий раз, после каждого спектакля «Пеллеаса» был так взволнован, потому что никогда до той поры не слышал подобной игры на флейте, такого художественно-колористического и изобразительного мастерства. Я искренне поздравлял его после окончания спектаклей, и не могу сказать, что это было ему безразлично. В будущем мы с ним много беседовали об исполнительстве, стилях, дирижёрах и иных вещах,

связанных с нашей профессией, и надо сказать, что Майкл часто делился со мной своим мнением и спрашивал моё.

Для него был несколько неожидан мой уход в 2003 году, но на следующий год я узнал, что и он сам вынужден был уйти из MET по причине проблем с губными мышцами – действительно – человек не машина, и руки, губы, лёгкие и другие части организма могут снашиваться порой независимо от возраста – у кого раньше, у кого позже. Майкл Парлофф остался в моей памяти одним из самых выдающихся музыкантов, с кем мне довелось работать в Америке.



Борис Рублов

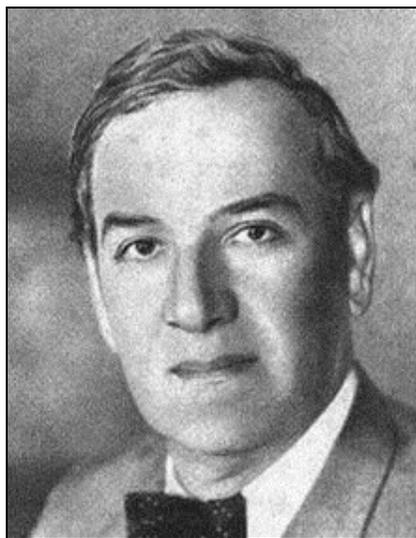
Великий бас двадцатого столетия Марк Рейзен

Очерк-исследование



Марк Рейзен занимает особое, одному ему присущее место в искусстве, которое, к сожалению, пока полностью не оценено.

Некоторые современники сравнивали его с Шаляпиным. Помоему, более корректно считать Рейзена последователем Шаляпина. Интересно, что впервые такая оценка сформировалась после зарубежных гастролей певца в 1929 году, когда он побывал в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Монте-Карло.



На Родине аналогичную оценку Рейзену дали после успешной работы в Харьковском и Мариинском оперных театрах.

Я сделал попытку использовать Интернет для искусствоведческого исследования творчества выдающегося Артиста, вокалиста и педагога. С этой целью я собрал высказывания его соратников по сцене.

Очень важно, что анализ сделан не от моего лица, а представлена оценка самых квалифицированных музыкантов.

Я навсегда запомнил киевский день, когда мы с другом впервые познакомились с коллекцией одного из лучших в Советском Союзе коллекционера грампластинок Сергея Николаевича Оголевца.

Свою коллекцию он претенциозно назвал «АФИША» - (Академическая Фонотека имени Шалапина).

Из 185 напетых Шалапиным пластинок в коллекции Оголевца была 151 пластинка. Грамзаписи 1902-1905 годов воспроизводили звучание голоса молодого певца, а записи тридцатых годов – гениальное совершенство партий Бориса Годунова, Мельника, Ивана Грозного, Мефистофеля, и др.

В рамке под стеклом были записаны слова Ирины Фёдоровны Шалапиной: «С благодарностью за любовь к отцу и с пожеланием успехов на ниве искусства».

«Стариком», как мы называли филофониста, была составлена большая дискография и других всемирно известных певцов и певиц. Он часто общался с московскими коллегами, бравшими для него билеты в Большой театр.

Однажды я спросил у него, кого из басов он особенно почитает.

Не задумываясь, он ответил – Марка Осиповича Рейзена.

Узнав, что мы с другом собираемся провести летние каникулы в Москве, Сергей Николаевич дал нам поручение – передать в недавно организованный дом - музей Шалапина четыре диска великого певца.

Мы с трепетом передали директору музея пластинки и были награждены двумя билетами на галёрку Большого театра.

Из программы мы узнали, что партию Бориса из оперы «Борис Годунов» будет исполнять Марк Рейзен, а Юродивого – Иван Козловский.

Голоса этих певцов были нам знакомы по пластинкам, но великую оперу мы впервые слушали в театральном исполнении.

Сцена у церкви Василия Блаженного, которую вёл Козловский - Юродивый продолжалась всего семь минут. Не напрягая голоса, великий певец передал в ней страдание Руси: от личной обиды за отнятую копейку он перешёл к народной скорби и бросил в лицо царю Борису страшные обвинения. В короткой партии проявились лучшие черты таланта певца – тончайшая нюансировка звука, тонкий психологизм и безупречная музыкальность.

Рейзен потряс меня в сцене коронации. Голос его изумительно наполнял весь зал, поражали жесты, но с галерки бинокль не давал возможности рассмотреть лицо певца. Поражала сцена галлюцинации, когда гордый правитель сбрасывал маску величия и превращался в человека, изнемогающего под тяжестью укоров совести.

Конечно, всё это я смог осознать только через много лет, поняв углубленный труд артиста, способность его работы с историческими

материалами, картинами, книгами, но главными для меня стали отзывы современников Марка Рейзена.

Вот что писал о Рейзене один из лучших вокальных педагогов России Сергей Яковенко: «Помимо того, что Марк Осипович Рейзен объективно великий певец, огромный мастер (очень жаль, что в то время наши певцы очень мало гастролировали за границей, я думаю, он бы занял ведущее место и в Ла Скала, и в Коvent-Гардене, и в других великих театрах), но Марк Осипович еще и мой самый любимый певец. Я в вузах читаю курс «Истории вокального искусства», и, когда мы доходим до русской музыки и русских певцов, я показываю записи Рейзена, и ни у кого не поворачивается язык сказать, что это не замечательно, найти хоть какие-то недостатки. Это потрясающее бельканто. Я сравниваю Марка Осиповича и с Федором Ивановичем Шаляпиным, ставлю записи, к примеру, Ивана Сусанина шаляпинского и рейзеновского, но, господь меня простит, мне рейзеновское исполнение нравится больше...»

Рейзен сумел завоевать признание не только зрителей, но и коллег по театру, которые после исполнения спектаклей аплодировали ему на сцене также горячо, как и в зрительном зале.

Здесь уместно привести мнение режиссера Большого театра Б. Покровского.

«В лице Марка Осиповича Рейзена я увидел чудо свершения всех идеалов, как во сне! Рейзен был красавцем высокого роста, импозантным, обладающим сильным необычайно красивым и выразительным голосом, прекрасными актёрскими данными, позволяющими выступать в разных амплуа. Присущее певцу чувство меры позволяло достичь гармонии звука и сценического обаяния. Ему было присуще неистощимое трудолюбие и безупречный вкус».

А вот мнение дирижёра Евгения Светланова: «Говорят, Россия – страна басов. Слушая уникальный голос Рейзена, лишний раз убеждаешься в справедливости этого утверждения. Не умаляя ничьих достоинств, могу сказать, что в своей жизни я никогда не слышал такого баса. ... Природа оказалась щедрой к Марку Осиповичу – она дала ему всё: роскошный, бархатный, богатый обертонами, завораживающий, буквально осязаемый своей объёмностью голос; огромный рост, статную фигуру, величавую осанку; красивое, чрезвычайно выразительное лицо; «горячее сердце» и «холодный разум». Но главное в том, что всё отпущенное природой Рейзен максимально развил и использовал в служении большому Искусству. Жизнь его была безраздельно отдана музыке и театру».

Вспоминая совместную работу с Рейзеном, известная певица Большого театра Надежда Дмитриевна Шпиллер писала: «Галерея образов, созданных Рейзеном в течение его артистической жизни, обширна и разнохарактерна. Вот хитрый Базилио. Его партия подчинена виртуозному мастерству и нередко завершается вокальной "шалостью" в виде блестящего вставного соль в финале "Клеветы". Вот Мефистофель, зловещий красавец. В его куплетах артист восхищает слушателей разнообразием вокальных красок, исполнение серенады насыщено

неповторимой красотой тембра, элегантностью фразировки. Монолитный Варяг. Благородный Гремин. Мятущийся, страждущий Борис Годунов. Много вдохновенного труда вложил артист в создание образа Сусанина... Могучий голос Рейзена обладал таким нежным piano, такой тонкой филировкой, что даже искушенный вокалист не всегда мог объяснить, в чем же секрет его пения, какими средствами достигает артист такого высокого мастерства. Многие другие роли, характеры раскрыты Рейзенем и донесены до слушателя средствами звучащей мысли. На вершине творчества вдохновенного артиста - Досифей, образ, поднимающий глубочайшие пласты человеческих чувств. По силе художественного воздействия это была самая яркая роль Рейзена. В ней раскрылись все особенности его дарования: сдержанный темперамент, глубокая интерпретация, благородство тембра, высочайшее вокальное мастерство».

А вот воспоминания солиста Большого театра Ивана Петрова, который сравнивал Рейзена с еще одним замечательным певцом Большого театра Александром Пироговым: «Выдающийся артист и певец – Марк Осипович Рейзен – также был наделен всеми необходимыми вокальными и сценическими данными: гренадерской фигурой, красивой внешностью и могучим, бархатистого тембра басом, которым он мастерски владел. И хотя Пирогов и Рейзен обладали одним и тем же голосом – басом кантанта, – они были совершенно разными певцами. У Александра Степановича Пирогова звучание голоса носило более сильно выраженную русскую окраску. Его голос был очень сочным, плотным, ярким наверху. А у Марка Осиповича Рейзена голос мягкий, певучий, более подходящий для партий Мефистофеля, Дона Базилио, хотя он также прекрасно пел Руслана и Досифея.

Роль Досифея в «Хованщине» Мусоргского была одним из лучших достижений артиста. Огромная мощь голоса, статная фигура, облаченная в черную рясу, медленная, уверенная поступь, властный жест – все это производило огромное впечатление. Вспомнить хотя бы его первое появление, когда Досифей, в разгаре спора Хованского с сыном и стрельцами, останавливает их: «Стой, бесноватые! Пошто беснуетесь?» Эта первая фраза звучала у певца словно могучий поток – властно, гневно.

Роль князя Гремина, которую исполнял Марк Осипович, требует не только красивого, проникновенного пения, но и благородства, достоинства, и, как мы часто говорим, у исполнителя такой роли должна быть порода. Все это в полной мере было в созданном им образе. Удивительно, что в свои девяносто лет артист в спектакле Большого театра снова блестяще спел Гремина. На мой взгляд – это подвиг.

Особенно мне хочется сказать о его роли Фарлафа в «Руслане и Людмиле».

Премьера этой оперы состоялась в Большом театре в 1948 году, и замечательный певец вновь поразил нас своим вокальным и актёрским мастерством. С весёлым блеском сыграл он роль трусливого горе – рыцаря и самоуверенного хвастуна, с покоряющим комизмом спев его труднейшее рондо. Верхние ноты на пиано Марк Осипович брал завораживающе мягко, они звучали как на большом смычке виолончели. У меня дух захватывало.

Как-то я спросил у великого певца:

– Марк Осипович, как же это у вас получается?

А он, лукаво улыбувшись, ответил: – Это достигается упорной работой.

Пирогов и Рейзен – басы, ведущие весь репертуар Большого театра, – были самыми яркими представителями оперного искусства в нашей стране».

В книге Сергея Яковлевича Лемешева «Путь к искусству» все отзывы о коллегах по театру вежливо-сдержанные, но при упоминании Рейзена они становятся восторженными: «На сцене Большого театра я впервые встретился с Марком Осиповичем Рейзеном, с которым много раз мне пришлось спеть «Фауста», «Севильского цирюльника», «Лакме», «Руслана» и т.д. Его большое дарование достигло тогда своего зенита и привлекало редкой гармоничностью. Стройный, высокий, он владел своеобразной пластикой: строгость поз, скупость движений придавали каждому его жесту какую-то особую значительность, содержательность, я бы даже сказал – величественность. Борис Годунов, Досифей, Руслан, Нилаканта, Варяжский гость – эти образы Рейзена при всем своём внешнем скульптурном очертании несли глубину и мощь характеров. Но главную роль в этом, конечно, играл его голос, огромное вокальное мастерство. Рейзен в такой же мере владел громоподобным forte (стоит вспомнить хотя бы, как он пел знаменитую арию дона Базилио!), как и нежнейшим pianissimo. Не случайно Марк Осипович так любил петь в концертах «Кольбельную» Моцарта! Публика, да и мы все, артисты, заслушивались его кантиленой, тончайшей фразировкой. В его Нилаканте жила огромная ненависть к поработителям и глубочайшая нежность к дочери: в стансах голос Рейзена звучал предельно певуче, красиво и свободно. А с какой тонкостью вокальной фразировки, с какой саркастичностью пел Марк Осипович серенаду Мефистофеля, да и вообще всю партию! И рядом вдруг смешной, трусливый Фарлаф – одно из замечательных созданий Рейзена. И, конечно, непревзойдённый Досифей. Репертуар Рейзена не ограничивался театральными спектаклями. Он выступал на радио, записывал пластинки, умел удивить зрителей, привыкших к размаху его голоса, проникновенными романсами на камерных концертах».

Румынская газета «Универсул» в статье о гастрольях Рейзена отмечала: «Рейзен так хорошо, так правдиво передает жизнь изображаемых им персонажей, что забываешь о театре, и кажется, что присутствуешь при сцене, созданной не композиторами, а самой жизнью. Замечательно выразительны его простые движения рук. Он создает шедевры реалистического исполнения, в которых музыка, жест и слово исключительно гармонично сливаются в единое целое...» Такой же продуманностью и художественной законченностью отличается исполнение Рейзеном заглавной роли в патриотической опере Глинки.

А вот рассказ самого Рейзена о любимой роли Сусанина (Опера Глинки «Жизнь за царя»). «Сусанин – образ народной мудрости, мудрости героической, действенной, самоотверженной. Это один из многих рядовых людей, любящих свою Родину, готовых на героические

дела для ее защиты. Сусанин – человек от земли, кряжистый, бесхитростный, но его поведение отличает в нем человека высоких душевных качеств и возвышенной человеческой морали. Я никогда не придавал значения схоластическим спорам о том, каким должен быть оперный артист: поющим актером или играющим певцом. Спор это надуманный. Именно в партии Ивана Сусанина исполнитель должен быть и хорошим певцом, и хорошим актером...».



«Правда» в рецензии о «Хованщине» писала: «...конечно, елейность не к лицу этому дальнему отпрыску протопопы Аввакума. И в пении Досифея много повелительности, металлических звучаний. Здесь во всю ширь развернулся Рейзен-вокалист. Громадная мощь его голоса позволяет ему делать то, на что вряд ли решился бы другой певец с меньшими голосовыми данными. Рейзен – Досифей поворачивается лицом к своим сподвижникам и спиной к публике, но звук его голоса гремит во всем зале, как отраженный в исполинском резонаторе». Ряд запоминающихся образов создал певец и в операх западноевропейских композиторов. Таковы, например, Нилаканта в «Лакме», Дон Базилио в «Севильском цирюльнике». Его Мефистофель в «Фаусте» – не традиционный «оперный бес», а умный скептик, высмеивающий бюргерское ханжество и лицемерие. Огромное значение придает певец декламационной выразительности пения, считая, что артист должен донести до слушателя каждое слово. Он много работает над лепкой каждого сценического образа».

«Вынашивание создаваемого образа, – говорил Рейзен, – процесс очень длительный. Оно не заканчивается и тогда, когда спета премьера оперы. С каждым новым спектаклем находишь какие-то новые черточки и детали, которые углубляют создаваемый образ, делают его более многогранным, а, следовательно, и более художественным. Настоящая проверка образа – это только сцена, где окончательно формируется и совершенствуется роль».

Наряду с работой на оперной сцене Рейзен вёл большую концертную деятельность. Его обширный камерный репертуар содержал свыше 150 романсов Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса. Проникновенно пел он и русские народные песни. В его камерных концертах всегда привлекала тонкость фразировки, подвижность могучего голоса, артистичность исполнения, большой эмоциональный диапазон, простирающийся от лирики романса Бородина «Для берегов отчизны дальней» до юмора «Титулярного советника» Даргомыжского... Рейзен постоянно участвовал в симфонических концертах, исполнял сольные партии в девятой симфонии и «Торжественной мессе» Бетховена, в реквиемах Моцарта и Верди.

Важным разделом вокального наследия Рейзена было исполнение песен.

Их было много – песни о вожде, гражданской и отечественной войне, праздничных песен.

Песни сочинялись прекрасными композиторами – И. Дунаевским, Т. Хренниковым, М. Блантером, братьями Покрасс и др. на стихи лучших советских поэтов – песенников.

Искусство Рейзена было многогранным во всех жанрах.

Много написано об уникальном голосе Марка Рейзена. Кроме ранее приведенных воспоминаний солистов Большого театра, приведу другие отзывы.

В книге «Марк Рейзен» (Москва, 1980) говорится:

«Искусство Марка Осиповича Рейзена воздействует на слушателей именно потому, что богатства, которыми щедро оделила его природа, он развил упорным трудом. Вот отчего всегда волнует и поражает высокая культура пения, слова, музыкальной мысли этого великолепного артиста. Его чудесный голос, как редкостный сплав могучего и вместе с тем мягкого звучания, был в полном подчинении у своего талантливого обладателя. Как диковинный инструмент, ровный по всему диапазону и свободно звучащий, он восхищал удивительным благородством тембра, беспредельностью верхних нот и глубоким органом наполнением низкого регистра. Широкая, упругая кантилена и буквально кружевная виртуозность.

Рейзен достиг такого вокально-технического мастерства, что для него, казалось, никогда не встречалось никаких трудностей. При уникальной силе голоса, гибкого и пластичного, он поразительно плавно переходит в легкое, замирающее *piano*. Вспоминается изречение выдающегося вокального педагога Гарсия, который говорил, что искусство пения – это искусство управлять дыханием. Именно поэтому все многообразные приемы в пении достижимы для Марка Осиповича, так как он поразительно владеет дыханием. Как известно, для многих, даже видных певцов, это камень преткновения.

Марк Осипович неустанно работал над голосом, стремясь достичь такого управления звуком, чтобы он отвечал любым его художественным замыслам. Каждое произнесенное Рейзеном слово всегда значительно и весомо. Для него дикция это не просто ясная речь.

Он удивительно тонко ощущает сочетания слогов и раскрывает в них не только смысл, но и музыку слова. Внутренний мир образа, естественно, находил отражение во внешнем облике вдохновенного артиста. Его появление на сцене приковывало внимание с первого же момента. Горделивая осанка, особая пружинистость шага, зоркий взгляд, все эмоционально наполнено и предельно сосредоточено. Эмоциональное состояние всегда связано было с психологией героя, воплощаемого им в сценическом образе».

А вот взятый из той же книги отрывок интервью с Марком Рейзенем:

– *Вы считаете, что сейчас поют хуже, чем раньше? Почему сейчас нет таких певцов, какие, скажем, были лет 40 тому назад?*

Заметьте, у нас нет ни одного хорошего певца родом из столичного города. Обязательно из провинции, где природа, воздух. Природа дает не только деревья, цветы, пшеницу, просо, но и человека. Облагораживает человека и морально и нравственно.

– *Марк Осипович, а как вы относитесь к дыханию?*

– Дыхание для певца – это ноги для человека (показывает, поет). Мой принцип – минимум дыхания, максимум пения. То есть петь малым дыханием. Малое дыхание использовать и петь не напором воздуха, а резонатором.

– *Некоторые считают, что главное в пении ощущать гортань и голосовые связки.*

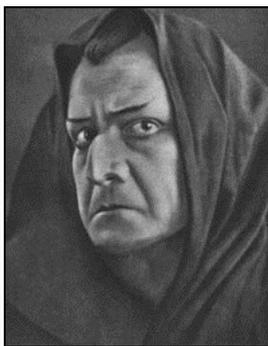
– Гортань безусловно участвует. Она подвижна, не зажата. Гортань должна быть расширена и свободна (поет). И никаких фокусов!

– *Марк Осипович, а какое положение гортани? Низкое? Среднее?*

– Гортань должна быть свободной. Нельзя петь с напряженным лицом. Особенно важен рот. Артикуляция. Губы должны быть мягкими. Нужно петь с улыбкой, мягко, свободно.



Николай Грузинский (Богатырев)



Линия жизни

Из автобиографических записок: «Родился 21 июня (3 июля) 1895 года в селе Зайцево, вблизи железнодорожной станции Никитовка, расположенной на пути к Кавказу. Отец, Осип Матвеевич ведал

погрузкой угля на станции. Детей в семье было пятеро, четверо братьев и сестра. Отдельно, во флигеле жили родители отца, но заботилась о них мать. Деду к тому времени перевалило за сто лет, но был он еще очень энергичен и крепок. В доме музыку любили все. Рояля не было, но были мандолина, балалайка, гитара, гармонь. На этих инструментах играли все дети, и часто по вечерам из членов семьи составлялся своеобразный музыкальный ансамбль.

Началась Первая мировая война, и Марк Рейзен был зачислен в Финляндский стрелковый полк. Он храбро воевал, был дважды ранен и дважды награжден Георгиевскими крестами.

Окопная жизнь свела Марка Рейзена с корнетом Емельяновым. Они собрали оркестр народных инструментов, исполнявший народные и солдатские песни, которые пользовались большим успехом в перерывах между боями.

После второго ранения и демобилизации в июне 1917 года Рейзен поступил в Харьковский технологический институт. Одновременно он стал посещать в консерватории класс известного педагога профессора Федерико Бугамелли, который определил его голос, как «бассо кантанта» (певучий бас).

Год учёбы с наставником очень много дал молодому певцу. Его голос приобрёл тембровость, мягкость и другие качества, которые Рейзен сохранил до глубокой старости.

Летом 1918 года после окончания первого курса консерватории и Технологического института занятия были прерваны на год из-за бурных событий, связанных с гражданской войной на Украине.

В 1919 году Марк с женой Рашелью смогли получить жильё на окраине Харькова (Бурсацкий спуск). К бытовым неурядицам прибавились тяжёлые болезни. Учёбу в консерватории пришлось на время оставить, но случай свёл Рейзена с известным харьковским певцом Александром Яковлевичем Альтшулером и пианисткой Екатериной Васильевной Алчевской, родственницей выдающегося певца Ивана Алчевского.

Благодаря их помощи молодой певец смог совершенствовать свой голос и получить сценическую закалку.

Алчевская аккомпанировала М. Рейзену на занятиях и на концертах, иногда переписывала для него ноты и помогала молодой семье решать бытовые проблемы.

В этот период он много выступал на концертах, с участием любителей и профессиональных певцов, пел в детском оперном театре большого поклонника музыкального искусства доктора Кравцова, играл небольшие роли в антрепризе Синельникова. Значительно расширился и репертуар певца, в котором кроме песен и романсов стали звучать оперные арии и даже целые оперные сцены.

В 1921 году вновь открылся Харьковский оперный театр, собравший известных исполнителей. Был поставлен «Борис Годунов» М.П. Мусоргского.

В этом спектакле Марк Рейзен впервые дебютировал, исполнив сложную партию Пимена, – самому исполнителю было тогда лишь 26 лет, но дебют имел успех и открыл для него путь в большое искусство.

Хорошей школой для Рейзена стал коллектив театра под руководством композитора и дирижёра Л. Штайна, режиссера Н. Боголюбова, солистов П. Карповой, В. Павловской, И. Козловского, Г. Пирогова, М. Литвиненко-Вольгемут.

В Харьковском театре М.О. Рейзен работал с 1921- го по 1925 год.

В начале 1925 года он принял приглашение и перешёл в ленинградский Мариинский театр, ставший для него важной вехой на пути в большое искусство.

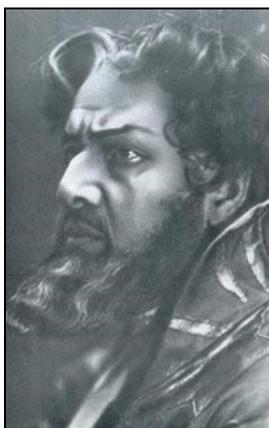
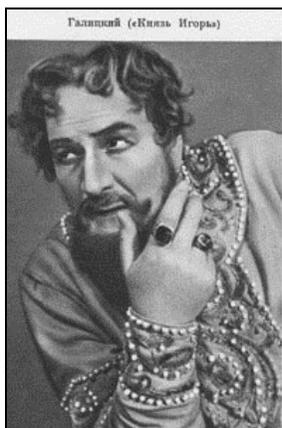
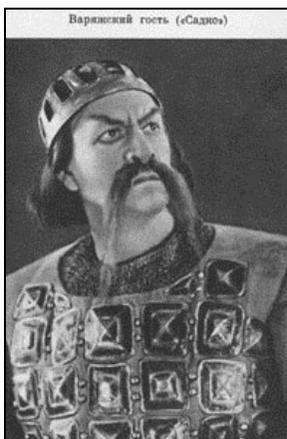
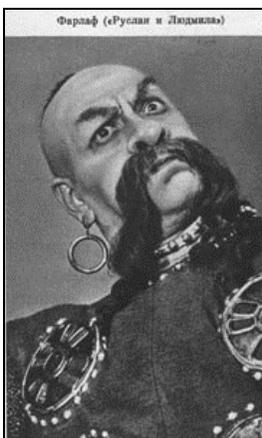
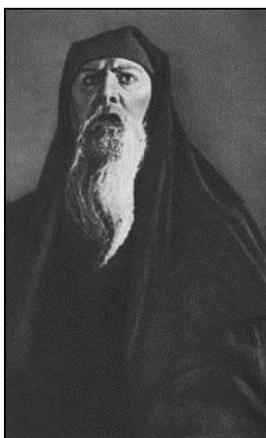
В 1929 году Рейзен гастролировал в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Монте-Карло, записал в Лондоне на пластинку арию из оперы «Сальватор Роза». Зарубежные гастроли певца повторились в 1930 г. – он побывал в Венгрии, Румынии и других странах. Гастроли имели большой успех. Критика в России и за рубежом назвала Рейзена достойным продолжателем лучших традиций русской вокальной школы и творчества Ф. И. Шаляпина.

В 1930 году Рейзен приехал из Ленинграда в Москву как приглашенный солист Большого театра. Сталину очень понравились его выступления, и он предложил певцу стать постоянным солистом Большого театра. Рейзен пытался отказаться, ссылаясь на квартирный вопрос, но вождь его заверил, что с квартирой в Москве всё будет в порядке. В дальнейшем он стал любимым певцом вождя и удостоился многих правительственных наград – трёх Сталинских премий первой степени, двух орденов Ленина и др.

В годы Великой Отечественной войны Марк Рейзен выступал перед солдатами на фронте, пел для советских солдат в странах Восточной Европы в 1945-1946 годах.

Главной вехой на жизненном пути и творчестве стал для великого певца Большой Театр. Он стал солистом театра в 1930-м году и проработал там почти тридцать лет. В Большом театре Марк Рейзен спел заглавные партии в 13 операх:

- 1929 Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно)
- Борис («Борис Годунов» М. Мусоргского)
- 1930 Досифей («Хованщина» М. Мусоргского)
- Гремин («Евгений Онегин» П. Чайковского)
- Галицкий («Князь Игорь» А. Бородин)
- Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини)
- 1931 Руслан («Руслан и Людмила» М. Глинки)
- Мельник («Русалка» А. Даргомыжского)
- 1932 Грозный («Псковитянка» Н. Римского-Корсакова)
- 1933 Нилаканта («Лакме» Л. Делиба)
- 1939 Сусанин («Иван Сусанин» М. Глинки)
- 1948 Фарлаф («Руслан и Людмила» М. Глинки)
- 1949 Варяжский гость («Садко» Н. Римского-Корсакова)



Марк Осипович Рейзен умел удивить и коллег: он ушел из Большого театра, когда почувствовал, что голос «гаснет».

С 1954 года певец преподавал в Музыкальном педагогическом институте имени Гнесиных, а с 1965 по 1970 год служил заведующим кафедрой сольного пения Московской консерватории. Потом певец и вовсе уходит на покой, и вдруг... Голос вновь обрел прежнюю красоту и силу, а Рейзен возвращается на оперную сцену!

В 85 лет он записал двойную пластинку с романсами и песнями Рахманинова, Мусоргского, Шумана, Шуберта.

В 1985 году в честь девяностолетнего юбилея Марка Осиповича Большой театр решил поставить «Евгения Онегина». Рейзена спросили, сможет ли он высесть в ложе всю оперу. На что тот ответил, что хочет спеть Гремину. Исполнение этой арии вошло в Книгу рекордов Гиннеса.

Так в 90 лет, за 7 лет до смерти, Марк Осипович Рейзен вновь оказался на сцене Большого театра.

Умер Марк Осипович Рейзен 25 ноября 1992 года, не дожив трёх лет до своего столетия. Похоронен он в Москве на Введенском кладбище.



Мефистофель («Фауст», 1927, Ленинград, ГОТОб)



Польше (1970-е гг., Ленинград, ГОТОб)



Иван Грозный — М. Рейзен и Ольга — М. Елизарова (1980-е гг., Ленинград)



Фотографии Марка Рейзена в различных ролях

Среди не подписавших позорное письмо, угрожавшее евреям высылкой, был Марк Рейзен.

Передо мной отрывок из книги известного писателя, историка, журналиста Аркадия Ваксберга: «Из ада в рай и обратно», Москва, 2003.

«...Смог я поговорить – тогда же, в декабре девяносто первого, – и с ещё одним реликтом из той же плеяды – с прославленным басом Большого театра Марком Рейзеном. Когда я ему позвонил, певцу было уже девяносто шесть лет, в трубке звучал совсем не тот голос, который будил меня из черной тарелки репродуктора в крошечной тьме зимней московской рани: *«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»*.

Как ему не хотелось, чтобы я пришел для этого разговора! Но я все же пришел. Почему-то не работало отопление. Марк Осипович сидел в некогда роскошной, богато обставленной и совершенно нежилой, выстуженной комнате. В дубленке и валенках: Меншиков в Березове наших дней. Повел меня на кухню, где горели все четыре конфорки газовой плиты. Я вытащил магнитофон – он властным жестом от него отмахнулся, повелел не включать.

«Ну, было там какое-то собрание. Смутно помню. Прислали «ЗИМ». Какой-то академик держал речь: надо исполнить свой гражданский долг. Я сказал: «Мой гражданский долг – петь. У меня сегодня спектакль. Может прийти товарищ Сталин. Когда спую, присылайте «ЗИМ» снова. Тогда поговорим». Не прислали».

Письмо не подписали Герой Советского Союза генерал Яков Крейзер, писатели Вениамин Каверин, Илья Эренбург и Народный артист СССР Марк Осипович Рейзен.

В то время это был поистине героический поступок...

Я надеюсь, что Марка Осиповича Рейзена будут помнить долго – он оставил большое «наследство»: фильмографию, записанные отрывки из опер, песни, романсы.

Многие записи доступны – их можно слушать в Интернете.

Фильмография

1951 – «Большой концерт» (фильм-концерт)

1953 – «Алеко» (фильм-опера)

1959 – «Хованщина» (фильм-опера)

Записи из опер

1937 – «Руслан и Людмила», дирижёр Самуил Самосуд – Руслан

1946 – «Хованщина», дирижёр Борис Хайкин – Досифей

1947 – «Садко», дирижёр В.В. Небольсин – варяжский гость

1948 – «Борис Годунов», дирижёр Николай Голованов – Борис Годунов

1948 – «Евгений Онегин», дирижёр Александр Орлов – Гремин

1948 – «Фауст», дирижёр Василий Небольсин – Мефистофель

1950 – «Князь Игорь», дирижёр Александр Мелик-Пашаев – хан Кончак

1951 – «Моцарт и Сальери», дирижёр Самуил Самосуд – Сальери

1953 – «Садко», дирижёр Николай Голованов – варяжский гость

1953 – «Севильский цирюльник», дирижёр Самуил Самосуд – Дон
Базилио

1954 – «Хованщина», дирижёр Василий Небольсин – Досифей

Ссылки

Песни в исполнении Марка Рейзена

Романсы Чайковского в исполнении Марка Рейзена

Записи Марка Рейзена на сайте «Красная книга российской эстрады»

Публикации о Марке Рейзене

М. О. Рейзен (англ.) на сайте Internet Movie Database

Источник

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Рейзен,_Марк_Осипович&oldid=50942033

Примечание

Фотографии Марка Рейзена в ролях скопированы мной из сайтов: Творческий путь Марка Рейзена (часть 1) Творческий путь Марка Рейзена (часть 2)



Эрнст Зальцберг

Канадская ученица

Леопольда Ауэра



этом году исполняется 50 лет со дня смерти выдающейся канадской скрипачки Кэтлин Парлоу, чьи творческие достижения связаны с именем основателя русской скрипичной школы Леопольда Ауэра¹.

Сейчас увидеть студента или аспиранта из Америки в стенах Петербургской или Московской консерватории - дело обычное, но так было далеко не всегда. Исключая советский период, когда подобное стало невозможным по чисто политическим причинам, появление иностранного студента в российской консерватории было большой редкостью и до 1917 г. в силу ряда причин, в том числе географической удаленности России и Америки, недостатка информации в США о системе музыкального образования в России, высокого авторитета западноевропейских консерваторий и преподавателей среди американских музыкантов.

Кэтлин Парлоу родилась в 1890 г. в г. Калгари в семье агента торговой компании Хадсон Бэй. Когда девочке было четыре года, её

¹ Ауэр Леопольд (Лев) Семенович (1845, Веспрем, Венгрия - 1930, Лошвиц, Германия, похоронен в Нью-Йорке), скрипач, педагог и дирижер. Учился игре на скрипке в Пеште у Р.Коне, в Вене у Я.Донта и Й.Хельмесбергера и в Ганновере у Й.Йоахима. По рекомендации А.Рубинштейна приглашен в Петербургскую консерваторию, где состоял профессором с 1868 г по 1917 г. Играл первую скрипку в квартете РМО (1868-1906), дирижировал симф. собраниями РМО (1883-1895, с перерывами), солист орк. балета Мариинского т-ра (1872-1908), солист Его Величества российского императора (1873-1917). Ауэру посвящены «Меланхолическая серенада» П.Чайковского, Концерты для скр. А.Глазунова и А.Аренского, Концертная сюита С.Танеева.. Ауэр-один из величайших педагогов, основатель русской скрипичной школы. Среди его российских учеников были Я.Хейфец, М.Эльман, Е.Цимбалист, М.Полякин, Н.Мильштейн, Л.Цейтлин, Т. Зейдель, М.Пиастро, И.Ахрон, Ц.Хансен.

В США - с 1918 г., преподавал в ин-те.муз. искусства в Нью-Йорке и ин-те Кертиса в Филадельфии, оказал большое влияние на формирование америк. школы скрипичной игры.

родители разошлись, и мать увезла её в Сан-Франциско. Начальные уроки скрипичной игры она получила, занимаясь с дальним родственником семьи К. Ковардом. Первое публичное выступление Кэтлин состоялось в 1896 г., после чего она поступила в класс известного педагога Генри Холмса, ученика Л. Шпора.



Кэтлин Парлоу (1890-1963)

По рекомендации Холмса, в январе 1905 г. Кэтлин в сопровождении мамы приехала в Лондон, где дала несколько концертов в домах богатых меценатов и выступила с Лондонским симфоническим оркестром. Мнения столичных критиков были противоречивыми. Сходясь в признании выдающегося дарования юной канадки, они отмечали отсутствие у неё чувства стиля и недостаточную выразительность исполнения. Летом того же года состоялось выступление Кэтлин перед королевской семьей в Букингемском дворце, вызвавшее оживленные отклики в лондонской печати. Вскоре Парлоу получили известие о неожиданной смерти Холмса, что нарушило их планы возвращения в Калифорнию. Живо интересуясь музыкальной жизнью Лондона, Кэтлин попала на концерт четырнадцатилетнего гастролера из России Миши Эльмана². Его исполнение Концерта П. Чайковского и произведений И.-С. Баха настолько поразило Кэтлин, что она решила продолжить свои

² Эльман Миша (Михаил Саулович) (1891, село Тальное, Украина – 1967, Нью-Йорк), скрипач и композитор. Учился у А.Фидельмана в Одессе и Л.Ауэра в Петербурге, брал также уроки композиции у Ц.Кюи. Дебютировал в Петербурге и Берлине (1904), затем выступал в Германии, Франции и Англии. В 1911 г. скрипач переселился в США, однако гражданство принял лишь двенадцать лет спустя. Основал Струнный квартет Эльмана, который получил большую известность. В 1936 г. дал в Карнеги холле цикл из пяти концертов «Развитие скрипичной литературы». Сделал много записей, которые пользовались огромным успехом.

занятия с педагогом М. Эльмана. Им оказался профессор Петербургской консерватории Леопольд Ауэр, бывший в это время в Лондоне вместе со своим учеником. Кэтлин добилась встречи с маститым профессором, который, прослушав исполнение Концерта Ф. Мендельсона, согласился принять её в свой класс.

Парлоу приехали в Петербург в сентябре 1906 г., и уже в следующем месяце начались занятия Кэтлин с Ауэром. Она стала первой иностранной студенткой, принятой в столичную консерваторию. Сам факт зачисления в класс Ауэра был признанием таланта студента. Однако для того, чтобы удержаться в этом классе, от учеников требовалось громадное напряжение и физических, и духовных сил. Будучи сам человеком пунктуальным и организованным, Ауэр требовал того же от своих студентов в их повседневной жизни и, в особенности, в музыкальных занятиях. Они должны были приходиться в класс с хорошо подготовленными и выученными наизусть произведениями, и занятия с Ауэром состояли в работе над стилем и интерпретацией сочинений. У профессора не было своего «магического» метода обучения. Он мало занимался развитием и совершенствованием технического мастерства студентов и редко демонстрировал или объяснял им те или иные чисто технические приемы. Главное внимание и энергия Ауэра были сосредоточены на выявлении потенциальных творческих возможностей студентов и развитии их артистических индивидуальностей.

Занятия в классе Ауэра были нетрадиционными и скорее напоминали концертные исполнения, чем обычные уроки. Слушателями этих концертов были студенты самого Ауэра и других консерваторских профессоров, а также молодые преподаватели. Во время урока Ауэр обычно ходил по классу, внимательно слушал исполнителя и в конце делал краткие замечания, относящиеся к форме произведения и его интерпретации. Такие занятия приносили пользу далеко не всем студентам: наиболее одаренные становились подлинными артистами, менее талантливые – крепкими профессионалами или просто отсеивались из класса.

Ауэра заботили все стороны жизни и быта его питомцев. Многим из них он помогал найти патронов и меценатов, другим оказывал содействие в получении стипендий, в поисках и приобретении хороших инструментов. Профессор стремился расширить общий кругозор и культурный уровень студентов и даже поощрял их изучать иностранные языки, что было необычным для консерватории тех времен. Со многими своими питомцами Ауэр сохранял дружеские и творческие связи и после того, как они становились самостоятельными артистами.

Начиная с октября 1906 г. и до лета 1907 г., Ауэр занимался с Кэтлин два раза в неделю. Вспоминает скрипачка: «Трудно описать радость, которую я испытывала на уроках. Сначала приготовление к уроку, затем сам урок, потом присутствие на занятиях с другими студентами... В течение зимы я прошла с Ауэром весь основной скрипичный репертуар. Я оставалась в классе до шести часов вечера, впитывая все услышанное, и уходила домой усталая, но счастливая. Интересно, что игра выдающихся учеников Ауэра не обескураживала

меня, но заставляла больше заниматься и пытаться играть так же хорошо, как они». К числу последних относились, прежде всего, Е. Цимбалист³ и М. Эльман, занимавшиеся у Ауэра в то же время, что и К. Парлоу. Сам профессор, обычно не склонный к громким похвалам, нередко называл Кэтлин «Эльманом в юбке». Присутствие Ауэра в классе обладало гипнотической силой. Как вспоминала Кэтлин, она часто прекрасно играла в классе, поощряемая взглядом, жестами и замечаниями профессора, но, вернувшись домой, не могла повторить то, что делала в присутствии педагога.

Во время одного из уроков в класс Ауэра зашел директор консерватории А. Глазунов – он хотел послушать исполнение Кэтлин его скрипичного Концерта. В классе не было фортепианной партии произведения, и Е. Цимбалист вызвался аккомпанировать ей по памяти. Во время исполнения Кэтлин увидела, что Глазунов, не удовлетворенный игрой Цимбалиста, сел рядом с ним за инструмент и, постепенно отгесняя его от клавиатуры, сам продолжил партию фортепиано. Исполнение Парлоу получило высокую оценку композитора и запало ему в память.

Зимой 1906-7 гг. Кэтлин дала девять сольных концертов в Петербурге. Наряду с концертами для английской колонии, она выступила во дворце Великого князя Михаила, который в знак благодарности подарил скрипачке ценную эмалевую шкатулку и золотую цепочку. По приглашению композитора Ц. Кюи, бывшего также профессором фортификации Морского кадетского корпуса, К. Парлоу играла перед слушателями этого старейшего морского заведения в России. По окончании концерта ей была вручена медаль, учрежденная Петром I для выпускников корпуса. В эту же зиму скрипачка совершила гастрольную поездку в Гельсингфорс (ныне Хельсинки), где выступила в пяти концертах с местным симфоническим оркестром под управлением Р. Кааянуса, одного из лучших финских дирижеров начала века.

Летом 1907 г. в бельгийском городе Остенде состоялся фестиваль, посвященный 25-летию творческой деятельности А. Глазунова. Одним из условий участия юбиляра было предоставление ему возможности выбора исполнителя его популярного скрипичного Концерта. Вопреки желанию организаторов фестиваля, выбор композитора пал на семнадцатилетнюю Кэтлин, которая исполнила концерт с оркестром под управлением автора. По окончании торжеств Глазунов подарил К. Парлоу рукопись второй части сочинения с дарственной надписью: «Кэтлин Парлоу, великой артистке, на память от восторженного почитателя её замечательного таланта. А. Глазунов».

В том же 1907 г. состоялся дебют Парлоу в Берлине. Через несколько дней после первого концерта в немецкой столице Ауэр писал

³ Цимбалист Ефрем (Эфраим) Александрович (1889, Ростов-на-Дону – 1985, Рено, США), скрипач, педагог, композитор. В США – с 1911 г. Преподаватель (с 1928) и директор (1941–1968) ин-та им Кертиса в Филадельфии. Гастролировал по всему миру. Наиболее известное произведение – Фантазия для скрипки с оркестром на темы оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок»

матери Кэтлин: «Дорогая миссис Парлоу! Я с удовольствием прочитал Ваше описание концерта... Жду с большим нетерпением отзывков на концерт, меня интересуют все его артистические и финансовые детали. Как прозвучал Концерт Паганини? Пришлите мне все рецензии – и хорошие, и плохие. В консерватории студенты и дирекция спрашивают меня о Кэтлин и надеются увидеть её в Петербурге. С любовью и лучшими пожеланиями Вам и Кэтлин. Ваш Л.Ауэр».

Переписка между Л. Ауэром, К. Парлоу и её матью продолжалась до самой смерти Ауэра в 1930 г. В этих письмах профессор дает ученице советы о выборе репертуара и особенностях аудиторий в разных странах, рекомендует импресарио и дирижеров, с которыми следует установить контакты, и интересуется её финансовыми делами. В письмах сквозит искренняя любовь Ауэра к Парлоу, желание видеть её зрелой и законченной артисткой. В одном из них, отправленном накануне 1914 г., Ауэр пишет: «Дорогая Кэтлин! Наиболее приятным поздравлением, полученным мною накануне Рождества, было Ваше письмо со всеми музыкальными новостями и слухами, а также деталями Вашей жизни. Конечно, Вам трудно судить самой о своих успехах, однако я не сомневаюсь в том, что, как и у всякого талантливого артиста, Ваше исполнение становится с годами лучше и совершеннее. Посмотрите на меня – неделю тому назад я играл Концерт Бетховена, и публика и критика нашли, что никогда прежде я не исполнял его так хорошо. Вспомните о моём возрасте! Если музыкант в возрасте от 20 до 30 лет занимается целеустремленно и упорно, его артистическое чувство продолжает развиваться, и исполнение достигает того совершенства, которое так привлекает слушателей». В другом письме Ауэр пишет Кэтлин: «Пойте на скрипке – это единственный способ сделать её звучание терпимым для слушателей... Музыка должна всегда доставлять радость. Ваши занятия должны быть хорошо продуманными и интенсивными, но не вызывать усталость и утомление. Занимайтесь три часа в день, иногда четыре. Если Вам требуется для этого больше времени – остановитесь и подумайте о смене профессии».

В 1907-8 гг. К. Парлоу гастролирует в Дании, Швеции и Норвегии. В столице Норвегии Христиании (ныне Осло) она знакомится с Эйнарсом Бьёрнсоном, родственником драматурга Б. Бьёрнсона и другом Э. Грига. Знакомство это примечательно тем, что Э. Бьёрнсон подарил молодой артистке уникальную скрипку, сделанную Гварнери в 1736 г., принадлежавшую в прошлом таким виртуозам, как Байо и Виотти.

Концертная деятельность К. Парлоу становится все более интенсивной. Между 1908 и 1915 гг. она даёт около 400 концертов в большинстве европейских стран и Северной Америке. В это время продолжают встречи и занятия с Ауэром. Так, в марте 1908 г. Кэтлин приехала в Петербург для того, чтобы сыграть Ауэру программу её предстоящего выступления в Лондоне. В 1909-11 гг. они встречались в Берлине и Лондоне, а в 1912-13 гг. – в летней резиденции Ауэра в Ловшице, недалеко от Дрездена. Во время каждой встречи Ауэр давал Кэтлин несколько уроков, они обсуждали программы её концертов и маршруты гастрольных поездок.

Летом 1912 г. К. Парлоу провела почти месяц в Лошвице, готовя с Ауэром программу для своих предстоящих гастролей в России. Он же взял на себя заботы по организации этих концертов. Они состоялись в ноябре 1912 г. в Петербурге и Москве и были высоко оценены публикой и критикой.

Выступления Парлоу не прекращались даже во время Первой мировой войны. Так, в 1914-16 гг. она гастролировала в Голландии, скандинавских странах и США. В августе 1915 г. состоялась её очередная встреча с Ауэром в Христиании, где он давал мастер-классы. Вспоминает К. Парлоу: «В один из вечеров я принесла ре минорную Сонату И. Брамса. Я хорошо знала её, но от волнения не могла начать играть. “В чем дело?” – спросил Ауэр. “Я не могу начать. Мне было бы легче играть перед публикой, чем перед Вами”, – отвечала я. “Если бы сам архангел Гавриил спустился с небес для того, чтобы сыграть мне на скрипке, я бы нашел несколько ошибок и в его исполнении, поэтому начинайте” – заключил Ауэр. Он был самым строгим и, в то же время, наиболее доброжелательным учителем». Свидетельством любви и уважения профессора к своей ученице является то, что он посвятил ей несколько своих скрипичных транскрипций.

В конце 1917 г. Л.Ауэр навсегда покинул Россию и уехал сначала в Норвегию, а потом – в США. Обосновавшись в Нью-Йорке, он продолжал интенсивную педагогическую деятельность до конца жизни. В числе его американских студентов были такие известные американские скрипачи, как Ф. Макмиллан, Б. Рабинов, О. Шумский, С. Душкин. М. Харрисон, Д. Хочстейн, В. Граффман и другие. Отныне встречи Парлоу с Ауэром происходят во время её американских гастролей, а после 1926 г., когда скрипачка поселилась в Калифорнии, во время её частых приездов в Нью-Йорк.

У Парлоу был обширный репертуар, который включал большинство скрипичных концертов композиторов XIX века. Из произведений русских композиторов она часто исполняла Концерты П. Чайковского и А. Глазунова и миниатюры А. Аренского, А. Рубинштейна и П. Чайковского. Скрипачка обладала сильным звуком, а также необыкновенно певучим и «длинным» легато, характерным для учеников Ауэра. По этому поводу один из критиков заметил, что, слушая Парлоу, можно подумать, что в руках у неё не обычный, а трёхметровый смычок. Виртуозная мелкая пальцевая техника была также предметом хвалебных отзывов критики.

После 1927 г. сольная концертная деятельность Парлоу становится значительно менее интенсивной, и она посвящает большую часть времени преподаванию и исполнению камерной музыки. В 1941 г. скрипачка переезжает в Торонто, где начинается её педагогическая деятельность в местной консерватории. Подобно Ауэру, в работе со студентами она уделяла основное внимание интерпретации и стилю произведений, а так же развитию общей музыкальной культуры и вкуса. Среди её учеников были известные канадские скрипачи А. Бенак, Ч. Добиас, В. Фелдбрилл и Д. Монтегю, которых можно считать «музыкальными внуками» Ауэра.

К. Парлоу скончалась в г. Оквилл недалеко от Торонто 19 августа 1963 г., завещав свое состояние струнному отделению Торонтского университета. Наиболее ценной его частью была скрипка Гварнери, деньги от продажи которой пошли на учреждение стипендии имени Парлоу. Соискателям этой стипендии можно напомнить слова Ауэра, сказанные им Кэтлин перед её первой поездкой в Берлин: «Старайся показать самое лучшее, на что ты способна, и это принесет свои плоды».

Торонто

Литература

Parlow French Maida. Kathelin Parlow: A Portrait. Toronto: Ryerson Press, 1967.

Hambleton Ronald. Tea with Kathelin Parlow// Fugue, vol 2, № 6 (February 1978)



Владимир Фрумкин

«Но чудится музыка светлая, и строго ложатся слова...»

О композиторском даре Окуджавы*

*Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают, то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле стягиваются моем.
И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает все до самых мелочей...*

Б.О.

Откуда прилетел Голубой шарик?

1.



улат Окуджава сочинил (он бы сказал: «придумал») две песни о голубом шарике. Обе – из самых ранних. Обе крохотные, в восемь строк. Обе щемяще грустные. Но на этом сходство между ними кончается. Один «Шарик» взлетел высоко: покорила сердца целого поколения, да и сегодня все ещё в фаворе у многих. Его слушают и напевают, о нём пишут в статьях, книгах и диссертациях. Другому повезло несравнимо меньше. «Ах ты, шарик голубой, грустная планета...». А дальше? Вспомнил, но только — слова. А поются-то они как? Так? Вряд ли, ведь точно так же, нота в ноту, поётся другая песня того же автора! Что-то тут не так...

Песенка о шарике, улетевшем из рук девочки (1957), не перестает удивлять комментаторов своей загадочностью и многозначностью. Один только Дмитрий Быков предлагает аж четыре альтернативных толкования:

О чем, скажем, любимый всеми «Голубой шарик»? Для кого-то — о драме женской судьбы; для кого-то — о том, что истинный смысл жизни внятен только в детстве, потом утрачивается, а в старости возвращается. Наконец, возможна трактовка, согласно

* Сокращённая и переработанная версия статьи, написанной для московского альманаха Голос надежды. Новое о Булате. Вып. 10. Книга выйдет в свет в конце 2013 г.

которой все утраты в жизни ничуть не серьёзней, чем потеря голубого шарика: муж ушел, жениха нет, старость близко — «а шарик летит», мир цел. Да, может, вся земля вообще — голубой шарик, улетевший из рук Бога, и вот он плачет теперь, а шарик летит, и ничего не сделаешь¹.

Толкователи заинтригованы: простенькая, вроде бы, песенка, а как волнует, как глубоко западает в душу, какие рождает мысли, образы, ассоциации!

Владислав Смирнов:

Совершенно незамысловатыми, можно даже сказать утрированно-упрощёнными словами и незатейливой мелодией передана драма жизни. Так и вспоминается лермонтовское «Мы пьём из чаши бытия с закрытыми глазами». Только у Лермонтова чеканный, кованный стих. У Окуджавы — детская песенка, почти лепет².

Зиновий Паперный:

Если искать стихотворения, где бы своеобразие романтического видения Булата Окуджавы проявилось с особенной ясностью и полнотой, то, пожалуй, нельзя найти примера лучшего, чем «Девочка плачет»... Стихотворение это доведено до предела простоты и необыкновенности. Тут действительно слова не выкинешь... Если бы Окуджава написал одну только «Песенку о голубом шарике», он имел бы все основания называться истинным поэтом-романтиком³.

З. Паперный отмечает предельные простоту и необыкновенность «Песенки о голубом шарике». Рядом с этой оценкой суждение В. Смирнова — *незамысловатые, утрированно-упрощённые слова, незатейливая мелодия, детская песенка, почти лепет*, — само звучит упрощённо и неполно. Да, эта песня предельно проста, но она и предельно необыкновенна, и именно в силу этой таинственной, труднообъяснимой необыкновенности оказалась способна передать и «драму жизни», и вызвать ассоциации с лермонтовским стихотворением о «чаше бытия», и сделать её автора «истинным поэтом-романтиком». Чем необыкновенна? Не в последнюю очередь тем, как произносятся, как интонируется автором эта коротенькая притча про улетевший надувной шарик, про слезы *девочки, девушки, женщины, старушки*... Внимая голосу поэта, мы слышим напев, который не похож по стилю ни на одну из многочисленных окуджавских мелодий. Уникален же он потому, что у него другая родословная, иные, более древние музыкальные предки.

¹ Быков Д. Булат Окуджава. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 306. (Жизнь замечат. людей).

² Смирнов В. Пространство мыслей и чувств в песенном творчестве Булата Окуджавы. Филологические эскизы с философскими акцентами // Релга: Науч.-культурополит. журн. №9 [172] 30.06.2008, <http://www.relga.ru/Envion/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2196&level1=main&level2=articles>

³ Паперный З. За столом семи морей: (Б. Окуджава) // Вопр. лит. 1983. № 6. С. 31–52; См. также: Паперный З. «За столом семи морей»: (Б. Окуджава) // Паперный З. Единое слово. М., 1983. С. 220–243.

В песнях Окуджавы царит стихия бытовой музыки *последних двух веков*. Поэт обратился к мелодике, не замутнённой казенщиной, далекой от интонационных штампов официальной советской песни. Здесь и лирический городской романс, (чисто русский и с цыганским оттенком), и песня-марш, песня-танец (вальс, фокстрот, танго), и уличная, блатная, «дворовая» песенка, и бесхитростный шарманочный наигрыш, и песни русских студентов, и советские песни военных лет, и французский шансон. Поэт черпал то, что было на слуху у его современников, то, что мгновенно узнавалось и трогало сердце. Бралась мотивы, интонации, обладавшие не переменным качеством — общительностью, способностью установить мгновенный душевный контакт с аудиторией. Окуджава ухитрялся использовать их как-то по-своему, то слегка меняя, то по-новому комбинирова, так что ни одна из его мелодий не кажется точным повторением чего-то уже известного. Возможно, что он *сознательно* следовал в этом деле принципу из песенки о старом пиджаке: «перекроите всё иначе». Если бы это выходило у него чисто интуитивно, как бог на душу положит, вряд ли бы он задал мне однажды неожиданный вопрос о том, есть ли в его музыке хоть какая ни на есть оригинальность или вся она — сплошное подражание, общие места⁴.

2.

«Девочка плачет» стоит особняком, у нее иной облик, иная стать, иные родственные нити. Мелодия песни необычно сдержана и лаконична. Вырастает она из краткого, плавно восходящего мотива, который трижды повторяется, но каждый раз — на ступеньку ниже. Этот восходящий мотив из двух звуков и его нисходящие повторения отчетливо слышны, если сосредоточиться на главных, опорных звуках мелодии. В нижеследующем тексте соответствующие этим звукам слоги выделены жирным шрифтом:

пла-чет:

Де-воч-ка

тел.

ша-рик у-ле-

ша-ют,

Е-ё у-те-

тит.

а ша-рик-ле-

Для читателя-немузыканта: опорными становятся те звуки мелодии, которые попадают на сильные доли такта. Они слышнее, весомее других и поэтому образуют основу мелодии, ее каркас. Линия опорных звуков этой песни впечатляет четкостью структуры и упрямой логикой движения — плавными уступами, неуклонно — все ниже и ниже. Интересно и другое: в этом виде мелодия «Голубого шарика» обнаруживает явное родство с одним из мотивов, сложившихся в музыке XVI–XVIII веков, в эпоху барокко, породившей таких гигантов, как Бах,

⁴ См. об этом подробнее: *Фрумкин В.* Ещё раз о Булате // <http://7iskusstv.com/2012/Number4/Frumkin1.php> См. также: *Голос надежды.* Вып. 8. М., 2011. С. 40.

Гендель, Пёрселл, Вивальди. Вспомним один из инструментальных шедевров Генделя — «Пассакалию» из Седьмой сюиты для клавесина. Она написана в форме темы с вариациями. Опорные звуки темы — *абсолютно те же*, что и в «Песенке о голубом шарике»! Они особенно четко слышны в лапидарной первой вариации:

<http://www.youtube.com/watch?v=5ETyInYfMSE>

Эта последовательность из восьми звуков, спускающихся по лесенке необычным способом — ступенька вверх, две ступеньки вниз, — встречается — в различных модификациях — и у современников Генделя, в частности, у Баха (например, в знаменитой органной Токкате и фуге ре минор), и у композиторов XIX века. Но и у неё были свои, и тоже весьма древние, предшественники — одноголосные католические песнопения Средневековья, известные как Григорианский хорал, или Григорианское пение. Самое известное из них — «Dies irae», грозно напоминавшее верующим о неминуемом Страшном суде:

Dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla...

День гнева! Этот день превратит века в пепел...

Слова этой молитвы, возникшей в Италии около XII века, со временем вошли в заупокойную мессу — реквием. Её напев звучит суровее, чем его далекий потомок, родившийся спустя века в эпоху барокко. Он тоже направлен вниз, упрямо снижаясь уступами (но не от 5-й ступени минора к 3-й, а от 3-й к 1-й, что придаёт ему более мрачный оттенок):

<http://www.youtube.com/watch?v=fMHms5Cvsw>

Несмотря на свой немислимый — тысячелетний! — возраст, напев этот все ещё успешно справляется с ролью *memento mori*, продолжая леденить наши грешные души, когда мы слушаем «Фантастическую симфонию» Берлиоза, «Пляску смерти» Сен-Санса, Рапсодию на тему Паганини Рахманинова или музыку Шостаковича к фильму «Гамлет».

Когда композитор вводит в своё сочинение «Dies irae» (или любую другую музыкальную цитату) он делает это, само собой, вполне сознательно: цитирование входит в его художественный замысел. Иное дело, когда тот же Рахманинов воспроизводит в своей знаменитой Прелюдии до диэз минор очертания темы генделевской «Пассакалии». Или — когда этот мотив начинает припев песни Соловьёва-Седого «Соловьи» («Пришла и к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна»).

Если это и цитата, то — не намеренная. Так что зря поговаривали (полусерьёзно, полушутя) в кулуарах ленинградского Союза композиторов, что вот, мол, Василий Павлович взял да и стащил мотивчик у Рахманинова... Такого рода аллюзии встречаются в музыке сплошь и рядом. Они возникают, когда композитор, стремясь запечатлеть ту или иную эмоцию или образ, обращается к средствам, выработанным предшественниками для выражения сходных эмоций и образов. Так и появились в музыке «бродячие мотивы», например, решительный ход вверх на кварту в музыке энергичного, героического характера (например,

в призывных маршевых песнях), или восходящая малая секста в русских лирических мелодиях XIX и XX века. В «Песенке о голубом шарике» ожил строгий, исполненный благородной красоты мотив из далеких, «догайдовских» времён. Что побудило поэта именно так напеть свой миниатюрный стих, навсегда останется тайной. Можно лишь подивиться его художественному чутью, его музыкальной интуиции, позволившей ему ограничиться минимумом средств, чтобы достичь максимального результата.

Легче понять появление этого мотива в песне Соловьёва-Седого (1944). В затихшем ненадолго прифронтовом лесу *поют шальные соловьи*, но смерть-то рядом, где-то близко *пушки бьют*. Тут все взаправду, все всерьёз. Точно так же вполне уместен и объясним торжественно строгий стиль песни А. Новикова 1946 года — о дорогах войны, о том, что неровен час — и *крылья сложишь посреди степей*, о дружке, который *в бурьяне неживой лежит*. «Ну прямо-таки тема фуги!» — восхищённо сказал мне об «Эх, дороги» мой учитель по полифонии Иосиф Яковлевич Пустыльник. И только годы спустя открылось мне прямое сходство этой мелодии с темой фуги соль минор из второго тома «Хорошо темперированного клавира» Баха, а также родство обеих мелодий с темой «Пассакалии» Генделя.

Джеральд Смит назвал «Песенку о голубом шарике» «самой великой песней Окуджавы». В ней, по его словам, есть «неизбежность и абсолютная экономия», свойственные великому искусству, а её господствующая эмоция — печаль, которая чуть смягчается в самом конце⁵. Британский филолог вывел эту оценку, анализируя поэтический текст «Песенки». Но чутко отмеченные им качества стиха — «неизбежность», «абсолютная экономия» (*inevitability and absolute economy*) — выразительно характеризуют и то, как он напет поэтом. Так логично и строго, так экономно, так «неизбежно» не разворачивается ни одна из окуджавских мелодий.

3.

Текст другого «Шарика» ещё более лаконичен и экономен, но в отличие от «Девочки плачет», легче поддается толкованию.

Ах ты, шарик голубой,
грустная планета,
что ж мы делаем с тобой,
для чего все это?!
Всё мы топчемся в крови,
а ведь мы могли бы...
Реки, полные любви,
по тебе текли бы.

Если «Песенка о голубом шарике» — загадочная притча с мерцающими между строк смыслами, то «Ах ты, шарик голубой» —

⁵ См.: *Smith G. S. Songs to Seven Strings: Russian Guitar Poetry and Soviet «Mass Song»*. Bloomington: Indiana Un-ty Press, 1984. P. 143.

скорее, сентенция с моралью: люди, опомнитесь, так жить нельзя. Песня появилась в 1961-м, авторское исполнение попало на пленку, обращалось в «магнитиздате». Текст напечатали лишь через двадцать семь лет, в 1988-м. Представить его в доперестроечном советском издании трудно, если не невозможно. Стишок получился очень уж несоветским. Вроде бы о серьёзных вещах идёт речь, но — облегчённым каким-то, не вполне несерьёзным тоном. И идея насквозь порочная: в неустроенности и трагичности мира обвиняются не «империалистические поджигатели» войны, а *мы*, «прогрессивное человечество»! В духе «чуждого нам буржуазного пацифизма и абстрактного гуманизма».

Как ни странно, смелое и честное стихотворение, резко выделившееся на фоне советской «гражданской поэзии» и гневно-воинственных «песен борьбы за мир» не вошло в обойму востребованных сочинений Окуджавы. Сходная судьба постигла и некоторые его другие песни, где автор обращается к слушателю-читателю с призывом стать лучше, честнее, добрее, взывает к его уму и совести. Им, очевидно, не доставало того, чем ценны лучшие стихи и песни Окуджавы: метафоричности, полифонической многослойности, тонкой игры противоречивых смыслов.

Судьбу второго «Шарика» подпортило и то, что автор скроил для него мелодию не «по фигуре»: снял её с «чужого плеча», взял, нисколько не изменив, из своей же песни «Горит пламя, не чадит». Это — единственный такой случай музыкального автоцитирования у Окуджавы. Он не любил обращаться к сочинённым им ранее напевам. Если и случаются у него самоповторы, то — фразы, интонации, короткого мотива. К примеру, «Время идёт, хоть шути не шути...» начинается так же, как написанная тремя годами раньше «Когда мне невмочь пересилить беду...». Помню огорчение Булата, когда он заметил, что начало запева и припева в «Антон Палыч Чехов...» вышли почти такими же, как в «Солнышко сияет...».

И текст, и напев «Горит пламя, не чадит...» близки старинному романсу, их «дуэт» вполне убедителен и органичен. В «Ах ты, шарик голубой...» такой органики не получилось. Мягкая, «жалующаяся», чувствительная мелодия, пересаженная из песни-романса, мешает проявиться смыслу стиха, не стыкуется с ним, противоречит его отнюдь не романсной стилистике. Борис Гребенщиков для своего окуджавского альбома выбрал из этой парочки музыкальных «близнецов» одного:

Горит пламя, не чадит,
Надолго ли хватит.
Она меня не щадит,
Тратит меня, тратит...

Спел он, однако, этот «жестокий романс» с другой мелодией, придавшей ему заметно иной характер: более сдержанный, благородный и углублённый. Откуда мелодия? Сам придумал? Нет. Перенес из «Песенки о голубом шарике»! Обратился к напеву, сохранившему аромат строгого и высокого стиля давно ушедших времён.

На глаз и на слух

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы...

По мнению Дмитрия Быкова, ритм в этой песне «обрывист, неправилен: пятистопный анапест — с выпадающим слогом на четвёртой и пятой стопе; в самой этой неправильности — нестыковка, несдержанное обещание». Но стоит ли судить о ритме поющего стиха в отрыве от того, как он поётся? И делать при этом столь смелый вывод о «несдержанном обещании», которое, якобы, выражено этим ритмом? Я возразил Быкову, что обрывистость, неправильность и нестыковка заметны тут лишь глазу филолога-стиховеда, в то время как реальный, *песенный* ритм здесь плавен и гладок — ни сучка, ни задоринки⁶. Я мог бы ещё добавить, что мелодия песни возникла у Окуджавы в данном (едва ли не в единственном!) случае раньше слов, так что спокойно-плавный ритмический образ песни сложился у него с самого начала.

Стиховой ритм «Песенки об Арбате» (Ты те-чѐшь, как ре-ка, стран-но-е наз-ва-ни-е...) — тоже «неправильна» и неустойчива, но как спокойно и размеренно звучит ее мелодия! В своей рецензии на книгу Д. Быкова об Окуджаве я привел ещё один пример того, как течение музыки выравнивает неоднородный ритм стиха: «Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет...». Слоги выпадают здесь ещё чаще и менее последовательно, чем в «Смоленской дороге», читаешь и спотыкаешься. Но слушаешь или поёшь — все соразмерно и гармонично: ломанный ритм выпрямляется, стих течёт гладко, как река. В «Песенке о голубом шарике» — Де-воч-ка пла-чет — ша-рик у-ле-тел. Е-ё у-те-ша-ют, а ша-рик ле-тит — тоже нет единого ритма: то дактиль, то хорей, то амфибрахий. К тому же начисто отсутствует рифма. Текст — при чтении глазами — сильно смахивает на прозу. Но об этом тут же забываешь, когда его подхватывает на свои крылья неспешная, мерно текущая мелодия.

Эстетизация, компенсация стиха музыкой, смягчение шершавого ритма напевом имеет место не только у Окуджавы. Примеров достаточно и у его коллег — поющих поэтов, и в фольклоре, и в советской массовой песне. Гораздо реже встречается у других авторов характерное для Окуджавы вольное обращение с традиционной формой песни, издавна бытующей в песенной культуре многих стран и народов. Речь идёт о куплетной форме, когда разные строфы текста поются на одну или две (если имеется припев) повторяющиеся мелодии.

«Замечательный мелодист»?

Помните, как «Песенка о голубом шарике» исполняется её автором? Он не повторяет напев с абсолютной точностью во всех четырёх строфах: начальный, ключевой мотив мелодии делает порой своего рода

⁶ См.: *Фрумкин В.* Портрет на фоне эпохи: Булат Окуджава в толковании Дмитрия Быкова //

<http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer12/Frumkin1.php>

См. также: *Голос надежды.* Вып. 7. М., 2010. С. 524.

зигзаг — широкий шаг вниз, затем вверх и снова вниз, но на меньший интервал (в этой записи — в 3-й строфе, на словах «Женщина плачет»):

<http://www.youtube.com/watch?v=GIMeUbfERhE>

И ведь что интересно: почти так же, ходом вниз–вверх–вниз, начинается та самая (родственная «Пассакалии») соль-минорная fuga Баха, и совершенно так же — другая родственница, песня «Эх, дороги» Анатолия Новикова.

Отклонения от заданной в первой строфе мелодии нередки у Окуджавы. Они случаются, когда поэт решает откликнуться голосом на смысловой или ритмический поворот стиха. В «Союзе друзей», например, певец по-разному интонирует (в припеве) заключительные строки строф: «чтоб не пропасть поодиночке» (первый куплет) и «возьмемся за руки, ей-богу» (второй и третий куплеты). В песне «Былое нельзя воротить...» поэт освежает куплетную форму тем, что её заглавная мелодия появляется лишь во второй строфе («Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью»), а начало первой — тихий «речитатив» почти на одном звуке — служит как бы вступлением, зачином.

«Бумажный солдат» тоже открывается вступительной фразой, которая не повторяется в остальных строфах. Звучит она задумчиво, с остановками: *Один солдат... — пауза — на свете жил... — пауза.* У второй строфы («Он переделать мир хотел...») — другое начало, и оно сохраняется во всех последующих. В четвёртой строфе нас подстерегает сюрприз: на словах *а почему? А потому* мелодия на мгновение сворачивает с привычного пути, чтобы точнее передать интонацию этой фразы. В следующей строфе — другая неожиданность: в кульминационный момент песни, на словах «*Огня, огня!*» голос взмывает вверх.

Не сомневаюсь, что поэт не только чувствовал, но и понимал, когда и куда следует повернуть мелодию, чтобы она наилучшим образом соответствовала стиху. Исаак Шварц вспоминает, как Булат отозвался о пробном варианте его музыки к их совместной песне (для фильма «Нас венчали не в церкви»):

Ты знаешь, начало мне нравится. А вот здесь — «Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, / не смолк бубенец под дугой... / Две вечных подруги — любовь и разлука / — не ходят одна без другой» — здесь нужен какой-то взлет, нужно вывесь увести⁷.

Вариантность мелодики в окуджавских песнях затрудняет задачу тех, кто пытается перенести их на нотную бумагу. Ломаешь голову: какие отклонения фиксировать, без каких можно обойтись, чтобы не усложнять текст? В моей записи (для американского издания 1980 года⁸) «Бумажный

⁷ Цит. по: *Шварц И.* Мы были как братья // Встречи в зале ожидания. Ниж. Новгород: Деком, 2003. С. 29. Композитор замечает, что эта песня — одна из его самых любимых, и что «той пронзительностью и взлетом, которые вошли в окончательный вариант музыки, она обязана исключительно Окуджаве» (Там же).

⁸ Булат Окуджава. 65 песен. ARDIS/ANN ARBOR.

солдат» занял десять нотных строк. Авторы советского издания 1989-го⁹ ограничились четырьмя. Вступительную фразу они зафиксировали, но мелодические изменения в других строфах, очевидно, сочли не такими уж важными.

Сравниваю записи другой песни, «Ещё один романс» («В моей душе запечатлён портрет одной прекрасной дамы...»). И у меня, и у Александра Колмановского, написавшего ноты для советского издания, — двадцать строк, занявшие две с половиной страницы! Сократить, упростить не удалось, ибо вступление там — не несколько тактов, как в «Былое нельзя воротить...» и «Бумажном солдате»: оно разрослось на целую строфу. Вторая строфа («Ещё куда в честь неё...») поётся на мелодию, которая затем повторяется в заключительной, четвёртой строфе («Она и нынче, может быть...») и таким образом как бы выполняет роль припева. А у третьей строфы («Не оскорблю своей судьбы...») — своя мелодия, хотя и близкая по характеру двум другим. Музыкальную форму этой песни можно изобразить так: *A-B-B-B*. Тут уж хочешь не хочешь, а фиксируй все три мелодии, иначе обеднишь, исказишь песню.

В одной из своих песен (в той самой, мелодию которой Булат перенёс в «Ах ты, шарик голубой...») Окуджава обошёлся вообще без повторов, иными словами — без куплетной формы: три строфы напел на разные мелодии, которые как бы продолжают предшествующую, развивают её. Получилась композиция, которую музыканты называют сквозной. В песне она если и встречается, то — очень редко.

Горит пламя, не чадит.
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит —
тратит меня, тратит.
Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.
Потемнят меня ветра,
дождичком окатит...
А она щедра, щедра —
надолго ли хватит?

Несмотря на законченность, «самодостаточность» мелодии первой строфы, повторять её ещё два раза поэт не стал, и правильно сделал: избежал статичности и монотонии. Музыка следует за стихом, обновляется, дышит. (В последней строфе — «Потемнят меня ветра...» — голос опускается в темный низкий регистр.) В классическом романсе сквозное развитие музыки, отражающее движение стиха, встречается сплошь и рядом (примеры: «Я помню чудное мгновенье» Глинки; «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова). В песне — что-то не припомню.

⁹ Песни Булата Окуджавы. Москва. «Музыка».

Ещё один пример композиторской хватки Окуджавы — песня из кинофильма «Белорусский вокзал». Её куплет состоит не из одной или двух (запев–припев) строф, а из трёх, и у каждой — своя мелодия (1. «Здесь птицы не поют...»; 2. «Горит и кружится планета...»; 3. «Нас ждет огонь смертельный...»). Сочинить по-настоящему популярную песню с длинным, из трёх музыкальных тем, куплетом удавалось только большим мастерам песенного жанра, таким, как Дунаевский, Соловьёв-Седой, Новиков. Примеры — «Каховка», «Весёлый ветер», «Пора в путь-дорогу», «Гимн демократической молодёжи». Из трёх строф с тремя мелодиями состоит и куплет «Песенки о молодом гусаре» (1. «Грозной битвы пылают пожары...»; 2. «Впереди командир...»; 3. «А самый молодой, в Наталию влюблённый...»). Заглавная мелодия звучит эпично, прорисована решительно и броско. Вторая и (особенно) третья — мягче, лиричнее. Все три искусно соединены друг с другом, естественно вытекают одна из другой. Нет, недаром Исаак Шварц назвал Окуджаву «замечательным мелодистом», а другой выдающийся музыкант, дирижёр Натан Рахлин, заметил, что «музыка песен Булата Окуджавы — это ракета-носитель, транспортирующая его стихи, как спутник». (Эту фразу сообщил мне знавший Рахлина мой заочный знакомый — врач и поэт Ион Деген, автор одного из самых пронзительных стихотворений времен войны: «Мой товарищ, в смертельной агонии Не зови понапрасну друзей...»)

А каким «гармонистом» был Булат? Какое сопровождение получали его мелодии?

Аккорды и краски

Вначале — более чем скромное. В ранних песнях обходился тремя аккордами, которым его научили. А то и вообще двумя: в «Ваньке Морозове», «Бумажном солдате», «Чёрном коте». Точно так же, на двух-трёх аккордах, построены и некоторые песенки, привезённые Монтаном в Москву в 1957 году и оставившие заметный след в памяти и творчестве Булата. Со временем он выучил ещё несколько, но, возвращаясь к ранним своим вещам, гармонию не менял, новых красок не вносил. Они и сегодня хороши именно так, в первозданном виде. В них всё органично и соразмерно, стих, напев, гармония, аккомпанемент идеально соответствуют друг другу. Гребенщиков это понял: исполняя «Песенку о голубом шарике», он в точности сохранил авторскую гармонию, ограничившись тремя аккордами: тоникой, субдоминантой и доминантой (I, IV и V ступенями). Другие исполнители (например, Елена Камбурова, Лидия Чебоксарова) норовят добавить ещё два. Музыка на миг отклоняется в мажор (в первой строфе — на словах *шарик улетел*), колорит светлеет. Звучит красиво, но автору, очевидно, эта краска представлялась излишней: он не прибегал к ней и в более поздние годы, когда его гармоническая палитра заметно обогатилась.

Зрелые песни Окуджавы отличаются и более сложной мелодикой, и более разнообразным гармоническим колоритом. Краски меняются непрерывно, напев, не успев начаться, тут же соскальзывает в другую тональность. Вернувшись «домой», он через миг вновь отклоняется в сторону — и вновь возвращается восвояси. Тональности эти, правда, родственны между собой, переходы — плавные, без резких

сдвигов. Такого рода модуляции не редки и у других поэтов-певцов. Но Окуджаву иногда отваживается на гармонические ходы, которых я не встречал ни у других поющих поэтов его поколения, ни у советских композиторов-песенников.

В «Песенке об Арбате» третья строка — «Ах, Арбат мой, Арбат» — внезапно сворачивает из минора в мажор, но не в родственную (так называемую параллельную) тональность (ля минор – до мажор) а в довольно-таки далёкую, одноимённую (ля минор – ля мажор). Звучит этот поворот неожиданно и свежо:

<http://www.youtube.com/watch?v=G1MEuBFerHE>

Невольно вспоминается Шуберт, у которого подобные красочные сдвиги случаются сплошь и рядом¹⁰. Ещё более редким и резким тональным сдвигом отмечена песня «Быстро молодость проходит...». Её запев начинается в до мажоре и заканчивается в «параллельном» ля миноре. Припев совершает крутой поворот в до минор, в тональность, отстоящую от ля минора на три ключевых знака в сторону бемолей. Поразительная находка. Странный тональный сдвиг, подкреплённый сдвигом ритмическим (от лирического романса — к маршу) происходит в момент смыслового сдвига в тексте — к мраку, к *memento mori*:

Две жизни прожить не дано,
два счастья — затея пустая....
Кому проиграет труба
прощальные в небо мотивы...

Загадка «Мартовского снега»

Жаль, что М.И. Блантер не включил в свой окуджавский цикл ещё одну песню, «Мартовский снег». Меня разбирает любопытство: как бы он прочитал это стихотворение и как бы его озвучил? Какую бы интонацию выбрал — близкую авторской, как случилось лишь в одной из пяти написанных им вещей («В барабанном переулке»)? Или демонстративно другую, резко отличную по характеру, как произошло с «Песенкой о ночной Москве» («Надежды маленький оркестрик»):

<http://www.youtube.com/watch?v=3IZr1XAMYVE>

«Старым пиджаком»

<http://www.youtube.com/watch?v=EuBflj4auRU>

«Синими маяками» и «Песенкой об открытой двери»? Отчего этот разнобой получился? Оттого, что композитор счёл важным в стихе одно, поэт — другое. И ещё оттого, что говорят они об этом важным разным тоном. Поэт — сдержанно и серьёзно, с иронией и грустью. Композитор — горячо, взволнованно и страстно, поднимаясь порой до пафоса и патетики. Поэт предпочитает недосказанность, ему не хочется «разжевывать» стих для слушателя. Его внимание направлено не столько

¹⁰ В его «Серенаде», которая на слуху у многих («Песнь моя, лети с мольбою...»), одноименный мажор вспыхивает на словах «...друг мой милый, не услышит нас»!

на текст, сколько на подтекст. Композитор, напротив, старается «укрупнить» показавшиеся ему важными смысловые детали, разыграть, драматизировать стих.

«Мартовский снег» появился у Булата в 1958 году:

На арбатском дворе — и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми.
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы устроим ему весёлые похороны.

По кладовкам по тёмным поржавеют коньки,
позабывтые лыжи по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.

Будет много кузнечиков. Хватит на всех.
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лёд на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.

У композитора, решившегося превратить эти стихи в песню, разбегаются глаза. Что выделить в мельтешении противоречащих друг другу понятий, смыслов, образов? На какие из них настроить свою лиру? На *веселье и смех*, на *кузнечиков из-за белой реки*, *грачей* над тающим снегом, на *лёд*, осыпающийся в *лиловые трещины*? Или на то откликнуться музыкой, что снег умирает — и *снежная баба останется вдовой*, что *коньки поржавеют*, *лыжи покоробятся*, и на это, трижды произносимое «Плачьте, дети!»? Да и к детям ли обращается здесь поэт? Или он взывает так к своим *современникам*, подобно Блоку в «Голосе из хора»?

Будьте ж довольны жизнью своей.
Тише воды, ниже травы.
О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней.

Чтобы представить, как прозвучал бы «Мартовский снег» у Блантера, можно вспомнить, что случилось с окупжавскими стихами в блантеровском цикле. Они там заметно повеселели. Булат Шалвович называл себя *грустным оптимистом*. В музыкальной версии Матвея Исааковича он — оптимист на все сто, смахивающий на неунывающих лирических героев советских песен.

Скорее всего, подобная же метаморфоза произошла бы и с «Мартовским снегом» — одной из самых грустных песен Окуджавы. Поэт поёт её медленно и тихо. Мелодия — красивая и гибкая, в романсовом стиле. В ней не нашлось места *веселью* и *смеху*, *кузнечикам* и *грачам*. Напев рождён другой, печальной линией стиха. Звучит он в миноре, как, между прочим, и подавляющее большинство мелодий Окуджавы (у него их примерно в пять раз больше, чем мажорных!).

Песни Булата легко узнаются по их звучанию: они написаны единым «интонационным почерком», которым отмечена и его речь, и то, как он читал свои стихи и прозу. Говорил и читал он негромко, чуть нараспев и как бы в миноре, с грустными понижениями голоса в конце фраз. Мягкость, сдержанность и меланхоличность сохранялись и в его пении, о чем бы ни шла речь в его поющемся стихах. Для Льва Лосева в этом неповторимом, «нюющем» тоне — один из главных секретов неотразимости окуджавских песен:

Сибирской сталью холод полоснёт,
и станет даль багровою и ржавой,
магнитофон занает Окуджавой
и, как кошачий язычок шершавый,
вдруг душу беззащитную лизнёт.

Даже в песнях-маршах (их у него около двадцати) он ухитрялся оставаться в своей родной интонационной сфере: почти все они — в миноре, негромкие, ироничные, грустные. Некоторые из них близки по стилю к песням французских шансонье. «Вы слышите, грохочут сапоги»... «Не тридцать лет, а триста лет»... «Возьму шинель, и вещмешок, и каску»... «Один солдат на свете жил»... «Со двора подъезд известный»... «Живописцы, окуните ваши кисти»... «Встань пораньше»... «В Барабанном переулке»... В мелодике этих песен, в их интонациях и ритмике, в манере авторского пения не так уж трудно увидеть их вероятный прообраз — «Песенку французского солдата» Франсиса Лемарка, входившую в московский репертуар Ива Монтана.

Вальс без вальса

Как-то я попросил нескольких моих приятелей, ленинградских композиторов, сымпровизировать песню на стихотворение Окуджавы, которое уже было песней: «Неистов и упрям, гори огонь, гори...». Выбрал тех из них (в частности — Сашу Колкера, автора широко известных песен), кто не был знаком с мелодией Булата — неспешной и грустной, в ритме вальса. Мои подопытные — все как один! — сочинили музыку в характере героико-драматического марша. Это меня не удивило: к тому времени мне уже было более или менее ясно, что «барды» и композиторы-профессионалы, превращая стихи в песню, по-разному эти стихи прочитывают. У композиторов есть нечто общее с теми актерами-чтецами, которые декламируют стихотворение, стараясь подчеркнуть, усилить его смысловые детали. Поэты, напротив, предпочитают напевную манеру декламации манеру конкретно-смысловой. Они читают

««монотонно» и подчеркивают ритм, пренебрегая смысловыми (в узком смысле слова) оттенками»¹¹.

Но вот поэт решил не продекламировать, а спеть свои стихи на собственную мелодию. Сочиняя её, он мыслит и действует не как композитор-профессионал, а, скорее, как безымянный автор народных песен. В фольклоре с незапамятных времён связь напева и текста была «не подстрочной, а обобщённой, пользующейся ресурсами широких ассоциаций»¹². Их соотношение «нельзя назвать элементарно простым... Народно-песенным интонациям редко бывает свойственна прямая иллюстративность, прямое “выражение слова звуком”. Воплощение слова в песне носит более обобщённый характер»¹³. Непростые, не прямые связи между текстом и напевом сплошь и рядом встречаются и у поющих поэтов, как зарубежных, так и наших, российских. Они не стремятся иллюстрировать стих, дублировать музыкой то, что ясно сказано словом. Их напевы не часто идут за очевидным смыслом стиха: они как бы дополняют стих, прибавляют к нему новые эмоциональные краски.

«Неистов и упрям...» Булат задумал как студенческую песню в духе «классических», старинных. «По моим представлениям, студенческая песня должна была быть очень грустной, типа “Быстры, как волны, дни нашей жизни” или что-нибудь в этом роде», — вспоминал он через много лет. Однако «очень грустным» стихотворение не получилось. В нём главенствует другое: отвага, решимость, вызов судьбе. Ритм — отрывистый, стальной: трёхстопный ямб со сплошными мужскими окончаниями.

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январь...

Ни тени обречённости или уныния, ничего близкого тому, что звучало в той, начала XIX века: «Что час, то короче к могиле наш путь».

Или:

Умрёшь — похоронят,
Как не был на свете;
Сгниёшь — не восстанешь
К беседе друзей...

¹¹ *Эйхенбаум Б.* Мелодика русского лирического стиха // *Эйхенбаум Б. О поэзии.* Л.: Совет. писатель, 1969. С. 341.

¹² *Елатов В.* Ритмические основы белорусской народной музыки. Минск: Наука и техника, 1966. С. 197.

¹³ *Мазель Л. А., Цуккерман В. А.* Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1967. С. 656. Ср.: «Для народных... песенных форм, в частности, русских..., звукопись вообще не характерна. Среди всего разнообразия функций напева в разных народно-песенных жанрах отсутствует именно иллюстрирование поэтических образов». (И. Земцовский. Песни-баллады. «Советская музыка», 1966, № 4. С. 89).

Правда, поются эти слова в ритме бодрого марша, на бесшабашный мажорный мотив в духе разгульной застольной песни. Стихи и музыка образуют интригующий смысловой диссонанс. В песне Булата — свой диссонанс: между решительным, мускулистым стихом и лирической вальсовой мелодией в минорном ладу. Именно так захотелось ему проинтонировать своё стихотворение: откликнуться не на волевой, «громкий» текст, а на залегающий где-то глубже подтекст, на мерцающую между строк эмоцию грусти.

Участники моего эксперимента не догадались о возможности такого прочтения стиха. И не только из-за принадлежности к цеху профессиональных композиторов, но и потому, что большинство из них были композиторами-песенниками, которые привыкли иметь дело с текстами советских поэтов-песенников — одномерными, чуравшимися подводных смыслов, подтекстов, альтернативных толкований. Столкнувшись с стихотворением двадцатидвухлетнего Булата они дружно среагировали на его самый очевидный, внешний смысловой слой. Точно так же поступил примерно в то же время Матвей Блантер, сочиняя свою версию «Песенки о ночной Москве» или «Старого пиджака».

Снова вспомнил я о своих коллегах по Союзу композиторов с консерваторскими дипломами, когда услышал «Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс...» — красивую, прихотливо вьющуюся мелодию, напоминающую романс. Ритмический пульс — раз-два, раз-два. «А почему не раз-два-три? — промелькнуло у меня. “Чудесный вальс” называется, и на тебе — никакого вальса и в помине нет! Попадись эта вещь моим друзьям-композиторам — усмехнутся, пожмут плечами: ну конечно, чего ещё ждать от дилетанта.

Окуджава умел сочинять вальсы. Он и тут мог запросто выдать мелодию со счётом на три. Но не захотел. Ведь главное здесь не то, что играет музыкант на своей флейте, а то, что он — невольный участник драмы неразделённой любви: «... я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство».

Слышу возражение: но разве не такая же точно сюжетная коллизия в «Заезжем музыканте»? — «Он любит не тебя, опомнись, бог с тобою...». А ритм здесь какой? Вальс!

Не спорю, коллизия похожая: Он любит её, а Она любит музыканта, Артиста, соперничать с которым — абсолютно безнадежное дело. Но во всем остальном — никакого сходства. Заезжий музыкант играет на трубе *в гостинице районной, где койка у окна всего лишь по рублю*. А флейтист музицирует в лесу на каком-то странном, сюрреалистическом пикнике, *где пьют и плачут, любят и бросают*, где у музыканта *вместо пальцев — берёзовые ветки*, а ноги — *будто корни той сосны, они в земле переплетаются, никак не расплетутся...* В «Лесном вальсе» — все сложнее и утончённее, так что музыка бытового плана, в танцевальном ритме, была бы здесь явно неуместна. Автор песни это понял (или почувствовал?) — и сочинил одну из самых своих интересных и оригинальных мелодий, до того гибкую, с таким свободным дыханием, что пришлось мне изрядно помучиться, когда переносил её на нотную бумагу...

Однажды – дело было в конце 1960-х – Булат заговорил о том, почему он стал мало писать стихов и песен.

— Израсходовал запас, исчерпал возможности любимых слов: *надежда, женщина, дорога, музыка, труба, Арбат..* Понимаешь, стихотворение-то у меня вырастает из них, а не из какого-то там высокого и абстрактного «замысла» или «идеи»...

Объяснение это показалось мне тогда обескураживающе простым и вызывающе прозаичным. Теперь мне это признание видится иначе. Оно — о примате художнического чутья над сухой мыслью, над «идеями». Оно – о таинственных путях, ведущих к созданию стиха, о живительных импульсах, излучаемых словами и улавливаемых тончайшей мембраной поэтического слуха. Ещё больше неразгаданных тайн окружает то, как рождалась у Булата его музыка. Одно несомненно: эта «гостья из небесных сфер» была к нему благосклонна.



Григорий Никифорович «Открытие Горенштейна» Главы из книги*

Глава третья

Нарушитель традиций



Первый и единственный рассказ «Дом с башенкой» еще молодого тогда писателя Фридриха Горенштейна, опубликованный в подцензурной советской печати – журнал «Юность», 1964 год - обнаружил, что его автор хоть и живет в советской действительности, но находится вне советской литературы. Характерные приметы прозы Горенштейна - трагическое противостояние человека и окружающего его мира, а еще более трагическое противоречие добра и зла внутри самого человека – просматривались уже в этом рассказе. Но, при желании, ощущение трагизма можно было отнести за счет обстоятельств – войны, закончившейся всего-то двадцать лет тому назад. Легендарный критик, сотрудница «Нового мира» Анна Берзер – ей рассказ очень понравился - так и писала в единственной рецензии, появившейся в следующем году: *«Молодой писатель Ф. Горенштейн написал свой первый рассказ не о молодости, не о первой любви, не о шахтах Кривого Рога, где он работал. Он снова написал о войне. Сколько же десятилетий, сколько поколений людей несут на себе ее рубцы...»*

Лучше бы Анна Самойловна не вспоминала о шахтах Кривого Рога – в том же 1965 году Фридрих принес ей в «Новый мир» повесть «Зима 53-го года» - именно о работе на шахтах. Прочитав рукопись, она не решилась передать ее главному редактору журнала А.Т. Твардовскому. И была права – повесть хоть и попала, в конце концов, к Твардовскому, но ни ему, ни «Новому миру» в целом не подошла. Задним числом теперь понятно – и не могла подойти.

Ким, центральный герой повести – молодой студент, недавно отчисленный из университета, - в последний день года работает в заброшенных шахтных выработках, выбирая еще остающуюся здесь богатую рудой породу. В забое Кима происходит обвал, и испугавшийся

* М., «Время», 2013.

начальник участка дает ему трехдневный отпуск. Проведя два дня в городе, Ким приезжает назад, в рудничный Дом культуры – там, на покрытых черным бархатом столах, стоят свежие гробы. Все, кто работал вместе с Кимом, погибли под новым завалом. Назавтра Кима вызывают к «хозяину» - начальнику всей шахты. Тот обвиняет Кима в халатности и трусости – он самовольно бежал, оставив в опасности товарищей-физезушников, которые, оказывается, не работали в закрытых горнорудной инспекцией выработках, спасая горящий годовой план, а всего лишь проводили ознакомительную экскурсию. Хозяин требует, чтобы Ким написал покаянную объяснительную, подтверждающую его версию – но Ким, уже внизу, снова в забое, пишет не то, чего хотелось бы хозяину, а то, как все было на самом деле. В тот же день Ким, спасаясь от удушливого взрывного газа, падает на дно очищенной от руды пятидесятиметровой камеры. Его размозженное тело поднимают на поверхность только через восемь недель, в дни смерти Сталина.

Сам по себе этот сюжет еще не гарантировал отторжения повести самым либеральным советским литературным журналом. Еще были живы иллюзии, что хрущевская оттепель не закончилась, и, значит, мрачную картину, нарисованную Горенштейном, можно будет списать на «злоупотребления периода культа личности» - ведь действие повести происходит в последние дни сталинского режима. Еще совсем недавно «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» и выдвинул его автора, впоследствии диссидента номер один, на соискание Ленинской премии по литературе за 1964 год. На 1965 год в журнале была запланирована еще одна публикация Солженицына – роман «В круге первом».

Так что шансы пробиться к читателю у «Зимы 53-го года» были – если бы Фридрих Горенштейн не нарушал каноны, до тех пор общепринятые в советской литературе. Например – как положено изображать труд.

«Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства» - лозунг, позаимствованный из доклада Сталина на XVI съезде ВКП(б) в 1930 году, оставался в силе и тридцать пять лет спустя. Причем он был не просто порождением своего времени. Целый пласт дореволюционной литературы, от Некрасова и Чернышевского до Горького, видел в свободном труде главный инструмент избавления от общественных пороков. (Самая первая марксистская организация, возникшая в России, так и называлась: «Освобождение труда».) Это умозрительное представление накладывалось на другое – на неколебимую веру в народ, в «простого человека» с его мудростью, чистой душой и неизвращенной, здоровой жизнью. А поскольку простой человек проводил жизнь в труде, притом труде физическом, такой труд казался интеллигенции способом приближения к народу. Потому толстовский помещик Левин и становился на косябу вместе с крестьянами – чтобы подняться до их духовного уровня. Редкие предостережения об ожесточении и отупении, которые тоже ведь могут быть результатами тяжелого труда, – чеховская повесть «В овраге» или бунинская «Деревня» - встречались прогрессивной

критикой начала двадцатого века в штыки как попытки исказить светлый образ трудового человека.

В советской литературе тезис о целительных свойствах труда получил дальнейшее развитие: труд теперь уже признавался духовной потребностью человека и даже средством его нравственного перевоплощения. Некоторые писатели пошли еще дальше, провозгласив, что для этой цели труд не обязательно должен быть свободным: тридцать шесть соавторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934 год) вдохновенно рассказали миру, как труд под конвоем служит благородному делу перевоспитания. Не следует думать, что все они кривили душой – Михаил Зошенко, скажем, искренне признавался: *«...я на самом деле увидел перестройку сознания, гордость строителей и удивительное изменение психики у многих заключенных»*.

Неудивительно, что и в шестидесятые годы процесс труда описывался только в светлых тонах: работа нелегка, но она неизменно приносит удовлетворение, даже если за него приходится дорого заплатить. Шофер-виртуоз Виктор Пронякин, герой повести Георгия Владимова «Большая руда» (1961), гордится, что именно он выводил из карьера первый самосвал руды, хотя этот рейс и закончился для него смертельной аварией. Даже Иван Денисович Шухов, зэк Щ-854, прямой наследник беломорских каналаармейцев ощущает подъем, охватывающий труженика:

«Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок - тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и знали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок - тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, потягивающий - не могли их мыслей отвлечь от кладки».

Тяжелый труд простого человека в изображении Фридриха Горенштейна выглядел совсем по-другому:

«Ким стоял пригнувшись и смотрел, как уползает в темноту скребок, металлический ковш, прикрепленный тросами к барабанам лебедки. Выработка была освещена лишь метром на два от него карбидной лампой, висящей на "мальчике" короткой стойке, вбитой между почвой и кровлей, далее скребок вползал в сумерки, а в самом забое, где лежала руда, была полная тьма, и приходилось пускать скребок по счету. Он считал до пятнадцати, потом отпускал левый рычаг, нажимал правый, и скребок полз назад, волоча перед собой руду к отверстию, прикрытому решеткой из сварных рельсов. Он пускал скребок, как невод в пучину океана, и каждый раз с колоотящимся сердцем ждал улова».

Для Ивана Денисовича работа по любимой специальности каменщика - это возможность хоть на несколько часов стать свободным, отвлечься от горькой доли невольника за колючей проволокой. Для Кима труд лишь тяжелая обязанность, которая не сулит ничего хорошего:

«Он уже не ждал, он жаждал катастрофы как избавления, ибо вся жизнь его прошла в этой выработке, и он помнил каждый рельс на решетке, знал каждую зубринку, и узор, образованный белым грибом на трухлявом дереве, был ему родным. Цель его жизни была волочить скребок сквозь темноту, сквозь сумерки к решетке, освещенной карбидной лампой, и теперь, когда цель эта осуществлялась и скребок полз, наполненный до краев чистой высококачественной рудой, он испытывал особенный страх, только лишь сама катастрофа могла избавить его от страха перед ней».

Черное подземелье, едва освещенное слабым пламенем карбидной лампы и постоянно грозящее бедой, вызывает ассоциацию с другим подземельем – крошечными глубинами ада. Но ад – это антигеа Эдемского сада, из которого Адам был изгнан с напутствием: *«...в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».* В таком понимании труда нет места для чести, славы, доблести и геройства. Писатель Горенштейн увидел труд не с официальной оптимистической точки зрения, а с трагической – библейской. Мотив Библии как основы мироощущения, появившийся впервые в этой ранней повести, будет потом пронизывать все творчество Горенштейна.

Уже даже по одной этой причине – дегероизации труда простого рабочего человека - повесть «Зима 53-го года» не могла появиться в печати. Характерно, что ее отвергла не цензура, а сама редакция «Нового мира». В сохранившемся протоколе обсуждения повести говорилось:

«О печатании повести не может быть и речи не только потому, что она непроходима. Это еще не вызывает ни симпатии, ни сочувствия к авторскому видению мира. Шахта, на которой работают вольные люди, изображена куда страшнее, чем лагерь; труд представлен как проклятие; поведение героя — чистая патология...»

Впоследствии Фридрих Горенштейн пытался объяснить отказ в публикации недостаточными усилиями Анны Берзер или коварством ответственного секретаря редакции – но дело было не в личных отношениях. Отказ был совершенно логичным: начиная с «Зимы 53-го года» писатель начал становиться несовместимым с советской литературой.

С другой стороны, талантливость автора «Зимы 53-го года» никто не отрицал – ни новомировцы, ни немногие литераторы, прочитавшие еще свежую рукопись, ни критики, узнавшие о повести только после того, как она все же была напечатана в России в 1990 году в журнале «Искусство кино». И через десятки лет язык и стиль Горенштейна по-прежнему оставались свежими. (Как будто бы как раз на такой случай Борис Пастернак сформулировал когда-то: *«Талант – единственная новость, которая всегда нова».*) Венгерский литературовед Жужа Хетенй, писавшая о «Зиме 53-го года» в 2004 году, с восхищением отмечала, например, мастерскую сложную мегафору «анти-вознесения» Кима, после всех мучений падающего (или улетающего: *«по-птичьи взмахнул руками»*) в адскую бездну; метафору предваряла сцена

погибающего в той же бездне беззащитного воробышка. Сны Кима вторгаются в действие повести и становятся ее частью – это тоже было необычным для литературы шестидесятых годов. Они, к тому же, дополняются его живым воображением: на похоронах погибших в шахте (среди них – мальчик Колюша) Киму представляется:

«У Колюши глаза из орбит выбило, - подумал Ким, - в толпе рассказывали... Ударило по затылку, и глаза выпали в лужу...»

Ким вдруг представил себе голубые Колюшины глаза, плавающие в луже шахтной воды на грунте выработки, припорошенные рудной пылью, освещенные штрековыми электролампами в колпаках».

Это и вовсе кадр прямиком из суперсовременного фильма ужасов, притом чрезвычайно выразительный – ну как тут было не прозвучать на обсуждении повести слову «патология»?

И в то же время картины зимнего пейзажа в повести вполне традиционны. Они напоминают лучшие страницы русской классической литературы – и не уступают им. Как и у классиков, пейзаж у Горенштейна органически связан с состоянием героя. Вот Ким блуждает по городу, отыскивая путь к дому, где живут его единственные знакомые – мать и ее дочь Катя:

«За садом был обрыв к белой ото льда и снега реке, которая сливалась с пологим противоположным берегом, таким же белым. На противоположном берегу начиналось уже поле и дрожали огоньки деревень. Среди снежного поля кто-то жег костры, усиливающие тоску».

А вот пейзаж сразу после того, как Ким – во сне – увидел погибших мальчиков живыми:

«Мороз ослаб. Тихо шел снег, большие хлопья. Ярко освещенные электрические часы показывали половину пятого. Вереница фонарей уходила вдаль, освещая одинаковые дома с лепными эмблемами. И вдруг падающие хлопья, ночной воздух, звезды, кое-где проглядывающие, деревья, покачивающие белыми ветвями, вызвали у Кима ненависть, сильную до омерзенья, и он удивился, как жил спокойно среди всего этого, а иногда даже этим восхищался. Со слезами умиления, как вспоминаются родные места, вспомнилась темная низкая выработка, покосившаяся, обросшая грибок стойка, склизкие бревна, перекрывающие камеры».

К концу повести конфликт Кима с природой становится нестерпимым. В последний раз он переходит из сна в явь, услышав эхо подземных взрывов, которые и погубят его:

«Ким встал, полный странных радостных предчувствий, внезапно им овладевших, и, напрягшись, понял, что радость эта была порождена предчувствием вкуса свежих глотков воздуха, которым он жадно наестся там, наверху, среди падающих хлопьев снега. И понял, что самые страшные минуты в его жизни были не стыдной ночью у Кати, и не когда он бескорыстно обливал грязью своего незнакомого отца, и не в Доме культуры перед вереницей гробов с мальчиками, и не в кабинете перед следователем и "хозяином". Самыми страшными минутами были сегодняшние, рассветные, вызвавшие омерзение и

ненависть к воздуху, деревьям и звездам, так как они, подытожив все, лишили его права на существование».

И автор, уже от своего лица, подтверждает этот вывод:

«Любовь к окружающему миру, к существованию, пусть подознательная, есть последняя опора человека, и, когда природа отказывает ему в праве любить себя, любить воздух, воду, землю, он гибнет. И чем чище и нравственней человек, тем строже с него спрашивает природа, это трагично, но необходимо, ибо лишь благодаря подобной неумолимой жестокости природы к человеческой чистоте чистота эта существует даже в самые варварские времена».

Включение в ткань произведения автора-комментатора, столь характерное для Фридриха Горенштейна и впоследствии, не было какой-то новацией. Но на столь жестокие слова о своем герое, притом герое, вроде бы, положительном – «...лишили его права на существование» - не решался, пожалуй, никто.

В самом деле, разве Ким – сирота; неудачник, исключенный из университета студент; отщепенец, не умеющий наладить взаимоотношения с людьми; «комочек жизни, перетираемый жерновами Системы» (по выражению критика Виктора Камянова) – может вызывать какие-либо иные чувства, кроме жалости и сочувствия? Чем заслужил он строгий суд писателя Горенштейна – ведь он не хуже других, такой же, как все?

Вот именно – он такой же, как все. Сам по себе Ким – юноша честный и совестливый, он не поддастся нажиму начальника шахты и лжесвидетельствовать не станет. Но всеобщей, общепринятой лжи он противостоять не может – он ее даже не замечает. Вот как он рассказывает о своем исключении из университета:

«- За что тебя выперли? - спросил Зон.

- За Ломоносова,- сказал Ким,- это нелепая история, смешно просто... Я делал доклад в студенческом научном обществе и сказал, что Ломоносов ошибся, считая источником подземного жара горение серы... Это написано в старом учебнике... Всякий ученый может ошибиться... А один преподаватель придрался... Он, собственно, не геофизик, он политэкономлю преподает... Прицепился... Слово за слово... Я тоже психанул...»

Чувствуется, что Ким не уступает, он по-прежнему готов отстаивать свою правоту. Но тут же, не переводя дыхания, Ким продолжает:

«Обвиняет меня в космополитизме... Какой же я космополит... Я сам разных космополитов ненавижу...»

В стране бушует кампания против «космополитов», и недавний студент Ким принимает этот термин за чистую монету, не понимая того, что сразу сообразил даже недалекий начальник участка:

«Меня ранило когда на фронте, в госпиталь привезли... Мертвец... Списали уже вчистую... А доктор Соломон Моисеевич вытащил... Осколок прямо под сердцем давил... Думал, задавит... Среди них тоже люди попадают, ты не думай... Но с другой стороны,

ерусалимские казаки... Вы ж газеты читаете, - обратился почему-то начальник к Киму на "вы". - В Ленинграде Ханович И. Г., например, продал всю академию...»

Ким верит в справедливость, но не абстрактно, как аксеновский мальчик из «Завтраков сорок третьего года», а в конкретную справедливость своего кумира:

«- Что решать, - спросил Ким, чувствуя почему-то нарастающую дрожь, - я написал, как было... Если надо, я товарищу Сталину напишу...»

Кумир Кима – товарищ Сталин, бог, который создал и Дом культуры, и весь рудник, и, может быть, даже самое железную руду в недрах земли. Немыслимо представить себе, что его когда-нибудь не станет. Увидев Сталина в кинохронике, Ким не может не поделиться своими опасениями со случайным соседом по кинотеатру:

«- Старенький уже Иосиф Виссарионович, - сказал он вдруг.

- Да, - ответил узколицый, - я и сам заметил... А если...

- Не надо! - крикнул Ким и так сильно взмахнул руками, что папирота выпала и, шипя, погасла в сугробе. - Не надо даже об этом думать... Мне кажется, тогда все кончится... Я не представляю себе... Я в шахте работаю... Когда руду вырабатывают, камеры остаются... Сто метров ширина, пятьдесят глубина... Сплошной мрак... Думать об этом, понимаешь, словно в такую камеру заглядывать...»

Ким инстинктивно страшится всяких изменений: ему уютнее в «родных местах» – в глубине шахты, – чем на поверхности, среди природы, открытой постоянному обновлению. И он погибает в той самой камере, которая для него была символом светопреставления – смерти кумира.

Во все времена задачей литературы было сделать придуманных героев живыми, показать их характеры такими, чтобы читатель не сомневался в их правдивости. Ким, маленький человек послевоенной сталинской эпохи, изображен на небольшом пространстве повести «Зима 53-го года» с разных сторон – честным и фантазером, образованным и недалеким, чувствительным и фанатичным. Это сочетание противоречий делает Кима живым – но оно же и обрекает его на гибель: эпоха, в которой живет Ким, не располагает к колебаниям между противоречиями, она требует более цельного характера. Поэтому гибель Кима неизбежна, с какой бы симпатией ни относился автор к своему герою – ее диктует художественная логика развития образа.

И та же логика заставляет писателя куда как более снисходительно относиться к другой своей героине, Сашеньке из повести «Искушение», написанной Горенштейном в 1967 году, вслед за «Зимой 53-го года». В отличие от Кима, Сашенька с самого начала не вызывает особой приязни. Хорошенькая шестнадцатилетняя девушка растет нервной и недоброй. Она тоже из числа маленьких людей, обделенных судьбой: отец Сашеньки погиб на фронте, а мать – посудомойка в милицейской столовой – подкармливает ее тем немногим, что удастся украдкой вынести из этой столовой. На молодежном балу по случаю

Нового, 1946 года Сашенька испытывает страшное унижение: окружающие замечают вшей, ползущих по ее маркизетовой блузочке, и, уже побывав было признанной королевой бала, она вынуждена бежать, в слезах и злобе. Вши, она уверена, переползли на ее лучший наряд с одежды двух бездомных нищих, Ольги и Васи, которых приютила ее мать. После ссоры с матерью Сашенька решает отомстить способом, который кажется ей наиболее естественным – доносом:

«Мать моя, – написала Сашенька, – является расхитителем советской собственности. Я отказываюсь от нее и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину...»

«– Ты чего здесь? – спросил майор. Он подошел, скрипя сапогами, и взял заявление, прочел. Отчего ж ты плачешь, – спросил он, – мать жалко?»

«Сашенька сердито посмотрела на майора, ничего не ответив, быстро дописала: «Живет также у нас в квартире полицейей Вася и полицейева жена Ольга».

Колеса государственной машины справедливости приводятся в движение немедленно, и уже завтра и мать, и Вася арестованы. Васю вскоре выпускают – никаким он не полицейей, - а мать, до суда, отправляют в тюрьму. Сашенька начинает понимать, что она наделала, но все еще видит только свою обиду:

«– Наплевать, – закричала Сашенька, – я не возьму назад заявление... Вот... Эта женщина родила меня, но не воспитала... А мать не та, что рождает, а наоборот... То есть кто выращивает... Знать не хочу... Мой отец за родину... Он сражался... Отдал жизнь...»

Однако, оставшись без матери и ощутив себя никому не нужной, Сашенька понимает, что ее детство кончилось:

«...некому больше обращать внимание на ее тоску, а без постороннего внимания и волнения тоска эта была вялой, скучной и не приносила сладости, ибо один из признаков детства – это возможность кого-нибудь мучить и волновать».

В этот же день Сашенька встречает красивого лейтенанта, и влюбляется в него искренне и навсегда:

«... Сашенька сразу и просто, такое бывает редко на этом свете, сразу и просто, без сомнений и клятв поняла, что ради этого человека родилась, выросла, стараясь питаться получше, чтоб исчезла сутулость и округлились бедра, и ради этого человека не умерла три года назад от сыпного тифа».

Но лейтенанту – его зовут Август – не до любви. Он приехал в родной город, получив отпуск на три дня, чтобы перезахоронить свою семью, убитую в первые дни немецкой оккупации. Убили их не немцы, а свои – дворник Франия дает показания в местном отделе МГБ:

«– Шума-ассириец их кончил, – сказал Франия, выдохнув, – чистильщик сапог... В газету завернул кирпич, среди бела дня головы разбил и за ноги повытаскивал в помойку... Дочку шестнадцати лет, и мать, и Леопольда Львовича, и младенчика пятилетнего...»

Раскапывать захоронение и отвозить трупы на кладбище приходится по ночам – днем это запрещено – и описание этих кошмарных ночей у Горенштейна бесстрастно и подлинно трагично:

«Обе ямы уже были раскопаны, и необходимо было только извлечь покойных. Мать ссохлась, походила на мумию, и ее не извлекли, а вырубили из мерзлого грунта, густо облепившего все тело и лицо. Было опасно счищать грунт лопатами, так как тело было непрочно и могло рассыпаться, особенно в суставах. Это напоминало вылепленную из земли скульптуру, лишь седые волосы, росшие на маленькой земляной головке, были мягкие и вызвали человеческое сочувствие. Пробуждал также чувство обрывок бельевой веревки на бугристой, из песка и глины, ноге».

Это бесстрашие становится невыносимым, и дыхание перехватывает даже у самой природы:

«Какая ночь была кругом них, какая мука, онемевшая, не способная даже стоном облегчить себя, была во всей природе. Тусклый свет, льющийся сквозь облака на снег, не способен был ни разгореться ярче, ни потухнуть, ничто не шевелилось, ничто не вздыхало во сне, не шелестело, не лаяло, никаких звуков ни вблизи, ни вдали, ни ясных, ни таинственных, которыми так полны живые ночи. Казалось, вспыхни сейчас пожар, застучи град, послышится человеческие голоса, полные ужаса, зовущие на помощь, все это только рассеяло б страх, помогло б ощутить себя человеком, которому ничто, кроме смерти, грозит не может».

Лейтенант Август до войны был студентом философского факультета – его мозг не способен вместить в себя чудовищность совершенного преступления. Но больше всего его мучит другое. Его пугает то, что он испытывает животную ненависть к убийцам – и, поэтому, становится с ними на одну доску. Он говорит Сашеньке:

«Знаешь, мне снилось несколько раз, как я убиваю этого чистильщика сапог... После того, как я узнал подробности... Стоит мне закрыть глаза... Сегодня тоже рассветный сон... Я стоял по пояс в крови... Стены и потолок – все было цементным... Гулкое эхо... Там был жуткий момент – я убивал детей его... Я конченный человек... Говорят о всепрощении, об искуплении. А я не только во сне, я и наяву мечтаю... Я тещу свое сердце, я испытываю сладость неопишущую от мучений убийцы моей матери...»

Этот разговор происходит в гостинице, в номере лейтенанта, куда его, обессиленного от неизбывного горя, приводит Сашенька. Она пытается утешить его, но говорить может только о себе:

«– Миленький мой, – говорила Сашенька, сильно уже обеспокоенная хриплой торопливой речью возлюбленного своего, похожей скорей на бред. – Миленький мой, – говорила Сашенька, прижимая его голову к своей груди, – я тоже одна... Отец мой погиб за родину, а мать воровка... Мне тяжело... Но мы теперь вместе...»

Август и Сашенька проводят ночь вместе, и Сашенька мечтает:

«...Если б тебя дали мне, когда тебе было три годика...»

Она обняла его, и он притих, прикрыв глаза, положив щеку на ее ладонь.

– Ай лю-лю-лю-лю-лю, – пела Сашенька, покачивая любимого своего».

Той же немудреной песенкой, унаследованной от бабки, убаюкивает Сашенька свою новорожденную дочку в ожидании того дня, когда – она верит – Август возвратится к ней:

«Если девочка просыпалась и беспокойно дергала головкой, собираясь заплакать, Сашенька осторожно потряхивала над ней старинным монистом бабки Оксаны из серебряных турецких и польских монет, и внучка убитого кирпичом по затылку зубного врача Леопольда Львовича глядела своими большими, не по-младенчески сильными зрачками на прабабкино монисто, казацкий трофей, точно угадывая в нем для себя какой-то скрытый смысл и противоречие и утомленная непосильным еще вниманием.

– Ой лю-лю-лю-лю, – пела Сашенька, – чужим дитяам дулю, а Оксаночке калачи, чтоб она спала у ночи...»

Ким погиб, отвергнутый природой, в которой ему не нашлось места. Но для Сашеньки есть выход: став матерью, она сама становится частью вечной природы, искупая тем самым любые свои прегрешения. Повесть «Искупление» заканчивается словами:

«Начинался наивный, простенький человеческий рассвет, кончалась мучительно мудрая, распинающая душу Божья ночь».

Оба персонажа ранних повестей Горенштейна – и Ким, и Сашенька – дети советского времени. Ким, бывший студент, постарше и пообразованнее Сашеньки – его вера во всемогущество своего кумира вполне сознательна. Наивную же Сашеньку такие раздумья не посещают: она, не задумываясь над смыслом, говорит прямо штампованными лозунгами:

«– Пусть сам подберет, – крикнула Сашенька. – Скоро тридцать лет, как лакеев нет... Это ему не гитлеровским гауляйтерам патриотов выдавать...»

Это – в адрес мнимого полиция Васи. А это – бывшей подружке, тоже заинтересовавшейся красивым лейтенантом:

«– А твой отец полицей, его повесят, – крикнула Сашенька радостно и злобно, – советский лейтенант вообще не станет с тобой водиться... Ищи себе гитлеровских гауляйтеров...»

Белая подружка – дочь Шумы; в тот момент, когда Сашенька выкрикивает свои оскорбления, она уже знает о том, что именно Шума убил семью лейтенанта, но еще не знает, что той же ночью она будет помогать Августу раскапывать могилы. Но и после встречи с Августом, после их короткой и светлой любви и даже после рождения дочери Сашенька остается прежней – глуповатой и злобной. Она говорит случайно встреченному профессору, единственному, с кем ее Август мог делиться мыслями на равных:

«Я ухожу, – сказала со злобой Сашенька. – Вы все тут враги народа... Вы антисоветские слова тут говорили... Думаете, я дуручка, не понимаю... Мой отец погиб за родину... А вы тут... Сволочи ...»

Нужно обладать отточенным писательским мастерством, чтобы не позволить таким репликам героини начисто перечеркнуть читательское сочувствие к ней. Кроме того, нужно обладать и немалой смелостью, потому что и Ким, и Сашенька – простые маленькие люди, «униженные и оскорбленные», а такие персонажи в традиции классической русской литературы могут быть только жертвами, а, следовательно, подлежат не осуждению, а прощению. Писатель Горенштейн вдохнул жизнь в своих героев, показав и добрые, и злые их стороны, но при этом нарушил еще одну литературную заповедь: маленький человек – хороший человек. В современной ему литературе на это никто не отваживался – булгаковское «Собачье сердце» уже сорок лет как находилось под жесточайшим цензурным запретом, – а среди героев Чехова, которого Горенштейн считал своим учителем, по-настоящему униженные и оскорбленные встречались все же очень редко. Другое дело – Достоевский.

Фридрих Горенштейн начал называть Федора Достоевского своим «оппонентом» только впоследствии, но полемика была начата уже в «Искуплении», благо нечеловеческие условия жизни семьи Сашеньки и, скажем, семьи Мармеладовых из «Преступления и наказания» вполне сопоставимы. Правда, жилье Мармеладовых – проходная *«беднейшая комната шагов в десять длиной»*, с убогой мебелировкой: *«только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый»* – похуже квартиры Сашеньки, где все-таки есть две маленьких комнатки и даже своя кухня. Зато матери Сонечки Мармеладовой, Катерине Ивановне, не приходится доставать из сапога ворованную пшеничную кашу, как другой Кате – матери Сашеньки:

«Мать левой ладонью схватила себя за согнутое, обтянутое ватными штанами колено, держа ногу на весу, а пальцами правой руки, упиравшись в задник, тянула изо всех сил. Сапог упал, и из портянки посыпались на пол смерзшиеся куски пшеничной каши. Мать подобрала их и сложила в заранее приготовленную тарелку. Она развернула портянку и достала тряпочку с котлетами. Было четыре котлеты: две совсем целые, подернутые хрустящей корочкой, две же были примяты ступней, и мать аккуратно сложила их на тарелку кусочек в кусочек.»

Причина всех невзгод семьи отставного титулярного советника Мармеладова в нем самом: если бы он не пил, Сонечке не нужно было бы отправляться на панель. Достоевский прекрасно понимает это, но все же относится к своему герою снисходительно. В его изображении Мармеладов не мерзок, а жалок: он всегда готов снести – с наслаждением – поношение от жены на глазах у детей и искренне раскаться. За это автор позволяет ему получить перед смертью прощение Сонечки и умереть в ее объятиях. Ведь Мармеладов – не какой-нибудь там нехристь-кровопийца или возмнивший о себе умник-студент Раскольников: у маленького обиженного судьбой человека в принципе не может быть злого умысла. Горенштейн с этим постулатом не согласен: у Сашеньки

изначального злого умысла тоже нет, но можно не сомневаться, что, если понадобится, она перед ним не остановится.

Своим учителем Горенштейн называл Чехова, оппонентом – Достоевского, а вот о Льве Толстом как предшественнике писатель не упоминал. А между тем уже в «Искуплении» появился след толстовской традиции: разделить с читателем не только чувства и страсти героев повести – Сашеньки и Августа, - но и мысли самого автора об устройстве мира. «Искупление» стало первым произведением Фридриха Горенштейна в жанре философской прозы.

Вкрапление философских отступлений в художественную ткань текста – искусство особое, дарованное не всем. Мало того, за успех таких отступлений приходится платить: знаменитая философская повесть Вольтера «Кандид или Оптимизм» запоминается рефреном о «лучшем из миров» именно потому, что ее персонажи – Кандид и Панглосс – фигуры картонные, не заслоняющие главной цели автора - издевки (Панглосс – пародия на философа и математика Лейбница). Бывает и наоборот: как было подмечено в статье Корнея Чуковского «Толстой как художественный гений» еще в 1908 году, герои «Войны и мира» настолько живы, что на их фоне авторские размышления порой выглядят неестественными. Когда они начинаются, писал критик, *«...мы вспоминаем: ах, да! это автор книги! Мы о нем забыли. Конечно же, у этой книги есть автор»*.

Органическое слияние мастерства писателя и слова мыслителя появилось у Горенштейна только в дальнейшем – в романе «Псалом» и, особенно, в «Попутчиках». А пока в «Искупление» был введен специальный персонаж – профессор-филолог, обвиняемый по «политической» 58-ой статье и отконвоированный в распоряжение Августа как рабочая сила. Профессор, однако, могил не раскапывает, а ведет с лейтенантом – студентом-философом – беседы на всеобщие темы. В пронзительной зимней ночи, столкнувшись с преступлением космических масштабов, два интеллигента пытаются понять, как можно после него жить на свете. Это та самая проблема, о которой в те же годы немецкий философ Теодор Адорно писал: *«Освенцим доказал, что культура потерпела крах»*.

В каком-то отношении профессор - наследник вольтеровского Кандида: он находит зерно оптимизма в самом размахе преступления. Ведь господь Бог терпелив не бесконечно, он вот-вот должен вмешаться и страдания невинных жертв получают, наконец, искупление:

«– В Библии есть место, – сказал профессор, – помните ли вы... Доколе, Господи, терпеть ты будешь наши жертвы и не поразить мучителей... Тут не дословно, но смысл таков... И Господь отвечает: подождите, пока число жертв еще прибавится и станет таково, что наступит тот заранее установленный предел, после которого все жертвы и мучения будут отомщены».

Однако надежда на такое - всемирное - искупление не может утешить лейтенанта, потрясенного гибелью своих близких:

«– Всякое убийство ужасно, – говорил Август, – но неотвратимое, запланированное убийство – это уже новое качество... Кровь ребенка, которого нашли и убили... Обязательно должны были убить, и всякий другой исход тут исключался...»

Их диалог слышит солдат-конвойный и молча сочувствует горю лейтенанта:

«...у него, у конвойного, самого сожгли в войну хату с семьей, и, увидав пепелище, он не пошел назад к станции, чтобы провести там на лавке в одиночестве ночь, а пошел и просидел ночь в шумной компании».

В подтверждение своих размышлений профессор находит новый довод:

«Но обратите внимание, чем более свободным становится человек, чем более развивается наука, чем большее число людей начинает уважать себя, свою собственную личность, свое достоинство, тем более возрастает число их жертв... Эти два потока идут навстречу друг другу, чтоб остановиться на заветной черте...»

Профессор надеется, что скоро искупление и возмездие соединятся – и тогда месть жертвы, чувство, позорное для человека культурного и цивилизованного, окажется ненужным. Август думает совсем по-другому. По его мнению, ждать не следует:

«...пусть же теперь умирают палачи, профессор, ибо каждый удар по позвоночнику на короткие предсмертные мгновения превращает их в ясные, добрые души... Ваша библейская цифра станет возрастать чрезвычайно и приблизится к заветной черте».

Спор между лейтенантом и профессором остается незаконченным, и автор – писатель Горенштейн – самостоятельно подводит ему итог таким аккордом:

«Океан человеческий самый удивительный, бездонный и непознаваемый. Именно о том, по утверждению некоторых, писал Иов в книге своей, призывая не обольщаться простотой, видимой глазом вооруженным, и призывая никогда не переставать испытывать удивление перед тайнами бытия. А главных тайн бытия три. Самая большая тайна вселенной – это жизнь. Самая большая тайна жизни – это человек. Самая большая тайна человека – это творчество. И сказана по этому поводу самая большая, самая доступная человеческой душе мудрость: «Взгляни на меня и удивись и положи руку свою на рот свой» (Книга Иова XXI)».

Сюжетно-философская линия «профессор – лейтенант»; «искупление – возмездие»; «библейская невозмутимость – человеческие чувства» могла бы сама по себе составить основу отдельного глубокого литературного произведения. Но в рамках сугубо реалистической повести «Искупление» она, говоря откровенно, выглядела слишком абстрактной и, пожалуй, необязательной. Можно предположить, что если бы повесть попала в руки квалифицированного редактора – тогда, в 1967 году, такие встречались чаще, чем в наши дни, – он, в процессе подготовки рукописи к печати, предложил бы автору приглушить эту линию или даже убрать ее совсем. И, может быть, Горенштейн согласился бы с этим, значительно облегчив восприятие повести для читателя.

Увы, такое предположение – чистойшей фантазия. Во-первых, повесть (по некоторым свидетельствам, Горенштейн называл ее романом) без философского противопоставления вселенского Божьего искупления, ожидающего человечество и маленького искупления, предоставленного судьбой Сашеньке, потеряла бы очень важный и глубокий слой раздумий. Во-вторых, потому что «Искупление» не только не было нигде напечатано, но и не предлагалось писателем к печати. А в-третьих, судя по тому, что известно о Фридрихе Горенштейне, не в его характере было соглашаться с какими бы то ни было замечаниями к своим текстам.

Глава четвертая

Друзья, недруги, кино, жизнь

Главные стороны таланта Фридриха Горенштейна стали отчетливо различимы уже в «Зиме 53-го года» и «Искуплении». Писатель подчинялся только своему внутреннему голосу и не побоялся нарушить никакие запреты и традиции – ни идейные, ни идеологические. Его герои не были шаблонными «положительными» или «отрицательными» персонажами – добро и зло соседствовали в них, что делало их характеры сложными и по-настоящему трагическими. В этом отношении проза Горенштейна перекликалась с лучшими образцами русской литературы двадцатых годов прошлого века – Замятиным, Зощенко, отчасти Олешей, – но для шестидесятых годов она была необычной. В литературе того времени уже не оставалось места для писателей, не соблюдающих правила.

Поэтому *не*-публикация повестей Горенштейна в официальной печати была вполне объяснимой и даже закономерной. Но – что уже удивительно – они не появились и в неподцензурном самиздате, движении, набравшем тогда силу по всей стране. Да, участие в самиздате могло быть опасным для авторов, произведения которых подпольно распространялись из рук в руки в машинописных копиях – многие вынуждены были укрываться за псевдонимом, – но случай Горенштейна был особым. После отказа «Нового мира» напечатать «Зиму 53-го года» писатель не только не отправил свои рукописи в самиздат – он вообще практически перестал показывать их читателям. Хорошо знавший Фридриха писатель и критик Лазарь Лазарев вспоминал об этом в статье 2008 года:

«Он отрезал себя от читателей. Не только перестал предлагать свои вещи для публикации — с этим, с людьми, писавшими долгое время в стол, я сталкивался. Но это было нечто другое — он отторгал вообще читателей».

«Это был явно феноменальный случай. Я, входивший в число первых читателей его прозы, от него знавший, кому еще он давал читать написанное, могу твердо назвать только нескольких человек: Юрия Трифонова, Виктора Славкина, Марка Розовского. За давностью лет я мог, конечно, кого-то и позабыть, но уверен, что это были еще три-четыре человека, не больше».

Объяснить такое поведение нелегко – но и сам Горенштейн был, подобно своим героям, человеком сложным. Литература тоже система

сложная – она не ограничивается взаимоотношениями между мыслями, образами и эстетическими принципами, она включает в себя также литературную жизнь -- отношения между литераторами. А они, как всякие отношения между людьми, определяются их характерами. Стоит, поэтому, поближе присмотреться к тому, как выглядел Фридрих Горенштейн в глазах окружающих в его московские годы.

После смерти Горенштейна в бумажной и сетевой печати было опубликовано немало воспоминаний о нем тех, кто знал его в Москве до эмиграции – писателей, кинематографистов, театральных деятелей. Воспоминания разноречивы: кто-то писал о Фридрихе с симпатией; кто-то, наоборот, с предвзятостью; кто-то ценил его как писателя, драматурга и сценариста; а кто-то ставил его не слишком высоко – разобраться во всех этих мнениях непросто. Следует также учитывать, что по мере признания истинной величины писателя друзей у него становилось все больше – как у всякого знаменитого покойника, – а заклятые враги о своих чувствах предпочитали умалчивать по соображениям принятой ныне политической корректности. Так что доверяться воспоминаниям современников и очевидцев приходится с немалой осторожностью. С другой стороны, сам Горенштейн в свои последние годы напечатал в берлинском журнале «Зеркало загадок» три больших эссе – «Товарищу Маца - литературоведу и человеку, а также его потомкам» (1997), «Сто значит?» (1998) и «Как я был шпионом ЦРУ» (2000, 2002), - где раздал по серьгам московским литературным и кинематографическим знакомым без всякой политической корректности.

При всех различиях, пишущие о Горенштейне во многом сходятся. Все отмечают, прежде всего, его «отдельность» - гордость, независимость, нежелание подчиняться общепринятым стандартам тогдашней литературной тусовки. Провинциал с местечковыми корнями, попав в вожделенную Москву, оазис культуры и просвещения, должен был бы стараться поскорее перенять столичные манеры – но Фридрих и не думал их усваивать. Его сосредоточенность в себе, нежелание принимать участие в студенческих междусобойчиках на сценарных курсах (да и невозможность – денег-то и на жизнь не хватало), настроенность на серьезную работу – все это вызывало у многих снисходительные насмешки. Его однокурсник Анатолий Найман вспоминал:

«...я позволял себе небольшое развлечение: бросить, обгоняя его утром на лестнице, “привет” и наблюдать, как он преодолевает несколько секунд желание немедленно покончить со всем на свете, со всем человечеством и мирозданием, только чтобы никогда больше ничего подобного, возмутительного, невыносимого не слышать. Потом с отвращением – ко мне, к пустоте моего приветствия, к скорости моего передвижения, к этим ступенькам и этому утру – он отвечал, картаво, со специальным презрительным агрессивным еврейским акцентом, почти выташнивал, “привет”».

Про «нарочитый акцент “дядюшки из Бердичева”» вспоминал и писатель Евгений Попов. Это раздражало – но еще более неприятным

было другое: подчеркнутое неуважение к признанным авторитетам и неспособность сказать хоть что-нибудь хорошее об авторитетах возникающих. Драматург Виктор Славкин, один из немногих друзей Фридриха, с огорчением отмечал:

«Абсолютное пренебрежение правилами хорошего тона, сильный еврейский акцент, гривуазные шутки, неприкрытая провинциальность, нежелание говорить кому бы то ни было комплименты, пусть и вполне заслуженные, – отталкивало от него даже тех, кто восхищался его талантом. Тех же, кто видел его впервые, он ставил в тупик».

Еще один друг, режиссер Марк Розовский, вспоминал об их совместной учебе:

«...это “сам по себе” он, мне думается, сохранил до конца жизни своей. У него было странное чувство юмора. Не то что его не было вовсе, но он, например, никогда не хохотал, а лишь кривился в тех случаях, когда всем было смешно».

Помнится, мы иронически относились к великому Траубергу, который всякий раз стоял лично на входе в Дом кино и не пропускал на просмотры “чужих”.

– Этот Трауберг, – скривился Фридрих, – у нас в Хмельниках был бы главный поц».

Через много лет, тем не менее, Горенштейн отзывался о своих киноучителях совсем по-другому:

«В начале шестидесятых на высших сценарных курсах я ещё успел застать киномамонтов: Михаила Ильича Ромма, Сергея Аполлинарьевича Герасимова, Юлия Райзмана, Григория Козинцева, Бориса Барнета, Евгения Габриловича, Григория Александрова, Ивана Пырьева, Григория Чухрая, Александра Зархи... Мы, «рождённые бурей» (теперь, я думаю, бурей в стакане) хрущёвского ренессанса, над ними, старыми мамонтами, и их фильмами исподтишка потешались: «приспособленцы», «сталинисты», «консерваторы», а вымерли, так же, как и многие на Западе их товарищи по визуальному созерцательному искусству, такие, как Феллини и другие, – и воцарилась та экранная нищета, в которой я убедился лишний раз, будучи членом жюри на Московском международном кинофестивале в 1995 году».

Но это – через много лет и о «мамонтах». А пока, по свидетельству Евгения Попова, Фридрих не щадил окружающих:

«Вообще-то доброго слова о коллегах-литераторах я от него никогда не слышал. Знаменитую поэтессу он в частных разговорах покровительственно именовал “эта девочка”, знаменитого прозаика, кумира поколения, “этот Васька”, другого кумира – “питерская пьянь”».

Разумеется, и окружающие не жаловали Фридриха. Даже Марк Розовский, искренний поклонник его литературного таланта, не мог не заметить очевидного:

«Фридрих был, что называется, “местечковый”. И это поразительно сочеталось в нем: чисто еврейский говор, манера держаться, провинциализм, чудовищная невоспитанность – с высотой

духа, кристальной, “тургеневской” чистой русской речи в прозе, с аристократизмом мышления.

Однако все это стало понятно позже, потом, когда мы прочитали его рассказы, романы, пьесы, эссе... А тогда рядом с нами был молодой человек с писательской внешностью и тяжелой манерой общения».

В результате за Фридрихом утвердилась репутация человека с дурным характером, вспыльчивого, тяжелого – одним словом, плохого. Получалось, что советская литература отвергала творчество писателя Горенштейна, а советская творческая интеллигенция отвергала его самого. Одно дополняло другое – как точно подметил сам Горенштейн десятилетия спустя: *«Плохой человек в советской системе – понятие идеологическое».* Мнение это долго вредило литературной судьбе Горенштейна, но нельзя сказать, чтобы оно было совсем уж несправедливым. Лазарь Лазарев вспоминал, как Горенштейн мог взорваться на пустом месте – при обсуждении его сценарной заявки:

«...обсуждение было вполне доброжелательным, никто ничем не задел, не обидел ни Горенштейна, ни его рассказ (кстати, очень хороший), и вдруг он взвился и наговорил выступавшим много дерзостей и даже грубостей. Я ему сказал: “Что это с вами? Вы должны были поблагодарить за обсуждение и сказать, что подумаете над сделанными вам советами и замечаниями. Вот и все...”. А он в ответ рассказал: “Знаете, со мной это случается. С меня снимали комсомольский выговор. Я должен был или промолчать, или сказать что-то округлое. И вдруг я услышал, словно это не я, а кто-то другой сказал: “А наш секретарь бюро негодяй”».

(В «Зиме 53-го года» Ким рассказывал о своем исключении из университета почти теми же словами: *«...во время собрания я вышел покаяться и вдруг произнес: “На каких помойках товарищ Тарасенко собирает эти сведения...” У меня была готова совсем другая фраза... Я даже не знаю, откуда эта взялась... Мы с другом готовили всю ночь мое выступление, репетировали... Думали, в худшем случае строгий выговор... И вдруг эта непредусмотренная фраза, она все погубила...»*)

Не могла помочь репутации и постоянная настороженность Фридриха, немедленная готовность дать отпор любому вмешательству в его автономное существование – даже чисто внешнему. Режиссер Михаил Левитин приводит такой показательный эпизод:

«Помню, как он однажды входил в Дом кино. Естественно, когда человек входит в Дом кино, билетер протягивает к нему руку или за билетом, или за членским билетом Союза кинематографистов. У Горенштейна была невероятная реакция: “Уберите руки!”».

На входе в официальную советскую литературу контроль был куда более жесткий, а у Фридриха не было не только постоянного в нее пропуска – он так никогда и не стал членом Союза советских писателей, - но даже и разовой контрамарки, выданной кем-нибудь из властей имущих литературных функционеров. Этого унижения Горенштейн не забыл и не простил. Лазарь Лазарев, в той же статье 2008 года, написал:

«Фридрих, грех это таить, был злопамятен. Обид — даже давних — не забывал и со всеми обидчиками в “Зеркале загадок” расчитался на полную катушку — всем досталось... Случалось, этот отпор его был неадекватным, бывало, что-то обижавшее его ему только мерещилось. Но, хочу повторить, досталось от него всем...»

Ну, «всем» – это сильно преувеличено: вспоминая о московской жизни в своих берлинских филиппиках, Горенштейн ни единым плохим словом не обмолвился, скажем, о Василии Аксенове. Это притом, что либеральные взгляды «шестидесятников», лидером которых был Аксенов, Горенштейн активно не разделял, и не мог не узнать себя в карикатурном изображении мастера Цукера, эпизодического персонажа аксеновского романа «Скажи изюм» (1983), пародировавшем историю альманаха «Метрополь»:

«Оживление внес лишь мастер Цукер, пришедший вслед за иностранцами. Он снял богатое тяжелое пальто, построенное еще его отцом в период первых послевоенных пятилеток, и оказался без брюк. Пиджак и галстук присутствовали, левая рука была при часах, правая при массивном перстне с колумбийским рубином, а вот ноги мастера Цукера оказались обтянутыми шерстяными кальсонами. Смутившись поначалу, он затем начал всем объяснять, что в спешке забыл сменить на костюмные брюки вот эти «тренировочные штаны». Чтобы ни у кого сомнений на этот счет не оставалось, мастер Цукер сел в самом центре и небрежно завалил ногу за ногу. Вот видите, говорила его поза, мастер Цукер вовсе не смущен, а раз он не смущен, то, значит, он вовсе и не без брюк пришел на собрание, а просто в «тренировочных штанах»».

Неуживчивый, неудобный, невоспитанный и сверхчувствительный Фридрих Горенштейн почему-то не обиделся на ехидную шутку «этого Васьки», хотя тот, помимо прочего, был когда-то его прямым конкурентом. Первая пьеса Горенштейна «Волемир», уже было принята театром «Современник» в 1964 году, так и не увидела сцену – вместо нее была поставлена пьеса Аксенова «Всегда в продаже». А вот герою другой истории, тоже связанной с пьесой «Волемир», Горенштейн отомстил сполна, используя, как он писал, «*колющее оружие литератора, наподобие набоковского коллекционирования: прикалывать к бумаге. Описал, приколот – освободился*».

История началась в тот момент, когда Фридрих как автор принятой театром пьесы был приглашен Олегом Ефремовым на встречу с приехавшим из США знаменитым драматургом Артуром Миллером. Молодой литератор явился в кабинет главного режиссера заранее и, в одиночестве, стал ждать остальных участников приема. Далее произошло следующее (в изложении Горенштейна):

«Наконец, в кабинет вошел упитанный человек в дорогом праздничном костюме с копной черных волос, коротконогий, с увесистой задницей. Он посмотрел на меня темными сторожевыми бдительными глазами. Я помню этот взгляд, хоть минуло уже столько лет. Он осмотрел меня снизу вверх от рваных киевских ботинок до пиджака явно

с чужого плеча; на мое лицо покойнического зеленовато-землистого оттенка он, по-моему, и не смотрел за ненадобностью.

- Вы должны немедленно уйти отсюда, - сказал мне человек, - сейчас сюда придут важные особы.

Думая, что это непроинформированный администратор, я сказал:

- Если вы администратор, то по поводу моего приглашения обратитесь к главному режиссеру или директору театра.

- Я не администратор, - раздраженно сказал человек, - я – драматург Шатров.

- Если вы драматург Шатров, то занимайтесь драматургией. Я – драматург Горенштейн».

Ко времени этого диалога драматург Михаил Шатров – ровесник Горенштейна – был автором всего двух стандартных комсомольско-молодежных пьес, но уже нащупал свою золотую жилу: изображение светлых ленинских идей и рыцарей-большевиков. За серию своих пьес и киносценариев – от «Шестого июля» (1964) до «Дальше... дальше... дальше» (1988) – Шатров получил от советской власти два ордена, Государственную премию и квартиру на Серафимовича 2, в знаменитом «Доме на набережной». Свое вселение он воспринял как восстановление справедливости – в этом же доме раньше жила его тетья, Нина Семеновна Маршак (Шатров – это псевдоним), жена расстрелянного впоследствии председателя СНК СССР Алексея Рыкова. Михаил Шатров не пропал и в новой России – пережив Горенштейна на восемь лет, он скончался всеми уважаемым миллионером, президентом и председателем совета директоров ЗАО «Москва — Красные холмы» (отель «Свиссотель Красные холмы»), офисные здания, соответствующая инфраструктура).

Из сказанного очевидно, что преуспевающий Миша Шатров-Маршак был прямой противоположностью литературного отщепенца Фридриха Горенштейна. Но одно это все-таки психологически не оправдывало бы употребление сочной детали - «увесистая задница» - в описании внешности счастливого соперника. Дело было в другом: Фридрих был уверен («...окончательно подтвердилось уже в наше время, когда раскрылись архивы и заговорили свидетели»), что именно Шатров сразу после той роковой встречи оговорил пьесу Горенштейна «в инстанциях» и дальше доносил на него, как только мог. По мнению Горенштейна, он же провалил сценарий на хлебную ленинскую тему, заказанный не ему, а Фридриху: «даже меня, Горенштейна, к Ленину приревновал». А с доносчиками Горенштейн не церемонился и позволил себе приколоть к бумаге драматурга Шатрова, который «...ел ананасы, рябчиков жевал и при своей короткой толстозадостью внешности потреблял тела молодых красоток...». Какая уж тут политическая корректность... Хотя насчет ананасов и рябчиков разозлившийся Горенштейн, пожалуй, был прав -- миллионер Шатров клялся в интервью 2007 года, что «двадцать лет назад он был гораздо более обеспечен, чем теперь».

Войдя во гнев, Горенштейн был готов проклясть своих недругов до десятого колена. Шатрову случилось быть отдаленным родственником

знаменитого детского поэта Самуила Маршака, у которого, в свою очередь, были сложные отношения с писателем Борисом Житковым – сначала очень теплые (Житков вошел в литературу «под крылом» Маршака), а потом весьма неприязненные. Для Горенштейна этого оказалось достаточно, чтобы написать:

«Вся семейка Маршаков имеет нечто общее: С. Маршак отличается от М. Шатрова-Маршака лишь талантом, но не нравственностью. Оба нелитературными методами утверждали себя в литературе: устранением конкурентов, тех, кого, конечно, возможно».

«Б.С. Житкова можно было устранить: если не во всем, так во многом – хорошо знакомая мне информационная блокада. Такое не прощают – попытка заживо похоронить, как похоронили заживо всей совписовской похоронной командой замечательный роман Бориса Житкова «Виктор Вавич». Вот и меня пытаются заживо похоронить, и доходят до комического, если бы это не было так паскудненько: не паскудно, а именно паскудненько».

Сегодня страсти тех времен потеряли остроту – драматург Михаил Шатров имеет чуть ли не больше шансов остаться в истории литературы как жертва неистовой иронии Горенштейна, чем автор ленинских плакатных пьес. А вот на Самуила Маршака Горенштейн обрушился, скорее всего, незаслуженно. Не раз в своей долгой жизни Маршак подыгрывал «совписовской похоронной команде» -- из страха, что команда вытащит из рукава козырный туз: подробное досье о том, как он, Маршак, в 1919 году честно служил заведующим редакцией и главным фельетонистом белогвардейской газеты «Утро Юга» в деникинском Екатеринодаре. Но в уничтожении уже было отпечатанного в 1941 году тиража романа «Виктор Вавич» Маршак неповинен: это главным советских писателей Александр Фадеев в самую тяжелую пору начала войны нашел время лично написать внутреннюю рецензию, загубившую роман. Обо всем этом Горенштейн явно не знал – но если бы и знал, его инвективы по адресу Шатрова-Маршака вряд ли стали бы менее яростными. Во всяком случае, по свидетельству Мины Полянской, в незавершенном и до сих пор неопубликованном романе Фридриха Горенштейна под условным названием «Веревоочная книга» фигурирует некто Михаил Маршаков - информатор оргинструкторского отдела ЦК, одновременно занимающийся литературой.

Не лучшим образом влияла на характер Горенштейна и бытовая неустроенность. После отчисления с Высших сценарных курсов он остался без жилья, без московской прописки, без денег – и с очень немногими друзьями. Об этом времени он с горечью писал впоследствии:

«В те замечательные для многих годы, о которых ныне мечтают, мне приходилось жить как раз хлебом единым, без какого бы то ни было холестерина. Я получал на свободе концлагерный паёк в пересчете на калории. Я весил 53 килограмма. Вес явно диетический. Замечательный вес, если бы только не землистый цвет лица. Но главное было душу сохранить и скелет».

Постепенно, однако, дела налаживались. Фридрих начал получать заказы на киносценарии – и официальные, через бухгалтерию, и неофициальные, за наличные. Появилась возможность прописаться – не в Москве, конечно, а на 101-м километре, в Тарусе, на даче семьи сценариста Николая Отгена (там же была прописана дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон). Была снята маленькая комната в коммуналке на Суворовском бульваре – жизнь стала сносной:

«В народе говорят: «были б кости – мясо будет». Еще говорят: «в чём душа держится». Душа держалась в старом портфеле, потому что стола тогда не было, но потом я стол всё-таки приобрел и переложил душу в ящик».

И, кроме того, это только коллеги-литераторы считали Фридриха brutальным и неуважительным провинциалом – женщины находили его молодым и красивым. Вообще, женщины обращали на Горенштейна большое внимание всю его жизнь – тем более в молодости. Фридрих мало рассказывал о своих возлюбленных – да и некому было рассказывать, – но очевидцы вспоминают об иностранке, чилийке, студентке университета Патриса Лумумбы. Тесный круг говорящих по-испански в Москве состоял, в основном, из политических эмигрантов, и у Горенштейна появились интересные знакомые.

Одного из них, очень молодого и энергичного, звали Ильич. Это было не прозвище, а настоящее имя: его отец, пламенный венесуэльский коммунист, назвал своих троих сыновей Владимир, Ильич и Ленин. Ильич Рамирес Санчес был на семнадцать лет моложе Фридриха, но уже твердо знал, как именно достичь всеобщего мира и благоденствия: надо просто пристрелить тех, кто этому мешает. Таких, как он говорил Горенштейну, насчитывалось всего двое: советский генеральный секретарь и американский президент. В дальнейшем, правда, этот список был изменен и существенно расширен. После недолгого обучения в университете в Москве Ильич отправился в Палестину и стал профессиональным террористом под псевдонимом Карлос, убивая людей и захватывая заложников по всему миру. Самым известным его подвигом было успешное нападение на штаб-квартиру Организации стран-экспортеров нефти в Вене в 1975 году. После него Карлос был объявлен самым опасным из известных террористов и в 1994 году был, наконец, выдан властям Франции. Сейчас он отбывает пожизненное заключение в тюрьме Сенте в Париже, что не помешало ему выпустить в свет автобиографическую книгу «Революционный ислам». Совсем недавно, в 2010 году, Карлос написал предисловие к русскому изданию книги – ни в предисловии, ни в самой книге знакомство с Горенштейном не упоминается.

Вторым знакомцем был человек не менее известный – в некотором роде, фигура историческая. В СССР его звали Рамон Иванович Лопес, а по-испански Рамон Меркадер. В 1939 году, в Мексике, выполняя задание НКВД, он убил главного политического противника Сталина – Льва Троцкого. Меркадер был схвачен на месте преступления, отсидел двадцать лет – полный срок – в мексиканской тюрьме, был освобожден, переехал в Москву и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Подлинная история убийства Троцкого в шестидесятые годы была под строгим запретом – но, благодаря своим латиноамериканским контактам, Горенштейн о ней знал в подробностях и использовал ее в романе «Место», написанном вскоре после «Искупления».

Можно предполагать, что чилийская студентка в какой-то мере послужила прототипом одной из молодых женщин «философски-эротического» романа «Чок-чок», который Горенштейн написал уже в эмиграции. Это та самая чешская балерина-стажер Каролина, мило коверкающая русский язык, которая смутила героя романа Сережу, положив *«легкую ножку»* ему на плечо и через некоторое время разочарованно констатировала: *«Ты не можешь и никто здесь не может»*. Но женился Фридрих не на чилийке, а на молдаванке, актрисе и певице Марике Балан.

К тому времени Горенштейн стал уже признанным сценаристом, начал неплохо зарабатывать и даже, с подачи Сергея Михалкова, получил московскую прописку. По мнению Юрия Клепикова, режиссера и сценариста, давнего знакомого Фридриха, женитьба пошла ему на пользу:

«Женившись, Фридрих стал свежим, душистым, нарядным. Еще недавно он был не в ладах с носовым платком. И вот – джентльмен. Костюм-тройка, бабочка, безупречная обувь, дорогой портфель, зонтичность, длинный черный плащ».

Ему вторит Лазарь Лазарев:

«Марика мне казалась очень хорошей спутницей для Фридриха, она понимала (или чувствовала), что он очень талантлив. И по-женски мудро обходила острые черты его характера. Она многое в жизни Фридриха наладила, “цивилизовала”, я бы даже сказал, что у него возник дом — мы бывали у них, они у нас».

Да и сам Горенштейн написал о вечере, который он и Марика провели с Андреем Тарковским в московском ресторане, с лиризмом, необычным для в остальном весьма язвительных берлинских эссе:

«Встретились в «Якоре» мы втроем: я, моя бывшая жена – молдаванка, актриса и певица цыганского театра «Ромэн» Марика, и Андрей. Не помню подробностей разговора, да они и не важны, но, мне кажется, этот светлый осенний золотой день, весь этот мир и покой вокруг, и вкусная рыбная еда, и легкое золотисто-соломенного цвета молдавское вино, все это легло в основу если не эпических мыслей, то лирических чувств фильма «Солярис». Впрочем, и мыслей тоже. Марика как раз тогда читала «Дон Кихота» и затеяла, по своему обыкновению, наивно-крестьянский разговор о «Дон Кихоте». И это послужило толчком для использования донкихотовского человеческого беззащитного величия в противостоянии безжалостному космосу Соляриса».

И все же Фридрих и Марика расстались – она вернулась в Кишинев, а он, незадолго до отъезда в эмиграцию, женился вторично, на Инне Прокопец. Еще в Москве она родила ему сына Дана и они уехали все втроем – но в Берлине Горенштейн снова остался один. В последней – уже посмертной – публикации в «Зеркале загадок» он с грустью писал:

«Я вывез на Запад семью, но я не вывез любовь; вместо любви – сын-мальчик. Это, конечно, в некотором смысле, компенсация. Но, все-таки, вспоминаются чудесные строки Гейне:

*Бежим, ты будешь мне женой,
Мы отдохнем в краю чужом,
В моей любви ты обретешь
И родину, и отчий дом.*

*А не пойдешь – я здесь умру,
И ты останешься одна,
И будет отчий дом тебе
Как чуждедальная страна».*

На самом деле Горенштейны уезжали не втроем, а четвером – четвертой была кошка Крестя. По единодушному мнению всех, знавших Горенштейна, именно эта «роскошная, ласковая, ленивая, мощная зверюга» (по описанию Евгения Попова) была самым любимым существом в его жизни. Во всяком случае, тот же Евгений Попов утверждает, что на скромном свадебном ужине в честь новобрачных – Фридриха и Инны - жених сразу же не преминул подчеркнуть иерархию в будущей семье:

«– Ты где села? – тихо обратился он к любимой невесте. – Ты что, не знаешь, что здесь Крестеньки место?»

Заботы о том, как провезти Крестеньку в Германию, волновали Горенштейна ничуть не меньше, чем сомнения, выпустят ли за границу его самого. «Если ее не пропустят в Шереметьево, я никуда не поеду» - вспоминал фразу Фридриха Виктор Славкин. И действительно, доблестные советские таможенники, по рассказу писателя, с усердием шмонали не только его самого, но и кошку:

«Тщательно меня обыскивают, и кошечку Крестеньку тоже. «Выньте, - говорит, - ее». Вынул, держу в руках. Она дрожит, боится, а они все прутья плетеной корзинки перецепунали, всю подстилку перетянули».

А в первую ночь после перелета, попав в Вене в паршивый клоповник для новоприбывших эмигрантов, Горенштейн в равной степени беспокоился и о младенце-сыне, и о кошке Кресте:

«Погасишь свет – сразу мальчик начинает плакать, зажжешь свет – вереницами выползают из-под пеленок, ползут по горлышку, по личику. Говорят, самый злой – тамбовский клоп. Это те говорят, кто венского клопа не знает. Потому решил свет не гасить. Кошечку Крестеньку, ныне покойную, пусть земля ей будет пухом, клопы не трогали. Но ее после такого перелома судьбы все время мучила жажда и приходилось ходить в конец коридора к умывальнику с кружкой».

После Вены, в Берлине, Горенштейны устроились по-человечески, но семью это не спасло. Крестенька Фридриха не покинула, и он по-прежнему потакал всем ее капризам. Театрального режиссера

Леонида Хейфеца ошеломило то, как встретил его Горенштейн в Берлине, впервые за многие годы:

«Фридрих открыл дверь, сделал шаг навстречу, успел пожать руку: “Привет...”, как тут же на лестничную площадку выскочила Крестя. “Крестя! Крестечка! Куда ты?!” – закричал Фридрих. Абсолютно не обращая на меня внимания, Крестя остановилась и улеглась на кафельный пол между мной и Фридрихом, как будто только и ждала момента, когда я через десять лет навещу Фридриха и дам ей возможность понежиться на холодном полу лестничной площадки. (...) “Может, мы все же пройдем?..” – неуверенно пролепетал я. “Куда пройдем? Как пройдем? Что значит пройдем?” – стал орать Фридрих. – Вы разве не видите, что Кресте здесь хорошо? Ей захотелось прохлады! Пол здесь холодный, да, Крестенька? Ну, пойдем, пойдем, моя кошечка! Видите, она не хочет? Куда вы торопитесь?»

Смерть Кристи для писателя была большим ударом: в своей печали он даже долго отказывался встречаться с друзьями, приехавшими из России. Потом он завел другого кота, Крису, с характером нелегким, подстать собственному, но Крестеньку не забыл. Как вспоминала Мина Полянская, Горенштейн вздыхал:

«Крестенька, царство ей небесное, она была святая, прожила всего шестнадцать лет – в России мы ее кормили неправильно – сырой печенкой. Могла бы жить да жить. А Крис (небольшая пауза), а Крис, он умный».

Фридрих Горенштейн, колючий и неуживчивый среди людей, был неизменно терпелив и доброжелателен к животным – Крестеньке и Крису. Это можно было бы счесть попросту еще одним из его чудачеств – порой даже не безобидных, - если бы не слова из «*маленького лирического стихотворения в прозе*», как он назвал несколько страниц под заглавием «Домашние ангелы», продиктованных им за месяц до смерти:

«Звери, особенно домашние животные, близки к ангельской логике детей, но до самой старости своей – если они до старости доживают – так и не надевают вериг разума. Их мышление скорее напоминает не труд, а игру».

«Для зверя, как и для ребенка, смысл жизни – жить. Поэтому так печально, когда этот смысл теряется. Но ребенок теряет его, вырабатывая логику взрослости и идя путем грехопадения, а зверь – только вместе с жизнью».

«Дети и звери – домашние ангелы. Но дети вырастают и перестают быть детьми, а звери остаются домашними ангелами до конца».

Вот чему, оказывается, могут научить человека домашние ангелы – если суметь увидеть их глазами писателя и мыслителя.

Кот Крис был назван по имени главного героя повести Станислава Лема «Солярис». Сценарий по мотивам этой повести был написан Горенштейном совместно с Андреем Тарковским и воплотился в фильме Тарковского «Солярис», получившем «Гран-при» Каннского кинофестиваля в 1972 году. Крису сыграл Донатас Банионис. О

«Солярисе» и, более широко, о содружестве с Тарковским Горенштейн вспоминал неоднократно и с большой теплотой. Он любил Тарковского, искренне переживал разлучающие их время от времени размолвки и глубоко скорбел, узнав о его смерти. После похорон друга на парижском кладбище (писателя на них не пригласили) он писал: *«...Андрей Тарковский, хоть и без памятника, бетоном залитый, чтоб слышно не было, не замолкнет»*. И добавлял: *«И я, признаюсь, надеюсь не замолкнуть»*.

«Солярис» остался для Горенштейна любимой работой в кино потому, что в него, помимо мастерства сценариста, писатель вложил часть своего собственного видения, совпадавшего с видением Тарковского, но резко отличного от представлений автора повести. Возмущенный Станислав Лем обвинял режиссера, что тот *«...снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание»*». Для Лема важна была философская концепция пределов познаваемости природы – чувства персонажей повести были лишь инструментами исследования этой концепции. Горенштейн и Тарковский, напротив, сосредоточились на внутреннем мире людей, затерянных среди если не враждебной, то уж наверняка равнодушной к ним природы.

К сценариям, написанным для других режиссеров, Горенштейн относился по-другому: профессионально, добросовестно, используя все свое умение – но не как к главному призванию, которым всегда оставалась проза. Он признавался:

«...Я люблю работать для конкретного режиссёра. Для меня, как для портного, удовольствие сшить костюм по фигуре. Но надо, чтобы режиссёр заявил, что он хочет».

За свою жизнь Горенштейн написал чуть ли не два десятка сценариев для самых разных режиссеров: Андрона Кончаловского, Никиты Михалкова, Али Хамраева, Юрия Клепикова, Алова и Наумова, Юлия Карасика, Вадима Гаузнера, Реваса Эсадзе, Александра Прошкина, Ларса фон Триера... По ним были сняты то ли семь, то ли восемь фильмов – разные мемуаристы называют разные цифры. К тому же надо учесть, что далеко не во всех фильмах по сценариям Горенштейна его имя значилось в титрах – но Фридриха это не смущало. Сценарии кормили его прозу: одна только оплата перепечатки рукописей на машинке (у него был отвратительный, почти не читаемый почерк) стоила немало. Слова, характерные для отношения Горенштейна ко многим режиссерам приводит Евгений Попов:

«Андрон мне говорит: “Перепишешь сценарий “Первого учителя” за пятьсот рублей (за сценарий тогда платили от трех до двенадцати тысяч рублей. – Е.П.), а то материал совсем говно”. Я и переписал. Я с этого учителя та-а-кого хунвейбина сделал, что Андрон сразу прославился. Но только я его тоже обманул. Сказал ему, что буду работать месяц, а сам все сделал за две недели».

Сам Андрон Кончаловский ту же историю со сценарием Бориса Добродеева по повести Чингиза Айтматова рассказывает, естественно, несколько по-иному, но похоже: *«Сценарий я сначала переписал сам, потом позвал Фридриха Горенштейна, заплатил ему, и он привнес в*

будущий фильм *раскаленный воздух ярости*». В титрах фильма – по заслугам – были перечислены все трое: Чингиз Айтматов, Борис Добродеев и Андрон Кончаловский.

В семидесятых годах Горенштейн стал уже признанным мэтром сценарного ремесла. Александр Свободин вспоминал: *"Ему носили сценарии, чтобы он выправлял, за это что-то платили, но он не претендовал на свое имя в титрах. Говорили: "Пойдите к Фридриху, у него рука мастера"*. Помогало и тесное сотрудничество с Тарковским и братьями Андроном Кончаловским и Никитой Михалковым. Марк Розовский, давний друг, в радиопередаче 2010 года так подытожил их тогдашние отношения:

«...весь этот клан - Кончаловские, Михалковы, Тарковские и Фридрих - они питали друг друга на первых порах, они питали друг друга взаимобменом идеями, размышлениями о жизни родины. Родина-то была общая, вот в чем дело».

У этого «клана» было и немало недругов. Валерий Ку克林, драматург и публицист, постоянный автор патриотического портала «Русский переплет» вспоминая о том же времени, писал, прославляя своего любимца Василия Шукшина:

«Было от чего кусать локти Горенштейну с Тарковским, людям, безусловно, высокоталантливым, но еще и великим завистникам. Какой-то там деревенщина, набравшийся верхов московской культуры, пишет сам сценарии, сам ставит фильмы, ни с кем не советуется, а им, бедолагам, все плечи проел Станислав Лем, не согласный с их сценарием «Соляриса», мешающий воплотить их грандиозные, будто бы философские, неуместные в сугубо приключенческом юношеском кинофильме, замыслы».

Фридрих, однако, никакого особого единства с Кончаловским и Михалковым не чувствовал – их отношения, как он понимал их, были деловыми, как у заказчика с клиентом. Он говорил в Берлине режиссеру Александру Митте:

«Вот с Никитой я бы охотно ещё поработал. Я делал с ним "Рабу любви". Он знает, что ему надо. А с Андроном я больше работать не стану. Он не говорит, что ему надо. Тарковский тоже не говорил. Я должен был сам понять. Ему было трудно сказать словами то, что он хочет. И наши отношения были совсем не просты. Но я ощущал что-то конкретное. А у Андрона я этого не ощущаю».

Наряду с «Солярисом», «Раба любви» (1976) стала вторым наиболее известным фильмом, в титрах которого было указано: «автор сценария Фридрих Горенштейн». Львиная доля лавров досталась, конечно, режиссеру, но и сценарист получил толику бессмертия в виде единственного упоминания своей фамилии в трудах Великого Писателя Земли Русской Александра Солженицына. Перечисляя примеры *«невылазной загрязлости семидесятилетней советской лжи»* классик писал:

«Или новое достижение Никиты Михалкова «Раба любви» (сценарий Ф. Горенштейна): снять пеночки с памяти о Вере Холодной и

ещё, и ещё раз огадить белогвардейцев как невиданных злодеев, красный детектив с благородными подпольщиками».

С Никитой Михалковым Горенштейн больше не работал, а вот контакты с его старшим братом Андроном Кончаловским продолжались и после отъезда Фридриха в эмиграцию. Их отношения Кончаловский довольно точно обозначил в своей книге «Низкие истины»: *«Ко мне Горенштейн равнодушен и в добром и в дурном смысле слова, это особый род приятельства-неприятельства».* И действительно: с одной стороны, Андрон постоянно поддерживал Фридриха – подбрасывал ему работу в тяжелые годы, вывез за границу часть его рукописей (*«в штанах»*), как он утверждал). А с другой стороны, известна его хлесткая реплика о Горенштейне в эмиграции: *«Прозябает в ожидании Нобелевской премии».*

В тех же «Низких истинах» режиссер рассказывал об их с Горенштейном взаимных поддразниваниях:

«Недавно, встретив меня, он сказал: «Ну я напишу о Михалковых!» Он сейчас работает над книгой об Иване Грозном и нашел где-то запись, будто бы Иван Васильевич по поводу какого-то опасного предприятия сказал: «Послать туда Михалковых! Убьют, так не жалко». Фридрих был страшно доволен. Я тоже обрадовался: «Ой, как хорошо! Хоть что-то Иван Грозный про моих предков сказал. А про твоих он, часом, не говорил? О них слыхивал?».

Судя по радиоинтервью 2010 года, где Андрон Кончаловский снова вспомнил этот разговор, к тому времени он так и не прочел огромную восьмисотстраничную драматическую хронику Горенштейна «На Крестцах. Хроника времен Ивана IV Грозного», изданную нью-йоркским издательством «Слово-Word» в 2001 году. А зря. Персонаж по имени Михалка там выведен хоть и дворянином, но, по сути – царским шутом, сочинителем придворных стихарей, которого царь то собственноручно сечет (*«Заголяйте Михалке гузно!»*), то жалует царским рукомошкой (ремарка: *«Целует рукомошкой и низко кланяется»*). Наверное, Андрон и на этот раз нашел бы, что ответить Фридриху, но – уже поздно. Отвечать некому.

Кем же был для литературно-киношной Москвы шестидесятых-семидесятых годов этот колючий, самолюбивый, конфликтующий – но, вместе с тем, бесконечно талантливый Фридрих Горенштейн? Все тот же Андрон Кончаловский заметил: *«Я представляю себе, что таким был Мандельштам...»* - и, наверное, это сравнение имело немалые основания. Ведь многим современникам гениальный поэт Осип Эмильевич Мандельштам был больше известен как склочник и сутяжник. Он ухитрился поссориться со своим другом Максимилианом Волошиным, в доме которого нашел приют в годы гражданской войны. Он был главной фигурой неприглядного литературного скандала, связанного с авторством перевода романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». И он же оказался в центре жилищной склоки в Доме Герцена, которая закончилась товарищеским судом и пощечиной, нанесенной Мандельштамом «красному графу» Алексею Толстому. Как считала вдова поэта Надежда

Яковлевна Мандельштам, именно с этой пощечины начался его крестный путь – через арест, высылку и второй арест – к смерти в тифозном лагерьном бараке.

Времена, однако, изменились – Горенштейна не убили, а всего лишь лишили надежды на то, что его книги пробьются к читателю. Он понял это сразу после «Зимы 53-го года» и «Искупления», но вера в свой талант – гордыня, сказали бы иные – пересилила разочарование: наступила очередь больших романов «Место» и «Псалом».



Дмитрий Трубецков

Юлий Александрович Данилов



Юлий Александрович Данилов – мудрый, разносторонне талантливый человек, проживший далеко не простую жизнь в разных временах, оставаясь самим собой. Он представлял собой отдельную Вселенную, в которую входили совершенно разные люди – от брюссельского булочника, о котором у него был замечательный устный рассказ, до Ильи Романовича Пригожина, относившегося к нему с искренним уважением, от школьника из Саратова и студента химфака МГУ до Даниила Семеновича Данина, которому он помогал найти кентавров для его кентавристики, и до Михаила Александровича Леонтовича, в устах которого прозвучала хвалебная фраза: «Сами говорите, что математик, но разговариваете не на их собачьем языке, а так, будто всю жизнь были физиком», и еще много разных людей, которых объединили его Обаяние, Тактичность, Доброта, Интеллект. В этой Вселенной было знание практически всех европейских языков, три полки написанных и переведенных им книг (когда закончилась третья полка, он шуточно назвал это событие юбилеем), это его блистательные статьи – эссе, его удивительные и по форме и по содержанию лекции, его устные рассказы, которые можно было слушать часами.

Первое заочное знакомство с Ю.А. Даниловым-переводчиком – это книги серии, посвященной занимательной математике, которые выходили в советское время в издательстве «Мир». Конечно, это «Математические новеллы», «Математические досуги», «Математические головоломки и развлечения», «А ну-ка догадайся!», «Путешествие во времени» и другие книги Мартина Гарднера, переведенные с английского. Юлий Александрович любил своих авторов, о чем свидетельствуют написанные им предисловия к переводам. Вот, например, что он пишет о Гарднере. «Каждому, кто прочитал хотя бы одну книгу Мартина Гарднера, совершенно ясно, что ее автор – человек необычайно одаренный и увлеченный, великолепно владеющий пером и способный передавать свою увлеченность читателю... Эрудиция и обилие привлекаемого им свежего материала порождают не только любителей, но и специалистов. При этом Гарднеру в высшей степени присуща особенность, отличающая, по мнению Я.И. Перельмана, истинного творца занимательной науки от ремесленника, – умение удивляться, видеть необычное в обыденном». Написанное в полной мере относится к самому Данилову. Думаю, что Гарднер был близок ему и как неутомимый

издатель и комментатор Льюиса Кэрролла, которого Юлий Александрович любил, знал, высоко ценил и пропагандировал.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать предисловие Данилова к книге Рэймонда М. Смаллиана «Алиса в стране смекалки» – гимн Кэрроллу и современной русской кэрроллиане, и его замечательную статью «Льюис Кэрролл как нелинейное явление»¹.



Юлий Александрович Данилов

Перебираю стопку книг на столе. Иоханнес Леман «Увлекательная математика» – перевод с немецкого; Д. Бизам, Я. Герцег «Игра и логика. 85 логических задач» – перевод с венгерского; Гуго Штейнгауз «Задачи и размышления» – перевод с польского; Д. Бизам, Я. Герцег «Многоцветная логика. 175 логических задач» – перевод с венгерского; С. Страшкевич, Е. Бровкин «Польские математические олимпиады» – переводы с польского; Э. Эббот «Флатландия» и Д. Бюргер «Сферландия» (в одной книге) – перевод с английского и голландского. Список языков перевода можно продолжить. На вопрос: «А зачем ты выучил венгерский?» – ответ: «Чтобы читать в подлиннике Реньи» – замечательного Венгерского математика.

Книги были его жизнью, он относился к ним как к живым существам, он любил их и умел привить эту любовь другим. Приезжая на конференции, привозил много книг и дарил своим друзьям, удивительно точно угадывая их вкусы.

А еще его чемодан был полон конфет. На наших конференциях для школьников устраивались чаепития с лекторами. В комнату, где жил Юлий Александрович, набивались дети, приходили и взрослые, чтобы послушать его рассказы, задать вопросы. Посоветоваться. И пили чай с московскими-даниловскими конфетами...

¹ Причудливый мир науки. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2004. 228 с.

У поэта Владимира Корнилова есть строчки, написанные как будто об Юлии Александровиче:

Устоять средь потока и ветра,
Не рыдать, что скисают друзья,
И не славить, где ругань запретна,
Не ругать там, где славить нельзя.
Достается, наверно, непросто
С болью горькой, острей, чем зубной,
Это высшее в мире геройство –
Быть собой и остаться собой.

Это было главным в нем. Он тяжело переживал любую несправедливость и вступал в борьбу со злом без раздумий.

Иногда с убийственной иронией звучали его вежливые фразы: «Это Вы так думаете»; «Ваше мнение для нас особенно ценно».

Конечно, в нем были черты Дона Кихота, но его шпагой были энциклопедичность знаний, тонкий юмор и ирония, чувство ситуации и доброта, доброта, доброта.

Его удивительный юмор, по счастью, сохранился не только в устном фольклоре школ и конференций, но и в книгах, и в статьях. Чего стоит эпиграф к его замечательной книжечке «Многочлены Чебышева», которая начинается так: «Знаете ли вы, что такое многочлен? Нет, вы не знаете, что такое многочлен. Простота знакомого всем определения многочлена обманчива». А эпиграф из «Веселой семейки» Н. Носова сразу заставляет прочитать книгу, которая вышла сейчас вторым изданием в издательстве «Едиториал УРСС». Вот он. «Мишка такой человек, ему обязательно надо, чтоб он всего была польза. Когда у него бывают лишние деньги, он идет в магазин и покупает какую-нибудь полезную книжку. Один раз он купил книгу, которая называется "Обратные тригонометрические функции и полиномы Чебышева"».

Конечно, он ни слова в этой книжке не понял и решил прочитать ее потом, когда немножко поумнеет. С тех пор эта книга лежит у него на полке – ждет, когда он поумнеет».

Известен и его великолепный розыгрыш редколлегии одного издания, в редакцию которого пришло письмо от ученика физико-математической школы Пети Васечкина с новой интерпретацией сказки Андерсена «Новое платье короля». Пете в школе замечательный учитель рассказывал о фракталах и талантливый мальчик неожиданно понял, «...что события, изложенные Андерсеном, могут быть истолкованы совершенно иначе». «Представьте себе, что в город, где жил король-щеголь, прибыли два искуснейших мастера, умевших вышивать по тончайшей ткани прекрасные фрактальные узоры. Ткань была тончайшая, узоры едва видимыми, и у неискушенного наблюдателя вполне могло создаться впечатление, что нет ни ткани ни узоров. А поскольку линии узоров имели бесконечную длину (ведь узоры были фрактальными), ясно, что никакого запаса шелка и золота в королевстве не могло хватить. Но не станешь же объяснять свою правоту всем профанам! Вот мастерам и

пришлось попросту дать деру. Народ действительно видел сквозь тонкую ткань голого короля, потому что ничего не знал о фракталах. И со страху молчал. А мальчик, во всеуслышание заявивший, что король – голый, тоже не подозревал о фракталах. Но он крикнул, потому что был смелый. Мне кажется, что именно Андерсена мы должны считать первым человеком, осознавшим феномен фракталов, хоть это слово и придумал значительно позднее Бенуа Мандельброт. Дорогая редакция! Как, по-вашему, имеет ли право на существование моя интерпретация? Жду ответа, как соловей лета. Петя Васечкин».

Редколлегия, конечно, угадала в Пете Васечкине Юлия Александровича Данилова и откликнулась добрыми и справедливыми словами в его адрес.

«Только Юлий Александрович Данилов знает все про фракталы, а все, к примеру, что мы знаем про Пригожина и его идеи, мы знаем только от Юлия Александровича, потому что он его и других умных людей для нас переводит. Сейчас, по слухам, готовит новый перевод Шредингера «Жизнь с точки зрения физика». Беспокоить его нашими догадками мы не сочли возможным»².

Сейчас книга «Жизнь с точки зрения физика» вышла, и Юлий Александрович нашел в оригинале новые тонкости и новые детали по сравнению с известным переводом. Он, действительно, знал все о фракталах и очень обрадовался, когда при последней встрече я подарил ему копию статьи о фрактальном исследовании картин известного американского художника-абстракциониста Поллака.

Мы познакомились с Юлием Александровичем на одной из горьковских школ «Нелинейные волны», по-моему на той, где он прочитал великолепную лекцию «Льюис Кэрролл как нелинейное явление», и быстро подружились. Он умел дружить: звонил именно тогда, когда этот звонок так нужен, делал надпись на подаренной книге такую, что сразу становилось легче, мягко отвлекал от грустных мыслей своими рассказами. Вот передо мной его последний подарок – книга чилийцев Р. Матурана и Франсиско Х. Варела «Древо познания», переведенная им. Он знал, что я переживаю непростые дни, устав от предательства людей, которым верил, устав от давления власти. Поэтому на книге надпись: «Дорогой Дима, в Библии сказано: "И это проходит" 9.10.2003». Да, все проходит. Не пройдет только боль от того, что не услышишь в телефонной трубке его голос, что не увидишь его доброй улыбки, не услышишь его лекций. Увы, ворон каркнул: «Nevermore».

Нас особенно сблизили «Нелинейные дни в Саратове для молодых», где он читал лекции и беседовал за вечерним чаем со школьниками, со студентами, молодыми исследователями и друзьями – коллегами. Беседы о науке, о жизни затягивались часто до глубокой ночи. Именно на этих школах прозвучали его лекции о Мандельштаме, Фарадее, Максвелле, Минковском, Перельмане, Галилее, Кеплере; на них он рассказывал о фракталах, об автомодельности, о разных маятниках, о том, как отыскивали «Начала» Ньютона в библиотеке МГУ.

² «Госпожа удача», № 3, 1999.

Кстати, он был членом общества 8ВД (сэр Исаак Ньютон) и весьма забавно рассказывал о том, как впервые увидел портрет Ньютона без парика («Довольно противный тип»). Он не мог простить Ньютону его отношения к Гуку, в частности того, что, по легенде, Ньютон уничтожил все портреты Гука после его смерти, а возможно, и украл закон всемирного тяготения.

На одной из школ Юлий Александрович читал цикл лекций «Самоподобие и хаос. Золотое сечение»; «Последовательность Морса-Туэ» и «Квазикристаллы». Первую лекцию он начал с изложения трех правил Шоки чтения лекций: 1) расскажите им то, что вы будете рассказывать; 2) зложите содержание лекции; 3) расскажите то, что вы рассказали. Он блестяще использовал эти правила при чтении лекций. На знаменитых нижегородских школах «Нелинейные волны» он всегда получал призы как лучший лектор.

Приезжал он и на «школы по хаосу» и даже на наши «электронные школы». Юлий Александрович говорил, что он приезжает только в два города – Брюссель и Саратов. После первого тяжелого заболевания он оставил себе только «Нелинейные дни», отказавшись от совпавшей по времени с нашей школой поездкой во Францию. Мы любили его рассказы о поездках к Пригожину. Создавалось впечатление, что мы вместе ходим по Брюсселю и вместе беседуем с разными людьми – с мальчишкой – торговцем фруктами, с хозяином магазина всяких необычных вещей, с директором школы, поднимающимся по пожарной лестнице, с хранителем библиотеки, который в знак уважения к тому, что профессор читает письма Эйнштейна к королеве, подкладывает ему на стол лупу, с двумя продавцами в книжном магазине – пожилой дамой и молоденькой девушкой, – которые встречали и провожали его как родного... Помню его рассказ о том, как к Пригожину приехал очередной иностранный гость, и секретарь мэтра Надин посоветовала ему обратиться к Юлию Александровичу за ответом на вопрос: «Что посмотреть в Брюсселе?» Она лукаво заметила: «Мы спим по ночам. Спросите у него». Да, он не спал по ночам: днем он работал, а ночью изучал Брюссель.

Некоторые эпизоды из Брюссельской жизни запомнились.

Прочитаны лекции во французском университете. Очередь за фламандским, что через дорогу. Читать на фламандском? Изящный выход из положения: «Господа! Я великий странник в этом мире и уже путаюсь, на каком языке я должен читать лекцию, поэтому я буду читать на современной латыни – на английском». Потом кто-то из местных профессоров говорит: «Правильно, разве можно читать на этом собачьем языке».

Юлий Александрович покидает Брюссель. Тяжеленные от книг чемоданы, которые могут раскрыться или даже порваться при транспортировке. Таможенник: «Что у Вас там, месье?». «Книги». «О!» И чемоданы обклеиваются лентами с надписью «Таможня Бельгии». Теперь за сохранность книг можно не беспокоиться.

К Данилову подходит молодой человек и представляется внуком одного из Российских эмигрантов первой волны. «Дед, наслышавшись о

Вас, хочет поговорить на хорошем русском языке, что так редко сейчас». И замечательный разговор со старым русским, который до сих пор тоскует о Родине.

Юлий Александрович необычайно много сделал для того, чтобы издавалась серия «Классики науки». Гамильтон, Гейзенберг, Эйлер... Он много сделал и для издательств «Мир» и «Наука». Передо мной его книга «Лекции по нелинейной динамике» – курс лекций, который он читал в МИФИ, МГУ и университетах Западной Европы. Это - книга математика с четким и точным изложением основных понятий, немного сухая. Но он подготовил и другой, расширенный вариант. Он не успел его издать. Думаю, что сделать это надо нам – его друзьям и коллегам.

Юлий Александрович много сделал для популяризации науки, не только переводами книг, но и работая в журналах «Знание-сила» и «Природа». Его эссе «Нелинейность» («Знание-Сила») невозможно пересказывать, столь вдохновенно оно написано. Запомнились и придуманные им для журнала «Знание-Сила» страницы с рисунком и кратким описанием какого-либо физического явления. В предисловии Данилова к статье Дж. фон Неймана «Математик», опубликованном в журнале «Природа», есть такие слова, принадлежащие известному математику С. Уламу: «Причина его неумной любознательности крылась в некоторых математических мотивах и в значительной мере была обусловлена миром физических явлений, который, насколько можно судить, еще долго не будет поддаваться формализации...» Думаю, что эти слова в полной мере относятся к Юлию Александровичу. В частности, этой неумной любознательностью объясняется и то, что он был одним из вдохновителей семинара «Синергетика», заседания которого проходили в МГУ и собирали заинтересованную аудиторию различных специалистов.



С Д.И. Трубецковым и М.И. Рыскиным, 1995

Он сделал необычайно много для развития нелинейной динамики в России своими замечательными статьями и переводами

многих сборников и монографий, занимая в этой области огромный ареал, который сейчас опустел.

В октябре 2003 года в Саратове на его любимых «Нелинейных днях» мы виделись мало, поскольку я метался между «Волжскими даями» и Москвой. Поговорили долго только 12 октября. Я обратил внимание, что он дважды рассказал о похоронах отца, о том, как он в нужном порядке раскладывал его ордена, как небрежно обит был гроб... Как всегда, он говорил о своей семье, которую нежно любил. Вспомнил историю, как с еще маленькой Аней он ехал в поезде с каким-то высоким морским чином. Тот стал задавать Ане всякие вопросы по морскому делу и был потрясен ее знаниями. Потрясение достигло наивысшего предела, когда на вопрос: «Кто твой папа?» девочка ответила: «Адмирал».

Мы обнялись на прощание и договорились, что обязательно встретимся здесь же через год.

И вот 28 октября. Церемониальный зал госпиталя. Впервые я увидел его в костюме, он любил мягкие куртки, джинсы и ковбойки. Много людей, много добрых слов, которые лучше было бы сказать при жизни. Александр Кушнер написал:

Ушел от нас... Ушел? Скорее убежал.
Внезапной смерти вид побег напоминает.
Несъеденный пирог, недопитый бокал.
На полуслове оборвал
Речь: рукопись, как чай, дымится, остывает.
Не плачьте. Это нас силком поволокут,
Потащат, ухватив за шиворот, потянут,
А он избавился от пут
И собственную смерть, смотри, не счел за труд
Надеждой не прельщен, заминкой не обманут.

Юлий Александрович светил людям, но не только светил – его свет был теплым, он грел.

В терминологии Данина, Юлий Александрович Данилов – удивительное явление даже для кентавристики, поскольку в нем гармонично сочеталось и дополнялось много несочетаемого. По его собственной терминологии он – несомненно нелинейное явление.

Перечитываю предисловие к моей книге «Синергетика. Колебания и волны» под названием «Предисловие друга автора», слышу его голос, вижу его. Должно пройти время, чтобы все поняли, что сегодня замены Юлию Александровичу нет.



Борис Юдин

Паноптикум

Старик в парке

Скамейка. Парк. Старик сидит с газетой.
Он в старой шляпе, в роговых очках.
А в парке тихо созревает лето,
И ангелы витают в облаках.

Нет, нет! На нём не шляпа – тюбетейка.
Он кашляет: хронический бронхит.
Поскрипывает жалобно скамейка,
Где наш старик без отдыха сидит.

Он щурится светло и близоруко,
Бросая птицам крошек конфетти.
А может, это не старик – старуха:
Блондинка лет примерно двадцати.

На ней растут затейливо кудряшки,
По ней плывут французские духи,
Она сдвигает трепетные ляжки,
Когда читает про любовь стихи.

Она потна, толста и краснолица,
Но в очень нижнем кружевном белье.
Нет! Всё-таки старик, а не девица,
Устроился на парковой скамье.

А день пусть будет пасмурный и хмурый.
А парк – не парк. Тайга и бурелом.
И там старик – садовою скульптурой.
Ненужный, словно “Девушка с веслом”.

Благодаря земному тяготенью
Старик, российских парков атрибут,
Кольшется затейливою тенью.
И облака над головой цветут.

Дворник

Метла по асфальту – то шарк, то вжик
Среди равнодушных стен.
Он раньше был русский – теперь он таджик:

Реальный продукт перемен.
А вечер в клубок свернулся, ворча,
И северный ветер стих.
В подъезде – моча и подвальный топчан
Вполне вмещает двоих.

Дома на песке, ледоход на реке,
А месяц такой голубой.
Нам дворники снятся к дремучей тоске
И строем уходят в запой.

Уходят в закат по людскому дерьму
Под шелест распахнутых крыл.

Герасим когда-то угробил Му-му –
Он правильным дворником был.

ЛЁТЧИК

Я лётчик. Я в небо заброшен, как камушек в воду.
Круги по воде разошлись, и растаял на облаке след.
Я разум мотора. Меня обучили полёту,
Сказали: "Лети. В приземлении сложностей нет".

И вот я – бумажный журавлик, залётная птица,
Небесный Агасфер. Дышу тяжело на бегу.
Я сел бы за стол, но не знаю, как нужно садиться.
Напиться и в брызги разбиться – вот всё, что могу.

Внизу соловьи. Там любовь расцветает чужая.
Моя не созрела ещё. Подожду. Пусть растёт... А пока
Я змеем воздушным парю, сам себя догоняю,
И знаю – мой леер недетская держит рука.

Не мне предназначены первые брачные ночи:
В быту я нелеп, как на палубе альбатрос.
Я просто – соринка попавшая Господу в очи.
И не приручаем, хоть в сущности робок и прост.

Я лётчик. Но баки пустеют, и падает скорость.
Диспетчер кричит: "На посадку!" И, видимо, мне
Придётся познать беспощадную приземлённость,
Щекою дождя прикоснувшись к колючей стерне.

игра в мушкетёров

“Снятся людям иногда голубые города...”

Л. Куклин

Сетка коммунальных коридоров,
Перестук товарных поездов.
Мальчики играли в мушкетёров
Во дворах советских городов.

Свитера и клетчатость ковбоек.
Впереди – дороги вензеля,
За спиною – строй “великих строек”
И возможность начинать с нуля.

Но, пока застоля да болезни
Дружно предрекало вороньё,
В плесень пенсий превращались песни,
А палатки – в грязное тряпье.

Где вы, мушкетёры и бродяги?
Блекнет городов голубизна.
Только – тень креста, как гарда шпаги,
Звон струны и внуков седина.

СТУЛ

А смысл существованья стула в том,
чтобы удерживать чужое тело
От приземлённости и от паденья на пол.
Стул это знал. Стоял на твёрдых лапах
и был готов. В часах кукушка пела,
чтоб полон был чудных открытий дом.

Чтоб мудрый, повидавший виды шкаф
открылся и противно скрипнул дверью
и обнажил бы запахи белья.
Чтобы открылось жаждой бытия
окошко в сад, где ждут любви деревья,
всю ночь натужно почками шурша.

Чтобы пролилось красное вино,
чтобы раскрылась книга в нужном месте,
там, где понятно всё без лишних слов.
Чтоб ночь пришла под крик перепелов,
чтоб женихи в любви клялись невестам
сливаясь с ними мысленно в одно.

Стоит весна. И ночи так тихи,
что слышно как лежит фата в коробке.
Лягушки стонут. Страстно дышит пруд.
И девушки доверчиво кладут
в ладони стульев вызревшие попки
и пишут о несбывшемся стихи.

штабс-капитан

“...мело по всей земле...”

Б. Пастернак

Метёт, метёт и мерзко на душе,
Хоть редок русский снег в таких широтах.
Подрагивает в блюдце бланманже
И граммофон заходится в фокстротах.

Налить вина, поставить про пажей
Вертинского. Чтоб по душе со всхлипом!
Какая гадость это бланманже.
Куда ни глянь – повсюду гадость, ибо

Метель, как конь, несётся во всю прыть,
И не услышать боле посвист шашек.
И страшно понимать, что не дожить
До дня, когда Господь их всех накажет.



Лорина Дымова

«Поговорим о странностях любви...»



любовь была безмерна, безразмерна –
Не объяснить на языке простом.
Избранница была, конечно, стерва,
Но это обнаружилось потом.

Она сидела и всегда молчала
С улыбкой отрешенной на лице.
Эх, люди, будьте с самого начала
Таковыми же, как будете в конце!

МЕЖДУ НАМИ

Только это между нами:
Я люблю Вас временами,
А в другие времена
Я, как рыба, холодна.
И поэтому в моменты,
Когда я индифферентна,
Лучше Вам орешки грызть
И себе не портить жисть.

ВОСПОМИНАНИЕ О НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ

Кем в прошлой жизни я была, не помню.
Вот в позапрошлой – помню: огурцом.
И было околдовывать легко мне
Людей своим пупырчатым лицом.

Сижу на грядке около ограды
И тихо улыбаюсь всем подряд.
Прохожие идут, и все мне рады,
И лишь Егор ни капельки не рад.

Я не свожу с него глаза влюбленные,
А он кричит мне прямо на бегу:
"Я уважаю огурцы соленые,

А свежие я видеть не могу!"

ТЕОРИЯ МАЛОВЕРОЯТНОСТИ

Превратности любви – они превратны,
И это вызывает сожаленье.
Пойдешь туда, а надо бы обратно,
Не в том идешь, голубчик, направленье.

Как ни крути, в любви неотвратимы
Мужские несуразности и дамские.
Истерика и страсть – как побратимы,
И связаны, как близнецы сиамские.

Послать бы эти самые превратности!..
Да будет солнце! И исчезнут пятна!
Любовь могла бы приносить и радости,
Но только это маловероятно.

ЛЮБИТЬ ВЕГЕТАРИАНЦА

Казалось бы, атлеты
Должны любить котлеты,
А у меня знакомый –
Неправильный атлет.
На шашлык и ростбифы
Он отвечает "Бросьте вы!"
На зразы и жаркое
Он отвечает "Нет!"

Хоть это и нелепо,
Но ест он только репу,
А иногда капусту
И, может быть, морковь.
Когда же в ресторане
Приносят бок бараний,
Он только удивленно
Приподнимает бровь.

Ну ладно, эта глыба
Хотя бы ела рыбу.
Хотя бы раз, на праздник,
Напился бы, болван!
Нет! Смотрит, не моргая,
И шепчет: "Дорогая!
Когда со мной ты рядом,
Я и без водки пьян!"

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Развалилась леди
На шотландском пледе –
Кудри цвета меди,
Губы – сладкий плен.
А дружок ледин,
Хоть довольно бледен –
Ничего такого,
Просто джентльмен.

А моя зазноба –
Кудри не особо,
И жильё трущоба,
И сосед свиреп.
По какому праву
Джентльмену – слава,
Кофе и какава?
Мне же – квас и хлеб?

Стать бы мне отменным
Бледным джентльменом!
Я сказал бы леди:
- Расстели-ка плед!
И на этом пледе
Стал бы с этой леди
Кушать де-валяи
И другой обед.

А прислуга Клава
Скажет мне лукаво:
– Хотите какава,
Он как раз вскипел?
Я отвечу: - Клава,
Ну о чем ты, право?
Каждый день какава!
Он мне надоел.

ПРО АННУ ПЕТРОВНУ

1.
Анна Петровна
Подстрижена не ровно,
И очень неопрятна,
И на юбке пятна.

А я люблю – без пятен,
Чтоб облик был приятен,
И чтоб на лбу кудряшка,
И чтоб была милашка.

А значит, нам не светит
Ни ЗАГС, ни дом, ни дети –
И это – безусловно.
Эх, Анна! Эх, Петровна!

2.
Анна Петровна
Всех любит поголовно.
И Анну Петровну
Любят, но – условно.

Ах, где же индивиды,
Что имели б виды
На Анну Петровну?
В чем она виновна?

3.
Не желаю принимать решений
В отношении наших с вами отношений.

Лишь одно могу сказать иносказательно:
Вить гнездо совсем не обязательно.

Но слова мои поймете вряд ли вы,
Хоть в других вещах весьма догадливы.

4. НЕ ВСЕМ СЧАСТЬЕ

Анна Петровна,
Дочка Василия,
От ссоры с соседкой
Совсем обессилила.

Папа Петровны
(все тот же Василий)
Был, к сожаленью,
Отнюдь не всемогущ.

Свары любил
Разрешать он бескровно,
О чем горевала
Анна Петровна.

Слыша от дочери
Брань и упреки,
Дочке помочь он
Не мог в этой склоке.

Далек (и весьма!)
Был он от абсолюта.
Эх, был бы отцом ей
Скуратов Малюта!

Но счастье такое
Случается редко.
И торжествовала
Нахалка-соседка.



Лариса Миллер

«СТИХИ ГУСЬКОМ»

Книга XIV: апрель-май 2013 г.



вот бы меня упустили из виду.

Клянусь, я б легко проглотила обиду,
Я лишь потихоньку бы вышла из строя,
Сменив и маршрут, и сюжет, и героя
И список покинув, где ставится птичка,
Когда среди смертных идёт переключка.

2013

Вот и вывели всех нас на чистую воду.
Хоть я в тёмных делах не замешана сроду,
Всё же участь моя мне совсем не ясна,
Но на то ведь и жизнь, но на то и весна,
Чтоб текла и струилась земля под ногами,
Чтоб казалась она заливными лугами,
Чтобы небо с землёй больше не были врозь,
Чтоб любого из нас было видно насквозь.

2013

Да перестань ты, жизнь, кончатся.
Давай на веточке качаться.
Ты – юный лист, а я – скворец.
Какой там к дьяволу конец?
Ты – песня, я – твоё коленце,
Ты – колыбель, я – сон младенца.

2013

А музыка всегда о том, что не сбылось,
О том, что не сбылось да и не может сбыться.
Играй же, музыкант, играй, не бойся сбиться,
Лишь место повтори, что с лёту не далось.
Хоть и не в силах ты осуществить мечту,
Ты в силах ноту взять - единственную, ту.

2013

Ну и к чему я пришла в результате?
Ну и к чему я пришла на закате
Дней своих, лет своих, жизни своей?
К маю, где дивно поёт соловей,
К маю, где щёлканье в каждом овраге,
К маю, где вновь оказалась я в шаге,
В шаге от лета, расцвета, поры,
Где раздают неземные дары.
2013

Вновь завершила стих мажором...
Меня же выгонят с позором,
Меня же выгонят взашей,
Да мне же, как своих ушей,
Не видеть скоро бела света.
Мол, не хотим держать поэта,
Который всё чему-то рад.
Пусть пишет нам про здешний ад,
Пусть пишет нам, как жить здесь тяжко,
А он всё: пташка да ромашка.
2013

О ТОМ, О СЁМ:
ВРЕМЯ С ВЕЧНОСТЬЮ СВЕРЬТЕ

Чувство времени немислимо без чувства вечности. Самая мрачная эпоха та, сквозь которую не просвечивает вечность. Живущие в такую эпоху страдают множеством разнообразных маний и фобий. Чтобы чувствовать время, недостаточно держать руку на его пульсе. Надо еще слышать дыхание вечности. Без этого не откроется истинный масштаб происходящего. Жить вне времени так же невозможно, как жить только в нем. Хочется возразить Мандельштаму, написавшему:

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

Уж если на то пошло, спесивы те, кто, боясь отстать от времени, не слышат как "вечность бьет на каменных часах" (О. Мандельштам).

Вторжение вечности в каждодневную жизнь вовсе не сродни приходу Командора с его каменным смертельным рукопожатием. Напротив, прикосновение вечности к чему бы то ни было, ее отблеск на вещах обыденных и привычных веселит душу, меняя акценты, оттенки, тона, объем, форму. "Недостижимое, как это близко!" (О. Мандельштам), и как необходимо постоянно чувствовать его присутствие. Все эти "ДО" и "ПОСЛЕ" нашей эры напоминают постоянно распахнутые окна и двери, в которые врываются сквозняки, бесцеремонно теребя, а то и срывая с

места все, что мы полагали неприкосновенным. Всегда ли нам это нравится? Вряд ли. Но... "ничего не поделаешь - вечность..." (Б. Чичибабин). От вечности невозможно забаррикадироваться. Как ни обустройвай свое земное жилище, сколько ни законопачивай все дыры и щели, откуда-то непременно тянет нездешним холодком. Впрочем, все зависит от восприятия: кто-то способен видеть лишь потолок и стены, а кто-то - "над бедной землей, неземное сиянье" (Г. Иванов).

Но разве вечность - сияние, движение, поток воздуха, ветер? Разве это не мертвая вода, гасящая любое пламя? Как знать? Мнится мне, что вечность - выход за пределы сущего, зримого, отмеренного судьбой. "Нас ждет не смерть, а новая среда" (И. Бродский). Во всяком случае, прислушиваясь к ее дыханию, понимаешь, что не с тебя началось и не тобой завершится. А значит, ты - в потоке.

Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен -
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
(О. Мандельштам)

Но и "озабоченный мгновенным", сам того не сознавая, пребывает в движении, в полете. Мгновение - это мельчайшая, притом летучая частица вечности, которая уносит и нас на своих незримых крыльях.

Где ты тут, в пространстве белом?
Всех нас временем смывает,
Даже тех, кто занят делом -
Кровлю прочную свивает.
И бесшумно переходит
Всяк в иное измеренье,
Как бесшумно происходит
Тихой влаги испаренье,
Слух не тронув самый чуткий...
.....
Где ты, в снах своих и бденье?..

Где мы все? Наш единственный адрес - против неба на земле. Против мнимой тверди небесной - на медленно вращающейся и вот-вот готовой уйти из-под ног тверди земной. "Здесь на небесной тверди, слышать музыку Верди?", - написал когда-то Маяковский. Тот самый Маяковский, который позднее "во весь голос" заявил:

Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный...

Но глашатай великой эпохи, эпохи, дерзнувшей упразднить вечность, заменив ее светлым будущем ("я к вам приду в

коммунистическое далеко"), все равно оставался поэтом, а значит не мог не общаться с самой что ни на есть допотопной вечностью:

Ты посмотри, какая в мире тишь!
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
Векам, истории и мирозданию...

Обращаться к вечности можно по-разному. Можно - через голову времени. При этом стихи, лишённые земных примет, нередко кажутся бестелесными и бескровными:

Голос вещей не обманет.
Верь, проходит тень, -
Не скорби же: скоро встанет
Новый вечный день.
(Вл. Соловьев)

Впрочем, есть поэты, которым виртуозно удавалось подобное общение:

Сияет соловьями ночь,
И звезды, как снежинки, тают,
И души - им нельзя помочь -
Со стоном улетают прочь -
Со стоном в вечность улетают.
(Г. Иванов)

Но бывает и так: в стихах - сплошные детали, подробности, бытовые мелочи, но все они настолько легки, стремительны, мимолетны, что ощущаешь ветер, который их уносит, и чувствуешь, как "нездешняя прохлада / Уже бежит по волосам" (Г.Иванов).

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папилотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.
(Б. Пастернак)

Самое тяжкое - это беспросветный текст, плотная словесная ткань которого не пропускает ничего живого, а тем более, нездешнего. Такой текст вызывает удушье, клаустрофобию и страстное желание последовать за душами, которые "со стоном улетают прочь, со стоном в вечность улетают".

1997

18 мая 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 25 мая. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «Речные маршруты»

Да знаю, знаю, я одна из многих,
Из множества двуруких и двуногих,
Прямоходящих и вперёдглядающих,
Из теплокровных и живородящих.
И всё же мнится – я одна на свете,
Кто знает нечто о зиме и лете,
И о душе, что любит и стонет, -
То тайное, чего никто не знает.

2013

Ах, жизнь, ну прости ты меня, попрошайку,
За то, что я кланчу то лес, то лужайку,
То луч, то росинки серебряный грош –
А ты мне и так их в избытке даешь...
То золото листьев, то снежные слитки –
А ты мне и так их даруешь в избытке...
Объятий, пьянящих, как луч, как вино –
А ты мне и так их раскрыла давно.

2013

А день такой, а день такой...
Ну-ну, какой? Найди словечко,
Которое течёт рекой,
Плывёт, как пО небу овечка,
Твой стих разрушить не грозя,
В твою строку покорно ляжет
О том, о чём сказать нельзя,
Возьмёт – и без усилий скажет.

2013

Не веришь ты в возможность чуда?
Какой ты всё-таки зануда!
А ты бери пример с меня:
Ведь не было такого дня,
Чтоб не ждала его у двери.
Учись же на моём примере.
Уже здоровье – никуда,
Уже с коленями беда,
Уже давление за двести,
А я всё жду счастливой вести.

2013

О ТОМ, О СЁМ:
РЕЧНЫЕ МАРШРУТЫ

Счастье - это глухая, ночная река,
По которой плывём мы, пока не утонем,

На обманчивый свет огонька, светляка...
(Г. Иванов)

Мы забываем, что влюблённость
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.
(В. Набоков)

Если верить поэтам, счастье (а влюблённость - один из его синонимов) - это река. Глухая, бездонная, ночная. Ночная - так как именно ночью особенно ярок обманчивый свет, на который плывём.

Но почему же влюблённость вызывает панику? Потому, наверное, что любовь - это яркая вспышка, жар у самого лица, из-за которых нарушается привычный ритм, сбивается дыхание, движения становятся судорожными и беспорядочными, что вовсе не помогает держаться на плаву. Отсюда и паника. Но, к сожалению или к счастью, этот сбой длится одно мгновение. Свет гаснет, и становится темней, чем прежде. Наступает такая темнота, в которой еще не скоро начинаешь различать хоть что-нибудь светлое. Вот почему СЧАСТЬЕ имеет ещё один синоним - "ледяное, волшебное слово: ТОСКА". Между счастьем и тоской, тоской и любовью - такой ничтожный зазор, что даже запятую негде поставить и впору прочесть все три слова как одно.

Когда гаснет свет, и обступает тьма, всё прожитое повисает камнем на шее, пытаюсь утянуть вниз, на дно. Хотя опять-таки, если верить поэтам, река, по которой плывём, - бездонна. Выходит, что не только огни обманчивы, но и дно - мираж, и путь на дно бесконечен.

Впрочем, "не верь, не верь поэту, дева". Он то и дело противоречит сам себе: то называет реку ночной и бездонной, то рисует более светлую картинку:

Голубая речка
Предлагает мне
Тёплое местечко
На холодном дне.
(Г. Иванов)

Так или иначе, но кроме двух уже упомянутых направлений - вперёд к туманным огням и вниз на дно, если таковое имеется, - существует третье: путь назад, в прошлое. Путь этот (который проходим только мысленно) - заманчив, потому что всегда есть на что оглянуться, и обманчив, потому что "Не возвращаемся назад. / Нам только мнится, что вернулись...". Наши воспоминания - лишь фантазии на тему прошлого и мало соответствуют тому, что происходило на самом деле. Хотя что такое НА САМОМ ДЕЛЕ и существует ли что-нибудь кроме наших представлений и фантазий? Вопрос этот до того банален, что за него надо наказывать также беспощадно, как за рассказанный прилюдно старый

анекдот. Но что делать, если наша жизнь в основном состоит из банальностей. Бояться их, всё равно что не жить.

Итак, вперёд, к новым миражам! Назад, к старым! Да здравствует река - глухая, ночная, голубая - любая, по которой плывём, плыли и будем плыть, пока не утонем.

И всё же, что заставляет нас оглядываться? Неужели огни отсветившие привлекательнее мерцающих вдали? Не привлекательнее, а милее. "Что пройдёт, то будет мило". Почти век спустя Александру Сергеевичу вторили другие:

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт как с белых яблонь дым...
(С. Есенин)

Не жди, не уповай, не верь.
Всё то же будет, что теперь.
(Вл. Ходасевич)

Ох уж, эта лукавая многожды повторённая частица "НЕ", настойчиво отрицающая отрицание. "Жалею, зову, плачу, - слышит читатель, - жди, уповай, верь".

Ты плачешь в зимней темени
О том, что жизнь проходит,
А мне не жалко времени
Пусть оно уходит...
(Вл. Соколов)

Жалко, жалко, остановись, мгновенье, не уходи, стой!

В моём детстве был такой странный обычай: стоило кому-нибудь из ребят произнести слово "жалко", как тут же какой-нибудь ехидный детский голосок скороговоркой парировал: "Жалко у пчёлки, а пчёлка в лесу". Так у меня и связались на всю жизнь слова "жаль, жалко" с чем-то, жалящим в самую душу.

Мне жалко юности вчерашней
И обстановки той домашней...
(М. Рихтерман)

- прямо, без обиняков произнёс молодой смертельно больной поэт, проводший последние несколько лет своей жизни в больничных стенах. Он обошёл без лукавого "не", подсознательно следуя принципу, сформулированному автором мудрой книги "Голос из хора": "Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка".

Жизнь коротка, а река жизни бесконечна. Её не переплыть, из неё не выбраться, в неё лишь можно уйти с головой.

Хотя иногда кажется, что существует ещё одна возможность:
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ПОТОКА, ВЗМЫТЬ НАД НИМ,

ВЗГЛЯНУТЬ НА НЕГО СВЕРХУ. На это, по-моему, был способен тот, кто написал о своём герое: "Он, например, ходил не как все: ступая, особенно приподнимался на упругой подошве: ступит и взлетит, точно на каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное поверх заурядных голов." Набоков. Хотя он и плыл подобно каждому из нас по ночной глухой реке жизни, (а значит, знал и отчаяние, и усталость), но плыл не как все: проплывёт и взлетит. Как ему это удавалось? Трудно сказать. Возможно, он изобрёл свой особый стиль плавания, эдакий набоковский баттерфляй, позволяющий, сделав мощный рывок, зависать над рекой. Может быть, он силой своего воображения умел создавать ему одному ведомые острова, чтоб, выбравшись на них, наблюдать за плывущими в потоке. Так или иначе, но он был не столько увлекаем рекой, сколько увлечён ею, не столько поглощаем, сколько поглощён, захвачен её мощным течением, зигзагами и водоворотами. И не как пожизненный пленник реки, а как участник и соучастник её безумных и опасных игр. А, возможно, и как демиург, пробующий влиять на её течение и русло.

"Тщетные эксперименты, вызывающие лёгкое головокруженье, непривычное смещение пространства...", - признаётся он. "Человек никогда не будет властителем времени - но как заманчиво хотя бы замедлить его ход, чтобы не спеша изучить этот тающий оттенок, этот уходящий луч, эту тень, чей ускользающий бархат недоступен нашему осязанию". "Тщетные эксперименты", - говорит он, буквой и духом своих вещей утверждая обратное.

"Я хочу выйти из моего времени...", - пишет он. И выходит, осязая "снег прошлого" и капли ещё не пролившегося дождя. Выходит сам и выводит нас.

Нет, он не сверхчеловек, иначе бы он ничего не знал о ночной панике пловца. Иначе бы он никогда не написал следующего: "Моя жизнь - сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький безумный мгновенный привет".

Он - не сверхчеловек. Он смертен, но почему-то кажется, что он не захлебнулся в реке жизни, а взмыл над ней, следуя пушкинскому:

Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
1997

11 мая 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 18 мая. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «И всем, чем дышалось...»

Чем живу? Чем дышу? – Я летаю, пою.
А на что я живу? – Я уроки даю.
Я уроки даю и подросткам и детям,

На вопрос: «Как живешь?» по-английски ответим.
Я и кратко и полно учу отвечать.
А не будет уроков – не буду скучать.
Буду целые дни говорить с небесами,
Веря в то, что рубли прибегут ко мне сами.

2013

«...Уйдёт, а я останусь!»
Вл. Соколов
Меня волнует времени походка:
Оно то мчится, то ступает кротко
И медленно, а то опять бежит.
Короче говоря, оно блажит,
То нежно улыбается кому-то,
То ненавидит яростно и люто,
И шанса не даёт ни одного.
Я не хочу зависеть от него,
Ему глядеть предпочитаю в спину
И знать: оно уйдёт, а я не сгину.

2013

Вы молодцы, деревья, воробьи,
Собаки, травы. Знали, где селиться.
Да здесь сам Бог велел вам веселиться.
Ведь он сказал когда-то: возлюби.
И возлюбили. Холят вас и чтут,
Вниманием, заботой окружают
И в самых чистых водах отражают.
И я на время поселилась тут,
Чтоб отдохнуть от гибельных широт,
Плодящих щедро нищих и сирот.

Голландия, май 2013

Брюгге

Прости ты мне визит мой слишком краткий.
Я так хочу понять твои повадки,
Все сорок восемь мостиков пройти
И потаённый дворик твой найти,
И вникнуть во вкрапления столетий.
Но у меня три дня. Сегодня третий.
И он уйдёт, как предыдущих два,
Позволив по тебе скользнуть едва,
Скользнуть едва почти влюблённым взглядом,
Как и бывает в жизни сплошь да рядом.

2013

О ТОМ, О СЁМ:
И ВСЕМ, ЧЕМ ДЫШАЛОСЬ...

Когда я думаю о каком-нибудь поэте, то в памяти моей (правда, весьма слабой на стихи) прежде всего возникают не строки, а звучание, не слова, а мелодия, ритм, наиболее характерные для поэта. При мысли о Пастернаке слышу вот что: "та-та-ТА-та-та ТА-та-та та-та-ТА-та-та ТА-та...". Слова вертятся в голове, но, лишь порывшись в сборнике, могу их воспроизвести:

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка...

А иногда звучит совсем другое: "та-ТА-та-та та-та-та-ТА та-ТА-та-та та-ТА та-ТА-та...". Что это? Беру в руки книгу и, полистав, читаю:

В московские особняки
Врывается весна нахрапом,
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки...

Пастернаковская музыка богата и разнообразна, но она всегда пастернаковская, и, слыша ее, чувствую, пользуясь словами другого поэта, "сердцебиение при звуке". И вовсе не потому, что Пастернак для меня самый-самый. У меня не было с его поэзией того романа, какой был в 71-ом с Заболоцким или позже с Г.Ивановым. Напротив, я никогда не могла читать его подряд, быстро уставая от бешеного напора и густой образности. И, тем не менее, он - часть меня.

Кто-то сказал, что невозможно по-настоящему понять поэта, не пожив в его родных краях, не подышав тем воздухом, каким дышал он. Возможно, это преувеличение, но доля истины здесь есть. Пастернаковская поэзия, его московское аканье, его многочисленные гласные, похожие на распахнутые окна, в которые "врывается весна нахрапом" или бесшумно влетает тополиный пух - это мое московское и подмосковное детство, моя ранняя юность с ее романтикой, захлебом и мгновенными перепадами настроения.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.
Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят...

Летом 54-го года мы снимали дачу в Переделкине неподалеку от писательского городка, и почти каждый день я приходила на тихую улицу Павленко, чтобы там, не опасаясь машин, учиться кататься на велосипеде. Я доезжала до трансформаторной будки, неуверенно разворачивалась и ехала обратно мимо дачи Пастернака до конца аллеи. И так - много часов подряд. Что я знала тогда о поэте, чью улицу изучила до мельчайших подробностей? Да ничего существенного. Только то, что он известный, что в нашем книжном шкафу стоят его сборники, что катаюсь мимо его дачи. Причем с каждым разом все ловчей, быстрее, уверенней. И в конце концов я, как птенец из гнезда, вылетела с тихой и безопасной улицы Павленко на простор, чтоб, пытаюсь опередить поезд, с ветерком промчаться по откосу на станцию и встретить маму.

В том же 54-м, когда мы с мамой прогуливались под летним дождиком, нашу тропу пересек человек в плаще и резиновых сапогах. Мама быстро сжала мне руку, как она всегда делала, когда хотела незаметно привлечь к чему-то или кому-то мое внимание. "Корней Иванович", - крикнул человек в плаще, подойдя к забору дачи Чуковского. "Пастернак", - шепнула мама, когда мы отошли на несколько шагов. Вот, собственно, и все мои ранние впечатления, связанные с Пастернаком. Мало? Мало. Но и бесконечно много, если учесть восприимчивый полудетский возраст. Эти "мимолетности" очнулись во мне позже, когда я, сняв с нашей полки сборник, наконец-то прочла:

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всею далью беспредельной...

Но, как выяснилось много лет спустя, в конце 70-х, с поэзией Пастернака меня связывало нечто гораздо большее, чем полудетские впечатления. Оказывается, "сердцебиение при звуке" - это у меня от отца, которого я не знала: уйдя добровольцем на фронт, он погиб в 42-ом. Трагические обстоятельства его гибели, как и многое другое, стали мне известны по чистой случайности: я встретила человека, который учился с отцом в лит.институте и работал с ним в армейской газете. "В день моего рождения, - вспоминал он, - Миша подарил мне книгу стихов Пастернака в серо-голубом супере. Я не хотел брать, потому что это была единственная книга, которую Миша взял на фронт. ""Бери", - настаивал он, - "Из этой книги я всё помню наизусть, а ты нет.""". О любви отца к поэзии и, в особенности, к Пастернаку рассказывали мне все, с кем я о нем говорила. "Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще - поэзию в ее лучших, величайших проявлениях", - писал мне его бывший сокурсник. "Миша был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть... А Пастернаку готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно", - вспоминал другой его приятель.

Не потому ли у меня и не случился роман с Пастернаком, что отец "переболел" им еще до моего рождения, оставив мне лишь память об этой "высокой болезни"? Не потому ли я не помню стихов наизусть, что их слишком хорошо помнил отец? Настолько хорошо, что это мешало ему писать собственные, которые он никогда никому не показывал, а впоследствии уничтожил? Не завещал ли он мне, памятуя о своем горьком опыте, это странное свойство - забывая слова, помнить звук?

Поэзия Пастернака - это молодость моих родителей, безумная любовь отца к маме, любовь, толкнувшая его на гибельный шаг: ради встречи с мамой он, воспользовавшись тем, что газета, в которой он работал, перестала выходить (в типографию попала бомба), приехал на несколько дней в Москву. Эта самовольная отлучка могла остаться незамеченной, но в силу ряда обстоятельств не осталась. Отца отдали под трибунал, судили, приговорили к расстрелу, а спустя девяносто дней, заменили приговор десятью годами с пребыванием на передовой, где отец и погиб 26-го ноября 42-го года.

"Ты - благо гибельного шага", - написал Пастернак в 49-м, но я читаю эту строку так, будто она - об отце, о любви, стоившей ему жизни.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Всё равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски...

А это - о маме. О моей лукавой, взбалмошной, веселой, несчастной маме, которая любила, забравшись с ногами на диван, помечтать вслух, пофантазировать. Ну хотя бы о том, как в один прекрасный день ей, отлученной в эпоху космополитизма от журналистской работы, вдруг каким-то чудом снова удастся оказаться в своей стихии. И если во время этих грёз раздавался телефонный звонок, мама, сняв трубку, произносила коротко и по-деловому: "Редакция!". Конечно же, это была игра, театр для себя, без которого она не могла жить.

30 мая - день маминого рождения, праздник, который всегда отмечался пышно. Хотя бы потому что комната была заставлена пышными букетами сирени. 30 мая - это гости, звонки, поздравления, музыка, застолье. Так было каждую весну. Так было и в 60-м. Но на следующий день на столе, с которого еще не успели снять праздничную скатерть, появилась газета, извещавшая о смерти члена литфонда Пастернака Б.Л. Все смешалось для меня: день рождения, день смерти, ощущение праздника, чувство утраты, поздравительные звонки и звонки, несущие скорбную весть. И все это на фоне сирени - густой, белой, темной, душистой.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой...
Для этого весною ранней

Со мною сходятся друзья,
И наши вечера - прощанья,
Пирушки наши - завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

Отец, его любовь и гибель, мамины фантазии, ее праздники, ее сирень... При чем здесь Пастернак? Да при всем. Потому-то и возникает у меня особое щемящее ностальгическое чувство, когда я попадаю в его ауру, в его звуковое поле. Именно звуковое, так как звук - первичен. На этом настаивают сами поэты:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...
О. Мандельштам

Эта тайна та-ТА та-та-ТА-та та-ТА,
А точнее сказать я не вправе...
В. Набоков

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, - а слова
Являются о третьем годе...
Так начинают жить стихом.

"Тьма мелодий", глубины памяти, колодец времени - все это поток жизни, неиссякаемой и вечной, как стихи.

1997

4 мая 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 11 мая. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «Как быть живым до самой смерти?»

Ах, апрель, звуковая дорожка!
Жизнь из всячины всякой крошка.
Коль дорожкой идёшь звуковой,
То не сделаешь шаг роковой –
Только лёгкий, спасительный, верный,
Приближающий рай эфемерный.

2013

Мне кем-то приходится этот апрель –
Какой-то родней – коль не ближней, то дальней.
Я тоже пою, но апрель музыкальней,
Способен он вывести дивную трель.
Мы оба взыскуем ветров, перемен,

Высокой воды, прихотливой и бурной,
И мы интерес не преследуем шкурный
И знаем, что это даётся в обмен
На наше присутствие в этих краях,
Где праздники жизни, её вечеринки,
Её завихрения, всплески, новинки –
Со смертью, со смертью всегда на паях.

2013

Крылья-то есть, только я временами не в силах
Ими взмахнуть, и тогда похожу на бескрылых.
Но и когда два бессильных крыла за спиной,
Небо, я верю, не хочет расстаться со мной,
Небу, по-моему, сильно меня не хватает,
Даже когда много стай легкокрылых летает.
Может быть, мне удавалось сказать на лету
Что-то такое про общую нашу тщету
И маету, что ему ещё не говорили
Те, что в его бирюзе и лазури парили.

2013

Но жизнь ведь должна отличаться от смерти.
А как отличается ваша? Проверьте:
Как мягкое небо от жёсткой земли?
От мрака – окошко, что светит вдали?
Как щедрый – от ждущего лёгкой наживы?
Проверьте скорей – вы действительно живы?

2013

О ТОМ, О СЁМ:
КАК БЫТЬ ЖИВЫМ ДО САМОЙ СМЕРТИ?

“Поэта - далеко заводит речь”. Бывает, что и за пределы земного существования:

Я - груз, и медленно сползаю в ночь немую;
Растёт, сгущается забвенье надо мной...
О, ночь небытия! Возьми меня... я твой...

Поэты часто пишут о смерти, но есть нечто куда более проблематичное, чем смерть физическая - небытие при жизни. То есть, смерть души - субстанции, на бессмертие которой мы всегда уповаем. Душа, Психея, чья жизнь не прекращается даже с умиранием плоти, вдруг находясь внутри живого существа, перестаёт откликаться на “призывы бытия”.

Страсть? А если нет и страсти.
Власть? А если нет и власти
Даже над самим собой?

Что же делать мне с тобой?

Кабы знать, что это лишь мёртвый сезон, за которым последует новая жизнь. Тогда и “ледяная броня” не столь уж страшна и даже можно обратиться к ней с приветствием:

Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,
Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!

Казалось бы, избавившись от бремени страстей, душа получает ту свободу, которую и не чаяла обрести на земле. Не об этой ли свободе мечтал поэт, когда писал:

О, дайте вечность мне, - и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Но он же не менее страстно молил совсем о другом:

О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнём или сгореть в огне!

Поди - пойми чего он хочет: страстей? Свободы от них?

Душа, переставшая откликаться на земные сигналы - мёртвая душа. Поэт слишком хорошо знает, что такое жизнь, чтоб принять за неё инерцию существования. Если раньше он испытывал “бессмысленную жажду чуда”, то теперь ему кажется бессмысленной сама эта жажда. Если раньше он даже в самую мрачную пору способен был расслышать “биенье совсем иного бытия”, то теперь ему и земное бытие едва внятно. Если раньше он каждой клеточкой чувствовал “этой жизни нелепость и нежность”, то теперь видит одну нелепость. Пока жива душа, бессмыслица, нелепость, безнадежность - всё может стать источником вдохновения. “Но люблю я одно - невозможно,” - писал поэт. Странное, на первый взгляд, признание. Но только на первый. Невозможно - значит, недостижимо. А что недостижимо, то желанно. И чем недоступней, тем желанней. Мёртвое бытие не знает желаний. Оно знает лишь мёртвую тишину.

Не Божья ли это кара за то, что ещё недавно поэт был слишком живым, живым сверх всякой меры?

Не человек и не смятенье:
Бог, повергающий богов.

Бог, творящий музыку:

Но за величие такое,
За счастье музыкою быть

приходится расплачиваться тем, что

новый день беззвучен будет, -
Для сердца чужд, постыл для глаз,
И ночь наставшая забудет,
Что говорила в прошлый раз.

Но если поэт в какой-то миг и чувствовал себя Творцом, то не по своей, а по Божьей воле. И созидательное пламя, которое его сжигало, разгорелось из Божьей искры. А если так, то оцепенение души - не кара, а лишь естественное следствие созидательного ража. Один Бог неисчерпаем, лишь Его энергия неиссякаема. Смертный потому и смертный, что ему положены рамки. Они у каждого свои. Один живёт до самой смерти, а другой ещё при жизни обречён на "ужас нежитья". Оказывается, это совсем не просто –

Быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Но как быть тем, кто не удостоился этой милости? Что делать, если

Жизнь кончилась, а смерть ещё не знает
Об этом. Паузу на что употребим?

Как держать, вернее, как выдержать такую паузу? Может быть, попытаться вести посмертный дневник, аккуратно записывая реакции, вернее, отсутствие реакций оцепеневшей души: "Не обижаясь, не жалея, не вспоминая, не грустя..." А вдруг это странное занятие, опровергающее общее мнение, что мёртвые не говорят, подействует на не подающую признаков жизни душу, как искусственное дыхание. А вдруг она очнётся и рядом с записью: "Не обижаясь, не жалея, не вспоминая, не грустя..." появятся совсем другие строки: "Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась".

1997

27 апреля 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 4 мая. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «Читая Газданова»

Закрyla дверь, а всё равно сквозит,
Как будто дверь закрыла я неплотно,
И некто, заглянувший мимолётно,
Мне чем-то непредвиденным грозит.
И не пойму – я рада или нет
Тому, что кто-то бестелесный дышит,
Что занавеску сквозняком колышет,
Колёбля неокрепший вешний свет.

2013

О Господи, на что купилась!
На то, что небо не скупилось
На синеву, на то, что свет,
Сходя по осени на нет,
Готов в апреле возродиться,
На то, что каждый куст глядится,
Как в зеркало, в любой ручей.
Ловя обрывки всех речей
И в жизнь вцепившись мёртвой хваткой,
Рифмую всё и вся украдкой.

2013

Да я, наверно, местная элита -
Меня сопровождает птичья свита
И ублажает мой капризный слух,
И поднимает мой упавший дух,
И холит, нежит лучшую из маний –
Писать стихи, и шлейф воспоминаний
За мной несёт весенний ветерок
По месиву подтаявших дорог.

2013

Я так устала уставать,
Я так устала отставать
От тех, кто ходит быстрым шагом,
Что я считать решила благом
Свою походку. Вдруг она
Мне только для того дана,
Чтоб из-за вечной проволочки
Нескоро я дошла до точки.

2013

Я тоже при деле. Я свет охраняю.
Я тень, чтоб не застить его, не роняю.
На страже у света упрямо стою,
Его убивать никому не даю.
И так я давно белый свет защищаю,
Что даже сама кое-что освещаю.

2013

О ТОМ, О СЁМ:
ЧИТАЯ ГАЗДАНОВА

Читая Гайто Газданова, я вижу, как настойчиво он ищет ЖИВЫХ среди тех, с кем его сводит судьба. Он их находит, но какие же они странные - эти живые. Вот некто Федорченко, который многим казался туповатым, скупым и занятым исключительно материальной стороной жизни. Он таким и был, пока вдруг с большим опозданием не

заболел отроческими вопросами: "Зачем я существую на свете? Что будет со мной, когда я умру...? Зачем небо над головой и зачем вообще все?". Он по-детски требовал ответа, а убедившись, что ответа нет и не будет, зачих и свел счеты с жизнью.

Вот Павлов, поначалу производивший впечатление человека равнодушного и невозмутимого. Автор наверняка зачислил бы его "в мертвые", если бы однажды не услышал от него страстную исповедь. Оказывается, "он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть" - он безумно - еще с российского детства, когда катался на лодке по реке, любил лебедей. Прочтя о них все, что было можно, он выяснил, что на внутренних озерах Австралии водится особая порода лебедей - черные лебеди. "На внутренних озерах Австралии", - мечтательно повторял Павлов. "И он говорил о небе, покрытом могучими черными крыльями, - это какая-то другая история мира, это возможность иного понимания всего, что существует, - говорил он, - и это я никогда не увижу". Павлов не поехал в Австралию, боясь не найти там того, что искал. Вне этой странной мечты жизнь представлялась ему пустой и ненужной. У него, как и у Федорченко, оказалась "опухоль в душе", причем злокачественная и несовместимая с жизнью.

Чем дольше читаешь Газданова, тем больше втягиваешься в поиск живой души. "Самое главное - это то, что каждый человек может и должен летать", - внушает автору маленький, худой карикатурного вида старичок с громадными усами. Он, как и автор, работал шофером парижского такси, но все свободное время тратил на изобретение летательного аппарата. Близкие его не понимали, и ему приходилось трудиться в очень неудобных условиях в уборной. "Я уже давно работаю над этим, и рано или поздно полечу, и вы это увидите". Он даже показал собеседнику как это будет выглядеть. Старичок "наклонился налево, вытянув во всю длину обе руки так, что они образовывали одну линию, - пишет Газданов, - и вдруг, подпрыгивая, мелкими и быстрыми шажками, побежал прочь от меня по тротуару". Сумасшедший, конечно. Но жить ведь тоже безумие.

Среди множества людей, с которыми судьба сводила русского эмигранта Газданова, долгие годы просидевшего за баранкой и исколесившего весь Париж, ЖИВЫЕ встречались куда реже, чем люди, которых отличала "какая-то удивительная и успокаивающая тусклость взгляда". Газданов невероятно внимателен к чужим глазам. Непроницаемой пленкой покрыты глаза неправдоподобной красавицы Алисы. Он не ошибся, когда при первом же знакомстве решил, что она неживая. Позже она сама призналась ему, что не знала ни любви, ни страсти, ни ненависти, ни гнева, ни сожаления. И даже заниматься любовью ей было невероятно скучно. "Я бы хотела спокойно лежать", - призналась она однажды. У Газданова мертвые души почти всегда живучее живых. Живые же, как правило, обречены. Обречена Жанна Ральди, некогда самая очаровательная женщина парижского полусвета, чьи глаза даже в старости поражали удивительной нежностью. Она обречена на нищету и одиночество. Ее прежняя жизнь - "это слезы, волнения, дуэли, объятия, стихи и готовность отдать все за ослепительное

счастье, которого в конце концов не существовало." Невольно вспоминается пушкинское "Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде..." Ральди была настолько живой, что оживляла даже дряблые души, которым до конца дней не удавалось забыть ее.

Почему же все газдановские живые обречены? Потому, наверное, что зациклены на чем-то одном. Федорченко зачарован открывшейся его взору бездной и погибает, не выдержав ее устрашающей близости. Ральди зачарована чувственной стороной жизни. Ее внутреннего огня хватало на то, чтоб зажечь других, но она не заботилась о том, чтоб сберечь хоть искру "на черный день" и умерла в ледяном одиночестве (и только лишь тогда глаза ее покрыла та непроницаемая пленка, которую столь часто наблюдал Газданов у якобы живых). Павлов зачарован видением черных лебедей, чью иллюзорность он сам отлично признавал. Карикатурный старичок помешан на полетах и тоже плохо кончит. Ну а кто кончает хорошо? Важно только, чтоб смерть наступила после жизни, а не после вялотекущего существования, мало отличающегося от небытия. Газданов любит всеми этими нелепыми, полупомешанными, иногда смешными, но вполне живыми людьми. Он, несмотря на внешнюю сдержанность стиля и кажущуюся отчужденность, - романтик и зачарован крайностями: страстью и бесчувствием, атрофией души и душевной агонией, физическим совершенством и умственным убожеством, жизнью и смертью. А нет ли чего-нибудь посередке? Но срединные вещи противопоказаны романтику. К тому же крайности сильнее впечатляют. Вот не идет же у меня из головы последняя реплика Павлова, который накануне заранее спланированного им самоубийства, прощаясь на одной из парижских площадей со своим единственным конфидентом, кричит ему вслед своим «спокойным, смеющимся голосом: "Вспомните когда-нибудь о черных лебедях!"».

1999

20 апреля 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 27 апреля. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «РОЗА РОЗЕ РОЗНЬ: 1. Анатолий Штейгер и Георгий Иванов. 2. Пять строк, продленных долгим эхом»

Сияет призрачная парга,
В лучах исчезнувшего марта
Щербинка каждая видна.
Я достаю их все со дна,
Со дна души, где уместилось
Всё то, с чем я давно простилась,
Ну, например, тот первый класс,
Где сорок девять было нас.
Тогда весна была в зачатке,
А я сидела «на камчатке»,
То бишь последняя в ряду,
Совсем не склонная к труду,

К тому, чтоб палочки с наклоном
Писать под вешним небосклоном,
Что посылал в окно лучи.
Ах, жизнь, учи меня, учи –
Нет, не тому, как быть прилежной,
А как любить твой свет безбрежный.
2013

Иди сюда, день, я тебя обниму,
Приходу так радуюсь я твоему,
Как будто всё время тебя лишь ждала,
Хотя до тебя я с другими жила,
Любила другие и звуки и тишь.
Но ты ведь простишь меня, верю, простишь,
Не станешь ведь чёрным, как ночь, как беда,
Чтоб я не забыла тебя никогда.
2013

Что не смогли сказать слова,
То музыка договорила
И жить меня уговорила,
И, кажется, она права.
И доводы её ясны,
Хоть повторить я их не в силах.
Там что-то есть о легкокрылых,
О горьких запахах весны.
2013

Ах, время, постой, погоди, не беги.
Довольно наматывать слепо круги,
Оставь же ты нас хоть на время в покое,
Да что ж это ты шебутное такое?
И кто поселил в тебе этот заряд?
Да стой же спокойно, тебе говорят.
2013

Что ж, будем дальше умолять
Упёртых и неумолимых,
И будем дальше утолять
Печали душ неутолимых,
Пытаясь миг приворожить
Шальной, утешить безутешных.
А чем ещё дышать и жить,
Скажите, на широтах здешних?
2013

О ТОМ, О СЁМ:

РОЗА РОЗЕ РОЗНЬ

1. Анатолий Штейгер и Георгий Иванов.

Читая подборку Анатолия Штейгера, удивляешься тому, как он похож на Георгия Иванова: и образы те же и темы:

"Мы говорим о розах и стихах,/ Мы о любви и доблести хлопочем,/ Но мы спешим, мы вечно впопыхах, - / Все на бегу, в дороге, между прочим..." (А.Штейгер).

"Ты прожил жизнь, её не замечая,/ Бессмысленно мечтая и скучая -/ Вот, наконец, кончается и это.../ Я слушаю его, не отвечая,/ Да он, конечно, и не ждет ответа." (Г.Иванов).

"В сущности, так немного/ Мы просим себе у Бога:/ Любовь и заброшенный дом,/ Луну над старым прудом/ И розовый куст у порога..." (А.Штейгер).

"Я хотел бы улыбнуться,/ Отдохнуть, домой вернуться.../ Я хотел бы так немного,/ То, что есть почти у всех,/ Но, что мне просить у Бога/ И бессмыслица и грех." (Г.Иванов).

И даже интонация у этих двух поэтов нередко совпадает: "Крылья? Обломаны крылья,/ Боги? Они далеки./ На прошлое - полный бессилья/ И нежности взмах руки..." (А.Штейгер).

"Страсть? А если нет и страсти./ Власть? А если нет и власти/ Даже над самим собой?/ Что же делать мне с тобой?..." (Г.Иванов).

Примеры совпадения можно множить и множить. Эта похожесть интригует, заставляя повнимательнее вчитаться в строки обоих поэтов, чтоб понять, почему в одном случае розы, звезды, соловьи становятся нетленными строками, а в другом грамотными стихами, представляющими скорее академический интерес. "Не до стихов... Здесь слишком много слез,/ В безумном и несчастном мире этом./ Здесь круглый год стоградусный мороз -/ Зимой, осенью, весной, летом..." (А.Штейгер). Штейгер серьезен, всегда серьезен. Его слово значит только то, что значит, в то время как слово Г.Иванова многослойно, многозначно и, при кажущейся простоте и даже простоватости, переливчато и лукаво: "Поэзия: искусственная поза,/ Условное сиянье звездных чар,/ Где, улыбаясь, произносят - "Роза"/ И с содроганьем думают "Анчар"/ Где, говоря о рае, дышат адом/ Мучительных ночей и страшных дней./ Пропитанных насквозь блаженным ядом,/ Проросших в мироздание, корней." (Г.Иванов).

Розы Г.Иванова имеют сложный запах - душистый и удушливый, нежный и ядовитый, едва уловимый и резкий. И обращается он с ними весьма вольно: то закинет за облака, то выбросит в помойное ведро, то заплетет ими "яму, могильных полную червей". Поэт свободен и непредсказуем: может начать за здравие, а кончить за упокой, и наоборот. Его поступь легка. За ним невозможно не последовать, хотя никогда не знаешь куда угодишь - в "синее царство эфира", "в холодное ничто", "в неземное сияние" или просто-напросто плюхнешься рыбкой на сковороду, где нежно кипит масло. Той самой рыбкой, что попала на серебряный крючок игривых речей поэта. И как не попасться, если все "так мгновенно, так прелестно/ Солнце, ветер и вода...". И откуда знать,

что последует дальше. А дальше вот что: "Даже рыбке в речке тесно./
Даже ей нужна беда./ Нужно, чтобы небо гасло./ Лодка ластилась к воде./
Чтобы закипало масло/ Нежно на сковороде."

Читая эти легкомысленным тоном произнесенные строки и вспоминая тяжеловесное штейгеровское высказывание - "Здесь должен прозой говорить всерьез/ Тот, кто дерзнул назвать себя поэтом" - видишь, что между двумя, на первый взгляд, похожими поэтами - пропасть. Даже в лучших стихах А.Штейгера слово лежит на листе бумаги недвижимо. Само не шелохнется и соседа не тронет, вступая с ним лишь в пресную грамматически правильную связь: "Пройдут года, и слабо улыбнусь/ Холодными и бледными губами./ Мой нежный друг, я больше не вернусь/ На родину, покинутую нами." Все так, все на месте, а, значит, не на месте и не так. "Так" - это когда вот как: "Потеряв даже в прошлое веру,/ Став ни это, мой друг, и ни то/ Уплываем теперь на Цитеру/ В синеватом сиянье Ватто.../ Грусть любит лунным пейзажем./ Смерть, как парус, шумит за кормой.../ Никому ни о чем не расскажем./ Никогда не вернемся домой." (Г.Иванов).

Весь присутствующий здесь романтический набор поэт использует самым неожиданным образом: грусть у него любит лунным пейзажем, смерть шумит, как парус. Сближение далековатых вещей, столкновение удаленных друг от друга понятий, стыковка нестыкуемого - в этом весь Г.Иванов. Все, что попадает в его стихи, терпит превращение, движется, дышит, как мартовский снежный наст под солнечными лучами: наступишь на него, а по нему будто дрожь прошла, он оседает, проваливается, ускользает.

Интонация Г.Иванова бесконечно меняется. И когда после строк "Ку-ку-реку или бре-ке-ке-ке?/ Крыса в груди или жаба в руке?/ Можно о розах, можно о пне./ Можно о том, что неможется мне...", - читаешь совсем другие - трезвые, горестные - эффект поразителен "Я жил как будто бы в тумане./ Я жил как будто бы во сне./ В мечтах, в трансцендентальном плане./ И вот пришлось проснуться мне./ Проснуться, чтоб увидеть ужас./ Чудовищность моей судьбы./ ...О русском снеге, русской стуже.../ Ах, если б, если б... да кабы..."

Даже называя вещи своими именами, Г.Иванов предпочитает не договаривать, обрывает себя на полуслове в отличие от Штейгера, который все договаривает до конца, прямо и без обиняков, не уходя от темы, не отклоняясь от генеральной линии: "Какая власть, чудовищная власть/ Дана над нами каждому предмету.../ Как беззащитен, в общем, человек./ И как себя он, не считая, тратит..." Штейгер, как и Г.Иванов, употребляет слово "чудовищный", но в "мертвом" окружении оно "не работает" и становится такой же "окаменелостью", как все, что до и после. И когда среди всей этой "недвижимости" натыкаешься на нечто живое, когда среди стихов О любви, О смерти, О боли, О тоске вдруг возникает САМА любовь, САМА боль, САМА тоска, короче, когда (пользуясь строкой Г.Иванова) "вдруг появляются стихи - / Вот так... Из ничего...", это воспринимаешь, как "невозможное чудо":

У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: - Да, увы,
Любили... как ещё любили!..

2. Пять строк, продленных долгим эхом.

Это пятистишие впервые попало мне на глаза несколько лет назад. Имя Анатолия Штейгера я никогда до того не слышала и стихов его не читала. Это короткое стихотворение так меня поразило, что я немедленно прочла его по телефону своей знакомой, которая, впрочем, отнеслась к нему весьма скептически. «Почему "не поднимая головы" - спросила она, - и почему "увы, любили"? Автор что - жалеет об этом?». Я не нашла, что ответить, да и не особенно хотела затевать спор. Мне просто было досадно, что стихи, которые меня "зацепили", ее не тронули. Я и сама понимала, что они далеки от совершенства. Видела слабые рифмы (грешили - любили), два слипшихся и от того неприятно свистящих "С" (нас спросят), печально знаменитых "львов" (любили ль вы?), которыми попрекали еще Пушкина (помните: «Слыхали ль вы за рошей глас ночной...?»), - и все же не могла равнодушно читать эти строки. Мне хотелось отыскать другие стихи Штейгера. И наконец в 3-ей книге "Антологии поэзии русского зарубежья", изданной в 94-ом году, я нашла его большую подборку, а в ней несколько стихотворений, которые хотелось запомнить. Ну хотя бы такое (привожу лишь одну строфу):

Я выхожу из дома не спеша.
Мне некуда и не с чем торопиться.
Когда-то у меня была душа,
Но мы успели с ней наговориться...
Или четверостишие из цикла "Кладбище":
Преступленья, суета, болезни,
Здесь же мир, забвение и тишь.
Ветер шепчет: - Не живи, исчезни,
Отдохни, ведь ты едва стоишь.

Были и другие стихи, поразившие точностью, чистотой, глубиной. И все же ТЕ ПЯТЬ СТРОК не только не померкли на общем фоне, но показались еще загадочней и притягательней. Я лишний раз убедилась в том, что они меня не случайно приворожили. Но что сыграло роль приворотного зелья? Естественность интонации? Но она свойственна почти всем стихам Штейгера. И тут я вспомнила, как читала эти строки своей приятельнице, вспомнила ее недоумение и свою досаду. "Почему? - вопрошала она, - Почему то? Почему это?" Я не стала ей тогда отвечать. Но могу ли я объяснить сегодня самой себе, в чем магия этих пяти строк, состоящих из обыкновенных, вполне банальных и даже не лучшим образом срифмованных слов? У Штейгера есть куда более совершенные стихи:

Бывает чудо, но бывает раз.
И тот из нас, кому оно дается,
Потом ночами не смыкает глаз,
Не говорит и больше не смеется.

Он ест и пьет - но как безвкусен хлеб...
Вино совсем не утоляет жажды.
Он глух и слеп. Но не настолько слеп,
Чтоб ожидать, что чудо будет дважды.

Эти восемь строк крепче сбиты, прочнее сцеплены, чем поразившее меня пятистишие, но они лишены того обнаженного чувства, той боли, от которой становятся непослушными губы и затрудненной речь. Штейгеровское пятистишие уникально тем, что его недостатки обернулись достоинствами. Слабые рифмы, слипшиеся согласные, неловкие созвучия заставляют острее почувствовать, как мучительно трудно говорить, как не хватает слов и как они бессильны передать, что творится в душе. Но именно благодаря этим "бессильным" словам нам внятна вся сумятица чувств - сожаление, горечь, растерянность перед нахлынувшими воспоминаниями - всё, что на неловкий вопрос "любили ль вы?" диктует такой простой и такой хватающий за душу ответ: "Да, увы/ Любили... как еще любили!...". Стихи обрываются, но разговор, продленный долгим эхом, длится и длится.

1999

13 апреля 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 20 апреля. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «Энергия отчаянья. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич»

Апрель рассчитался на первый-второй.
Вчера день был ясный, а нынче сырой.
А завтра из самых загадочных нетей
Появится, надо надеяться, третий
С туманной улыбкой, прозрачной слезой,
С присущей весенней поре бирюзой.

2013

“Малютка жизнь, дыши”

Арсений Тарковский

Как глупо и смешно всё снова затевать,
Ведь мы же знаем, чем кончается всё это.
Как глупо и смешно вновь поле засеять
Цветами и травой: мол, праздники, мол, лето.
Как глупо и смешно. И всё ж глупи, глупи,
Глупи, малютка жизнь, будь вечно простодушной,
И тех, кто был тобой заморожен, люби –
Младенца, старика и вербы куст тщедушный.

2013

Не стоит дна бояться, ведь оно –
Какая-никакая, но площадка.
Когда кругом всё зыблемо и шатко,
Опорой послужить способно дно.
Дошёл до дна? До точки? Так упрись
В глухое днище. Вот счастливый случай
Не смерти дожидаться неминучей,
А оттолкнуться и подняться ввысь.
2013

Ну как же не делать трагедию, Боже,
Из ранней весны на чахотку похожей,
Из дивной весны, молодой, скоротечной,
Что кончится вспышкой ромашки аптечной?
Ну как же от радости не растеряться,
Когда в талых водах вот-вот растворятся
Все горести, скорби, печали, невзгоды,
И станут ещё бесшабашнее воды?
2013

А когда я стихи от себя отрывала,
Я печатала их через два интервала
На машинке на красненькой, на югославской,
Что была в нашем доме царицею Савской.
О царице искусный заботился мастер,
Он царицу спасал от малейших напастей.
Но закончился век и сменился на новый,
И она умерла совершенно здоровой.
2013

Крылья-то есть, только я временами не в силах
Ими взмахнуть, и тогда похожу на бескрылых.
Но и когда два бессильных крыла за спиной,
Небо, я верю, не хочет расстаться со мной,
Небу, по-моему, сильно меня не хватает,
Даже когда много стай легкокрылых летает.
Может быть, мне удавалось сказать на лету
Что-то такое про общую нашу тщету
И маету, что ему ещё не говорили
Те, что в его бирюзе и лазури парили.
2013

О ТОМ, О СЁМ:
ЭНЕРГИЯ ОТЧАЯНИЯ

Георгий Иванов и Владислав Ходасевич

Это скучное слово УНЫНИЕ, состоящее из двух одинаковых согласных и четырех гласных, одна из которых напоминает тоскливый собачий вой, а прочие настолько узки и тесны, что не впускают ничего

значительного. Уныние — это вялость, апатия, атрофия мышц и чувствительности. На мертвой почве уныния ничего не растет. Уныние — грех.

То ли дело ОТЧАЯНИЕ. Оно и звучит иначе. В этих судорожно цепляющихся друг за друга Т Ч чудится энергия сопротивления. В разверстых АЯ — несмолкаемый крик. Если уныние — убитый нерв, то отчаяние — живая боль: тупая, острая, фантомная, какая угодно, но непременно живая. "Не теряй отчаяния", — сказал Ахматовой Пунин, когда его, арестованного, уводили из дома. То есть, мучайся, страдай, заламывай руки, бейся головой об стену, кричи на крик или просто замри, уставившись в одну точку, но не теряй чувствительности. Только мертвым не больно.

Отчаяние — результат лобового столкновения с действительностью, неотвратимостью, упрямой судьбой. Столкновение такой силы, что искры сыпятся из глаз, что видишь звезды, как говорят англичане. Отчаяние - звездный час, который — случается и такое — может длиться долго. Так звездный час Георгия Иванова растянулся на несколько десятков эмигрантских лет.

С бесчеловечную судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наважденье.
...Но этот вечер голубой
Еще мое владенье.

~ ~ ~

Пожалуй, нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух.
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.

В "глухой европейской дыре" Георгия Иванова то и дело что-то вспыхивает, мерцает, сияет, светится: то первая звезда "в тускнеющий вечерний час", то мучительные и сладкие воспоминания о "русском снеге, русской стуже", то просто "рифма заблестит". И сколько бы ни уверял поэт себя и читателя в своем "безразличье к жизни, к вечности, к судьбе", он бесконечно от него далек, и мается его душа и захлебывается от горя и болит от воспоминаний, и плачет по ночам "от жалости и страха".

Не надо. Нет, не плачь.
О, если бы с размаха
Мне голову палач!

~ ~ ~

Если бы я мог забытья,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало...

Освободиться, забыть себя, потерять чувствительность, избавиться от бесполезного и бессмысленного бытия — вот рефрен его поэзии.

Все на свете пропадает даром,
Что же Ты робеешь? Не робей!
Разможжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей!
Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели?
Что угодно — только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

Сколько, однако, энергии, страсти, а значит, и жизни в этом молении о конце. Впрочем, это не столько моление, сколько приказ, усиленный тремя восклицательными знаками: не робей! Разбей! Кончи разом! Слава Всевышнему за то, что Он до сих пор не вял мольбе одного из своих не слишком уравновешенных чад и не покончил "с мукою и музыкой земли", прекрасно сознавая, что и само чадо не вполне уверено, что хочет именно этого. Иначе не написало бы таких строк:
Был замысел странно-порочен

И все-таки жизнь подняла
В тумане — туманные очи
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

Бесполезное — бесполезно:
Продолжается бытие.

Это слова другого эмигрантского поэта Владислава Ходасевича, Который, как и Георгий Иванов, долгие годы писал под диктовку отчаяния.

О чем? Забыл. Непостижимо.
Как можно жить в тоске такой!
Он вскакивает. Мимо, мимо,
Под ветер, на берег морской!

Кольшется его просторный
Пиджак — и, подавляя стон,
Под европейской ночью черной
Заламывает руки он.

И в этих стихах, как и в молении о конце Георгия Иванова — буря и натиск, стремительность и страсть. Как это ни парадоксально, но отчаяние стало для обоих поэтов мощным источником энергии. Их отчаяние наступательно, активно и любит императив:

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере - что хочешь -
Но вырвись: камнем из пращи.
Звездой, сорвавшейся в ночи
Вл. Ходасевич

Хорошо — что никого.
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
Г. Иванов

И снова Ходасевич:

Жди, смотря в упор,
Как брызжет свет, не застилая ночи.

Смотрю в упор, но, вопреки смыслу сказанного, вижу только свет — такой силой воздействия обладает слово "брызжет".

И тем не менее "европейская ночь" Ходасевича темнее ивановской. Если в ночи Ходасевича и вспыхивает свет, то локальный, имеющий вполне конкретный и весьма прозаический источник:

Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак...
~~~  
Сижу, освещаемый сверху,  
Я в комнате круглой моей  
Смотрю в штукатурное небо  
На солнце в шестнадцать свечей.

Случается, что, подпитывая свою тоску, Ходасевич намеренно изгоняет из своего пространства всякий свет, кроме искусственного:

Великая вокруг меня пустыня,  
И я — великий в той пустыне постник.  
Взойдет ли день — я шторы опускаю,  
Чтоб солнечные бесы на стенах  
Кинематограф свой не učinяли.

Настанет ночь — поддельным слабым светом  
Я разгоняю мрак и в круге лампы  
Сгибаю спину и скриплю пером, -  
А звезды без меня своей дорогой  
Пускай идут.

Но коль скоро поэт скрипит пером, значит что-то ему все-таки светит. Ну хотя бы искра Божья, которая наполняет перо "трепещущим, колючим током", или вспыхнувшая рифма. А вспышка рифмы — это вспышка надежды: "Я чающий и говорящий" (Ходасевич). "Отчаяние — состояние крайней безнадежности, ощущение безысходности" - сказано в Толковом словаре. Но вот парадокс: основную часть этого слова составляет "чаяние", и две крохотных, его отрицающих буквы ОТ ничего не могут с ним поделаться. Тем более что ЧАЯНИЕ — ударная, а значит, самая звучная часть слова. Слова и звуки способны творить чудеса, теряя изначальный смысл и приобретая новый.

В зиянии разверстых гласных  
Дышу легко и вольно я.  
Мне чудится в толпе согласных  
Льдин взгроможденных толчея.

И внутри отчаяния, внутри его разверстых гласных обоим поэтам удавалось дышать "легко и вольно"

Лети, кораблик мой, лети,  
Кренясь и не ища спасенья,  
Его и нет на том пути,  
Куда уносит вдохновенье.

Спасенья нет, но есть великий дар превращать энергию отчаяния в созидательную.

С бесчеловечно судьбой  
Какой же спор? Какой же бой?

— восклицает Иванов.

Как совладать с судьбою — дурой?  
Заладила свое — хоть плачь

— вторит ему Ходасевич. Но вот и выход:

Сосредоточенный и хмурый  
Орудует смычком скрипач.

Жесткие, совсем непоэтичные слова. Да и может ли скрипач, чья душа "мытарится то отвращеньем, то восторгом" улаживать чей-то слух? Вряд ли. Но зато он способен заставить внимлющего ему пережить то, что

познал сам — "дрожь, побежавшую по коже / Иль ужаса холодный пот".  
Наверняка и Иванов и Ходасевич временами теряли отчаяние и впадали в уныние, не дающее плодов. И все же отчаяние, слава Богу, побеждало, диктуя странные безысходные, но и ослепительные строки:

Сияет соловьями ночь,  
И звезды, как снежинки, тают,  
И души — им нельзя помочь,  
Со стоном улетают прочь,  
Со стоном в вечность улетают.

Г. Иванов

1997

6 апреля 2013 г.

Следующий пост «Стихи и проза» в субботу 13 апреля. В другие дни: аудио записи.

ДАЛЕЕ: Новые стихи, «С пятого на десятое. Вокруг стихов»

\*\*\*

Начать и кончить – только и всего.  
Начать и кончить – вот и вся задача.  
Но разве не великая удача  
Вдруг нечто сотворить из ничего?  
Нам, впрочем, жить с нуля не привыкать.  
Ведь мы же появились ниоткуда –  
Не то из тишины, не то из гуда,  
Чтоб в тутошную тайнопись вникать.  
Начать и кончить – только и всего.  
А вот бы не кончать совсем, вовеки,  
А вот бы, что ни утро, абрис некий  
Или хотя б предчувствие его.

2013

\*\*\*

А дорога затем, чтоб с дороги сбиваться,  
Сон воздушный затем, чтоб вовек не сбываться,  
Голубая мечта, продолжай голубеть,  
Ах, влюблённый юнец, не забудь оробеть,  
Онеметь, замереть, не спеши объясниться,  
Ах, туманный сюжет, не спеши проясниться,  
Ах, судьба, не спеши с приговором, ни-ни,  
От концовки любой Боже нас сохрани.

2013

\*\*\*

Ого, во что меня втравили  
И даже мне любовь привили  
К тому, во что вовлечена,  
И даже в голову мне вбили,  
Что, мол, и я – величина,  
Что, мол, и я здесь что-то значу,  
Мол, захочу – переиначу

Сюжет банальнейший земной,  
Возьму и праздничным назначу  
День неказистый и смурной.

2013

\*\*\*

Ты даришь мне, о жизнь, свои повадки,  
А я тебе – лохматые тетрадки,  
Где уйма строчек про твои ходы.

Ты даришь всё – от счастья до беды,  
От горечи полынной до ромашки.  
А я тебе дарю свои мурашки,  
Дарю тебе мурашки по спине,  
Что возникают по твоей вине.

2013

\*\*\*

Я очень плохо жизнь переносу.  
Особенно когда она уходит  
И сил в себе особых не находит  
Мир утеплить, в котором я дышу,  
Законопатить каждую дыру  
И рассказать очередную байку,  
И поиграть со мною в угадайку  
Или придумать новую игру.

2013

#### О ТОМ, О СЁМ: С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ

Вокруг стихов

Читаю Жана Кокто, его брошюру о музыке “Петух и Арлекин”.

Никогда не думала, что этот, судя по воспоминаниям, эксцентричный и непредсказуемый *enfant terrible*, так ясно и благородно мыслит. Посвящая брошюру своему другу – композитору Жоржу Орику, Кокто в частности пишет: “Ведь музыканты вашего возраста провозглашают богатство и благодать поколения, которое никому не подмигивает, которое не надевает маску, не отвергает ничего сходу, не прячется, не боится любить и защищать то, что любит.” Всё это звучит удивительно современно. Он перечисляет именно те качества, которых так катастрофически не хватает сегодня. При явном дефиците любви и готовности её защищать – избыток пересмешничества, подмигивания, беспредметной иронии. Вместо лица – имидж (маска, о которой говорит Кокто). Вместо открытого разговора – кривые ухмылки, суетливое желание попасть в тон, выглядеть, как все – лихим, крутым, циничным.

В конце восьмидесятых мы испытали шок. Рухнула прежняя жизнь. Всё, что казалось устоявшимся, незыблемым, нерушимым, перестало существовать. Сдвинулась гробовая плита, и прозвучало: “Встань! Иди!” Легко сказать. Но куда идти и как жить в изменившихся условиях? В результате сильного шока организм даёт сбой. Его реакция

непредсказуема. Можно ослепнуть, начать заикаться, вообще онеметь. Наверное, нечто подобное испытали утратившие родину и оказавшиеся на чужой земле эмигранты первой волны. Но шок может привести не только к потере - зрения, слуха, памяти, речи - но и к обретению. Слепой может прозреть, немой – заговорить. Георгий Иванов был поэтом и до эмиграции. Но то, что называется даром речи, он обрёл на чужбине. Испарился романтический флёр, пропал псевдопоэтический словарь, исчезла литературность. Появился духовный реализм, жёсткость, трезвость, горькая ирония.

Невероятно до смешного:  
Был целый мир и нет его...  
Вдруг – ни похода ледяного,  
Ни капитана Иванова  
Ну, абсолютно ничего!

Эти строки так сильно действуют потому, что сквозь иронию проглядывает много чего другого: нежность, ностальгия, память, отчаяние. За иронией, характерной для сегодняшней поэзии, чаще всего не проглядывает ничего.

Россия мати,  
Свет мой безмерный!  
Хочу сказать нелицемерно:  
В тебе живу я,  
тебя ревную,  
какого ж хуя  
ещё взыскую?..

~ ~ ~

Может, вообще ограничиться только цитатами?  
Да неудобно как-то, неловко перед ребятами.

Ведь на разрыв же аорты, ведь кровию сердца же пишу!  
Ну а меня это вроде никак не колышет.

С пеной у рта жгут Глаголом они, надрываясь,  
я же, гадёныш, цитирую и ухмыляюсь.

Не объяснишь ведь, что это не наглость циничная,  
что целомудрие это и скромность – вполне симпатичные!

И не надо объяснять. Уже давно ясно, что подобные стихи сыграли свою историческую роль – сбили поэзию с котурнов, избавили от излишнего пафоса и свойственной советским временам задушевки, подёргали чересчур серьёзного читателя за нос. Ну и хватит. Оказывается, не хватит. Выходит книга за книгой, и в каждой – одно и то же:

Если долго не курить -  
так приятно закурить!

И не трахаться подольше  
хорошо, наверно, тоже. ...

Скучно всё это читать. Наверное, и писать скучно. Просто ироническая маска приросла и не отдирается. А, может, страшно отказаться от стиля, который принёс успех. К успеху привыкаешь, им не хочется рисковать.

А ведь есть у Кибирова удивительные стихи. Жаль, что они в меньшинстве:

Нет мочи подражать Творцу  
Здесь на сырой земле.  
Как страшно первому лицу  
В единственном числе.

И нет почти на мне лица  
Последней буквы страх.  
Как трудно начинать с конца  
Лепить нелепый прах.

Тварь притворяется Творцом,  
Материя – Отцом.  
Аз есмь, но знаю – дело швах  
Перед твоим Лицом.

Слушала сегодня по “Свободе” передачу о симпозиуме, состоявшемся этим летом в Японии и посвящённом литературному процессу в современной России. Опять прозвучали навязшие в зубах речи о конце литературы и культуры в целом. Ведущий программы Александр Генис говорил о надвигающемся конце бойко и с весёлым задором. Видимо, он уверен, что на его век литературы хватит, и ещё будет время порассуждать о её закате и даже обогатить её своими трудами. Удивительно, что неглупые люди не ленятся произносить очередную банальность про пресловутый конец чего угодно - света, театра, культуры, литературы... И как же им уютно в этих закатных лучах. Предчувствие конца их не только не угнетает, но даже бодрит. А кто представлял русскую литературу на японском симпозиуме? Сорокин – прозу, Пригов – поэзию. Это всё равно что судить о красоте тела по записям патологоанатома.

Ещё из Кокто: “Произведение искусства должно удовлетворять требованиям всех муз”. Я бы избегала слова “должно” в разговоре об искусстве. После столько лет несвободы у нас у всех аллергия на это слово. И тем не менее, если произведение искусства что-то кому-то и должно, то музам. Одно из самых сильных впечатлений последнего времени – фильм Бертолуччи “Пленённые”. Фильм, оставшийся в тени как у нас, так и за рубежом. Я поняла, в чём его несказанная прелесть (да простят мне высокий штиль): этот фильм - стихи. Причём рифмованные и с ясным ритмом. В отличие от западной поэзии, где рифма, как правило,

отсутствует, здесь она присутствует в полной мере - звонкая и точная. И даже не присутствует, а вспыхивает. Вспыхивают рифмующиеся реплики, кадры, краски, жесты. И всё это сцеплено ритмом, подобным биению пульса. Он прихотлив и изменчив и задан жизнью, её энергией и волей. Ритм меняется внутри кадра, как меняется в течение дня частота пульса.

Несмотря на свой жанр (что может быть элементарнее мелодрамы?), фильм сложен, но не усложнён. Он сложен естественной сложностью. Той, какой сложна жизнь. И так же, как сама жизнь, прост. Рассказывать это кино всё равно, что пытаться пересказать стихи. Дело не в том, что ОН влюблён в НЕЁ, а в том, как он на неё смотрит, как говорит, как наклоняет голову, как она ест своё авокадо, как протирает узорчатую решётку на лестнице, как загорается в вазочке красный цветок, как вспыхивает свеча, отражённая в крышке рояля, как идёт под дождём случайный прохожий в синем плаще и белых кроссовках. У фильма чистый звук и ясные линии. Он целомудрен, несмотря на то, что делал его изощрённый, искушённый мастер. А, может быть, благодаря этому. Только художник, прошедший огонь, воду и медные трубы, способен сделать такой гениально простой фильм. Техника здесь настолько совершенна, что её перестаёшь замечать. Это та высшая степень сложности, которая кажется простотой. И снова из той же брошюры Кокто. Вот как он говорит о своём друге композиторе Эрике Сати: «Сати учит нас самой большой дерзости нашей эпохи – быть простым.... В эпоху крайних изысков это единственно возможная оппозиция». Наверное, то же самое можно сказать о «Пленённых» Бертолуччи. Скорей всего, именно из-за своей кажущейся простоты фильм остался в тени.

Этот фильм для меня – поэзия. Интересно вспомнить стихи, которые сродни кино. Первое, что мне пришло в голову, это поразительно лаконичное и ёмкое стихотворение Ходасевича:

Было на улице полутемно.  
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась.  
Быстрая тень со стены сорвалась –

Счастлив, кто падает вниз головой:  
Мир для него хоть на миг – а иной.

Чем не мгновенный кинокадр, в котором есть всё: и звук, и свет, и динамика, и напряжённая атмосфера надвигающейся катастрофы, и резкая, неожиданная, шокирующая смена ракурса в двух заключительных строках. Стоящая под ударением буква “а” заставляет слова “счастлив” и “падает” звучать, как крик. Крик отчаяния, и одновременно освобождения, избавления от рутины, морока и несурзностей жизни.

Даже не знаю, стоит ли возвращаться к банальной теме конца искусства, и, в частности, литературы, возникшей в связи с японским симпозиумом, но фильм Бертолуччи свидетельствует об одном - жизнь продолжается. Ощущение конца возникает лишь тогда, когда слишком

хлопочешь о том, чтобы сделать небывалое и всех удивить. Чаще всего в этом случае обнаруживаешь, что выдумал велосипед. Вряд ли это чувство появляется, когда занят лишь тем, чтобы адекватно выразить себя в данный момент. Составляющие наш мир элементарные частицы всё ещё таят в себе нерастраченный заряд и способны на многое. Достаточно малого сдвига, неожиданного ракурса, слегка изменившейся интонации – и старое начинает звучать по-новому:

счастливая с виду звезда  
с небес обещает всю ночь  
пока под мостом есть вода  
любить эту воду как дочь

пока остаются поля  
а мимо бегут поезда  
и в море уходит земля  
любить обещает звезда

До неприличия затёртые слова – вот что наличествует в этом восьмистишии Дениса Новикова. Но всё не так просто. Если “счастливая звезда” знакома всем, то “счастливая с виду” – вряд ли. И обещание звезды “любить эту воду как дочь”, весьма интересно. А обещание, повторенное дважды, (да ещё с немислимой рифмой “звезда - поезда”), окончательно убеждает нас в том, что это стихи. И необычны они вовсе не тем, что отсутствуют знаки препинания, а тем... Впрочем, уже и так ясно всё ясно.

И снова возвращаюсь к фильму. Единственно, что мне мешало полностью в него погрузиться – это перевод. И дело не в содержании. Огромную роль в фильме играет голос, его особый тембр, неподражаемая интонация, совершенно своя, ни на кого не похожая манера говорить у каждого из героев. Может ли бесцветный (пусть даже небесцветный) голос переводчика не разрушить неповторимую ауру картины? Слава Богу, ему не удалось полностью заглушить оригинальный звук. А если бы фильм был дублирован? Дубляж равноценен замене оригинальных стихов переводными.

Читая эссе знаменитого мексиканского поэта Октавио Паса о переводе, наткнулась на такое высказывание: “В идеале цель поэтического перевода, по исчерпывающе точной формуле Поля Валери, состоит в том, чтобы оказывать то же самое воздействие другими средствами.” Но возможно ли это? Голос неповторим. Тот же Пас в своём эссе пишет: “Понять стихотворение – значит прежде всего его услышать. Слова входят через слух.... Читать стихи – значит слушать глазами...”

Если вспомнить слова Мандельштама о том, что он работает с голоса, то выходит, что голос имеет для поэзии решающее значение и заменить его – пусть даже прекрасным, но иным – значит создать другое произведение. Когда я читаю переводные стихи, я не знаю, что читаю. Оригинал? Стихи переводчика?

Писание стихов – это мучительная попытка прорваться к себе и к другому. Оба эти этапа давно сформулированы Тютчевым: “Как сердцу

высказать себя? Другому как понять тебя?” Стихи есть удачный или неудачный результат такой попытки. Они заряжены энергией заблуждения, позволяющей снова и снова делать эту отчаянную попытку. При переводе закон сохранения энергии не действует. Переводчик работает с готовым материалом, он привязан к тексту. И хотя перевод – это тоже творчество, но оно носит иной характер. Это уже не превращение НИЧТО в НЕЧТО (как у поэта), а превращение НЕЧТО в НЕЧТО ДРУГОЕ. Оба эти занятия - попытка с негодными средствами, и всякая удача на этом пути – чудо.

После второго тютчевского вопроса я бы поставила не один, а несколько вопросительных знаков. “Другому как понять тебя - ” Нужен ли поэту (и вообще художнику) другой? И всегда ли он есть? А если есть, то захочет ли понять? А если захочет, то возможно ли это в принципе?

И опять о фильме Бертолуччи – одном из самых сильных потрясений последних лет. В доперестроечные времена его бы назвали камерным. Но в этой камерной ленте затронуты глобальные вопросы человеческого существования. И среди прочих – проблема творчества. Режиссёр делает это лёгким касанием, одним штрихом, но этот штрих стоит многих глубокомысленных слов об одиночестве художника в этом мире и пр. и пр. Главный герой – пианист, который большую часть времени проводит в четырёх стенах за роялем. У него нет слушателей, и неизвестно нуждается ли он в них. Живущая в его доме молодая африканка, в которую он страстно влюблён, исполняемую им музыку не воспринимает. Она воспитана на других звуках и ритмах. Так для кого он оттачивает своё мастерство? К кому обращается? К самому себе, наверное. Видимо, для него это единственный способ общения с собой и с окружающим миром. Но вот он сочинил произведение, которое решил исполнить на домашнем концерте, и собрал тех, кому давал частные уроки. Впервые за долгое время он играл для других. Поначалу стояла сосредоточенная тишина, на лицах было написано внимание. Но его хватило ненадолго. Кому-то захотелось фанты, кого-то отвлек шум за окном, кого-то упавший с верхнего этажа мяч. Слушатели разбрелись. В комнате остался только один уснувший мальчик. Но пианист продолжал играть. Он играл с той же отдачей, что и всегда. Он снова оказался наедине с музыкой и самим собой - вернулся к самому привычному и естественному для себя состоянию. Может ли быть иначе? Может.

Об этом замечательный рассказ Ирины Поволоцкой про юного музыканта, которому однажды посчастливилось попасть на концерт Великого Скрипача: “И уже бедному школяру чудилось, что это его неловкие руки освятили бумажный лист с линейным пятистрочием. Что это его вдохновенные каракули выводил смычок гения, замершего на сцене в испуганной стойке сверчка-кузнечика-музыканта. И мальчику показалось (не забудьте, он был так юн) – ему не перенести следующего звука. И тогда Скрипач сделал паузу. Она длилась мгновение, но жизнь музыкального дитяти... вместились в паузу между нотой, которая прозвучала, и той, которую он с таким страхом жаждал...”

И всё же подобная реакция - большая редкость и воспринимается не иначе, как чудо и подарок судьбы. Несоответствие

между душевными затратами творца и поведением потребителя - вещь обычная. Художник всегда выкладывается полностью. Арсений Тарковский говорил, что даже плохие стихи писать трудно. А раз художник так щедро себя тратит, то он невольно ждёт того же от реципиента. Один известный актёр рассказывал, что был абсолютно раздавлен, когда, кончив свой монолог, исполненный, как ему казалось, с огромным воодушевлением, увидел, что мир не перевернулся и всё стоит на своих местах.

Но если учесть, что потребитель не столь уж искушён, внимателен и сосредоточен, и его реакция почти всегда слабее той, которую художник ждёт, то зачем ему, художнику, так уж биться над каждой деталью, зачем этот «поиск фона, поиск тона, поиск нужного наклона непокорной головы»? Сойдёт и так. Но в том-то и дело, что не сойдёт. Даже при самом беглом взгляде можно оценить, с чем имеешь дело – с поделкой или с подлинным. Об этом кричит любая деталь. Сергей Юрский рассказывал, что однажды, когда в сотый раз повторял какую-то фразу, которая никак не давалась, кто-то из коллег посочувствовал: «Да брось ты. Всё равно никто не заметит». На что Юрский возразил, что заметит, сам не знает что и почему, но заметит - от мелочи зависит то, как прозвучит всё в целом.

Мириась с реальным положением вещей, будем всё-таки втайне надеяться на чудо – на то, что у поэта где-то есть читатель, который сам подобен поэту, у музыканта - слушатель, который ждёт следующей ноты, как манны небесной. Впрочем, я всегда вспоминаю пианиста из фильма «Пленённые», чьи слушатели разбрелись, оставив его наедине с музыкой. Лицо музыканта не выражало ни обиды, ни разочарования - только сосредоточенность. Всё было, как обычно: он играл в одиночестве в четырёх стенах.

2000



# Яков Шехтер

## Шинель Наполеона<sup>1</sup>

Записано со слов р. Элиягу-Йоханана Гурари,  
главного раввина города Холон



отерпевшая поражение под селом Красное, армия Наполеона полностью утратила боеспособность, превратившись в аморфную толпу. Император передал командование Мюрату и во главе небольшого отряда поспешил во Францию. За ним буквально по пятам гнались казаки Платова. Так получилось, что отряд сбился с дороги. Счет шел на минуты, еще немного и острия казачьих пик окажутся в опасной близости. Возок императора завернул в первый попавшийся дом, спросить дорогу.

Хозяином дома оказался Йосеф Лурия. Не узнать Наполеона было трудно: он был одет в роскошную шинель из голубого сукна, украшенную золотыми галунами и шевронами. Стоит ли объяснять, как выглядела шинель императора всей Европы.

Лурия еще не успел открыть рта, чтобы ответить на вопрос, как в избу ворвался дюжий улан, с головы до ног запорошенный снегом.

– Ваше императорское величество, – обратился он к Наполеону, – казаки в пределах видимости, сотни две, не меньше.

Пока император собирался с мыслями, Йосеф Лурия предложил:

– Пусть уланы выйдут через заднюю калитку в заборе и схоронятся в лесу. С дороги их не заметят, а императора я спрячу в доме.

Времени на размышления не оставалось, десятку уланов ввязываться в бой с двумя сотнями казаков было равносильно самоубийству. Предложение пришлось принять, уланы поспешно ретировались через заднюю калитку, а императора Йосеф Лурия отвел в дальнюю комнату, уложил на кровать и навалил сверху все перины, которые смог отыскать.

Когда в дом ворвались казаки, они обнаружили мирно сидящего у стола еврея. Тот спокойно пил чай и читал толстую книгу в захватанном пальцами переплете.

– Император? – недоуменно поднял брови еврей. – Проезжал тут какой-то француз, но он уже полчаса, как умчался по могилевской дороге.

---

<sup>1</sup> Новая авторская редакция.

– Ты дурачка из себя не строй, – заорал есаул, – императора он не узнал! И какие еще полчаса, мы его почти в руках держали!

– А если это был другой француз, – невозмутимым тоном предположил еврей. – Мало их этой зимой по дорогам таскается? Так вы говорите, сам Наполеон проезжал? Ой, как интересно, пойду, расскажу Циле.

– Какой еще к черту Циле? – загремел есаул.

– Циля, ваше благородие, это моя жена, – пояснил еврей, – она сейчас корову доит. В нашем народе издревле порядок заведен, сразу все рассказывать женам. В первую очередь им, а уж потом всем прочим. Вы же понимаете, если со мной что случится интересное, я сразу к жене поспеваю, а тут такая история, сам Наполеон...

– Обysкать дом и двор, – рявкнул есаул, перебивая Лурия. – Ну, смотри, еврей, если отыщем у тебя императора, это твой последний чай в жизни.

Лурия прищурился и невозмутимо отхлебнул из чашки.

– Ищите, где хотите.

Уверенный вид хозяина смутил казаков. Они быстро осмотрели небольшой домик и задержались возле кровати, накрытой высокой стопкой перин.

– Может там он? – спросил есаула один из казаков.

– Вряд ли, видишь, как аккуратно застелено. Ну, на всякий случай, проверь шашкой.

Казак вытащил саблю, перекрестился и вонзил ее в самую середину постели. Клинок вошел до середины и остановился.

– Ишь, навалили, – проворчал казак, вытаскивая саблю, – любят жидки в тепле поспать.

И он принялся осматривать клинок.

– Что смотришь, – усмехнулся есаул. – Был бы там человек, он бы уже орал, как недорезанный. Пошли, видимо еврей правду сказал. Надо гнать всю по могилевской дороге, может – нагоним.

Когда последний казак скрылся из виду, Йосеф отправился за уланами и лишь после того, как двое из них вошли в дом, принялся снимать перины.

– Все в порядке, ваше императорское величество, опасность миновала.

– Воткнись шашка на ладонь ближе к стене, – одергивая мундир, произнес император, – Франция сейчас стояла бы перед выбором, кого возводить на престол.

Ты спас меня еврей, – обратился он к Йосефу Лурия. Проси награду.

– Ваше величество, – ответил тот. – Больше всего на свете я хотел бы знать, что император чувствовал, когда казак пронзил шашкой перины.

Наполеон задумался на мгновение, а затем гневно свел брови.

– Ты мог попросить денег или почестей, но предпочел залезть мне в душу. А это не что иное, как оскорбление императорского достоинства. Эй, – приказал он уланам, – вывести его во двор расстрелять.

Йосеф глазом моргнуть не успел, как уланы скрутили ему руки за спиной, выволокли во двор и поставили возле стены сарая.

– Ваше императорское величество, – взмолился Лурия, – вы ведь сам сказали, что я спас вам жизнь! Неужели одно неосторожное высказывание способно перевесить чашу весов?!

– Заряжай, – приказал офицер, пятеро улан выстроились напротив приговоренного и стали заряжать ружья.

– Целься, – скомандовал офицер и пять стволов взяли на мушку Йосефа Лурия. Тот побледнел, точно снег, и зашептал «Шма Исраэль» Офицер поднял вверх руку и уже открыл рот, чтобы выкрикнуть «пли», но тут раздался голос императора.

– Отставить!

Уланы немедленно опустили ружья.

– Ты хотел узнать, что я чувствовал, – произнес Наполеон, подходя к трясающему от страха Йосефу Лурия. – Именно то, что ты сейчас пережил. А теперь показывай объезд на Могилев, мы должны оказаться в нем раньше казаков.

Спустя пять минут пришедший в себя Лурия вскочил в императорский возок и сам вывел отряд на окольную дорогу, знакомую только местным жителям. В знак благодарности Наполеон сбросил с плеч шинель и подарил ее Йосефу.

Кто знает, был ли этот подарок знаком искренней благодарности или император хотел избавиться от вещи, слишком много говорящей о ее владельце? Домой Лурия вернулся, держа в руках шинель Наполеона.

Сразу возник вопрос – что с ней делать. Носить? Невозможно. Не по Сеньке шапка. Продать? Немедленно спросят – откуда он взял столь дорогую и уникальную вещь. И, конечно же, первое, что придет всем в голову – сотрудничество с французами. А за это русские власти ох, как не поглядят еврея, ох-ох-ох, как не пожалуют.

И решил реб Йосеф сделать из шинели *парохет* – занавес для *арон-акойдеи*. Материал-то был самый, что ни на есть дорогой. И золота на нем было тоже немало.

Сразу за этим решением возник вопрос: а можно ли «бытовую» вещь использовать для святости? Тем более вещь, принадлежавшую нееврею? Реб Йосеф бросился к святым книгам, в первую очередь к «Шульхан Арух», сборнику законов и правил, охватывающих жизнь еврея от момента утреннего пробуждения до вечернего отхода ко сну.

Когда еврейский народ после выхода из Египта скитался по пустыне, одно из семейств колена Леви – Керат – отвечало за переноску принадлежностей Мишкана. И у всякой вещи были чехлы. Смысл чехла состоит в том, что предметы, обладающие святостью не должны быть открытыми, доступными прямому прикосновению руки или взгляда. Святость – вещь потаенная, укромная. Отсюда и берет свое начало обычай делать покрытия для тфиллин, свитков Торы, *арон-акойдеи*.

«Шульхан Арух» приводит мнения двух комментаторов – самого Йосефа Каро, составителя книги и ребе Мойше Иссерлиса, добавившего примечания для ашкеназов. Оба авторитета в один голос запрещают использовать бытовые вещи для святых целей. Но Йосеф

Лурия много лет изучал еврейскую премудрость и знал, что искомый ответ часто содержится в маленьком примечании, набранном мелкими буквами. Хорошенько посидев над книжкой, он отыскал, что его случай подробно разбирается Маген Авромом и тот дает разрешение шить *парохет* из «бытового» материала, объясняя свое мнение следующими соображениями.

Во-первых, эта занавес вовсе не используется для покрытия святых вещей. Настоящим покрытием является чехол, которым укрывают свиток Торы и его, разумеется, нельзя шить из шинели. Но занавес перед дверью в шкаф, где лежит свиток, прикрывает вовсе не «святость», а далекие к ней подступы. Поэтому для этой цели можно использовать даже шинель.

Второй довод Маген Аврома: кроя занавес из одежды, портной совершенно преображает вещь, так, что в ней уже невозможно опознать ее предыдущую форму, а, следовательно, и предыдущее предназначение.

Йосеф Лурия отнес императорскую шинель портному и тот сшил из нее прекрасный занавес. Но даже в таком виде Йосеф опасался длинного носа русских властей и поэтому отправил *парохет* в Иерусалим. До 1949 года этот занавес показывали в синагоге «Минхат Цион», пока во время войны за Независимость иорданский легион не разрушил еврейский квартал старого города и не сжег синагогу» вместе со всем ее содержимым.



# Моисей Борода

## Ночной гость



предрождественскую ночь ...-го года – так по крайней мере рассказывают – известному композитору Х. приснился престранный сон.

Вообще-то сны посещали Х. не так уж чтобы сказать часто и, будучи все какими-то странными, особого удовольствия Х. не доставляли. А уж если они в ночь перед Рождеством приходили – тут уж, как говорится, хоть святых выноси: сплошная чертовщина, такое приснится, что и Гоголю со всеми его Диканьками не придумать!

Ну, вот, например, приснилось Х. как-то в одну из таких ночей представление "Весны священной". Всё идёт, вроде, как полагается: артисты усердно землю – то есть, сцену – вытаптывают, девушка к своей жертвенной роли готовится, зрители музыку слушают да на сцену смотрят, ждут, когда же это самое жертвоприношение состоится, даже и бумажками конфетными хрустеть перестали – в общем, полный ажур.

И вдруг – р-р-аз! – на сцену выскакивает, откуда ни возьмись, этот озорник и насмешник Пульчинелла! Вылез – и стал выделывать всякие забавные кунштюки, и добро бы ещё пристойные, так и это нет! Потом прошёлся по сцене колесом, а потом, совсем уж обнахлившись, девушку из круга выхватил и стал с ней *Линди Хоп* танцевать! А дирижёр при таком повороте совсем растерялся и вместо того, чтобы в партитуру посмотреть, что ему делать надо, скомандовал оркестру "Линди хоп!" – и оркестр именно Линди Хоп и заиграл. Ужас!

Артисты сцену вытаптывают, старец в ужасе руки к небу воздевает, девушка, обрадовавшись, что если её в жертву и принесут, то уж по крайней мере не сейчас, с Пульчинеллой Линди Хоп отплясывает, а публика в зале, сперва опешив от такого поворота событий, включилась, и этому безобразию аплодировать стала!

Видали Вы такое? Спасибо, ещё, что администратор рабочих сцены отрядил, и те выволокли безобразника за уши. А публика, вместо того, чтобы обрадоваться, ещё и протестовала!

Или вот в другой раз приснилось Х., как он по улице идёт, а навстречу ему – Солдат. В полном обмундировании – как будто только что роль свою отыграл и прямо со сцены гулять отправился. Так тот, вместо того, чтобы "Здравия желаю!" или что-то в таком роде сказать, вдруг погрозил неизвестно кому корявым пальцем и угрожающе произнёс: "С чёртом связался! Тангу с чардашем плясать заставлял! Вот

ужо будет тебе!“ – и, ещё раз погрозив пальцем, взвился в небо и исчез, а на его месте появился некто с лицом композитора Прокофьева и, язвительно улыбнувшись, сказал: “А музыка Ваша, сударь, из ‘Садко’! А что не из ‘Садко’, то из ‘Золотого петушка’! Так то!“ – после чего, насладившись произведённым впечатлением, пропал, как будто его и не было.

Правда, в тот раз Х. удалось, произнеся “Свят, свят!” прогнать своё сновидение, и более того – увидеть совсем другой, прекрасный сон: как хор и оркестр ангелов под управлением архангела Гавриила исполняет “Симфонию псалмов”, а Бог Саваоф, сидя в некотором отдалении, слушает, подперев рукой щеку, этот концерт, и по его лицу струятся слёзы умиления.

Но такие сны были совершеннейшим исключением, так что каждый раз, ложась в предрождественскую ночь спать, Х. уже заранее готовился к визиту очередного странного сна, который потом будет днями держаться в голове, мешая работе и не желая выветриваться. Но готовься ты или нет – сон приходил, и деваться от него было некуда.

Так было и на этот раз.

Едва успел он заснуть, как комната наполнилась грохотом невесть откуда взявшегося оркестра. Скрипки, в содружестве с виолончелями и контрабасами, наяривали так, как будто пришёл их последний час, и единственное, что им осталось – это показать, на что они способны. Ударник самозабвенно бил одну тарелку о другую, отвлекаясь от этого занятия только для того, чтобы угостить крепким ударом большой барабан. Медные, в моменты, когда им было позволено сказать своё слово, подвывали “У-у-у!”, “У-у-у!” под такой же аккомпанемент глиссандо струнных. В воздухе висел отчётливый звон сабель – было такое впечатление, что рубятся все против всех.

Х. лежал какое-то время, не в силах пошевелиться, но потом, вспомнив о когда-то действовавшем “Свят, свят!”, попытался это произнести. Но музыка, то ли не услышав призыва, то ли не желая откликаться на “Свят, свят!” – в ней явно слышалось что-то восточное, и уж во всяком случае, не православное – продолжала звучать.

Вне себя от ужаса, Х. закричал не своим голосом: “Чур меня, чур! Не я твой лиходей, взбесившийся рахат-лукум!” – последнее, как видно, относилось к восточному характеру звучащего.

Наконец, грохот и завывания смолкли – то ли под действием таинственного для них чурования, то ли обидевшись на сравнение с рахат-лукумом, да ещё и взбесившимся – а может быть, просто исчерпав отпущенные им такты. Звон сабель, лишившись поддержки меди и ударных, растворился в воздухе, уступив место полной тишине.

Х. лежал некоторое время с закрытыми глазами, отдыхая от полученных впечатлений, как вдруг он почувствовал, что в спальне, кроме него, ещё, кажется, кто-то есть. Х. открыл глаза – и похолодел от ужаса, хотя сидящий перед ним человек никакого повода для похолодения, и уж тем более для похолодения от ужаса не подавал.

Светлый, сработанный из отличной чесучи, великолепно шитый костюм как влитой сидел на его более чем плотной фигуре, а

выделявшийся на фоне костюма ярко-красный галстук несколько не портил общей гармонии, а наоборот – добавлял ей какую-то пикантность или уж во всяком случае её колорировал. Весь облик ночного гостя излучал доброжелательность.

Незнакомец между тем посмотрел на Х. чуть оттенённым насмешливостью взглядом и спросил: – Слушай, что так кричишь? Почему говоришь “Чур меня, чур!” – ты что, Борис Годунов? И кто взбесился? Я взбесился? Ты взбесился?

Х., глядя на гостя широко раскрытыми глазами и преодолевая желание повторить своё “Чур меня, чур!”, прошептал: “К-к-то Вы?” – на что незнакомец, широко улыбнувшись, сказал: Как – кто? Твой гость, дорогой!

“К-к-ак Вас зовут?” – губы подчинялись Х. плохо, в ушах продолжала звучать только что отгремевшая музыка, противная дрожь в теле, возникшая, как только он увидел незнакомца, не желала униматься.

– Слушай, – произнёс незнакомец с лёгким упрёком в голосе, – разве гостя сразу спрашивают: “Кто ты? Откуда ты?” У нас так не принято.

“У кого это – у вас?”, хотел спросить Х., но вместо этого, и опять шёпотом и заикаясь, повторил своё: “К-к-то Вы?”.

Но обида – если она и была – у незнакомца быстро прошла, и он, улыбнувшись, ответил: Как – кто? – Рахат-Лукум.

– К-к-то? – переспросил Х. ещё более тихо.

– В чём дело, дорогой? Что ты так испугался? – В тоне незнакомца проскользнули насмешливые нотки. – Ты – Х., я – Рахат-Лукум. Какая разница?

– Я пишу музыку! – отпарировал вдруг неизвестно откуда взявшимся твёрдым голосом Х.

Но смутить незнакомца таким ответом оказалось трудно.

– Да? – произнёс он с видимым удовольствием. – Знаешь, я – тоже.

– Это какую же? – к Х. вернулась его обычная язвительность – Вжик-вжик? – добавил он, вспоминая недавно услышанное и почему-то связав его со своим ночным гостем.

– Почему “жик-жик”? – гость, кажется, немного обиделся. – Почему “жик-жик”?

Х. уже готовился ответить что-то язвительное, но собеседник его опередил.

– ...почему “жик-жик” хуже, чем “пых-пых-пых” – тут гость слегка поднял ноги и сделал ими несколько движений в сторону пола, овеществляя сказанное.

От такого кощунства у Х. перехватило дыхание, но почувствовав, что рвущееся у него с языка “Вон отсюда!” он сумеет лишь прошептать, он не ответил ничего. Гость же, может быть воодушевлённый этой безответностью, а может быть, просто развивая свою мысль, продолжал:

– От “пых-пых-пых” сцена портится, ремонт потом нужен, артисты жалуются, что не могут больше, ноги болят. Девушка страдает,

умирать не хочет. А у меня всё хорошо, сцене ремонт не нужен, ноги ни у кого не болят, девушку не убивают – все довольны!

К Х. вернулся дар речи. – И большой барабан тоже? – спросил он с подчёркнутой язвительностью.

Но легче было, кажется, пробить кулаком крепостную стену, чем вывести его собеседника из равновесия.

– Конечно! – произнёс он с сияющей улыбкой. – Не только большой, и малый!

– И тарелки, конечно, тоже довольны? И медные – тоже? – ехидный тон Х. испытывал заметное крещендо.

Но на визави Х. этот тон, кажется, не произвёл должного впечатления, и он, продолжая улыбаться, ответил: – Да! Именно так, как ты говоришь! И тарелки довольны! И медные довольны! И кларнеты с флейтами довольны. А главное: кто слушает – все довольны!

Х. замолчал, не зная, что ему на всё это сказать, как всё-таки заставить незнакомца уйти. Но текли секунды, и с каждой следующей надежда, наконец, остаться одному, вытряхнуть из ушей только недавно прозвучавшее, и, может быть, даже увидеть приличествующий Рождеству сон – эта надежда таяла.

В конце концов молчать дальше становилось уже невежливым, и Х. уже хотел что-то произнести – хотя бы "Х-м", но незнакомец опередил его. Видимо, долго молчать было ему не очень привычно.

– Что сейчас пишешь, над чем работаешь? – спросил он с заинтересованностью собрата по перу.

– Я не люблю об этом говорить, – хмуро ответил Х.

– Почему? В чём дело? – в тоне ночного гостя проскользнуло удивление. – Может быть, боишься, что я у тебя мелодии заберу? Напрасно боишься! Совсем напрасно! У меня этих мелодий так много, что не только в голове – и в квартире уже не помещаются.

– Я не люблю говорить о том, что ещё не исполнено, – ещё более хмуро ответил Х. Похоже, что квартира, наполненная мелодиями, произвела на него впечатление. Но его собеседник, то ли воодушевлённый мыслью о своих мелодиях, то ли будучи жизнерадостным от природы, хмурости Х. не поддался.

– Боишься, сглазят?

– Мне бояться нечего! – тон Х. сделался уж совсем хмурым: непробиваемый оптимизм непрошеного гостя начинал его уже всерьёз раздражать. – Мне некого бояться! – прибавил он для точности попадания.

Но смутить незнакомца?!

– Конечно! – в его голосе прозвучала даже некоторая торжественность. – Всё правильно говоришь! Кого бояться, зачем бояться? В этом мире хватит места и для меня, и для тебя, и для него. Для всех хватит. Я, например, не боюсь сказать, над чем работаю, что пишу. Сейчас пишу музыку к драматическому спектаклю. Могу показать, если хочешь. – Тон ночного гостя сделался совсем домашним.

– Не хочу, – собирался произнести Х., но вместо этого как-то само собой произнеслось только "М-м-м".

Впрочем, даже если бы "не хочу" и пробилось бы через плотно сжатые губы Х., это бы на ход событий не повлияло: музыка уже шла.

Тарелки в сотрудничестве с другими ударными привычно делали своё дело, поддерживая время от времени приседающую на сильных долях такта мелодию – впрочем, чёрт бы побрал этого Рахат-Лукума с его оптимизмом – мелодию довольно хорошую и – да, здесь уж хочешь-не хочешь, надо отдать ему должное – хорошо подходящую для бального вальса. Но он, Х., разумеется, своему ночному гостю и слова об этом не скажет... – впрочем, вся эта мелодия идёт уже по второму... нет, уже по третьему разу... ага, вот и четвёртый... и опять тарелки... видимо, автор полагает, что эту мелодию иначе как на тарелках не подашь...

Но слава Богу, здесь хоть на саблях не дерутся! С него хватит и уже услышанного... Впрочем, на балу, вроде, на саблях сражаться не полагается – другой жанр...

Наконец, музыка кончилась.

– Ну, что скажешь? – в тоне ночного гостя появилась даже какая-то горделивость. – Кто слушал, говорят "хорошо".

Х. уже хотел съязвить по поводу тарелок с барабаном, но потом, вспомнив, что это эффекта не произвело, сказал: Кого-то напоминает! – что должно было бы быстро сбить с его визави спесь, а может быть, вообще заставить его уйти. Но не тут-то было!

– Правильно говоришь! – голос незнакомца светился неподдельной радостью. – Обязательно напоминает! И знаешь, кого?

– Кого? – машинально и устало произнёс Х., думая, что вот вроде все средства исчерпаны, и...

– Меня напоминает! Меня! – с нескрываемым торжеством в голосе произнёс незнакомец.

– Скверная музыка! – вдруг совершенно неожиданно для себя сказал Х. – и, подкрепляя свои слова, пропел "тар-ра, та-тта тар-ра, та-тта...", показав руками, как хлопают тарелки.

– Э-э, с тобой плов не сваришь! Нехороший ты человек! – Гость не то, чтобы особенно обиделся, но как-то сразу поскущел.

– Я не люблю плов, – отпарировал Х. хмурым тоном. (Чёрт побери, мало этой музыки, так его незваный гость вроде вознамерился ещё и плов среди ночи варить).

– Плов не любишь, это не любишь, то не любишь! Что любишь? – Незнакомец встал, пошёл к двери и уже у порога, полуобернувшись, сказал: А вальс мой ты с твоей женой танцевать будешь! – и ушёл, хлопнув дверью, а на месте, где он сидел, вдруг возникла жена Х. и сказала:

– Послушай, я понимаю, что ты устал, но сейчас уже семь вечера, а в восемь приём в посольстве, куда мы приглашены – ты, надеюсь, не забыл? Не пойти невозможно...

– Да, да, я помню, – перебил Х. устало. – Конечно, пойдём.

Всё время, пока они ехали, в ушах Х. звучала никакими средствами оттуда не изгоняемая мелодия услышанного им вальса.

Они подъехали к воротам посольства, поднялись по лестнице и вошли в зал.

Первое, что Х. увидел, была небольшая группа оживлённо беседующих мужчин, среди которых он узнал своего ночного гостя. Да, это был несомненно он – на сей раз в ослепительно белом, отлично на нём сидящем костюме, на фоне которого ярко выделялся красный галстук.

Х. инстинктивно сжал локоть жены и произнёс задыхающимся шёпотом: Рахат-Лукум!

– Что-о? – таким же шёпотом спросила она. – Какой Рахат-Лукум? Что ты говоришь? Нет, ты действительно переутомился.

– Это он! – упрямо, тем же задыхающимся шёпотом повторил Х. – Он!

– Кто – он? – переспросила жена. – Кто – он? Кого ты имеешь в виду?

– Там, в белом костюме и красном галстуке. Рахат-Лукум!

– Послушай, ты в своём уме? О чём ты говоришь? Это известный на весь мир композитор.

Х. уже хотел сказать, что известный на весь мир композитор может быть только один, и это – он, но почувствовав, что тон жены не предвещает ничего хорошего, промолчал.

В это время человек в белом костюме вдруг прервал себя на полуслове и раздвинув собравшихся вокруг него людей, подошёл к Х., сердечно его поприветствовал, сказал комплимент жене и, подведя Х. к группе только что оставленных им собеседников, отрекомендовал его как своего давнего хорошего знакомого.

Х. двигался как во сне, мечтая только о том, чтобы этот приём, на котором он – во всяком случае, пока – был чем-то вроде статиста и уж при всех обстоятельствах никак не первым лицом – чтобы этот приём поскорее кончился, а самое главное – чтобы куда-нибудь исчезла продолжающая звучать в его ушах музыка вальса, заставляющая его при каждом ударе тарелок втягивать голову в плечи.

Но вечер тёк по своим законам, и до конца, или до того времени, когда можно было бы без последствий уйти, оставалось ещё немало, как вдруг в уши Х. ударила музыка.

Это была уже не назойливо звучащая у него в ушах мелодия – она звучала, заполняя зал, наяву!

Присутствующие разделились на пары и – кто более, кто менее вдохновенно – отдались вальсу.

Х., застигнутый музыкой врасплох, стоял в оцепенении, не в силах пошевелиться.

– Ты как будто не собираешься танцевать? – голос жены не оставлял никаких сомнений в её недовольстве. – Или ты хочешь, чтобы меня пригласил на тур вальса кто-нибудь другой?

Деваться было некуда: они включились в танец.

Вальсируя, Х. всей душой желал, чтобы здесь вдруг появился Пульчинелла и начал бы выделять свои кунштюки – или, на худой конец, возникли бы Солдат с чёртом – и этот вальс, заставлявший сейчас столько людей самозабвенно себе отдаться, исчез бы, растворившись в смехе окружающих. Но об этом нечего было и думать: ни Пульчинеллу, ни Солдата, и уж тем более чёрта в посольство никто бы не пропустил.

А потом все звуки стали тише, танцующие растворились в воздухе, и когда Х., долго пролежав с закрытыми глазами, переживая увиденное, наконец их открыл, он не увидел ничего, кроме своей рабочей комнаты. Всё как будто стояло на своих привычных местах... – но нет, не всё. Стул, стоящий обычно у стола, стоял теперь у кровати, и на его спинке висел ослепительно белый пиджак, а на нём – столь же ослепительно красный галстук.

– Рахат-Лукум! – медленно произнёс Х. – и повторил: Рахат-Лукум! Потом он закрыл глаза и открыл их вновь. И вот теперь уже всё стало на свои места.

Исчез и белый костюм, прихватив с собой красный галстук, стал на своё постоянное место стул, и только в ушах Х. продолжала звучать, постепенно затихая, поддерживаемая всё более слабыми ударами тарелок услышанная им – во сне? когда-то наяву? – мелодия.

\*\*\*

Хорошенькая, конечно, история!

Впрочем, бред это всё, рассказы, ерунда в чистом виде! Какой-то Х., какие-то вальсы с тарелками, рахат-лукум! Выдумают же такое!

Но вот некоторые говорят: Никакой это не «какой-то Х.», а... Да, да, да! Он самый! Именно! А что до описанной истории: Всё правда!

Пойди проверь...



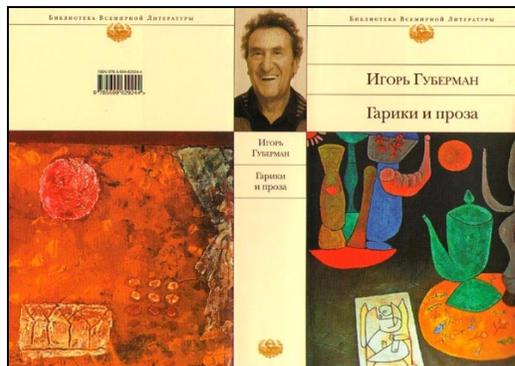
# Михаил Юдсон

## Страна Губермания



*едьмого июля сего года великому, могучему, прекрасному русскому поэту Игорю Губерману исполняется семьдесят семь лет.*

*7.7 – 77! «Четыре семерки» – дивно пьется из чаши бытия! И все прогрессивное и соображающее человечество вдумчиво, не с кондачка готовится к этой дате. Совсем недавно в московском издательстве ЭКСМО в знаменитой серии «Библиотека всемирной литературы» вышел том Игоря Губермана «Гарики и проза».*



Я рад и горд, что этот мой текст включен в книгу в качестве предисловия.

В начале было слово в самиздате, и слово было – «гарики». Четверостишия Игоря Губермана, возникшие в застойное советское безвременье, перепечатывались тайком, и переписывались за ночь от руки, и заучивались вхруст – в них братски обнимались краткость и талант, а самородный юмор соседствовал с самоиронией.

Живя легко и сиротливо,  
блажен, как пальма на болоте,  
еврей славянского разлива,  
антисемит без крайней плоти.

Когда же Игоря Мироновича отправили на тюремные нары (за «ворованный воздух», по определению Мандельштама), то ему и горя было мало, Губерман остался верен себе и в темнице сырой, сотворив «Камерные гарики» – дивное хождение по мукам и радостям, свод притч четырехстрочных.

Не знаю вида я красивой,  
чем в час, когда взошла луна,  
в тюремной камере в России  
зимой на волю из окна.

О, вечная российская зима и воля!.. А потом поэт по этапу попал на лагерную зону, куда империи часто отсылают эзопов с назнами – в рабство общих работ. Упорный Губерман воспринял советскую каторгу как увлекательную езду в неизвестное, попутно породив поразительную прозу – «Прогулки вокруг барака». Про это эзиковское произведение Булат Окуджава написал: «элегическая исповедальность». И верно – элегия, полная гелия. Сквозь острожную мглу и отчаяние размеренно и солнечно сочится счастье бытия, радужность надежд, вера в любовь к ближнему. И яростная, языческая, ярилова тяга свободного произрастания в краю снежных пирамид. Ведь поэзия, как известно – та же добыча Ра, священная жертва, ежели принять сибирский лагерь за египетский плен. И когда Верховный вертухай потребует поэта с вещами на выход, то ответится Губерман:

Поэзия – нет дела бесполезней  
в житейской деловитой круговерти  
но все, что не исполнено поэзии,  
бесследно исчезает после смерти.

Объемный том, который сейчас перед вами, сложен из шести блоков-разделов, и каждый из них – отдельная книга. Губерманово шестикнижие! Это своеобразное избранное, творческий отчет Игоря Мироновича за период примерно с года 1962-го по март 1988-го, когда наступила эра полураспада Советского Союза, а поэта увлек маршрут «Москва – Иерусалим».

Мы едем! И сердце разбитое  
колотится в грудь, обмирая.  
Прости нас, Россия немая,  
и здравствуй, небритый Израиль!

Сначала, в стройном хронологическом порядке, нас ждут «Гарики на каждый день», здесь многое – из ранних творений, сразу выделивших автора из общего ряда. В стихии русского стиха, в его снегах и завываниях Губерману оказалось на редкость тепло и домашне, он проторил тропу к своей берлоге, нашел свою нишу – придумал «гарики». Четыре ступеньки вниз – и верх взят! Ирония, сарказм, афористичность, многосмысленность при внешней доступности, легкость заглазывания

(как из граненой амфоры) – сделали «гарики» подпольной всенародной радостью. Их разносили письменно и устно, воздушно-капельным путем, и – как апофеоз – частушечно пели под струнный инструмент, беспочвенно причисляя к фольклору. Причем каждый – от запойных читателей до абстинентов стиха – видел, слышал, чуял в них свое и разное, уж кому чего отпущено. Кстати, в этом смысле Губерман – истинно национальный поэт (как говаривал довлатовский герой – русской еврейской нации).

Свежесть чувств, половодье мыслей, оперённость рифм, классичность формы и абсолютная раскованность содержания «гариков» необоримо притягивали народные массы, но вызывали законное раздражение властей.

Полна неграмотных ученых  
и добросовестных предателей  
страна счастливых заключенных  
и удрученных надзирателей.

И ведь на одном дыхании выдано, без единой запятой – ну куда это, товарищи, годится, сразу хочется этого гаврика тащить и не пущать! Но до поры до времени не трогали, и гулял Губерман на свободе, и писал себе на славу, а нам – на каждый день:

Во что я верю, жизнь любя?  
Ведь невозможно жить не веря.  
Я верю в случай и в себя,  
и в неизбежность стука в двери.

Вот в лето 1979-е как по писаному и произошло:

Я взял табак, сложил белье –  
к чему ненужные печали?  
Сбылось пророчество мое,  
и в дверь однажды постучали.

Тук-тук – тут начинается «Тюремный дневник», который писался в камере и на пересылках в 1979 – 1980 годах, и был сперва Загорск-Волоколамск, а после Ржев-Калуга-Рязань-Челябинск-Красноярск. Ритмичность камерного перестукивания и стук «столыпинских» колес слышны здесь: время-место, география-биография, свет-тьма.

Колеса, о стыки стука неспроста,  
мотив извлекают из рельса:  
держись и крепись, впереди темнота,  
пока ни на что не надейся.

На реках волоколамских сидели мы и плакали... «Гарики» размножались в неволе, когда хмарь и боль окутывали тело и вынимали душу. Но Губерман есть Губерман, он быстро навёл порядок, развесил арфы по кустам, вдобавок отогнал напасть и описал процесс. В своем

гуманно-боемном, немного кафкианском духе, то есть гармонизации окружающего хаоса и поверки алгеброй абсурда. «Гарики» как бы дают команду: «На первый-четвертый рассчитайся!» и колонной топают к читателю. И мы наблюдаем чудо: страшный тюремный морок-воронок, рассматриваемый в таком странном ракурсе, – с сарказмом и иронией – покидает камеру и, неверморно каркая, отлетает. Слово камера расширяет периметр своих стен, и становится ясно: да вся страна – тюряга, «крытка» под небом голубым.

В камере, от дыма серо-синей,  
тонешь, как в запое и гульбе,  
здесь я ощутил себя в России  
и ее почувствовал в себе.

Читаешь про то, как человек, не дожидаясь, пока некто нагорно свистнет и срок скостят, преодолевает страдания заточения и продолжает творить, мужественно надеясь на себя и далеких близких, памятью: «выжил, ибо смеялся» – и получаешь не шок, а катарсис.

Тюремные насупленные своды  
весьма обогащают бытие,  
неведомо дыхание свободы  
тому, кто не утрачивал ее.

Здесь в короб собраны «гарики», написанные в годы горести, когда, казалось бы, все желания кажутся опавшей листвой, но как же чисты помыслами и нежны строчки о женщинах!

Без удержи нас тянет на огонь,  
а там уже, в тюрьме или в больнице,  
с любовью снится женская ладонь,  
молившая тебя остановиться.

Вообще, женщины у Губермана – это отдельная сага, состоящая из множества «гариков», младшая Эдда на пару со старшей! Пан сатирический и нимфы в хороводе – обычный антураж его мифологии. Можно даже тискать, как выражаются в лагере, «рОман» о жизни на Олимпе.

Ага, вот и лагерем запахло, к суровой прозе клонит, пошли «Прогулки вокруг барака», написанные за колючкой, в поселке Хайрюзовка, Красноярского края, в олимпийском 1980 году. Теплое оказалось местечко для творчества и чудотворства – болото, засыпанное опилками. Но Губерман и там нагуливал строку.

Зачин у книги такой: «Еще в самом начале века замечательно заметил кто-то, что российский интеллигент, если повезет ему пробыть неделю в полицейском участке, то при первой же возможности он пишет большую книгу о перенесенных им страданиях. Так что я исключением не являюсь».

Что ж, пришла глухая пора поговорить про прозу. Точнее, научнее сказать (на носу очки, а в душе осень) – за прозу. Тем, кто лазал, пробирался прозой поэтов – белым коридором петербургских зим – понравится сей трагично-смешной, мемуарно-философский роман в рассказах (а также в новеллах, эссе, притчах и прочих декамеронных отступлениях).

Безусловно, это снова дневник, «запись своих текущих впечатлений», как точно обозначил автор. Именно текущих! Проза Губермана напоминает веселую, стремительную, порой дольную, а часто горную реку. Она плещет, звенит, струится, скачет через пороги, но и глубина ей свойственна, и ритмичность течения. Вольно и плавно несется сказ о сроку Игореве, о невольничьей участи и брезгливом ужасе опущенности, о крысятничестве и человечности, и тут же рядом – байки о пайке и шконке. О, школа выживания, баллада о баланде! По какой шкале мерить лагерную долю Губермана – год за три, за век-волкодав?

Река речи в «Прогулках» широка, гулка и заповедна – от тихих заводей еврейского интеллектуала до крутых матерных перекатов лагерного «мужика». Внимательный читатель оценит и звуковое разнообразие (эх, феня-фонетика, музыка языка ээка!), и уловит основу дневника узника – упрямое николай-морозовское: «Писать, писать!» На поверхности, повослоyno – славное повествование остроумного, врожденно талантливое, благоприобретенно мудрого человека о своем движении в замкнуто-лагерном пространстве-времени и «в людях» (жуткое горьковское выражение), загнанных туда. Но если легонько поскрести, хотя бы и затылок, сразу обнаружится, что роман-то – палимпсест, и проступают пластами подтексты, успевай усваивать! Потому как грех «гонять порожняк». Так выражается Губерман о прозе без послания, без откровения, без благой вести (сравните: «грохочущие мимо литературные порожняки», – жаловался всю дорогу бедный Сигизмунд Кржижановский).

Да не всякому, увы, даётся проза – часто, вглядываясь, мы видим заключенный в обложку бездарный подневольный труд каналармейца. У Губермана зато, куда ни ткни, ткань текста живая и светится – обитающие в ней микроорганизмы фосфоресцируют – блеск плюс плеск слововолны! А какова затягивающая сила – не оторваться от страниц! С них нисходит любимое многими сочетание прожитого и прочитанного, коктейль Борхеса – «то, что мы называем творчеством, на самом деле смесь забвения и воспоминаний о том, что мы прочитали». Описываемый, самовито выстраиваемый Губерманом мир – отнюдь не бережно подстриженный газон, и даже не луг в мае, по которому ходят женщины-иконы, а – тяжкое болото, присыпанное опилками, бывший женский лагерь тридцатых годов.

«Прогулки вокруг барака» – проза очень непростая, пластичная, плотская (некий нектар чифира с амброзией курева), она просмолена тьмою проглоченных книг и пропитана их светом. Здесь вновь происходит лепка дневника – и поражает насыщенность повседневности, глубина как бы поверхностных баек.

Кажется, еще Малларме мечтал о такой книге, чтобы можно было читать с начала и с конца, с любой страницы, чтобы проза извивалась, «как кольца змеи». Потом Павич опробовал это в своем «Словаре», назвав нелинейным письмом. Так и губермановы «Прогулки» структурно сложены из множества жизнеспособных клеток – они читаются отовсюду (и географически тож). Проза-пазл. Попав на любую страницу, двигаясь по ее тропам, ты везде, очарованный странник, находишь искомый барачный приют, ложе на нарах, тебя ждет уютный очаг в кочегарке, чарка чифиру с интеллектуального устатку и приветливый собеседник – эдакий угодивший в лагерь персонаж Джерома Джерома, джентльмен в телогрейке: «Присядьте, я расскажу вам одну историю».

Способ же самого письма прост, как Прустов куст – почкование, цветение, разбегание ветвящихся ассоциаций – на просвет эта проза напоминает разноцветную модель ДНК. Доникнув, что три героя «Прогулок» – москвич Писатель, коллекционер Деяга и хохмач Бездельник – сливаются в едином Авторе, и уяснив, что «здесь и связанного повествования не будет», просвещенный читатель начинает ловить кайф от языка и мыслей, вглядываться в лагерную прозодежду книги, сравнивать с иными авторитетами.

Скажем, для Шаламова с его кошмарно-однотонным шаманством, колымским камланием, вбиваемым в мозг, как ледяное кайло, лагерь – это ад. По Солженицыну, лагерь – это опыт, данный, всученный нам в ощущениях, напряженное, до рвущихся жил, выживание, робинзонада. «Один день Ивана Денисовича» – это голый человек на голой заключенной земле, бесправный номер, ходячая русская буква Ша с мечтами о второй каше, обречённый и подневольный каменщик, и лишь звук плывет кандалный: «дин-день, ван-ден» – звон рельса на морозе на подъеме. У Губермана лагерь – это быт. Жисть-жестянка. Книжка Бытия. Его лагерный мир с нумерованными кругами, Рвами и Злыми Щелями – абсурдный, опрокинутый, как стопка – не чудовищен. Правда, и пишет он о современном ему лагере, а не о тех гибельных «истребительно – трудовых», где были наши деды и отцы. По Губерману, нынче ада нет (это утешает), разве что захудалое районное отделение – райад, с закоулочками судебных. А все дело в людях – «повсюдное животное», как Игорь Миронович их ласково именует, – которые водятся, роятся вокруг в согласье с Сартром: «Ад – это другие». И надо в набитой доверху камере вставать до петухов – чтобы писать, писать во временной тишине... Довлатов, показавший нам лагерь с вышки, осовельми глазами вохра, выдохнул: «Ад – это мы сами». «Да ну, заладили, ад, ад, – успокаивает Губерман. – Я там был, мед-чифир пил и видел: нет его! Всюду жизнь. Какой простор!»

Игорь Миронович щедро выплескивает на читателя звуки, запахи, цвета, шум и ярость мира. Да, объясняет он, все predetermined, но мы – не пешки в клетке. Существуют, хотя бы теоретически, свобода и воля. Доступно путешествие на край доски. Опять же – ирония лечит, если еще не все отбили. А главное – надо надеяться и верить, бороться и

писать, и пригрядет в конце концов счастливый конец – выпустят из лагеря на поселение. Приплыли – паром не нужен!

Таким образом, мы причаливаем к пристани этой прозы – пристальной, чуть печальной, но обязательно светлой. И попадаем по сходным страниц в следующую стихотворную часть, «Сибирский дневник». Он писался в 1981 – 1984 годах в «маленьком сибирском поселке с историческим названием – Бородино. Деревню, давшую ему название, основали полторы сотни лет назад солдаты Семеновского полка, пригнанные сюда на поселение после знаменитых волнений в полку еще за пять лет до Сенатской площади». Теперь же здесь свою ударную пятилетку, народно-трудовую вахту должен был доматывать Игорь Миронович Губерман. Давящая атмосфера ссылки его не смущала. Огорчала разве что недостаточность книг – в библиотеку, суки, ссыльных не записывали (ишь, филон александрийский!), ну да Бог простит.

Агасферно неприхотливый, Губерман и в Бородино обжился, сложил баню, завел огород, приехала жена Тата – это уже выглядело, как глоток самогонной свободы, пролог к кушам, предбанник Чистилища.

Судьбы моей причудливое устье  
внезапно пролегло через тюрьму  
в глухое, как Герасим, захоlustье,  
где я благополучен, как Муму.

После лагерной схимы – на «химии» была лафа, фактически райский, пусть не сад, так огород. Домашние соленья! Буколическая идилия! Водка на лимонной корочке! И «гарики» полились в большом количестве:

Я снизил бытие своё до быта,  
я весь теперь в земной моей судьбе  
и прошлое настолько мной забыто,  
что крылья раздражают при ходьбе.

А уж народ, как водится, всем миром Губермана полюбил. Шел он однажды, дух изгнания, за хлебом (бородинским!), а на лавочке у своих ворот сидел знакомый шофер Петя с бутылкой портвейна, и стояли рядом старушки-соседки. И одна старушка, глядя Губерману вслед, сказала: «Ведь они какие люди хорошие». На что Петя-шофер ответил авторитетно: «Хуевых не содут». Понятно, что это притча, и апостол Петр, ключарь у врат, был совершенно прав в произношении: в каббалистической иерархии «сод» – это высший уровень, потаённый смысл, достигаемый лишь посвященными, «нехуевыми» людьми.

Вообще в «Сибирском дневнике» немало символов библейских:

Целый день читаю я сегодня,  
куча дел забыта и заброшена,  
в нашей уцененной преисподней  
райское блаженство очень дешево.

Или такая вот, крылато развернутая метафора:

В чистилище – дымно, и вобла, и пена;  
чистилище – вроде пивной;  
душа, закулив, исцеляет степенно  
похмелье от жизни земной.

У Губермана и на небе неплохо – там, в облаках, и вобла водится, и из пены кто-нибудь возникает... Но ключевое слово в «сибирских гариках», дробный бородинский рефрен легко находится при вчитывании – душа. Выковыривая это слово, как кусочки смальты, мы можем сложить новую мозаику текста: «Когда в душе тревога... моей душою озабочен... и давай себе душу погреем... живот души моей болит... душа не в теле обитает... моя апрельская душа... душа лишается невинности... грустная душа изготавливает... когда в душе царит разруха... душа корыстная хотела... то ли такова их душ игра... что частицу души в ней зарыл навсегда... чтоб душу отвести... а странно, что в душе еще донныне... на душе тишина и покой... хотя ни душами, ни лицами... в бутылке души стало меньше сиропа... когда душа уходит в пятки... хотя в душе моей живет поэт... душой и телом не уныл... намечен в избранные души... но покой у меня на душе... на душу навевает нам листва... когда душа облита ложью... душа, уже рванувшаяся высь... душа сметает праха паутину... чтоб душа была свежа... их души дышат ночи в унисон...» Читать это надо, желательно вслух, как единый, слитно расширяющийся «гарик» - к примеру, вот такой:

Ты люби, душа моя, меня,  
ты уйми, душа моя, тревогу,  
ты ругай, душа моя, коня,  
но терпи, душа моя, дорогу.

Периодическое повторение, нанизывание знакового звука, своеобразное заклинание, внушение – возможно, тут таится причина завораживающего воздействия «гариков» на слушателя. Иначе, в чем же секрет этого верескового меда – в ереси неслыханной простоты? Почему влачат сладкое иго «гариков», поглощают духовную манну Губермана, отказываясь от хороших и разных горшков с мясом? Мне кажется, что дело в слове, ибо оно для Губермана самоценно и самоцветно. Песчинка мысли обволакивается словесным перламутром и образуется жемчужина-«гарик», причем с гарниром – в янтаре:

Случайно мне вдруг попадается слово,  
другими внезапными вдруг обрастает,  
оно – только семя, кристаллик, основа,  
а стих загустеет – оно в нем растает.

Есть в разбираемых нами текстах ещё одно ключевое заветное слово – свобода. И дух свободы пронизывает насквозь все собранные тут стихи и прозу.

«Гарик» это живое порождение могучего народного языка и изысканной книжной речи. «Книги делаются из книг», – утверждали вольтерьянцы с вольтерьянками, однако же и жаргон с феней тут ходят под руку, делают ночь, стараются всюю!

В «гариках», конечно, переночевала вся набоковская триада: магия, история, поучение, но главное, повторюсь, что Губерман – ловец словец. Игорь Миронович пожизненно не на таежной «химии», а на алхимии слова. Губерманствуя, пробуя словеса на соль, он, гурман стиха, хлебосольно нахваливает нам перец непристойности, цимес послания по матушке. Его поэзия – это вздыбленные усилия, пытошно-раешные попытки русского языка «выражать сложное» – «ерш» метафоры и философии, перемальывание лагерной муки в литературу. И под сурдинку – еврейско-гамбринусова вечная скрипичная печаль...

Отсюда – подспудная доступность Губермана, необходимость многим и многим. Потому как – искренность, зажигательность, смычка смычка и смысла, прорыв в некую высококую стихию с множеством степеней свободы – воля и одновременно представление! Насущный хлеб зрелищ.

Всеобщее народное обожание, восстание масс по направлению к Губерману (хотя никто не организовывал вставание), а в наши дни и выпуск водки с «гариками» на этикетке – вполне естественны. Если какого-либо тупоконечного яйцеголового эти рефлексы раздражают и поражают, разясню: Губерман – натурален. Именно подлинность (и недлинность), первая и единственная свежесть притягивают к нему полные залы умеющих читать. «Ведь если зритель не идет – его не остановишь!» – любит цитировать Игорь Миронович старого театрального администратора. И добавлю, слушать себя силком не заставишь – какого бы пиара ни навороти, хоть объявляй, что новый Паваротти народился.

Зато Губерман – всюду нарасхват, как и возвращенный им «гарик» (пробежусь по буквам взад-вперед): грешный, ангельский, радостный, ироничный, красочный. Кирной, иудейский, русский, азартный, гармоничный...

На этом остановлю лирическое отступление – «прошу прощады», как писал Лесков – и тронусь из Сибири в Москву, вослед за Игорем Мироновичем. В августе 1984 года он, наконец, из лесу вышел, покинув своих ссыльных сопельменников, и перебрался в суету столицы. Губерман, словно бумеранг, вернулся на круги свои и снова взялся за свое – вести дневник, теперь уже «Московский», особый.

В «гариках» этих лет, до унесения по воздуху из Москвы в марте 1988 года, сакральное слово – Россия.

Столько пламени здесь погасили,  
столько ярких задули огней,  
что тоскливая серость в России  
тусклой мглой распласталась над ней.

Поэт печалится, тоскует, хотя и надеется и верит:

Россия нас ядом и зверем  
травила, чтоб стали ученые,  
но все мы опять в нее верим,  
особенно – обреченные.

При этом Губерман помнит собственное изречение:  
«Единственный разумный взгляд на жизнь – это взгляд, не скрывающий  
усмешки», поэтому возникает и такое:

Тому, что жить в России сложно,  
виной не только русский холод:  
в одну корзину класть не можно  
на яйца сверху серп и молот.

Ну, а где Россия – там и примкнувший, пришипившийся к ней  
еврей. Еврейская тема у Губермана поистине неисчерпаема, как  
ленинский электрон – начиная с классического:

За все на евреев найдется судья.  
За живость. За ум. За сутулость.  
За то, что еврейка стреляла в вождя.  
За то, что она промахнулась.

И оттуда же, из «каждодневных гариков»:

Русский климат в русском поле  
для жидов, видать, с руки:  
сколько мы их ни пололи,  
все цветут – как васильки.

Да-с, вот уж кто «вань-вань» с русским языковым полем –  
губерманы-рабиновичи! Родная речь-мать: «Яша, хочешь щец?  
Молочка-то нет...» А колючая и щетинно-неопалимая купина Куприна, из  
которой вещал он, что «жид – прирожденный русский литератор»!  
Немало говорено добрыми людьми об исторической жидкообразности  
евреев – они принимают форму сосуда, разделяют судьбу и присваивают  
язык того народа, куда пригвоздил их прибой изгнания. Занесенные  
ветром!

Между прочим, чтоб вы знали, на иврите «гар» значит «живу».  
Вон откуда пейсы растут, вот почему «гарики» невероятно живучи и  
адаптируемы к любой аудитории, включая лагерную самодеятельность.  
Это абсолютно русская поэзия, заквашенная на еврейских дрожжах – гар,  
ик! И нужно согласиться с Губерманом:

Самим себе почти враги,  
себя напрасно мы тревожим –  
с чужой начинкой пироги,  
мы стать мацой уже не можем.

Что ж, тогда остается откупорить шотландского бутылку и перечесать «Гарики из Атлантиды» – крайнюю часть нашего тома. Они были утеряны некогда, сметены известным ураганом: «За три дня обысков после ареста у меня вымели из дома все до клочка, и я спустя пять лет вернулся из Сибири в полностью очищенную от антисоветской скверны квартиру». А когда Губерман сибаритствовал в сибирской курной избе на поселении, то написал:

Ночью мне приснился стук в окошко.  
Быстрым был короткий мой прыжок.  
Это лампу лапой сбила кошка.  
Слава Богу – рукопись не сжег.

Да не горят они, Игорь Миронович, не горят – спасибо Воланду! Вот и в Москве – не всё черти унесли, четверть века сберегалась у друга, Владимира Найдина, целая сумка архива с черновиками стихов – и уцелела! «Мне оставалось только выбрать те стишки, которые не умерли после крушения империи, хотя и сохранили запах того страшного и привлекательного времени».

Обычно, мча по поэтическому тексту, быстро устаешь от однообразия рельефа – кругом вода, водица, водопойка да простое мычание большого стада строф. А Губерман сроду, как кит - в бурунах и фонтанах, он всегда нов и занимателен, аки зеленый морской змий. Вот и в китежно возникших «гариках» красной нитью проходит приятная для иудея идея, что «веселие Руси есть пити» – и можно присоединиться!

Бутылка – непристойно хороша,  
сулит потоки дерзостных суждений,  
и ей навстречу светится душа,  
любительница плотских услаждений.

И сразу по второй:

Намного проще делается все,  
когда пуста бутылка на столе;  
истории шальное колесо –  
не пьяный ли катает по земле?

Ну, и третья легкой пташечкой:

Я три улады в жизни знал,  
предавшись трем любовям:  
перу я с бабой изменял,  
а с выпивкой обоим.

Ах, хотелось бы воспеть «гарики» бесстрастно и эстетски – «интерьеры бедности тяготеют к изысканности драпировки» (так говорил Губерман), а Игорь Миронович настолько заразителен, что всякий зело

серьезный анализ, кропотливая деконструкция текста неизменно превращаются в завтрак на траве.

Пиитическая аквавита Губермана подобна алфавиту – он по капле, как через змеевик, подробно выцеживает реалии, выстраивает из «гариков» энциклопедический словарь канувшей советской эпохи, раскапывает утонувшее, и в частности - возрождает ритуал причастия жизненной влаги на троих – дрожащее подражание рублевской «Троице». Были, надо признаться, и у Губермана предшественники: «вошел – и пробка в потолок!» Роман в стихах «Евгений Онегин» – мало что энциклопедия русской жизни, это еще евгеника оной – улучшение природы человека, продвинутый проект на завтра. Так и Большой толковый Губерман – это даль и близь, брокгауз и эфрон сюрреальной советской действительности, хроники упадка и разрушения третьеримской империи, вымершей, как динозавры.



С Губерманом на дружеской ноге. Фото Сергея Подражанского

Ныне, когда Игорь Миронович обитает в Иерусалиме, на исторической родине, мы можем рассматривать этот том, данный корпус текстов, как доисторический период Губермана – и в этом качестве книга интересна и простому читателю, и вдумчивому исследователю.

Вестимо, славен Губерман – всемирный и литературен! Он сродни Высоцкому – «всемирный Володя» и «всемирный Мироныч». Их отличает от прочих то, что они – для всех. Для академиков и плотников, для офисных этажей и пофигных гаражей, для коридоров власти и коммунальных кухонь, для «поднявшихся» новых русских и работников культуры нижнего звена – все ведь соотнобразуют, у всех котелок варит и кувшин с «аршином» наготове!

Кто-то добирается до вершин подтекста (пик Губермана), кого-то тешит сочное остроумие предгорий «гариков», – но никто не уйдет обиженным! Читать Игоря Мироновича – это вам не ворочать сизифово мшистые валуны унылых виршей, отнюдь нет – имеем чистое, льющееся, побулькивая, наслаждение. Причем Губерман прекрасно существовал бы и без Гуттенберга с интернетом, в любом времени – он поистине народен, устен, фольклорен, его бы сказывали в избах и на пересылках, перепевали бы на полатях и нарах, передавали бы за «Аи» и чифиром из уст в уста, транслировали из огненного куста...

У каждого поэта своя ноша и ниша – скворешня, избушка, норка-норушка, скит, местечко, усадьба, уезд. Губерман – губерния во плоти, причем самопишущая! Нечто неохватное, равное сколько-то там телем-телемкам, обителям обетованным, огромное поэтическое пространство – от Архангельска до Якутска, от Москвы до Магадана, от Егупца до Иерусалима, включая русскоязычные нынче Америку с Австралией, Германию с Израилем, и даже русскоянцзычный Харбин. Да чего там мелочиться с губернией – цельное царство-государство, текущее молоком и медом на лимонной корочке, страна Губермания! Посетите, не пожалеете.



## Юрий Моор-Мурадов

### Хайям с мобилой и Интернетом



Знав о том, что стихи Игоря Губермана переведены на иврит, еще не прочтя ни одной строки, я задался вопросом: Можно ли переводить подобную поэзию? Можно ли переводить «Гарики» Игоря Губермана? Да еще на иврит? Поймут ли израильяне аллюзии, ассоциации, намеки столь своеобразного *русского* автора? Губерман – не отвлеченный кабинетный поэт с космополитическими темами и мотивами (хотя власти одно время упорно причисляли таких, как он, к *космополитам*).



Обложка книги

Сомнения мои вовсе не праздные. Помню тот шок, который я испытал, впервые прочитав рубаи Омара Хайяма в оригинале. Настолько это было далеко от того, что предлагали переводчики русскочитающей публике под его именем!

Я не случайно вспомнил о древнем философе-сибарите – я вижу в Губермане прямого продолжателя жанра рубаи – короткого, хлесткого, насыщенного, всегда неожиданного. И, насколько мне известно, так же считает и автор переводов Михаил Рискин.

По моему, все без исключения переводчики Хаяма на русский потерпели фиаско. И это при том, что у древнего поэта мысль – важная составляющая стихов. И даже теоретически невозможно представить

успех при переводе другого древнего автора четверостиший – Ибн Сины: у этого мысль вообще на заднем плане, и почти вся его поэзия – это звучание слов, их игра.

А кто же и что – Игорь Губерман? Хайям или Ибн-Сина? Что главное в его стихах – игра звука или смысла? Игра слов и звуков на другой язык непереводаема. Но нагружена ли его поэзия мыслью? Мало того – насколько реалии его стихов близки к израильским?

Михаил Рискин пошел на дерзкий эксперимент – и одержал победу.

Имея перед собой два варианта каждого четверостишия – на русском и на иврите – можно воочию убедиться, что строки Игоря Губермана это не только игра и шалость. Они затрагивают общечеловеческие проблемы.

Напрасны были мои опасения и в отношении реалий: жизнь в Израиле во многом перекликается с российской как в силу общности многих проблем, так и в силу особой близости наших культур и менталитета. Это остро понимаешь, читая "гарики" на иврите: ведь при этом ты подспудно оцениваешь их с точки зрения израильянина. (Я убежден, что даже такой чисто, казалось бы, «советский» скетч Жванецкого: «Вчера они были по три, но маленькие, сегодня большие – но по пять» – можно перевести успешно на иврит, и он будет понятен посетителям рынка "Кармель" в Тель-Авиве и рынка "Махане Йегуда" в Иерусалиме).

Читаешь "гарики" на иврите – и поражаешься: как просто! Рискин перевел слово в слово – и все пришлось к месту, и рифма сама собой нашлась, и мысль оказалась понятна. Но (сам переводчик) я понимаю, какая громадная работа стоит за этим, представляю, сколько вариантов каждой строки перебрал Рискин. Поверьте, перевести четверостишие иной раз труднее, чем большое стихотворение в сто строк. У переводчика должен быть громадный активный лексикон, он обязан виртуозно владеть искусством версификации. Прочтя Хайяма в оригинале, я пришел к выводу, что его русские переводчики самонадеянно сочли себя умнее и талантливее, и обходились с ним весьма вольно. Рискин обращается с оригиналом уважительно.

Рискин понял то, чего не могли понять российские переводчики Хайяма; те переводили с начала, концовку подгоняя, как придется, тогда как именно последние строки и являются в рубаи главными, *несущими*, а первые только подготавливают к этому завершающему удару. Михаил Рискин начинает, как мне кажется, с главного, с последней строки, и уже к ней подыскивает слова, сравнения и рифмы для первых строк. И в подавляющем большинстве делает это весьма удачно.

Просто поразительно, что паре русских рифм «фальши» – «генеральше» нашлась пара на иврите – «зююф – алуф»; другая такая же пара: «огорчил – поручил» – «маацива-цива». И подобных "находок" – множество.

Известно, что Пастернак, стремясь передать мысль Шекспира и при этом найти рифму, придумывал совершенно иные образы, чем в

оригинале. Он, как равный поэт, позволял себе подправить великого англичанина. Рискин, опять же, себе такого не позволяет.

Как же не понять израильтянам следующую сентенцию:

Нам не светит благодать  
с ленью, отдыхом и песнями:  
детям надо помогать  
до ухода их на пенсии.

В «гарике»:

Раскрылась правда в ходе дней,  
туман легенд развеяв:  
евреям жить всего трудней  
среди других евреев.

Здесь Губерман задевает главный вопрос, мучающий израильтян – где жить? И даже те, кто не согласится с поэтом, с пониманием воспримут это как точку зрения "русского" олим.

Один из моих знакомых, рафинированный интеллигент, узнав о переводах «гариков», пришел в ужас: Как *они* воспримут все эти его непристойности – «жопа», "лих\*еб", "эрекция», "х\*евые"? Не знаю. Видимо, «вольности» Губермана больше шокируют воспитанных советской цензурой в рамках ложной скромности русскоязычных читателей. Литература на иврите уже давно сделала легитимными многие выражения типа «зикпа", "зайин", "тахат"...



Иллюстрация  
Художник Вольф Бульба

Перевод Рискина не идеален. Но плохой перевод лучше никакого, тем более – хороший перевод, который он нам подарил; а идеальный – пусть останется вызовом для будущих экспериментов.

И вот будущим переводчикам Губермана я дал бы несколько советов. Во-первых, обратить внимание на одну характерную особенность

нашего "Хайяма". У него комический эффект среди прочего создается из-за того, что он высоким стилем говорит об очень обыденных вещах, иногда его "гарики" усыпляют вашу бдительность то высокопарным, то сухим, то почти канцелярским приступом – а потом ошарашивают острым запахом простонародного, сленгового, а то и прямо непристойного словечка.

Суд земной и суд небесный –  
вдруг окажутся похожи?  
Как боюсь, когда воскресну,  
я увидеть те же рожи!

Скажи мне, друг и современник, –  
уже давно спросить пора –  
зачем повсюду столько денег,  
а мы сидим без ни хера?

Одно из золотых правил для переводчика: стихи в другом языке должны звучать так, как написал бы на нем сам автор, знай он этот язык.

Во-вторых, было бы неплохо чаще вспоминать идиомы иврита. Не случайно я использовал глагол «вспоминать». Не обязательно использовать – но иметь перед глазами. Сейчас объясню. Так, при переводе первой строки из следующего «гарика»:

Для счастья надо очень мало,  
и рад рубашке старичок,  
если добавлено крахмала,  
чтобы стоял воротничок –

неплохо бы вспомнить поговорку:

*«Ми у а-хахам? А семах бе-хелко»*. Она может подсказать удачный оборот.

Строка «Те – рискуют играя ва-банк» должна напомнить выражение *«аль коль а-купа»*.

«Жажущих уверовать так много» – напрашивается устойчивое выражение *«лахзор ле-тигува»*.

Держи себя на тройственном запрете

Не бойся, не надейся, не проси –

Здесь неплохо вспомнить о *«шлошет а-лавим»*.

Переводя "гарик"

Тут вечности запах томительный,  
и свежие фрукты дешёвые,  
а климат у нас - изумительный,  
и только соседи х\*ёвые -

Михаил в своей ивритской версии в последней строке написал: *"ве-рак а-ихеним по – хэм хара"*. Не спорю, мысль автора он передал. Но если бы ему вспомнилось устойчивое выражение *"суг зайин"*, то он

получил бы *"ве-рак а-ихеним по – суг зайин"*. И тогда, во-первых, сохранилась бы перекличка со словом, упомянутым в оригинале, а во-вторых – вроде и нет прямого оскорбления... А другую рифму подобрать такому версификатору, как Рискин – это раз плюнуть, даже не придется за ней ехать в Рош-ха-Аин...

Такой подход несомненно украсил бы переводы, звучание на иврите приблизилось бы к оригиналу. Хотя, как я уже отметил, нынешние переводы выполнены мастерски.

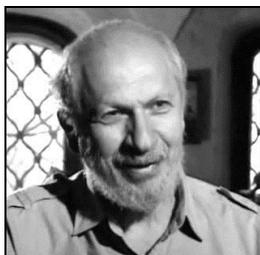
И напоследок – шутовское предложение: назвать "гарики" на иврите – "игрот", тогда получится "Игрот Игорь Губерман" - "Послания Игоря Губермана".



## Об авторах



**Евгений Беркович** – главный редактор журналов «Заметки по еврейской истории» и «Семь искусств», издатель альманаха «Еврейская Старина».



**Геннадий Горелик** – историк науки.



**Сергей Ландо** – профессор, доктор ф.-м. наук, декан факультета математики Высшей школы экономики.



**Генрих (Хаим) Соколик (1929-1982)** – физик, философ



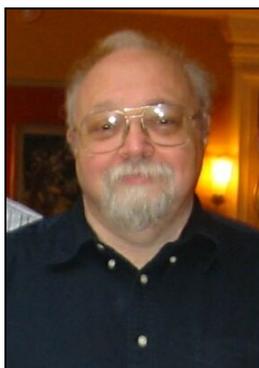
**Игорь Ефимов** – писатель, философ, издатель.



**Эстер Пастернак** – поэт, журналист, прозаик.



**Евгений Брейдо** – математик, программист и филолог.



**Борис Тененбаум** – автор исторических очерков и книг.



**Анатолий Мудрик** – член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и социальной психологии Московского педагогического государственного университета.



**Эдуард Бормашенко** – физик, публицист. Живет в Ариэле, Израиль.



**Андрей Алексеев** – социолог, кандидат философских наук, автор книги о «драматической социологии».



**Нора Райхштейн (1926-2013)** – российский театральный режиссёр



**Ася Лapidус** – математик, литератор.



**Михаил Цаленко** – математик, правозащитник.



**Владимир Янкелевич** – морской офицер в отставке, публицист.



**Артур Штильман** – скрипач, автор книг о музыкантах.



**Борис Рубенчик (Рублов)** – профессор, доктор биологических наук



**Эрнст Зальцберг** – редактор-составитель книжной серии «Русские евреи в Америке».



**Владимир Фрумкин** – музыковед, журналист, эссеист.



**Григорий Никифорович** – биофизик, литератор.



**Дмитрий Трубецков** – профессор, член-корреспондент РАН, почетный гражданин города Саратова.



**Борис Юдин** – поэт и прозаик.



**Лорина Дымова** – поэт, прозаик, переводчица.



**Лариса Миллер** – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.



**Яков Шехтер** – писатель.



**Моисей Борода** – композитор, писатель, поэт.



**Михаил Юдсон** – писатель, литературный критик.



**Юрий Моор-Мурадов** – драматург, прозаик, публицист, переводчик.

Журнал «Семь искусств», июнь 2013  
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой  
499 стр. 28,2 а. л.

ISBN 978-1-291-49249-1



«Семь искусств»  
Ганновер 2013